

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Сатиры и Юмора России



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Евгений Замятин

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

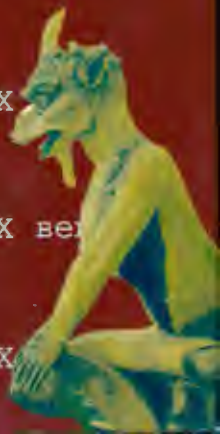


Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века



17-У. 1338

ты, Анна Николаевна, Анна — наказана да биде член на
Корпуса и убожи, мажоранта си биде прогласен и на не
го да се консул. В мажорану вкарани, некои, и Горобану и
оказали с нив: У него биде вкарани родине с Таинств-
никова, Таинствена (мажор), Убожи родине и (биде да)
вкарани мажор мажорану и мажор, и се (западна). Вкаран
мажоран, сив биде у Таинств., мажор, и мажор с нив (мажоран)
Таинствена. Мажорану мажорану мажорану и мажорану мажорану
мажорану, но... мажорану и сив мажорану — мажорану мажорану и мажорану
мажорану, мажорану мажорану мажорану мажорану, с. I. Мажорану
сима мажорану мажорану, мажорану мажорану, мажорану мажорану,
мажорану с мажорану мажорану, мажорану с сима мажорану — мажорану
мажорану). Мажорану мажорану мажорану мажорану мажорану а
мажорану. мажорану с мажорану мажорану и мажорану мажорану 1/2-2

4/II 1934

Костюс — Россия

с добрым утром

Сам Замут

[подарена в Париж
в февр., 1934.]

~~10/III~~
(10/III)

из в марте 1937 г., в
ПАРИЖЕ

похороны
на кладбище

Cimetière de Thiais
под Парижем



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Alan Zarem

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Евгений Замятин

«ЭКСМО» 2003

УДК 882
ББК 84(2 Рос-Рус)6-4
3 26

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Евгений Замятин

Серия основана в 2000 году



С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»

Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Владимир Войнович,
Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,
Лев Новоженев, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак

Составитель, автор комментариев — Станислав Никоненко

Оформление переплета Ахмет Мусин

Рисунок на переплете художника Юрия Анненкова

Замятин Е.

3 26 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 28. — М.:
Изд-во Эксмо, 2004. — 608 с., илл.

УДК 882
ББК 84(2 Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-04755-7 (т. 28)
ISBN 5-04-003950-6

© Никоненко С.С. Составление,
комментарии, 2003
© Кушак Ю. Н. Составление, 2003
© ООО «Издательство «Эксмо», 2003

Содержание

Станислав Никоненко. Замятинская улыбка.	9
Интервью для Фредерика Лефевра (Вместо автобиографии)	20
Повести и рассказы	25
Алатырь	27
Студенческий сынок	61
Правда истинная	62
Островитяне	64
Надежное место (В Задонск на богомолье)	116
Видение	119
Укс	123
Слово предоставляется товарищу Чурьгину	140
Десятиминутная драма	149
Мученики науки	153
Часы	165

Лев	174
Встреча	179
Мы (Роман)	185
Большим детям — сказки	341
Бог	343
Иваны	345
Ангел Дормидон	346
Хряпало	348
Электричество	350
Дьячок	351
Арапы	353
Метр Петрович	353
Халдей	355
Церковь Божия	356
Дрянь-мальчишка	357
Картинки	358
Бяка и Кака	359
Четверг	359
Херувимы	360

Огненное А	361
Первая сказка про Фиту	362
Вторая сказка про Фиту	364
Третья сказка про Фиту	366
Последняя сказка про Фиту	368
Чудеса	371
О святом грехе Зеницы-девы. Слово похвальное	373
О том, как исцелен был инок Еразм	378
О чуде, происшедшем в Пепельную Среду	390
Блоха	397
(Игра в четырех действиях)	
Шутейное	449
Метрадь примечаний и мыслей Онуфрия Зуева	451
Буриме	466
Приветствие от месткома покойных писателей	467
Краткая история всемирной литературы от основания и до сего дня	469
Эпитафии 1929 года	483

Из записных книжек 1914–1936 гг.

435

Современники о Евгении Замятине

531

Николай Оцуп.

Евгений Замятин

533

Юрий Анненков.

Самый большой мой друг

540

Зинаида Шаховская.

После приезда на Запад

574

ПРИМЕЧАНИЯ

582

Замятинская улыбка

Поэт и критик Николай Оцуп в своих воспоминаниях сопоставляет поэта Николая Гумилева и прозаика Евгения Замятина: «Есть что-то общее в их обликах, в их отношении к литературе».

Гумилев был человеком редкой дисциплины, сосредоточенной воли, выдержки. Теми же качествами привлекателен характер Замятина.

Каждый из них «алгеброй гармонию поверил». Тот и другой твердо знали, что мастерство достигается упорной работой.

Приводя этот фрагмент в книге «Дневник моих встреч», художник и писатель Юрий Анненков продолжает: «Для меня же Замятин — это прежде всего замятинская улыбка, постоянная, нестираемая. Он улыбался даже в самые тяжелые моменты своей жизни». И, нужно сказать, что таких моментов было в его жизни предостаточно.

Замятин и строил свою жизнь, идя по линии наибольшего сопротивления, чтобы закалить себя, проверить себя, чтобы выдержать все испытания, какие могут выпасть на его долю.

И он выстоял, его дух выдержал.

* * *

Из нескольких автобиографий Замятина нам известны наиболее важные вехи его жизни, его главные творческие и жизненные принципы. О взглядах на мир, на общественные события, о его отношениях к тем или иным людям, их поступкам мы узнаем и из его художественных произведений, из записей в блокнотах, из писем, из статей. И все же, несмотря на то, что в некоторых рассказах и повестях Замятина можно подметить автобиографические сюжеты («Один», «Полуденница»), они занимают столь незначительное место в его творчестве, что реконструировать биографию писателя по его произведениям было бы невозможно.

Существует такое широко распространенное мнение, что у каждого писателя есть что-то свое, что он стремится донести до читателя; и если внимательнее приглядеться к этому «что-то», то мы обнаружим личность писателя. В общем-то, это верно. Однако не всегда так просто. Потому что личность писателя может оказаться слишком богатой. И тогда создается впечатление, что за каждым произведением стоит иной художник.

Многие критики, исследователи творчества Замятина указывали на тех предшественников, что повлияли на его стиль. Назывались имена Н. Лескова, А.М. Ремизова... Да, несомненно, сказовая форма, притчевость присущи некоторым его рассказам, сказкам, пьесам. И все же Замятин настолько оказался самобытен, что его вряд ли можно отнести к продолжателям традиций Лескова или Ремизова.

Прежде всего — в большинстве своих произведений Замятин — писатель XX века. И, быть может, и в той отчужденности произведения от писателя тоже проявляются черты XX века.

Не знаю, пробовал ли кто-либо сопоставлять творчество Замятина и Набокова. На первый взгляд они кажутся совершенно различными по стилистике, по формам выражения, по темам, по характерам своих персонажей.

Однако их неумолимо сближает и искусство как игра (замятинская «Блоха» им и названа народной игрой), и отдаленность автора от своих персонажей, и ироническое отношение даже к трагическому в их творчестве...

За последние годы, после нескольких десятилетий молчания, о Замятине написано очень много, он стал классиком. Однако в силу определенных исторических причин его произведения (хотя они и были изданы огромными тиражами на исходе эпохи перестройки и гласности) не столь уж известны. Еще менее известны обстоятельства его жизни. В начале 90-х годов XX столетия бурные события внутренней жизни и хлынувший книжный поток западной и отечественной макулатуры захлестнули собой подлинное искусство, подлинную литературу.

* * *

Как ни многочисленны публикации о Замятине, нам все же слишком мало известны подробности его жизни.

Часто говорят почти о любом писателе: с детских лет он пытался сочинять рассказы (стихи, романы, пьесы и т.п.)...

Ничего подобного сказать о Замятине нельзя. Мы просто этого не знаем.

Вот, например, его ровесник Пантелеймон Романов так и писал в одной из своих автобиографий: в десять лет начал сочинять роман из английской жизни, но вскоре бросил...

А Замятин первый свой рассказ написал и опубликовал в 1908 году, когда ему шел двадцать пятый год.

Но к тому времени он уже прошел большую школу жизни.

Родился Евгений Иванович Замятин 20 января 1884 года в небольшом городе с красивым именем Лебедянь, в Тамбовской губернии. Его отец, Иван Дмитриевич, был священником церкви Покрова Богородицы в Лебедяни; мать, Мария Александровна (урожденная Платонова), дочь священника, была незаурядной пианисткой и старалась привить сыну любовь к музыке. Семья была счастливая, дружная, благочестивая и патриархальная. В доме часто гостили богомолки, странники, и мальчиком будущий писатель часто совершал паломничество вместе со всей семьей к святым местам, находившимся не столь далеко от родных мест.

К чтению Евгений пристрастился задолго до школы — с четырех лет он уже самостоятельно читал и вскоре полубил Гоголя. В анкете 1931 года он признавался, что «не без его влияния явилась у меня склонность к шаржу, гротеску, синтезу фантастики и реальности».

В 1893—1896 годах Замятин учится в Лебедянской прогимназии, а затем переходит в Воронежскую гимназию, которую оканчивает в 1902 году с золотой медалью.

«Специальность моя, о которой все знали: «сочинения» по русскому языку, — писал Замятин в «Автобиографии» 1929 года. — Специальность, о которой никто не знал: всевозможные опыты над собой — чтобы «закалить» себя.

Помню, классе в 7-м, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются первые признаки бешенства, — две недели. И решил выждать этот срок: сбешусь или нет? — чтобы испытать судьбу и себя. Все эти недели — дневник (единственный в жизни). Через две недели — не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же отправили в Москву — делать пастеровские прививки. Опыт мой кончился благополучно. Позже, лет через десять, в белые петербургские ночи, когда сбесился от любви — проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее».

В «Автобиографии», написанной для петербургского журнала «Вестник литературы» в 1922 году, Замятин дает объяснение своего послегимназического выбора: «В гимназии я получал пятерки с плюсом за сочинения и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть, именно потому (из упрямства) я выбрал самое что ни на есть математическое: кораблестроительный факультет Петербургского политехникума».

Итак, с 1902 года Замятин — студент. Во время летней практики 1904 года он много путешествует по России в «прибаутливых, веселых третьеклассных вагонах», совершает поездки на судах по Волге, Каме, Черному морю. А летом 1905 года на пароходе «Россия» из Одессы отправляется в Александрию. В момент возвращения в Россию узнает о восстании на броненосце «Потемкин». Впоследствии он напишет об этом в рассказе «Три дня» (1913). Осенью того же 1905 года становится большевиком. «В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления...» — напишет он в автобиографии, и это не рисовка, не кокетничанье, а констатация факта. Участие в студенческой революционной борьбе кончается арестом. Однако это вовсе не охладило революционного энтузиазма Замятина. Он чувствовал свою причастность к общему делу, к борьбе с затхлостью, с рутинной, с отжившими порядками и отношениями. Ветер свободы обвевал его душу.

Вспоминая в «Автобиографии» 1924 года события почти десятилетней давности, Замятин писал: «Все это сейчас — как вихрь: демонстрации на Невском, казаки, студенческие и рабочие кружки, любовь, огромные митинги в университетах и институтах». Здесь, в этом перечислении, Замятин называет одно из самых важных для него событий осени 1905 года: любовь. В ноябре в Петербурге он познакомился со своей будущей женой Людмилой Николаевной Усовой (1883—1965), в ту пору слушательницей Женского медицинского института. Ее роль в восприятии действительности и в формировании мировоззрения молодого студента была несомненна.

Людмила Николаевна тоже участвовала в студенческих сходках, в совместных чтениях революционной литературы. Но было и другое: посещение спектаклей, прогулки, разговоры о жизни, обо всем. И, наконец, осознание, что он любит Людмилу. Примерно через полгода Замятин пошлет в одном из писем Людмиле Николаевне листочки своего дневника. Из них, неприятных, написанных во многом еще наивным, не-

обычайно искренним юношей, мы видим, как зарождалось это светлое чувство. Вот только несколько строчек из этого дневника: «Вот милая, славная!» — мелькает мысль. «Ну, какая же она живая, непосредственная... Как просто смотрит на вещи и как лучше других, этих ломак». «Вот смешная, милая девочка!»

Когда Замятин после заключения выезжает к месту высылки в Лебедянь, Людмила Николаевна провожала его на Николаевском вокзале. А потом последовала переписка.

9 апреля 1906 года Замятин писал:

«И вдруг революция так хорошо встряхнула меня. Чувствовалось, что есть что-то сильное, огромное, гордое — как смерч, поднимающий голову к небу, — ради чего стоит жить. Да ведь это почти счастье! Цель жизни, хотя бы на время, полная жизнь, хотя бы на время — ради этого стоит жить!»

А потом тюрьма — и сколько хорошего в ней, сколько хорошего пережито».

А 20 мая Замятин делает уже открытое признание: «В письме от 15/V Вы спрашиваете, между прочим, не был ли я разочарован свид(анием) с Вами в тюрьме. — Я скажу Вам только одну мысль, к(оторая) родилась у меня однажды в тюрьме: я подумал, что из-за одних свиданий с Вами стоит сидеть!»

(Другой писатель, имевший сходный жизненный опыт, Б.Г. Пантелеймонов, писал в автобиографической повести «Орлята» о том подъеме, какой испытывал, сидя в тюрьме и ожидая пересылки на каторгу, когда его поведут в кандалах на глазах любимой девушки.)

Надзор полиции был снят в августе 1906 года, и Замятин нелегально возвращается в Петербург (куда въезд ему был запрещен) и умудряется, скрываясь от полиции, окончить институт. В 1908 году в жизни Замятина происходит много важных событий: он окончил институт, вышел из партии, опубликовал первый рассказ («Один»), был оставлен при кафедре корабельной архитектуры. А с 1911 года стал преподавать и одновременно работать инженером. Он уже во многом успел себя испытать: написал рассказ — получилось, за ним еще один («Девушка», 1910) — получилось, опубликовал несколько статей по своей специальности морского инженера — в журнале «Теплоход».

У него все получается, несмотря на препятствия. В 1911 году возникает новая коллизия — его высылают из Петербурга

за нелегальное проживание. «Если я что-нибудь значу в русской литературе, то этим я целиком обязан Петербургскому Охранному отделению, — писал Замятин в «Автобиографии» 1922 года. — ... я года два очень безлюдно жил в Лахте. Там от белой зимней тишины и зеленой летней — я написал «Уездное». С «Уездного», собственно, и начинается писатель Замятин. Первые два рассказа — проба пера. «Уездное» — это уже новая литература. Пусть даже сюжет и персонажи не совсем оригинальны. Главное здесь — новое видение, образность, умение автора зацепить внимание читателя неожиданными метафорами, сочетанием слов, новым ритмом, сбивчивым-перебивчивым. И вот перед нами живая и страшная картина уездной Руси: глупой, предательской, пустой, примитивной, жадной.

«Уездное» сразу же привлекло внимание к Замятину. «...Вещь, написанная по-русски, с тоскою, с криком, с подавляющим преобладанием содержания над формой», — отмечал Горький.

Такое случается редко. Но с Замятиным произошло. Одна небольшая повесть, напечатанная в журнале, сразу же сделала автора известным, признанным, авторитетным писателем.

И поэтому никого не удивило, что, вернувшись в сентябре 1917 г. в Россию после полугодовой командировки из Англии, где он строил ледоколы, Замятин вскоре выступил организатором и наставником группы молодых писателей «Серапионовы братья». (Из этой группы выросли в знаменитых писателей Михаил Зощенко, Константин Федин, Всеволод Иванов, Веньямин Каверин, Николай Тихонов...) К тому времени, правда, Замятин стал автором еще нескольких повестей, рассказов, политических сказок — «Алатырь», «На куличках», «Островитяне», «Дракон», «Знамение» и др.

В 1921 году Замятин завершает работу над романом «Мы», о котором в автобиографии 1922 года пишет: «...роман «Мы» — самая моя шуточная и самая серьезная вещь».

Роман «Мы» сделал его автора широко известным в мировом масштабе. Это антиутопия о государстве будущего, где высочайшие достижения науки и техники направлены на то, чтобы превратить членов общества в бездушные и бесправные винтики государственной машины, где личности практически уже не существуют, даже их имена заменены «нумерами», где существование номера настолько регламентировано, что даже сексуальные часы и партнеры предписаны сверху.

Замятин нарисовал картину абсолютно тоталитарного государства, однако многие отечественные критики восприняли роман как пасквиль на Советскую Россию, на социализм. Даже такой проникательный и тонкий критик, как Корней Чуковский, записывает в своем дневнике 7 октября 1923 года: «Роман Замятина «Мы» мне ненавистен... Все язвительное, что Замятин говорит о будущем строе, бьет по фюреризму, который он ошибочно принимает за коммунизм»¹.

Подобные высказывания можно найти у М.М. Пришвина, не говоря уже о сомне одописцев новому строю, который только формировался и пути развития которого трудно было предугадать.

Так что «самая шуточная вещь» была воспринята отнюдь не шуточно. И несмотря на то, что роман многие читали в рукописи или же слышали его в устном исполнении на публичных чтениях в больших аудиториях в 1921—1923 годах, напечатать его в России в те годы не удалось. Ретивые цензоры узрели в произведении Замятина злую пародию на социализм и коммунизм.

Впрочем, именно так воспринимали роман и на Западе. Несомненно, что такое понимание послужило толчком к публикации переводов романа «Мы» на английский, французский, чешский языки в 1925—1928 годах.

В 1927 году роман был опубликован с незначительными сокращениями и некоторой редакционной правкой в пражском журнале «Воля России» (№ 2—4), одном из наиболее известных в то время изданий русской эмиграции. Очевидно, чтобы обезопасить автора от неприятностей на родине, публикация предварялась следующим примечанием от редакции: «Одно из интереснейших произведений современной русской литературы, роман Е. Замятина «Мы», изображающий жизнь людей в 26-м веке, до сих пор не появлялся на русском языке. Желая ознакомить читателей «Воли России» с романом, мы воспользовались тем, что в газете «Лидовы Новины», издающейся в г. Брно, помещен чешский перевод «Мы». С любезного согласия редакции помещаем извлечение из романа. Для большей точности и приближения к подлиннику мы постоянно сличали чешский перевод с английским, вышедшим в 1925 году в Нью-Йорке»².

¹Чуковский К. Дневник, 1901—1929. М., 1991. С. 250.

²Воля России. 1927. № 2. С. 3.

Сравнение якобы обратного перевода с чешского на русский с оригиналом текста самого Замятина не оставляет сомнения в том, что у редакции журнала русский текст был. Достаточно привести один пример. Любой знает, как трудно перевести стихотворение, чтобы на другом языке оно сохранило ритм, смысл, образность подлинника.

Вот одно четверостишие из романа Замятина:

Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире —
Неотрывающиеся дважды два.

А вот якобы перевод:

Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире,
Неотрывающиеся дважды два.

Комментарии излишни.

Роман Замятина, конечно же, направлен против тоталитаризма, однако его значение значительно шире, чем толкования в СССР и на Западе. Он направлен против любого порабощения личности государством, против любого обезличивания, нивелировки человеческого существа, низведения его лишь до функции при любом общественном устройстве, против любого единомыслия и единодушия, ибо они в конечном счете приводят к остановке движения, к смерти.

Несомненно, в романе «Мы» Замятин провидел многие черты реального социализма: упорное стремление навязать единомыслие каждому члену общества, убедить все общество, что счастье может исходить из единого центра, от вождя, от Благодетеля и что это счастье нужно распространять по всему земному шару и за его пределы словом и делом, то есть при помощи пропаганды и силы, твердую уверенность, что страной и людьми можно управлять при помощи указов и предписаний (это Замятин высмеял еще в сказках о Фите)...

Но такова уж и в самом деле сила слова, что она преодолевает десятилетия и входит острым жалом в современность.

Вот фрагмент из статьи, напечатанной в Государственной Газете, которая приводится в самом начале романа «Мы» (ее авторы обращаются к гражданам Единого Государства):

«Ним предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах. — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, — наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия — мы испытываем слово».

Не правда ли, как будто написано о бурной жизни конца XX — начала XXI века? Достаточно вспомнить, как весь Советский Союз убеждали, что всеобщее счастье — в рыночной экономике, во всеобщей свободе. А когда песни и пляски шоуменов не сработали, в ход пошли танки. Это у нас.

А США решили уже весь мир осчастливить демократией, для чего сначала распространяются фильмы, песни, пляски, листовки, а потом летят ракеты, бомбы, идут танки.

А если и это не помогает, то в ход пускаются другие силы — подкуп, операции по промыванию мозгов при помощи Интернета и других новейших технических средств.

Замятин этого еще не мог предвидеть. Он предполагал, что единомыслия можно добиться лишь при помощи хирургической операции.

Между тем узкий смысл, который вкладывали в роман «Мы» противники всяческого социализма и коммунизма, сам Замятин отвергал. «Этот роман — сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства — *все равно* какого (подчеркнуто мной. — Ст. Н.)», — говорил Замятин в интервью Фредерику Лефевру в 1932 году.

И сегодня, как и восемьдесят лет назад, роман Замятина актуален, он тревожит и будоражит, когда мы наблюдаем всемирную интернетизацию, глобализацию, американизацию.

Не так давно в беседе с известным французским литературоведом я заметил, что сегодня как никогда тоталитаризм охватил западный мир, США, Францию, Англию...

— Нет, нет, — возразил собеседник, — Франция не тоталитарное государство. Вот США — это да.

Разговор происходил до войны в Ираке. Война подтвердила мою мысль: когда едва ли не три четверти населения США выступили в поддержку войны против разоруженной и незащищенной страны во имя абстрактных идей демократии, это показало, как можно при современной технологии оболвани-

вания при помощи средств массовой информации низвести человека до винтика, колесика, шестеренки в хорошо отлаженной машине подавления государства человеком...

* * *

Хождение по струнке, безропотное исполнение предписаний свыше всегда были чужды натуре Замятина. Он хотел писать о том, что видел, и так, как он хотел. Он подмечал нелепости и глупости в действиях новой, советской власти, видел глупость и неприспособленность людей к новым обстоятельствам, ломку характеров и судеб на пути строительства нового общества, контуры которого виделись в дымке, а завершение отодвигалось все дальше и дальше.

В рассказах «Мученики науки», «Икс», «Слово предоставляется товарищу Чурыгину», «Десятиминутная драма» кое-где с мягким юмором, а где-то едко-сатирически Замятин дает картины нового быта, создает зачастую гротесковые образы и ситуации, подчеркивает канцеляризмы и убогость языка персонажей, которые вроде бы представляют различные слои народа на новом этапе существования. При этом писатель добивается замечательного комического эффекта.

Новая грань таланта писателя обнаруживается, когда он обращается к театральному жанру. Пьеса «Блоха» (по мотивам Н.С. Лескова) пользуется огромным успехом и в течение нескольких лет не сходит с подмостков театров.

Однако писателю не простили романа «Мы». Тучи над ним сгущаются. Его перестают печатать. Уже прошедшие цензуру новые пьесы не доходят до сцены. «Блоха» изымается из репертуаров.

Затравленный критикой, Замятин в 1931 году пишет письмо Сталину, которое передает непосредственно адресату М. Горький. «Я знаю, — пишет Замятин, — что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой». Благодаря поддержке Горького писатель получает разрешение на выезд за границу. Последние пять лет он живет в Париже и умирает в 1937 году.

Он продолжал работать и за рубежом. Написал несколько веселых рассказов, окрашенных доброй улыбкой: «Часы», «Лев», «Встреча», «Видение». Работал для кино. Снятый по сценарию Замятина фильм «На дне» (по мотивам пьесы Горького)

(режиссер Жан Ренуар, в роли Васьки Пепла — Жан Габен) был признан лучшим фильмом 1936 года.

Однако силы его были на исходе. Сердце не выдержало. Роман «Бич Божий» он так и не успевает закончить.

Замятин многие свои замыслы не успел осуществить. Ими полны его записные книжки. В них мы находим и наброски сюжетов, тем, зарисовки с натуры, меткие фразы. Сами записные книжки можно рассматривать как самостоятельное художественное произведение.

Наделенный даром подмечать смешное и нелепое в жизни, Замятин реализовал этот дар не только в сугубо юмористических или сатирических произведениях, но и в тех рассказах и повестях, которые носят скорее трагический характер. Здесь много и острых, комических ситуаций, и нелепо-смешных персонажей, и ярких, сочных фраз и слов.

Вместе с тем даже многие, казалось бы, чисто юмористические произведения писателя не всегда вызывают мгновенную реакцию — улыбку или смех, но заставляют еще и еще раз подумать о том, что хотел сказать писатель. И осознаешь, что за внешним комизмом стоят явления глубокие и сложные — стоит жизнь.

Замалчиваемый более полувека на родине, сегодня Замятин входит в XXI век как наш современник, чье творчество не утратило ни своей актуальности, ни красок, ни жизненной силы.

Ст. НИКОНЕНКО

Интервью для Фредерика Лефевра

(Вместо автобиографии)

— Если я вам отвечу, что я родился в России, — это мало. Я родился и прожил детство в самом центре России, в ее черноземном чреве. Там, в Тамбовской губернии, есть городок Лебединь, знаменитый когда-то своими ярмарками, цыганами, шулерами — и крепким, душистым, как антоновские яблоки, русским языком. Недаром об этом городе писали Тургенев и Толстой. Я до сих пор помню неповторимых чудачков, которые вырастали из этого чернозема: полковника — кулинарного Рафаэля, который собственноручно стряпал гениальные кушанья; священника, который писал трактат о домашнем быте дьяволов; почтмейстера, который обучал всех языку эсперанто и был уверен, что на Венере — «les habitants énériques»¹ — тоже говорят на эсперанто... Эти чудачи 90-х годов живы и до сих пор. Не удивляйтесь: их местожительство — в моем первом романе «Уездное».

С начала 900-х годов я жил уже в Петербурге. Кажется, у меня всегда было это свойство характера — выбирать la ligne de la plus grande résistance². Может быть, именно поэтому я выбрал для себя самый трудный факультет в École Polytechnique de Pétersbourg³ — кораблестроительный. В 1909 году я окончил этот факультет, был оставлен как agrégé⁴ при кафедре кораблестроения — и с этого же года началась моя амфибийная жизнь...

¹ «Жители Венеры» (фр.).

² Линия наибольшего сопротивления (фр.).

³ Петербургский политехнический институт (фр.).

⁴ Ученое звание преподавателя лицея во Франции: здесь — аспирант (фр.).

— Вы находите это сравнение странным? У амфибий, как известно, двойная жизнь, двойное дыхание: в воде и на воздухе. В 1909 году я одновременно делал свой дипломный проект корабля и писал свой первый рассказ. С тех пор я живу одновременно в этих двух стихиях. От амфибий я, впрочем, отличаюсь тем, что никогда и ни перед кем не пресмыкался и не стеснялся писать то, что мне казалось правдой. Чтобы излечить меня от этой дурной привычки, царское правительство держало меня, как революционера, в тюрьме в 1906 году; в той же самой петербургской тюрьме, такой же курс лечения был предписан мне и в 1922 году. Но я боюсь, что я болен еретичеством неизлечимо. Один из приступов этой болезни — мой роман «Nous autres»¹ — я вижу у вас на столе. Близорукие рецензенты увидели в этой вещи не больше чем политический памфлет. Это, конечно, неверно: этот роман — сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства — все равно какого. Американцы, несколько лет тому назад много писавшие о нью-йоркском издании моего романа, не без основания увидели в этом зеркале и свой фордизм. Очень любопытно, что в своем последнем романе известный английский беллетрист Huxley развивает почти те же самые идеи и сюжетные положения, которые даны в «Nous autres». Drieu de la Rochelle на днях рассказывал мне, что при встрече с Huxley он же спрашивал его, не читал ли Huxley «Nous autres». Совпадение, конечно, оказалось случайным. Но такое совпадение свидетельствует, что эти идеи — крутом нас, в том предгрозовом воздухе, которым мы дышим.

— Другие мои работы? Вот они: еще шесть книг прозы, шесть пьес для театра и шесть... ледоколов.

— Названия? Чего — книг или ледоколов? Давайте начнем с ледоколов. Ледоколы я строил во время войны, в Англии. Моя самая лучшая и самая любимая постройка — ледокол «Ленин», 1916—1917 годы, завод Армстронга. В те годы я и не подозревал, что строю корабль с таким громким именем: тогда ледокол назывался «Св. Александр Невский», и только после революции он раскаялся и переименовался.

¹ «Мы» (фр.) (роман Замятина).

нил имя. Это один из самых больших наших ледоколов, он немногим меньше «Красина», но более усовершенствованной конструкции. Недавно разные немецкие, американские и чешские газеты преподнесли мне звание строителя «Красина». Это не совсем точно: на постройке «Красина» — он строился тоже в Англии одновременно с «Лениным» — я бывал только как консультант.

Неприятным последствием моего двухлетнего пребывания в Англии была повесть «Островитяне» — неприятным для англичан: они так обиделись на эту повесть, что в Англии оказалось невозможным ее перевести и издать. Другой мой роман — «Au bout du monde»¹ — напечатанный в России во время войны, показался обидным царской цензуре: журнал, напечатавший этот роман, был конфискован, и книга увидела свет только после революции. Как видите, профессия еретика — довольно трудная, особенно в наше время, когда требуется, чтобы еретик не только отрекся от своих заблуждений, но и немедленно доказал на деле их ошибочность. Представьте себе положение Галилея, которому пришлось бы на деле доказывать, что он ошибался, т.е. что Земля не вертится! Старик теперь был бы в довольно безвыходном положении.

— Нет, о своих пьесах я не забыл: просто в наш разговор вмешалось третье лицо — Галилей. Забыть о пьесах мне тем более трудно, что последние годы я вообще больше всего занимался театром. И затем, если вы хоть раз в жизни видели театральный зал, взволнованный вашей пьесой, — вы этого никогда не забудете. Особенно если дело происходит сейчас в России, где в театре не публика, а народ, перед которым только теперь открылись двери в театр и который воспринимает все особенно живо и свежо.

Из моих пьес две закончены только недавно, и до отъезда за границу я их не успел поставить, одна пьеса — в ссоре с цензурой, и три пьесы были поставлены в самых крупных театрах Москвы, Ленинграда и провинции. Комедии «Общество Почетных Звонарей» и «Блоха» вышли, по-моему, самыми удачными. «Звонари» — это сатира по адресу современного английского общества, и, как говорят, сатира очень злая. В первый раз эта пьеса показана

¹ «На куличках» (фр.) (повесть Замятина).

была на сцене бывшего петербургского Михайловского театра, но, кажется, лучше всего ее сыграли в Русском драматическом театре в Риге, где она шла несколько сезонов подряд. «Блоха» — пьеса в стиле русской народной комедии — или, если хотите, итальянской *commedia dell'arte*. Эта пьеса была поставлена в 1926 году Моск. Художественным театром и с тех пор идет там вот уже шестой сезон. Обе эти пьесы переведены сейчас на французский язык, и о постановке их у меня идут переговоры с парижскими театрами. Переводится на французский и одна из моих новых пьес — *трехактный фарс из советской жизни «Le délégué d'Afrique»*¹.

— Какие сейчас наиболее влиятельные литературные группы в России? Смотря по тому, о каком влиянии говорить. Наибольшее влияние — иже власть — находится в руках группы так называемых «пролетарских писателей», проводящих официальную идеологию коммунистической партии и практически имеющих поэтому монопольное право литературной критики — оружие серьезное. Кроме военных талантов, некоторые из членов этой группы несомненно обладают и штатским, литературным талантом. Если хотите имена, я могу назвать вам драматурга Афиногенова, романистов Шолохова, Лаврухина, Фадеева. Но большинство членов этой группы работают еще по методам дореволюционного натурализма. В области литературной формы гораздо дальше ушли вперед авторы из среды так называемых «попутчиков» — *«les compagnons»*, и в литературном отношении, конечно, они оказывают влияние на своих пролетарских соседей. Среди «попутчиков» едва ли не самая интересная и живая группа это — «Серapiоновы братья» (Вс. Иванов, Федин, Тихонов, Каверин, Зощенко, Слонимский и др.). Мне приятно отметить здесь, что технике нашего ремесла почти все они учились у меня: в 1919—1922 годах при петербургском «Доме искусств» была литературная студия, где я читал курс лекций по технологии художественной прозы. В этой студии родились «Серapiоновы братья», и я был их литературным акушером. Как видите, у меня есть еще одна профессия. Кроме «Серapiоновых братьев», через мой кабинет в

¹ «Африканский делегат» (фр.).

моей ленинградской квартире прошли и многие другие молодые писатели.

— Каково положение писателей сейчас в России? О, о них заботятся больше, чем в других странах: им больше платят, они получают очень хороший *ration quotidien de vivres et pour comble — ration quotidienne idéologique*¹. Здесь, в Европе, кажется, много писателей *ayants mil fois*²; у нас много антиподов: *écrivains n'ayant nul doutes*³. Это, вероятно, очень счастливое состояние.

— *Sans blagues?*⁴ Но я говорю совершенно серьезно — по крайней мере, по отношению к большой группе писателей, полностью и искренно усвоивших официальную идеологию. Гораздо труднее положение «попутчиков» — писателей непартийных, в большинстве выпедших из интеллигентской среды. Многим из них сейчас приходится в корне менять себя, свою психологию, свои вкусы — как у нас говорят, «перестраиваться». Иные делают это очень легко. Но их не уважают даже те, кому они служат, за ними установилась презрительная кличка «приспособленцы». Другие стараются сделать это совершенно искренно, и для таких — это тяжелый, болезненный процесс, иногда кончающийся даже трагически. Известное самоубийство Маяковского — по моему убеждению — развязка именно такой трагедии. Это был очень крупный поэт, новатор, с большим формальным искусством и несомненным лирическим *élan*⁵. Он сознательно вырезал из себя лирику — «наступил на горло песне» (как он писал в одном из своих последних стихотворений), чтобы стать поэтом политическим. Эта жестокая хирургическая операция над собой обошлась ему дорого. Любовная история (которых у него в жизни было сколько угодно) могла, конечно, быть только поводом, а не причиной его смерти.

Апрель, 1932

¹Ежедневный продовольственный паек и к нему ежедневную порцию идеологии (фр.).

²Не имеющий веры (фр.).

³Писателей, не имеющих сомнений (фр.).

⁴Кроме шуток? (фр.).

⁵Порывом (фр.).



Повести
и рассказы





1. ОТ ГРИБОВ ПРИНАСЛЕДНО

а том самом месте, где раньше

грибы несчетно сидели кругом алатыря-камня, — тут нынче город осел.

И у жителей тех, видимо, дело — от грибов принаследно, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел указ — по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобилии ползающих по травке.

Так бы и впредь под благословением Божиим городу жить, да вышло такое дело: царь турецкий войною пошел. Народу побили видимо-невидимо. Приехал тут из губернии начальник и строго-настрого приказал: через год — была чтоб тыща младенцев, и больше никаких. Потому — война.

Алатырцы не выдали: поставили тыщу, да с гаком еще. А начальник-то — возьми да и похвали:

— Богатыри! Исполать, мол, вам.

Ну, с глазу, конечно, и съел. Перестали в Алатыре мужние жены детей приносить. А еще того хуже: как вот рыба в реке переводится — так перевелись в Алатыре все женихи. И пошло, и пошло неплодие.

Срам обуял неслыханный: вековуши — в Алатыре, а? Сроду того не бывало. И не то чтобы как, а и в самых в первых домах: у протопопа соборного — раз, у Родивона Родивоныча у инспектора — два, у исправника... Уж на что исправник сам, и у него на руках — Глафира.

А ведь только поглядеть на Глафиру: ростом высошенька, волос русый, глаз сверкучий, вся наливная — как

спелая рожь. На рояле Глафира может: Касту Диву, Дунайские волны. И такая, поди ж ты, немужней осталась, не нынче-завтра начнет осыпаться.

Целый день в исправническом доме кукушкой кукует гулко тоска. А чуть засинеет вечер — Глафира к окну: напротив, через дорогу, номера для приезжающих купца Агаркова — не загорится ли там огонек?

Будто — загорелся. Горбоносый, сел кто-то к столу писать. Завтра утром, чуть свет, к Глафире в окошко постучит половой из номеров: «От барина — вам письмо...»

И жарко живет Глафира всю ночь. Утром — нету письма. Ну, что ж, стало быть, завтра принесут.

Долго ли, коротко ли, но только в одно воскресное утро — из номеров половой и впрямь заявился с письмом. Запершись в светелке своей, разорвала Глафира конверт:

— «Милостивая государыня. Зная вашу красоту и любезность, осмелюсь предложить вам...»

Руки затряслись, буквы запрыгали от радости.

— «...наилучшую рисовую пудру, а также спермацетовые личные утиральники...».

В тот день Глафира к обеду вниз не сошла: заперлась в своей светелке, просидела весь день. Вечером в столовой уставилась — и битый час, как пришитая, глядела в клетку с кенарем и с кенаркой (выписал ей исправник из Москвы специально). Глядела, глядела, да вдруг как схватит клетку-то эту да об пол ка-ак шваркнет: от кенаря с кенаркой только мокро осталось. А уж когда ей исправник слово сказал, что, мол, этак нельзя с подарками, она так раскричалась, растопалась — еле исправник ноги унес.

Исправник с исправничихой держали совет: что такое с Глафирой? С чего девка сбесилась?

— Эка штука, пудры ей предложили. Разве это инцидент? — удивлялся исправник. И все свои брюки подтягивал, все подтягивал: это всегда было у исправника знаком душевного волнения.

А брюки носил исправник на вате стеганные: простудлив был очень, сложения слабого — замухрыш, одно слово. Зато уж исправничиха — женщина росту серьезного, бурудастая, грудастая, а глас у ней — трубный. Как крикнет на мужа трубным-то гласом:

— Да ты что там мямлишь? Инцидент, инцидент... Какой ты есть градоначальник, ежели, как свою дочь пристроить, не изобретешь?

Подумал-подумал Иван Макарыч — и, видно, придумал что-то: наверх, на исправничиху, поглядел так гордо.

— Я-то? Не изобрету? Очень даже просто: надо Глафиручку на службу определить. С ритуальной, так сказать, целью. Поняла?

Почесала исправничиха в голове спицей.

— А и верно, глядишь. Ума ты палата, Иван Макарыч.

Сказано — сделано. Ходит Глафира на телеграф, год и другой. А к ритуальной цели — ни на шаг. Хоть бы так, для виду, кто приволокнулся: никого.

Тут Иван Макарыч рукой махнул на Глафиру, на все — и в кабинет заперся. Уж если по правде — так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч, здесь возникали все великие и многочисленные его изобретения: состав для полнейшей замены дров в безлесных местах; тайна приготовления не уступающий настоящему искусственный мрамор; особый способ домашним путем производить отменные стекла для зрительных труб. И наконец, это многообещающее открытие последних дней: секрет печь хлеба не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлеба будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной откопал исправник этот секрет — и взялся за дело.

Иван Макарыч так полагал: делать — так уж делать на широкую руку, а не то чтобы там. Задешево, по случаю, приобрел восемнадцать пудов муки. А там — пекаря свои, даровые: арестанты из острога. Голубиный — не покупать этот самый...

— Пеки, ребята, сыпь в мою голову!

Пекли калачи, пекли. Таскали арестанты, таскали. Сперва в кабинет. Кабинет завалили, вылезли в зал, под рояль, на рояль. А кругом калачей Иван Макарыч гоголем ходит.

В ту пору исправничиха на богомолье была, у Стефана Болящего, у прозорливца. Вернулась, калачи увидала, да как взъестся трубным-то гласом:

— Да Господи-батюшко! Придумал ведь тоже: на голубином! Весь дом напоганил теперь...

— Да ты — на, отведай сперва, а потом толкуй.

— Чтобы я — да этакую погань? Да избави меня Бог, я еще в своем уме. И завтра же чтоб было чисто, хоть за окно. А то... знаешь?

Знал Иван Макарыч. Загорюнился, жалко нещечко-то свое кидать вон. Эх, как бы это... Подтянул исправник свои ватные брюки раз и другой.

— Бба-а! А Потифориха-то? А ну, Кошкарев, доставь.

Торговала на базаре Потифорна, псалтырь читала, всякую боль заговаривала: от грызи, от срыву, от свербежа, от сглазу, от всего облегчить могла на все руки. На отшибе, в завалищем проулке, разыскали Потифорну и мигом представили перед исправника. Отмахнула Потифорна поясной поклон: зачем, мол, понадобилась?

— Да что, Потифорна, с докукой к тебе. Калачи, вот видишь? Возьмись-ка на базаре, продай, а уж я...

— И-и, отец, нам ли тебе не служить? Только молви.

Петр-Павел рябинник минул, пошли уж студеные утренники. Взяла с собой на базар Потифорна с угодьем теплым горшочек и, сидя на том горшочке, торговала три пятницы калачом.

— Э-эх, калачи хороши — для спасения души, по-осеньские!

Рядом слепец, с деревянной баклушей, свою присказку ведет:

— Пр-православные христианушки, от роду-рода-родов, от веку-века-веков, солнца кра-асного...

А зипун — чередом идет, кто с новой дугой, кто с лыком, кто с поросенком — дешевый калач закупать.

Через три пятницы пришла Потифорна к исправнику.

— Так, мол, и так, расторговалась вашей милости калачами, ни одного не осталось.

Иван Макарыч уж вот как доволен: не для-ради денег, а для-ради чести своей пред исправничихой.

— Ну, Потифорна, проси, чего хочешь, так ты меня ублажила.

— Уж коли милость твоя такая, так нельзя ли, отец, Костюнку мово в люди бы вывести? В чиновники то есть. Хороший он малый, да только вот...

— Что — только?

— К сочинениям пристрастен. Сочинения, батюшка,

не сочиняет, и день — и ночь, и сидит — и сидит, уж такое мне горе. Да вот, глянь-ка, милостивец.

Покопалась за пазухой, вытащила Потифорна прошение, сочиненное Костюней на случай неизвестного благодетеля.

— Мм... да, скоропись хорошая, — поглядел исправник.

«Прощение. Я обладаю естественной любознательностью ко всему ученому миру, в связи чего решил подготовить себя к литературной службе. И просьба к помощи, ввиду неимения аванса прямо посещать училищную скамью.

Моя краткая биография из жизни: я воспитан в кругу нужных забот единственной матери, но не могу отплатить ей тем же, и хотя бы к старости лет ей пожить развязно.

Вот прискорбный факт покинутых сирот. Подпись: Константин Едыткин».

Походил исправник, подумал. Прощение — ничего, забористое, надо бы малого устроить, как-нибудь надо бы...

— Ну, а что, например, ежели мы его на телеграфиста приготовим, а? Глафира моя — она ведь по этой части.

— На телеграфиста? На чиновника? — затряслась Потифорна.

— Ну да, на чино...

И кончить исправник слова не успел, как Потифорна в ноги — кувырь. Только и видать: пучочек седых волос на затылке да куча старушечьего темного платья. Искусница Потифорна — поклоны бить.

2. КОШКА МИЛКА ИСПРАВНИЦКАЯ

Скочу на Покров нашлась кошка Милка исправницкая. Теперь лежала белая Милка в Глафириной комнатке на антресолях, лежала — и молоком кормила своих четырех младенцев. Мурлыкала, жмурилась, вся извивалась белая Милка, сладко терзаемая четверкой розовых ртов.

Так это пронзило Глафиру, так затомилась, вся нецелованная, так запросила грудь касаний нежного рта, что хоть на стену лезь. А стены — гладкие, нет ни сучка, ухватиться не за что.

И вдруг нашла, ухватилась: вспомнила — толковал вчера исправник про какого-то Костю. Господи, может, Костя этот самый... Загорелось — сейчас же, сию же минуту туда поехать.

Для праздника, для Покрова, последний раз грело солнце. В завалищем проулке мирно купались куры в кучах навозу. Потифорна пред окошком читала акафист Пресвятой Богородице.

И вот — неслыханное дело — загремел тарантас в проулке. Ахнули куры, брызнули из-под копыт, акафист полетел на пол со страху.

«Батюшки, барышня исправникова! А дом не прибрat, а Коська — обормот чистый...» — кинулась Потифорна к Косте с новым пинжаком.

— Да руки-то, оголтьень, тьфу... Руки-то суй скорей!

И, обернувшись к двери — соловьем тотчас же:

— Ма-атушка-барышня! Радость-то нам какая нынче для Покрова... Костюня, да кланяйся же!

Длинный, как скворешня, Костя нескладно поклонился, на жалостно-тонкой шее болтнулась большая голова. Был он похож на только что вынутого из яйца цыпленка: такие же они бывают длинношеие, все к костям прилипло, и качаются.

«Нет, не он...» — в тоске еще пущей заметалась Глафира около гладких стен. Мелькало в глазах засиженное мухами, как будто небритое море. Мелькал в глазах верхом на белой лошади генерал, разрезанный пополам, как яблоко.

Потифорна совала Глафире в руки какую-то баночку.

— Кофий это, барышня, кофий. Вот сейчас заварю. Пять лет берегла для гостя дорогого, вот погляди-ка сама, какой кофий-то... В Воронеже покупала, где Митрофанний-угодник.

Взяла Глафира баночку. Был на баночке белый лев, похожий на кошку Милку, и какая-то надпись. Невидящими глазами читала Глафира надпись. И раз, и другой, и еще прочитала вслух:

— «Сей кофий, по приятности, подобен ливанскому. Но может быть употребляем как настоящий».

И так это Глафире показалось нестерпимо, жигуче смешно, что закатилась — засмеялась — заихала — полились слезы, и сквозь слезы кричала:

— Кофий, л-ле... лев... Кошка Милка... Милка, Милка моя!

Потифорна тряслась, разливала воду из стакана Глафире на колени. А Костя во всю ширь раскрыл голубые глаза и не чуял, что выкатилась слезинка, повисла светлой каплей на кончике носа. Отдал — все бы отдал теперь — только бы она перестала надрываться, только бы унять ее слезы...

В своем сундучке, под замком, уж два года Костя целомудренно берег тетрадку: ни один живой глаз ее не видал. Была тетрадка озаглавлена: «Сочинения Константина Едыткина, то есть Мои».

И теперь пришел час: без малейших колебаний — так было надо — Костя пошел, вынул тетрадку и положил на колени Глафире... Только бы перестала, только бы утешилась! И правда: увидала Глафира заглавие — улыбнулась.

Заниматься к барышне исправниковой Костя ходил по вечерам — с шести. У Потифорны часы — Бог их знает: с той поры, как для лучшего ходу был привязан к гире старый утюг, — что-то стали часы лукавить. И так выходило, что Костя до срока забирался задолго.

— Барышня кушают чай, погоди мало-мале.

В темной прихожей садился Костя на стул. Шепотком повторял про себя урок. Кухарка тащила мимо Кости в кухню ведерный самовар. Темным слоном влезала в прихожую исправничиха. Шарила шубейку на стене — в сени надо выйти, — во тьме руками натыкалась на Костю.

— Тьфу-тьфу-тьфу! Сгинь, окаянный, сгинь! Да это ты! Ух, провались ты совсем... Ну иди уж, иди, Фирочка чай отпила.

Костя светлел и лез вверх, в Глафирину светелку.

— Ну? — говорила Глафира сердито, сидя перед зеркалом, к Косте спиной.

Недавно Глафира открывала: стала у ней борода расти, может, только ей одной и заметные золотые волоски. Плохой это знак: немножко еще, может, год, может, месяц, — и начнут вянуть груди, вся начнет осыпаться, и никогда не узнает того, что знала счастливая кошка Милка.

С сердцем Глафира выстригала по одному волоску, а Костя тачал — от сих и до сих. Все уроки он знал назубок, зубрил день и ночь — только чтоб она кивнула головой: хорошо, мол.

И все же один раз было: Костя не мог ответить урока, стоял, как немырь, с покорной улыбкой. В тот раз Глафира торопилась в гости. В одном лифе, сидя перед зеркалом, закладывала старинную прическу: венком на голове — круг русой косы. Держала шпильки в зубах — с сердцем проговорила сквозь шпильки:

— Вше равно, скажите, пусть идет, отвечает. А то некогда будет.

Костя вошел — и свету невзвидел. Зажмурил глаза и тотчас же не стерпел — открыл. Опять: кружева и розово-нежное что-то, такое, что... Сердце зазябло у Кости, заныло, забыл все слова.

— Некогда тут, а он как... — оглянулась Глафира, хотела прикрикнуть и — рассмеялась. Поняла. — Подержите мне, Костя, зеркало. Так. А теперь вот сюда. Так. Ну, спасибо, довольно. Довольно же, ну?

Зеркало ходуном ходило. Костя молчал, а рот был растворен все той же, его покорной от века, улыбкой.

* * *

Назначили Косте экзамен на ране Успенья. Жарынь стояла. Муж развелось невесть сколько. Старушку одну — не владела она руками — так изжиляли, что ума решилась старушка. Трудно было заниматься Косте. Весь иссиделся — как вот, бывает, иссидится наседка: выйдет из лукошка — и шагу ступить не может. Веснушками Костя зацвел, голова стала еще больше, обреза́лся озябший носик.

— Что, молодой человек, похудал? Какая такая заела болезнь? — увидал как-то Костю исправник.

— Эк-экзамен, — покорно улыбнулся Костя.

— Э-э, вот оно что! Ну не робей: я сам с почтмейстером потолкую...

Поехал Иван Макарыч к почтмейстеру. Почтмейстер — старикан трухлявый. К новому году выходит в отставку. Из носу сыплет табак — на бумаги, на письма; все уж кличет уменьшительно: очечки, телеграммочка,

книжечка разносенькая. Такого Ивану Макарычу улестить — велико ли дело? И улестил.

Скор и милостив был Косте экзамен. И часу не прошло — вышел Костя светел, что новенький месяц. Вернулся домой — в фуражке с желтым кантом, в новой форменной тужурке.

Увидала Потифорна чиновником Костю — в голос как извоет да в землю — кувыр:

— Сергей Радонеж... угодники вы мои-и! Да разразите же вы меня-а! Чем я вам теперь отплачу-то за Коську?

3. КНЯЗЬ

Бывает, что хозяйка слишком любезная — в стакан чаю набутит сахара кусков этак пять: инда поперхнешься от сладости. Так вот и дворянин Иван Павлыч: лицо имел приятное, очень приятное, приятности — все пять кусков. Ходил Иван Павлыч в верблюжьей рыжей поддевке, в сапогах высоких, при часах французского золота с толстой цепочкой. И как Иван Павлыч первым всегда все знал, то принимали его алатырцы именитые очень охотно: тем и кормился.

Теперь проживал Иван Павлыч временно (третий месяц) у отца Петра, протопоп соборного. Очень полюбил протопоп Ивана Павлыча. Каждый день после обеда садились они на диван, именуемый Чермное Море.

— Ну, Иван Павлыч, давай, брат, опять поговорим отвлеченно.

Отвлеченно — про диавола, стало быть. По этой части протопоп был мастак. Будучи в академии еще, составил книгу: «О житии и пропитании диаволов». Ту книгу Иван Павлыч усердно прочитал.

— ...А по мне, ваше преподобие, самые благочестивые — болотные черти, потому — семейно живут, неблудно и в муках рожают детей, — заведет Иван Павлыч умильно.

— А-а-а, это хохлики называемые? — обрадуется протопоп, глаза заблестят. — Шу-устрые этакие, знаю, у-ух!.. — И видимо, знает досконально: даже покажет, какого хохлики росту. И пойдет, и пойдет про хохликов: Ивану Павлычу — только слушай.

Нынче Иван Павлыч огорчил протопопа: поговорить отвлеченно не захотел, вот приспичило ему тотчас после обеда к исправнику бежать по какой-то экстренной надобности.

— Ну, что еще за экстра такая? — поглядел сердито исправник: занимался он в кабинете изобретениями — оторвал его Иван Павлыч.

Дворянин Иван Павлыч в руке держал книжку, вроде паспортной, что ли. Нагнулся к исправникову уху:

— Почтмейстер-то новый... в агарковских номерах...

— Э-э, ну тебя! Это я вчера еще знал.

— Да нет, Иван Макарыч, я не про то. Прописался почтмейстер-то — и представьте... Да что там, вот сами поглядите.

Взял паспорт исправник — обмер: почтмейстер-то новый... князь. Форменный! Князь Вадбольский, женат, разведен, и княгиня проживает в городе Сапожке, при отце своем протоиерее... Хотел исправник спросить что-то, не то про паспорт, откуда князев паспорт достал Иван Павлыч, не то еще что — и не мог от страха.

Ухмыльнулся Иван Павлыч предовольно — и от исправника дальше погнал резвым игрень-конем. Через час все в Алатыре знали про князя-почтмейстера. Вышло волнение великое. Ночь мало кто спал.

«Ежели наш князь разведен и в сам-деле, то ведь... Марьюшка-то наша...» — такие тут вершины мысленные отверзались, что куда уж там спать.

Наутро у почты — длинный черед: вдруг всем загорелось марки покупать. Пронзенный десятками девьих взоров — князь шелохнуться боялся. Шелестел шепот, вился около князя:

— Вид-то благородный какой! Печать-то прикладывает как, а?

— Нет, ты глянь: подбородок-то...

А и верно: в подбородке — вся соль. Так — лицо как лицо. Скуластое, желтое, с зализами лоб, но подбородок...

Очень, конечно, странно — но подбородка у князя нет и в завете: губы, усы, а потом прямо — юрк под галстук, как будто оно так и надо. И давало это князю вид какой-то прищуренный, даже, сказать бы, коварный.

Мясоедом прошел слух: по утрам стал являться князь на базаре с кошелкой. Будто вот просто как все, ходил с

кошелкой вокруг капустных вилок, веников из Мурома, шваги мороженой. Нет, тут что-то не так...

— Ходил-то ходил. Нет, а ты вот скажи, что он купил на базаре? — добивался исправник.

— Гм, купил? Как будто ничего не купил.

— Вот то-то и оно: ничего... — исправник торжествовал. — Не затем он и ходил, не покупать ходил, а слушать, да. Слушать, понял?

Слушать? Нет, видно, недаром у князя подбородок такой...

* * *

Опять без свадеб кончился мясоед. Колеи зажелтели, затлели. Надсаживалось воронье по заборам, теплынь выкликало. Звонила капель. Пожаловала честная Масленица в Алатырь.

У исправничихи — полон рот хлопот: завтра князь-почтмейстер к исправнику зван на блины, князя умеючи надо принять. С чем-то князя блины кушают? Неуж, как и мы, грешные, с маслом с топленным, с яйцом, со сметаной, с припекой, с сметком? Нет уж, для верности — надо бы сведущих людей спросить.

— Вот что, Иван Макарыч. Ступай-ка ты к Родивону Родивонычу сейчас и все у него прознай, он человек ведь придворный. Да зови его на блины: разговаривать-то князя кто будет? Да вертайся скорей... а то — знаешь?

Исправнику хуже это горькой редьки — ехать к Родивону Родивонычу. С того самого года, как получил Родивон Родивоныч портрет и собственноручное письмо, — зазнался так, что житья с ним нет. И все ладит — в соборе чтоб раньше исправника к кресту подскочить. Этакой ведь фуфыры!

Смахивал Родивон Родивоныч на старого кочета, и сноровка такая же: все наскакивал.

— Сме-та-на? — На исправника так и наскочил, даже попятился Иван Макарыч. — Про сметану и думать не можете. Фидон¹: сметана. Исключительно: зернистая икра. А на ужин: бульон, свиная-соус-пикан... и вообще все легкое и французское.

¹ От фр. *fi donc* — междометие, выражающее отвращение. — *Ред.*

Блины были в четверг. Из гостей был только князь да еще Родивон Родивоныч, инспектор. А то все свои. Константин Захарыч-то? Костя-то? Ну-у, он за гостя нейдет: каждый день шляется — какой уж там гость.

Костя сидел на самом конце стола, где стояли запасные тарелки. Выйдет блин неудачлив — с дырой, пузырем, без румянца — сейчас его Глафира сунет Косте:

— Ешьте, ну? Живо...

Костя брал, чуть касался ее руки, проколотый сладкой болью, — хоронился в тарелку, без счету, всухомятку глотал блины...

Исправник — сидел рядом с князем, погибал: надо было ему с князем разговор начать — и хоть бы одно проклятое навернулось слово! Всех высоких лиц исправник робел, а этот еще и какой-то прищуренный.

Молчал и князь. Все почтительно глядели на особенный его подбородок — и никто не видел растерянных князьевых глаз.

...Князь глазами набрел наконец на исправников серебряный погон — и пальцем ткнул радостно:

— А-а у меня вот тоже...

— Ага, да-да-да, так, так, — закивал, засиял исправник.

— ...у брата то есть. Брат в Москве приставом, четыре тыщи в год, без доходов.

Пауза. Исправник тонул.

— Кстати: я вот, знаете, изобрел из голубиноного... — начал — и сейчас же осекся Иван Макарыч, поймав грозный исправничихин взгляд.

— Лучше уж, батюшка, ты — Родивон Родивоныч, князю расскажи, как получил письмо-то собственноручное.

Родивон Родивоныч — хозяйке поклонился придворно.

— Да, собственно, не стоит... Был я на выставке нижегородской. Как человек культурный... Проезд ведь от нас — два рубли двадцать. Хожу, значит, все очень пре-красно, одним словом, ком са¹. Вдруг — генерал. Косу взяли поглядеть — и по пальчику: чик. Ну, значит, кровь. А я — человек в дороге запасливый, ваше сиясье... Вынул из кармана: не угодно ли, генерал, коллодию? А генерал-то был не простой, а можно сказать — вы-со-кая осо-

¹От фр. *comme sa* — так. — Ред.

ба! Да вот, ваше сиясь, письмо-то оказалось при мне слу... случайно...

Прищуренно князь читал... Глядела на него Глафира — никак понять не могла: да что же, да что же в этом лице знакомое — да нет, не знакомое даже, а вот такое...

С восьми часов вечера начался съезд: везли дочерей — танцевать с князем-почтмейстером. Какой-то пуганой зверушкой шмыгнул в уголок отец Петр, протопоп: мохнатенький, маленький, как домовый. За отцом, в шелковом черном, гордо прошла Варвара-протопоповна. Торчали черно-синие космы: прибирать волос не умела — глядела Варвара ведьмой. Обнявшись, загуляли по залу восемь штук Родивон-Родивонычевых. Сел за рояль дворянин Иван Павлыч — все в той же верблюжьей рыжей поддевке. Заиграл — и зацвела, завертелась вся зала.

Князь один стоял у печки, немножко боком. И на белом кафеле было так четко лицо, коварное, без подбородка, нос с чуть заметной горбинкой...

— Горбоносый! — чуть не крикнула вслух Глафира. Бросилась к князю. Тяжело дыппа, крепко стиснула князеву руку — будто после долгой разлуки встретились наконец.

Глафира танцевала с князем, блаженно закрыла глаза. На стульях у стен девья орава — завидушая — шелестела, шептала. Ласково-зло улыбалась Варвара-протопоповна.

— Князь, — наскакивал Родивон Родивоныч, как кочет, — с вами хотят быть знакомы... мои, вот... восемь, — конфузливо кончал он, очень стеснялся восьми: человек он почти что придворный, и вдруг — восемь!

Падал князь, огорошенный градом девьих имен, и к одной — счастливике — наклонялся:

— Угодно вам вальс?

Танцуя, князь наступил на хвост своей даме. Пришлось выйти из круга — как раз это случилось у рояля, и вострым своим ухом услышал Иван Павлыч конец разговора:

— ...Одеколоны — вот это я очень уважаю. Цикламен вот, и еще... как бишь? Корило... корилоспис, — с трудом вспомнил князь.

К ужину все доподлинно было известно: что князь — развратник, у него — одеколоны, и вообще — человек он темный.

— По-ми-луй-те? Гонял с девками целый вечер... что-о ж это? — с попреком качались седые буквы.

Зато — девицы в восторге:

— Семь одеколонов, и на всякий день — свой... Уж видеть: настоящий декадент (произносится дъкадънтъ).

За ужином, после свињи-соус-пикан, исправник выпил сантуринского, посмелел и, твердо глядя князю в глаза, произнес наконец:

— Кстати — я изобрел отменно дешевый способ производить хлеб...

Князь задумчиво поглядел на Ивана Макарыча.

— Но что все изобретения для народов, покуда не будет у них общего языка?

Сказано это было раздельно и твердо. Все разинули рты: языка-а? Ка-ак? И окончательно утвердилась таинственность князя.

За ужином рядом с Глафирой сидела Варвара. Обнимала Глафиру за талию, ласково-злыми глазами глядела, медовые речи вела.

А когда у себя в светелке Глафира стала раздеваться на ночь — на кисейном платье увидела сзади дыру: выхвачен ножницами изрядный косяк. Сразу смекнула Глафира, кто. Сердце зашлось от злости на Варвару. Может, оттого и заснуть никак не могла.

Встала. Приложила к стеклу к холодному лоб. Напротив, через площадь, в агарковских номерах, в окне теплел огонек. Схватила бинокль, прильнула — и вся заколыхалась под тонким мадаполамом, как рожь от ветра: у стола, раздетый, сидел князь, писал. Но что же, что? Ночью, в три часа... Наверное, завтра придет из номеров половой...

Князь писал письмо в город Сапожок. В правом углу на бумаге была вытиснена коронка.

«Милая Лена. У меня от подъемных еще остался 21 ру. Не надо ли тебе? Потому что здесь — жизнь очень простая, яйца лутшие — 18 копеек, я скучаю и мне денег не надо. Кланяйся Васи, я сердца на него не имею, лишь бы ты была счастлива».

4. МОЛИТВЫ

Костя за ужином не был. Исправничиха ему сказала:
— Константин Захарыч, ты у нас свой человек... Не прогневайся уж, стульев нехватка.

На нет — нет и суда. Костя не обиделся. Жалко только было отрываться от Глафиры: нынче Глафира — в белом платье — была совсем замечательная, прямо вот... божеская. Ну, тоже и князь, еще бы на него поглядеть.

Каждое мание князя — нравилось Косте, каждое слово его ловил. А когда услышал про одеколоны его — тут Костя уж совсем восторгнулся, закипели стихи в голове.

Пришел Костя домой — первым делом к укладке, вынул тетрадь — и сразу, с присеста, напечатлел:

Наш новый господин почмистер,
Замечательный человек.
А по мне раз в десять
Умнее тут всех.
И когда мне представлялся,
То мне рукопожал.

Я восхищался
И навек его уважал.

Потифорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый, румяный, блин полила маслом, поставила Косте. Стал было Костя некаться: сыт уж, довольно.

— Господи-батюшка, уж теперь и лопать не хочет у матери у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, и в люди-то, в чиновники вывела, а?

Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой Костя снова ел блины, без счету: кипели еще стихи в голове — до счету ли тут было?

А наутро — катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел: куда уж. И все хуже да хуже.

К прощеному дню — Костя обрезался, совсем посинел. Потифорна на своем веку покойников без числа поглядела, глаз наметался. С базара пришла, увидала Костю такого — как взвоят. Да скорей за отцом Петром: хоть бы христианской кончиной-то помер Коська.

Пока Потифорна ходила — Костя лежал один. Умирало

солнце. В окно — бабочкой нежной билась заря. Где-то звонили, над заваливающим проулком колокол плыл — печальный, как лебедь. В какую-то секунду Костя понял, что конец и что надо — нужнее жизни — увидеть Глафиру и сказать ей все.

Потифорна вернулась одна, отца Петра не застала дома. И тотчас строгим шепотом Костя велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру.

Пошла Потифорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропталась, утирая слезы: нет бы за доктором или за попом, а он за вертихвосткой за этой посылает!

И когда возле себя увидел Костя ее — Глафиру, единую, божескую, — сдвинулся в нем какой-то столетний камень, и забил из-под камня из самой глубины хрустальный ключ: всего напоил, утишил, исполнил. Тихонько взял Костя Глафирину сладкую руку:

— Теперь... я должен сказать... Помираю, блинов объелся. И теперь вот... Нет, не могу я про это сказать словесно!

От жалости вся сморщившись, Глафира сказала:

— Ну, что вы, Костя, зачем? Вы ведь знаете, что я вас тоже... зачем говорить...

Костя улыбнулся прозрачно-покорно: теперь — хорошо помереть. Туман... Туманом заволокло Глафиру, последней ушла она от Кости. Конец, тихо все, сладко — и если б только маманя не брызгала в лицо водой... Но Потифорна все брызгала: Костя открыл глаза еще раз...

* * *

Так бы, может, Костя и помер, да втесался тут отец Петр — с баклановкой со своей; баклановка у него была — ото всех болезней помога. В баклановке первое — конечно, водка, всем лекарствам мать; а в водку — красный сургуч толченный положен, да корень-калган, да перцу индейского красного же, да еще кой-чего, что берег в секрете отец Петр.

С баклановки ли с этой огневой или просто с радости великой — стал Костя жить помалу. На Крестопоклонной встал с постели: еще ветром качало, зеленый, длинный — скворешня живая; Костин озябший носик — усох, стал еще меньше, еще жалостней.

Потифорна первым делом Костю поперла к отцу Петру, благодарить за баклановку.

— Ну-ну-ну, чего еще там, — замахал отец Петр на Костю. — Поговей постом — вот и все. Ну-ну, иди с Богом.

Протопоп сидел в углу — усталый, после обедни постовской; мохнатенький, темный — в угол забился. Несть числа у него в соборе говельщиков было. Кликали колокола целый день, шел тучей народ. С любострастием вспоминали все мелочи куриных грехов: медленный, мешкотный шепот в уши лез без конца.

Уходил протопоп из собора — будто медом обмазан и вывалян весь в пуху: мешает, пристало по всему телу. Одно только спасенье было: придя домой — выпить рюмку баклановки.

Перво-наперво после той рюмки — пойдет тончайший туманец в глазах, и все денное, налипшее, гинет. Тихо — не сплутнуть бы, — пригнувшись, сидит отец Петр. А протрет глаза — и уж ясно видит, настояще, яснее в сто крат, чем днем.

Тотчас за окном — веселая козья морда кивает:

— Здравствуй.

— Ну, здравствуй, ишь ты нынче какой!

В таком виде — любит их отец Петр. Вот если они принимают человеческий зрак — нашей одежи не любят они, больше все голяшом — ну, тогда уж...

Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока не заслышит: Варвара идет. Тот — дирака, конечно: в одноножку, вприскок, как малые ребята бегают. И видно отцу Петру: тряско подсакивает левое его плечо на бегу.

А голова у протопопа работает ясно-преясно:

— Не от рюмки же это, всякому видно: дело не в рюмке.

Когда подходила Варвара — глаз не открывая спрашивал протопоп:

— Это ты, Собачёя? — и явственно видел у Варвары зубы — злые, собачьи, черно-синюю шерсть.

— Что же мне с тобою делать? Опять ты? — кричала Собачёя злая, кусала отца Петра: в руки, преимущественно, и в ляжки.

Наутро, за чаем, заплаканная — говорила:

— Какая я тебе Собачёя? Ты что на меня возводишь? Засучивал рукав отец Петр и показывал на руке:

— А это, а это — что?

И глядит — не глядит Варвара, заладила свое:

— Знать ничего не хочу, к доктору надо тебя. К доктору, хм... Нет, тут доктор не сведущ.

В Великий Четверг — Варвара в лотке купалась на кухне, Иван Павлыч по городу шлында, отец Петр сидел один.

И опять — тот же самый пришел, коземордый, и никто уже не мешал: всласть наговорился отец Петр. Очень интересные вещи рассказал коземордый и, между прочим, что у них уж начинает распространяться истинная вера и уж он, коземордый, по истинной вере пошел.

Так протопоп обрадовался — просто нету и слов. Вечером, на стоянии, между евангелий, все думал протопоп: «Ну, слава Богу, истинная вера пошла и там. А то жалко их было — беда...» — радостно бил протопоп поклоны за истинную веру.

И еще одна в соборе курилась к Богу радостная молитва: Кости Едыткина. Благодарил он за все огулом: и за то, что сподобился он таланта — стихи писать; и за чин четырнадцатого класса; и самое главное — за то, что он стоял сейчас рядом с Глафирой.

В соборе свет, свечи у всех. Протопоп вычитывает Страсти не спеша, истово. Костя в новой тужурке, сердце полно. Глаза опустив, сладко видеть Глафирину милую руку; наклеивать, как и она, метинки на свече — евангельям счет, уколиться украдкой о теплый локоть...

От стояния несли домой четверговый огонь. Людей в теми не видать — только огоньки текут. Вот уж в зарежье — свернули в проулки — загасли. Тихо.

Костя прикрывал свечу фуражкой. На росстани трех переулков взглянул на Глафиру, все забыл, забыл про свечу — и задуло ветром огонь.

Попросил огня у Глафиры. Дрожали руки, долго не мог попасть. И когда наконец зажег — сладко сжалось сердце у Кости: предвещаньем каким-то, навек нерушимым, было соединение их свечей. И огненному знаку так крепко поверил Костя, что, нагнувшись к Глафире, спросил:

— А когда же... свадьба?

Раздумчиво поглядела Глафира куда-то мимо Кости, ничего не сказала.

5. ВЕЛИКИЙ ЯЗЫК

Дворянин Иван Павлыч стал у князя доверенным человеком: от Ивана Павлыча и пошел тот слух, что на Пасхе объявит князь свою тайну и всех пригласит.

— Да к чему пригласит-то?

— А вот, погодите маленько, все объяснится, — с ехидной приятностью отвечал Иван Павлыч.

Еле дождались Пасхи. День выпал на славу. С утра сусальным золотом солнце покрыло Алатырь — стал город, как престольный образ. Красный трезвон бренчал серебром весь день. Веселая зелень трав расстелила сукно торжественной встречи. И напротив самых присутственных мест — топтала сукно свинья...

Князь с визитами ездил задумчив: хорошо бы и правда — в такой день святое дело начать... Но все разговелись усердно, везде на столах травнички, декокты, наливки, настойки: где уж там серьезный разговор завести?

Последняя у князя надежда была — на отца Петра: отец Петр способен — от мира сего вознестись к возвышенному. Несомненно способен: человека по глазам — сейчас видно.

Так рассуждал князь, подкатывая на линейке к отцу протопопу. Откуда ни возьмись — свинья. Хрюкнула зло на лошадь, лошадь шарахнулась, ляскнул зубами князь, еле усидел. Вошел к протопопу расстроенный.

— Отец по приходу ходит, — вышла к князю Варвара. Повертела лампу в руках, но не зажгла почему-то.

Только тут князь приметил: а пожалуй, ведь поздно. За окном взошел месяц, ущербленный, тусменный, узкий. И таким увиделось небо жутко-пустым, таким замолкшим навек, что схватило горло, хоть вой...

Молчать было жутко. Насильно улыбнул себя князь:

— Я, знаете, к вам на живейном ехал. А на лошадь — свинья кэ-эк хрюкнет... Свиньи у вас борзые какие!

Варвара молчала, глядела в окно на месяц.

— И все у вас какие-то заборы, пустоши, пустоши, собаки воют...

Варвара прикрыла лицо руками и странно сползла со стула на пол. Князь испуганно встал.

— Не уходите... Нет! Нет! — закричала, забилась Варвара.

Такие у ней были глаза, такая жалость заныла в князе, что не было сил уйти. Сел снова на стул.

— Вот, скоро, надеюсь... Начнем общепользную работу... — забормотал князь, отвернулся: стеснялся глядеть на Варвару, такие у ней глаза...

Показалось, что-то трется у ног — протопопов пес — как же он со двора... Глянул, а у ног на полу — Собачёя-Варвара. Ласково скалила собачьи зубы, глазами молила, молила: «Ну, если не хочешь, ты хоть ударь — хоть ударь», терлась о ноги...

Охнул князь, отпихнулся, выскочил без шапки на площадь. Припустился бежать. Да нет, тут что-то не так... Оглянулся: в Протопоповых окнах темно. Но в одном темном — или это кажется только? — в темном мечется белое, как мел, лицо...

* * *

Красная Горка — свадебный день, а в Алатыре не слышать ни свадебных бубенцов, ни весело-печальных пропойных песен.

— Нет женихов, и все тут... — жалобился князю исправник, сдавая заказное письмо.

— А вы бы их... тово... поощрили властью, от Бога данной.

— Я бы рад, да не знаю как. А то бы... вас первого поощрил, — вдруг, насмелевши, брякнул исправник.

— Что ж, я... я жениться не прочь, — сконфузился припертый к стене князь.

Мимоходный этот разговор, конечно, стал известен всему городу; вновь воспрянули надежды на князя. И когда в пятницу на Фоминой получены были письма от князя с приглашением собраться на почте к восьми по самому нужнейшему делу, так все валом и повалили: весь именитый Алатырь собрался.

— Господа! По евангелию... — у князя дрогнул голос, — несть ни эллин, ни иудей, ни кто там. Все — одно стадо. А что же мы, господа?

Князь строго поглядел на всех. Кто-то сокрушенно вздохнул.

— В стаде — разве по-разному блеют? А мы — кто по-каковскому, всяк по-своему. Отсюда и война, и всякая такая дрянь, а ежели бы как стадо... На одном на великом языке эсперанте весь мир — то настала бы жизнь прекрасная и всеобщая любовь... До последнего окончания мира...

— Господи, а мы-то... Мы давно подумывали, богадельню или бы что. И вдруг — прямо, то есть в самую точку... — растроганный исправник полез целоваться к князю.

А за ним и все зашумели, затеснились к князю, умильно зарились на него, как коты на сметану, с любострастием лобызали небритую князеву щеку.

Оказался у князя полнехонек лист подписей. Больше всего тут было девьих имен. Но отраднo, что обнаружилась жажда знаний и во многих почтенных, немолодых уже людях: записался исправник, Родивон Родивоныч, Левин — аптекарь, отец Петр — протопоп, дворянин Иван Павлыч. Князь был донельзя доволен.

Никогда еще в Алатыре не было такого страдного лета. Бывало, румяным летним вечером всяк прохлаждался по угожеству своему. Кто подородней — в чем мать родила попивал квас в садике под яблонькой; кто поприлежней — сидел над синим омутом, выуживая склизких линей; кто посмирней пред супругой — исправника взять — на крылечке исправник чистил вишню-владимирку для варенья.

А уж нынче каюк житью прохладному. Как отзвонит в соборе восемь часов, тут какая погода ни будь, соловьи от натуги хоть тресни, а надо идти к князю на учебу. И только в Алатыре трое дурных — в охотку бегут учиться: Костя Едыткин, Глафира исправникова да Варвара-протопопова.

Костя являлся на уроки неизменно первым. Ревниво стерег он свое сладкое место — рядом с Глафирой. Приносил Глафирины тетрадки, клал их от себя по правую руку, садился и долго ожидал в тихой темноте.

«Глафира — супруга моей жизни, это уж нерушимо. А после ней первый человек — господин почмистер, в связи его международного языка. Ежели стихи пропечатать на международном языке, так это уж будут знать во всем мире...» Хорошо — в темноте помечтать!

К девяти полыхают все лампы, к девяти — многолюдная почта, больше всего барышень. Шушуканье, шелест шел-

ковых лент, миганье тайных зеркальцев, зависть змеиная к этим бесовкам — к Глафире да к Варваре: всегда назубок все знают, так и чеканят.

— Полюбили, некстати больно, науку...

— Зна-аем мы науку эту самую, зна-аем!

Родивон Родивоныч ходил печальный, жаловался:

— Жизнь-то на старости лет какие преподносит нюансы... из трех пальцев... Сиди вот с тетрадкой. А главное, при моем почти что придворном звании... Не-ет, я брошу!

А бросить — с князем рассор навек, прощай все надежды. Нет уж, видно, единокровных своих ради придется терпеть.

И крепилась, терпели отцы. Кряхтя, косоурясь на князя, ладили все примоститься поближе к Глафире либо к Варваре.

— *Leono esta forta. La denta esta acra...* — расхаживая, громогласно диктовал князь и нарочно крал окончания слов: пусть поупражняются... Счастливым светом сиял его странный, бесподбородочный лик: князь святое дело творил, князь сейчас был первосвященником. Вот еще немножко, лет десяток-другой, и наступит всеобщая любовь.

Проходя мимо Ивана Павлыча, князь заметил: «Какой у него хороший, внимательный взгляд...» Внимательным взглядом проводил Иван Павлыч князя, тотчас привстал и запустил глаза напы в тетрадку к Глафире — Глафира впереди сидит:

— *Esta — эс на конце, acra — эс на конце...* — шептал Иван Павлыч исправнику.

— Да не слышу же, ч-черт! Громче... — кипятился исправник.

Но князь уж повернулся — и вмиг все гладко и тихо: исправник — над своей тетрадкой; как урытый — сидит Иван Павлыч, с приятностью на лице...

6. ЕПАРХИЯ ЗЕЛЕНЕНЬКАЯ

В родительскую субботу — Мишка, бывший столяр, а нынче просто алахарь, бегал по городу с клейстером и клеил афиши на фонарных столбах, на бесконечных заборах. Посреди афиши били в глаза крупные буквы:

А ТАК ЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ АНГЛИЧАНКИ СЕСТРЫ ГРЪЙ

Из губернии приехали — показывать туманные картины. Укланяли князя: отменил князь урок всемирного языка, и всем карагодом повалили глядеть эти самые туманные картины.

Как-то случилось — оттерли Костю в проходе, и не споманился он занять себе местечко рядом с Глафирой: с нею сел князь, а Костя — позади. Рядом с ним оказался дворянин Иван Павлыч.

Хотел Костя загорюниться, что Глафира — не с ним, да не успел: вылезли на полотно, завертелись, зажили, залюбили полотняные люди.

...Неслышно, как кошка, красавица крадется на свидание к маркизу. Сейчас вот, сейчас ступит на секретную плитку, сейчас — ухнет плита, глонет красавицу подземелье.

Костя вскочил — может быть, чтобы крикнуть красавице про плитку.

Иван Павлыч осадил Костю вниз за рукав. Но это все равно: красавица видела, как махнул ей Костя рукой, миновала проклятое место.

...И вот — вдвоем. Долго ей смотрит в глаза — маркиз или князь он? — и они медленно клонятся друг к другу, вот — близко, вот — волосы их смешались.

Вдруг Косте показалось, что вовсе это не на полотне, а Глафира и князь: клонятся, клонятся, прижались щекой к щеке...

Мрет сердце у Кости, протирает глаза: пригласилось только или...

Но мигнувший миг — уже не поймать: ярко загорелись лампы, ждет новых людей полотно, Иван Павлыч смеется:

— Хи-хи, чудород-то какой наш Костя: красавицу полотняную увидал — и вскочил. Побеседовать, что ли, с нею хотел?

— Да ведь он же — поэт, поэту — все можно, — заступилась Глафира, она стояла о бок князя, очень близко.

«Конечно, попритчилось, пригласилось все...» — решил Костя по дороге домой. Но червячок какой-то сама собой — не слушался слов, точил и точил...

В ночь на Покров пошел шапками снег. Выбежал Костя утром — нет ничего: ни постылого проулка с кучами золы, ни кривобокой ихней избы. Все белое, милое, тихое —

и какая-то нынче начнется новая жизнь. Не может же быть, чтобы стало так — и чтобы все по-прежнему было?

На Покров Костя обедал у исправника. После обеда сидели в гостиной. Дворянин Иван Павлыч — что-то пошущукался с Глафирой, взмахнул рыжей поддевкой — и подсел к Косте. Разговор повел с приятностью, тонко:

— Вязь-то какая прекрасная, а? Прямо талант, дар Божий... — Иван Павлыч любовался вязаной салфеткой. — А-а... вы, говорят, тоже... тово... пишете? — повернулся он к Косте.

— А вы — откуда же... откуда же вам известно? — покраснел от радости Костя.

— Как откуда? Про вас в журналах пишут, а вы и не знаете... — и протянул Иван Павлыч Косте свежий номер Епархиальных Ведомостей.

В самом конце, после «печатать разрешается», были три неровные строчки: «Что же касается стихотворений молодого писателя Едыткина, то таковые мы считаем отнести к высшей литературе».

Хотел что-то сказать Костя, но схватило за горло: стоял, совершенно убитый счастьем. Где же Косте узнать, что напечатаны эти строчки в типографии купца Агаркова по личной Ивана Павлыча просьбе?

Ночью Костя — и спал, и не спал. Глаза закроет — и сейчас же ему видится: будто он над епархией все летает, а епархия — зелененькая и так, невеличка, вроде, сказать бы, выгона. И машут ему платочками снизу: знают все, что летает Константин Едыткин.

Ну, теперь уж, хочешь — не хочешь, надо писать. Предварительно Костя перечел еще раз Догматическое Божесловие — самую любимую свою книгу, потому что все было там непонятно, возвышенно. А потом уж засел писать серьезные сочинения в десяти главах: довольно стихами-то баловаться.

Писал по ночам. Потифорна самосильно посвистывала носом во сне. Усачи-тараканы звонко шлепались об пол. В тишине — металась, трещала свеча. В тишине — свечой негоримо-горючей Костя горел. Писал о служении женщинам; о любви вне пределов, вне чисел земных; о восьмом вселенском соборе, где возглашен будет символ новой веры: ведь Бог-то, оказывается, — женского рода... Так близко сверкали слова, кажется — только бери. Ан

глядь — на бумаге-то злое, другое: уж такая мука, такая мука!

В вечер Михайлова дня — Костя публично читал свое сочинение в гостиной у исправника. Бледный, как месяц и ущерб, покорно улыбнутый навеки, стоял — трепетала тетрадка в руках. Поглядел еще раз молитвенно на Глафиру...

— Ну, господа, тише, тише, сейчас начинает, — съелся Иван Павлыч, как бес.

В тишине, чуть слышно прочел Костя:

— Заглавие: «Внутренний женский догмат Божества».

Неслышно-взволнованно горели лампы. Чужим голосом читал Костя. Публика глядела в землю, и не понять было, нравится ей Костино сочинение или нет.

Костя дошел до второй главы, самой лучшей и самой возвышенной: о восьмом вселенском соборе. Голосом выше забрал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религиозно-супружеской жизни.

Тут вот и прорвало. Не стерпев, первым фыркнул исправник, за ним — подхватил Иван Павлыч, а уж там покатались и все — и всех пуще звенела Глафира.

Проснулась исправничиха, брыкнула свой стул со страху:

— Да что ж это, батюшки, где загорелось-то? — смех еще пущий.

...Как заяц, забился Костя в запечье, в спальне исправничихой. Голову, голову-то куда-нибудь, главное, спрятать. Голову-то хоть спрятать бы!

Старинным старушечьим сердцем одна исправничиха пожалела, одна разыскала, одна утешала Костю.

— Да что ж это, батюшка, чего ты сбежал-то? Ты думаешь что? Это ведь я со сна чебурахнулась вниз головой, надо мной грохотали, старухой, а ты думал что? Экие гордецы нонче все: уж сейчас на свой счет...

Костя поднял голову, Костя хватался за соломинку, глазами молил о чем-то исправничиху.

Услыхала исправничиха, уткнула себе в колени Костину голову:

— Иль мне уж не веришь? Я не Иван Павлыч какой-нибудь, я обманывать не стану.

— Я ве-ерю... — захлебнулся Костя слезами.

7. В СЕРЕБРЯНЫЕ ЛЕСА

Вышла зима больно студеная, такой полста лет не бывало. Обманно-радостное, в радужных двух кругах, выплывало лдяное солнце. От стыди от лютой — напылы треснул древлией алатырь-камень.

— Ну-у, быть беде, — крушились алатырцы.

А пока, до беде, засели покрепче в мурьях, еще пуще предались сновиденной жизни — всякий своей. Исправник изобретал; Родивон Родивоныч — выписал «Готский Альманах» и услаждался; Костя горестно вернулся к стихам; протопоп отец Петр беседовал с своим коземордым; все тем же горбоносым горела Глафира; а князь проповедовал великий язык эсперанто...

Что-то рассохлось, разладилось дело у князя. Все чаще на почту приходили кучера — с усами в сосульках — и вручали князю записки: не могу, мол, быть на уроке по случаю внезапной болезни. Вовсе отстал Родивон Родивоныч, не стерпел — исправник отстал, поредели ряды девиц. Князь понял, что надеяться можно только на двух: на Глафиру — да еще на Варвару. Вот уж эти действительно любят великий язык: так и чеканят, так и тачают друг перед дружкой. Улыбался князь то одной, то другой:

— От-лично, пре-красно...

Глафира и видеть теперь не могла Варвару. А Варвара, черносиневолая, с ласково-злой улыбкой все лезла к Глафире, все норовила обнять. Не стерпев, однажды Глафира сказала:

— Ты что лезешь? Думаешь, я не знаю, кто мне на масленой платье прочекрыжил? Зна-аю, голубушка, знаю!

— А я, думаешь, не знаю, как ты себе бороду на подбродке стрыгешь? Ште, съела?

С той поры — ни слова: конец. И только при встречах, как гуси, зловеще шипели...

После уроков усталый расхаживал князь по почте. Трудно, ох как трудно! Но все-таки на один день ближе к тому празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном языке, запоют и обымут друг друга, и кончится старая жизнь.

На полу — окурки, крошки (ученикам полагался ситный от почтмейстера и чай), шпильки, бумажки. Князь

риссеянно подымал, разглядывал. Рожи, росчерки. «Кн. Искатерина Вад.». «Катька, ты дура набитая». «А я его не-таки обожаю». Попадались часто записки отца Петра — к соседу его по урокам аптекарю Левину... «А вчерась явился он мне телешом. Это уж пакостно даже глядеть. Не известно ли вам какое-либо от искушений медицинское средство?»

Но все это так, пустяки. А вот последнее время — в самом деле, какие-то странные пошли записки. Находил их князь на своем столе, под подушкой, в карманах: Бог их знает — как туда попадали. Чуть-чуть надушены были эти записки и всегда — на великом всемирном языке.

«Mi amas tin, amas, amas — a... a... a... — amas», — подряд — без конца. Нарочный, изломанный почерк.

Под великим секретом — показал князь Ивану Павлычу. Иван Павлыч кряхтел, и без лупы разглядывал, и в лупу:

— Исправникова Глафирка, голову даю на отсечение! Кому же еще по-эсперанту так ловко?

А наавтра — новое князю:

«Милый, милый — я тебе всё...»

И конец. И молчок. Расхаживал князь, счастливый.

«Милый, будет ночь, темно, и все, что велишь...» — и конец, и ни слова.

Кто научил ее так — лукавому знать. Будто вот плясала перед князем, вся в черном. Вдруг откинула складки — сверкнула на черном розово-нежно. И конец. И снова колышется тяжелый покров, и манит, и манит без конца глядеть, не мелькнет ли еще...

Длинным व्यюжным вечером смотрел князь в узорно-морозные окна, потихоньку бродил меж серебряных деревьев — и все возвращался к одному: к несказанному, к мелькнувшему. Ее — никогда не называл князь: Глафирка, — как Иван Павлыч, а всегда говорил: она.

Неприметно и плавно, как цветы расцветают, она медленно зрела из исправниковой Глафиры — и вот в декабре она уже стала жить самолично, сама по себе. По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто: получи теперь князь от нее хоть слово по-русски — он счел бы это противоестественным, был бы даже оскорблен. Пома-лу связал ее князь с великим языком воедино.

Всякое эсперантское слово — теперь вдвойне сладко

князю: ведь это — ее слова. В ее синих, глубочайших глазах — пленен весь мир. И равно — всем миром владеет язык эсперанто...

«...Да что — всем миром: всей вселенной. На Венере какой-нибудь, венерические тамошние жители — тоже, по-ди, эсперанто знают. А как же? Обязательно знают».

Так мечталось князю. Так все дальше в серебряные леса уходил князь от скучной правды. Бывшей правде, княгине, проживавшей в Сапожке у отца своего — протоиерея, князь давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с глазу на глаз: может, и правда — Глафира пишет записки, но не надо это з н а т ь.

Вечера князь просиживал дома, а за полночь — шел гулять. Ночью удобно думать: пустые, просторные, снежные улицы, влекущие огни лампадок в окнах, бродил и бродил.

...А следом за князем, темной тенью у стен крался Костя. Тенью за князем Костя следил теперь и денно, и ночью: надо узнать наверняка, что у него с Глафирой. Хоть самое... хоть самое страшное, да только бы наверно. Без верного — совсем невтерпеж. Глафире хоть Костя и верит — как же не верить-то, Господи? — но вот Иван Павлыч говорит, что она...

Дворянин Иван Павлыч — добрейшей души человек, но есть за ним грех: медом его не корми, только бы над кем шутку сыграть (над ним самим-то — больно много шутили).

В запрошлом году — Иван Павлыч подъехал к Агаркову-гостинику, к градскому голове: подпали да подпали амбар агарковский старый.

— Во-от, не верит, чуждак! — улещал купца Иван Павлыч. — Страховые за амбар громадные, новый-то амбар возведешь вдвое шире...

У Агаркова борода лопатой, а ума не богато: поверил Ивану Павлычу, запалил свой амбар. И самое когда это подпаливать стал, нагрянули тут, раба божия — под белые ручки да на цугундер. Дорого купцу новый амбар обошелся: куда там — страховые! А уж кто это начальство уведомил — Агарков так и не дознался. Сам Иван Павлыч повинного взялся искать, ну даже и он не нашел. А то вот еще с чиновником Зюньзей случай был. Смеха для — про-

книжник какой-то подметное письмо настрочил чиновнику Зюньзе: так, мол, и так, жена-то твоя тово... кургузит, а ты, мол, и ухом не ведешь? И назавтра чиновник Зюньзя ныволок молодую наружу и при всем честном народе стал ее учить. А народ — как будто был повешен, без числа собрался: уж было потехи!

— ...Да, брат Костюня, Глафирочке твоей нынче минь! — подзуживал Иван Павлыч, подталдыкивал Костю. — Нынче в четыре часа пополудни — решительное свидание... Чуда-ак, да ведь князь мне записку показывал, как же не знать-то? У алатырь-камня свидание, и оттуда — ау: самокруткой, да к князю на почту, так-то-с вот.

Костя покорно плелся к алатырю-камню. В синих сумерках бродил Костя час и другой. Тихо сыпался снег. Тихо точила тоска. Рассевшийся наполю темный алатырь — нещел беду. Навалился алатырь — сонный медведь — под себя подмял: продыхнуть невозможно. Никакого свидания, никто не приходил. Поздним вечером Костя, весь замерзший, тащился на почту: там теперь, в боковушке, жил Иван Павлыч.

— Ну что, брат Костюня, никого? Эх ты, Господи, стало быть, ослышался я: это завтра... Эх, я какой!

— Это вы нарочно все, Иван Павлыч.

— Это я-то нарочно? Я ему по дружбе, а он на-ка: нарочно. Эх, Коська, не знаешь ты, какой я есть, Иван Павлыч...

Ставил Иван Павлыч бутылку на стол. Костя пил. Едучим дымом застилался весь свет, и в дыму возникал светлый лик владычицы, сладкой мучительницы, Глафиры.

Посыпая тетрадку слезами, декламировал Костя:

В моей груди — мечта стоит,
А милая Глафира — ко мне презрит...

Выпивши, Костя спал как убитый. Но не было покоя и во сне. Присыпался все один и тот же, несуразный и будто ничего не значащий сон: забыл будто Костя, как его зовут, забыл — и весь сказ, и весь страшный сон тут. Но таким стоном охал Костя во сне, что Потифорна принималась его будить. Оно хоть и жалко — будить, но слушать стон — еще жальче.

8. СВЯТОЧНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Тосподи, да ведь нет ничего проще, как из обыкновенной холстины — приготовить наилучшее непромокаемое сукно. Удивительно даже, как раньше Ивану Макарычу это в голову не пришло: давно бы двести тысяч в банке лежало.

Заперся в кабинете Иван Макарыч и сел записывать, пока не забыл:

«Для сего надо в первую очередь изрубить возможно мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит: во-первых, двенадцать долей именуемого в просторечии сапожного вару...»

Построил Иван Макарыч непромокаемое сукно — и решил оказать всенародно свое великое изобретение. На святках, на третий день, поназвал исправник гостей, позажёл в кабинете лампы со всего дому. Кошкарёв, околоток, в белых перчатках, высоко напоказ — поднял мешок из исправникова сукна, полный водою. До того удивительно: держалась вода, как в хорошем ведре.

...А на пятой, на последней, минуте — сукно-то возьми да и промокни, при всем честном народе. Ах ты, сделай одолжение! Глядит на ручки исправник — будто ручьев никогда не видал, только ватные брюки свои подтягивает.

Гости смолчали, никто — ни смешинки.

— Вода... неподходящая, должно быть. Разная она бывает — вода-то, — с приятностью сказал Иван Павлыч.

Тут уж протопоп отец Петр — не стерпел, засмеялся. А ему ведь только начать смеяться, а там и не уймешь: смешливый. Трясется стоит — весь обсыпан смехом, как хмелем, мохнатенький, маленький — звонит и звонит.

Исправник — инда пополовел. Дверью хлопнул — только его гости и видели.

Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались святочные происшествия. На четвертый день — протопоп кончил ходить по приходу. Изусталый вернулся домой. Пообедал изрядно, баклановки рюмочку выпил, разоблачился — и лег отдохнуть.

И часу этак в шестом — произошло: явился он телешом и был он теперь в женском образе. Вся та поганая баба была, как киноварь, красная и так мерзостно вихлялась,

что терпеть было нельзя ни минуты. Отец Петр — подавай Юг ноги: выскочил вон без оглядки, весь в белом, бежал-бежал...

Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал возле алатыря-камня. Поймал и тотчас предоставил к начальству.

И как исправник был еще во гневе, то он и потребовал:

— Паспорт имеешь? Ты из каких это будешь вообще?

— Иван Макарыч, Бог с вами, да ведь это же я, это я...

— Я вижу, что я. Якать-то всякий умеет. Ты мне подай вид на жительство!

Кто же с собой вид берет, убегая наваждения дьявольского? Нет уж, видно, придется протопопу ночь ночевать в кутузке.

А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему чаю. Поставила загнутый на четыре угла пирог — с четырьмя разными начинками; поставила баклановку — в глиняной сулее; поставила кусок мороженных сливок — и пошла протопопа будить. А протопопа — и след простыл: брюки тут, подрясник — тут, а самого — поминай как звали. Побегала Варвара гончей по отцовым следам... Ворвалась к исправничихе, всполыхнула ее своей жалобой, исправничиха покатила и грозно надела на исправника:

— Да ты что же это такое? С последнего спятил? В кутузку — отца своего духовного, а? Сейчас чтобы лошадь велел заперчь и домой отца протопопа доставить... а то — знаешь?

В гостиной, в углу, Варвара ждала резолюции. А к Варваре спиной — у окна закаменела Глафира, будто и не видит Варвары. Но вошедшей исправничихе был явственно слышен злоеющий гусиный шип.

Распалилась исправничиха — решила уж заодно вычитать все и Варваре.

— Ты что у меня там с князем ворожишь? Какие такие записки?

— Ваша Глафирка пишет — это все говорят, — а я виновата?

— А ну-ка, глянь-ка мне прямо в глаза, ну-ка, ну?

Но глаза показать Варвара не хотела: неведомо как проюркнула мимо слоновых растопыренных рук, вильнула хвостом — и была такова...

Про записки на великом всемирном языке, которые князь от нее получал, в самом деле по городу шел слухок, хотя это дело князь держал в строгом секрете, только одному Ивану Павлычу и доверил. А знали — всё, даже и это, что она назначала свидания князю, а князь не ходил.

Не ходил князь. Жалко было князю рушить взлелеянный нежно обман. И знал, что неловко не ходить, знал, что ждала. Но не мог, не мог князь, жалко было пойти.

Под Крещение — опять получилась записка. Нарочно, чтоб сладко помучиться, князь не распечатывал записку до вечерней звезды. Распечатал — и...

«Я тебя, проклятого, целый час ждала, — на морозе-то, думаешь, сладко? Тоже, называется — князь! Ну, если завтра не придешь на то же самое место, вот ей-Богу, уйду — и больше ни писать, ничего. Наплевать, не больно нужен-то, хоть будь ты раскнязь».

И это было уж не на великом всемирном языке, а на грубом, земном. Это уж — не о н а, она — умерла. Теперь — все равно. Ну что ж, можно и пойти, все равно.

Назначено было: в девять часов утра, на катке. Не спалось, князь вышел задолго. Солнце горело обманным ледяным огнем. Колокола пели холодными голосами.

Приглядевшись получше, почтмейстер заметил: на снегу — как запах — легчайшая алость, смертный румянец зари. Вдохнулось...

В углу на катке — конурка, вроде собачьей: грелка, а также обитель татарина — держателя катка. На лавке возле конурки — в валяных калошах сидела она. Черно-синие космы волос, собачьи глаза.

— Варвара Петро... — остолбенел князь. «Бежать, бежать...»

Но глаза — такие были глаза у Варвары, так молила: «Ну, хоть ударь, господин мой, хоть ударь...» Не мог князь уйти, разрушенный весь дотла — остался...

В соборе к водосвятию звонили — медленно, мерно. Все готовили — кто кувшинчик, кто чайник — ринуться благочестиво к чану с святой водой. А Костя, бросив свою посуду, во весь дух бежал из собора: только сейчас ему Иван Павлыч сказал всерьез, что на катке — решительное свидание у князя с Глафирой. Не хватало дыхания — хлебал Костя воздух ртом, как рыба. Сейчас — все — конец...

И вдруг вместо смерти — жизнь: на катке — Варвара. Князь и — Варвара. Варвара, вот кто! А Глафира...

— Прости, прости, богочтимая, — с катка мчался Костя к Глафире...

Оголтело влетел в светелку — и бух на колени:

— Прости, прости, богочтимая!

Глафира перед зеркалом выстригала волосы на подбородке: растут и растут, проклятые. Поглядела косо на Костю, на руки, молитвенно сложенные, на слезинки между веснушек, на озябший, жалостный носик.

— Ну, чего разнюнился-то?

— ...А на катке-то Варвара с князем, вот кто: Варвара... Прости, богочтимая... — блаженно, с закрытыми глазами, Костя стоял на коленях.

Сверкнуло зеркало вдребезги об пол.

— А-а, на катке-е? Да пусти ты с дороги! Ну? Пусти... — Глафира отпихнула Костю и помчалась туда.

Молния ночью жигнет — и все видно ясно: листок на дороге, седой волос в виске, вихор соломы под застрехой. Так вот и Костя сейчас: все до капли увидел...

Потифорна пришла домой с базару, веселая. Базарным дробным говором застрекотала:

— Костюнька-а, происшествие-то нынче какое, слышал? На катке-то?

Костя лежал на укладке — поднял голову...

— ...Поцапались за князя, ну и бесстыжие, а? Клубком завились, по катку покатались, ну, срамота-а! Варька, Собачёя-то, в кровь искусила исправникову. Вот он — князь мира-то сего, дьявол-то!

Костю вдруг осенило: князь мира сего, вот оно что ведь. И язык его этот самый... Всех погубил, всех опутал — князь мира.

Утром Костя встал чем свет, прошел на цыпочках мимо мамани, подмигнул ей прехитро — и марш на почту.

На почте еще ни души. Один сторож Ипат — подметал полы. Тот самый Ипат, какого собака-то бешеная укусила. Вылечиться — хоть вылечился Ипат, но по сию пору считался опасен, и рисковала держать его только казна.

Нанес Костя снегу, Ипат заругался. Но Косте было не до Ипата... Сел за свой столик, взял телеграфный бланк — и на нем написал письмо. Слова сумасшедшие скакали, иные были — на языке, ведомом одному Косте. Но все же

разобрать было можно: Костя открывал князю, что он, князь, — есть диавол, князь мира, и подлежит...

Князь мира вошел. Сел за свой стол, печально-рассеян. Поглядел на пустое Глафирино место. Стал составлять телеграмму в город Сапожок.

Костя молча подал князю свое письмо. И когда князь изумленно перевел на Костю глаза — Костя взял со стола стальную линейку и замахнулся. Князь прикрыл руками голову, положил ее на стол и покорно, не шевелясь, ждал. И так Косте стало жалко его — хоть он и князь мира, — и жалко себя, и Глафиру, и весь Алатырь, что выпустил он линейку из рук и завопил смертным голосом:

— Пропали мы! Пропали, пропали...

Громыхнула линейка на пол.

Костю вели в острог — окружили толпой: не вырвался бы, убийца проклятый. Ну и народ же нынче пошел... а еще чиновник! На князя нашего покусился, а?

Алатырь проснулся, галдел, махал руками. Поднимались на цыпочках — на убийца поглядеть.

— Ты, гляди, Ипат, не упусти! Держи его крепко, — кричали Ипату, бешеному.

— Я крепко и то... — И, поглядев исподлобья, Ипат — невзначай будто — сунул Косте пятак: бери, пригодится.

Костя покорно взял пятак, улыбнулся покорно. Но тут же и разжал руку. И пропал Ипатов пятак: затоптали.

Студенческий сынок

- Когда я буду большим, папа,

я буду извозчиком... И у меня будет много, много лошадей...

— Вечно ты глупости говоришь, милый...

— Какие глупости? Ты и сам будешь доволен, папа: когда ты умрешь, я сам отвезу тебя на кладбище!

<1914>

Сидит Дашутка у окна, виден

между крыш верешок неба. На небо поглядывает и письмо диктует — матери, в село Яблоново, письмо. Разошлась Дашутка и все правила письменные позабыла: уж на третью четвертушку перелезли — а она все диктует.

— «...А еще — в городе очень великолепно, правда истинная. Господа — богаты, и не как-нибудь, а чай пьем трожды в день, и дом ихний называемый обсобняк. Барыня — ласковая, дорит платки носовые шелковые с своего плеча, а то еще платье подарила, голубое шелковое, ненадеванное. И все это я по вечерам хожу и прелестно там танцую, очень свободно. А в субботу отпросилась в собор ко всенощной, а в соборе — мощей видимо-невидимо: направо — моща, налево — моща, ну прямо — проходу нет, очень великолепно. А также Иван Андреянов за меня сватается, старший дворник, который над всем домом старший, а дом огромный, в шесть этажей, и всякого добра видимо-невидимо.

А вобще у нас всякая швабра живет, одно слово — свита. Только звание, что господа, а тоже третий месяц за квартиру не платят. А барыня — взгальная, ну прямо вот покою не дает. И в лавку тебя гоняет, и на почтву гоняет, и в аптеку беги: ка-ак же, аверьяновых капель ей надо, с своим расцапалась! Ну, просто мочи моей нету. Ночью-то ляжешь, а ноги так и гудут, чисто колокол, правда истинная. А также жалования шесть рублей, и никуда со двора не пускают, хоть бы в церковь сбежать когда, морду перекрестить — и то нельзя, и юбка голубая шелковая на животе прожжена, которую барыня к празднику подарила, а я

и говорю: на кой мне ляд такая нужна, прожженная — очень свободно, так и говорю.

А дворник Ванька проходу не дает, прямо за грудки, а сам лысичий, старищий — чистый грех страшный, и кила на макушке. Так бы вот его и огрела по башке чем ни попадя: туда-а же, с руками своими лезет, облезлый! А поди-ка ты ему поперек слово скажи, как он называемый старший дворник и над всем домом старший, а в доме в нашем шесть этажей, и все живут зажиточные, третьеводнись один на машине приехал, так в самый дом и вкатил, как перед истинным, очень свободно. И фонари на улицах цельную ночь полыхают, светло — чисто день белый, иди — куда хочешь, очень великолепно, не то что у вас, в селе. А только нету в городе купыря, и ни за какие деньги не найдешь, а у нас в огороде купыря, поди, сколько хочешь. Выйтить бы теперь на огород босиком, и чтоб земля праховая была под ногами, и взять бы купыря пожевать, и больше ничего и не надо. Только об этом и во сне вижу, как бы в Яблоново к вам попасть, по огороду соскучилась, мочи моей нет, каждый вечер навозрыд плачу. И спасибо тебе, мамынька, что дозволила мне в город на место итить, а то бы так всю жизнь темной и жила в селе дура душой. А теперь хорошую жизнь увидала и будет про что на старости лет вспомнать, правда истинная...»

<1917>

1. ИНОРОДНОЕ ТЕЛО

Викарий Дьюли — был, конечно,

тот самый Дьюли, гордость Джесмонда и автор книги «Завет Принудительного Спасения». Расписания, составленные согласно «Завету», были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приема пищи; расписание дней покаяния (два раза в неделю); расписание пользования свежим воздухом; расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих — одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли, где были выписаны субботы каждой третьей недели.

Первое время, случалось, миссис Дьюли сходила с рельс и пыталась в неподобающий день сесть к викарию на колени или заняться благотворительностью в неурочное время. Но всякий раз мистер Дьюли, с ослепительной золотой улыбкой (у него было восемь коронок на зубах) и с присущим ему тактом — объяснял:

— Дорогая моя, это, конечно, пустячное уклонение. Но вы помните главу вторую моего «Завета»: жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели. С механической — понимаете? И если нарушается работа хотя бы маленького колеса... Ну, да вы понимаете...

Миссис Дьюли, конечно, понимала. С книгой, она опять надолго усаживалась у окна. Жила, тосковала между глав романа. Через год в зеркале с удивлением видела новую морщинку у глаз: как, неужели — год? День и другой не могла читать. У окна, в странном ожидании, смот-

рела на улицу, на вылезавших из красного трамвая людей, на быстрые, распухающие облака. А мистер Дьюли, поглядывая на часы, занимался покаянием, физическим трудом, благотворительностью — и радовался: так стройно и точно работает машина.

К сожалению, ни одна машина не обеспечена от поломки, если в колеса попадает инородное тело. Так случилось однажды и с машиной викария Дьюли.

Было это в воскресенье, в марте, когда мистер Дьюли возвращался домой после утренней службы в церкви Сэнт-Инох. Жужжали велосипеды, мистер Дьюли морщился от их назойливых звонков, от слишком светлого солнца, от непростительного галдежа воробьев.

Мистер Дьюли уже переходил через улицу к своему дому, когда вдруг из-за угла вывернулся красный автомобиль. Викарий остановился, по привычке своей — заложил руки назад и перебирал пальцами, как будто отсчитывал: во-первых, во-вторых, в-третьих. И на «в-третьих» увидел: перед мчащимся красным автомобилем медленно шел субъект. Вероятно, это медленно — было не более полусекунды, но было именно так: медленно шел, и викарий успел запомнить громадные квадратные башмаки, шагающие, как грузовой трактор, медленно и непреложно.

Красный автомобиль крикнул еще раз, квадратные башмаки мелькнули в воздухе очень странно — и автомобиль стал. И тотчас остановилась вся улица. Столпились и вытягивали головы: кровь. Бобби записывал хладнокровно номер автомобиля. Рыжий джентльмен из публики наседавал на шофера, кричал и размахивал руками так, что казалось — у него было их, по крайней мере, четыре.

— Несите же в дом! — кричал четверорукий. — Чей это дом? Несите...

Тут только викарий Дьюли очнулся, ответил себе: мой дом, схватился за квадратные башмаки и стал помогать пронести раненого — мимо двери. Но маневр не удался.

— Гелло, мистер Дьюли! — крикнул четверорукий джентльмен. — Ваше преподобие, вы разрешите, конечно, внести его к вам?

Викарий радостно показал четыре золотых зуба:

— Ах, О'Келли, вы? Конечно же — несите. Эти автомобили — это просто ужасно! Вы не знаете — чей?

Но О'Келли уже был где-то внутри, и перед викарием

качались квадратные мертвые подошвы любителя прогулок под автомобилями. Викарий шел сзади и с тоской загибал пальцы:

— Завтрак. Две страницы комментариев к «Завету». Полчаса — в парке... Посещение больных...

Все это — погибло. Великая машина викария Дьюли остановилась. В запасной спальне светло-серый ковер за капали кровью, а на кровати, пустовавшей годы, водворилось инородное тело.

Сейчас должен был приехать доктор. Время завтрака — четверть второго — давно уж прошло, и викарий в библиотеке ломал голову над временным расписанием. Если, в самом деле, все передвинуть на три часа, то обед придется в одиннадцать вечера, а посещение больных — в час ночи. Положение было нелепое и безвыходное.

Когда господин викарий занимался в библиотеке, вход туда был, конечно, строжайше воспрещен. И если миссис Дьюли теперь стучала в дверь — вероятно, произошло особенное.

— Понимаете, Эдвард, это же невысказано... — щеки у миссис Дьюли горели. — Там доктор, а Кембл не хочет раздеваться, скажите ему вы. Это же просто невысказано!

— Кто это — Кембл? Этот — наверху? — викарий трепетно поднял брови.

«Этот наверху» — Кембл — лежал теперь, открывши глаза. Доктор промыл слипшиеся в крови светлые волосы. С головой оказалось благополучно, но из горла шла кровь, были какие-то внутренние повреждения, а Кембл упрямо отказывался снять пиджак.

— Послушайте, ведь вы же можете так... Бог знает что. Ведь надо же доктору знать, в чем дело... — Мистер Дьюли с ненавистью глядел на тяжелый, квадратный подбородок Кембла, упрямо мотающий: нет. — Послушайте, вы же, наконец, в чужом доме, вы заставляете всех нас ждать... — Мистер Дьюли улыбнулся, оскалив золото восьми злых зубов.

Подбородок дергался. Кембл побледнел еще больше:

— Хорошо. Я согласен, если так. Только пусть уйдет эта леди.

Викарий и доктор расстегнули пиджак мистера Кембла. Под пиджаком оказалась крахмальная манишка и затем непосредственно громадное, костлявое тело. Рубаш-

ки — не было. Это невероятно, но именно так: рубашки не было.

— Э? — вопросительно-негодующе поднял брови викарий и взглянул на доктора. Но доктор был занят: осторожно прощупывал правый бок пациента.

Внизу, в гостиной, викарий так и бросился на доктора:

— Ну что же? Ну как он?

— Мм... извиняюсь: неважно... — Доктор застегивал и расстегивал сюртук. — Два ребра, и может быть — кой-что похуже: извиняюсь. Дня через три выяснится. Надо бы его только не трогать с места.

— Как не тро... — хотел крикнуть мистер Дьюли, но тотчас же улыбнулся золотой улыбкой: — Бедный молодой человек, бедный, бедный...

Весь вечер мистер Дьюли бродил по комнатам, непристанный, и был полон ощущениями поезда, сошедшего с рельс и валяющегося вверх колесами под насыпью. Миссис Дьюли носилась где-то там со льдом и полотенцами, миссис Дьюли была занята. Опрокинувшийся поезд был предоставлен самому себе.

В половине двенадцатого викарий Дьюли отправился спать — или, может быть, не столько спать, сколько перед сном изложить свои соображения миссис Дьюли. Но кровать миссис Дьюли была еще пуста.

Случилось это в первый раз за десять лет супружеской жизни, и викарий был ошеломлен. Лежал, вперив неморгающие, как у рыб, глаза в белую пустоту соседней кровати, создавались в пустоте какие-то формы. Была полночь.

И вышло очень странное: созданная из пустоты миссис Дьюли — отрицательная миссис Дьюли — подействовала на викария так, как никогда не действовала миссис Дьюли телесная. Вот немедленно же, сейчас же, нарушить одно из расписаний — немедленно же видеть и осязать миссис Дьюли...

Викарий приподнялся и позвал — но никто не откликнулся: миссис Дьюли была занята там, у постели больного, может быть — умирающего. Что же можно возразить против исполнения долга милосердия?

Тикали часы. Викарий лежал, аккуратно сложив руки крестообразно на груди, как рекомендовалось в «Завете Спасения», — и старался убедить себя, что спит. Но когда часы пробили два — автор «Завета» услышал самого себя,

произносящего что-то совершенно неподходящее по адресу «этих безрубашечников». Впрочем, справедливость требует отметить, что тотчас же автор «Завета» мысленно загнул палец и отметил прискорбное происшествие в графе «Среда, от 9 до 10 вечера», где стояло: покаяние.

2. ПЕНСНЕ

Миссис Дьюли была близорука и ходила в пенсне. Это было пенсне без оправы, из отличных стекол с холодным блеском хрусталя. Пенсне делало миссис Дьюли великолепным экземпляром класса bespectacled women — очкатых женщин, — от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка. Но, если говорить откровенно, именно этот сквозняк покорила в свое время мистера Дьюли: у него был свой взгляд на вещи.

Как бы то ни было, совершенно достоверно, что пенсне было необходимым и, может быть, основным органом миссис Дьюли. Когда говорили о миссис Дьюли малознакомые (это были, конечно, приезжие), то говорили они так:

— А, миссис Дьюли... которая — пенсне?

Потому что без пенсне нельзя было вообразить миссис Дьюли. И вот, однако же...

В суматохе и анархии, в тот день, когда в дом викария вторглось инородное тело, — в тот исторический день миссис Дьюли потеряла пенсне. И теперь она была неузнаваема: пенсне было скорлупой, скорлупа свалилась — и около прищуренных глаз какие-то новые лучики, губы чуть раскрыты, вид — не то растерянный, не то блаженный.

Викарий положительно не узнавал миссис Дьюли.

— Послушайте, дорогая, вы бы посидели и почитали. Нельзя ведь так.

— Не могу же я — без пенсне, — отмахивалась миссис Дьюли и опять бежала наверх к больному.

Вероятно, потому что она была без пенсне, — Кембл сквозняка в ее присутствии отнюдь не чувствовал и, когда у него дело пошло на поправку — охотно и подолгу с ней болтал.

Впрочем, «болтал» — для Кембла означало скорость не более десяти слов в минуту: он не говорил, а полз, медлен-

но култыхался, как тяжело нагруженный грузовик-трактор на широчайших колесах.

Миссис Дьюли все старалась у него допытаться относительно приключения с автомобилем.

— ...Ну да, ну хорошо. Но ведь видели же вы тогда автомобиль, ведь могли же вы сойти с дороги — так отчего же не сошли?

— Я... Да, я видел, конечно... — скрипели колеса. — Но я был абсолютно уверен, что он остановится — этот автомобиль.

— Но если он не мог остановиться? Ну, вот просто — не мог?

Пауза. Медленно и тяжело переваливается трактор — все прямо — ни на дюйм с пути:

— Он должен был остановиться... — Кембл недоуменно собирал лоб в морщины: как же не мог, если он, Кембл, был уверен, что остановится! И перед его, Кембла, уверенностью — что значила непреложность переломанных ребер?

Миссис Дьюли шире раскрывала глаза и приглядывалась к Кемблу. Где-то внизу вздыхал опрокинутый поезд викария. Приливали сумерки, затопляли кровать Кембла, и скоро на поверхности плавал — торчал из-под одеяла — только упрямый квадратный башмак (башмаков Кембл не согласился снять ни за что). С квадратной уверенностью говорил — переваливался Кембл, и все у него было непреложно и твердо: на небе — закономерный Бог; величайшая на земле нация — британцы; наивысшее преступление в мире — пить чай, держа ложечку в чашке. И он, Кембл, сын покойного сэра Гарольда Кембла, не мог же он работать как простой рабочий или кого-нибудь просить, — ведь ясно же это?

— ...Платили долги сэра Чарльза, прадеда. Платил дед, потом отец — и я. Я должен был заплатить, и я продал последнее имение, и я заплатил все.

— И голодали?

— Но ведь я же говорил, ясно же, не мог же я... — Кембл обиженно замолкал.

А миссис Дьюли — она была без пенсне — нагибалась ниже и видела: верхняя губа Кембла по-ребячьи обиженно нависала. Упрямый подбородок — и обиженная губа: это было так смешно и так... Взять вот и погладить:

«Ну-у, миленький, не надо же, какой смешной...»

Но вместо этого миссис Дьюли спрашивала:

— Надеюсь, вам сегодня лучше, Кембл? Не правда ли: вы уже свободно двигаете рукой? Вот подождем, что завтра скажет доктор...

Утром приходил доктор, в скюртуке, робкий и покорный, как кролик.

— Что ж, натура, натура — самое главное. Извините: у вас великолепная натура... — бормотал доктор, смотрел вниз, в сумочку с инструментами, и в испуге ронял ее на пол, когда в комнату с шумом и треском вторгся адвокат О'Келли.

От ирландски-рыжих волос О'Келли и от множества его размахивающих рук — в комнате сразу становилось пестро и шумно.

— Ну, что же, Кембл, уже починились? Ну, конечно, конечно. Ведь у нас, англичан, головы из особенного материала. Результат бокса. Вы боксировали? Немного? Ну вот, ну вот...

Напестрив и нашумев, только под самый конец О'Келли замечал, что у него расстегнут жилет и что пришел он, в сущности, по делу; владелец автомобиля готов был немедленно же уплатить Кемблу сорок фунтов.

Кембл не удивлен был нимало:

— О, я был уверен...

Он попросил только перо и бумагу и на узком холодно-вато-голубом конверте миссис Дьюли написал чей-то адрес.

Через два дня пришел ответ. И когда Кембл читал — миссис Дьюли опять вспомнила о пенсне: вдруг вот сейчас понадобилось пенсне, беспокойно обшаривала комнату в десятый раз.

— Надеюсь, вам пишут хорошее. Я видела — почерк женский... — Миссис Дьюли усиленно рылась в аптечном шкафчике.

— О да, от матери. Я писал о деньгах. Теперь она сможет устроиться прилично.

Миссис Дьюли захлопнула шкафчик.

— Вы не поверите — я так рада, так страшно за нее рада! — Миссис Дьюли была рада в самом деле, это было видно, на щеках опять был румянец.

За завтраком миссис Дьюли, глядя куда-то мимо вика-

рия — может быть, на облака, — вдруг неожиданно улыбнулась.

— Вы в хорошем настроении сегодня, дорогая... — викарий показал две золотые коронки. — Вероятно, ваш пациент наконец поправляется?

— О да, доктор думает, в воскресенье ему можно будет выйти...

— Ну вот и великолепно, вот и великолепно! — Викарий сиял золотом всех восьми коронок. — Наконец-то мы опять заживем правильной жизнью.

— Да, кстати, — нахмурилась миссис Дьюли. — Когда же будет готово мое пенсне? Нельзя ли к воскресенью?

3. ВОСКРЕСНЫЕ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

К воскресенью в Джесмонде каменные пороги домов, как всегда, были выскоблены до белизны ослепительной. Дома пожилые, закопченные, но белые полосы порогов сверкали, как вставные зубы воскресных джентльменов.

Воскресные джентльмены, как известно, изготовлялись на одной из джесмондских фабрик и в воскресенье утром появлялись на улицах в тысячах экземпляров — вместе с воскресным номером «Журнала прихода Сэнт-Инох». Все с одинаковыми тростями и в одинаковых цилиндрах, воскресные джентльмены со вставными зубами почтенно гуляли по улицам и приветствовали двойников.

— Прекрасная погода, не правда ли?

— О, да, вчера была значительно хуже...

Затем джентльмены слушали проповедь викария Дьюли о мытаре и фарисее. Возвращаясь из церкви, каким-то чудом находили среди тысячи одинаковых, отпечатанных на фабрике, свой дом. Не торопясь обедали, разговаривая с семейством о погоде. Пели с семейством гимны и ожидали вечера, чтобы пойти с семейством в гости.

Утром в воскресенье, изумивши доктора, Кембл встал и отправился к матери. Миссис Дьюли весь день сидела у всегдашнего окна. Читать было нельзя; пенсне к воскресенью так-таки и не сделали.

«Ну, ничего, скоро сделают, и опять заживем правильной жизнью», — думалось словами викария, смотрела в

окно, неслись быстрые, распухающие облака, и надо было бежать за ними — так было надо — не могла оторвать глаз.

— Послушайте, дорогая, но ведь там уже гости... — вбежал викарий, потирая руки. Он был в превосходном настроении: скоро опять начнется правильная жизнь.

Куда-то шла миссис Дьюли, с какими-то розовыми и голубыми дамами говорила о погоде, и все неслись и пухли облака. А викарий сиял золотом восьми коронок и развивал перед розовыми и голубыми идеи «Завета Принудительного Спасения» — что означало на его барометре максимум. В сущности, не было ли это совершенно ясно: если единичная — всегда преступная и беспорядочная — воля будет заменена волей Великой Машины Государства, то с неизбежностью механической — понимаете? — механической... И механически кивала в ответ чья-то круглая, как футбольный шар, голова.

Протрещал звонок. Облака сгустились, стали в полутемной передней — и из облаков вышел Кембл. Он был чисто выбрит (подбородок стал еще квадратней) и в смокинге, хотя и поношенном. И за ним появлялся у входа еще кто-то.

И когда кто-то появился — Кембл возгласил:

— Моя мать, леди Кембл...

Все разом обернулись и смолкли, как будто случилось неловкое или неприятное, хотя ничего такого и не было. Потому что если говорить о вечернем платье леди Кембл, то что же: платье было — как платье, серого шелка, разве только чуть старомодное. Но все молчали.

Леди Кембл выступала медленно, и какая-то невидимая узда все время подтягивала ее голову вверх. Серо-желтые седые волосы, и в вырезе серого платья — шевелились мумийные, страшные плечи, и кости, кости... Так выпирает каркас в старом, сломанном ветром, зонтике.

— Я очень рад, что мы имели случай... — почтительно начал викарий. — Это приключение с автомобилем послужило... — викарий вглядывался в ее лицо: оно было самое обыкновенное, но было что-то...

— Мой покойный муж, сэр Гарольд, всегда высказывался против автомобилей... — Невидимая узда подтягивала голову все выше. — В их слишком быстром движении он находил положительно что-то невоспитанное...

Это было подмечено очень тонко: именно — невоспитанное. Викарий потирал руки:

— Совершенно с вами согласен, дорогая леди Кембл: именно — невоспитанное!

Да, это очевидно: им суждено стать друзьями... Викарий всматривался в ее лицо: нет, ничего особенного как будто. Просто показалось.

— Я очень, очень рада, что миссис Дьюли так дружна с моим сыном. Не правда ли, так приятно смотреть на них? — Леди Кембл улыбалась.

И тотчас же викарий понял, что это были — губы. Бледно-розовые, тончайшие и необычайно длинные, как черви, — они извивались, шевелили вниз и вверх хвостиками...

Миссис Дьюли оживленно о чем-то говорила и близко наклонила к Кемблу лицо: она была без пенсне.

— Пенсне еще не готово, знаете ли... — растерянно пробормотал викарий — черви ползли прямо на него — пятался — придумывал, что бы такое сказать. — Да... Вам мистер Кембл говорил: он получил предложение поступить к адвокату О'Келли. Конечно, не Бог знает что, но на первое время...

— О, нужда, конечно, заставляет согласиться, а так... О'Келли! Ведь я прожила здесь уже год... — Леди Кембл улыбалась, черви вытягивались, в извивах нацеливались на добычу.

Викарий был уже спокоен. Он вновь был автором «Завета Спасения» и благосклонно показывал золотые коронки:

— ...Единственная надежда — на благотворное влияние среды. Я не хочу приписать это себе, но вы знаете — прихожане Сэнт-Инох стоят на исключительной высоте, и я надеюсь, что мало-помалу даже О'Келли...

— О'Келли? Да, не правда ли, ужасно? — заволновались голубые и розовые дамы, и быстрее закивала футбольно-круглая голова. Футбольная голова принадлежала мистеру Мак-Интошу, а мистер Мак-Интош, как известно, знал все.

— О'Келли? Ну как же: за кулисами в «Эмпайре»... Ремингтонистки? Ну ка-ак же! Четыре ремингтонистки... — Мистер Мак-Интош, как мяч, мелькал из угла в угол — в смокинге и сине-желто-красной шотландской юбочке —

мелькал голыми коленками. Мистер Мак-Интош занимал пост Секретаря Корпорации Почетных Звонарей прихода Сэнт-Инох и, следовательно, был специалист по вопросам морали...

— Вы знаете, я бы таких, как этот О'Келли... — воодушевился Мак-Интош. Но, к сожалению, приговор его остался неопубликованным: обвиняемый явился лично, а приговоры суда по вопросам морали объявляются заочно.

— А мы только что о вас говорили. — Викарий показал адвокату два золотых зуба.

— Вероятно, изрядно успели подъюлить? — засмеялся О'Келли: он ввел в употребление глагол д ъ ю л и т ь и глаголом всякий раз огорчал викария.

— Если бы вы не опоздали, дорогой О'Келли, вы убедились бы лично. Но ведь вы по части аккуратности безнадежны...

— Я аккуратно опаздываю: это уже — аккуратность, — тряхнул рыжими вихрами О'Келли. Как всегда, он был растрепан, пиджак в каком-то пуху, одна пуговица совершенно неподходяще расстегнута. Голубые и розовые подталкивали друг друга, черви леди Кембл шевелились — и только, может быть, ничего не видела одна миссис Дьюли.

— ...Итак, утром вы переезжаете в свои комнаты и, значит, сегодня — последнюю ночь у нас... — Миссис Дьюли озябло поводила плечами: вероятно, простудилась.

Кембл стоял молча, упористо расставив ноги. Миссис Дьюли взглянула в зеркало напротив — поправить прическу, мелькнуло золото волос — золото последних листьев. Она вздрогнула и засмеялась:

— А знаете: пусть будто вы еще больны, и я, как всегда, приду положить вам компресс на ночь?

— Но ведь я же не болен? — Кембл недоуменно морщил лоб: грузовик-трактор ходил только по камню, тяжелые колеса увязали в зыбком «пусть».

Усаживались ужинать. Очень долго возился Мак-Интош: это была очень сложная операция — сесть так, чтобы не смялась его сине-желто-красная юбочка. Усевшись, мистер Мак-Интош глубокомысленно покивал футбольной головой:

— В сущности, это великая мистерия — еда, не правда ли?

Это было сказано прекрасно: мистерия. Великая мистерия протекала в молчании, и только в том углу, где си-

дел О'Келли, было рыже, пестро и шумно. О'Келли рассказывал про Париж, про какой-то надувной чемоданчик, купленный в Париже, — специально для надувания английских законов.

— ...Без багажа ведь с дамой у нас в гостиницу не пустят. И вот вы вытаскиваете из кармана, надуваете — пффф — и великолепный чемодан. В конце концов, роль закона не такая же ли, как роль ваших платьев, сударыни? Ах, извините, ваше преподобие...

Викарий треугольно поднял брови и уже в который раз поглядывал на часы: в расписании для воскресений в графе «сон» стояла цифра 11. И кроме того, этот О'Келли...

Мистерия кончалась. Воскресные джентльмены с супругами торопились по домам.

Прощаясь с Кемблом у двери его спальни, миссис Дьюли засмеялась еще раз — свеча в руке дрожала:

— Так значит — компресс?

— Нет, я же здоров, следовательно — зачем же компресс? — Свеча освещала непреложный квадратный подбородок Кембла.

Миссис Дьюли быстро повернулась и пошла в спальню. Викарий уже спал, в белом фланелевом колпаке, крестообразно сложив руки на груди.

Утром за завтраком викарий увидел миссис Дьюли уже в пенсне — и положительно обрадовался:

— Ну вот — теперь я вас опять узнаю!

4. ВЫСШАЯ ПОРОДА ИНТЕЛЛЕКТА

Контора адвоката О'Келли помещалась во втором этаже старого дома. В толстой каменной стене — окованная дверь с молотком, темная каменная лестничка наверх и одна ступенька вниз, наружу, в переулок Сапожника Джона. Переулок — узкое ущелье меж домов — только двум разойтись, и синяя полоска неба между стен вверх. В старом доме жил когда-то свободолюбивый Сапожник Джон, упрямо державшийся лютеровой ереси и за это сожженный. Теперь сюда пришел работать мистер Кембл.

В первой комнатке стучали на ундервудах четыре барышни. О'Келли подвел Кембла к первой — и представил:

— Моя жена Сэсили, она же Барашек.

С льняными волосами, с крошечным ротиком — она была правда как пасхальный барашек, перевязанный ленточкой. Кембл осторожно пожал ей руку.

Затем О'Келли познакомил с тремя остальными и о каждой сказал одинаково кратко-серьезно:

— Моя жена. Моя жена. Моя жена.

Кембл остановился с протянутой рукой, страдальчески наморщил лоб, и было слышно, как пыхтит тяжелый грузовик, не в силах стронуться с места. Моя жена — моя жена — моя жена... Посмотрел на О'Келли: нет, О'Келли был совершенно серьезен.

— Послушайте, да разве вы не знали: ведь я же — магометанин, — пришел на помощь О'Келли.

Кембл облегченно расправил лоб: теперь налицо были и малая, и большая посылка — полный силлогизм. Все становилось квадратно-просто.

— О, я всегда относился с уважением ко всякой установленной религии, — серьезно начал Кембл. — Всякая установленная религия...

О'Келли, красный, с минуту молча наливался смехом, потом лопнул, а за ним — все его четыре жены.

— Слушайте, Кембл... Ой, не могу! Да вы какой-то... Ох, Господи, надо же: он, ей-Богу, поверил! Ну-у, голубчик, я-то вас живо выучу слушать вранье...

— Вранье? — Кембл сбился безнадежно. — Вранье? — Это было непонятное, ни в шутку, ни вправду — просто вообще непонятное, ну как может быть непонятна, непредставима бесконечность вселенной. Кембл стоял убитый, столбняные ноги — расставлены.

— Послушайте, Кембл, будем же серьезны... — О'Келли стал серьезен, как всегда, если говорил несерьезно. — Не забывайте, что мы — высшая порода интеллекта — адвокаты, и поэтому — наша привилегия — лгать. Ясно же, как день: животные — представления не имеют о лжи; если вы попадете к каким-нибудь диким островитянам, то они тоже будут говорить только правду, пока не познают европейской культуры. Ergo: не есть ли это признак...

Все это было совершенно так. Но Кембл непреложно, квадратно был уверен, что это не должно быть верно, и потому в голове была суцая толчея. И он уже не слышал слов О'Келли, а только безнадежно огребал рукой лоб: так медведь огребает облепивших пчел...

В приемной ожидала адвоката какая-то молодая леди, подстриженная по-мальчишечьи, курила папиросу.

— А-а, Диди! Вы, деточка, здесь давно? Миссис Диди Ллойд, наша клиентка. Развод... — Адвокат обернулся к Кемблу, увидел его соображающий лоб — и опять понесся. — Я ей говорил: вступить сперва в пробный брак, но она непослушница... Не слыхали о пробном браке? Ну как же, ну как же, билль прошел в парламенте тридцать первого... ну да, тридцать первого марта.

Миссис Диди Ллойд смешливая — у ней дрожали губы. Кембл опять сбивался — верить или не верить, а О'Келли уже раскладывал перед ним бумаги.

— ...Остались сушие пустяки. Разберитесь-ка вот.

Кембл поклонился очень официально: мальчишеские повадки и папироса миссис Диди Ллойд, и нога на ногу — были не в его вкусе. Он уселся за бумаги, а О'Келли расхаживал сзади, обсыпал пеплом жилет и вслушивался.

Бумага — это определленно. Туман в голове Кембла разбредался, по наезженному шоссе грузовик тащил кладь уверенно и быстро. О'Келли сиял и хлопал по плечу Кембла:

— Да вы молодчина! Я так и знал... Ломовичище вы эдакий...

Проходили клиенты. О'Келли уже позевывал: пора бы и обедать.

— Ну что ж: в ресторан? А оттуда — в театр? Нельзя? Ну да полно...

Дома к обеду ждала леди Кембл. Но у О'Келли, как всегда, нашлись какие-то вывороченные и неожиданные доводы, выходило, что иначе нельзя — и Кембл послушно шел.

После бутылки ромanei в театре чувствовалось Кемблу: он очень высокий — выше всех — и легкий. Так редко чувствовал себя легким — очень это удобно и смешно — и всему на сцене покатывался, как пятилетний...

Впрочем, и все так же радостно смотрели и так же пятилетне смеялись. Было очень забавно: господин с приклеенным носом и толстая бабища танцевали тустеп, затем поссорились из-за найденного шиллинга, и господин с носом бил бабищу по щекам, а в оркестре бил барабан в такт. Потом девица, освещаемая попеременно зеленым и малиновым светом, играла на скрипке Моцарта. Потом

какая-то в черном, тонкая, медленно плыла — танцевала в полумраке...

Один поворот — и Кемблу почудилось: узнал тонкое мальчишеское тело, подстриженные кудри... нет, не может быть! Но она уже была за экраном — экран ярко освещен — и ее тень постепенно сбрасывала с себя все, привычно-неспешно, чулки, подвязки, трико: был ее следующий танец — в красном.

— Миссис Диди Ллойд? — не отрываясь от экрана, спросил Кембл.

— Миссис... — передразнил О'Келли. — Ну да, конечно же — Диди.

О'Келли с любопытством, искоса, поглядывал на устремленного вперед Кембла: вот сейчас сдвинется грузовик-трактор и поперет, все прямо, через что попало...

Диди кончила красный танец — Кембл перевел наконец дух, и это вышло у него так шумно, из глубины, что сам испугался и огляделся кругом. Из ложи справа в темноте что-то на него блеснуло.

— Ну что, дружочек, понравилось, кажется? — ухмыльнулся О'Келли.

Уже одетая — в пальто и шляпе — Диди через проход пробиралась к ним. Села рядом с О'Келли и, смешливо зашлебиваясь, что-то ему рассказывала на ухо.

Было неловко, что теперь она — одетая, и потом показалось: слишком громко смеется. Кембл отодвинулся, выставив подбородок, — уселся прямой, непреложный и упрямо слушал концерт на странном инструменте: одна струна, натянутая на швабре.

Зажгли полный свет. Диди повернулась к Кемблу:

— Послушайте, Кембл, правду говорит О'Келли, что вы никогда — что вы никогда... — Взяла Кембла за руку и маленьким золотым карандашиком стала ему что-то писать на манжете.

«Что, если б моя мать...» — вспомнились Кемблу тончайшие извивающиеся губы, и он опять огляделся кругом, как будто леди Кембл могла быть здесь.

Но вместо леди Кембл — в ложе направо он увидел миссис Дьюли. Казалось, стекла ее пенсне блестели холодным блеском прямо на Кембла. Но это, очевидно, только казалось: блестя прямо на Кембла — миссис Дьюли не кланялась. Нет, очевидно, она не видала.

5. О ФАРФОРОВОМ МОПСЕ

Фарфоровый мопс обитал в № 72, в меблированных комнатах миссис Аунти. Постояльцы тут менялись каждую неделю — всякий раз, как в «Эмпайр» приезжало новое геуие. Всегда стояли облака табачного дыма; по ночам кто-то плескался и хохотал в ванной; до полудня были опущены шторы в спальнях. Но фарфоровый мопс Джонни нимало этим не смущался и с высоты каминной полки взирал на жизнь с всегдашней своей хладнокровной и знающей улыбкой. Мопс Джонни принадлежал Диди — и обратно: Диди принадлежала мопсу Джонни. Они были неразлучными друзьями. И тем досадней, что у Кембла как-то сразу и без всякой видимой причины установились неважные отношения с Джонни.

— Послушайте, Кембл, отчего вы не любите моего Джонни? Посмотрите, он такой прелестно-безобразный. И он такой верный. И с ним можно делать что угодно...

У Кембла на коленях разложены бумаги: очень трудная задача — уговорить Диди взять деньги, которые так любезно предлагаются ей мистером Ллойдом, бывшим мужем. У Кембла лоб собран мучительно.

— ...Мистер О'Келли находил бы, что вам деньги надо взять. И я не понимаю, почему...

— Послушайте, Кембл, а вы не находите: Джонни похож на мистера О'Келли? Оба они одинаково безобразно-милые, и такие умные, и одинаково улыбаются. Но вот сядьте сюда — сбоку — посмотрите?

Прямой, несгибающийся, Кембл, как Будда, усаживался на ковер и сердито смотрел на Джонни. Но это было верно: мопс был — О'Келли, две капли воды. Медленно култыхаясь, и в самом смехе волоча какой-то груз, Кембл хохотал, раскатывался все больше, и уже Диди о другом — а его все не унять.

Оказывалось, что в Джонни есть нечто байроновское: в сущности — это до глубины разочарованное существо, потому и улыбается вечной улыбкой. Перед Джонни ставилась книжка в белом сафьяне — одна из немногих драгоценностей, которую Диди никогда не закладывала, — и Джонни читал, медленно и печально. Свет камина мерцал на мебели — лампы еще не зажжены; на полу белели забы-

тые бумаги; отливал красным квадратный подбородок Кембла. Джонни читал...

Спыхватывался Кембл, сердито вскакивал с ковра:

— Но все-таки, должен же я сказать мистеру О'Келли, почему вы не хотите взять денег?

Белая книжка летела в угол, черная черта бровей вдруг зачеркивала мальчишеское лицо Диди — Диди кричала:

— Потому что я — я — я изменила мистеру Ллойд, поняли, нет? Почему изменила? Потому что была хорошая погода — и пожалуйста, убирайтесь со своими бумагами! Джонни в десять раз вас умнее, он никогда не спрашивает...

Наутро, в конторе, Кембл жаловался — с нависшей по-ребячьи, обиженной губой:

— Она просто не слушает... Все со своим мопсом...

О'Келли ухмылялся — как мопс:

— Эх вы... Кембл вы эдакий! Нынче же вечером волоките ее ко мне: мы с ней живо расправимся...

Вечер был очень тихий. Чинно и тихенько, радуя взор, стояли в палисадниках стриженные под нулевой номер деревья — ряды деревянных солдатиков. Вероятно, был какой-нибудь праздник или просто специальная служба для детей: церковь Сэнт-Инох звонила, по одному перебирала колокола в одном и том же порядке — все вертели и вертели какую-то ручку — и чинными рядами шли стриженные дети в белых воротничках.

Кембл и Диди остановились — пропустить шествие. Прошел последний беловоротничковый ряд, и из-за угла показался викарий Дьюли, сопровождаемый миссис Дьюли и Секретарем Почетных Звонарей Мак-Интошем. Викарий шел как полководец, он вел беловоротничковую армию ко спасению математически верным путем. Медленно перекладывая за спиной пальцы — отсчитывал что-то.

Кембл чувствовал себя немного неловко: он не был у Дьюли с того самого воскресенья, надо что-нибудь... надо подойти и сказать...

— Вы извините — я только на минутку... — Кембл оставил Диди у церковного заборчика и медленно заколыхался навстречу Дьюли.

Упористо расставив ноги и смущенно глядя на квадратные башмаки, Кембл извинялся: ужасно занят у адвоката, как-то совершенно не было времени... Хрустально

поблескивало пенсне миссис Дьюли, викарий сиял золотыми зубами и поглядывал искоса в сторону Диди: она стояла у заборчика и поигрывала тросточкой Кембла.

— Великолепный вечер! — радостно засвидетельствовал Кембл. Страдальчески сморщился. Пауза...

Выручил Мак-Интош. Он был общепризнан человеком оригинальным и глубокомысленным. В эту минуту он внимательно смотрел себе под ноги:

— Я всегда думаю: какая великая вещь культура. Вот например: тротуар. Нет, вы вдумайтесь: тротуар!

И тотчас звонкий смех — все с ужасом обернулись: эта молодая особа с тросточкой смеялась. Эта молодая особа всегда была смешлива: теперь она опиралась на тросточку и тряслась, тряслась от смеха, трясла подстриженными кудряшками...

Дальше, в сущности, ничего не было особенного: просто миссис Дьюли обернулась и посмотрела на эту молодую особу — или, вернее, не на нее, а на церковный заборчик, к которому прислонилась особа. Миссис Дьюли посмотрела так, как будто эта особа была стеклянной, совершенно прозрачной.

Диди вспыхнула, что-то хотела сказать — что было бы уж, конечно, совершенно невероятно, — но только вздернула плечами и быстро куда-то пошла...

А затем миссис Дьюли любезно протянула Кемблу руку — показалось, ее рука дрожит — или, может быть, это дрожала рука самого Кембла.

— До свидания, мистер Кембл. Все-таки надеемся скоро вас видеть... — И миссис Дьюли проследовала в церковь.

Это было неслыханно... У Кембла горели уши, во всю свою тяжелую прыть побежал за Диди, но она как провалилась сквозь землю: нигде ее не было...

Вечером, по окончании церковной службы, миссис Дьюли сидела с викарием в столовой и постукивала корешком книги:

— Ну что же — ваше принудительное спасение? Вы же видите, куда идет Кембл? На вашем месте я бы...

Викарий треугольником поднял брови: он положительно не узнавал миссис Дьюли, раньше она совершенно не интересовалась «Заветом Спасения». Викарий потирал руки: это хороший знак, это великолепно...

— Вы правы, дорогая: этим надо заняться. Конечно, конечно.

А в № 72 — камин покрывался пеплом, дергалось, трепыхалось под пеплом последнее тепло. На ковре лежала Диди и с нею фарфоровый мопс Джонни. Безобразная морда мопса была вся мокрая. На пороге стоял Кембл, страдальчески сморщившись: он пришел сказать Диди, что поведение ее странно, по меньшей мере. И вот — нету слов или мешает что-то, спирается вот тут, в горле. В сущности, ведь это нелепо...

Кембл старался построить силлогизм.

6. ЛИЦО КУЛЬТУРНОГО ЧЕЛОВЕКА

Как известно, человек культурный должен, по возможности, не иметь лица. То есть не то чтобы совсем не иметь, а так: будто лицо, а будто и не лицо — чтобы не бросалось в глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у хорошего портного. Нечего и говорить, что лицо культурного человека должно быть совершенно такое же, как и у других (культурных), и, уж конечно, не должно меняться ни в каких случаях жизни.

Естественно, что тем же условиям должны удовлетворять и дома, и деревья, и улицы, и небо, и все прочее в мире, чтобы иметь честь называться культурными и порядочными. Поэтому, когда прохладные, серые дни прошли, и вдруг наступило лето, и солнце стало возмутительно-ярким, — леди Кембл почувствовала себя шокированной.

— Это уже положительно что-то... Это Бог знает что! — Черви леди Кембл пошевеливались, высывались, но необузданное, некультурное солнце все так же оскалывалось во весь рот. Тогда леди Кембл делала единственное, что ей оставалось: спускала все жалюзи и водворяла в комнатах свет более умеренный и приличный.

Леди Кембл с сыном занимала теперь три комнаты: две спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Все было теперь слава Богу. Этот случай с автомобилем леди Кембл понимала как явное милосердие Божие. Нет, что там: порядочных людей Бог не оставит.

И вот — теперь все как полагается: и ковер, и камин, и над камином портрет покойного сэра Гарольда (тот же са-

мый кембловский, квадратный подбородок), и столик красного дерева у окна, и на столике ваза для воскресных гвоздик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зеленые вазы, на правой — голубые. Леди Кембл на правой стороне, поэтому на столике у нее была голубая ваза.

По возможности, леди Кембл старалась восстановить тот распорядок, который был при покойном сэре Гарольде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье. Купила за пять шиллингов маленький медный гонг, и так как хозяйка-старушка звонить в гонг не умела, то леди Кембл всегда звонила сама: снимет гонг со стены в столовой, выйдет в коридор, позвонит — и опять в столовую. Пусть даже завтракает одна — Кембл в конторе, — все равно позвонит: главное — порядок.

К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старушка миссис Тэйлор, трясучая и древняя. И чтобы это выходило хоть мало-мальски прилично, леди Кембл стала старушку уговаривать: за обедом чтоб прислуживала в белых перчатках.

— И что это за причуды такие, Господи! Моешь руки — моешь, и все им мало... — Старушка обиделась и даже всплакнула, но за два лишних шиллинга в месяц — наконец согласилась.

Теперь было все в порядке — и леди Кембл позвала О'Келли обедать: пусть видит, что имеет дело не с кем-нибудь.

Было очень много хлопот. На столе стояли цветы и бутылки. Старушка Тэйлор выстирала свои белые перчатки. И только О'Келли...

Трудно поверить — но О'Келли явился на обед... в визитке. Весь обед был испорчен. Черви леди Кембл развевались, шевелились.

— Я так рада, мистер О'Келли, что вы по-домашнему. Впрочем, смокинг — при вашем складе лица...

О'Келли засмеялся:

— О, о своей наружности — я высокого мнения: она — исключительно безобразна, но она — исключительна, а это все.

Коротенький, толстый — он запыхался от жары, вытирал лицо пестрым платком. Рыжие вихры растрепались, четыре его руки непрестанно мелькали, он капал на жилет соусом и болтал без остановки. Да, в сущности, Уайльд то-

же был некрасив, но он подчеркивал некрасивое — и все верили, что это красиво. И затем: подчеркнутая некрасивость — и подчеркнутая порочность — это должно дать гармонию. Красота — в гармонии, в стиле, пусть это будет гармония безобразного — или красивого, гармония порока — или добродетели...

Но тут О'Келли заметил: невидимая узда поддернула желтую голову леди Кембл, бледно-розовые черви зловеще шевелились и ползли. О'Келли запнулся — и бледно-розовые черви тоже остановились. Говорить в обществе об Уайльде! И если леди Кембл на этот раз пощадила О'Келли, то исключительно ради сына...

Старушка Тэйлор трясущимися руками в белых перчатках поставила ликер и кофе. Об этом ликере леди Кембл поразмыслила довольно. Но в конце концов решила отложить починку своих туфель на месяц. Без ликера было нельзя никак, так же как без гонга или перчаток миссис Тэйлор.

Два раза леди Кембл подвигала О'Келли ликер — и два раза О'Келли подливал себе шотландскую виски. Все это вместе — и пестрые вихры, и ликер, и мелькающие в воздухе руки О'Келли — раздражало миссис Кембл. Черви куснулись:

— Вы, однако, оригинал: первый раз вижу человека, который с кофе пьет виски.

«Оригинал» — для леди Кембл звучало так же, как «некультурный человек», но мистер О'Келли был, по-видимому, слишком толстокож. Он секунду весело молчал — он даже и молчал весело — и потом вслух подумал:

— Вот в эту жару, должно быть, хорошо в одной шотландской юбочке щеголять!

К слову вспомнил и рассказал: с приятелем шотландцем они ходили по Парижу — и парижские мальчишки в конце концов не выдержали, улучили момент и подняли шотландцу юбочку — посмотреть, есть ли под ней что-нибудь вроде штанов, или...

Леди Кембл больше не могла — не могла. Разгневанно встала, пошла к двери и позвала с собой кипенно-белую кошку Милли:

— Милли, пойдемте отсюда... Милли, вам здесь нечего делать — зачем вы сюда — ваше молоко в коридоре...

Но испорченная Милли, по-видимому, была еще не

прочь послушать рассказы О'Келли: она мяукала и упира-лась. Леди Кембл нагнулась — выскочили ключицы и лопатки, и еще какие-то кости — весь каркас разломанного зонтика. С Милли под мышкой леди Кембл проследовала в дверь.

Величественная и страшная в своем мумийном декорте, она появилась вновь только тогда, когда О'Келли загромыхал в передней, разыскивая палку (которой не приносил). Вместе с О'Келли вышел и Кембл.

Небо было бледное, подобранное, вогнутое, какое бывает в сумерки после жарких дней. Кембл пожимался: не то от прохлады, не то от тех неминуемых разговоров — о порядочности и непорядочности, какие будут завтра с леди Кембл. Пожимался и все-таки шел вместе с О'Келли туда — в № 72. Главное, он был совершенно согласен с леди Кембл: в меблированных комнатах миссис Аунти — все было непорядочное, все было — не его, было шероховато и мешало, как мешал бы камень посреди асфальтовой джесмондской улицы, — и все-таки шел.

«Раз идет О'Келли... Надо же поддерживать с ним отношения...» — успокаивал себя Кембл.

В № 72, по обыкновению, горел камин. Диди сидела на ковре у огня: сушила, после мытья, кудрявые, по-мальчишечьи подстриженные волосы. На полу были разбросаны листки какого-то письма — и над ними улыбался мопс Джонни.

О'Келли чуть не наступил на листки — наклонился и поднял.

— Не трогайте! — со злостью закричала Диди. — Говорю вам — не трогайте! Не смейте трогать! — Брови сошлись над переносьем, исчезло мальчишечье лицо — было лицо женщины, опаленное темным огнем.

О'Келли сел на низенький пуф и затараторил:

— Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что леди Кембл нам внушала, что лицо порядочного человека должно быть неизменно, как... как вечность, как британская конституция... И кстати: слышали ли вы, что в парламент вносится билль, чтобы у всех британцев носы были одинаковой длины? Что же, единственный диссонанс, который, конечно, следует уничтожить. И тогда — одинаковые, как... как пуговицы, как автомобили «Форд», как десять

тысяч номеров «Таймса». Грандиозно — по меньшей мере...

Диди — не улыбнулась. Все так же держала листочек в руке, и все так же крепко, как сплетенные пальцы, — сдвинуты брови.

И не улыбался Кембл: что-то в нем накопало, накопило, било — и вот через край — и встал. Два шага к Диди — и спросил — тоном таким, какого не должно было быть:

— Что это за письмо такое? Отчего к нему уж и притронуться нельзя? Это — это... — говорил — и слушал себя с изумлением: не он — кто же?

И одну секунду слушала с изумлением Диди. Потом брови ее расцепились, она упала на ковер и захлебнулась смехом:

— О, Кембл, да, кажется, вы... Джонни, мопсик, ты знаешь — Кембл-то... Кембл-то...

7. РУЛЬ ИСПОРЧЕН

Наконец-то оно кончилось — дело о разводе, и на Диди никто теперь не имел прав, исключая, конечно, фарфорового мопса Джонни.

Событие праздновали втроем: О'Келли, Диди и Кембл. Обедали в отдельном кабинете, пили, О'Келли влезал на стул и произносил тосты, махал множеством рук, пестрело и кружилось в голове. Домой как-то не хотелось: решили поехать на бокс.

Такси летел как сумасшедший — или так казалось. На поворотах кренило, и несколько раз Кембл обжегся об колесо Диди. Такси летел...

— А знаете, — вспомнил Кембл, — мне уж который раз снится, будто я в автомобиле, и руль испорчен. Через заборы, через что попало, и самое главное...

А что самое главное — рассказать не успел: входили уже в зал. Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять было Кемблу тесно и жарко, обжигался, и будто все еще летел такси.

«Не надо так много пить...»

— Послушайте, Кембл, вы о чем думаете? — кричал О'Келли. — Вы слышите: сержант Смис, чемпион Англии. Вы понимаете: Смис! Да смотрите же, вы!

Из двух противоположных углов четырехугольного помоста они выходили медленным шагом. Смес — высокий, с крошечной светловолосой головой: так, какое-то маленькое, ненужное украшение к огромным плечам. И Борн из Джесмонда — с выдвинутой вперед челюстью: вид закоренного убийцы.

— Bravo, Борн, bravo, Джесмонд! Сержант Смес, bravo!

Топали, свистели, клокотали все двадцать рядов скамей, шевелилась и переливалась двадцать раз окрутившаяся змея — и вдруг застыла и вытянула голову: судья на помосте снял цилиндр.

Судья, поглядывая из-под седого козырька бровей, объявлял условия:

— Леди и джентльмены! Двадцать кругов по три минуты и полминуты отдыха после каждого круга — согласно правилам маркиза Квинзбэри...

Судья позвонил. Смес и Борн медленно сходились. Борн был в черных купальных панталонах, Смес — в голубых. Улыбнулись, пожали друг другу руки: показать, что все, что будет, — будет только забавой культурных и уважающих друг друга людей. И тотчас же черный Борн выпятил челюсть и закрутился около Смиса.

— Так его, Джесмонд! Вот это панч! — закричали сверху, когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиону Англии.

Двадцатиколечная змея обвивалась теснее, дышала чаще, и Кембл видел: шевелилась и вытягивалась вперед Диди — и он сам вытягивался, захваченный кольцами змеи.

Судья с козырьком бровей прозвонил перерыв. Черный и голубой — оба вытянулись на стульях, каждый в своем углу. Широко раскрыв рты — как выброшенные рыбы, спешили за полминуты наглотать побольше воздуха. Секунданты суетились, кропили им языки водой, махали полотенцами.

Полминуты прошло. Снова схватились. Смес улучил секунду — и тяжелый кулак попал Борну в нос, снизу вверх. Борн спрятал лицо под мышку к Смису и закрутился вместе с ним — спасти лицо от ударов. Из носа у Борна шла кровь, окрашивала голубые панталоны Смиса, крутились и барахтались два голых тела. И все судорожной вы-

тягивалась змея — впитать запах крови, кругом топали и ревели нечленораздельное.

— ...Поцелуй его, Борн, в подмышку, очень вкусное местечко! — выкрикнул пронзительный мальчишеский голос.

Диди — раскрасневшаяся, взбудораженная — дергала за рукав Кембла. Кембл оторвался от помоста и посмотрел на нее — с ноздрями, еще жадно расширенными, и квадратным, свирепо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то маленькой показалась себе Диди. И... что хотела спросить? — забыла...

— Да смотрите же! — крикнул О'Келли.

Кончалось. Качался от ударов Борн, и медленно, медленно ноги его мякли, таяли, как воск, — и он гулко рухнул.

Джесмонд был побит — Джесмонд вопил:

— Неверно! Он ударил, когда Борн уже падал...

— Долой Смиса! Неправильно, мы видели!

Смис стоял, закинув маленькую головку, и улыбался: ждал, пока затихнут.

— ...И еще улыбается! Что за наглость такая! — Диди горела и дрожала. Повернулась к Кемблу, чем-то колюче-нежным ужалила его локоть. — Была бы я, как вы, — сейчас же бы вот его пошла и побила...

Кембл на секунду посмотрел ей в глаза — и сбесившийся автомобиль вырвался и понес.

— Хорошо. Я иду. — Он двинулся к трибуне.

Было это немыслимо, не должно было быть, Кембл сам не верил, но остановиться не мог: руль был испорчен, гудело, несло через что попало и... страшно или хорошо?

— Послушайте, не на самом же деле... Кембл, вы спятили? Держите же, держите его, О'Келли!

Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни.

Судья объявил, что мистер Смис любезно согласился на пять кругов с мистером Кемблом из Джесмонда. На помосте появилось громадное, белое тулово Кембла — и Джесмонд восторженно заревел.

Мистер Кембл из Джесмонда был выше и тяжелее Смиса, и все-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его была совершенно безумной. Все так же улыбаясь, Смис наносил ему удары в бока и в грудь — только ухало гулко где-то в куполе. Но стоял Кембл очень крепко, упо-

ристо расставив столбные ноги и упрямо выдвинув подбородок.

— Послушайте, О'Келли, ведь он же его убьет, ведь это же ужасно... — не отрывала глаз и бледнела Диди, а О'Келли только молча улыбался знающей улыбкой.

На третьем круге, весь в красных пятнах и в крови, Кембл еще держался. В тишине чей-то восторженный голос сверху крикнул:

— Ну и морда — прямо чугунная!

В зале фыркнули. Диди негодуяще оглянулась, но уже опять была тишина: начинался четвертый круг. На этом круге, в самом же начале, Кембл упал.

Диди вскочила, с широко раскрытыми глазами. Судья поглядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал секунды:

— Раз, два, три, четыре...

На последней секунде — на девятой — Кембл упрямо встал. Получил еще удар — и все поплыло, поплыло, и последнее, что увидел: бледное лицо Диди.

Смутно помнил Кембл: куда-то его везли, Диди плакала, О'Келли смеялся. Потом чем-то поили, заснул — и проснулся среди ночи. Светил месяц в окно, и ухмылялся в лицо Кемблу безобразный мопс Джонни.

Комната Диди. Ночью в комнате Диди... Бред? Потом медленно, сквозь туман, подумал:

«Правда, нельзя же было везти домой — таким...» Язык был сухой, пить страшно хотелось.

— Диди! — робко позвал Кембл.

С диванчика поднялась фигура в черной пижаме:

— Ну, наконец-то вы! Кембл, милый, я так рада, я так боялась... Вы меня можете простить? — Диди села на кровать, взяла руку Кембла в свои горячие маленькие руки. Пахло левкоями.

Кембл закрыл глаза. Кембла не было — была только одна рука, которую держала Диди: в этой руке на нескольких квадратных дюймах собралось все, что было Кемблом, — и впитывало, впитывало, впитывало.

— Диди, я ведь пошел — потому что — потому что... — Захватило горло вот тут — и тяжесть такая — не стронуть с места.

Диди нагнулась, серьезная, девочка-мать:

— Смешной! Я знаю же. Не надо говорить...

Ужалила Кембла двумя нежными острями — быстро клюнула в губы — и уже все ушло, и только запах левкой, как бывает в сухмень, — едкий и сладостный.

Всю ночь фарфоровый мопс сторожил Кембла усмешкой и мешал ему думать. Кембл мучительно морщил лоб, рылся в голове. Там, в квадратных коробочках, были разложены известные ему предметы, и в одной, заветной, вместе лежали: Бог, британская нация, адрес портного и будущая жена — миссис Кембл — похожая на портрет матери Кембла в молодости. Все это были именно предметы, непреложные, твердые. То, что было теперь, — ни в одну коробочку не входило: следовательно...

Но руль был явно испорчен: Кембла несло и несло, через «следовательно» и через что попало...

Утром Кембл проснулся — Диди уже не было, но ею пахло, и лежала на стуле черная пижама. Кембл с трудом поднялся, натянул вчерашний свой смокинг. Долго смотрел на пижаму и крепился, потом встал на колени, оглянулся на дверь и погрузил лицо в черный шелк — в левкой.

Диди пришла свежая, задорная, с мокрыми растрепанными кудрями.

— Диди, я думал всю ночь, — Кембл твердо расставил ноги, — Диди, вы должны быть моей женой.

— Вы так думаете? Должна? — затряслась Диди от смеха. — Ну, что ж, если должна... Только вы, ради Бога, лежите, доктор велел вас держать в постели... Ради Бога... Вот так...

8. ГОЛУБЫЕ И РОЗОВЫЕ

Бокс был в субботу, а в понедельник имя Кембла уже красовалось в «Джесмондской Звезде».

«НЕОБЫЧАЙНЫЙ СЛУЧАЙ

В БОКСИНГ-ХОЛЛЕ!

БОКСЕР-АРИСТОКРАТ

Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели негра Джонса, впервые была украшена появлением боксера из высокоаристократической, хотя и обедневшей семьи...

Мистер Кембл (сын покойного Г. Д. Кембла) с удивительной стойкостью выносил железные удары Смиса, по-

ка наконец на четвертом круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. Мистер Кембл был вынесен в бессознательном состоянии.

Среди друзей мистера Кембла выделялась туалетом звезда «Эмпайра» Д***.

В этот день в Джесмонде жизнь была ключом. О погоде почти не говорили — властителем умов был Кембл, говорили только о скандале с Кемблом. Останавливались около дома старушки Тэйлор и заглядывали в окна Кемблов, как бы ожидая некоего знамения, но знамения не появлялось. Тогда заходили к леди Кембл и с радостным видом выражали ей соболезнование.

— Ах, какой ужас, какой ужас! Но разве он так сильно пострадал, что нельзя было довести к вам?

Черви миссис Кембл извивались.

— Бедная миссис Кембл! Вы даже лишены возможности навестить его! Ведь вы в т о т дом не пойдете, не правда ли?

— А потом — т а женщина! Дорогая миссис Кембл, мы понимаем...

Черви миссис Кембл вились и шипели на медленном огне. Голубые и розовые любовались; потом почему-то крутились около дома викария Дьюли — тонким нюхом чуяли что-то здесь; потом шли к т о м у дому и терпеливо смотрели в окно с опущенной занавеской, но занавеска не подымалась...

Впрочем, относительно дома викария Дьюли голубые и розовые ошибались: то, что там произошло, — были сущие пустяки. За утренним завтраком миссис Дьюли читала газету и нечаянно опрокинула чашку кофе — ведь это со всяким может случиться. Главное, что скатерть была постлана только в субботу — и только в следующую субботу полагалась по расписанию новая. Немудрено, что викарий был в дурном расположении духа и писал комментарии к «Завету Спасения», а миссис сидела у окна и смотрела на красные трамваи. Затем она отправилась в т о т дом, спросила о чем-то хозяйку и немедленно пошла назад — быть может, получивши ответ, что при мистере Кембле находится т а женщина или что мистеру Кемблу значительно лучше. Но это, конечно, только предположения — и единственно достоверно, что ровно в три четверти первого миссис Дьюли была дома и ровно в три четверти первого

го начался второй завтрак: ясно, все обстояло благополучно.

Все шло согласно расписанию, и вечером у викария состоялось обычное понедельничное собрание Корпорации Почетных Звонарей прихода Сэнт-Инох и редакции приходского журнала. Было несколько розовых и голубых; был неизменный Мак-Интош в сине-желто-красной юбочке; леди Кембл не пришла.

Все сидели как на иголках, у всех на языке был Кембл — Кембл. Но с викарием очень-то не поспоришь: перед ним лежало расписание вопросов, подлежащих обсуждению, — семнадцать параграфов — и уж нет, ни одного не пропустит.

— Господа, прошу внимания: теперь самый серьезный вопрос...

Это был вопрос о поднятии доходности «Журнала прихода Сэнт-Инох». Викарий только что приобрел для журнала серию «Парижских приключений Арсэна Люпена». Впоследствии — это, конечно, повысит тираж, но пока нужно возместить расход, нужны объявления, объявления и объявления.

— Мистер Мак-Интош, мы ждем вашей помощи!

Мистер Мак-Интош торговал дамским бельем, у него были прекрасные связи. Он быстро дал три адреса и старательно выискивал еще.

— Ба! — вспомнил он. — А резиновые изделия Скрибса?

Викарий поднял брови: здесь было одно серьезное обстоятельство.

— Мистер Мак-Интош, помните: мы ручаемся за качество рекомендуемого. «Журнал прихода Сэнт-Инох» не может...

— О, за изделия Скрибса я ручаюсь... — горячо возразил Секретарь Корпорации Почетных Звонарей. — Я самолично...

Но викарий остановил его — легчайшим, порхающим движением руки, каким в проповедях изображал он восшествие праведной души к небу. Изделия Скрибса были приняты; викарий записывал соответствующие адреса...

Поздно, когда ее уже перестали ждать, пришла леди Кембл. Как и всегда, голова была подтянута вверх невидимой уздой, и только лицо — еще мумийней, и еще острее вылезали кости — каркас сломанного ветром зонтика...

Как божьи птицы-голуби, слетевшиеся на зерна, розо-

вые и голубые закрутились около леди Кембл: ну что? ну как?

Черви лежали недвижные, вытянутые — и, наконец, с трудом дрогнули:

— Я только думаю: что сказал бы мой покойный муж, сэр Гарольд...

Она подняла глаза вверх — к обиталищу Бога и сэра Гарольда, из глаз выползли две разрешенные кодексом слезинки, немедленно принятые на батистовый платок.

Две слезинки почтены были глубоким молчанием. В стороне от всех миссис Дьюли мяла и разглаживала голубоватый конверт. Молчали: что же тут придумаешь и чем поможешь?

И вдруг вынырнула футбольная голова Мак-Интоша: он был, как всегда, незамечен.

— Господа, это тяжело, — но мы должны просить викария пожертвовать собой. Всякий, кто слышал вдохновенную проповедь викария на воскресной службе, поймет, что только каменные сердца могли бы... Господа, мы должны просить викария, чтобы он пошел в т о т дом, и я уверен — мы уверены...

— Мы уверены! — подхватили розовые и голубые.

Прежде чем ответить, викарий сделал паузу и высморкался, что стояло у него в рубрике: искреннее волнение. Что же — он всегда готов на жертвы. Но уж если и это не поможет — тогда придется...

Миссис Дьюли мяла и разглаживала узкий конверт, озябло поводила плечами: вероятно, простудилась. В жаркую пору, знаете, это особенно легко.

Вокруг порхали, поклевывали розовые и голубые.

9. ХОРОШО-С

Диди встала позже, чем обычно, — было уже за полдень, что-то напевала и расчесывала перед зеркалом непослушные мальчишеские кудри. На ней была любимая черная пижама: корсаж разрезан до пояса и слегка стянут переплетом шнура, и сквозь черный переплет — розовое. В этом костюме и с подрезанными волосами — девчоко-мальчик — она была как средневековый паж: из-за та-

ких строгие дамы легко забывали рыцарей и так охотно выкидывали веревочную лестницу с балкончика башни.

В соседнем номере тяжело ворочался Кембл: третий день освободилась комната рядом с Диди — и третий день он здесь жил — или нет: куда-то летел на взбесившемся автомобиле, летел через что попало — летел как во сне. Впрочем, скоро все это кончится. Вот только заработать еще фунтов тридцать, и тогда можно будет снять один из тысячи одинаковых домиков — и снова под ногами будет твердо.

— Миленький Джонни, — беседовала Диди с фарфоровым мопсом, — уж ты, пожалуйста, на меня не сердись, если я немножко выйду замуж. Ведь ты меня знаешь? Ну, так и молчи, и улыбайся, а теперь...

В № 72 стучали. Должно быть — Нанси из нового revue.

— Нанси? Войдите.

Дверь скрипнула, Диди вышла из-за ширмочки и увидела — викария Дьюли. Он вскинул вверх брови изумленными треугольниками, издал негодующий: ах! — и попятился к выходу в коридор.

— Я чрезвычайно извиняюсь — я думал, что уже раз больше двенадцати, когда уже все... — Он взялся за ручку двери, но за ту же ручку схватилась и Диди.

— Нет, нет, пожалуйста, не стесняйтесь, ради Бога — садитесь. Это мой обыкновенный утренний костюм — и не правда ли, очень милый фасон? Я так много о вас слышала — я очень рада, что вы наконец...

Что ж, надо было собой жертвовать до конца: викарий сел, стараясь не глядеть на обычный утренний костюм.

— Видите ли... Мисс?.. Гм... Диди... Я пришел по поручению одной несчастной матери. Вы, конечно, не знаете, что значит иметь дитя...

— О, мистер Дьюли, но у меня есть... Вот мой единственный Джонни, и я его страшно люблю... — Диди поднесла мопса к треугольно поднятым бровям викария Дьюли. — Не правда ли, какой милый? У-у, Джонни, улыбнись! Поцелуй мистера Дьюли, не бойся — не бойся...

Холодными улыбающимися губами Джонни приложился к губам викария. И вследствие ли неожиданно — или вследствие прирожденной вежливости, но только викарий ответил на фарфоровый поцелуй Джонни.

— О, какой вы милый! — Диди была в восторге, но викарий держался совершенно другого мнения.

Он негодуяюще вскочил:

— Я зайду к вам, мисс... миссис, когда вы будете не так весело настроены. Я вовсе не расположен...

— О, мистер Дьюли, к несчастью — я, кажется, всегда весело настроена.

— В таком случае...

Мистер Дьюли отправился в соседний номер — к Кемблу. Здесь почва была более благодарная. Кембл выслушал всю речь мистера Дьюли, усиленно морщил лоб и кивал: да, да. Впрочем, иначе и быть не могло: речь викария была строго логическая, и он увлекал за собой Кембла, как по рельсам, — викарий торжествовал...

Но на последней станции неожиданно произошло крушение, Кембл соскочил со стула.

— Мистер Дьюли, прошу вас не выражаться так о... о Диди, которую я просил быть моей женой.

— Же-женой? — Но тотчас же викарий оправился: — Но ведь вы же все время соглашались со мной, мистер Кембл?

— Да, соглашался, — мрачно кивнул Кембл.

— Так где же у вас логика, мистер Кембл?

— Логика? — Кембл сморщился, потер лоб — и вдруг, нагнув голову, как бык, пошел прямо на викария. — Да, женой! Я сказал — моей женой... Да! И простите — я... я хочу остаться один, да!

— Ах так? Хо-ро-шо-с! — Викарий вышел с высоко поднятыми бровями, согласно рубрике: холодное негодование.

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ

Был уже июнь. Деревья в парках, к сожалению, потеряли свой приличный, подстриженный вид: цвели олеандры, вылезали из всех сил, как попало, в абсолютном беспорядке. По ночам заливалось птичье, совершенно не считаясь с тем, что в десять часов порядочные люди отходили ко сну. Порядочные люди сердито хлопали окнами и высывались в белых колпаках.

Впрочем, надо сознаться, анархический элемент был даже и в Джесмонде, и этот элемент — происходившее одобрял всецело. Умудрялись избежать бдительного взо-

ра парковых сторожей и после десяти оставались в кустах слушать пение птиц. Кусты интенсивно жили всю ночь, шевелились, шептались, а месяц всю ночь разгуливал над парком с моноклем в глазу и поглядывал вниз с добродушной иронией фарфорового мопса.

Все это производило какую-то странную болезнь: и кусты, и жара, и месяц, и олеандры — все вместе. Диди капризничала и хотела неизвестно чего, и Кембл терялся.

— Жарко. Я не могу... — Диди расстегивала еще одну пуговицу блузы, и перед Кемблом мерно колыхались волны: белые — батиста, и еще одни — розовые, и еще одни, шумные и красные, — в голове Кембла.

Кембл старался занять Диди чем-нибудь интересным:

— ...Знаете, Диди, на Кинг-стрит в окне я вчера видел электрический утюг. Такая прелесть, и всего десять шиллингов. Я думаю, нам уже можно бы начать обзаведение.

Но Диди даже и на это отзывалась очень вяло. Нет, она, кажется, больна.

Спускала шторы. Ложилась в кровать.

— Посмотрите, Кембл: у меня жар. Ну вот тут — ведь правда? Нет, глубже — сюда... — клала руку Кембла.

И опять весь Кембл собирался на нескольких квадратных дюймах руки и слышал, издали откуда-то: мерными толчками колыхалась кровь и рвалась наружу, минута еще...

Но у Кембла, слава Богу, руль опять в руках, и он твердо правит к маленькому домику с электрическим утюгом. Кембл вытаскивал руку.

— Да, кажется, жар. Это — ничего, просто — погода...

На камине — мопс Джонни и в окне — месяц с моноклем улыбались одинаковой улыбкой. Кембл сердито вставал и повертывал Джонни носом к стене.

— Нет, уж пожалуйста — уж пожалуйста... Лучше дайте его мне, — протягивала руки Диди.

Нырлял месяц в легких батистовых облачках, тускнел и сейчас же опять усмехался, и в ответ — мерцало и менялось каждую секунду лицо Диди, сцеплялись и опять расцеплялись брови, думала, думала... А о чем теперь думать? Все квадратно-твердо впереди: и маленький домик, и сияющий белизною порог, и ваза для воскресных гвоздик — зеленая или голубая.

— Джонни, миленький мой Джонни, — обнимала Диди

фарфорового мопса. — Поцелуй меня, Джонни. Так... еще. Еще! Еще!

Целовала мопса, и он становился все теплей, оживал. Душила его своими духами — сухим от бездождья, сладостно-едким левкоем. Топила насмешливую морду Джонни в белых и розовых волнах и называла его странными именами.

А Кембл сидел молча, упрямо выставлял месяцу каменный подбородок — и так был похож на портрет покойного сэра Гарольда.

О'Келли теперь редко заходил, но если заходил — то все такой же: заспанный, расстегнутый, злой и веселый. Кембл серьезно ему рассказывал:

— Двадцать фунтов уже есть. Еще тридцать — и на пятьдесят уж будет можно купить всю мебель...

— А без мебели — никак нельзя? — ухмылялся О'Келли.

— О, да, конечно — нельзя, — невозмутимо-серьезно отвечал Кембл. — И вовсе нечего смеяться: что тут смешного? Все совершенно логично.

— Ну, голубчик Кембл, на логике надо ездить умеючи, а то, чего доброго, разнесет.

И Бог знает к чему — рассказывал О'Келли про свою тетю Иву: на старости лет поперхнулась умом и стала пить бояться — как бы не выпить какую бациллу. Бациллу не выпила — а от непитья померла очень скоро.

Понемногу начала прислушиваться Диди, медленно расцеплялись брови, медленно просыпался смешливый паж. Вот подошел О'Келли к камину, взял мопса Джонни.

— Ну до чего он на меня похож, а? На него глядя — я мог бы без зеркала бриться...

Брови совсем расцепились — Диди хохотала.

— Это — просто гениально, если вы сами придумали. Ну, сознайтесь, сами — или нет? Ну — признавайтесь! — трясла О'Келли, беспомощно болталась его голова, из кармана сыпались свертки.

— Ага, фисташки? Ага, устрицы? А шампанское есть?

Ну как же не быть. И на зеленом ковре начинался веселый пикник. О'Келли глотал устриц и закусывал англичанами. Ох уж эти англичане!

— ...Праведны как... как устрицы, и серьезные — как непромокаемые сапоги. Боже ты мой — англичане! Я бы

всех их — лимонным соком — вот этак, вот этак... Ага, закопошились?

Потихоньку открывалась дверь — и появлялась Нанси. Она была наполовину ирландка, и поэтому О'Келли приветствовал ее особенно сердечно. А кроме того, она...

Нанси была в одной нежно-розовой рубашке и с мохнатой простыней в руках. С невиннейшим видом она обходила все комнаты и предупреждала:

— Пожалуйста, не выходите в коридор — я иду брать ванну...

Это было великолепно, смеялся даже Кембл. А он смеялся по-особенному: уже все перестали, и только он один вспомнит и опять залется — раскатился тяжелый грузовик — не остановить никак.

Завернувшись в простыню, Нанси милостиво соглашалась до своей ванны принять участие в пикнике. Пенился и переливался через край О'Келли. Трясла Диди подстриженными кудряшками — проказливый девчонко-мальчик, вытягивала губы, представляла, как викарий Дьюли поцеловал мопса.

И опять — все уже забыли, замолкли, а Кембл — вспомнит и засмеется. И уже один в своей комнате, все разошлись — а он опять вспомнит и засмеется.

Все тихо. Душная ночь, нечем дышать, накрыла с головой — как стеганым одеялом. Нет, не уснуть...

Диди брала с комода холодного мопса. Целовала его, пока он не становился теплым, живым. А Кемблу снился электрический уют: громадный, сверкающий, ползет и приглаживает все, и не остается ничего — ни домов, ни деревьев, только что-то плоское и гладкое — как зеркало.

Любовался Кембл и думал:

«И только ведь десять шиллингов!...»

11. СЛИШКОМ ЖАРКО

Викарий Дьюли не упускал случая внедрить в сознание Джесмонда свой «Завет». В субботу он выступал на митинге Армии Спасения. Если государство еще коснеет в упрямстве и пренебрегает своими обязанностями, то мы, мы — каждый из нас — должны гнать ближних по стезе спасения, гнать — скорпионами, гнать — как рабов.

Пусть будут лучше рабами Господа, чем свободными сынами сатаны...

Речь была потрясающая, и джесмондская секция Армии Спасения решила взяться за дело немедленно, завтра же.

Это было воскресенье — сияющее, солнечное, жаркое. В половине девятого утра Армия Спасения тронулась из штаб-квартиры. Со знаменами, гимнами, барабанным боем, мерным военным шагом двести воинов Армии Спасения прошли по городу. И у каждой двери длинная, строгая женщина-офицер, в синей лопухой шляпе, останавливалась и колотила молотком:

— Господин Христос призывает вас в церковь!

— Гелло! Господин Христос призывает вас... Гелло, гелло! — колотила до тех пор, пока внутри не просыпались, не начинали выглядывать изумленные лица.

Церковь Сэнт-Инох сегодня была полна. Викарий вернулся домой счастливо-утомленный. За ним почтительно следовал Секретарь Корпорации Почетных Звонарей Мак-Интош, восхищенно покачивая головой: какое красноречие, какая неистощимая энергия!

— Итак, дорогой Мак-Интош, сегодня — ваша очередь, — прощался с ним викарий. — Пусть это — тяжелая обязанность, но это — обязанность.

Мистер Мак-Интош отправился гулять. Он выбрал для прогулки не очень живописное место: ту улицу, где помещались меблированные комнаты миссис Аунти. По-видимому, иногда ему приходили в голову странные фантазии.

А викарий, позавтракав, уселся в кресло. Было очень жарко. Сквозь верхние граненые стекла в столовую сыпались десятки маленьких отраженных солнц. Викарий любовался: удобные, портативные и неяркие солнца. Сидя задремал: это входило в воскресное расписание. Лицо и во сне хранило выражение изысканно-вежливое; все было готово, чтобы в любой момент открыть глаза и сказать: прекрасная погода, не правда ли?

* * *

Армия Спасения не пощадила, конечно, и артистических меблированных комнат миссис Аунти, переполошила обитателей ни свет ни заря. Обитатели не выпалились,

громче чем нужно хлопали дверью и громче чем нужно плескались в ванной.

Диди вышла к завтраку со сжатыми бровями. За завтраком с некоторым изумлением, как будто видя в первый раз, — внимательно оглядела Кембла, хотя он был такой же, как всегда: громадный, непреложный, прочный.

Чтобы поскорее добрать нехватящие тридцать фунтов, Кембл брал теперь частную работу на дом. Тотчас же после кофе он отстегнул манжеты и отправился в свою комнату заниматься.

Сдвинувши брови, Диди сидела рядом и гладила мопса. Солнце поднялось и назойливо стучало в окно. Кембл встал и задернул шторы.

— А я хочу солнца. — вскочила Диди.

— Но, дорогая, ведь вы знаете, я работаю для того, чтобы мы могли скорее начать покупку мебели — и затем...

Диди вдруг засмеялась, не дослушав, и ушла к себе. Поставила мопса на камин, посмотрела в очаровательно-безобразную морду.

— Как ты думаешь, Джонни?

Джонни явно думал то же самое. Диди стала поспешно прикалывать шляпу...

А через десять минут — взволнованный блестящим успехом своей прогулки Мак-Интош стоял перед миссис Дьюли.

— Нам надо поехать в Санди-Бай, — таинственно подчеркивал он «надо».

Пенсне миссис Дьюли на секунду вспыхнуло нехрустально:

— Вы — вы уверены?

Мистер Мак-Интош только обиженно пожал плечами и взглянул на часы:

— Нам до поезда семь минут.

Второпях миссис Дьюли задела рукавом пенсне, пенсне упало. Миссис Дьюли прочнее укрепила пенсне и снова стала миссис Дьюли. Теперь можно ехать.

...Не было спасения от солнца и в Санди-Бай: слепило, кипятило кровь, кипел и бился пеннобелый прибой.

О'Келли и Диди лежали на горячем песке. Вероятно, от солнца — у Диди в висках стучало, и, вероятно, от солнца — О'Келли с трудом подыскивал слова.

— Слишком жарко. Давайте купаться, — встала Диди.

Бледно-желтый от зноя песок. Яшмово-зеленые, с белокипенной оторочкой, шипучие волны. Прыгающие на волнах головы в оранжевых, розовых, фиолетовых чепцах. Приглушенные волнами солнце и смех.

Вода освежала, не хотелось выходить из воды. Диди говорила себе:

«Нет, только выкупаемся — и сейчас же вернемся домой...»

Но волны уносили все дальше. Набегали, подхватывали, крутили, и так хорошо не бороться, не думать, покоряться...

Над водой видна была только голова О'Келли — безобразная, усмехающаяся голова мопса. Выкрикивал что-то плохо слышное в шуме волн:

— ...всю ночь... хорошо?

Диди — слышала она или нет? — кивала головой... Когда после купанья вошли в кафе пообедать — О'Келли за одним из столиков увидал миссис Дьюли и с ней футбольную, глубокомысленную голову Мак-Интоша. О'Келли подбежал к ним:

— Вы? Какими судьбами вы — здесь? Я так рад, миссис Дьюли, что вы объизвестились еще не совсем...

— Объизвестились?

— Да, я только что вот рассказывал... своей даме. Через несколько лет любопытный путешественник найдет в Англии объизвестленных неподвижных людей, известняк в форме деревьев, собак, облаков... Если не случится до тех пор землетрясения или чего-нибудь такого...

Пенсне миссис Дьюли холодно блестело. Она с усмешкой поглядывала на какой-то странный сверточек с ручкой: сверточком О'Келли оживленно размахивал.

— Это и есть, мистер О'Келли, ваш знаменитый надувной чемодан?

О'Келли немного смутился — на четверть секунды.

— О, вы знаете: хороший охотник без ружья не выйдет. Просто по привычке... Так вы в пять часов? Я надеюсь, в поезде встретимся, если не опоздаю.

— Буду очень рада. — Стекла миссис Дьюли сверкали.

Неаккуратность О'Келли хорошо известна: к пятичасовому О'Келли, конечно, опоздал.

12. РОЖДЕНИЕ КЕМБЛА

Сразу спала жара, стоял молочный, мокрый туман. Особенно слышно было ночью: о подоконник чмокали немолчно отчетливые капли, как часы, отбивали кем-то положенный срок.

И когда этот срок настал — а случилось это как раз в день рождения Кембла, — было получено письмо в узком, холодновато-голубом конверте. Письмо было без подписи.

«Милостивый Государь, будучи Вашими друзьями, мы не можем не осведомить Вас, что известные Вам мистер К. и миссис Д. дурно пользуются Вашим доверием, в чем Вы будете иметь случай достоверно убедиться».

Голубоватый узкий конвертик был чем-то знакомый, и подумавши — Кембл вспомнил. Все это было очень просто и ясно: чистейшая выдумка, Кембл уверен был непреложно.

И все-таки — шел в контору, и было как-то нехорошо: будто выпил чашку чаю и увидел на дне муху, муху выкинул, но все-таки... А может быть — это просто от тумана: душный, как вата, и, закутанные, странно звучат шаги — как будто кто-то неотступно идет сзади.

В конторе О'Келли встретил Кембла шумно и радостно — был еще шумней и пестрей, чем всегда. Оказалось, О'Келли не забыл, что сегодня — день не простой, а день рождения Кембла, и готовил Кемблу какой-то подарок, а какой — обнаружится вечером. И затем Сэсили — с улыбкой пасхального барашка поднесла Кемблу букет белых лилий. Кембл прямо растрогался.

А когда вернулся домой, его ждал еще один подарок: Диди сама — сама! — предложила пойти по магазинам и начать те покупки. И Кемблова муха без следа исчезла.

— Утюг... — засиял Кембл. — Нет, сначала утюг, а уже потом...

— Утюг — тяжелый, надо под конец, чтобы не таскать его все время, — резонно возражала Диди.

Но Кембл настоял на своем, купили утюг, и Кембл радостно его таскал, и вовсе не было тяжело: легонький, как перышко, честное слово.

Зажигались огни, густел туман. Это был день рожде-

ния Кембла — настоящего рождения, начиналась новая жизнь. И новый был Джесмонд в тумане — невиданный, незнакомый город. Необычно и весело звучали шаги — будто кто-то неотвязно ступал, сторожил сзади.

И еще непременно хотел Кембл купить белья для Диди. Диди отнекивалась, но Кембл и слышать не хотел: нынче — день его рождения.

— Для вашей жены?

— Нет... То есть... — Кембл смущенно улыбался приказчику.

Прозрачные, шелковые — тело через них должно нежно розоветь — сорочки и панталоны. Было радостно-стыдно перевертывать и разглядывать все это вместе с нею, с Диди. С каждой новой купленной вещью Диди все больше становилась его женой.

Уши у Кембла горели, и он заметил: Диди прятала лицо. Кембл засмеялся.

— Ну же, Диди, будьте же храброй: посмотрите на меня... — хотелось видеть и у нее тот же сладкий стыд. Но Диди лица так и не показала.

Вечером появился О'Келли с массой свертков и в сопровождении мисс Сэсили.

— ...Чтобы было как в Ноевом ковчеге, — объяснил О'Келли. Повернулся к камину — и всплеснул руками: на камине, рядом с мопсом Джонни — красовался сверкающий утюг. — Рядом с Джонни? — с укором посмотрел он на Диди.

Потом обернулся к Кемблу:

— Итак, решено: «я твой навеки» — не правда ли, Кембл? Что касается меня, то я просто глуп: никогда не мог понять, как можно одну и ту же любить каждый день — как можно одну и ту же книгу читать каждый день? В конце концов — это должно сделать малограмотным...

На Диди шампанское сегодня действовало странно: она сидела у стола, вытаскивала из блокнота листки почтовой бумаги и с наслаждением разрывала их на мелкие кусочки. Сэсили — та покраснелась от вина и боролась с О'Келли из-за четвертой пуговицы: три пуговицы на блузке она позволила расстегнуть, но четвертую...

— Нет, это неприлично, — с серьезной и невинной физиономией пасхального барашка отвечала Сэсили.

— Но отчего же именно четвертую неприлично? — хотел О'Келли. — Отчего же три было можно?

Диди все еще рвала бумагу. О'Келли отобрал у ней блокнот и попросил тишины. Главное, на что он хотел бы обратить внимание слушателей, — была почтовая бумага с линейками. На иной бумаге — в Джесмонде писем не пишут, и это очень хорошо, так как линейки — те же самые рельсы, а мысль в Джесмонде должна двигаться именно по рельсам и согласно строжайшему расписанию. Мудрость жизни — в цифрах, а потому он приветствует трехпуговичную мораль обожаемой Сэсили. И так как он, О'Келли, и никто другой, был Эмием, соблазнившим Кембла сойти с рельс прихода Сэнт-Инок, то...

О'Келли вытащил чек на пятьдесят фунтов и протянул Кемблу:

— ...Чтобы вы могли завтра же купить все свои остальные утюги...

И так как Кембл колебался, О'Келли добавил:

— Разумеется, займы. И я требую, чтобы вы сегодня же — сейчас же — написали мне вексель. Ну?

Это было головокружительно хорошо: значит — хоть завтра же... Руки у Кембла дрожали, и голос дрожал:

— Я не умею говорить, как вы, О'Келли... Но вы понимаете... Вы мой единственный друг, который — единственный...

И теперь — это было совершенно нелепо — Диди захохотала — и все выше и громче — сорвалась — и сквозь слезы:

— Не смейте брать, Кембл! Не смейте брать у него деньги! Не смейте, я не хочу, не хочу!

Впрочем, скоро она успокоилась и затихла. Вероятно, это был просто каприз: никаких резонов — почему не хотела — Диди сказать не могла.

— Вот видите: ваше шампанское, — укоризненно-ласково сказал Кембл мистеру О'Келли, О'Келли уходил с пасхально-барашковой Сэсили под руку.

День рождения Кембла кончился — и завтра начнется новая жизнь: завтра искать маленький домик.

13. ТУМАННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Диди опять обещалась зайти к мистеру О'Келли после театра, и О'Келли бегал по цветочным магазинам, разыскивая Easter lilies: Диди их так любила. Станный, фарфорово-белый цветок, из одного громадного, небрежно свернутого лепестка, и высунуто жало-тычинка с сухим, сладким, ленивым запахом. В асимметрии цветка и в противоречии фарфоровой белизны и запаха — было что-то раздражающее, как в о'келлиевской манере говорить. Словом — Easter lilies нравились Диди, и надо было их во что бы то ни стало достать. Сезон их уже проходил. И только на Кингс-стрит О'Келли посчастливилось найти последние, уже слегка увядающие, из пожелтевшего старого фарфора.

Со свертком под мышкой, насвистывая, выбежал О'Келли из магазина. Мысли весело пенились шампанским, и из искристой пены, как Венера, выходила Диди в черной пижаме.

«Впрочем, нынешняя Венера такой и должна быть: в пижаме. Нагота — слишком уж добродетельна...» — насвистывая, размышлял О'Келли.

— Добрый вечер, дорогой мистер О'Келли! Не правда ли, прекрасная погода?

О'Келли споткнулся: перед ним сияли золотые зубы викария Дьюли.

— Вы, вероятно, к себе — в контору? — чуть приметно улыбнулся Дьюли.

— То есть... почему в контору? — О'Келли немного смутился: никто не знал о том, что делалось по вечерам в конторе, и это было очень странно, что Дьюли... — Я не настолько ослино трудолюбив, чтобы работать еще и по вечерам... — непринужденно засмеялся О'Келли.

— А-а, так-так. Так, значит... — Дьюли поднял тарелкообразную, пасторскую шляпу. И О'Келли снова весело покатился, придерживая под мышкой сверток с цветами.

Когда О'Келли свернул на Гай-стрит, уже темнело. В бесчисленных ущельях узких переулков между старыми домами — зажигались, покачивались фонари. С реки плыл туман, все теряло свой ежедневный облик, и легче было жить — легче было обмануться. В кузнице лязгало

железо, фонари красновато дымились — и можно было поверить, что внизу, у реки, собираются около костра латники Оливера Кромвеля. И что эта черная фигура — прекрасный и несчастный Риччио, пробирающийся к Марии Стюарт... О'Келли задумался, стоял, засунув руки в карманы.

Но Риччио обернулся — и О'Келли показалось: на нем плоская священническая шляпа. Что за странная встреча — или это все туман? О'Келли прильнул к витрине антикварного магазина и усиленно стал рассматривать позеленелый медный дверной молоток — уродливую собаче-человеческую голову. Потом осторожно перебежал на другую сторону и пошел следом за Риччио.

Да, это он: дощатая фигура, аккуратно сложенные позади руки — и пальцы, что-то отсчитывающие. Это был Дьюли, и переулоч Сапожника Джона — пожалуй, довольно странное место для прогулок господина викария...

О'Келли нырнул в ближайший из проходов, сбежал к реке — по темному ущелью между высоких стен, и потом закоулками выбрался опять на Кингс-стрит.

Когда, покругившись по улицам с час, О'Келли снова очутился против переулоч Сапожника Джона — туман уже осел, и было ясно видно: нет никого. Через боковую, окованную железом дверь О'Келли вошел в дом.

При конторе О'Келли была маленькая сводчатая комнатка, окном в переулоч, окно старое, узкое — бойница с решеткой. Теперь эту комнатку не узнать было: старые, выцветшие гобелены по стенам, два железных узорчатых кованых фонаря — от антикара напротив; очень низенький — на четверть от полу — турецкий диван во всю стену. И переливающиеся, неуловимые огоньки в камине, и Диди у огня — в своей черной пижаме, такая уютная.

Так вот лежать — прикованной к золотой игре огня, прихлебывать золотое, колючее вино и слушать — не слушать колючие слова О'Келли.

— ...Девочка моя, я именно этого и хочу, чтобы, поселившись с утюгами и Кемблом, — вы стали несчастны. Счастье — одно из наиболее жиробразующих обстоятельств, а вам идет быть именно такою, тоненьким, стриженным девочко-мальчиком...

Рука О'Келли касалась так нежно, и откуда-то издали, устало видела Диди причудливо-противоречивые Easter Lylies и слышала свой голос:

— Но это так жестоко — обманывать Кембла. Он — большое дитя.

— Жестоко? — засмеялся О'Келли. — Жестоко — детям говорить правду. Если что меня убеждает в милосердии Божиим — так это именно дарованная Богом ложь, именно то, что...

О'Келли не кончил: показалось — скрежетал замок в боковой двери, в переулке Сапожника Джона, а потом чьи-то шаги по каменной лестнице. Впрочем, О'Келли хорошо помнил, что дверь он запер на ключ: просто в старом доме бродила тень Сапожника Джона.

— ... Я не удивлюсь, если добрый Джон зайвится сюда... — потянулся О'Келли. — Сегодня от тумана все так фантастично...

Диди ушла в театр и сказала Кемблу, что из театра ей надо кой-куда пойти. Кембл сидел один, не зажигая огня. За окном чокали капли, отчетливо и правильно, как часы. Когда совсем смерклось — пришла старушка Тэйлор и принесла письмо от леди Кембл: леди Кембл просила сына непременно прийти сегодня вечером. Явно это было, наконец, давножданное примирение. Все складывалось как нельзя лучше. Кембл мигом оделся и пошел.

Очевидно — ратификацию мирного договора леди Кембл хотела обставить очень торжественно: столовая была ярко освещена, и вокруг стола Кембл увидел миссис Дьюли, потиравшего руки викария и футбольногового Мак-Интоша. Кембл радостно подошел к леди Кембл, но невидимая узда вздернула ее голову еще выше, она сделала величественный жест рукой — и сурово показала Кемблу на стул:

— Садитесь... — Помолчала и подняла глаза к портрету сэра Гарольда в парике и мантии. — Боже мой, что сказал бы ваш покойный отец, сэр Гарольд...

Больше она говорить не могла: за нее говорил викарий — и кому же, как не ему, сказать все, как надо?

— Дорогой мистер Кембл! Мы пригласили вас сюда — потому что мы любим вас, ибо Христос заповедал любить

и грешников. Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам для того, чтобы вернуть вас на правильный путь. И вы последуете сейчас за мной и мистером Мак-Интошем... — И, заметив, что Кембл хочет возражать, викарий добавил: — Хотя бы ради вашей матери — взгляните на нее.

Леди Кембл молитвенно смотрела на портрет покойного сэра Гарольда, из глаз ее показались две скудные слезы — это было наибольшее, что она могла себе позволить, не нарушая приличий. Рядом сидела и дрожала в лихорадке миссис Дьюли, не поднимая глаз.

Кембл спокойно сказал:

— Хорошо, пойдете... — Все это была, конечно, такая же гнусная проделка, как письмо в голубом конвертике, и раз и навсегда надо было с этим покончить.

Улицы были пустые. Ветер опять дул с реки, нагонял туман, окутывал крыши — и стены уходили вверх, в самое небо. Шли молча в ущелье из стен. Понемногу Кембл понял, что идут к конторе О'Келли. Ущелье все сдвигалось и давило, и ничего во всем мире не было, кроме стен до самого неба, и никуда нельзя было вырваться из стен: все идти, идти между стен — как во сне. И как во сне, не зная, знал Кембл, что ждет в конце пути.

В переулке Сапожника Джона, у окованной двери остановились. Наверху сквозь узенькую бойницу светил огонь.

— Ну-с? — торжествующе потирая руки, взглянул викарий на Кембла.

Как слепой ткнулся Кембл в окованную дверь.

— Заперто... — беспомощно обернулся он. Упрямый квадратный подбородок прыгал.

— О, не беспокойтесь, мы припасли ключ... — выскочила из тумана футбольная голова. Ключ был громадный, неуклюжий. — Вот французские ключи — это действительно культура, французского не подобрать... — добавил Мак-Интош.

Слышно было, как Кембл сделал по каменной лестнице два шага — и остановился. Секунду было тихо. Потом шаги загромыхали по лестнице, сливаясь в гул: Кембл бежал вверх. Потом хлопнула верхняя дверь, секунда тишины — и Кембл уже громыхал обратно, не разбирая дороги, с грохотом промчался мимо викария куда-то вниз, как огромный взбесившийся грузовик без руля.

14. ПЕРО СИСТЕМЫ УОТЕРМАНА

Утром Кембл, как всегда, тщательно выбрился и надел чистый воротничок. В зеркале с удивлением заметил, что он совершенно такой же, как всегда, разве только маленькие слоновые глазки стали побольше: за ночь под глазами легла темная тень.

В столовой Кембл взял газету и механически стал проглядывать объявления о сдающихся внаем домах — как это делал последние дни. Поймал себя на этом, усмехнулся, отложил газету. Выпил, как обыкновенно, две чашки кофе. Мазал хлеб маслом, но почему-то не ел, а складывал аккуратно на тарелке. И только когда заметил перед собой целую горку хлеба — сконфузился и ушел.

Было уже время идти в контору, но Кембл вернулся обратно в спальню. Заперся на ключ: еще раз все передумать и решить все с самого начала. Но в голове все колеса были мертвые и не двигались, и вместо мыслей было одно и то же: до боли ясный розово-черный переплет на груди у нее — и смешные, кривые и тоненькие ноги у него.

Когда прозвонили к завтраку, Кембл очнулся и понял: думать было совершенно нечего и незачем. Все уже решено кем-то, он шел теперь между высоких — до неба — каменных стен, и никуда нельзя свернуть, идти только вперед, до конца.

Кембл открыл ящик стола и вытащил старый, оставшийся от отца, револьвер с игольчатыми патронами. Потом написал на имя леди Кембл чек на тридцать фунтов, которые у него лежали еще в банке, порвал полученный от О'Келли чек на пятьдесят фунтов — и тут увидел: ручка, которой он писал, была ручка О'Келли — очевидно, О'Келли оставил ее тут в день рождения Кембла. Это была обыкновенная чернильная ручка системы Уотермана — «Waterman's Fountain Pen» — и теперь ее, конечно, надо было вернуть О'Келли.

Кембл мучительно наморщил лоб: все остальное было определено и просто, а это было страшно трудно — с ручкой Уотермана. Надо было отдать и что-то сказать при этом, и все это очень осложняло положение. Кембл су-

нул ручку в тот же карман пиджака, где лежал револьвер, и всю дорогу думал о ручке: как бы это в самом деле...

И так, с озабоченным и наморщенным видом, вошел в кабинет О'Келли.

О'Келли сидел у себя в кабинете с бумагами так же, как вчера, и все-таки было в нем что-то совершенно новое. Через секунду, приглядевшись, Кембл увидел: О'Келли — не улыбался. Это было так же невероятно, как если бы вдруг перестал улыбаться фарфоровый мопс Джонни. Это был не О'Келли...

Растерянно Кембл опустил руку в карман, вытащил перо Уотермана и положил на стол:

— Вот... ваша ручка... вы ее забыли, я должен отдать...

О'Келли изумленно распылил глаза и переводил их с ручки Уотермана на растерянного Кембла и с Кембла на ручку. Потом стал красным, с минуту наливался смехом — и лопнул:

— Боже ты мой... Перо Уотермана! Кембл, вы — вы — вы неподражаемы...

Теперь это был тот самый, это был О'Келли. Кембл, не колеблясь, вытащил револьвер и выстрелил куда-то три раза. О'Келли медленно клонился вперед, пока не уткнулся лицом в бумаги.

Кембл не слышал ни крика О'Келли, ни крика четырех его жен. Надел шляпу, вышел на улицу и почувствовал: страшно устал, никогда в жизни не уставал так. Подошел на Гай-стрит к мирно дремавшему бобби:

— Я убил мистера О'Келли, адвоката. Пожалуйста, поскорее отведите меня куда надо: я очень устал.

Полицейский разинул рот и всем своим существом и округлившимися глазами так явно подумал: «сумасшедший», что Кембл добавил:

— Ну, подите и спросите в конторе, а я подожду. Только, пожалуйста, поскорей.

Через минуту полицейский и Кембл шли вместе вниз, по переулку Сапожника Джона. Шли молча между гладких, до неба поднимавшихся стен, и сквозь туман вспоминалось Кемблу: так — без конца — он уже шел когда-то между двух гладких, нескончаемых стен...

15. СЕРО-БЕЛАЯ ЧЕШУЯ

Осенний ветер бесился, свистел, сек. С моря наседала огромная серая птица, закрыла крылами полнеба, нагибалась все ближе, неумолимая, немая, медленная, и все больше темнело. Но толпа не расходилась: прошел слух, что убийцу могут помиловать. В самом деле, глядишь, имя и заслуги его отца, покойного сэра Гарольда, — еще не были забыты, и очень легко могло стать, что...

— Долой сэров! — каркал кто-то упрямо и хрипло. — Небось этого солдата в прошлом году живо вздернули... Долой сэров!

Фонарь у входа в тюрьму дергался и качался, и белые стены пошатывались, готовые рухнуть. Правосудие было в опасности...

Из толпы вынырнула футбольная голова мистера Мак-Интоша. Он был взволнован, его голос дрожал.

— Господа, правосудие и культура нераздельны. Мы должны стать на защиту культуры. Господа, можно ли себе представить что-нибудь более дикое, чем обдуманное и рассчитанное убийство? И поэтому, к сожалению... Да, да, говорю: к сожалению — мы должны требовать казни...

— Долой сэров!

Ветер свистел. От фонаря легла длинная светлая полоса, и в этой полосе пестрой чешуей переливались лица, котелки, воротнички — медленным, бесконечным движением ползущей змеи. Слов уже было не разобрать: змея переливалась и сердито урчала.

Откуда-то, как выпущенная из клетки, пронеслась стая мальчишек — все босые и все в белых воротничках.

— «Джесмондская Звезда»! Экстренное прибавление! Помилование убийцы адвоката О'Келли!

— Как? Уже? Помиловали? — вцепились в белые листки.

Но речь шла только о возможном помиловании, и только прибавлялось, что, принимая во внимание заслуги покойного сэра Гарольда, это было бы более чем...

— Долой сэров!

— Господа, правосудие...

— Долой «Джесмондскую Звезду»!

Серо-белая чешуя быстрее переливалась под фонарем, змея зашуршала по асфальту, поползла к редакции «Джес-

мондской Звезды и двадцатью кольцами развернулась перед темными окнами. В редакции никого не было.

Звякнул камень о стекло, брызнули и задребезжали осколки. Но окна были такие же пустые и темные. И темная немая птица сверху нагнулась совсем близко.

Пора было идти по домам: в постелях уже нетерпеливо ждали голубые и розовые жены. Ждали, чтобы, зажмурившись от страха и любопытства, спросить:

— Неужели — помилуют? Неужели...

И потом вздрогнуть и прижаться пылко: как хорошо жить...

* * *

К ночи ветер неожиданно стих. И стало тихо и черно — как будто куда-то провалился весь мир. Бывает так, что крутится весь день потерянный человек, вздрагивает от звонков и смеется таким смехом, от которого страшно, а глаза западают все глубже, и только об одном мысль: ткнуться головой в подушку, провалиться в черное — уснуть. И вот такая была ночь: головой в черную подушку ткнулся день, провалился — ни света, ни звука.

К ночи миссис Дьюли стало как будто легче. Весь день было очень нехорошо: опять пропало пенсне — и весь день она бродила как слепая, спотыкалась и натывалась на людей. И все как будто бегала за какими-то покупками, а придет в магазин — и покупать ничего не надо, и вовсе не то, а главное — все равно: зачем теперь покупать?

Обед был в шесть с четвертью — вместо шести, и викарий острыми треугольниками поднимал вверх брови:

— Дорогая моя, ведь это так просто: иметь запасное пенсне. И тогда у вас не было бы этого... этого странного вида. И был бы порядок, а вы знаете...

— Хорошо, я куплю завтра... — Миссис Дьюли вздрогнула и поправилась: — Послезавтра...

Потому что завтра... Кто же в мире будет что-нибудь покупать завтра — в тот день, когда там, в тюрьме, Кембла выведут во двор, поставят...

В спальне было темно, не надо было смотреть — может быть, оттого миссис Дьюли стало легче, и она неожиданно уснула.

Вероятно, спала только несколько минут. Проснулась,

открыла глаза — и увидела белый фланелевый колпак викария: викарий, сложивши, согласно предписанию «Завета», руки на груди, мирно похрапывал. Все было черно и тихо, провалился весь мир. Вопить и кричать — никто не услышит и ничего не сделает: весь мир мирно спал, похрапывая, во фланелевом колпаке...

Неизвестно, сколько времени спал викарий, но только проснулся от воплей миссис Дьюли. Тотчас понял: «Страшный сон — скорее будить...» — сны никак было не подвести под расписание, викарий очень боялся снов.

Вероятно, миссис Дьюли спала очень крепко — она кричала все громче и только тогда затихла, когда викарий схватил ее за плечо холодной рукой.

— Я думаю, вам на ночь не надо ужинать, дорогая...

— Да, я думаю — не надо, — ответила в темноте миссис Дьюли.

Через пять минут викарий опять спал, мирно похрапывая. Все было черно и тихо.

16. ТОРЖЕСТВУЮЩЕЕ СОЛНЦЕ

Было назначено в половине десятого — и совершенно правильно: всякий культурный человек должен иметь время побриться и позавтракать, и в том, что назначено было в половине десятого, только сказывалось уважение одного культурного человека к другому — хотя бы и преступному.

Солнце было очень яркое. Солнце торжествовало — это было ясно для всякого, и вопрос был только в том, торжествовало ли оно победу правосудия — и, стало быть, культуры — или же...

Серо-белая чешуя тревожно шуршала и переливалась: — Послушайте, господа, ничего еще не известно?

Нет, вчера ничего не получено, но может быть — сегодня утром... В конце концов все решит последний момент: зазвонит или не зазвонит в половине десятого тюремный колокол?

В тюрьму пробирался аккуратно выбритый розовый старичок, из тех, что имеют вид вкусный, как сдобные, хорошо подрумяненные пирожки.

Старичок постучал, обитая железом дверь в тюремной стене перед ним открылась.

Миссис Дьюли обернулась к викарию, она дышала коротко, часто:

— Кто... кто это? Кто туда сейчас вошел?

— Ах, этот? Это, дорогая, мастер.

Миссис Дьюли схватила викария за руки выше локтя, вцепилась в него изо всех сил:

— Вы... вы хотите сказать, что это тот, кто будет должен...

Викарий стряхнул ее руки:

— На вас сссмотрят. Я ничего не хочу сссказать. Вы не умеете владеть сссобой...

Миссис Дьюли замолкла... Возле нее сверкнули чьи-то часы:

— Без двух минут половина десятого.

Без двух минут... Чешуя напряглась, замерла, не шевелилась. Бифштексно-румяные посетители боксов и скачек не отрывались от часов. Равнодушно блестели медные трубы Армии Спасения. Румяное, упитанное, торжествующее выкатывалось солнце. Иней на крыше таял, и тикала капель — как часы, отчетливо отбивала секунды — до половины десятого.

И вот капнуло еще, и последняя капля: половина. Напряженная, стеклянная секунда — и... ничего: колокол молчал.

Сразу зашевелилась чешуя, заурчала, и все громче. Все были оскорблены: и любители бокса и скачек, и сторонники культуры.

Кипели и переливались. Вымахивали руки. Зловеще свивались и развивались кольца, и все еще чего-то ждали, не расходились.

Миссис Дьюли — без пенсне, в сбившейся набок шляпе — опять схватила за руку викария:

— Вы... вы... вы понимаете? Ведь, значит, он... значит, его не... Вы понимаете?

Викарий Дьюли не слышал, он смотрел на часы: было уже без двадцати десять.

Без четверти десять, когда уже больше не на что было надеяться, — тюремный колокол вдруг запел медленным, медным голосом: капала с неба медная, мерная капель.

Миссис Дьюли закричала странным, не джесмондским голосом:

— Нет, нет, ради Бога, ради Бога! Остановите, оста...

Дальше уж не было слышно: чешуя бешено закрутилась, запестрела платками и криками. Солнце торжествовало, розовое и равнодушное. Трубы Армии Спасения играли тягучий гимн. Облегченно становились на колени: помолиться за душу убийцы.

А затем, когда все стихло, викарий Дьюли произнес речь — о необходимости проведения в жизнь «Завета Спасения». Все то, что случилось и замутило тихое течение джесмондской жизни, — не было ли, наконец, самым убедительным аргументом? Если бы государство насильно вело слабые души единым путем — не пришлось бы прибегать к таким печальным, хотя и справедливым мерам... Спасение приходило бы математически-неизбежно, понимаете — математически? Прокричали cheers в честь викария Дьюли, гордости Джесмонда, и единогласно приняли резолюцию. Надо надеяться, что на этот раз билль о «принудительном спасении» наконец пройдет.

Надежное место (В Задонск на богомолье)

Какого-то архиерея угощали ухой

из цыплят. И такая вот скромная уха — вдова Полипанова. Степенная, в платье черном; косынка на брови насунута, как у чернички; на судью глаза поднимает — как на Спаса Нерукотворного. А ручки сливочные, с перемычками на запястьях, а под черным кашемиром — так и пружинит сдобь; а голос... ах, граждане судьи, не слушайте ее голоса.

У вдовы Полипановой украли в вагоне семьдесят миллионов рублей, а спрятаны были семьдесят миллионов под платьем в надежном месте, и в голову никому...

— Прошу вас, гражданка, точнее: в каком таком надежном. Ну, что: ну в чулке, в юбке, ну?

— Да уж диви бы в чулке, а то, батюшка мой, так запрятаны, так... Алахарей-то нынче всяких довольно на машине ездит, всяких пускают. Уж так-то, думаю, ни одна собака не найдет. А он, анчутка беспятый, иуда рыжий, вытащил ведь, а!

— Прошу вас, гражданка Полипанова, все по порядку. Когда это случилось?

— Да под Николин же день, когда же еще. На Николу — Ивану Степановичу моему, царствие ему небесное, годок ровно. А тут — слухи пали, в Задонске у Русина — опять лавку открыли, торгуют — по-старому. Сем-ка я, думаю, в Задонск съездию, поговеею, и по Ивану Степановичу панихиду отслужу, и у Русина кой-что выберу.

Ну, стало быть, наняла за два миллиона до станции Николку гундосового, какой у нас перья-то на селе скупает. Приехали это загодя, час до поезда ждать. Сергею Ма-

реву, буфетчику, — дай-ка, говорю, кипяточку. Чай-сахар вынула, пышки на сметане. Сама за пышку, а сама в слезы: до чего Иван Степаныч мой пышки эти самые любил, как, бывало, ни испеку — обкушается и от живота катается.

Откуда ни возьмись — рыжий, вот этот самый... прикажите ему, гражданин судья, чтобы не ухмылялся! — рыжий у буфета — вилкой тык-тык, а сам на меня — Сергею Мареву вот этак бровями. Ну, думаю, кобызись, кобызись, мое дело сторона. А он — глядь, от буфета мне прямо: «Нам, говорит, с вами, мадам, по пути». — «А вам, молодой человек, это откуда известно?» — «А так, говорит, я — в Задонск на богомолье». — «И я тоже».

Послал, думаю, Никола-угодник попутчика. А он, собака рыжая, языком — чисто хвостом: туды-сюды, так и стелет. «Я, мол, сирота. Место, говорит, получил — банкиром, на сорок миллионов, так по обещанию еду. И как, говорит, вы одна за чаем слезно...» Расхлябачила я сдуру сердце: чаю ему, подлецу, с молоком, пышек ему. Сижу, уши развесила — неведомо как, час проскочил, и уже звонят, поветку дают — к поезду.

Взгойчилась я: «Скорей, скорей», а он узел мой подхватил, скрозь народ — сороконожкой, и был таков. Я взмыкалась, я взахалась, уж другой звонок, я — по вагонам, что ни есть мочи. И уж бо-знать где у самого паровика в последнем вагоне — гляжу: на лавочке сидит с узелком с моим. «Ну, говорит, слава Тебе, Господи, а уж я думал, мы растерялись с вами, уж выскакивать хотел». А у меня от бегу — головокружение в ногах изделалось, ни встать, ничего, только ох, ох... Глаза разинула — а уж он, змей прыткий, узел мой развязал и постель постелил, и все. «Пожалуйте, говорит, мадам, вы утомились, расстроились, а я посижу». А чего сидеть, когда в цельном вагоне — мы двое, местов свободных — хоть подавись.

Вскочил это он на лавочку, шторочку на фонаре спустил и ко мне присел. И, значит, это, свет — чисто лампада под праздник, умильный такой и колеса эти качи-качи. Рассолодела я, а он, сюда, зачал слова говорить, а сам рукой этак сквозь платье. «Что вы, что вы, говорю, молодой человек, я женщина честная, тут кондуктор каждую минуту может пройти». — «Кондуктора, говорит, обязательно с этого конца поезда начинают, им еще до нас, может, час целый». А сам мне, извините, под платье. Я, дура, ле-

жу, растетехалась, а он по чулкам, дальше, и самое тут, значит, и нащупал семьдесят моих миллионов, в платочке вот в этакое, да как цапнет...

— Постойте, постойте! Да ведь вы сами же в памяти были и не спали? Как же вы ему позволили под платье?

— Господи, батюшка. Как же... Да разве я знала? Я думала — он с честными намерениями.

6—8 сентября 1918

Видение

Водка была особенная, настоянная

на щепотке чая с маленьким кусочком сахара. Иванов и Куколь поспорили, кто больше может выпить. Соседи стали подзадоривать, считать рюмки. Потом все забыли о них, но они уже вошли в азарт, ни один не хотел уступить. Они пили со злостью, упрямо, и каждый старался показать другому, что он трезв.

У Куколя очки сползли на нос, его мягкие лошадиные губы стали мокрыми. На меховом, заросшем бородой до глаз, лице Иванова ничего не было заметно, но в голове у него стучала какая-то сумасшедшая кузница. Сквозь табачные облака он увидел беззубого маленького человека, который сидел на буфете под самым потолком, кричал, что он воробей и вил себе гнездо из газет.

Иванов никак не мог понять, мерещится ему это или на самом деле кто-то забрался на буфет. Ему стало неприятно. Он сказал Куколю, что идет домой. Куколь вдруг решил, что пойдет ночевать к Иванову, хотя Иванов жил черт знает где — на даче под Москвой. Но Иванов нисколько не удивился, и они вышли вместе, друг перед дружкой стараясь шагать как можно тверже.

В голове у обоих был такой же фантастический туман, какой сейчас, перед рассветом, накрыл всю Москву. Тусклые золотые купола висели в воздухе, как внезапно размножившиеся луны. Кремлевские башни превратились в вавилонские: их верхушки уходили в белую бесконечность. Иванову вспомнился человечек на верху буфета, и он осторожно спросил Куколя:

— А этого, на буфете, который гнездо вил, — помнишь? Вот чудак!

— На буфете... гнездо? — вытаращил глаза Куколь. Потом спохватился и неуверенно сказал: — Да, да помню.

Иванов понял, что он врет. Они пошли молча, искоса, испытующе поглядывая друг на друга.

Кремлевские башни исчезли без следа. Туман стал еще гуще, он спустился на узкие переулки, как белый потолок, и переулки стали похожи на лабиринты метро. Иванов уже давно не понимал, где они идут, но не показывал виду, только шел все быстрее.

— Ну, где же это самое твое шоссе? Скоро? — спросил наконец Куколь.

— Сейчас, сейчас! — с притворной бодростью сказал Иванов.

И в самом деле, они перешли, спотыкаясь, через рельсы и выбрались на какое-то шоссе. Какое — Иванов не знал. Но Куколь успокоился, снял очки, даже запел что-то.

Вдруг шедший впереди Иванов остановился, во что-то вглядываясь, потом круто повернулся спиной к дороге и стал, зажмурив глаза. Куколь подошел.

— Что такое? — спросил он, ничего не понимая.

— Да нет, ничего особенного... — Иванов открыл глаза, он изо всех сил старался улыбнуться, но улыбка не вышла, губы у него дрожали.

— Ну, так идем. Чего же ты стал? — сказал Куколь.

Иванов вынул платок, тщательно протер глаза. Он медлил, он боялся: а что, если, повернувшись, он снова увидит э т о? Но близорукие, прищуренные без очков, глаза Куколя с такой явной насмешкой глядели на него, что он собрался с духом и повернулся.

И справа, на пересекавшей шоссе дороге, он снова увидел э т о.

Уже рассветало, дул легкий ветер. Разорванный туман летел над полем длинными полотенцами. Впереди, отрезанный от земли, призрачный висел в воздухе черный лесок. И к лесу медленно приближался, колыхаясь вправо и влево... белый слон! Иванов попробовал идти с закрытыми глазами, но через минуту не вытерпел, со страхом открыл глаза — и снова увидел слона.

Его прошиб пот: ему стало ясно, что он допился до галлюцинаций. Если бы не было этого проклятого Куколя, можно было бы сесть, с закрытыми глазами просидеть полчаса, пока не пройдет хмель и не исчезнет этот неле-

пый белый слон. Но Куколь весело напевал за спиной, Иванову во что бы то ни стало надо было идти вперед — туда, где в тумане плыл слон. И он шел, обливаясь потом, закрывая и опять открывая глаза и всякий раз снова убеждаясь, что галлюцинация продолжается. Он потерял всякое представление о времени: может быть, он шел так час, а может быть, всего только пять минут.

До его сознания смутно дошло, что сзади, где, напевая, плелся Куколь, что-то такое изменилось. Потом он понял, что Куколь вдруг почему-то перестал петь. Иванов оглянулся и увидел: разинув рот, Куколь сквозь очки пристально глядел куда-то. Как только он заметил, что Иванов смотрит на него, он торопливо сбросил очки.

— Я бы, знаешь, посидел бы... Покурим, а? — робко сказал он Иванову.

На краю шоссе лежал большой камень. Как будто сговорившись, оба сели спиной к лесу, около которого Иванову привиделся белый слон. Они молча курили, упорно, мучительно размышляя. Куколь несколько раз поднимал очки к глазам, потом, с опаской покосившись на Иванова, снова опускал их. Наконец не вытерпел, напялил очки, быстро глянул через плечо — и сейчас же отвернулся. Длинное лошадиное лицо его было бледно, испуганно.

Иванову пришла в голову дикая мысль, что у Куколя — тоже галлюцинация, что он тоже увидел что-то. Но что? Иванов не рискнул спросить, чтобы не выдать себя.

Догоревшая папироса обожгла Куколю пальцы — только тогда он очнулся, бросил окурочек и сказал Иванову:

— Ну, что же, надо идти, а?

Но продолжал сидеть. Иванов сделал какое-то неопределенное движение ногами, как будто собирался встать, но не встал. Куколь с любопытством смотрел. Иванов обозлился на него, на себя и вскочил, нарочно толкнув Куколя плечом.

Когда он повернулся и глянул вдаль — ему захотелось орать от радости: галлюцинация исчезла, впереди были только белые ленты тумана и черный лес. Он косолапо, по-медвежьи побежал к лесу, крикнув Куколю: «Догоняй». Но пьяные ноги слушались плохо, он плюхнулся в грязь. Догнавший его Куколь хохотал, запрокидывая голову вверх, — как курица, когда она пьет.

Весело болтая, они вошли в лес. Впереди была зарос-

шая кустами горка, а потом дорога, должно быть, спускалась. Разогнавшись, они с разбегу взяли горку и побежали вниз, где, как блюдо с молоком, лежала налитая туманом круглая полянка.

И на повороте, будто наткнувшись на какую-то невидимую стену, оба враз остановились. Совсем близко на поляне Иванов снова увидел белого слона и ему показалось даже, что он успел разглядеть короткий, мирно помахивающий слоновый хвост. В галлюцинации ничего не было страшного, но Иванову страшно было убедиться, что он сходит с ума. Не оглядываясь, он побежал во весь дух. Сзади он слышал прерывающееся, хриплое дыхание Куколя.

В двадцати шагах под березой вился дымок: рябой, с облупленным носом красноармеец кипятил на костре чай. Облупленный нос — это было так просто, трезво, реально, что Иванов сразу опамятовался. Он, все еще тяжело дыша, присел возле костра и спросил:

— Вы, товарищ, в Москву? Служите там?

— Да, служба! Черт бы ее взял! — сердито плюнул красноармеец.

— А что? — участливо спросил Иванов, с нежностью глядя на облупленный нос.

— Да как же... сукин сын, а? На последней станции перед Москвой забунтовал, пришлось снять его с поезда.

— Кого — его? — осторожно вставил Куколь (он уже тоже сидел у костра).

— Да слона этого самого. Из Ливадии везем: сиамский царь нашему подарил, а теперь, значит, ввиду революции — в Москву, в зверинец... Белых у вас нету.

— Нету, нету! — восторженно подхватил Иванов. — Я еще издали на шоссе его увидал и обрадовался: вот, думаю, московским трудящим подарок! Спасибо, дорогой товарищ!

Он влюбленно стиснул руку удивленному красноармейцу и пошел. Куколь за ним.

И молча, сконфуженно, стараясь не глядеть друг на друга, они зашагали через лес к шоссе.

В спектре этого рассказа

основные линии — золотая, красная и лиловая, так как город полон куполов, революции и сирени. Революция и сирень — в полном цвету, откуда с известной степенью достоверности можно сделать вывод, что год 1919-й, а месяц май.

Это майское утро начинается с того, что на углу Блинной и Розы Люксембург появляется процессия — по-видимому, религиозная: восемь духовных особ, хорошо известных всему городу. Но духовные особы размахивают не кадилами, а метлами, что переносит все действие из плана религии в план революции: это — просто нетрудовой элемент, отбывающий трудовую повинность на пользу народа. Вместо молитв, золотая, вздымаются к небу облака пыли, народ на тротуарах чихает, кашляет и торопится сквозь пыль. Еще только начало десятого, служба — в десять, но сегодня почему-то все вылетели спозаранок и гудят, как пчелы перед роением.

В тот день (1919, 20/V) все граждане в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет, за исключением самых нераскаянных буржуев, состояли на службе, и всех от восемнадцати до пятидесяти явно ждало сегодня что-то необычайное во всевозможных УЭПО, УЭКО, УОНО. Главное, что это было «что-то», что это был икс, а природа человеческая такова, что ее влекут именно иксы (этим прекрасно пользуются в алгебре и в рассказах). В данном случае икс произошел от раскаявшегося дьякона Индикоплева.

Дьякон Индикоплев, публично покаявшийся, что он в течение десяти лет обманывал народ, естественно, пользовался теперь доверием и народа и власти. Иногда случалось даже, что он ловил рыбу с товарищем Стерлиговым

из УИКа — так было, например, вчера вечером. Оба глядели на полавки, на золото-красно-лиловую воду и беседовали о голавлях, о вождях революции, о свекольной патоке, о сбежавшем эсере Перепечко, об акулах империализма. Здесь — совершенно некстати — дьякон заметил, конфузливо прикрывшись ладонью:

— А у вас, товарищ Стерлигов, извиняюсь... штаники сзади... не то чтобы это самое, а вроде как бы...

Товарищ Стерлигов только почесал шубу на лице:

— Ладно, до завтра доживут! А завтра, должно быть, служащим прозодежду выдавать будут — из центра бумага пришла. Только это я вам по секрету...

Когда с тремя ершами дьякон возвращался домой, он по дороге, конечно, стукнул в окно телеграфисту Алешке и сказал ему — конечно, по секрету. А телеграфист Алешка, как вам известно, поэт, он написал уже восемь фунтов стихов — вон там, в сундуке лежат. Как поэт, он не счел себя вправе хранить тайну в душе: призвание поэта — открывать душу настежь для всех. И к утру все от восемнадцати до пятидесяти знали о прозодежде.

Но никто не знал, что такое прозодежда. Всем ясно было одно: прозодежда есть нечто, ведущее свою родословную от фигового листа, то есть нечто, прикрывающее наготу Адамов и украшающее наготу Ев. А общая площадь наготы тогда была значительно больше площади фиговых листьев — настолько, что, например, телеграфист Алешка давно уже ходил на службу в кальсонах, посредством олифы, сажи и сурика превращенных в серые, с красной полоской, непромокаемые брюки.

Естественно поэтому, что для Алешки прозодежда воплощалась в брючный образ, но она же для красавицы Марфы расцветала в майскую розовую шляпу, для бывшего дьякона уплотнялась в сапоги — и так далее. Словом, прозодежда — это явно нечто, подобное протоплазме, первичной материи, из которой выросло все: и баобабы, и агнцы, и тигры, и шляпы, и эсеры, и сапоги, и пролетарии, и нераскаянные буржуи, и раскаявшийся дьякон Индикоплев.

Если вы рискнете сейчас вместе со мной нырнуть в пыльные облака на улице Розы Люксембург, то сквозь чох и кашель вы явственно услышите то же самое, что слышу я: «Дьякон... С дьяконом... Где дьякон? Не видели дьяко-

на?» Только один дьякон, как опытный рыболов, мог вытащить этот зацепивший всех крючок-икс, с наживкой из прозодежды. Но дьякона здесь не было: дьякона надо искать сейчас не в красной линии спектра, а в сиреновой, майской, любовной. Эта линия пролегает не по Розы Люксембург, а по Блинной.

В самом конце Блинной, возле выкрашенного нежнейшей сиренево-розовой краской дома, стоит раскаявшийся дьякон. Вот он постучал в калитку, — через минуту мы услышим во дворе розовый голос Марфы: «Кузьма Иваныч, это вы?» — калитка откроется. В ожидании дьякон разглядывает нарисованную на калитке физиономию с злодейскими усами и с подписью внизу: «Быть по сему». Известно, что это значит, но дьякон тотчас вспоминает, что он — бритый: с тех пор как, раскаявшись, он снял усы и бороду — ему постоянно чудится, что он будто снял штаны, что нос торчит совершенно неприлично и его надо чем попало прикрыть — это сушая мука!

Прикрывши нос ладонью, дьякон стучит еще раз, еще: никого. А между тем Марфа дома: калитка заперта изнутри. Значит — что же? — значит, она с кем-нибудь... Дьякон ставит внутри себя именно это, только что здесь изображенное графически многоточие и, ежеминутно спотыкаясь на него, идет к улице Розы Люксембург.

Через несколько минут на том же самом месте, возле нежнейшего розового дома, нам виден телеграфист и поэт Алешка. Он тоже стучит в калитку, созерцает усатую физиономию, ждет. Стоит спиной к нам: только темный затылок и уши, оттопыренные как-то очень удобно и гостеприимно — как ручки у самовара. Вдруг весь Алешка становится ненужным гарниром к собственному правому уху: живет только ухо — глотает шепот, шорох, шаги во дворе. Поэту нужно все знать и все видеть: он метнулся к забору, ухватился за край, подпрыгнул, разорвал рукав — и там, во дворе, под сараем, на один миг увидел нечто. Пожалуй, не стоит рвать рукава и лезть на забор за поэтом: все равно — раньше или позже мы узнаем, что там увидел Алешка. А пока об этом можно судить по его лицу: с разинутым ртом и круглыми глазами Алешка походил сейчас на тех беспощадно нанизанных на веревку ершей, которые вчера вечером болтались в дьяконовой руке перед окном у Алешки. В ершовом виде Алешка простоял ровно

столько, сколько ему потребовалось, чтобы к увиденному подобрать рифму (заметьте: рифмой оказалось слово «осечка»). Затем он сорвался с веревочки, на которую низала его судьба, и помчался на улицу Розы Люксембург.

Там сейчас готовилась катастрофа: столкновение в некоей человеческой точке двух враждующих линий спектра — красной и золотой, революционной и купольной.

Этой человеческой точкой был дьякон. Одет он был в бордовые штаны и толстовку, сшитые из праздничной рясы, — и виден был издавлек, как зарево или знамя. Чуть только он забагровел в облаках пыли — к нему, как к магниту, повернулась вся улица Розы Люксембург — к нему прилипли десятки вопросов, рук, глаз. Дьякон был на невидимом амвоне и с амвона раздавал каждому: «Да, прозодежда... Да-да, бумага из центра».

Но один из народа (бас) брякнул:

— Какая там бумага! Ври больше!

— То есть как это — «ври больше»?

— А так, очень просто.

— Не веришь? Ну, гляди — ну, вот те крест святой, ну? — И, чтобы удержаться наверху, на амвоне, раскаявшийся дьякон, забыв о раскаянии, действительно перекрестился. Затем вдруг побагровел — рефлекс другой линии спектра — и (невидимо) грохнул вниз.

Катастрофа эта была вызвана тем, что из соседнего облака пыли в упор на дьякона глядела козья ножка, вправленная в меховое лицо: Стерлигов из УИКа. И конечно, он видел, как дьякон перекрестился.

Дьякон мучительно почуял свой голый нос, прикрыл его рукою, другую прижал к сердцу.

— Товарищ Стерлигов... Товарищ Стерлигов, простите ради Христ... — И, побагровев еще пуще, замер.

Стерлигов вынул изо рта сигарку, хотел что-то сказать, но ничего не сказал — и это было еще страшнее: только молча поглядел на дьякона и пошел. Дьякон, как лунатик, все еще прижимая руку к сердцу, за ним.

Еще пять — десять строк — и, глядишь, дьякон придумал бы, что сказать, и был бы спасен, но как раз тут из-за угла вывернулся Алешка. Он подскочил к Стерлигову и вместо того слова, какое было нужно, выпалил рифму:

— Осечка! То есть... я хочу с вами...

И замолчал, оглядываясь, переминаясь с ноги на ногу, — непромокаемые брюки его чуть погромыхивали, как бычьи пузыри, на каких ребята учатся плавать. Стерлигов сердито выплюнул сигарку.

— Ну? По какому делу?

— По... по секретному, — шепнул Алешка.

В пыльных волнах кругом плавали десятки ушей — шепот слышали, и он побегал дальше, как огонек по пороховой нитке. Секретное Алешкино дело, неведомая прозодежда, катастрофа с дьяконом — это было уже слишком много, в воздухе носились тысячи вольт, нужен был разряд.

И разряд совершился: хлынул дождь. Все от восемнадцати до пятидесяти спасались в подъезды, в подворотни и оттуда глядели на шуршащий, сплошной стеклярусный занавес. Ничего-о, пусть льет — дождь этот одинаково нужен как для хлебов республики, так и для последующих событий рассказа: в сумерках по следам на влажной земле преследователям будет легче искать некоего убегающего от них икса.

Все, кто видел дьякона хоть бы вот сейчас, на улице Розы Люксембург, — знают, что это мужчина здоровенный. Так что, может быть, я рискую неприятностью при случайной встрече с ним в другом рассказе или повести — но тем не менее я считаю своим долгом разоблачить его здесь до конца.

Раскаявшись и обрившись, дьякон Индикоплев напечатал буллу к прежней своей пастве в «Известиях» УИКа. Набранная жирным цицero булла была расклеена на заборах — и из нее все узнали, что дьякон раскаялся после того, как прослушал лекцию заезжего москвича о марксизме. Правда, лекция и вообще произвела большое впечатление — настолько, что следующий клубный доклад, астрономический, был анонсирован так: «Планета Маркс и ее обитатели». Но мне доподлинно известно: то, что произвело в дьяконе переворот и заставило его раскаяться, — был не марксизм, а марфизм.

Родоначалница этого внеклассового учения, до сих пор только чуть-чуть показанная между строк, однажды ранним утром спустилась к реке — искупаться. Разделась, повесила на лозинку платье, с камушка опустила в воду пальцы правой ноги — какова сегодня вода? — плеснула

раз, другой. На сажень влево сидел под кустом (тогда еще не раскаявшийся) голый дьякон Индикоплев и подтягивал вентерь, поставленный в ночь на раков. Привычным рыболовным ухом дьякон услышал плеск: «Эх, должно быть, крупная играет!» — взглянул... и погиб.

Марфа повела плечами (вода холодновата) и стала венком закладывать косу крутом головы — волосы спелые, богатые, русые, и вся богатая, спелая. Ах, если бы дьякон умел рисовать, как Кустодиев! — ее, на темной зелени листьев, поднявшую к голове руку, в зубах — шпилька, зубы — сахарные, голубовато-белые, на черном шнурочке — зеленый эмалевый крестик между грудей...

Тотчас же встать и уйти дьякон не мог — по случаю своей наготы; одеваться — белье было одна срамота. По неволе пришлось вытерпеть все до конца — пока Марфа наплавалась, вышла из воды (одно это: как скатывались капельки с кончиков!), оделась — не спеша. Дьякон вытерпел, но с того именно дня стал убежденным марфистом.

В сущности, к евангелию марфизм был гораздо ближе, чем к марксизму. Так, например, несомненно, что основной заповедью Марфа считала: «возлюби ближнего своего». Для ближнего — она всегда готова была, по евангелию, снять с себя последнюю рубашку. «Ах ты, бедняжка мой, ну что ж мне с тобой делать? Ну поди, миленький, ко мне — ну поди!» — это она говорила эсеру Перепечко («бедненький, в тюрьме сидел!», говорила Хаскину из ячейки («бедненький — шейка прямо как у цыпленка!», говорила телеграфисту Алешке («бедненький, все сидит — пишет!», говорила...

Тут-то в дьяконе и обнаружилось это проклятое наследие капитализма — собственнический инстинкт. И дьякон сказал:

— А я желаю, чтоб ты была моя — и больше никому! Если я тебя... ну, вот как... ну, не знаю как... — понимаешь?

— Ах ты, бедненький мой! Да понимаю же, понима-аю! А только что же мне с ними делать, когда они Христом-Богом просят? Ведь не каменная я, жалко!

Это было в тихий революционный вечер, на лавочке у Марфы в саду. Где-то нежно татакал пулемет, призывая самку. За стеною в сарае горько вздыхала корова — и в саду еще горче вздыхал дьякон. Так бы и шло, если бы судь-

ба не пустила в ход красного цвета, каким окрашиваются все перевероты в истории.

Как-то раз вместо сахара гражданам выдали по бидону разведенного на олифе сурика. Весь день дьякон громахал босыми ногами по железу — красил в модный цвет крышу. А когда стемнело, дьяконица (соседки ей уж давно шептали про дьякона) задами пробралась к Марфе в сад. В руках у ней был узелок, а в узелке — нечто круглое: может быть — бомба, может быть — отрубленная голова, а может быть — горшок с чем-нибудь. Через десять минут дьяконица вылезла из сада, обтерла о лопух руки (не в крови ли они?) — и вернулась домой. Затем — как всегда: звезды, пулемет, в сарае вздыхала корова, на лавочке в саду — дьякон. Он вздохнул раз-другой — и выругался:

— Фу-ты, ч-черт! И тут краской воняет — никуда от нее не уйдешь, нынче за день весь насквозь пропитался!

Но, к счастью, у Марфы на груди была приколотая веточка сирени. Дорогие товарищи, знакома ли вам эта надстройка на нежнейшем базисе — согласно учению марфизма? Если знакома, вы поймете, что дьякон скоро забыл о краске и обо всем на свете.

Неудивительно, что утром дьякон еле продрал глаза к обедне. Скорей одеваться — схватил штаны... Владычица! — не штаны, а прямо следы преступления: все вымазано красным. И у серого подрясника — все сиденье красное, и все полы красные... Лавочка-то вчера в саду была выкрашена — то-то оно и пахло!

Дьякон кинулся к шкафу — надеть другие брюки, которые не представляли бы собой наглядной диаграммы его греха, но шкаф был пуст: дьяконица все припрятала.

— Нет, Гришка ты этакой Распутин, так и иди! — кричала дьяконица. — Иди, иди, чтоб все добрые люди видели! Не-ет, не дам, иди!

Так и пошел — как некогда пророк Елисей — со стадом гогочущих мальчишек сзади.

Никому и никогда еще не удавалось изобразить по-настоящему самум, землетрясение, роды, катценяммер. Нельзя изобразить то, что происходило в дьяконе, когда он служил эту обедню. Важно одно: к концу обедни дьякон оценил завоевания революции и, в частности, то, что революцией разрушена тюрьма буржуазного брака.

На другой день дьякон отнес к портному праздничную

рясу. А через два дня в бордовой толстовке, бритый, стыдливо прикрывая рукой бесстыдно выскочивший нос, заявился к Марфе — сказать ей, что из-за нее он решил погубить душу, отречься от всего, с дьяконицей развестись и жениться на ней, Марфе.

— Ах ты, бедненький! Ну поди, поди ко мне... да что это у тебя глаза этакие чудные?

— Что — глаза! Тут мозги наперекосы пойдут — от всего от этого...

Мозги у дьякона шли наперекосы: как в бурсе, он опять сидел и зубрил тексты — теперь из Маркса — и каждый вечер ходил на занятия в кружок. Но под марксизмом дьякона скрывался чистейший марфизм: после моих беспристрастных свидетельских показаний это должно быть ясно для суда истории. А затем, граждане судьи истории, разве не на ваших глазах этот якобы раскаявшийся служитель культа только что перекрестился публично? Это видела вся Роза Люксембург и в том числе уважаемый тов. Стерлигов из УИКа, — неужели этого мало?

* * *

Вся Роза Люксембург была сейчас театральным залом: стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи-подворотни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена — две конструктивных, по Мейерхольду, площадки: два подъезда с навесами у входов в галантерейный магазин Перелыгина (входы, конечно, забиты досками: год — 1919-й). Действие разворачивается одновременно на обеих площадках: справа — Стерлигов и телеграфист Алешка, слева — марфист-дьякон и Марфа.

Алешка бледен, как Пьерро, и только оттопыренные уши нагримированы красным. Алешка с трудом (публике это видно) произносит наконец какое-то слово — у Стерлигова сигарка падает наземь, он хватается за кобуру револьвера. Затем подымает обе руки к Алешкиной голове — будто чтобы взять ее за ручки, как самовар, и снять с плеч. Голова остается на плечах, но несомненно Стерлигов говорит что-то вроде: «Ну, если врешь — голову с плеч долой!» И оба действующих лица сходят со сцены, вернее, сбегают: Стерлигов за рукав волокет Алешку куда-то за кулисы.

На левой площадке — явно любовный диалог. Дьякон начинает его скупно, без жестов — и только видно, как в кармане его толстовки мечется и прыгает что-то, как будто там защита кошки: это — свирепо стиснутый дьяконов кулак. Можно поручиться, что он спрашивает Марфу: «Ты мне почему сегодня утром калитку не открывала? Кто у тебя был? Нет, говори — кто? Слышишь?» Марфа подымает брови, вытягивает губы — так же, как когда говорят ребенку «агу-агунюшки». Это на дьякона уже не действует — мозги у него явно пошли наперекосы, кошка сейчас выпрыгнет из кармана. Но публика в ложах его стесняет, — видно, как он говорит только (текст приблизительный): «Ну, ладно — погоди!» — и уходит с твердым решением (кулак в кармане каменеет): вечером спрятаться в саду у Марфы и подстеречь соперника.

Представление кончено. Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой. Публика все еще не расходится — дождь припустил сильнее, и промокнуть до костей решаются только те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную нить — как, например, Стерлигов и Алешка-телеграфист.

Мокрые, они уже входили сейчас в учреждение, которое в тот год носило имя гораздо более чеканное и металлическое, чем теперь. Рябой солдат равнодушно насадил Алешкин пропуск на свой штык, где уже трепетал десяток других алешек, превращенных в бумажные лоскуты. Потом — бесконечный коридор, какие-то летучие, почти прозрачные лица, сделанные из человеческого желатина. И перед дверью кабинета за столиком — барышня, из породы секретарш (особый вид болонок).

У Стерлигова сквозь меха на лице — или от волнения — голос глухой.

— Папалаги у себя?

Болонка юркнула в кабинет, выскочила обратно, помахала Стерлигову хвостиком:

— Пожалуйте.

И через секунду телеграфист Алешка уже стоял перед самым товарищем Папалаги. На столе возле него — тарелка с самой обыкновенной пшенной кашей, и удивительно, что он ест самым обыкновенным способом, как все. Но усы у Папалаги — громадные, черные, острые, греческие — или еще какие усы...

— Ну, гражданин... как вас? ага! — рассказывайте. Ну?

Колени у Алешки так тряслись, что он сам слышал, как шуршат, вроде пузырей, непромокаемые брюки. Заикаясь, с точками и точками с запятой после каждого слова, Алешка доложил, что нынче утром во дворе у гражданки Марфы Ижболдиной он видел эсера Перепечко, который эсер явно ночевал на сеннике в сарае.

— Тем лучше: сам к нам на рога лезет. — Действительно: острые усы были как рога. — Тем лучше, тем лучше... — Папалаги нажал звонок, в дверях — желатинное лицо. — Вот что — сегодня вечером на Блинной улице... Впрочем — потом. Пока идите. Вы тоже можете идти — (это уже Алешке, и Алешка непромокаемо шуршит из кабинета).

Тишина. Пшенная каша. Рога нацелены на Стерлигова.

— Черт возьми! — понимаете: сотрудники заявляют, чтоб им выдать прозодежду... И дернуло же их там, в Москве, придумать! Слушайте, Стерлигов: у вас там в магазинах ничего не осталось, чтоб реквизировать и раздать им?

Стерлигов роется в своих мехах, уставившись в пшенную кашу.

— Гм... Разве только у Перелыгина еще кой-что...

— Ну, у Перелыгина так у Перелыгина. Только скорей распорядитесь, чтоб привезли сюда. Момент такой, что, понимаете... Этот сукин сын Перепечко...

Каша. Тишина. Шелк дождя за открытым окном. Запах сирени, проникающий даже сюда без всяких пропусков. В ложах подворотен на улице Розы Люксембург публика все еще ждет хоть коротенького сухого антракта.

Но вместо антракта — представление неожиданно возобновляется: на одну из сценических площадок входят трое милиционеров (статисты без слов) и человек в белой мохнатой куртке, сшитой из купальной простыни. В ложах его тотчас узнали и шепотом заволновались:

— Сюсин! Сюсин из Упродкома! Сюсин!

Слабое мание руки великого Сюсина, треск отдираемых от дверей досок — милиционеры уже волокут из магазина какие-то картонки и валят их на бывшую городского головы линейку.

Дождь сразу перестал — как перестает реветь капризный мальчишка, заметив, что на него уже не смотрят. Под

солнцем блестела на линейке черная, еще мокрая клеенка. С крыш что-то кричали народу воробьи. Народ от восемнадцати до пятидесяти кричал на сцену:

— Эй, товарищи! Чего это у вас там?

Милиционеры, которым от автора не дано было слов, молчали. Сюсин выдержал паузу и вполоборота бросил небрежно — как, закутив, бросают спичку:

— Прозодежда.

И от сюсинской спички тотчас же загорелась вся Роза Люксембург от восемнадцати до пятидесяти:

— Прозодежда? Куда? Кому? А-а, так, а нам — шиш? Граждане, трудящие, держи их! Граждане!

Сюсин вскочил на линейку, за ним милиционеры. Один из них стал нахлестывать лошадь так, как будто это был классовый враг — пожалуй, даже без «как будто»: лошадь была купеческая. Сивый классовый враг пустился во всю прыть, унося тайну прозодежды.

Через полчаса в кабинете у Папалаги телефон звонил, что по случаю прозодежды — волнение. Всем от восемнадцати до пятидесяти по добавочному купону. И выдали спички — один коробок на троих. Народ от восемнадцати до пятидесяти зажужжал еще пуще — как пчелы, в воздухе ощущались рои событий, и пока еще неизвестно только, где они привьются, где повиснут спутанным, темным, крылатым клубком.

* * *

Раскаявшийся дьякон Индикоплев снимал теперь комнату. Дом, дьяконицу, детей, деньги, диван — все прочные «д» дьякон оставил позади и жил теперь среди взвихренных «р»: фотографии Маркса и Марфы, кровать без простынь, брошюры, окурки. Когда в сумерках дьякон вернулся сюда и голый нос спрятал в грязную подушку — все эти «р» закружились, кровать колыхнулась и отчалила вместе с дьяконом от реальных берегов.

Тотчас же руки, ноги, пальцы — где-то за сто верст и в то же время вот тут, рядом: как на карте — кружки городов. Дьякон проскочил сквозь себя по некоей спирали и стал в уголку, откуда все было видно. И совершенно ясно было, что там, где голый дьяконов нос, — там Москва, уткнувшаяся в кислые перья подушки. Чтобы не задохнуть-

ся — надо поднять руку, выпростать Москву из перьев, но дом, дьяконица, дети, диван придавили, — конец! Перекрестился бы — но нельзя: из уголка своего дьякон видит, что на нем не ряса, а бордовая толстовка, и на стене — меховой, похожий на Стерлигова Маркс...

От Стерлигова — как вязальной иглой кольнуло куда-то в живот, лежачий стоверстный дьякон и крошечный в уголку — соединились в одного, этот один вскочил, открыл окно. На кладбище звонили ко всенощной, за углом солдаты пели Интернационал — и невозможно, чтоб это было все вместе, надо было скорее распутать, скорее разыскать Стерлигова, объяснить ему, что ей-Богу же — никакого Бога нет, а есть... а есть... Что, ну — что есть, что?

Дьякон отчаянно махнул рукой и побежал в УИК. Там сказали, что Стерлигов, наверное, в клубе, наверху. Дьякон полез наверх, открыл обитую драной клеенкой дверь, вошел.

В огромной зале — за сто верст, на дне — мигала в дыму керосиновая лампочка. Старушка за роялью играла миньон, в мешочных рубашках милиционеры пятились миньоном назад, натываясь с хохотом друг на друга. Шли занятия балетно-драматической студии для милиционеров, густо пахло санитарным вагоном.

Дьякон крикнул:

— Товарищ Стерлигов здесь?

Миньон затвердел, старушка вынула платок и не то сморкалась, не то плакала. Дьякон прикрыл голый нос ладонью и сказал, глядя в чьи-то отдельно повисшие в дыму, веселые зубы с сигаркой:

— Мне товарищу Стерлигову объяснить, что Бога... Мне — по срочному делу: нельзя ли сейчас? — узнайте.

— Ладно... — И, пятясь миньоном, милиционер пропал в темном углу.

Короткая, в три восьмых, пауза, заполненная смесью колокола с Интернационалом (окно открыто). Когда три восьмых прошло, дьякон издали — за сто верст — услышал сквозь дым:

— Нельзя. Велел вас задержать. Сядьте пока тут.

Дьякон послушно сел. Старушка всхлипнула последний раз и заиграла, милиционеры, пятясь, поплыли в дыму. И только тогда, через версты, дошло до дьякона это слово — «задержать». Задержать! Пропал: сейчас придут с ружьями и уведут... По пути к пяткам душа остановилась в

ногах, ноги стали самостоятельным, логически мыслящим существом, в секунду все решили, потихоньку подняли дьякона — и под музыку, пятясь, как все, он пошел к двери. Тут набрал, сколько мог, воздуха — сломя голову вниз по ступеням, на улицу — и побежал.

Как в поезде: мимо — столбы телеграфа, черные квадраты окон, крошечные булабочные огоньки, самовар на столе. И вдруг где-то — косой, яркий свет, вырезанные из темноты головы, плечи, носы, толпа. Дальше было некуда, назад — нельзя. Дьякон втиснул себя в кирпичную вереву у каких-то ворот, зажмурил глаза, ждал: сейчас придут.

И действительно, кто-то подошел и крикнул над самым ухом у дьякона:

— Выдали!

Кто выдал — все равно: надо бежать. Дьякон рванулся, открыл глаза.

Перед ним был Алешка-телеграфист. Вытянув руки, в пригоршнях, крепко — как птичку, которая сейчас улетит, — он держал кусок черного хлеба.

— Выдали, — крикнул он, — вместо прозодежды! Я — последний получил, больше нету.

Длинно, как корова в сарае, дьякон выдохнул из себя все. И тотчас же понял, что хочется есть, с утра ничего не ел, дома в шкафу стоит каша, надо пойти домой. Но Алешка схватил за рукав:

— Гляди-гляди-гляди! Да гляди же!

В косом свете из окна — на ступенях стоял Сюсин в своей белой, мохнатой куртке и рядом с ним рябой Пузырев — тот самый, какой два года пропадал в немецком плену. Пузырев двумя пальцами, как в огурец вилкой, тыкал в Сюсина:

— Так ты говоришь — хлеба больше нету? А если так, то спрашивается: за что же я, например, пропал без вести? Граждане, бей его!

В белой косой полосе все накренилось. Сюсин упал, на него надели густым, шевелящимся роем, на секунду очень ясно — рука Сюсина с зажатым в ней ключом...

* * *

Здесь несколько зачеркнутых строк — или, может быть, дьякон действительно не помнил, как он очутился в своей комнате, инструментованной на «р», как ел холод-

ную кашу. Поевши, хотел прикрыть кастрюлю брошюрой Троцкого, но раздумал: знал, что сюда уж больше никогда не вернется, потому что финал рассказа должен быть трагический. И, захватив для этого финала железный косырь, каким щепал для самовара лучину, дьякон вышел навстречу неизбежному.

Возле дома через забор свешивалась вниз сирень — сейчас она была черная, железная. Под сиренью на бревнах — тесно сидели двое, белел в темноте чулок и голое колено, звучно целовались. От этого в дьяконе сразу как бы повернулся выключатель и осветил комнату, где (внутри дьякона) с кем-то целовалась Марфа. Все остальное потухло, и дьякон помнил теперь только одно: скорее — туда, к Марфиному дому, чтобы подстеречь его.

Там, на Блинной, одно окошко было освещено, и на белой занавеске шевелилась тень — сейчас подняла к голове руки: должно быть, разделась и венком закладывает косу на голове — как тогда, на реке. Дьякона обожгло, будто выпил рюмку чистого спирта. На цыпочках стал подбираться к самому окну, чтоб поднять занавеску, — но позади кто-то чихнул. Дьякон дрогнул, обернулся — и возле Марфиной калитки увидел его. Лица не разобрать — было видно только: поднят воротник и надвинута на глаза франтовская — белой тарелкой — шляпа-канотье.

В кармане — далеко, за сто верст — дьякон трясущимися пальцами нащупал косырь. Потом: нет, пусть он залезет в сад, пусть! И прошел мимо освещенного окошка, мимо разоренного перельгинского дома. Тут поглядел назад: шляпа-канотье заворачивала за угол, где в переулочке была садовая калитка. Окошко у Марфы потухло: значит, она ждет...

Дьякон немного помедлил — как, крутятся, всегда медлят взорваться бомбы у Льва Толстого. Вытащил косырь, обтер его зачем-то полкой — и, перескочив через забор в сад, сквозь мокрую, хлещущую сирень, бомбой пролетел к скамейке, чтоб одним махом прикончить его и этот рассказ.

Мы уже давно обросли мозолями и не слышим, как убивают. Никто не слышал, как вскрикнул дьякон, замахнувшись косырем: все от восемнадцати до пятидесяти были заняты мирным революционным делом — готовили к ужину котлеты из селедок, рагу из селедок, сладкое из се-

ледок. Где-то, с зажатым в руке ключом, лежал белый Сюсин. Из окна пахло сиренью. Товарищ Папалаги допрашивал пятерых, арестованных возле хлебной лавки, и справлялся по телефону, чем кончилось дело на Блинной.

Но на Блинной не кончилось, бомба продолжала крутиться еще бешеной: на скамейке дьякон никого не нашел — и, ободранный, мокрый, полыхающий, выскочил назад, на Блинную. На углу остановился, крутясь, и увидел: в лиловых майских чернилах белела — быстро плыла шляпа-канотье прямо на него.

Мгновенно погасла (в дьяконе) комната, посвященная марфизму, — вспыхнула другая, где был Маркс, Стерлигов и прочие грозные меховые люди. И меховой Стерлигов-Маркс послал канотье, чтобы задержать дьякона — это теперь осветилось в темноте совершенно ясно. Бежать — куда глаза глядят!

Дьякон несся по Блинной — огромный — и видел свои размахивающие руки. Но это был не он: сам он — крошечный, с булавочную головку, стоял посередине дороги и смотрел, как бежит этот другой. И вдруг кольнуло в живот от страха: заметил, что тот — огромный — дьякон бежит, пятясь миньоном, как тогда милиционеры... ну да: вот теперь пятится как раз мимо закопченных стен перелыгинского дома. Надо было остановиться, понять, что же это такое, — дьякон нырнул в голую, без дверей, дыру в стене и, громко дыша, присел.

Густо пахло — как во всех пустых домах в тот год. Сверху в черный четырехугольник звезды равнодушно глядели вниз, на Россию, как иностранцы. Разом было слышно: частое дыханье, третий звон на кладбище, выстрелы. И конечно, немыслимо, чтобы один человек сразу же слышал все это и видел звезды и нюхал вонь. Стало быть, дьякон не один, а...

Плоские, плюхающие шаги за стеной. Медленно, сжав за суставом раздвигая себя, как складной аршин, дьякон приподнялся, выглянул через дыру в стене — и ахнул: этот в канотье — раздвоился и теперь уже двойной, в двух одинаковых канотье, присел на корточки и, зажигая спички, разглядывал дьяконовы следы на влажной земле. Больше терпеть было невозможно: дьякон закричал и, прыгая через какие-то балки, печи, кирпичи, кинулся

сквозь перелыгинский дом. Слышно было, как сзади падал и в два голоса материл он — споткнулся — отстал.

Пустыми переулками, набитыми черной ватой, дьякон добежал до кладбища — оно начиналось сразу же за Блинной. Там он забился у ограды, где кладбище спускалось в лог и где оптом закапывали умиравших в тот год. Соленные, едучие капли со лба лезли в глаз, — дьякон утерся и сел на плиту. Вылез красный, запыхавшийся месяц, дьякон увидел мраморную дощечку с золотыми буквами: «Доктор И. И. Феноменов. Прием от 10 до 2». Раньше дощечка эта висела на дверях у доктора, а когда доктор переселился на кладбище — дощечку привинтили к плите. Дьякон хорошо понимал: с головой у него что-то неладное, надо бы поговорить с доктором — и решил ждать, пока начнется прием у Феноменова.

Но дожидаться не пришлось: над оградой кладбища опять показался он, в белом канотье. И он размножался с ужасающей быстротой: он был уж не раздвоенный, а распятеренный — в пяти канотье. Дьякон понял, что это — конец, деваться некуда, и заорал: «Сдаюсь! Сдаюсь!»

* * *

Когда привели пойманного, Папалаги повернул зеленый абажур так, чтобы осветить его, и спросил:

— Фамилия?

— Индикоплев, — ответил дьякон.

— Ах, Ин-ди-ко-плев! Вот как! Происхождение, родители?

Где-то далеко, за сто верст — дьякон знал: нельзя, чтобы родитель был протопоп. Дьякон прикрыл ладонью голый нос и сквозь ладонь неуверенно сказал:

— Родителей не... не было.

Папалаги — как рога — наставил на него страшные черные усы:

— Довольно дурака валять! Сознавайтесь!

Дьякона прокололо. Значит, уже все известно — тогда все равно.

— Я сознаюсь, — сказал он. — Я перекрестился. Хотя и отрекся, но перекрестился публично, я сознаюсь.

Папалаги обернулся к кому-то в угол:

— Что он — сумасшедшего разыграть хочет? Ладно, пусть попробует! — Папалаги нажал кнопку.

И тогда вошел он — неясное, желатинное лицо, поднятый воротник, канотье. Дьякон побелел и забормотал, пятясь:

— Он самый... пять шляп — эти самые... Пожалуйста, не надо. Ради Христ... то есть — нет, не ради!

Папалаги поглядел на шляпу, сердито зашевелил усами. Потом показал на пойманного эсера, который притворился сумасшедшим:

— Увести его в десятый — и сами ко мне, сейчас же!

Когда дьякона увели и затем в кабинете выстроились все пятеро во франтовских канотье, Папалаги закричал:

— Что это за маскарад такой, что за шляпы, что за чепуха? Кто это выдумал?

Один, который стоял ближе, вынул руки из карманов, снял канотье, повертел в руках.

— Это, видите ли, товарищ Папалаги... это, согласно приказу, прозодежда, которую нам, значит, выдали для ношения.

— Сейчас чтобы снять! Ну, слышали?

И пять прозодежд стопкой покорно легли на письменный стол.

Так кончился миф с прозодеждой. Очевидно, кончился и рассказ, потому что уже не осталось больше никаких иксов и, кроме того, порок уже наказан. Нравоучение же (всякий рассказ должен быть нравоучителен) совершенно ясно: не следует доверять служителям культа, даже когда они якобы раскаиваются.

Слово предоставляется товарищу Чурьгину

Уважаемые граждане —

и тоже гражданочки, которые вон там, я вижу, смеются, невзирая на момент под названием вечер воспоминаний. Я вас, граждане, спрашиваю: желательно вам присоединить к себе также и мои воспоминания? Ну, ежели так, прошу вас сидеть безо всяких смехов и не мешать предыдущему оратору.

Перво-наперво я, может быть, извиняюсь, что мои воспоминания напротив всего остального есть действительный горький факт, а то у вас все как по писаному идет, а это неписаное, но как естественно было в нашей деревне Куймани Избищенской волости, которая есть моя дорогая родина.

Вся природа у нас там расположена в сплошном лесу, так что вдали никакого более или менее уездного города, и жизнь происходит очень темная. Конечно, и я тогда был тоже бессознательный шестнадцати лет и даже верил в религию — ну, теперь этому, конечно, аминь вполне. А брату моему Степке — царство ему небесное! — было годов эдак двадцать пять, и, кроме того, он был ростом очень длинный, однако грамотный несколько. И вдобавок Степке другой, как говорится, герой — это наш бондарев сын Егор, который тоже проливал жизнь на фронте.

Но как все это существует в минуту капитализма, то имеется также противный класс в трех верстах, а именно бывший паук, то есть помещик Тарантаев, который, конечно, сосал нашу кровь, а обратно из-за границы привозил себе всевозможные предметы в виде голых статуй, и эти статуи у него в саду расставлены почем зря, особенно одна с копьём, вроде бог — конечно, не наш православ-

ный, а так себе. И притом в саду гулянки и песни с фонариками, а наши бабы стоят и сквозь забор пялятся — и Степка тоже.

Степка — он не то что шаболдник был или что, а так вроде чудной, опять же у него порча в нутре была, так что его даже в солдаты не взяли, и он оказался безработный член домашнего быта. Все ему завидуют сзади и спереду, а он сидит со вздохом и книги читает. А какие у нас, спрашивается, были книги в этот царский момент? Не книги, а можно сказать, отбросы общества — или, вкратце, удобрение. И вся, если можно, публичная библиотека была под видом чернички Агафьи сорока трех лет, которая над покойниками псалтырь читала.

Ну, конечно, насосался Степка этих книг и пошел дурака валять. Ночью, бывало, проснешься, с полатей вниз глянешь, а он весь белый перед образом и сквозь зубы шипом шипит: «Ты меня с-слышишь? Ты с-слышишь?» Я и скажи ему один раз: слышу, говорю. Кэ-эк он затрясется да вскочит, а уж я не могу, из меня смех носом идти. Ну, тут он меня измучыскал так, что у меня печенки с легкими перемешались — насилу отдох.

А Степка утром — папаше в ноги: «Отпустите, говорит, меня в монастырь. Я, говорит, не могу, как вы, жить ежедневно». А папаша ему произнес: «Ты, говорит, Степка, практический дурак и боле ничего, и завтра же ты у меня на работу в город поедешь к дяде Артамону». Степка начал было против папаши говорить разные слова в виде писания, но папаша у нас был довольно не очень глупый и притом с хитриной — он и говорит Степке: «А в писании-то в твоём что сказано? Что всякий сукин сын мать и отца слушаться должен. Вот это действительно святые слова». Выходит, писанием-то и утер ему орган носа, так что покорился Степка и чуть свет уехал к дяде Артамону, который на фабрике отставным вахтером служил.

И вот, как говорится, картина жизни с полета: тут, например, фабрика вертится в полном дыму, и где-нибудь на африканской границе невозможные скалы гор, и происходит ужасное сражение, а мы в своем лесу ничего не видим, бабы без мужиков, как телухи, режут и притом мороз.

В течение времени бондарева сноха от мужа Егора получила с фронта письмо, что-де произведен в герои первой степени с Георгием и вскорости жди меня обратно.

Тут баба, конечно, обрадовалась и надела чистые чулки. Перед вечером на Николу вышли мы с папашей — глядь, катит на розвальнях Егорка бондарев, рукой машет и какие-то слова говорит, а какие — не слышать, только пар из роты клубками ввиду мороза.

Я, конечно, очень волнуюсь поглядеть героя, но папаша мне говорит: «Надо повзгодить, покуда он там со своей бабой произведет свидание». И только он это сказал — Егорова баба сама к нам ввалилась. Глаза белые, страшные, руки трясутся, и говорит темным голосом: «Помогите мне, ради Христа, с Егором управиться». Ну, думаем, должно быть, исколотил, — надо вступить за женское существо. Сполоснули руки, пошли.

Входим, глядим — самовар кипит, на лавке постель изделана, все даже очень подобно, и сам Егор у сундука тихо стоит. Да только как стоит: к сундуку прислонен вроде какой куль овса, и голова у него — наровнях с сундуком, а ног ни звания не осталось, под самый под живот срезаны.

Обомлели мы — стоим безо всяких последствий. Спусти, Егор засмеялся нехорошо — так что у меня даже зубы заныли — и говорит нам: «Что? Хорош герой первой степени? Нагляделись? Ну, так теперь как надо меня кладите при вашей помощи». И, значит, легла его баба на постель, а мы Егора с полу подняли и уложили следующим образом. После чего ушли, я дверь захлопнул и палец себе вот этот вот прищемил, но даже никакой боли не чую: иду — и все в глазах изображение Егора у сундука.

Вечером в Егоровой избе, конечно, собрался народ в целом виде. Егор — под иконами на лавке, к стенке прислонен, ли стоит, ли сидит — уж как это по-вашему пишется, не знаю. И которые собравшись — все на него ужаются и молчат, и он молчит, курит, а я возле печки и даже слышу, как прусаки вылезли и по пристенку шуршат.

Тут, на счастье, пришел бондарь, который отец, и вынимает спиртной предмет из кармана. Егор, конечно, выпил стаканчик, и только это налил другой, как чей-то мальчонка с улицы вкатился и кричит с удовольствием: «Барин! Барин!» Глядим — а уж барин Тарантаев в дверях. Бритый весь, и дух от него роскошный — видать, пищу легкую принимает. Кивнул нам эдак — и прямо к Егору: «Ну, говорит, Егор, поздравляю, поздравляю». А Егор лицо ухмыльнул на один бок неприятно и произнес: «А позволю

себе: с чем вы меня поздравляете?» Барин ему ответственно говорит: «Ввиду, что ты есть гордость и герой, прияв-
ший за отечество». А сам дерюжку приподнял, какую были
закрыты у Егора нижние места, и нагнулся, глядит.

Тут Егор перекосоурился, зубами заскрипел — да как
по шее его дряпнет, да еще раз! Барин Тарантаев в пыху
ткнул Егора, который на бок, как куль, а подняться не мо-
жет, с криком: «Бей его! Бей!» Я в составе других подскочил
к барину, сердце у меня, как заячий хвост, трясется, и вот
ничего мне не надо — только в глотку ему вцепиться. Ба-
рин Тарантаев, красный, рот разинул — сказать, но об на-
ши ненавистные глаза обстрекнулся, как вроде об крапи-
ву, — и бегом в дверь.

Под напором этой победы мужики затихли и Егору го-
ворят, что ты действительно герой первой степени. Егор,
конечно, выпил еще стаканчик и постепенно произнес
речь, что какой же он герой, когда он на фронте в яму при-
сел для своей грубой надобности, а тут его сверху по ногам
и шмякнуло. «Но мы, говорит, вскорости прикончим весь
этот обман народного зрения под видом войны. Потому,
говорит, нам вполне известно, что теперь надо всеми ми-
нистрами состоит при царе свой мужик под именем Гри-
горий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет». Тут
как это услышали наши — ну прямо в чувство пришли и
кричат с удовольствием, что теперь уж, конечно, и войне и
господам — крышка и полный итог, и мы все на Григория
Ефимыча очень возлагаем, как он есть при власти наш
мужик. И вот, граждане, конечно, про этого Григория
Ефимыча я теперь понимаю вполне целесообразно, но то-
гда у меня от этого известия прямо пульс начался.

Теперь, значит, дальше. А именно, как Егор оскорбил
барина по шее, то вышел у нас с этим пауком полный раз-
рыв, и даже у тарантаевских ворот стоял кровный черкес
с кинжалом для препятствия входа. Раньше мы, бывало, в
усадьбу ходили насчет газет и прочего, а теперь живем в
полном лесу и ничего не знаем, какие события на далеком
шаре земли, например, в Петербурге.

И так своевременно происходит бывшее Рождество
Христово и масленица, мороз переменный. И на маслени-
це папаша получает из города от Степки внезапное пись-
мо. А как у нас тогда никакой ликвидации грамотности не
было и, можно сказать, один читаемый человек Егор, то к

нему народу собралось труба — Степкино письмо слушать. И пишет Степка, что у них теперь на фабрике вполне известно, что насчет Бога — это суеверный факт, а напротив того есть книга Маркс, и что в столице Петербурге произошло очень значительное убийство, и потому ждите — вскорости еще и не то будет. А жалованье у нас самое печальное, девять с полтиной в месяц, и я выезжаю к вам лично. Егор на лавке стоит, прислонен к подоконнику, и руками прибавляет: «А что, кричит, я вам насчет Григория Ефимыча-то говорил? Это его работа, уж это уж будьте спокойны!»

Хотя в письме насчет убийства неясно и насчет Бога ввиду предрассудков тоже неполное удостоверение, однако чуем — это все не зря, и действительно ждем. Чего ждем, не знаем, а вроде как бы животная собака перед пожаром беспокоится, так и мы. И притом ужасный мороз, тишина, и дятел в лесу тукает. И мы все, как подобный дятел, одно долбим — про Григория Ефимыча.

В течение времени этак происходит день или два, и затем смеркается, и тут видим: скачет на черной лошади конная эстафета прямо в тарантаевскую усадьбу, а над усадьбой солнце садится — от мороза распухло и все красное. Егор у нас, конечно, главнокомандующий, и он говорит: «Это — оно самое, начинается. Теперь глядите за усадьбой невступно и мне докладайте».

На случай часовых поставили меня да еще одного — горбатый такой у нас был Митька. Сидим в кустах, пальцы духом греем, и притом все слышать, какое на дворе волнение и собаки, и мы трясемся. Спусти глядим: не говоря худого слова, раскрываются ворота, и выскакивают лютые сани, в санях барыня Тарантаева с девчонкой, плачет, а уж из ворот и этот выезжает на черной лошади конный, который на барыню, как на собаку, просто кричит: «Але!» И, значит, санки — в одну сторону, а этот конный — обратно в другую, то есть на нас. Горбатый Митька меня в кусты тянет, а во мне дух зашелся, и я — прямо как в виде алкоголя — сам не знаю, чего делаю, руками махаю и бегу этому конному наперехват. Он, конечно, остановился и задает мне: «Что случилось?» — и лошадьку мне в морду храпит. А я ему безо всяких: «У нас, говорю, ничего, а вот у вас что?» — «Это, говорит, не касается. Але!» Я ему в глаза уперся и с выражением говорю: «А как, говорю, насчет Григория Ефимыча? Это вам касается?» И он мне возра-

жает с известным смехом: «Григорий Ефимыч твой — тю-тю: его, слава Богу, давно пристрелили!» — и при этом скачет в направлении.

Тут я что есть мочи — к Егору. В избе у него полное присутствие наших мужиков, и все в натянутом ожидании. Как я начал докладывать, то мое невинное сердце шестнадцати лет стало поперек глотки, и я плачу насчет погибшей мечты в виде Григория Ефимыча и вижу — все тоже сидят со вздохом, как пришибленные. А в заключение Егор объявил свой приказ: разойтись до утра по домам для разных естественных надобностей подобно пище и снотворному отдыху.

Тут постепенно рассветает это значительное утро, когда у вас в Питере происходит торжество революции со знаменами, а у нас такое, что даже ни на что не похоже, и, однако, это есть, конечно, наши отдаленные звуки в полной связи с вами, и притом ужасный мороз. И мы все собрались у егоровой избы в валенках, а Егора в виде трибуны посадили в кошелку с сеном и поставили на розвальни. Спусти Егор объявил из кошелки, что мы сейчас идем грудью на тарантаевскую усадьбу и пусть барин дает полный отчет, как убили пристоящего за нас крестьянина Григория Ефимыча, а может быть, он еще, Бог даст, жив. Конечно, мы все единогласно пошли по снегу, а снег на солнце синий до слез, и в нутре у нас все играет, как вроде у цепного, который десять лет на цепи сидел и вдруг сорвался и пошел чесать.

Тарантаевский кровный черкес как нас увидал в количестве, то сейчас же закрыл калитку и изнутри поднял крик и разное волнение, в числе которого слышим также голос к нам Тарантаева-барина, что, мол, нынче необыкновенный день в столице, и вы лучше без последствий разойдитесь для скорого ожидания. А Егор ему из кошелки кричит, что мы ждали да уж и жданки съели, и пускай ворота сейчас откроет, а то все одно ломаем.

Тут мы слышим молчание с шепотом, потом заскрипели ворота — открывается приятный сосновый вид аллеи и очевидная для всех статуя с копьем, которая для прочих событий еще пригодится в роли. Мы, конечно, идем стройными рядами, а именно впереди Егор в кошелке и мы сзади кучей как попало, а барин задней спиной к нам бежит вовсю к цели дома. Вдруг откуда ни возьмись в руке у Егора видим револьвер, и он с прицелом кричит барину:

«Стой!» И как только этот выкидыш общества увидал револьвер, так безо всяких остановился возле того бога с копьем и притом сам в виде мнимой статуи, но, однако, говорит нам: «Вы прямо ошибаетесь, я сам из народной свободы». А Егор ему грозно задает: «Значит, с Григорием Ефимычем заодно? Говори!» На что барин вполне правдоподобно отвечает дрожащие слова: «Что вы, говорит, мы все очень рады, что этого негодяя Гришку убили». Тут Егор облютел и на все стороны кричит: «Слышите, ребята? Негодяя, говорит! Очень рад, говорит! Ах, ты такой-сякой!» — и прочее, то есть разные матерные примечания. «И мы, говорит, тебя сейчас самого ухлопаем из этого револьвера».

Конечно, Егор, как будучи специалист, произошел всякое военное убийство, и ему это раз плюнуть, а у нас тогда еще был в нутре оттенок, что как неприятно прикончить вполне живого человека. И покудова идет у нас, как говорится, обмен сомнений, барин Тарантаев стоит безо всяких признаков, как полный труп, и только, помню, один раз утер течение носа.

Тут за воротами на дороге является новый факт в виде человека, который бежит к нам во весь дух и руками машет. И постепенно глядим, что это, оказывается, наш Степка из города согласно своему письму. Морда у него блаженная, сверху слеза текет, и руками — вот этак вот, вроде крыльями, ну прямо сейчас полетит по воле воздуха, как известная птица. И притом кричит: «Братцы, братцы, произошло свержение и революция, и у меня сердце сейчас треснет от невозможной свободы, и ура!»

Что, как — не знаем, и только чуем: из Степки хлещет, как говорится, напор души, и даже от его крику по спине мурашки бегут, и тут происходит ура и всеобщая стихия вроде суеверия Пасхи. А Степка постепенно взбыдрилсь возле статуи на скамейку, варежкой слезы вытирает и говорит вдобавок, что царя в виде Николая сменили и что всякие подлые дворцы надо истребить до основания лица земли, чтоб более никаких богачей, а будем все жить бедным пролетариатом по бывшему евангелию, но, однако, это нынче происходит согласно науке дорогого Маркса. И мы все как один подтверждаем в виде ура, а Егор из кошелки в полном размахе кричит: «Спасибо тебе, герой Степка, от православного сердца! И с Богом — круши весь их роскошный бюджет!»

Тогда Степка выхватил у мужика топор, подскочил к

статуе, которая с копьем, и от души замахнулся на нее для истребления. Но барин Тарантаев в этот момент как бы вострепнулся из своего трупa и говорит: «Это ни в чем не виноватая драгоценная статуя, и я, может быть, вез ее сухопутно из самого Рима, так как это есть бесчисленной цены называемый Марс».

И мы все видим, как у Степки рука опускается без последствий, и он говорит с выражением: «Братцы! И только я произнес сейчас вам это дорогое имя, как здесь вдруг имеется его действительное изображение под видом статуи. И это я считаю вроде знамения и предлагаю обнажить шапки».

Я вас, граждане, кратко прошу принять, что как называемого Октября еще не имелось в виду, то мы тогда были народ всецело темный, как говорится — индусы. И вследствие чего мы все единогласно скинули шапки и так, без шапок, ухватили под задок это дорогое изображение и поставили на розвальни рядом с кошелкой, в которой существует Егор. А Степка принял резолюцию: барина Тарантаева отпустить безвредно в заслугу, что открыл нам это изображение, но притом для науки против богатства пущай глядит, как мы истребим весь его обиход. Мы все опять подтверждаем в виде ура с удовольствием, что образуется программа без пролития живого человека, но, однако, печальная судьба вышла вразрез наших ожиданий.

А именно, мы приступаем к дому, и у нас авангард в виде розвальней, на которых статуя и Егор в кошелке, а рядом наш Степка идет и барин Тарантаев связанный. И навстречу нам сверкают окошки вроде подозрительных глаз, и одно, помню, слуховое под самой крышей, и там сидит приятный голубь. А Степка оборачивает назад свою прекрасную улыбку счастья и кричит из души: «Братцы, мочи моей нету, до чего нынче необыкновенный день новой жизни!»

Только он это произнес, как видим: тот самый голубь порхнул вверх, а из чердачного окошка — незначительный дымок. И может быть, еще одно десятое мгновение секунды; после чего ужасный звук в виде выстрела — и наш Степка с улыбкой падает носом в сугроб.

Мы все стоим, как пораженные столбы, и еще оклематься не успели, как тут же еще выстрел, который отшибает у статуи пальчики, а затем Егор с страшным вы-

ражением ругательств пускает из револьвера две пули в чердачное окно и одну обратно в барина Тарантаева, который ложится рядом со Степкой в своем мертвом виде. А Егор в ненавистном чувстве стреляет в него еще три раза с дополнением слов: «А это тебе за Степку! А это тебе за Григория Ефимыча! А это за все!»

Тут, конечно, происходит всеобщий крик и последняя беспощадная ступень событий, или, вкратце, полное истребление. И тогда на этом самом невинном снегу можно видеть оскрётки стекол и прочей посуды и вроде издохший кверху ногами диван, а также разбитый труп кровного тарантаевского черкеса, потому, конечно, это он палил с чердака и его пронзила пуля из военной руки Егора. И еще помню, вверху на сучке висит золоченая клетка, и в ней неизвестная барская птица скачет вверх и вниз и пищит последним голосом.

В течение времени согласно природе происходит ночь и общепринятая система звезд, с видом, что как бы ничего и не было, и только из темноты встает красная заря, или, вкратце, догорает бывшая усадьба. Притом в деревне у нас полная тишина и собаки, а в общественной избе под иконами лежит Степка в виде жертвы с улыбкой, и тут же статуя, и черничка Агафья сорока трех лет читает псалтырь, и народ с разными слезами.

Это есть конец наших всевозможных темных событий как бы во сне, и затем восходит вполне сознательный день. А именно, спустя приезжает к нам действительный оратор, и мы следующим образом узнаем весь текущий момент, и что Григорий Ефимыч, или, вкратце, Гришка — был не герой, но даже совсем напротив, а эта самая наша статуя произошла по причине ошибки звука.

И в заключение я вижу, что которые гражданки сперва сидели с видом смеха, то теперь они имеют обратный вид, и я к этому вполне присоединяюсь, потому это все — горький факт нашей темной культуры, которая нынче, слава Богу, существует уж на фоне прошлого. И здесь я ставлю точку в виде знака и ухожу, граждане, в ваши неизвестные ряды.

Десятиминутная драма

Трамвай № 4, с двумя желтыми

глазами, летел сквозь зиму, ветер, невскую ледяную тьму. Внутри было светло, две розовые комсомолки спорили об оппозиции, дама везла в корзиночке щенка — добермана, кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге. Никто, кроме меня, не знал, что сейчас они забудут обо всем — об оппозиции, о добермане, о Боге — и сделаются статистами моего рассказа, с волнением ожидающими, чем кончится десятиминутная трамвайная драма.

Начало драмы возвестил кондуктор церковным возгласом:

— Бывшая Благовещенская площадь — площадь Труда!

В этом возгласе — как в прологе — символически уже раскрывалась основная коллизия: с одной стороны — труд, с другой стороны — явно нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, с неожиданным известием представшего Деве Марии.

Кондуктор отодвинул дверь — и в вагоне появился прекрасный молодой человек с номером «Московских известий» в руках. Молодой человек сел напротив меня, подтянул на коленях нежнейшие гриперловые брюки, протер платком и снова надел очки. Очки были, конечно, круглые, американские, с заложенными за уши черными оглоблями. В этой упряжи одни становятся похожи на доктора Фауста, другие — на беговых рысаков. Прекрасный молодой человек был рысаком, он нетерпеливо постукивал в пол лакированным копытом ботинка: нужно было вовремя поспеть на Васильевский к полудеве Марии, а кондуктор, как нарочно, не давал звонка.

Кондуктора нельзя винить: он не мог отправить дальше трамвай, пока в вагоне не появится второй элемент драмы. И вот, наконец, этот элемент вошел.

Растопырив ноги в валенках, он непрочно стал посредине вагона. Никому, кроме него, не ощутимое — под валенками происходило крымское землетрясение в три-четыре балла. Покачиваясь, кружась — блаженно плыл перед ним чудесный мир, розовые комсомолки, крошечный доberman.

— Тютька, тютька... тютёчек... — нагнулся он погладить доberman, но землетрясение подкосило его, и он плюхнулся со мной рядом — как раз напротив лакированного молодого человека. — Нну и... нну и выпил, — сказал он. — Потому у меня шуществует полное право... Вот они — мозоли... шуществуют... глядите!

Он показал трамвайной аудитории руки — и тем избавил меня от необходимости описывать его социальное происхождение. Все и без того ясно — и ясно, что этот сосед с мозолями и лакированный молодой человек не случайно посажены друг против друга волею судьбы и моей.

У молодого человека сверкали очки, у моего соседа — зубы. Зубы у него были белые, крепкие — от ржаного хлеба, от мороза, от улыбки. Он путешествовал по лицам своей улыбкой, он проплыл, чуть покачиваясь, мимо розовых комсомолок, кондуктора, корзинки с доbermanом — и остановился, привлеченный блеском американских очков. Упершись руками в колени, он долго глядел на запряженного в очки молодого человека, все шире улыбался — и наконец выпалил в полном восторге:

— Ну до чего хорош, а? Штанцы-то, штанцы-то одни чего стоят! А очки... а пциблеты... глядите, а? Красавчик ты мой... эх!

Комсомолки фыркнули. Красавчик побагровел, рванулся в своей упряжи, но тотчас же вспомнил, что ему, архангелу с Благовещенской площади, не подобает связываться с мастеровым. Он сжал губы и нагнул дышло своих очков над газетой.

Мастеровой все так же, не отрываясь, глядел в очки. Мир, кружившийся у него в голове, как земля вокруг солнца, совершил полный оборот, солнце там уже заходило, зашло, он сразу перестал улыбаться, зубы у него потемнели. С минуты он молчал, как ночь.

— А и бить же мы вас, сволочей, будем! — вдруг сказал он прекрасному молодому человеку. — Ты — кто? Ты — член капитала, вот ты кто! Будто газету читаешь — будто я тебе не шуществую? А вот как я тебя сейчас тресну по очкам — вот тогда и... и это самое...

Газета на коленях у красавчика вздрогнула. Он понял, что его василеостровское счастье погибло: в крови, синяках — он уже не сможет явиться к своей Марии. Двадцать трамвайных глаз взволнованно ждали развязки. Она приближалась, мастеровой встал, вынул из кармана руку...

Здесь по ходу драмы нужна была пауза, чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна, — и эту паузу немедленно заполнил кондуктор: он торопился от трамвайной двери к месту действия — исполнить долг христианина и главы пассажиров.

— Гражданин, гражданин... не полагается! — сказал он мастеровому.

— Ты... лучше не суйся! — обернулся к нему мастеровой. Кондуктор попятился, качнулся: трамвай стал.

— Большой проспект — проспект Пролетарской Победы! — пробормотал кондуктор, прижавшись к дверям.

— Большой? Мне сходить... Ну только не-ет: я еще не сойду! Я — шуществу-ую! — Мастеровой нагнулся к американским очкам — и всем стало ясно: он уйдет не раньше, чем разрешит напряжение какой-то катастрофой. Дама с доберманом вскочила, комсомолки раскрыли рот, «Известия» на гриперловых брюках трепетали.

— Ну-ка ты... подними... личико... — сказал мастеровой.

Прекрасный молодой человек покорно поднял запряженное в очки лицо и зажмурился. Трамвай стоял, окаменевший кондуктор не мог позвонить. Мастеровой утвердил на полу свои валенки, поднял над членом капитала руку.

— Ну, — сказал он, — сейчас уйду я и, может, больше тебя никогда не встречу... Но только на прощанье...

Кондуктор, не дыша, не спуская глаз, потянулся к звонку.

— Не смей! — крикнул мастеровой. — Дай кончить!

Кондуктор замер. Мастеровой секунду покачался, как будто прицеливался, — и потом кончил:

— На прощанье... Красавчик ты мой — ну дай я тебя поцелую!

Облапил молодого человека в очках, чмокнул его в губы и вышел из вагона.

Секундная пауза — и взрыв: весь вагон затрясся от хохота и, подскакивая на стрелках, полетел дальше сквозь зиму, ветер, невскую ледяную тьму.

<1925>

Мученики науки

1

Начиная с Галилея, все они

перечислены в известной книге Г. Тиссандье (изд. Павленкова, СПб. 1901 г.). Но для наших дней книга эта, несомненно, уже устарела: там, например, нет ни слова о знаменитой француженке г-же Кюри, нет ни слова о нашей соотечественнице г-же Столпаковой. Памяти этой последней мы и посвящаем наш скромный труд.

Своим подвигом г-жа Столпакова, конечно, искупила все свои ошибки, но тем не менее мы не считаем себя вправе скрыть их от широких читательских масс.

Первой ошибкой Варвары Сергеевны Столпаковой было то, что родителей себе она выбрала крайне непредусмотрительно: у отца ее был известный всему уезду свеклосахарный завод. Даже и это, в сущности, было не так еще непоправимо: Варваре Сергеевне стоило только отдать свое сердце любому из честных тружеников завода — и ее биография очистилась бы, как углем очищается сахар-рафинад. Вместо этого она совершила вторую ошибку: она вышла замуж за Столпакова, увлеченная его гвардейскими рейтузами и исключительным талантом — пускать кольца из табачного дыма.

Атлетическое, монументальное сложение Варвары Сергеевны было причиной того, что третья ее ошибка произошла почти для нее незаметно, когда она в столпаковском лесу нагнулась сорвать гриб. Нагнувшись, она ахнула, а через четверть часа в корзинке для грибов лежала эта ее ошибка — пола мужеского, в метрике записан под именем Ростислава.

Из других письменных материалов для истории сохранился также еще один документ, составленный в день отбытия Столпакова-отца на германский фронт. В этот день кучер Яков Борддог привел из монастыря всем известную монашку Анну, и полковник Столпаков продиктовал ей:

— Пиши расписку: «Я, нижеподписавшаяся, монашка Анна, получила от г-жи Столпаковой 10 (десять) рублей, за что обязуюсь класть ежедневно по три поклона за мужа ее, с ручательством, что таковой с войны вернется без каких-либо членовреждений и с производством в чин генерала».

Этот трудовой договор монашка Анна выполнила только наполовину: в генералы Столпакова действительно произвели, но через неделю после производства немецкий снаряд снес у Столпакова голову, вследствие чего Столпаков не мог уже пускать табачных колец, а стало быть, и жить.

Газету с известием о безголове Столпакова с завода привез все тот же кучер Яков Борддог. Если вы вообразите, что у нас на Невском землетрясение, Александр III уже закачался на своем коне, но все-таки еще держится и геликонным голосом кричит вниз зевакам: «Чего не видали, дураки?» — вам будет приблизительно ясно, что произошло в столовой, когда Варвара Сергеевна прочитала газету. Все качалось, но она изо всех сил натянула поводья и крикнула Якову:

— Ну, чего не видал, дурак? Иди вон!

Яков вышел, и только тогда в тело Александра III вернулась нежная женская душа, Александр III стал монументальной свеклосахарной Мадонной, на коленях у нее сидел сын, и Мадонна, рыдая, говорила нежнейшим басом:

— Ростислав, столпачонок мой, единственный... С тех пор — был только он, единственный, и его собственность. Согласно учению Макса Штирнера и Варвары Столпаковой — его собственностью был весь мир: за него люди где-то там сражались, на него работал столпаковский завод, ради него была монументально построена грудь Варвары Сергеевны — этот мощный волнолом, выдвинутый вперед в бушующее житейское море, для защиты Ростислава.

Единственному было десять лет, когда в столпаков-

ской столовой вновь случилось землетрясение. Эпицентром, как и в первый раз, оказался кучер Яков Бордюг.

Громыхая стихийными, танкоподобными сапогами, он подошел к столу, положил перед Варварой Сергеевной газету.

Совершенно неожиданно из газеты обнаружилось, что одновременно произошли великие события в истории дома Романовых, дома Столпаковых и дома Бордюгов: дом Романовых рухнул, госпожа Столпакова стала гражданкой Столпаковой, а Яков Бордюг — заговорил. Никто до тех пор не слышал, чтобы он говорил с кем-нибудь, кроме своих лошадей, но, когда Варвара Сергеевна прочла вслух потрясающие заголовки и остановилась — Яков Бордюг произнес вдруг речь:

— Ето выходить... Ето, стало быть, я теперь вроде... ето самое? Вот так здра-авствуй!

Возможно, что это была — в очень сжатой форме — декларация прав человека и гражданина. Как мог ответить на декларацию Александр III? Конечно, только так:

— Молчи, дурак, тебя не спрашивают! Иди, запрягай лошадей — живо!

Человек и гражданин Яков Бордюг почесался — и пошел запрягать лошадей, как будто все было по-старому. Мы склонны объяснить его поступок действием многолетнего, привычного условного рефлекса. Когда Яков доставил в город Варвару Сергеевну, ее единственного и два чемодана, он в силу того же рефлекса распряг лошадей, насыпал им овса — и вообще остался при лошадях.

В эту ночь свеклосахарные мужики сожгли столпаковский дом и завод. У Варвары Сергеевны сохранилось лишь то, что она привезла с собой в чемоданах, и то, что лежало у нее в сейфе. Тогда для хранения ценностей еще не были изобретены сейфы антисейсмической конструкции, как-то: самоварные трубы, ночные туфли, выдолбленные внутри поленья. Поэтому все содержимое сейфа Варвары Сергеевны в октябре было поглощено стихией. Ей пришлось отступить на заранее заготовленные позиции — в мезонине у часовщика Давида Морщинкера. Лошадей и экипаж она приказала продать в спешном порядке.

Яков Бордюг выполнил эту операцию в первый же базарный день — в воскресенье. Вечером он, как каменный гость, прогромыхал по лестнице на мезонин, выложил пе-

ред Варварой Сергеевной керенки, николаевки, думки — и сказал:

— Ну... благодарим, прощайте.

В ответ — разгневанный императорский бас:

— Что-о-о? Иди, дурак, лучше в кухню — самовар пора ставить.

Бордюговские сапоги шаркнули вперед, назад, остановились: их душевное состояние несколько секунд было неустойчивым. Но условный рефлекс еще раз одолел: Яков Бордюг пошел ставить самовар.

И дровами, самоварами, печами — он занимался в течение трех следующих глав.

2

В законе наследственности есть некая обратная пропорциональность: у гениальных родителей дети — человеческая вобла, и наоборот. Если у генерала Столпакова были только табачные кольца и ничего больше, то естественно, что у Ростислава оказался настоящий талант. Это был талант к изливающимся в трубы бассейнам, к поездам, вышедшим навстречу друг другу со станций А и Б, и к прочим математическим катастрофам.

Общественное признание этот талант впервые получил в те дни, когда судьба, демонстрируя тщету капитализма, всех сделала одновременно миллионерами и нищими. В эти дни Варвара Сергеевна продала Давиду Морщинкеру три золотых десятки, и надо было это перевести на дензнаки. Бедная морщинкерова голова, размахивая оттопыренными крыльями-ушами, неслась через астрономические пространства нулей, пока окончательно не закружилась.

— Дайте-ка мне, — сказал Ростислав.

Он нагнул над бумажкой криво заросший черным волосом лоб. Минута — и все было готово: бесконечность была побеждена человеческим разумом. Морщинкер воскликнул:

— Так вы же, госпожа Столпакова, имеете в этой голове какой-нибудь клад! Это же недалекий будущий профессор!

Слово это наконец было сказано: профессор. Рукою

бедного часовщика был зажжен маяк, осветивший весь дальнейший путь Варвары Сергеевны. Она теперь знала имя бога, какому она принесет себя в жертву.

Упоминание о боге, хотя бы и не с прописной буквы, — в сущности, неуместно: сама жизнь в те годы вела к твердому научно-материалистическому мировоззрению. И Варвара Сергеевна усвоила, что талант составляется из ста двадцати частей белка и четырехсот частей углеводов, она поняла, что пока, до времени, до подвигов более героических, она может служить науке, только снабжая будущего профессора хлебом, жирами и сахаром.

Сахару не было. В бессахарном мезонине Яков Бордюг растапливал печку. У Варвары Сергеевны в груди материнское сердце скреблось, как крот, слепо отыскивая путь к сахару. На Якове Бордюге была надета стеганая солдатская безрукавка.

— Поди сюда! — вдруг скомандовала Бордюгу Варвара Сергеевна. — Стой... Снимай! — Она ткнула пальцем в безрукавку. — Так. Можешь идти.

Яков Бордюг ушел. Безрукавка осталась у Варвары Сергеевны. Зачем все это было — пока никому непонятно.

Через неделю Варвара Сергеевна сидела в вагоне. Заря — упитанная, розовая, буржуазная, еще во времена Гомера занимавшаяся маникюром — с любопытством смотрела в окно. Возле окна, на мешках три гражданки спали кооперативно, кустом: приткнувшись одна к другой лбами. Над ними, качаясь, свешивалась рука с багажной полки, торчали чьи-то забытые руки из-под скамьи. Все руки — красные от зари и от холода, но Варваре Сергеевне тепло: на ней та самая безрукавка Бордюга, густо простеганная... чем бы вы думали? Гагачьим пухом? Ватой? Нет, сахарным песком. Кроме того, ее материнское сердце согрето и еще кое-чем, о чем мы пока говорить не вправе. Какой-нибудь час — и она дома, сама обо всем расскажет Ростиславу. Только бы благополучно проехать последнюю станцию...

Варвара Сергеевна осторожно запахла на груди безрукавку — так осторожно, как будто вот сейчас ее бюст вспорхнет и улетит. На скамейке напротив старичок неизвестного пола (бабья куцавейка и борода) понимающе взглянул на бюст, осенил себя крестным знамением и сказал:

— Пронеси, Господи! Подъезжаем...

Погрозив хоботом, мелькнула в окна водокачка. Кооперативные гражданки вскочили. Кто-то сзади Варвары Сергеевны открыл окно и испуганно ахнул: «Идут!» Под окном на станции запел петух — видимо молодой: он знал только полпетушиной строфы. Но и этой половины было довольно, чтобы Варвара Сергеевна похолодела. Она то-ропливо скомандовала:

— Закройте окно!

Никто не шевельнулся, все примерзли к своим корзинам, мешкам, чемоданам, портпледам, баулам: в вагон уже входили они, заградиловцы. Впереди шел веселый, тугощекий парень морковного цвета, сзади — три бабовидных солдата с винтовками на веревочках.

— Ну-ну, граждане, веселей — расстегивайся, распоясывайся! — крикнул морковный парень.

За окном молодой петушок опять начал — и опять сорвался на половине строфы, как начинающий поэт. Если б только можно было встать и закрыть окно...

Но уже рядом стоял морковный парень и прищурясь глядел на одну из кооперативных гражданок.

— Ты что, тетка, из Киева, что ли, — из киевских пещер?

— Нет, что ты, батюшка, я из Ельца.

— А почему же у тебя глава мироточивая?

Чудо совершалось на глазах у всех: ситцевый платок у гражданки был сзади чем-то пропитан, что-то стекало у нее по шее...

— Ну-ка, снимай, снимай платок! Ну-ка?

Гражданка сняла: там, где у древних женщин полагалось быть прическе — у гражданки была прическа из сливочного масла в вощеной обертке...

— А у вас? — Морковный парень повернулся к Варваре Сергеевне.

Она сидела монументально, выставив, как волнолом, могучую грудь, как будто еще более могучую, чем всегда. Она молча, императорским жестом, показала на раскрытую козловую сумку: там были только законные вещества.

— Это все? — парень остановился и острым мышиным глазом стал вгрызаться в Варвару Сергеевну.

Она приняла вызов. Она шла в бой, в конце концов, ради чистой науки. Она подняла голову, посмотрела на вра-

га и впустила его в себя, внутрь — как будто внутри ее не было ни сахару, ни...

— Ку-кка-реkk... — опять запнулся начинающий петушинный поэт за окном.

— Да закройте же... — начала Варвара Сергеевна и не успела кончить, как в вагоне произошло новое чудо: в ответ петуху за окном... запел бюст Варвары Сергеевны. Да, да, бюст: заглушенное кукареку сперва из левой, потом из правой груди...

Разоблачитель чудес с торжеством вытащил оттуда — левого и правого — молодых петушков. Крутом кудахтали от смеха. Госпожа Столпакова была как послереволюционный Александр III: внизу кем-то вырезана позорная надпись, но он делает вид, что не знает о ней — но зато знает что-то другое.

Это другое — был сахар: стеганную сахаром безрукавку Варвара Сергеевна все-таки довезла.

3

И вот уже затихли бои, созданием мирных ценностей занялась вся республика — в том числе, конечно, и Варвара Сергеевна. Ее ценности были: наполеоны, эклеры, меренги, бисквиты.

С корзинкой в руках она воздвигалась на базарной площади, где, понятно, уж всем была известна чудесная история о поющем бюсте. Сбоку или сзади тотчас же раздавалось: «Ку-ккаре-ку!» — это человеческие петушки, как зарю, приветствовали Варвару Сергеевну.

Однажды петушиное пение, едва начавшись, оборвалось. Варвара Сергеевна оглянулась и увидела над толпой, над всеми головами — чью-то одну голову на тончайшей, жердяной шее, чьи-то руки, погружающиеся в волны мальчишек. Затем покоритель мальчишек подошел к ней:

— Вы меня помните? Я — Миша.

Варвара Сергеевна сейчас же вспомнила: это был сын бывшего предводителя дворянства — тот самый, какой играл теперь на трубе в ресторане Нарпита. Ростом он был даже чуть выше Варвары Сергеевны, но это был только человеческий каркас, не обтянутый мясом, и, когда он дви-

гался в толпе, казалось, что, как во времена Марата, — добрые патриоты несут эту голову, поднятую на копье.

Теперь она была рядом — эта трагическая, окровавленная голова — кровь текла из носу и была пролита за Варвару Сергеевну... Варвара Сергеевна, ни секунды не колеблясь, взяла наполеон, отложенный для него, для единственного, для Ростислава, и подала Мише:

— Вот... не хотите ли?

Миша хотел. Он явно хотел не только наполеона, но и Александра III: он как бы нечаянно, робко коснулся могучего бюста, сейчас же извинился. В бюсте у Варвары Сергеевны запело — но уже каким-то иным, не петушиным пением... С этого дня Миша был возле Варвары Сергеевны каждый базар.

Был май, было время, когда все поет: буржуи, кузнечики, пионеры, небо, сирень, члены Исполкома, стрекозы, телеграфные провода, домохозяйки, земля. В мезонине Ростислав, заткнув уши, наморщив косой лоб, сидел над книгой, Варвара Сергеевна — перед раскрытым окном. За окном в сирени пел соловей, в Нарпите пела труба. Ростислав держал выпускные экзамены во 2-й ступени, — и самый серьезный экзамен начинался для Варвары Сергеевны.

Письменные испытания начались на Троицу утром. Варвара Сергеевна спускалась с мезонина, чтобы идти к обедне. В самом низу темной лестницы она увидела заткнутый за щеколку букет сирени, а к букету была приколота записка следующего содержания:

«Я к вам — с сиренью, а вы ко мне — с молчанием. Я так не могу больше. Ваш М.».

За обедней Варвара Сергеевна увидела и самого «М.» — Мишу. При выходе из церкви Миша, конечно, оказался рядом с Варварой Сергеевной. Коллектив верующих тесно прижал их друг к другу, два сердца пели рядом, был май...

— Вы... вы чувствуете: мы — вдвоем? — задыхаясь сказал Миша.

— Да, — сказала Варвара Сергеевна.

— И я хочу... чтобы мы... вообще вдвоем навсегда... Я играю на трубе в Нарпите, так что я могу... Варвара Сергеевна — да говорите же!

Перед ней мелькнул нахмуренный косой лоб Ростислава единственного... Нет, уже не единственного! Несокру-

шимый, казалось, волнолом треснул, рассеялся на две половины, вступивших в смертельную борьбу, и у Варвары Сергеевны не было сил решить сейчас же, за кем она пойдет в этой борьбе.

— Завтра вечером... Приходите... я вам тогда скажу, — ответила наконец Варвара Сергеевна.

Завтра был решительный день для Ростислава: последний экзамен — политграмота. И завтра был решительный день для Варвары Сергеевны.

4

Утром Ростислав убежал, еле хлебнув чаю. К обеду он вернулся, сияя косым треугольником лба: он победил, он выдержал!

— Студент ты мой! Столпачонок мой, един... — Варвара Сергеевна запнулась: нет, уже не единственный...

Снизу прибежал поздравлять Морщинкер, и даже допущен был для поздравления Яков Бордюг. Утвердившись у притолки, он начал приветственную речь:

— Как, знычть, вы... вроде, например, лошадь на ярманке... и ежели благополучно продамши и, знычть, хвост в зубы...

Реалистические, рыжие сапоги его ерзали, он искал слов на полу, он мог каждую минуту наступить на них сапогами. От него пахло стихиями, кентавром, потом.

— Ладно, ладно, спасибо... Иди к себе на кухню... — сморщилась Варвара Сергеевна.

Яков Бордюг вышел, громыхая, как танк. Ушастой летучей мышью выпорхнул Морщинкер. В мезонине осталось трое: Ростислав, Варвара Сергеевна — и тень нависшей над нею судьбы. Солнце садилось, тень становилась все длиннее.

Варвара Сергеевна ждала. Ей было узко дышать, она расстегнула пуговицы на груди, она раскрыла окно. Там, на свежих, только что вынутых из комода облаках, лежала заря, краснея от любовных мыслей. Ничего не подозревающий Ростислав читал газету.

Вдруг лоб у него перекосялся, он крикнул, умирая: «Мама!» Варвара Сергеевна бросилась к нему:

— Что ты? Что с тобой? Ростислав!

Он уже ничего не мог сказать, он только протянул ей газетный лист. Она схватила, обжигаясь, — прочла...

В газете была статья о том, что необходимо наконец изменить социальный состав студенчества, о том, что в этом году первый раз прием будет происходить на новых основаниях, о том, что...

Не нужно было дальше и читать. Все было так же ясно, как ясен был социальный состав Ростислава. Все для него погибло.

Как капли холодного пота, на небе проступали звезды, в ресторане Нарпита зажигались огни. Вошел Яков Бордюг, громыхнул на столе самоваром и стал у притолки. Варвара Сергеевна молча смотрела на него: пусть стоит, все погибло... она молча смотрела...

Вдруг она встала, воскресла: нет, не все!

Тотчас же снаружи, под окном — робкий кашель: это он, Миша, пришел за ответом.

— Да... Да! — отвечая этому кашлю или какой-то своей мысли, сказала Варвара Сергеевна. — Да: только это одно и осталось...

Было бы бестактным спрашивать сейчас у Варвары Сергеевны, что такое «это одно», но мы вправе предположить, что Александра III, чистую науку, Мадонну, мать — все в ней сейчас победила женщина.

Женщина высунулась в окно. Оттуда на нее пахнуло пивом, сиренью, счастьем, оттуда донеслось чуть слышное, как запах, слово «Варечка». В бюсте у нее запекло, но сейчас же, на полужелудке, оборвалось.

— Миша, я не могу сойти к вам... Миша, если бы вы знали, что произошло! Единственное, что мне теперь осталось... — Пауза. И затем самым нежнейшим из всех своих басов: — Ведь вы меня... любите? Да? И вы сделаете для меня все?

— Варечка!

— Тогда приходите сюда завтра в десять, и прямо отсюда же пойдем...

— В загс! — крикнул Миша.

— Как вы догадались? — удивилась Варвара Сергеевна.

Казалось бы, догадаться было нетрудно, и скорее удивительно было, что она удивилась. Но кто поймет до конца женскую душу, где — как буржуазия и пролетариат — рядом живут мать и любовница, заключают временные со-

глашения против общего врага и снова кидаются друг на друга? Кто знает, о чем, спустившись вниз, говорила она с Морщинкером и даже — с Яковом Бордюгом? Кто объяснит, почему к утру подушка ее была мокрой от слез?

5

Ночью шел дождь. День настал свежий, обещающий, как новая глава. Ростислав еще спал, когда Варвара Сергеевна вышла из дому на улицу. Там уже ждал ее Миша, он сиял счастьем, крахмальным воротничком. Он только что хотел спросить о чем-то Варвару Сергеевну, как из калитки вышел Морщинкер, а за ним — Яков Бордюг: Миша понял: свидетели для загса. Морщинкер был в сюртуке, на Якове Бордюге был новый синий картуз — он налезал на уши, на глаза, до времени прикрывая таинственность Бордюга.

Варвара Сергеевна вытерла платочком ресницы — быть может, вспомнила Столпакова, табачные кольца, рейтузы... Это была последняя минута слабости. Затем она выпрямилась и повела за собой армию в бой.

Загс помещался теперь в «розовой гостиной» бывшего земства. Ничего либерально-розового там теперь уже не было, стояли голые столы, на стене висел строгий плакат: «Просят отнюдь граждан на столах не разлагаться». И под плакатом сидел человек, в кепке, как судьба — одинаково равнодушный к разложению, к смерти, к любви и к прочим гражданским состояниям.

— Вступаете в брак? — сказал он, закуривая папиросу. — Невеста? — Он взял у Варвары Сергеевны документ, перелистал. — Гм... Ростислав, семнадцать лет... Гм... Ваш сын? .

Это было началом генерального сражения. Варвара Сергеевна стояла твердо, незыблемо, как Александр III. Она оглянулась, ее взгляд был императорским, императивным.

И, подчиняясь ему, Яков Бордюг подошел к столу и сказал:

— То есть... это — вроде как мой...

— Как? — Человек за столом даже выронил папиросу.

— Да, — твердо сказала Варвара Сергеевна. — Хотя он

и записан как сын Столпакова, но он прижит мною от бывшего... от гражданина Якова Бордюга, который его усыновляет ввиду нового строя и вступления со мною в брак...

— Как? — крикнул сзади Варвары Сергеевны Миша.

— ... и вот эти двое граждан, — Варвара Сергеевна показала на Морщинкера и на Мишу, — подтверждают мои слова.

Она еще раз оглянулась. Обрезанная белым воротничком, Мишина голова. Его посинелые губы еле выговорили:

— Да... Подтвер... ждаю...

— Да, и я говорю то же — да, — подлетел к столу Морщинкер.

Человек в кепке вынул из чернильницы муху, обмакнул перо, записал. Ростислава Столпакова больше не было: родился Ростислав Бордюг, теперь уже бесспорно — студент и будущий профессор.

Когда вернулись на мезонин (втроем — Миша туда не пошел), Варвара Сергеевна сказала Якову Бордюгу:

— Ну, спасибо, Яков. Ты больше не нужен, иди... Иди к себе на кухню.

Но рыжие танки сапог не двигались, новый синий картуз прикрывал глаза, пахло кентавром, потом.

— Иди же, ставь самовар, — сморщилась Варвара Сергеевна.

Картуз вдруг соскочил с головы и полетел на кровать Варвары Сергеевны, Яков Бордюг с грохотом сел на стул, прогребил пятерней караковые лохмы и сказал:

— Иди, ставь сама.

Молчание. С раскрытым ртом, онемевший Александр III.

— Ты кто мне теперь, — жана. Ну, так и иди ставь. Слышишь, что я говорю.

Самодержавие пало. Мученица науки пошла ставить самовар.

В этом рассказе не появляются

на сцене никакие в Бозе почившие высокие особы. Мой скромный герой Семен Зайцер — или, если угодно, товарищ Зайцер — благополучно здравствует по сей день и проживает все там же, в доме № 7 по Караванной улице в Ленинграде. И тем не менее — это рассказ исторический, ибо описываемые здесь происшествия случились в ту романтическую эпоху, когда время в России считалось еще на года, а не на пятилетки, когда водка была объявлена буржуазным ядом и жаждающие забвения пили одеколон, когда в синей морозной пустыне петербургских улиц всю ночь щелкали выстрелы, когда веселые бандиты отпускали домой прохожих в одном воротничке и галстук, когда лучшим подарком любимой девушке был перевязанный ленточкой фунт сахару, когда всего за один воз дров товарищ Зайцер приобрел свои знаменитые золотые часы.

Зайцер был великий человек: он заведовал заготовкой дров для замерзающего Петербурга, он подписывал дровяные ордера, он согревал людей, как солнце, — круглый, рыжий, сияющий. И если вы осмеливались когда-нибудь посмотреть на солнце, вы заметили, вероятно, что у него не только сияющий, но как бы несколько ошеломленный своим собственным сиянием вид. Именно такое самоудивление было на лице товарища Зайцера: брови у него всегда были выразительно вздернуты вверх, как будто он до сих пор никак не мог поверить, что он, Зайцер, вчерашний портновский подмастерье в городе Пинске, сидит теперь в собственном служебном кабинете, что в его распоряжении находится секретарша Верочка, что у него в жилетном кармане лежат золотые часы, что...

Впрочем, раскроем лучше все карты сразу и, не тратя драгоценных строк, скажем прямо, что вышеупомянутый фунт сахару с розовой ленточкой был преподнесен именно товарищем Зайцером секретарше Верочке и что золотые часы были им приобретены тоже ради Верочки — в качестве противоядия серебряному кавказскому поясу, на днях появившемуся на тонкой талии товарища Кубаса, секретаря коммунистической ячейки и редактора стенной газеты в зайцерском учреждении.

Но Верочка — увы! — не замечала знаменитых золотых часов. Товарищ Зайцер уже несколько раз щелкал крышкой, он положил часы перед собой на грудку бумаг, а Верочка по-прежнему рассеянно смотрела в окно на медленные хлопья снега. Товарищ Зайцер наконец не выдержал и сказал:

— Слушайте, товарищ Верочка, вы видели такие часы, а? Так я вам скажу, что вы — нет, не видели!

Он сверкнул в воздухе часами, сунул их в жилетный карман — и Верочка сейчас же услышала как бы исходившую из недр самого Зайцера нежнейшую фейную музыку и затем серебряный звон: девять. Верочка широко открыла глаза (они были синие). Зайцер, сияя, объяснил, что стоит только незаметно нажать в часах «вот здесь, на ихний, так сказать, животик, — и вы уже имеете и музыку, и время!» Верочке сейчас же захотелось попробовать самой — можно? Боже мой, ну что за вопрос! Ну конечно!

Верочка подошла к товарищу Зайцеру. Она стала нащупывать рукой скрытую в его груди (точнее — в жилетном кармане) музыку. Совсем близко перед глазами Зайцера была ее шея, ее обнаженная до локтя рука. Верочка была вся чуть позолочена, она вся была покрыта тонким золотым пушком, она была слегка меховая — и, может быть, именно это-то в ней и было то самое, что могло свести с ума хоть кого. Когда Верочка нашла наконец часы и надела на них рукой, это было так, как будто она тихонько сжала в руке сердце товарища Зайцера. Его пойманное сердце забилося, он решил: как только часы кончат свою музыку — он немедленно скажет Верочке то, что он давно уже хотел сказать, но все никак не мог набраться храбрости.

Очень вероятно, что он и в самом деле сказал бы, если бы в этот момент в кабинет не вошел товарищ Кубас. Ве-

рочка, покраснев, выпрямилась, Зайцер зашуршал бумагами, ядовитый змеиный хвостик улыбки мелькнул и спрятался в углу губ товарища Кубаса. Он нарочно помедлил секунду и затем подсушенным официальным тоном заявил, что товарищ Вера должна быть сегодня откомандирована для составления очередного номера стенной газеты. Зайцер приветливо улыбнулся:

— Дорогой товарищ Кубас, вы же забываете, что сегодня вечером у нас заседание и я должен продиктовать моей (подчеркнуто) секретарше доклад о весенней кампании по заготовке дров. Товарищ Вера, принесите сюда свою пишущую машинку, я вас прошу...

Верочка вышла. Снимая чехол с машинки, она слышала сквозь дверь кабинета, как голоса там становились все громче, как они поднялись до крика. «Без нее я не могу выпустить стенгазету! Вы срываете работу по политическому воспитанию трудящихся!» — кричал Кубас. «А вы суете свою палку в колесо отопления красной столицы!» — кричал Зайцер. Верочка знала, что именно от нее зависит политическое воспитание трудящихся и отопление красной столицы. Но она до сих пор не могла понять своего сердца: кто — товарищ Зайцер или товарищ Кубас? Зайцер — уютный и теплый, у него дрова и часы и квартира (не комната, а целая квартира!). У Кубаса — перетянутая серебряным поясом тонкая талия, у него острые птичьи глаза, с ним страшно, но...

Что «но», Верочке было неясно. Ясно было только одно, что срок пришел, что если не сейчас — там, в кабинете, то сегодня вечером, ночью, завтра утром все должно было наконец как-то разрешиться. Но как? Как — чтобы не пришлось потом жалеть о сделанной ошибке? Верочка вздохнула, своими пушистыми руками осторожно подняла тяжелую, как судьба, машинку и понесла ее навстречу роковым решениям в кабинет.

— Сидите, прошу вас, — сказал Верочке Зайцер. — Я сейчас буду вам диктовать.

— Ах, так? Очень хорошо! — Товарищ Кубас клюнул Зайцера глазами и вышел.

Верочка положила руки на клавиши. В тишине было слышно, как тяжело дышал Зайцер. Он смотрел на ее руки... За окном падал пушистый снег.

— Да... Так вот, значит — весна, — сказал Зайцер.

— Весна? — удивилась Верочка.

— Если я говорю, что весна, то, значит, — да, весна. Пишите: «К началу нашей весенней кампании»...

Товарищ Зайцер, наперекор стихиям, был прав. Вы думаете, что весна — это розовое, голубое и соловьи? Сентиментальный предрассудок! На снежной поляне два вчера еще пасшихся рядом оленя вдруг кидаются один на другого из-за оленьей девушки — это весна. Вчера еще смирные, как олени, люди сегодня становятся героями и окрашивают снег своей кровью — это весна. Цвет весны не голубой, не розовый, а красный — опасности, страсти, лихорадки, сражения.

Вечернее заседание в зайцеровском кабинете было сражением, вернее поединком. Верочка лихорадочно стенографировала выстрелы — иначе нельзя было назвать реплики, которыми обменивались противники. Каждый пункт в докладе Зайцера Кубас осыпал двенадцатидюймовыми цитатами из Ленина. Каждый куб дров становился чем-то вроде знаменитого «дома паромщика» в марнских боях.

— Слушайте, товарищ Кубас, этак мы и к утру не кончим! — не выдержал председатель.

Чтобы не компрометировать себя капиталистическим блеском золота, Зайцер еще в начале заседания положил свои часы в ящик письменного стола. Теперь он незаметно выдвинул ящик, взглянул: двенадцать. Уже замолкли звонки последних трамваев, уже вышли на промысел ночные бандиты, когда наконец началась баллотировка. Верочка в лихорадке подсчитывала голоса: она знала, что голосуются не кубические метры дров, но человеческие сердца.

Десять голосов против одного. Этот один, разбитый наголову, туго стянув свой серебряный кавказский пояс, ушел, не прощаясь ни с кем. И, разумеется, счастливый победитель — Зайцер отправился провожать Верочку домой.

Чуть сияющие снегом ущелья улиц были темны и пусты: нигде ни души, ни единого огонька в черных окнах. Если бы товарищ Зайцер был теперь в этой пустыне один, он, может быть, шел бы на цыпочках, чтобы не было слышно скрипа его сапог на снегу, он, вероятно, шарахнулся бы от первого встречного в сторону, он, конечно,

пустился бы бежать во всю прыть. Но сейчас, когда где-то впереди мелькнул выстрел и теплая рука Верочки вздрогнула в его руке, Зайцер только засмеялся:

— Ну и что? Пусть себе стреляют, я же с вами.

Это был новый, героический Зайцер. Этому Зайцеру даже хотелось, чтобы случилось что-нибудь страшное, он ничего не боялся. Кроме только одного: предстоящего сейчас объяснения с Верочкой. Боже мой... как, с чего начать? Начать — это страшнее всего.

Зайцер неистово крутил пуговицу своего пальто, как будто она-то и мешала ему раскрыть рот. Пуговица наконец оторвалась, Зайцер заговорил:

— Я вам хочу сказать, Верочка, одну вещь...

«Вот оно!» Верочкина рука вздрогнула, как недавно от выстрела.

— Какую вещь? — спросила Верочка, хотя она и отлично знала — какую.

— У моей мамы — кошка вчера окотилась, — выпалил Зайцер.

Верочка в полном недоумении посмотрела на Зайцера. Зажмурив глаза, он продолжал умиленным, теплым голосом:

— ...Знаете, лежит себе и поет, и семеро котят. И я смотрю и говорю: «Ой, Семен, ты тоже мог бы петь, как эта счастливая семейная кошка...»

По-видимому, Верочка слишком живо вообразила товарища Зайцера в счастливом положении семейной кошки: ямочка на правой щеке у ней задрожала, она закрыла рот рукой. Зайцер увидел это и понял: она сейчас вслух засмеется — и тогда погибло все... Он в ужасе ждал этого смеха, как в романах Толстого герои ждут взрыва крутящейся бомбы.

И вдруг он почувствовал, что пальцы Верочки крепко стиснули его руку, она вся прижалась к нему. Зайцеру захотелось неистово закричать от счастья. Он нагнулся к Верочке ближе...

— Да смотрите же! — испуганно шепнула ему Верочка.

Тогда Зайцер увидел: с противоположной стороны улицы наперерез им быстро шел высокий человек, в военной шинели без погон. Одну секунду, не больше, существовал прежний Зайцер, попятившийся назад. Но тотчас же новый, героический Зайцер скомандовал Верочке:

«Прячьтесь в подъезд!», шагнул навстречу бандиту и, заняв позицию недалеко от проглотившего Верочку темного подъезда, остановился. Зайцер весь дрожал, но это не был страх: так, бурля, дрожит паровой котел, напряженный до предела своих пятнадцати атмосфер.

Человек в военной шинели подошел и тоже остановился. Страшная бесконечная пауза. Зайцер не мог больше ждать. Пересохшим голосом он сказал:

— Ну, и что?

Держа руку в кармане (револьвер!), человек молчал. Зайцер успел схватить глазами наглые, как у кайзера Вильгельма, усы и очень белые, крупные зубы.

Человек молчал, явно издеваясь: это для Зайцера было ясно. И еще яснее это стало, когда усы зашевелились и хрипло спросили:

— Спички есть?

Зайцер кипел, ему хотелось сразу же кинуться, ударить, но он принял вызов, он притворился, что поверил в спички, он достал коробок, зажег. Человек нагнулся к Зайцеру совсем вплотную, бесцеремонно взял его рукою за борт пальто, отогнул — чтобы ветром не задуло зажженную спичку, закурил. Зайцер увидел: на пальце человека блеснул перстень (снятый с кого-то, может быть, в эту же ночь). Зайцер почувствовал легкое, едва заметное прикосновение чужой руки. Он хотел уже потушить спичку, чтобы не видеть этих издевательски шевелящихся усов, как вдруг в красноватом пламени спички перед Зайцером проплыли в воздухе... золотые часы.

Потребовалась какая-то доля секунды, чтобы Зайцеру стала ясна вся механика проделанного бандитом трюка с закуриванием папиросы. И еще доля секунды, чтобы схватиться за свой жилетный карман: часов там уже не было. Сердце у Зайцера бешено забилося, он бросил еще горящую спичку прямо в лицо грабителя, выхватил у него свои часы и дико заорал (он никогда не думал, что у него может быть такой голос):

— Руки вверх! Застрелю! — И сунул руку в карман своего пальто.

Этот жест был так решителен, отпор был так неожидан, что бандит поднял руки вверх, а затем, не дожидаясь, пока Зайцер выстрелит, согнулся и, делая петли, побежал в темноту за углом.

Зайцер вынул из пальто платок (никакого револьвера, конечно, у него там не было) и вытер пот. Он еще весь дрожал, когда к нему подбежала бледная Верочка.

— Что? Что? — схватила она его за руку.

— Ничего. Вот... — Зайцер встряхнул на ладони отвоенные часы. — Негодяй! Он их уже вытащил, вы понимаете? Но он таки серьезно ошибся со мной.

— Но как же вы не боялись, что он... Нет, я даже не думала, что вы — такой! — Глаза у Верочки восторженно блестели.

— Я вам скажу, Верочка, что если бы он даже выстрелил, то мне это все равно, потому что я сейчас как сумасшедший, потому что я вас... Ой, Боже мой, вы же, Верочка, знаете!

Верочка, блестя глазами, молчала. Но там, внизу, в темноте, рука Верочки, ласкаясь, как кошка, медленно вползла в рукав Зайцера, его ладони коснулась кисть, покрытая невыносимым пушком. Сердце Зайцера оторвалось, как от ветки сладкое, спелое яблоко, и упало вниз.

— Ну, и что же вы молчите? Я же не могу больше! — крикнул Зайцер.

— Я вам лучше скажу завтра утром, хорошо?

Но Верочкины глаза и легкое движение ее руки все сказали Зайцеру уже сейчас... На утро осталась, по-видимому, только банальная счастливая развязка. Впрочем, не правильнее ли будет сказать, что банальной из зависти называют ее те, кому не дано судьбой чувствовать весну в любое время года.

Неизвестно, спал ли товарищ Зайцер в эту весеннюю снежную ночь (едва ли). Неизвестно, спала ли Верочка (может быть). Но наутро к приходу товарища Зайцера все в его учреждении уже знали, что он — герой. Когда наконец он появился, его окружили, его засыпали вопросами, поздравлениями, улыбками. Не останавливаясь, пробормотав что-то неясное, Зайцер устремился в свой кабинет. Странно, но вид у него был совершенно не соответствующий его героическому положению: он был растерян, бледен. Может быть, это было результатом бессонной ночи, может быть, он слишком волновался в ожидании встречи с Верочкой и ее обещанного ответа. Еще страннее было, что, вбежав в свой кабинет, он только испуганно, боком взглянул на Верочку, кивнул ей и сейчас же кинулся к письмен-

ному столу. Торопливо расстегнув пиджак, он вынул свои золотые часы, бросил их на грудку бумаг, выдвинул ящик стола — и, нагнувшись над ним, застыл. Брови его были подняты до крайнего, допускаемого природой, предела.

— Что случилось? — испуганно подбежала к нему Верочка.

— Что случилось? — чужим голосом сказал Зайцер. — Вот что случилось!

Из ящика письменного стола он достал и рядом с золотыми часами положил... золотые часы. Верочка круглыми глазами смотрела, ничего не понимая.

— Так я же его ограбил — этого негодяя! — в отчаянии закричал Зайцер. — Вот же мои часы, они себе лежали здесь, а тот подлый бандит имел свои часы, вы поняли, да?

Верочка поняла. Зайцер увидел, как задрожала ямочка на ее правой щеке. Она отвернулась. Какой-то странный звук, похожий на задушенное рыдание, через секунду — взрывы неистового, неудержимого смеха — и Верочка стремглав вылетела в дверь.

Вероятно, она упала там, корчась, задыхаясь, на первый попавшийся стул. Из кабинета было слышно, как она сказала, вернее, крикнула что-то столпившимся около нее сослуживцам — и следом за тем стихийная катастрофа хохота, перекидываясь из комнаты в комнату, из этажа в этаж, охватила все учреждение товарища Зайцера.

Засунув пальцы в волосы, он сидел один в кабинете. Перед ним лежало двое золотых часов. Когда скрипнула дверь и в кабинет просунулась чья-то голова, Зайцер, не поднимая глаз, пробормотал:

— Я сейчас занят. Завтра...

Больше уж никто не рисковал к нему войти — и меньше всех Верочка: она знала, что, как только она его увидит, — она не вытерпит и опять засмеется ему в лицо.

Когда в учреждении затихли последние шаги, захлопнулись последние двери, Зайцер встал, сунул в карман свои (настоящие свои) часы, подошел к столику, на котором стояла прикрытая чехлом Верочкина машинка. Горькими глазами он посмотрел на ее пустой стул, прижал руки к сердцу. Рядом с сердцем помещались часы — и эти проклятые, погубившие его часы заиграли свою музыку. Зайцер яростно надавил рукой, чтобы музыка перестала, в часах что-то хрустнуло — они замолчали.

Пустые, обезлюдевшие комнаты, лестница, вестибюль. На стене в вестибюле Зайцер увидел экстренный номер стенгазеты, выпущенный сегодня Кубасом (и, может быть, Верочка ему помогала). Там был изображен маленький смешной человечек с свирепо вздернутыми бровями, в каждой руке у него были огромные часы. Внизу была крупная подпись: «Руки вверх!»

Зайцер поспешно отвернулся и вышел, навсегда, из своего учреждения, из сердца Верочки, из этого рассказа.

Париж, шоль, 1934

Все началось с происшествия

совершенно фантастического: именно — великолепный царь зверей, лев оказался вдребезги пьяным. Он спотыкался на все четыре лапы и валился на бок, это была совершенная катастрофа.

Лев обучался в Ленинградском университете и одновременно служил балетным статистом в театре. В сегодняшнем спектакле, одетый в львиную шкуру, он должен был стоять на скале и ждать, когда его сразит брошенное героиней балета копьё: тогда убитый лев падал со скалы на тюфяк за кулисы. На репетициях все шло превосходно — и вдруг сегодня, в день премьеры, за полчаса до подъема занавеса — лев подложил такую свинью! Запасных статистов не было. Отменить спектакль было нельзя: на спектакле будет приехавший из Москвы нарком. В кабинете у «красного директора» театра шло SOS-ное заседание.

В дверь постучали, и в кабинет вошел театральный пожарный Петя Жеребякин. «Красный директор» (он сейчас на самом деле был красный — от злости) накинулся на него:

— Ну, что, что надо? Некогда! К черту!

— Я, товарищ директор... я — насчет льва, — сказал пожарный.

— Ну, что насчет льва?

— Как, значит, наш лев пьяный, то я желаю, товарищ директор, льва сыграть...

Не знаю, бывают ли у медведей веснушки и голубые глаза. Если бывают, то громадный, в чугунных сапожниках, Жеребякин гораздо больше походил на медведя, чем на льва. Но вдруг чудом из него все-таки выйдет лев? Он божился, что выйдет, что он из-за кулис смотрел на все

репетиции, что он, когда еще был солдатом, играл в «Царе Максимилиане». И в пику криво ухмыльнувшемуся режиссеру директор приказал Жеребякину сейчас одеться и попробовать.

Через несколько минут музыканты на сцене уже играли под сурдинку «марш льва». Лев Петя Жеребякин выступал в львиной шкуре так, как будто он родился не в рязанском селе, а в Ливийской пустыне. Но в последний момент, когда надо было падать со скалы, он глянул вниз — и занулся.

— Падай же, черт... падай! — бешеным шепотом зашипел на него режиссер.

Лев послушно рухнул вниз. Он тяжело упал на спину и лежал, не мог встать. Неужели не встанет? Неужели в последний момент — опять катастрофа?

Его подняли. Он вылез из шкуры, он стоял бледный, держась за спину и сконфуженно улыбался. Одного верхнего зуба у него не хватало, и от этого улыбка была какая-то жалостная и детская (впрочем, в медведях — всегда есть что-то детское, не правда ли?).

К счастью, ничего серьезного с ним, видимо, не случилось. Он попросил воды. Директор приказал принести ему стакан чая из своего кабинета. Когда он выпил чай, директор стал его торопить:

— Ну, товарищ, назвался львом — полезай в шкуру. Лезь, лезь, брат, скоро начнем!

Кто-то услужливо подскочил со шкурой, но лев не захотел в нее лезть: он твердо заявил, что ему непременно надо выйти из театра. Что это была за экстренная надобность — он отказался объяснить, он только сконфуженно улыбался. Директор вскипел. Он попробовал приказывать, попробовал напомнить, что Жеребякин — кандидат в партию, что он — ударник, но лев-ударник упрямо стоял на своем. Пришлось уступить — и, просияв щербатой улыбкой, Петя Жеребякин помчался куда-то из театра.

— Ну, куда, зачем его черт понес? — снова красный от злости спрашивал директор. — Какие такие у него секреты?

«Красному директору» никто не мог ответить: секрет был известен только Пете Жеребякину — и, разумеется, автору этого рассказа. И пока Петя Жеребякин бежит куда-то сквозь осенний петербургский дождь, мы можем переселиться на время в ту июньскую ночь, в которую родился его секрет.

Ночи в ту ночь не было: это был день, чутко задремавший на секунду, как задремывает в походе солдат, не переставая шагать и путаясь между явью и сном. В розовом стекле каналов дремлют опрокинутые деревья, окна, колонны, Петербург. И вдруг от какого-то легчайшего ветерка Петербург исчезает; вместо него — Ленинград, проснувшийся от ветра красный флаг над Зимним дворцом, у решетки Александровского сада — милиционер с винтовкой.

Милиционера тесно окружила кучка ночных трамвайных рабочих. Из-за плеч Пете Жеребякину видно только лицо милиционера — круглое, похожее на рязанское яблоко-медовку. Происходит что-то очень странное: милиционера хватают за руки, за плечи — и наконец, один из рабочих, вытянув трубочкой губы, нежно чмокает его в щеку. Милиционер багровеет, яростно свистит в свой свисток, рабочие разбегаются. Петя Жеребякин остается один лицом к лицу с милиционером — и милиционер так же внезапно исчезает, как вспугнутый ветром зеркальный Петербург: перед Жеребякиным — девушка в милиционерской фуражке и гимнастерке, первая милиционерка, поставленная революцией на Невском проспекте. Черные брови над переносицей у нее сердито сцепились, из глаз — искры.

— Стыдно вам, товарищ, — только и сказала она Пете Жеребякину, но как сказала!

Он растерялся, он забормотал виновато:

— Да это же ей-Богу не я! Я просто домой шел...

— Эх ты... А еще рабочий! — посмотрела на него милиционерка, но как посмотрела!

Если бы здесь, на мостовой, был люк, как на театральной сцене, Жеребякин провалился бы в люк — и это было бы спасение. Но ему пришлось медленно уходить, чувствуя на спине насквозь прожигающий взгляд.

Назавтра — снова белая ночь, и снова товарищ Жеребякин шел со своего дежурства в театре домой, и снова у решетки Александровского сада — милиционерка. Жеребякин хотел прошмыгнуть мимо, но заметил, что она смотрит на него — и сконфуженно, виновато поклонился. Она кивнула. На зеркально-черной стали ее винтовки отсвечивала заря, сталь казалась розовой. И перед этой розовой винтовкой Жеребякин робел куда больше, чем перед всеми, которые стреляли в него пять лет на разных фронтах.

Он рискнул заговорить с милиционеркой только через неделю. Оказалось, что она тоже, как и Жеребякин, из Рязанской губернии и еще помнит их рязанские яблоки-медовки. Ну как же: и сладко, и горчит маленько. Таких здесь нету...

Каждый раз, возвращаясь домой, Жеребякин останавливался у Александровского сада. Белые ночи совсем сошли с ума — и зеленое, розовое, медное небо не темнело ни на секунду. В саду обнявшиеся пары как днем искали тени, чтобы их не было видно.

В такую ночь неуклюже, по-медвежьи, Жеребякин спросил милиционерку:

— А что, например, вам, милиционеркам, при исполнении обязанностей можно замуж? То есть не при исполнении, а вообще — как ваша служба вроде военная...

— А зачем — замуж? — опершись на винтовку, сказала Катя-милиционерка. — Мы теперь — как мужчины: хотим и так любим...

Винтовка у нее была розовая. Милиционерка подняла лицо к полыхавшему в лихорадке небу, потом поглядела куда-то мимо Жеребякина — и договорила:

— Например, если бы такой человек, чтобы стихи сочинял... Или бы актер: чтоб вышел и ему бы весь театр захопал...

Яблоко-медовка: и сладкое, и горькое. Петя Жеребякин понял, что лучше ему уйти и не возвращаться сюда больше: его дело — конченное...

Нет, не кончено! Бывают еще чудеса на свете! И когда случилось невероятное это происшествие, что лев, Божьим изволением, напился пьяным, — Петю Жеребякина как осенило, он кинулся в кабинет к директору...

Впрочем, это все — уже позади: сейчас он сквозь осенний дождь мчался на улицу Глинки. Счастье еще, что это — рядом с театром, и счастье, что он застал милиционерку Катю дома. Это была теперь не милиционерка — это была просто Катя. Засучив рукава, она стирала в тазу белую кофточку. На носу, на лбу у ней проступали росинки — и никогда она не была милее, чем вот такая, домашняя.

Когда Жеребякин положил перед ней контрамарку и сказал, что он сегодня играет в спектакле — она не поверила. Потом — заинтересовалась. Потом почему-то сконфузилась и опустила засученные рукава. Потом посмотре-

ла на него (но как посмотрела!) и сказала, что придет непременно.

Звонки в театре уже трещали в курилке, в коридорах, в фойе. Лысый нарком жмурился сквозь пенсне в ложе. На сцене, за закрытым еще занавесом, балерины опраивали юбочки тем самым жестом, каким, спускаясь в воду, лебеди чистят крылья. И за скалой возле льва Жеребьякина волновались режиссер и директор.

— Помни: ты ударник! Смотри — не подгады! — в львиное ухо шептал директор.

Занавес пошел вверх — и за огненной чертой рампы перед львом раскрылся темный зал, доверху полный белыми пятнами лиц. Давно, когда он был еще Жеребьякиным, он вылезал из окопа, перед ним рвались снаряды, он вздрагивал, по деревенской привычке крестился — и все-таки бежал вперед. Сейчас ему показалось — он не может сделать ни шагу. Но режиссер толкнул его сзади, и он, с трудом ворочая свои, сразу ставшие чужими, руки и ноги, медленно полез на скалу.

На верху скалы лев поднял голову — и совсем близко от себя, в ложе второго яруса, увидел перевесившуюся через барьер милиционерку Катю: она смотрела прямо на него. Львиное сердце громко ударило раз, два! — и остановилось. Он весь дрожал: сейчас решалась его судьба, уже летело в него копье. Раз! — ударило оно в бок. Теперь надо падать. А вдруг упадет опять не так — и все погубит? Ему стало так страшно, как никогда в жизни, — куда страшнее, чем когда он вылезал из окопа...

В зале уже заметили, что на сцене происходит что-то неладное: смертельно раненный лев стоял неподвижно на верху скалы и смотрел вниз. В первых рядах услышали, как режиссер страшным шепотом крикнул: «Падай же, черт, падай!» И затем все увидели нечто совершенно фантастическое: лев поднял правую лапу, быстро перекрестился — и камнем рухнул со скалы...

Секунда всеобщего оцепенения, потом в зале, как смертоносный снаряд, взорвался хохот. У милиционерки Кати от смеха текли слезы. Убитый лев, уткнув морду в лапы, плакал.

Встреча

Словес с колючим бобриком.

в мундире жандармского полковника, по-военному отчеканил свои показания и сел. Он производил у подсудимого обыск, его показания были бесспорны, точны, убийственны. Но подсудимый даже не посмотрел на него. Он не дыша, боясь шевельнуться, прислушивался к мерному топоту солдатских ног: сейчас в зал должен был войти тюремный конвой — и с ним последняя надежда на спасение для подсудимого. Подсудимый знал, что конвоем командует Попов, тоже революционер, как и он сам, и что Попов попытается в удобный момент передать ему револьвер.

Но Попов дошел только до эстрады, на которой сидели судьи: тут, вместо того, чтобы подойти с конвоем к подсудимому, он растерянно остановился и, не мигая, вытянув шею, глядел в глубь зала. Шея у него была неожиданно тонкая для его широких плеч — как будто по ошибке взятая от чужого человеческого комплекта. Он стоял и удивленно, забыв обо всем, смотрел на жандармского полковника.

Кроме полковника, никто этого не заметил, никому не понятна была причина происшедшего замешательства. Впрочем, ничего не понял и полковник: он только почувствовал, как немигающий взгляд конвойного офицера с журавлиной шеей споткнулся на нем.

Раньше времени зазвенел звонок: перерыв. Продолжение заседания суда было отложено. Судьи, сверкая генеральскими эполетами, встали, задвигались. Все торопились в буфет, чтобы успеть там наспех проглотить чаю или кофе. Последними вышли из зала огромный красно-

лицый извозчик и лысый нищий, тоже вызванные в качестве свидетелей по делу.

В буфете после ярко освещенного зала показалось темно — тускловатые, пыльные лампы были вдобавок завешены табачным туманом. Было открыто окно, всякий раз распахиалась дверь от сквозняка, подвешенные к потолку лампы слегка покачивались — и все внизу под ними тоже слегка покачивалось, все было непрочное, как во сне. И в самом деле — особенно после суровой реальности того, что происходило в зале, все здесь было похоже на сон или бред.

Мелькали в дыму солдаты, цыгане, мужики, офицеры. Священник, приводивший на суде свидетелей к присяге, обнимая цыганку, напевал шансонетку. К столику, за которым о чем-то спорили извозчик и нищий, дружески подсел жандармский полковник. «Из-за чего изволите горячиться, ваше превосходительство?» — спросил он нищего. Здесь, во сне, никто не удивлялся, что нищий принял титул превосходительства как должное, но даже и здесь полковнику показалось нелепым, когда нищий сердито показал на извозчика: «Из-за того, что прапорщик Симков позволил себе сесть за мой столик, не спросив разрешения у меня, как полагается по уставу. Он забывает о моем чине!» Прапорщик-извозчик, добродушно колыхаясь животом, захохотал: «Все мы тут, дорогой мой, в одном чине: фи-гу-ранты! И всем нам одна цена: сто франков в день. Исключение — полковник: во-первых, получает сто двадцать, во-вторых — играет самого себя. Это называется «повезло!».

И действительно, повезло: в этом фильме из русской жизни бывшему жандармскому полковнику дали роль жандармского полковника. Режиссер говорил, что он играет превосходно, а он совсем не играл: он просто стал прежним самим собой. Стал настолько, до таких мелочей, что вот сейчас, закулив папиросу, помахал спичкой совершенно прежним ленивым жестом — и, как бывало тогда, бросил спичку еще горячей.

Сверху, из табачного тумана, спустилась рука и взяла из пепельницы еще горевшую спичку. Полковник взглянул вверх — и встретился с глазами длинношеего конвойного офицера Попова. Нагнувшись, Попов пристально смотрел полковнику прямо в лицо. Догоревшая спичка

обожгла ему пальцы, он бросил ее, не закурив, — и молча исчез в фантастической толпе цыган, солдат, мужиков.

«Что это значит?» — сказал полковник. «Что — что значит?» — удивленно переспросил извозчик. Полковник попробовал объяснить, но не мог, потому что ничего, в сущности, не произошло. Вернее, произошло только одно: полковнику показалось, что этого длинношеего офицера он уже встречал когда-то. Но когда? Где? В Крыму? В Константинополе? Он никак не мог вспомнить, и это не давало ему покоя, как застрявшая где-то в зубах незаметная рыбья косточка, которую непременно нужно вынуть.

Прапорщик-извозчик, вкусно подхохатывая, рассказывал что-то про цыганку, про какую-то подвязку, но слова не доходили до полковника: мешала рыбья косточка. А может быть, и не в ней было дело: просто хотелось пить, а кофе еще до сих пор им не принесли. Гарсон опять пролетел в тумане мимо их столика. Полковник обернулся, чтобы поймать его, — и сзади себя, совсем близко, снова увидел Попова: перед самым носом священника он встряхивал на ладони два револьвера. «За каким чертом ты таскаешь с собой настоящий револьвер, раз тебе здесь дают бутафорский?» — спросил священник. «Об-обожаю револьверы... с детских лет...» — сказал Попов, слегка заикаясь.

Как только полковник услышал этот захлебывающийся, заикающийся голос, в голове у него, как в театре, мгновенно раздернулся какой-то занавес — и он все вспомнил, даже увидел с какой-то испугавшей его самой ясностью.

Этот человек, тогда — в студенческой форме, сидел спиной к нему, нагнувшись над железным столиком тюремной камеры. Полковник смотрел на него сквозь стеклянный глазок двери. Студент увлекся и не замечал ничего: перед ним на столике были сделанные из хлеба шахматы, он играл сам с собою. Полковник вошел в камеру, схватил разграфленный листок бумаги вместе с шахматами, скомкал и сунул к себе в карман. Он был сам шахматист и знал, что это будет самым чувствительным наказанием для заключенного, а этот упрямец заслуживает наказания. Студент взглянул на полковника и ничего не сказал, только сделал глотательное движение, на тонкое поднялся вверх и опустил кадык. Полковник, не отрывая глаз от его шеи, сказал очень ласково: «Вы получите

свидание с вашей невестой. Я объяснил ей, что если вы будете молчать, то вам грозит петля, и она обещала убедить вас быть откровенней».

Свиданий с невестой у студента было не одно, а несколько. Это тянулось целый месяц. Полковник слышал, как девушка плакала, умоляла, целовала. В конце концов студент заговорил откровенно. Когда полковник подписал приказ о его освобождении, студент секунду, не мигая, смотрел на него ненавидящими глазами, потом, заикаясь, сказал: «Л-у-л-учше бы вы меня повесили! И з-знаете, если мы к-когда-нибудь встретимся...» Он запнулся и так, не кончив фразы, ушел.

И вот — теперь, здесь — они встретились. Крутом них в бредовом тумане мелькали ненастоящие цыгане, офицеры, мужики, нищие. Прежние свои роли играли только они двое: полковник — себя, Попов — революционера, хотя он и был теперь в офицерской форме. И в буфете уже звенел звонок, призывая их продолжать игру — и, может быть, теперь закончить ее.

Прапорщик-извозчик и превосходительный нищий ушли еще до звонка. Полковник шел в студию один. Из головы у него не выходил этот студент. Полковник вспомнил, что его невесту звали Мусей и что однажды он увидел, как она, покраснев, старалась спрятать палец, высунившийся из прорванной перчатки, но лицо ее он совершенно забыл. «Какая странная вещь — память: забыть человеческое лицо — и запомнить прорванную перчатку...» — подумал полковник.

Он открыл дверь — и увидел себя на полутемном дворе, заваленном какими-то огромными пустыми ящиками. Он понял, что забыл вовремя свернуть направо, и никак не мог сообразить сейчас, куда идти. Ощупью он нашел наконец дверь, через которую попал сюда, дернул ее — остановился: перед ним стоял «Попов». Вытянув длинную шею, усмехаясь, он сказал: «З-за-за-заблудились?» И продолжал стоять, глядя на полковника и держа руки в карманах.

«Сейчас он вынет из кармана револьвер...» — Волосы на голове у полковника стали колючими. Он рассердился на себя и решительно шагнул на Попова: «Позвольте пройти!» Попов, не вынимая рук из кармана, посторонился. Полковник шел и слышал сзади себя шаги, все ближе. Он

изо всех сил старался идти не спеша — и чувствовал, что идет все быстрее.

В студию он вбежал, запыхавшись. Его уже ждали. Режиссер громко, при всех, сделал ему замечание, но полковник подумал только об одном: наверное, он — этот Попов — тоже слышит это...

Полковник оглянулся: Попов сидел направо, немного сзади, так что полковнику нужно было только чуть повернуться, чтобы увидеть эти немигающие, неотступные глаза. Потом, уже не поворачиваясь, он как-то затылком, шеей, правым ухом (оно горело) чувствовал на себе этот взгляд — и это связывало его, опутывало как паутина.

Режиссер крикнул: «Allons!», лампы зашипели. Полковник встал, чтобы снова повторить свои десять убийственных для подсудимого слов. Он хотел, как делал тот, прежний, полковник, вытянуть руку, показывая на подсудимого, но искоса, углом глаза, увидел: держа руки в карманах, Попов тоже встал. Полковник сделал рукой какое-то совершенно нелепое, деревянное движение и замолчал среди фразы: все слова вдруг вылетели из головы: «Да вы что — хватили лишнее или больны? — закричал на него режиссер. — Уходите вон! Проветритесь — тогда придете...»

Кто-то засмеялся. Согнувшись, стараясь быть поменьше, понезаметней — полковник вышел из студии. Впрочем, он уже не был полковником, как все эти дни: он снова стал тем человеком, который недавно мыл окна и получал на чай. Он шел по длинному, белому, пустому коридору и, стиснув кулаки, мысленно говорил режиссеру все то, что он вслух сказал бы, если бы мог.

В буфете было безлюдно, из экономии горела теперь только одна лампа. Полковник сел за столик, заказал кофе, потом остановил буфетчика: «Нет, лучше дайте коньяку!» Буфетчик что-то переспросил. «Ах, да все равно что — только поскорей!» — с досадой махнул полковник рукой: он, кипя, продолжал объясняться с режиссером, а тут этот буфетчик...

И вдруг он забыл сразу и режиссера, и обиду, и буфетчика, и все: к его столику от дверей шел Попов, покачивая головой на тонкой шее. Он остановился перед полковником и, как будто еще не решаясь, нащупывал что-то в кармане рукой. Полковник уже знал, что такое это «что-то».

Сердце у него заколотилось, но его руки и ноги были спутаны какой-то паутиной, он не мог ни встать, ни крикнуть.

Буфетчик принес кофе и коньяк, поставил на столик и ушел в кухню. Бывший полковник и бывший студент остались вдвоем. Полковник слышал, как, жужжа о потолок, шлепалась большая муха.

— А ведь я вас сразу уз-з-узнал... — сказал «Попов», снова пошевелив рукою в кармане.

Полковник хотел сказать: «Что вам от меня нужно?», но понял, что это выйдет нелепо, смешно: он ведь знал, зачем нашел его здесь этот человек. Он ждал, не двигаясь, только сердце у него заколотилось еще сильнее.

— Помните, как вы в к-к-камере взяли у меня шахматы и сказали, что вы т-т-тоже шахматист? Я все п-п-помню! — продолжал «Попов», хитро шурясь и понемногу, медленно вынимая руку из кармана.

Полковник видел теперь только эту руку, она заполняла собою весь мир. Он увидел, как вышла кисть, увидел черные часы на ремешке с наискось треснувшим стеклом. Оставалась еще секунда. Полковник втянул голову в плечи, как черепаха, и закрыл глаза.

Прошла секунда, две — выстрела не было. «Целится...» — мелькнуло в голове, и, не выдержав, полковник открыл глаза.

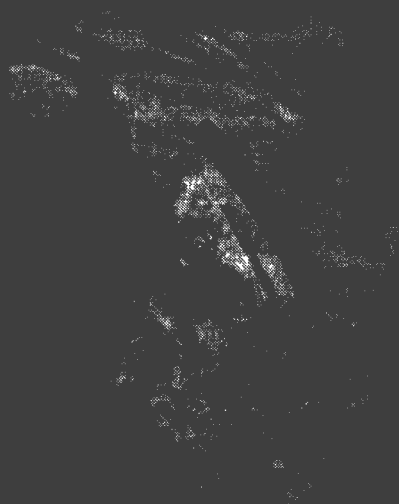
«Попов» стоял перед ним, вытянув руку. В руке у него была карманная шахматная доска.

— Сыграем? — сказал он и, не дожидаясь ответа, сел напротив полковника.



Мы
роман





Запись 1-я.

Конспект:

ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА

Я просто списываю — слово в слово —

то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взойдется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия — мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это — и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной — асимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Госу-

дарства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель И н т е г р а л а, — я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «Мы» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет — верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового — еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно — не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, — или почти каждый из нас. Я готов.

Запись 2-я.

Конспект:

БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно проводишь по ним языком — и, должно быть, сладкие губы у всех встречаемых женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупо толкующиеся кучи пара). Я люблю — уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим — только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни — весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую си-

нюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения — видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится Интеграл, — и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше — сам с собою: почему — красиво? Почему танец — красив? Ответ: потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни — только сознательно...

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О—90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! — мне всегда это казалось — что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое О — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки — такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще вовсе во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

— Чудесно. Не правда ли? — спросил я.

— Да, чудесно. Весна, — розово улыбнулась мне О—90.

Ну вот, не угодно ли: весна... Она — о весне. Женщины... Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час — мы, обычно, тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, музыкальный завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными ря-

дами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли номера — сотни, тысячи номеров, в голубоватых юнифах¹, с золотыми бляхами на груди — государственный номер каждого и каждой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О—90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, — он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа — два каких-то незнакомых номера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица... Лучи — понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени и с каждой ступенью — вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни — увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение — прыжок через века с + на - . Мне вспомнилась (очевидно — ассоциация по контрасту) — мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было — это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо — смех — справа. Обернулся: в глаза мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

— Простите, — сказала она, — но вы так вдохновенно все озирали — как некий мифический бог в седьмой день

¹Вероятно, от древнего «Uniforme».

творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это — без улыбки, я бы даже сказал — с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я — строитель Интеграла). Но не знаю — в глазах или бровях — какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

— Но почему же — непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть — можно перекинуть мостик... Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги — ведь это тоже было — и, следовательно...

— Ну, да: ясно! — крикнул (это было поразительное пересечение мыслей: она — почти моими же словами — то, что я записывал перед прогулкой). — Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

— Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови — как острые рожки икса, опять почему-то сбился, взглянул направо, налево — и...

Направо от меня — она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I—330 (вижу теперь ее номер); налево — О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки — неизвестный мне мужской номер — какой-то дважды изогнутый, вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I—330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд — и со вздохом:

— Да... Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе...

Я — с необычайной для меня резкостью — сказал:

— Ничего не увы. Наука растет, и ясно — если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

— Даже носы у всех...

— Да, носы, — я уже почти кричал. — Раз есть — все

равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пуговицей, а у другого...

— Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и — по возможности посторонним голосом — сказал:

— Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо.

— Да это прелюбопытный аккорд, — она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

— Он записан на меня, — радостно-розово открыла рот О—90.

Уж лучше бы молчала — это было совершенно ни к чему. Вообще, эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I—330 уходила вместе с тем, S-образным мужским номером. У него такое — внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его — сейчас не вспомню.

На прощание I — все так же иксово — усмехнулась мне:

— Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

— Если у меня будет наряд — именно на тот аудиториум, какой вы назвали...

Она с какой-то непонятной уверенностью:

— Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне — налево.

— Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... — робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня





Ленинград, середина 20-х. За рабочим столом.



Корней Чуковский. Рисунок
Н. Андреева, 1923 г.

В начале 20-х
Е. И. Замятин
и К. И. Чуковский вместе
с Н. С. Гумилевым,
А. А. Блоком и другими
знаменитыми писателями
по приглашению
М. Горького работали над
грандиозным изданием
библиотеки «Всемирной
литературы». Естественно,
общение и дружба этих
двух остроумцев —
Замятина
и Чуковского — никак не
могли обойтись без
веселых чудачеств.
Свидетельство тому хотя
бы написанная совместно
«Тетрадь примечаний и
мыслей Онурия Зуева».

О первой же
опубликованной
повести Замятина
«Уездное» М. Горький
написал: «...вещь,
написанная по-русски,
с тоскою, с криком, с
подавляющим
преобладанием
содержания над
формой».



А. М. Ремизов.

А. М. Ремизов, как
и М. Горький, один из
первых обратил
внимание на
необычайно даровитого
молодого человека,
опубликовавшего
первые свои
произведения. Вот одна
из его записей:
«Замятин из Лебедяни,
тамбовский, чего русее,
и стихия его слов
отборно русская.
Прозвище:
«англичанин». Как будто
он и сам поверил, — а
это тоже *очень
русское*».



Члены коллегии «Всемирной литературы» в дни разгрома
издательства.

Ленинград, 15 января 1925 г.

Фотография М. С. Наппельбаума.



Стоят (слева направо): А. А. Смирнов, В. М. Алексеев, Н. О. Лернер, Б. Я. Владимирцов.

Сидят (слева направо): М. Л. Лозинский, А. Н. Тихонов, А. Л. Волынский, И. Ю. Крачковский, С. Ф. Ольденбург, Е. И. Замятин, на переднем плане В. А. Сутугина-Кюннер, К. И. Чуковский.

Группа молодых ленинградских писателей «Серапионовы братья». С начала 20-х годов Е. И. Замятин был признанным вождем этого знаменитого талантливойго собратства.



Евгений Замятин.



Константин Федин.



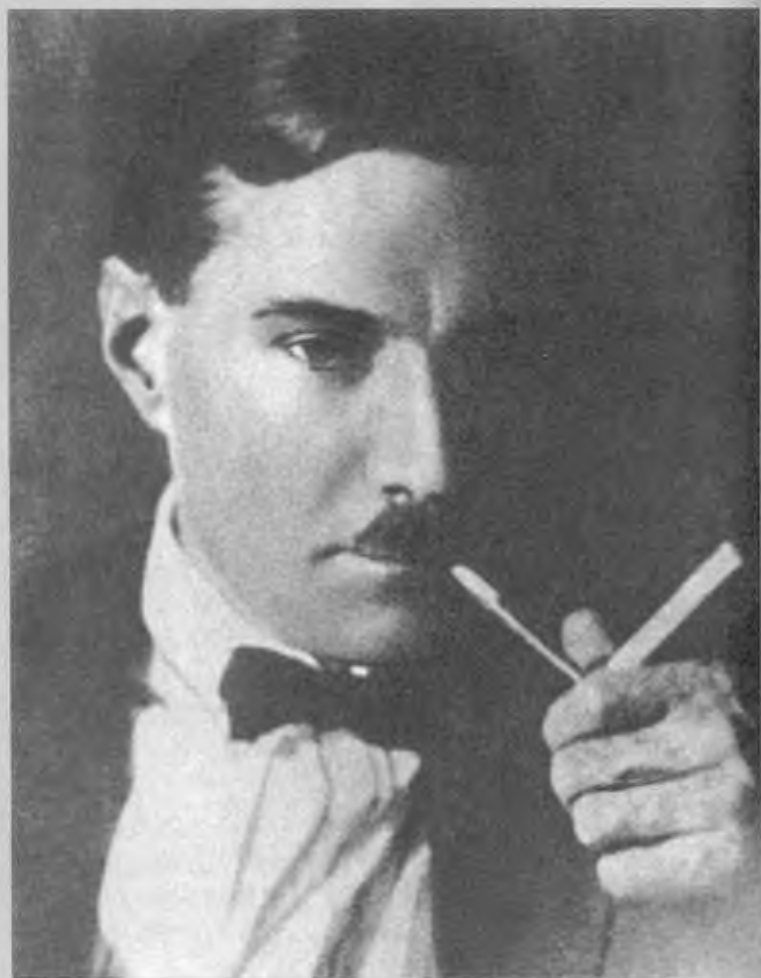
Лев Лунц.



Михаил Зоценко.



Вениамин Каверин.



только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день — послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» — как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен: три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облячком глаза.

Запись 3-я.

Конспект:

ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ

Просмотрел все написанное вчера — и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому *И н т е г р а л* принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодаритель. Мне смешно — и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно, как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». Впрочем, если его роман переведен для дикарей — разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну, к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, — это история перехода от кочевых форм к все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) — есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны

все дороги разрушились и заросли травой — первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того, как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь — можете вы себе вообразить, что у вас — хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице — голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас, со стены у меня в комнате, сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о, Скрижаль, о, сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же — С, углерод, — но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает дух, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль — каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту, — мы, миллионы, встаем, как один. В один и тот же час, единомиллионно, начинаем работу — единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, миллионорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, — мы подносим ложки ко рту, — и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью — Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних — целомудренно спущены шторы, другие мерно, по медным

ступеням Марша — проходят проспектом, третьи — как я сейчас — за письменным столом. Но я твердо верю — пусть назовут меня идеалистом и фантазером — я верю: раньше или позже — но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, т. е. неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя — пусть даже зачаточная, государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством — только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, т. е. уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, — это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет — это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли — все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это — разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за

злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки — во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т. е. зверей, обьязын, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время — откуда-то со дна, из мохнатых глубин — еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью — только изредка. К счастью — это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не оставивая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, — у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: это вчерашний, дважды изогнутый, как S, — кажется, мне случалось видеть его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22 1/2. До завтра.

Запись 4-я.

Конспект:

ДИКАРЬ С БАРОМЕТРОМ. ЭПИЛЕПСИЯ. ЕСЛИ БЫ

До сих пор мне в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня... Не понимаю.

Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудитории 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была — $\frac{1500}{10\,000\,000} = \frac{3}{20\,000} = (1500 — \text{это число ауди-})$

ториумов, 10 000 000 — нумеров). А второе... Впрочем, лучше по порядку.

Аудиториум. Огромный, насквозь просолнеченный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп — милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похожие... нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне — желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот — звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства — и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолитор.

— «Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу 20-го века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на «дожде», — действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на «дождь» (на экране — дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как и дикарь, европеец хотел «дождя», — дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря, по крайней мере, было больше смелости и энергии и — пусть дикой — логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому...»

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) — тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось — все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолитор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик — причина, музыка — следствие), к описанию недавно изобретенного музыкометра.

— «...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это

вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков «вдохновения» — неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, — музыка Скрябина — 20-й век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там их древнейший инструмент) — этот ящик они называли «рояльным» или «королевским», что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка...

И дальше — я опять не помню, очень возможно, потому что... Ну, да, скажу прямо: потому что к «рояльному» ящичку подошла она — I—330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые зубы...

Улыбка — укус, сюда — вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, — ни тени разумной механичности. И, конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я — я?

Да, эпилепсия — душевная болезнь — боль... Медленная, сладкая боль — укус — и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно — солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи — нет: дикое, несущееся, опаляющее солнце — долой все с себя — все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево — на меня — и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел — на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я — снова я.

Как и все — я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикуую эпоху — вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце — для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов — и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотон-

ные, квадратно-грузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты — спектральный анализ планет... Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем — кроме диких фантазий — не ограниченная музыка древних.

Как обычно, стройными рядами, по четыре через широкие двери все выходили из аудитории. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно поклонился.

Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома — скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас — только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен — мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли бы что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой (sic) дом — моя крепость» — ведь нужно же было додуматься!

В 21 я опустил шторы — и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый рог — и розовый билетик. Я оторвал талон — и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента — 22.15.

Потом показал ей свои «записи» и говорил — кажется, очень хорошо — о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала — и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья, — прямо на раскрытую страницу (стр. 7-я). Чернила расплылись. Ну вот, придется переписывать.

— Милый Дэ, если бы только вы — если бы...

Ну что «если бы»? Что «если бы»? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое — относительно... относительно той? Хотя уж тут как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.

Запись 5-я.

Конспект:

КВАДРАТ. ВЛАДЫКИ МИРА. ПРИЯТНО-ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негрогубый, — ну да все его знают. А между тем вы — на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии — кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе — квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете — квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит — настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня это — равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром». Ergo: чтобы овладеть миром — человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили наконец Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне — о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков, дикие христиане упрямо держались за свой «хлеб»¹. Но в 35-м году до основания Единого Государства — была изобретена наша теперешняя нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато — очищенное от тысячелетней грязи — каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых — вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть — это числитель и знаменатель дробы, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод

¹ Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества — нам неизвестен.

для зависти. А он оставался потому, что оставались носы «пуговицей» и носы «классические» (наш тогдашний разговор на прогулке) — потому что любви одних добивались многие, других — никто.

Естественно, что, подчинив себе Голод (алгебраически = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира — против Любви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, т. е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический «Lex sexualis»: «всякий из номеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой номер».

Ну, дальше — там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови — и вырабатывают для вас соответствующий Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться номером таким-то (или таким-то) и получаете надлежащую талонную книжку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти — нет уже никаких, знаменатель дробы счастья приведен к нулю — дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий — у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма, так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

...Странно: я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, — а внутри как-то облачно, паутинно, и крестом какой-то четырехлапый икс. Или это — мои лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед глазами — мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них — и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно — ????

Хотел зачеркнуть все это — потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи — как тончайший сейсмограф — дадут кривую

даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда именно такие колебания служат предвестником — —

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии — никаких катастроф не может быть.

И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри — все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) — просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю — вы не будете слишком строго судить меня. Я верю — вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современников, другие — для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам...

Запись 6-я.

Конспект:

СЛУЧАЙ. ПРОКЛЯТОЕ «ЯСНО», 24 ЧАСА

Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала — еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) — там, где уже ничего не случается, а у нас... Вот, не угодно ли: в Государственной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять какой-то из нумеров нарушил ход великой Государственной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое.

И кроме того — нечто случилось со мной. Правда, это было в течение Личного Часа, т. е. в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же...

Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг — телефон.

— Д-503? — женский голос.

— Да.

— Свободны?

— Да.

— Это я, I—330. Я сейчас залечу за вами, и мы отправимся в Древний Дом. Согласны?

I—330... Эта I меня раздражает, отталкивает — почти пугает. Но именно потому-то я и сказал: да.

Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская майолика неба — и легкое солнце — на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое — как щеки старинного «купидона»? — и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы — поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах.

Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна — там, за Стеною. Затем легкое, невольное замирание сердца — вниз, вниз — как с крутой горы? — и мы у Древнего Дома.

Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери — старуха, вся сморщенная — и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос — и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все же — заговорила.

— Ну, что, милые, домик мой пришли поглядеть? — И морщины засияли (т. е., вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление «засияли»).

— Да, бабушка, опять захотелось, — сказала ей I.

Морщинки сияли:

— Солнце-то, а? Ну, что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Знаю, знаю! Ну ладно: одни идите, я уж лучше тут, на солнце...

Гм... Вероятно, моя спутница — тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть — мешает: вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ: облако на гладкой синей майолике.

Когда поднимались по широкой, темной лестнице, I сказала:

— Люблю я ее — старуху эту.

— За что?

— А не знаю. Может быть — за ее рот. А может быть — ни за что. Просто так.

Я пожал плечами. Она продолжала — улыбаясь чуть-чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь:

— Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не «просто-так-любовь», а «потому-что-любовь». Все стихи должны быть...

— Ясно... — начал я — тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой заглянул на I: заметила или нет?

Она смотрела куда-то вниз; глаза были опущены — как шторы.

Вспомнилось: вечером, около 22-х, проходишь по проспекту, и среди ярко освещенных прозрачных клеток — темные с опущенными шторами и там, за шторами — — Что у ней там, за шторами? Зачем она сегодня позвонила, и зачем все это?

Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь — и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них «квартира»). Тот самый странный, «королевский» музыкальный инструмент — и дикая, неорганизованная, сумасшедшая — как тогдашняя музыка — пестрота красок и форм. Белая плоскость — вверху; темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза — канделябры, статуя Будды; искорверканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения — линии мебели.

Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм.

— Это — самая моя любимая... — И вдруг будто спохватилась — укус-улыбка, белые острые зубы. — Точнее: самая нелепая из всех их «квартир».

— Или, еще точнее: государств, — поправил я. — Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как...

— Ну да, ясно... — по-видимому, очень серьезно сказала I.

Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, детские кровати (дети в ту эпоху были тоже частной собственностью). И снова — комнаты, мерцание зеркал, урюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный «камин», большая, красного дерева кровать. Наше тепе-

решнее — прекрасное, прозрачное, вечное — стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков-окон.

— И подумать: здесь «просто-так-любили», горели, мучились... (Опять опущенная штора глаз.) — Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии, — не правда ли?

Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но и улыбке у ней был все время этот раздражающий иск. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое — не знаю что, — что выводило меня из терпения; мне хотелось спорить с ней, кричать на нее (именно так), но приходилось соглашаться — не согласиться было нельзя.

Вот — остановились перед зеркалом. В этот момент — и видел только ее глаза. Мне пришла идея: ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые «квартиры» — человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри: глаза. Она как будто угадала — обернулась. «Ну — вот мои глаза. Ну?» (Это, конечно, молча.)

Передо мною — два жутко-темные окна, и внутри такая неведомая, чужая жизнь. Я видел только огонь — пылает там какой-то свой «камин» — и какие-то фигуры, похжие...

Это, конечно, было естественно: я увидел там отраженным себя. Но было неестественно и непохоже на меня (очевидно, это было удручающее действие обстановки) — и определенно почувствовал страх, почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни.

— Знаете что, — сказала I, — выйдите на минуту в соседнюю комнату. — Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон глаз, где пылал камин.

Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкин). Отчего я сижу вот — и покорно выношу эту улыбку, и ничем все это: зачем я здесь — отчего это нелепое состояние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, странная игра...

Там — стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда, и — — точно не

помню: вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей.

Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка — мне было ясно видно: чулки очень длинные, гораздо выше колен, — и открытая шея, тень между...

— Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но неужели вы...

— Ясно, — перебила I, — быть оригинальным — это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным — это нарушить равенство... И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным» — у нас значит: только исполнять свой долг. Поэтому что...

— Да, да, да! Именно, — я не выдержал. — И вам нечего, нечего...

Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив шторой дикий огонь глаз — там, внутри, за своими окнами, — сказала, на этот раз, кажется, совершенно серьезно (может быть, чтобы смягчить меня), — сказала очень разумную вещь:

— Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели — поклонялись им. Какой рабский дух! Не правда ли?

— Ясно... То есть я хотел... (это проклятое «ясно»!).

— Ну да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были владыки посильнее их коронованных. Отчего они не изолировали, не истребили их? У нас...

— Да, у нас... — начал я.

И вдруг она — рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую, гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха.

Помню — я весь дрожал. Вот — ее схватить — и уж не помню что... Надо было что-нибудь — все равно что — сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы. Без десяти 17.

— Вы не находите, что уже пора? — сколько мог вежливо сказал я.

— А если бы я вас попросила — остаться здесь со мной?

— Послушайте: вы... вы сознаете, что говорите? Через десять минут я обязан быть в аудитории...

— ...И все нумера обязаны пройти установленный курс

искусства и наук... — моим голосом сказала I. Потом отдернула штору — подняла глаза: сквозь темные окна — пылал камин. — В Медицинском Бюро у меня есть один прич — он записан на меня. И если я попрошу — он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Ну?

Я понял. Я наконец понял, куда вела вся эта игра.

— Вот даже как! А вы знаете, что, как всякий честный номер, я, в сущности, должен немедленно отправиться в Бюро Хранителей и...

— А не в сущности, — (острая улыбка-укус). — Мне страшно любопытно: пойдете вы в Бюро или нет?

— Вы остаетесь? — Я взялся за ручку двери. Ручка была медная — и я слышал: такой же медный у меня голос.

— Одну минутку... Можно?

Она подошла к телефону. Назвала какой-то номер — и был настолько взволнован, что не запомнил его, — и крикнула:

— Я буду вас ждать в Древнем Доме. Да, да, одна...

Я повернул медную холодную ручку.

— Вы позволите мне взять аэро?

— О, да, конечно! Пожалуйста...

Там, на солнце, у выхода — как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший наглухо рот и что она заговорила.

— А эта ваша — что же, там одна осталась?

— Одна.

Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю неспешность и рискованность поведения этой женщины.

Ровно в 17 я был на лекции. И тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду: I была там теперь не одна. Может быть, именно это — что я невольно обманул старуху — так мучило меня и мешало слушать. Да, не одна: вот в чем дело.

После 21.30 — у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в Бюро Хранителей и сделать заявление. Но я после этой глупой истории так устал. И потом — законный срок для заявления двое суток. Успею завтра: еще целых 24 часа.

Запись 7-я.

Конспект:

РЕСНИЧНЫЙ ВОЛОСОК. ТЭЙЛОР. БЕЛЕНА И ЛАНДЫШ

Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом — медный Будда; вдруг поднял медные веки — и полился сок: из Будды. И из желтого платья — сок, и по зеркалу капли сока, и сочится большая кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам — и какой-то смертельно сладостный ужас...

Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда... что за абсурд? Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних — это было самое обыкновенное и нормальное — видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них была — вот такая ужасная карусель: зеленое — оранжевое — Будда — сок. Но мы-то знаем, что сны — это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь... Да, теперь именно так: я чувствую там, в мозгу, — какое-то инородное тело — как тончайший ресничный волосок в глазу: всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском — нельзя о нем забыть ни на секунду...

Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовье: 7, вставать. Справа и слева, сквозь стеклянные стены — я вижу как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого. И такая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота.

Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки — он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24-х. Но все же: как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте — и едва заме-

чать Тэйлора — этого пророка, сумевшего заглянуть на десятилетия вперед.

Кончен завтрак. Стройно пропет Гимн Единого Государства. Стройно, по четыре — к лифтам. Чуть слышное жужжание моторов — и быстро вниз, вниз, вниз — легкое замирание сердца...

И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон — или какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера также на аэро — спуск вниз. Впрочем, все это кончено: точка. И очень хорошо, что я был с нею так решителен и резок.

В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижимое, еще не одухотворенное огнем, изящное тело «Интеграла». Закрывши глаза, я мечтал формулами: я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать «Интеграл» от земли. Каждый атом секунды — масса «Интеграла» меняется (расходуется взрывное топливо). Уравнение получалось очень сложное, с трансцендентными величинами.

Как сквозь сон: здесь, в твердом числовом мире, — кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал — «простите».

Я приоткрыл глаза — и сперва (ассоциация от «Интеграла») что-то стремительно несущееся в пространство: голова — и она несется, потому что по бокам — оттопыренные розовые крылья-уши. И затем кривая нависшего лопатка — сутулая спина — двоякоизогнутое — буква S...

И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира — снова ресничный волосок — что-то неприятное, что и должен сегодня — —

— Ничего, ничего, пожалуйста, — я улыбнулся соседу, раскланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло: S-4711 (понятно, почему он с самого первого момента был связан для меня с буквой S: это было не зарегистрированное сознанием зрительное впечатление). И сверкнули глаза — два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому...

Вдруг ресничный волосок стал мне совершенно ясен: один из них, из Хранителей, и проще всего, не откладывая, сейчас же сказать ему все.

— Я, видите ли, вчера был в Древнем Доме... — голос у

меня — странный, приплюснутый, плоский — я пробовал откашляться.

— Что же, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов.

— Но, понимаете — был не один, я сопровождал номер I—330, и вот...

— I—330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей.

...Но ведь и он, — тогда на прогулке, — и может быть, он даже записан на нее? Нет, ему об этом — нельзя, немыслимо: это ясно.

— Да, да! Как же, как же! Очень, — я улыбался — все шире, нелепей — и чувствовал: от этой улыбки — я голый, глупый...

Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, — взвинтились обратно в глаза; S — двойко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу.

Я закрылся газетой (мне казалось — все на меня смотрят) — и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем: так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка: «По достоверным сведениям — вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига Государства».

«Освобождение»? Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно говорю: «преступные». Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как... ну как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений — это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились (в космическом масштабе века — это, конечно, «едва»), как вдруг какие-то жалкие недоумки...

Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 — иду туда непременно...

В 16.10 вышел — и тотчас же на углу увидел О — всю в розовом восторге от этой встречи. «Вот у нее простой круглый ум. Это кстати: она поймет и поддержит меня...» Впрочем, нет: в поддержке я не нуждался: я решил твердо.

Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода —

не тот же ежедневный марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности!

О схватила меня за руку.

— Гулять, — круглые синие глаза мне широко раскрыты — синие окна внутрь, — и я проникаю внутрь, ни за что не зацепляясь: ничего — внутри, т. е. ничего постороннего, ненужного.

— Нет, не гулять. Мне надо... — я сказал ей, куда.

И, к изумлению своему, увидел: розовый круг рта — сложился в розовый полумесяц, рожками книзу — как от кислого. Меня взорвало.

— Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно неспособны мыслить абстрактно. Извините меня — но это просто тупость.

— Вы — идете к шпионам... Фу! А я было достала для нас в Ботаническом Музее веточку ландышей...

— Почему «А я» — почему это «А»? Совершенно по-женски. — Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши. — Ну, вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да? Так имейте же логики хоть на столько вот. Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии «запах», что это хорошо или плохо? Не можете, ну? Есть запах ландыша — и есть мерзкий запах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве — и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион — это белена, тут шпион — ландыш. Да, ландыш, да!

Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю: это мне только показалось — но тогда я был уверен, что она засмеется. И я закричал еще громче:

— Да, ландыш. И ничего смешного, ничего смешного.

Круглые, гладкие шары голов плыли мимо — и оборачивались. О ласково взяла меня за руку:

— Вы какой-то сегодня... Вы не больны?

Сон — желтое — Будда... Мне тотчас стало ясно: я должен пойти в Медицинское Бюро.

— Да ведь и правда: я болен, — сказал я очень радостно (тут совершенно необъяснимое противоречие: радоваться было нечему).

— Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы же по-

нимаете: вы обязаны быть здоровым — смешно доказывать вам это.

— Ну, О, милая, — ну, конечно же, вы правы. Абсолютно правы!

Я не пошел в Бюро Хранителей: делать нечего, пришлось идти в Медицинское Бюро; там меня задержали до 17.

А вечером (впрочем, все равно — вечером там уже было закрыто) — вечером пришла ко мне О. Шторы не были спущены. Мы решали задачи из старинного задачника: это очень успокаивает и очищает мысли. О—90 сидела над тетрадкой, нагнув голову к левому плечу и от старания подпирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-детски, так очаровательно. И так во мне все хорошо, точно, просто...

Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул (это очень полезно перед сном). И вдруг какой-то непредусмотренный запах — и о чем-то таком очень неприятном... Скоро я нашел: у меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу же все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было просто бестактно с ее стороны — подкинуть мне эти ландыши. Ну да: я не пошел, да. Но ведь не виноват же я, что болен.

Запись 8-я.

Конспект:

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ. R 13. ТРЕУГОЛЬНИК

Это — как давно, в школьные годы, когда со мной случился $\sqrt{-1}$. Так ясно, вырезанно, помню: светлый шаро-зал, сотни мальчишеских круглых голов — и Пляпа, наш математик. Мы прозвали его Пляпой: он был уже изрядно подержанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала: «Пля-пля-пля-тишиш», а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах — и, помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: «Не хочу $\sqrt{-1}$! Выньте из меня $\sqrt{-1}$!» Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он

пожирал меня — его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне *ratio*.

И вот теперь снова $\sqrt{-1}$. Я пересмотрел свои записи — и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе — только чтобы не увидеть $\sqrt{-1}$. Это все пустяки — что болен и прочее: я мог пойти туда; неделю назад — я знаю, пошел бы, не задумываясь. Почему же теперь... Почему?

Вот и сегодня. Ровно в 16.10 — я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной — золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске Бюро. В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампы древней церкви — теплятся лица: они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, чтобы предать на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей — себя. А я — я рвался к ним, с ними. И не могу: ноги глубоко впаяны в стеклянные плиты — я стоял, смотрел тупо, не в силах двинуться с места...

— Эй, математик, замечтался!

Я вздрогнул. На меня — черные, лакированные смехом глаза, толстые, негрские губы. Поэт R-13, старый приятель — и с ним розовая О.

Я обернулся сердито (думаю, если бы они не помешали, я бы в конце концов с мясом вырвал из себя $\sqrt{-1}$, я бы пошел в Бюро).

— Не замечтался, а уж если угодно — залюбовался, — довольно резко сказал я.

— Ну да, ну да! Вам бы, милейший, не математиком быть, а поэтом, поэтом, да! Ей-ей, переходите к нам — в Поэты, а? Ну, хотите — мигом устрою, а?

R-13 говорит захлебываясь, слова из него так и хлещут, из толстых губ — брызги; каждое «п» — фонтан, «поэты» — фонтан.

— Я служу и буду служить знанию, — нахмурился я: шуток я не люблю и не понимаю, а у R-13 есть дурная привычка шутить.

— Ну что там: знание! Знание ваше это самое — трусость. Да уж чего там: верно. Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечное, а за стенку-то и боитесь заглянуть. Да! Выгляните — и глаза зажмурите. Да!

— Стены — это основа всякого человеческого... — начал я.

Р — брызнул фонтаном, О — розово, кругло смеялась. Я махнул рукой: смейтесь, все равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-нибудь заесть, заглушить этот проклятый $\sqrt{-1}$.

— Знаете что, — предложил я, — пойдемте, посидим у меня, порешаем задачки (вспомнился вчерашний тихий час — может быть, такой будет и сегодня).

О взглянула на Р; ясно, кругло взглянула на меня, щеки чуть-чуть окрасились нежным, волнующим цветом наших талонов.

— Но сегодня я... У меня сегодня — талон к нему, — кивнула на Р, — а вечером он занят... Так что...

Мокрые, лакированные губы добродушно шлепнули:

— Ну чего там: нам с нею и полчаса хватит. Так ведь, О? До задачек ваших — я не охотник, а просто — пойдем ко мне, посидим.

Мне было жутко остаться с самим собой — или, вернее, с этим новым, чужим мне, у кого только будто по странной случайности был мой номер — Д-503. И я пошел к нему, к Р. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика, но все же мы — приятели. Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую, розовую О. Это связало нас как-то еще крепче, чем школьные годы.

Дальше — в комнате Р. Как будто — все точно такое, что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел Р — двинул одно кресло, другое, — плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неэвклидным. Р — все тот же, все тот же. По Тэйлору и математике — он всегда шел в хвосте.

Вспомнили старого Пляпу: как мы, мальчишки, бывало, все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками (мы очень любили Пляпу). Вспомнили Законоучителя¹. Законоучитель у нас был громогласен необычайно — так и дуло ветром из громкоговорителя, — а мы, дети, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный Р-13 напихал ему однажды в рупор жеваной бумаги: что

¹Разумеется, речь идет не о «Законе Божьем» древних, а о законе Единого Государства.

ни текст — то выстрел жеваной бумагой. R, конечно, был наказан, то, что он сделал, — было, конечно, скверно, но сейчас мы хохотали — весь наш треугольник — и, сознаюсь, я тоже.

— А что, если бы он был живой — как у древних, а? Вот бы — «Б» — фонтан из толстых, шлепающих губ...

Солнце — сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное — снизу. О — на коленях у R-13, и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угорелся, отошел; $\sqrt{-1}$ заглох, не шевелился...

— Ну, а как же ваш «И н т е г р а л»? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните! А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему «Интегралу» не поднять. Каждый день от 8 до 11... — R мотнул головой, почесал в затылке: затылок у него — это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик (вспомнилась старинная картина — «В карете»).

Я оживился:

— А, вы тоже пишете для «И н т е г р а л а»? Ну, а скажите, о чем? Ну, вот хоть, например, сегодня.

— Сегодня — ни о чем. Другим занят был... — «б» брызнуло прямо в меня.

— Чем другим?

R сморщился:

— Чем-чем! Ну, если угодно — приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов... Два года сидел рядом, как будто ничего. И вдруг — на тебе: «Я, — говорит, — гений, гений — выше закона». И такое наляпал... Ну, да что... Эх!

Толстые губы висели, лак в глазах съело. R-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смотрел на его крепко запертый чемоданчик и думал: что он сейчас там перебирает — у себя в чемоданчике?

Минута неловкого, асимметричного молчания. Мне было неясно, в чем дело, но тут было что-то.

— К счастью, допотопные времена всевозможных Шекспиров и Достоевских — или как их там — прошли, — нарочно громко сказал я.

R повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали, хлестали из него, но мне показалось — веселого лака в глазах уже не было.

— Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью! Мы — счастливейшее среднее арифметическое... Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бесконечности — от кретина до Шекспира... Так!

Не знаю, почему — как будто это было совершенно нестати, — мне вспомнилась та, ее тон, протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и R. (Какая?) Опять заворочался $\sqrt{-1}$. Я раскрыл бляху: 25 минут 17-го. У них на розовый талон оставалось 45 минут.

— Ну, мне пора... — И я поцеловал О, пожал руку R, пошел к лифту.

На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся: в светлой, насквозь просолненной стеклянной глыбе дома — тут, там были серо-голубые, непрозрачные клетки спущенных штор — клетки ритмичного тэйлоризованного счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку R-13: он уже опустил шторы.

Милая О... Милый R... В нем есть тоже (не знаю, почему «тоже» — но пусть пишется, как пишется) — в нем есть тоже что-то, не совсем мне ясное. И все-таки я, он и О — мы треугольник, пусть даже и неравновобедренный, а все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков (быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык — понятней), мы — семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть, в простой, крепкий треугольник замкнуть себя от всего, что...

Запись 9-я.

Конспект:

ЛИТУРГИЯ. ЯМБЫ И ХОРЕЙ.

ЧУГУННАЯ РУКА

Торжественный, светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях — и все хрустально-неколебимое, вечное — как наше, новое стекло...

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес — или, может быть, сияние Единого Государства. Алые, как

кровь, цветы — губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц — в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина.

Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих «богослужений». Но они служили своему нелепому, неведомому Богу — мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву, — мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству — спокойную, обдуманную разумную жертву. Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях — годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...

Вот один — стоял на ступенях налитого солнцем Куба. Белое... и даже нет — не белое, а уж без цвета — стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с номером — уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обычай: объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).

А наверху, на Кубе, возле Машины — неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными, квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане, поставленные руки — выходят огромными, приковывают взор — заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки — ясно: они — каменные, и колени — еле выдерживают их вес...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась — медленный, чугунный жест — и с трибун, повинувшись поднятой руке, подошел к Кубу номер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий — увенчать праздник своими стихами.

И загремели над трибунами божественные медные ямбы — о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.

... Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок — уж одни черные кресты скелетов. Но явился Прометей (это, конечно, мы) —

И впряг огонь в машину, сталь,
И хаос заковал законом.

Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец — «огонь с цепи спустил на волю» — и опять все гибнет...

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжкий жест — и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может? Нет: его толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей — но все же: так волноваться...

Резкие, быстрые — острым топором — хорей. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить.

R-13 бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости) — спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо — острый, черный треугольник — и тотчас же стерлось: мои глаза — тысячи глаз — туда, наверх, к Машине. Там — третий чугунный жест нечеловеческой руки. И, колеблемый невидимым ветром, — преступник идет, медленно, ступень — еще — и вот шаг, последний в его жизни — и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой — на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни шороха, ни дыхания: все глаза — на этой руке. Какой это,

должно быть, огненный, захватывающий вихрь — быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча — как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело — все в легкой, светящейся дымке — и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И — ничего: только лужа химически-чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце...

Все это было просто, все это знал каждый из нас: да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела. И тем не менее это всякий раз было — как чудо, что было — как знамение нечеловеческой мощи Благодетеля.

Наверху, перед Ним — разгоревшиеся лица десяти женских нумеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы¹.

По старому обычаю — десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун — и вслед Ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма Хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных «архангелов», приставленных от рождения к каждому человеку.

Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря, — было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, — знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете...

¹ Конечно, из Ботанического Музея. Я лично не вижу в цветах ничего красивого — как и во всем, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за Зеленую Стену. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.

Запись 10-я.

Конспект:

ПИСЬМО. МЕМБРАНА. ЛОХМАТЫЙ Я

Вчерашний день был для меня той самой бумагой, через которую химики фильтруют свои растворы: все взвешенные частицы, все лишнее остается на этой бумаге. И утром я спустился вниз начисто отдистиллированный, прозрачный.

Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, поглядывая на часы, записывала номера входящих. Ее имя — Ю... Впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь, как бы не написать о ней чего-нибудь плохого. Хотя в сущности это — очень почтенная пожилая женщина. Единственное, что мне в ней не нравится, — это то, что щеки у ней несколько обвисли, как рыбы жабры (казалось бы: что тут такого?).

Она скрипнула пером, я увидел себя на странице: «Д-503» — и — рядом клякса.

Только что я хотел обратить на это ее внимание, как вдруг она подняла голову — и капнула в меня чернильной такой улыбочкой:

— А вот письмо. Да. Получите, дорогой, — да, да, получите.

Я знал: прочтенное ею письмо — должно еще пройти через Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот естественный порядок), и не позже 12 будет у меня. Но я был смущен этой самой улыбочкой, чернильная капля замутила мой прозрачный раствор. Настолько, что позже на постройке «Интеграла» я никак не мог сосредоточиться — и даже однажды ошибся в вычислениях, чего со мной никогда не бывало.

В 12 часов — опять розовато-коричневые рыбы жабры, улыбочка — и наконец письмо у меня в руках. Не зная почему, я не прочел его здесь же, а сунул в карман — и скорее к себе в комнату. Развернул, пробежал глазами и — сел... Это было официальное извещение, что на меня записался номер I—330 и что сегодня в 21 я должен явиться к ней — внизу адрес...

Нет: после всего, что было, после того как я настолько

недвусмысленно показал свое отношение к ней. Вдобавок ведь она даже не знала: был ли я в Бюро Хранителей, — ведь ей неоткуда было узнать, что я был болен, — ну, вообще не мог... И несмотря на все — —

В голове у меня крутилась, гудела динамо. Будда — желтое — ландыши — розовый полумесяц... Да, и вот это — и вот это еще: сегодня хотела ко мне зайти О. Показать ей это извещение — относительно I—330? Я не знаю: она не поверит (да и как, в самом деле, поверить?), что я здесь ни при чем, что я совершенно... И знаю: будет трудный, нелепый, абсолютно нелогичный разговор... Нет, только не это. Пусть все решится механически: просто pošлю ей копию с извещения.

Я торопливо засовывал извещение в карман — и увидел эту свою ужасную, обезьянью руку. Вспомнилось, как она, I, тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на нее. Исужели она действительно...

И вот без четверти 21. Белая ночь. Все зеленоватого-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло — не наше, не настоящее, это — тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит... И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно — как та, за столиком нынче утром, и во всех домах сразу опустятся все шторы, и за шторами — —

Странное ощущение: я чувствовал ребра — это какие-то железные прутья и мешают — положительно мешают сердцу, тесно, не хватает места. Я стоял у стеклянной двери с золотыми цифрами: I—330. I, спиной ко мне, над столом, что-то писала. Я вошел...

— Вот... — протянул я ей розовый билет. — Я получил сегодня извещение и явился.

— Как вы аккуратны! Минутку — можно? Присядьте, и только кончу.

Опять опустила глаза в письмо — и что там у ней внутри за опущенными шторами? Что она скажет — что сделать через секунду? Как это узнать, вычислить, когда вся она — оттуда, из дикой, древней страны снов.

Я молча смотрел на нее. Ребра — железные прутья, тесно... Когда она говорит — лицо у ней как быстрое, сверлящее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас

колесо — неподвижно. И я увидел странное сочетание: высоко вздернутые у висков темные брови — насмешливый острый треугольник, обращенный вершиною вверх, — две глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо этот неприятный, раздражающий X — как крест: перечеркнутое крестом лицо.

Колесо завертелось, спицы слились...

— А ведь вы не были в Бюро Хранителей?

— Я был... Я не мог: я был болен.

— Да. Ну я так и думала: что-нибудь вам должно было помешать — все равно что (острые зубы, улыбка). Но зато теперь вы — в моих руках. Вы помните: «Всякий номер, в течение 48 часов не заявивший в Бюро, считается...»

Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как мальчишка — глупо, как мальчишка, попался, глупо молчал. И чувствовал: запутался, — ни рукой, ни ногой...

Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку, с легким треском упали со всех сторон шторы. Я был отрезан от мира — вдвоем с ней.

И была где-то там у меня за спиной, возле шкафа. Юнифь шуршала, падала — я слушал — весь слушал. И вспомнилось... нет: сверкнуло в одну сотую секунды...

Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка — странное существо, состоящее только из одного органа — уха. Я был сейчас такой мембраной.

Вот теперь щелкнула кнопка у ворота — на груди — еще ниже. Стекланный шелк шуршит по плечам, коленам — по полу. Я слышу — и это еще яснее, чем видеть, — из голубовато-серой шелковой груди вышагнула одна нога и другая...

Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тишину. Нет: резкие, с бесконечными паузами — удары молота о прутья. И я слышу — я вижу: она, сзади, думает секунду.

Вот — двери шкафа, вот — стукнула какая-то крышка — и снова шелк, шелк...

— Ну, пожалуйста.

Я обернулся. Она была в легком, шафранно-желтом,

древнего образца платье. Это было в тысячу раз злее, чем если бы она была без всего. Две острые точки — сквозь тонкую ткань, тлеющие розовым — два угля сквозь пепел. Два нежно-круглых колена...

Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном столике перед ней — флакон с чем-то ядовито-зеленым, два крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее дымилось — в тончайшей бумажной трубочке это древнее курение (как называется — сейчас забыл).

Мембрана все еще дрожала. Молот бил там — внутри у меня — в накаленные докрасна прутья. Я отчетливо слышал каждый удар и... и вдруг она это тоже слышит?

Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел — на мой розовый билетик.

Как можно хладнокровнее — я спросил:

— Послушайте, в таком случае — зачем же вы записались на меня? И зачем заставили меня прийти сюда?

Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула.

— Прелестный ликер. Хотите?

Тут только я понял: алкоголь. Молнией мелькнуло вчерашнее: каменная рука Благотетеля, нестерпимое лезвие луча, но там: на Кубе — это вот, с закинутой головой, распростертое тело. Я вздрогнул.

— Слушайте, — сказал я, — ведь вы же знаете: всех отравляющих себя никотином и особенно алкоголем — Единое Государство беспощадно...

Темные брови — высоко к вискам, острый насмешливый треугольник:

— Быстро уничтожить немногих — разумней, чем дать возможность многим губить себя — и вырождение — и так далее. Это — до непристойности верно.

— Да... до непристойности.

— Да компанийку вот этих вот лысых, голых истин — выпустить на улицу... Нет, вы представьте себе... ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя — ну, да вы его знаете, — представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд — и в истинном виде среди публики... Ох!

Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник: две глубоких складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот,

двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий — обнимал ее — такую... Он...

Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои — ненормальные — ощущения. Теперь, когда я это пишу, я осознаю прекрасно: все это так и должно быть, и он, как всякий честный нумер, имеет равное право на радости — и было бы несправедливо... Ну, да это ясно.

И смеялась очень странно и долго. Потом пристально посмотрела на меня — внутрь:

— А главное — я с вами совершенно спокойна. Вы такой милый — о, я уверена в этом, — вы и не подумаете пойти в Бюро и сообщить, что вот я — пью ликер, я — курю. Вы будете больны — или вы будете заняты — или уж не знаю что. Больше: я уверена — вы сейчас будете пить со мной этот очаровательный яд...

Какой наглый, издевающийся тон. Я определенно чувствовал: сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему «сейчас»? Я ненавидел ее все время.

Опрокинула в рот весь стаканчик зеленого яду, встала и, просвечивая сквозь шафрановое розовым, — сделала несколько шагов — остановилась сзади моего кресла...

Вдруг — рука вокруг моей шеи — губами в губы... нет, куда-то еще глубже, еще страшнее... Клянусь, это было совершенно неожиданно для меня, и, может быть, только потому... Ведь не мог же я — сейчас я это понимаю совершенно отчетливо, — не мог же я сам хотеть того, что потом случилось.

Нестерпимо-сладкие губы (я полагаю — это был вкус «ликера») — и в меня влит глоток жгучего яда — и еще — и еще... Я отстегнулся от земли и самостоятельной планеты, неистово вращаясь, понесся вниз, вниз — по какой-то невычисленной орбите...

Дальнейшее я могу описать только приблизительно, только путем более или менее близких аналогий.

Раньше мне это как-то никогда не приходило в голову — но ведь это именно так: мы, на земле, все время ходим над kloкочущим, багровым морем огня, скрытого там — в чреве земли. Но никогда не думаем об этом. И вот вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклянной, вдруг бы мы увидели...

Я стал стеклянным. Я увидел — в себе, внутри.

Было два меня. Один я — прежний, Д-503, нумер

Д-503, а другой... Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и... и что тогда?

Из всех сил ухватившись за соломинку — за ручки кресла, — я спросил, чтобы услышать себя — того, прежнего:

— Где... где вы достали этот... этот яд?

— О, это! Просто один медик, один из моих...

— «Из моих»? «Из моих» — кого?

И этот другой — вдруг выпрыгнул и заорал:

— Я не позволю! Я хочу, чтоб никто, кроме меня.

И убью всякого, кто... Потому что я вас — я вас — —

Я увидел: лохматыми лапами он грубо схватил ее, растрепал у ней тонкий шелк, впился зубами — я точно помню: именно зубами.

Уже не знаю как — I выскользнула. И вот — глаза задернуты этой проклятой непроницаемой шторой — она стояла, прислонившись спиной к шкафу, и слушала меня.

Помню: я был на полу, обнимал ее ноги, целовал колени. И молил: «Сейчас — сейчас же — сию же минуту...»

Острые зубы — острый, насмешливый треугольник бровей. Она наклонилась, молча отстегнула мою бляху.

«Да! Да, милая — милая», — я стал торопливо сбрасывать с себя юнифу. Но I — так же молчаливо — поднесла к своим моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут 22.30.

Я похолодел. Я знал, что это значит — показаться на улице позже 22.30. Все мое сумасшествие — сразу как сдунуло. Я — был я. Мне было ясно одно: я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу!

Не прощаясь, не оглядываясь — я кинулся вон из комнаты. Кое-как прикалывая бляху на бегу, через ступени — по запасной лестнице (боялся — кого-нибудь встречу в лифте) — выскочил на пустой проспект.

Все было на своем месте — такое простое, обычное, закономерное: стеклянные, сияющие огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь. Но под этим тихим прохладным стеклом — неслось неслышно буйное, багровое, лохматое. И я, задыхаясь, мчался — чтобы не опоздать.

Вдруг почувствовал: наспех приколотая бляха отсте-

гивается — отстегнулась, звякнула о стеклянный тротуар. Нагнулся поднять — и в секунднй тишине: чей-то топот сзади. Обернулся: из-за угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое. Так, по крайней мере, мне тогда показалось.

Я понесся во весь дух — только в ушах свистело. У входа остановился: на часах было без одной минуты 22.30. Прислушался: сзади никого. Все это — явно была нелепая фантазия, действие яда.

Ночь была мучительна. Кровать подо мною подымалась, опускалась и вновь подымалась — плыла по синусоиде. Я внушал себе: «Ночью — нумера обязаны спать; это обязанность — такая же, как работа днем. Это необходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью — преступно...» И все же не мог, не мог.

Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед Единым Государством... Я...

Запись 11-я.

Конспект:

...НЕТ, НЕ МОГУ, ПУСТЬ ТАК, БЕЗ КОНСПЕКТА

Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью и не видно: что там — дальше, выше. Древние знали, что там их величайший скучающий скептик — Бог. Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное ничто. Я теперь не знаю, что там: я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочно, — это вера. У меня была твердая вера в себя, я верил, что знаю в себе все. И вот —

Я — перед зеркалом. И первый раз в жизни — именно так: первый раз в жизни — вижу себя ясно, отчетливо, сознательно, — с изумлением вижу себя, как кого-то «его». Вот я — он: черные, прочерченные по прямой брови; и между ними — как шрам — вертикальная морщина (не знаю: была ли она раньше). Стальные, серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи; и за этой сталью... оказывается, я никогда не знал, что там. И из «там» (это «там» одновременно и здесь, и бесконечно далеко) — из «там» я гляжу на себя — на него, и твердо знаю: он — с прочерченными по

прямой бровями — посторонний, чужой мне, я встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий, я — не — он...

Нет: точка. Все это — пустяки, и все эти нелепые ощущения — бред, результат вчерашнего отравления... Чем: глотком зеленого яда — или ею? Все равно. Я записываю это, только чтобы показать, как может странно запутаться и сбиться человеческий — такой точный и острый — разум. Тот разум, который даже эту, путавшую древних, бесконечность сумел сделать удобоваримой — посредством...

Щелк нумератора — и цифры: R-13. Пусть, я даже рад: сейчас одному мне было бы...

Через 20 минут

На плоскости бумаги, в двухмерном мире — эти строки рядом, но в другом мире... Я теряю цифроощущение: 20 минут — это может быть 200 или 200 000. И это так дико: спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня с R. Все равно как если бы вы, положив ногу на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати — и с любопытством смотрели, как вы, вы же, — корчитесь на этой кровати.

Когда вошел R-13, я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор и что больше всего именно этими хореями был изрублен, уничтожен тот безумец.

— ...И даже так: если бы мне предложили сделать схематический чертеж Машины Благодетеля, я бы непременно — непременно — как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи, — закончил я.

Вдруг вижу: у R — матовеют глаза, сереют губы.

— Что с вами?

— Что-что? Ну... Ну просто надоело: все кругом — приговор, приговор. Не желаю больше об этом — вот и все. Ну, не желаю!

Он насупился, тер затылок — этот свой чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажом. Пауза. Вот вышел в чемоданчике что-то, вытащил, разворачивает, развернул — залакировались смехом глаза, вскочил.

— А вот для вашего «Интеграла» я сочиняю... это — да! Это вот да!

Прежний: губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном.

— Понимаете («п» — фонтан) — древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю — был представлен выбор: или счастье без свободы — или свобода без счастья; третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу — и что же: понятно — потом века тосковали об оковах. Об оковах — понимаете, — вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье... Нет, вы дальше — дальше слушайте! Древний Бог и мы рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Богу окончательно одолеть диавола — это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он — змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему — тррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все — очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители — все это добро, все это — величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу — то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову — этика, неэтика... Ну, да ладно: словом, вот этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший... понимаете? Штучка, а?

Ну еще бы не понять. Помню, я подумал: «Такая у него нелепая, асимметричная внешность и такой правильно мыслящий ум». И оттого он так близок мне — настоящему мне (я все же считаю прежнего себя — настоящим, все теперешнее — это, конечно, только болезнь).

Р, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за плечи, захохотал.

— Ах вы... Адам! Да, кстати, насчет Евы... — Он порылся в кармане, вытащил записную книжку, перелистал.

— Послезавтра... нет: через два дня — у О розовый талон к вам. Так как вы? По-прежнему? Хотите, чтобы она...

— Ну да, ясно.

— Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется... Такая, я вам скажу, история! Меня она только так, розово-талонно, а вас... И не говорит, кто это четвертый взлет в наш треугольник. Кто — кайтесь, греховодник, ну?

Во мне взвился занавес, и — шелест шелка, зеленый флакон, губы... И ни к чему, некстати — у меня вырвалось (если бы я удержался!):

— А скажите: вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь?

R подобрал губы, поглядел на меня исподлобья. Я совершенно ясно слышал его мысли: «Приятель-то ты — приятель... А все-таки...» И ответ:

— Да как сказать? Собственно — нет. Но я знал одну женщину...

— I, — закричал я.

— Как... вы — вы тоже с нею? — налился смехом, заклебнулся и сейчас брызнет.

Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо было через стол: отсюда, с кресла, я видел только свой лоб и брови.

И вот я — настоящий — увидел в зеркале исковерканную прыгающую прямую бровей, и я настоящий — услышал дикий, отвратительный крик:

— Что «тоже»? Нет: что такое «тоже»? Нет, — я требую.

Распяленные негрские губы. Вытаращенные глаза... И — настоящий — крепко схватил за шиворот этого другого себя — дикого, лохматого, тяжело дышащего. Я — настоящий — сказал ему, R:

— Простите меня, ради Благодетеля. Я совсем болен, не сплю. Не понимаю, что со мной...

Толстые губы мимолетно усмехнулись:

— Да-да-да! Я понимаю — я понимаю! Мне все это знакомо... разумеется, теоретически. Прощайте!

В дверях повернулся черным мячиком — назад к столу, бросил на стол книгу:

— Последняя моя... Нарочно принёс — чуть не забыл. Прощайте... — «П» брызнуло в меня, укатился...

Я — один. Или, вернее: наедине с этим, другим «я». Я — в кресле и, положив ногу на ногу, из какого-то «там» с любопытством гляжу, как я — я же — корчусь на кровати.

Отчего — ну отчего целых три года я и О — жили так дружески — и вдруг теперь одно только слово о той, об I... Мужели все это сумасшествие — любовь, ревность — не только в идиотских древних книжках? И главное — я! Уравнения, формулы, цифры — и... это — ничего не понимаю! Ничего... Завтра же пойду к R и скажу, что — —

Неправда: не пойду. И завтра, и послезавтра — никогда больше не пойду. Не могу, не хочу его видеть. Конеч! Треугольник наш — развалился.

Я — один. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молочно-золотистой тканью, если бы знать: что там — выше? И если бы знать: кто — я, какой — я?

Запись 12-я.

Конспект:

ОГРАНИЧЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ. АНГЕЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ

Мне все же кажется — я выздоровею, я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придет ко мне милая О, все будет просто, правильно и ограничено как круг. Я не боюсь этого слова — «ограниченность»: работа высшего, что есть в человеке, — рассудка — сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечности на удобные, легко переваримые порции — дифференциалы. В этом именно божественная красота моей стихии — математики. И вот понимания этой самой красоты как раз и не хватает той. Впрочем, это так — случайная ассоциация.

Все это — под мерный, метрический стук колес подземной дороги — я про себя скандирую колеса — и стихи R (его вчерашняя книга). И чувствую: сзади, через плечо, осторожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую страницу. Не оборачиваясь, одним только уголком глаза, я вижу: розовые, распростертые крылья-уши, двояко изогнутое... он! Не хотелось мешать ему — и я сделал вид, что не заметил. Как он очутился тут — не знаю: когда я входил в вагон — его как будто не было.

Это незначительное само по себе происшествие особенно хорошо подействовало на меня, я бы сказал: укрепило. Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно охраняющий от малейшей ошибки, от малейшего неверного шага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне приходит в голову опять все та же аналогия: ангелы-хранители, о которых мечтали древние. Как много из того,

о чем они только мечтали, в нашей жизни материализовалось.

В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя на спине, я наслаждался сонетом, озаглавленным «Счастье». Думаю — не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре строчки:

Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире —
Неотрывающиеся дважды два...

И дальше все об этом: о мудром, вечном счастье таблицы умножения.

Всякий подлинный поэт — непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и до R-13 существовала века, но только R-13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдorado. В самом деле: есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире. Сталь — ржавеет; древний Бог — создал древнего, т. е. способного ошибаться, человека — и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда — понимаете — никогда — не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина — одна, и истинный путь — один; и эта истина — дважды два, и этот истинный путь — четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки — стали думать о какой-то свободе, т. е. ясно — об ошибке? Для меня — аксиома, что R-13 сумел схватить самое основное, самое...

Тут я опять почувствовал — сперва на своем затылке, потом на левом ухе — теплое, нежное дуновение ангела-хранителя. Он явно приметил, что книга на коленях у меня — уже закрыта и мысли мои — далеко. Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга: это такое спокойное, отрадное чувство. Помню: я даже оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял — или не захотел понять — он ни о чем меня не спросил... Мне остается одно: все рассказывать вам, неведомые мои читатели (сейчас вы для меня

так же дороги, и близки, и недостижимы — как был он в тот момент).

Вот был мой путь: от части к целому, часть — R-13, величественное целое — наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова — тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал — о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы килограмметров — уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн — добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя — мы сделали домашнее животное; и точно так же у нас приручена и оседлана, когда-то дикая, стихия поэзии. Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность.

Наши знаменитые «Математические Нонны»: без них — разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А «Шипы» — этот классический образ: Хранители — шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний... Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих, как молитву: «Злой мальчик розу хватать рукой. Но шип стальной кольнул иглой, шалун — ой, ой — бежит домой» — и так далее? А «Ежедневные оды Благодетелю»? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие, красные «Цветы Судебных приговоров»? А бессмертная трагедия «Опоздавший на работу»? А настольная книга «Стансов о половой гигиене»?

Вся жизнь во всей ее сложности и красоте — навеки зачехлена в золоте слов.

Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий механический марш Музыкального Завода; их лира — утренний шорох электрических зубных щеток, и грозный треск искр в машине Благодетеля, и величественное эхо Гимна Единому Государству, и интимный звон хрустально-сияющей ночной вазы, и волнующий треск падающих

штор, и веселые голоса новейшей поваренной книги, и еле слышный шепот уличных мембран.

Наши боги — здесь, внизу, с нами — в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали как мы: эрго — мы стали как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша...

Запись 13-я.

Конспект:

ТУМАН. ТЫ. СОВЕРШЕННО НЕЛЕПОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

На заре проснулся, — в глаза мне розовая, крепкая твердь. Все хорошо, кругло. Вечером придет О. Я — несомненно уже здоров. Улыбнулся, заснул.

Утренний звонок, — встаю — и совсем другое: сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь — туман. Сумасшедшие облака, все тяжелее — и легче, и ближе, и уже нет границ между землею и небом, все летит, тает, падает, не за что ухватиться. Нет больше домов: стеклянные стены распустились в тумане, как кристаллики соли в воде. Если посмотреть с тротуара — темные фигуры людей в домах — как взвешенные частицы в бредовом, молочном растворе — повисли низко, и, выше, и еще выше — в десятом этаже. И все дымится — может быть, какой-то неслышно бушующий пожар.

Ровно в 11.45: я тогда нарочно взглянул на часы — чтобы ухватиться за цифры — чтобы спасли хоть цифры.

В 11.45, перед тем, как идти на обычные, согласно Часовой Скрижали, занятия физическим трудом, я забежал к себе в комнату. Вдруг телефонный звонок, голос — длинная, медленная игла в сердце:

— Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу. Мы с вами отправимся... ну, там увидите куда.

— Вы отлично знаете: я сейчас иду на работу.

— Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам говорю. До свидания. Через две минуты...

Через две минуты я стоял на углу. Нужно же было поклясть ей, что мною управляет Единое Государство, а не

она. «Так, как я вам говорю»... И ведь уверена: слышно по голосу. Ну, сейчас я поговорю с ней по-настоящему...

Серые, из сырого тумана сотканые юнифы торопливо существовали возле меня секунду и неожиданно растворялись в туман. Я не отрывался от часов, я был — острая, дрожащая секундная стрелка. Восемь, десять минут... Без трех, без двух двенадцать...

Кончено. На работу — я уже опоздал. Как я ее ненавижу. Но надо же мне было показать...

На углу в белом тумане — кровь — разрез острым ножом — губы.

— Я, кажется, задержала вас. Впрочем, все равно. Теперь вам поздно уже.

Как я ее — — впрочем, да: поздно уж.

Я молча смотрел на губы. Все женщины — губы, одни губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые: кольцо, нежная огорада от всего мира. И эти: секунду назад их не было, и только вот сейчас — ножом, — и еще каплет сладкая кровь.

Ближе — прислонилась ко мне плечом — и мы одно, из нее переливается в меня — и я знаю: так нужно. Знаю каждым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким ударом сердца. И такая радость покориться этому нужно. Вероятно, куску железа так же радостно покориться неизбежному, точному закону — и впитаться в магнит. Камню, брошенному вверх, секунду поколебаться — и потом стремглав вниз, наземь. И человеку, после агонии, наконец вздохнуть последний раз — и умереть.

Помню: я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал:

— Туман... Очень.

— Ты любишь туман?

Это древнее, давно забытое «ты», «ты» властелина к рабу — вошло в меня остро, медленно: да, я раб, и это — тоже нужно, тоже хорошо.

— Да, хорошо... — вслух сказал я себе. И потом ей: — Я ненавижу туман. Я боюсь тумана.

— Значит — любишь. Боишься — потому что это сильнее тебя, ненавидишь — потому что боишься, любишь — потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное.

Да, это так. И именно потому — именно потому я...

Мы шли двое — одно. Где-то далеко сквозь туман чуть

слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир — единая необъятная женщина, и мы — в самом ее чреве, мы еще не родились, мы радостно зреем. И мне ясно, нерушимо ясно: все — для меня: солнце, туман, розовое, золотое — для меня...

Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно: только бы идти, идти, зреть, наливаться все упруге — —

— Ну вот... — I остановилась у дверей. — Здесь сегодня дежурит как раз один... Я о нем говорила тогда, в Древнем Доме.

Я издали, одними глазами, осторожно сберегая зреющее, — прочел вывеску: «Медицинское Бюро». Все понял.

Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. Провода. Синеватые искры в трубках.

И человек — тончайший. Он весь как будто вырезан из бумаги, и как бы он ни повернулся — все равно у него только профиль, остро отточенный: сверкающее лезвие — нос, ножницы — губы.

Я не слышал, что ему говорила I: я смотрел, как она говорила, — и чувствовал: улыбаюсь неудержимо, блаженно. Сверкнули лезвием ножницы-губы, и врач сказал:

— Так, так. Понимаю. Самая опасная болезнь — опаснее я ничего не знаю... — засмеялся, тончайшей бумажной рукой быстро написал что-то, отдал листок I; написал — отдал мне.

Это были удостоверения, что мы — больны, что мы не можем явиться на работу. Я крал свою работу у Единого Государства, я — вор, я — под Машиной Благодетеля. Но это мне — далеко, равнодушно, как в книге... Я взял листок, не колеблясь ни секунды; я — мои глаза, губы, руки — и знал: так нужно.

На углу, в полупустом гараже мы взяли аэро. I опять, как тогда, села за руль, подвинула стартер на «вперед», мы оторвались от земли, поплыли. И следом за нами все: розово-золотой туман; солнце; тончайше-лезвийный профиль врача, вдруг такой любимый и близкий. Раньше — все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня — медленно, блаженно, с зажмуренными глазами...

Старуха у ворот Древнего Дома. Милый, заросший,

с лучами-морщинами рот. Вероятно, был заросшим все эти дни — и только сейчас раскрылся, улыбнулся:

— А-а, проказница! Нет чтобы работать, как все... ну уж ладно! Если что — я тогда прибегу, скажу...

Тяжелая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась, и тотчас же с болью раскрылось сердце широко — еще шире — настежь. Ее губы — мои, япил, япил, отрывался, молча глядел в распахнутые мне глаза — и опять...

Полумрак комнат, синее, шафранно-желтое, темно-зеленый сафьян, золотая улыбка Будды, мерцание зеркал. И — мой старый сон, такой теперь понятный: все напитано золотисто-розовым соком, и сейчас перельется через край, брызнет — —

Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой покорностью точному непреложному закону — я влился в нее. Не было розового талона, не было счета, не было Единого Государства, не было меня. Были только нежно-острые, стиснутые зубы, были широко распахнутые мне золотые глаза — и через них я медленно входил внутрь, все глубже. И тишина — только в углу — за тысячи миль каплют капли в умывальнике и я — вселенная, и от капли до капли — эры, эпохи...

Накинув на себя юнифу, я нагнулся к I — и глазами вбирал в себя ее последний раз.

— Я знала это... Я знала тебя... — сказала I, очень тихо. Быстро поднялась, надела юнифу и всегдашнюю свою острую улыбку-укус. — Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли. Нет, не бойтесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?

Она открыла зеркальную дверь, вделанную в стену шкафа; через плечо — на меня, ждала. Я послушно вышел. Но едва переступил порог — вдруг стало нужно, чтобы она прижалась ко мне плечом — только на секунду плечом, больше ничего.

Я кинулся назад — в ту комнату, где она (вероятно) еще застегивала юнифу перед зеркалом, вбежал и остановился. Вот — ясно вижу — еще покачивается старинное кольцо на ключе в двери шкафа, а I — нет. Уйти она никуда не могла — выход из комнаты только один — и все-таки ее нет. Я обшарил все и даже открыл шкаф и ощупал там пестрые древние платья: никого...

Мне как-то неловко, планетные мои читатели, расска-

зывать вам об этом совершенно невероятном происшествии. Но что ж делать, если все это было именно так. А разве весь день с самого утра не был полон невероятностей, разве не похоже все на эту древнюю болезнь сновидений? И если так — не все ли равно: одной нелепостью больше или меньше? Кроме того, я уверен: раньше или позже всякую нелепость мне удастся включить в какой-нибудь силогизм. Это меня успокаивает, надеюсь, успокоит и вас.

...Как я полон! Если бы вы знали: как я полон!

Запись 14-я.

Конспект:

«МОЙ». НЕЛЬЗЯ. ХОЛОДНЫЙ ПОЛ

Все еще о вчерашнем. Личный час перед сном у меня был занят, и я не мог записать вчера. Но во мне все это — как вырезано, и потому-то особенно — должно быть, навсегда — этот нестерпимо холодный пол...

Вечером должна была ко мне прийти О — это был ее день. Я спустился к дежурному взять право на шторы.

— Что с вами, — спросил дежурный. — Вы какой-то сегодня...

— Я... я болен...

В сущности, это была правда: я, конечно, болен. Все это болезнь. И тотчас же вспомнилось: да, ведь удостоверение... Пощупал в кармане: вот — шуршит. Значит — все было, все было действительно...

Я протянул бумажку дежурному. Чувствовал, как загорелись щеки; не глядя видел: дежурный удивленно смотрит на меня...

И вот — 21.30. В комнате слева — спущены шторы. В комнате справа — я вижу соседа: над книгой — его шишковатая, вся в кочках лысина и лоб — огромная, желтая параболоа. Я мучительно хожу, хожу: как мне — после всего — с нею, с О? И справа — ясно чувствую на себе глаза, отчетливо вижу морщины на лбу — ряд желтых, неразборчивых строк; и мне почему-то кажется — эти строки обо мне.

Без четверти 22 в комнате у меня — радостный розовый вихрь, крепкое кольцо розовых рук вокруг моей шеи.

И вот чувствую: все слабее кольцо, все слабее — разомкнулось — руки опустились...

— Вы не тот, вы не прежний, вы не мой!

— Что за дикая терминология: «мой». Я никогда не был... — и запнулся: мне пришло в голову — раньше не был, верно, но теперь... Ведь я теперь живу не в нашем разумном мире, а в древнем, бредовом, в мире корней из минус-единицы.

Шторы падают. Там, за стеной направо, сосед роняет книгу со стола на пол, и в последнюю, мгновенную узкую щель между шторой и полом — я вижу: желтая рука схватила книгу, и во мне: изо всех сил ухватиться бы за эту руку.

— Я думала — я хотела встретить вас сегодня на прогулке. Мне о многом — мне надо вам так много...

Милая, бедная О! Розовый рот — розовый полумесяц рожками книзу. Но не могу же я рассказать ей все, что было — хотя бы потому, что это сделает ее соучастницей моих преступлений: ведь я знаю, у ней не хватит силы пойти в Бюро Хранителей и, следовательно — —

О лежала. Я медленно целовал ее. Я целовал эту наивную пухлую складочку на запястье, синие глаза были закрыты, розовый полумесяц медленно расцветал, распустился — и я целовал ее всю.

Вдруг ясно чувствую: до чего все опустошено, отдалено. Не могу, нельзя. Надо — и нельзя. Губы у меня сразу остыли...

Розовый полумесяц задрожал, померк, скорчился. О накинула на себя покрывало, закуталась — лицом в подушку...

Я сидел на полу возле кровати — какой отчаянно-холодный пол, — сидел молча. Мучительный холод снизу — все выше, все выше. Вероятно — такой же молчаливый холод там, в синих, немых междупланетных пространствах.

— Поймите же: я не хотел... — пробормотал я... — Я всеми силами...

Это правда: я, настоящий я — не хотел. И все же: какими словами сказать ей. Как объяснить ей, что железо не хотело, но закон — неизбежен, точен — —

О подняла лицо из подушек и, не открывая глаз, сказала:

— Уйдите, — но от слез вышло у нее «ундите» — и вот почему-то врезалась и эта нелепая мелочь.

Весь пронизанный холодом, цепenea, я вышел в коридор. Там за стеклом — легкий, чуть приметный дымок тумана. Но к ночи, должно быть, опять он спустится, налегнет всюю. Что будет за ночь?

О молча скользнула мимо меня, к лифту — стукнула дверь.

— Одну минутку, — крикнул я: стало страшно.

Но лифт уже гудел вниз, вниз, вниз...

Она отняла у меня R.

Она отняла у меня O.

И все-таки, и все-таки...

Запись 15-я.

Конспект:

КОЛОКОЛ. ЗЕРКАЛЬНОЕ МОРЕ. МНЕ ВЕЧНО ГОРЕТЬ

Только вошел в эллинг, где строится «Интеграл» — как навстречу Второй Строитель. Лицо у него? как всегда: круглое, белое, фаянсовое — тарелка, и говорит — подносит на тарелке что-то такое нестерпимо вкусное:

— Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать, — происшествие.

— Происшествие?

— Ну да! Звонок, кончили, стали всех с эллинга выпускать — и представьте: выпускающий изловил ненумерованного человека. Уж как он пробрался — понять не могу. (Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут, как и зачем... (Улыбка — вкусная...))

В Операционном — работают наши лучшие и опытнейшие врачи, под непосредственным руководством самого Благодетеля. Там — разные приборы и, главное, знаменитый Газовый Колокол. Это, в сущности, старинный школьный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак; воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все больше... Ну и так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол значительно более совершенный аппарат — с при-

менением различных газов, и затем — тут, конечно, уже не издевательство над маленьким беззащитным животным, тут высокая цель — забота о безопасности Единого Государства, другими словами — о счастье миллионов. Около пяти столетий назад, когда работа в Операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операционное с древней инквизицией, но ведь это так нелепо, как ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть может, один и тот же нож, оба делают одно и то же — режут горло живому человеку. И все-таки один — благодетель, другой — преступник, один со знаком +, другой со знаком — ...

Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус — и вот наверху уж другое: еще покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули, — а ее, I, нет: исчезла. Этого машина никак не могла повернуть. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонятная сладкая боль в правом плече — прижавшись к правому плечу, I — рядом со мной в тумане. «Ты любишь туман?» Да, и туман... все люблю, и все — упругое, новое, удивительное, все — хорошо...

— Все — хорошо, — вслух сказал я.

— Хорошо? — кругло вытаращились фаянсовые глаза. — То есть что же тут хорошего? Если этот нenumерованный умудрился... стало быть, они — всюду, кругом, все время, они тут, они — около «Интеграла», они...

— Да кто они?

— А почему я знаю, кто. Но я их чувствую — понимаете? Все время.

— А вы слышали: будто какую-то операцию изобрели — фантазию вырезавают? (На днях, в самом деле, я что-то вроде этого слышал.)

— Ну, знаю. При чем же это тут?

— А при том, что я бы на вашем месте — пошел и попросил сделать себе эту операцию.

На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый — ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия... Впрочем, что же: неделю назад — вероятно, я бы тоже обиделся.

А теперь — теперь нет, потому что я знаю, что это у меня есть — что я болен. И знаю еще — не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх. Все — под нами внизу — как на ладони...

Вы, читающие эти записки — кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас, — вы знаете, какое бывает — какое может быть — утром солнце, вы знаете это розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух — чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все — живое: живые и мягкие — камни; живое и теплое — железо; живые и все до одного улыбаются — люди. Может случиться через час — все исчезнет, через час — выкаплет розовая кровь, но пока — живое. И я вижу: пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках «Интеграла», я вижу: «Интеграл» мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы, — вы обязаны быть счастливыми, и уже недолго вам ждать.

Корпус «Интеграла» почти готов: изящный, удлиненный эллипсоид из нашего стекла — вечного, как золото, гибкого, как сталь. Я видел: изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра — шпангоуты, продольные — стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые 3 секунды — взрыв; каждые 3 секунды могучий хвост «Интеграла» будет низвергать пламя и газы в мировое пространство — и будет нестись, нестись — огненный Тамерлан счастья...

Я видел: по Тэйлору, размеренно быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались, поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольники, ребра, кницы. Я видел: по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны и так же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево «Интеграла», свои грузы. И это было одно: очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка... Скорее — вниз, к ним, с ними!

И вот — плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом... Мерные движения: упруго-круглые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием мыслей, лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.

И вдруг один — безмятежно обернулся ко мне:

— Ну как: ничего, лучше сегодня?

— Что лучше?

— Да вот — не было-то вас вчера. Уж мы думали — у вас опасное что... — Сияет лоб, улыбка — детская, невинная.

Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог — не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул...

Сверху просунулось в люк, сияя круглой белизной, фаянсовое лицо.

— Эй, Д-503! Пожалуйста-ка сюда! Тут у нас, понимаете, получилась жесткая рама с консолями и узловыми моменты дают напряжение на квадратной.

Не дослушав, я опрометью бросился к нему наверх — я позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза — рябило от сверкающих, стеклянных ступеней под ногами, и с каждой ступенью все безнадежней: мне, преступнику, отравленному — здесь не место. Мне никогда уж больше не влиться в точный механический ритм, не плыть по зеркально-безмятежному морю. Мне — вечно гореть, метаться, отыскивать уголок, куда бы спрятать глаза — вечно, пока я, наконец, не найду силы пройти и —

И ледяная искра — насквозь: я — пусть; я — все равно; но ведь надо будет и о ней, и ее тоже...

Я вылез из люка на палубу и остановился: не знаю, куда теперь, не знаю, зачем пришел сюда. Посмотрел вверх. Там тускло подымалось измученное полднем солнце. Внизу — был «Интеграл», серо-стеклянный, неживой. Розовая кровь вытекла, мне ясно, что все это — только моя фантазия, что все осталось по-прежнему, и в то же время ясно...

— Да вы что, 503, оглохли? Зову, зову... Что с вами? — Это Второй Строитель — прямо над ухом у меня: должно быть, уж давно кричит.

Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, аэро дрожит и мчится, но руля нет, — и я не знаю, куда мчусь: вниз — и сейчас об землю, или вверх — и в солнце, в огонь...

Запись 16-я.

Конспект:

ЖЕЛТОЕ. ДВУХМЕРНАЯ ТЕНЬ. НЕИЗЛЕЧИМАЯ ДУША

Не записывал несколько дней. Не знаю, сколько: все дни — один. Все дни — одного цвета — желтого, как иссушенный, накаленный песок, и ни клочка тени, ни капли воды, и по желтому песку без конца. Я не могу без нее — и она, с тех пор, как тогда непонятно исчезла в Древнем Доме...

С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Два, три, четыре дня назад — не знаю: все дни — один. Она промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир. С нею об руку — по плечо ей — двойкий S, и тончайше-бумажный доктор, и кто-то четвертый — запомнились только его пальцы: они вылетали из рукавов юнифы, как пучки лучей — необычайно тонкие, белые, длинные. I подняла руку, помахала мне; через голову I — нагнулась к тому с пальцами-лучами. Мне послышалось слово «Интеграл»: все четверо оглянулись на меня; и вот уже потерялись в серо-голубом небе, и снова — желтый, иссушенный путь.

Вечером в тот день у нее был розовый билет ко мне. Я стоял перед нумератором — и с нежностью, с ненавистью умолял его, чтобы щелкнул, чтобы в белом прорезе появилось скорее: I—330. Хлопала дверь, выходили из лифта бледные, высокие, розовые, смуглые; падали кругом шторы. Ее не было. Не пришла.

И, может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда я пишу это, — она, закрывши глаза, также прислоняется к кому-то плечом и так же говорит кому-то: «Ты любишь?» Кому? Кто он? Этот, с лучами-пальцами, или губастый, брызжащий R? Или S?

S... Почему все дни я слышу за собой его плоские, хлопающие, как по лужам, шаги? Почему он все дни за мной — как тень? Впереди, сбоку, сзади, серо-голубая, двухмерная тень: через нее проходят, на нее наступают, но она — все так же неизменно здесь, рядом, привязанная невидимой пуповиной. Быть может, эта пуповина она — I? Не

знаю. Или, быть может, им, Хранителям, уже известно, что я...

Если бы вам сказали: ваша тень видит вас, все время видит. Понимаете? И вот вдруг — у вас странное ощущение: руки посторонние, мешают, и я ловлю себя на том, что нелепо, не в такт шагам, размахиваю руками. Или вдруг — непременно оглянуться, а оглянуться нельзя, ни за что, шея — закована.

И я бегу, бегу все быстрее, и спиной чувствую: быстрее за мною тень, и от нее — никуда, никуда...

У себя в комнате — наконец один. Но тут другое: телефон. Опять беру трубку: «Да, I—330, пожалуйста». И снова в трубке — легкий шум, чьи-то шаги, в коридоре — мимо дверей ее комнаты, и молчание... Бросаю трубку — и не могу, не могу больше. Туда — к ней.

Это было вчера. Побежал туда и целый час, от 16 до 17, бродил около дома, где она живет. Мимо, рядами, нумера. В такт сыпались тысячи ног, миллиононогий левиафан, колыхаясь, плыл мимо. А я — один, выхлестнут бурей на необитаемый остров, и ищу, ищу глазами в серо-голубых волнах.

Вот сейчас откуда-нибудь — остронасмешливый угол поднятых к вискам бровей, и темные окна глаз, и там, внутри — пылает камин, движутся чьи-то тени. И я прямо туда, внутрь, и скажу ей «ты» — непременно «ты»: «Ты же знаешь — я не могу без тебя. Так зачем же?»

Но она — молчит. Я вдруг слышу тишину, вдруг слышу — Музыкальный Завод и понимаю: уже больше 17, все давно ушли, я — один, я — опоздал. Кругом — стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня. Я вижу: как в воде — в стеклянной глади подвешены вверх ногами опрокинутые, сверкающие стены, и опрокинуто, насмешливо, вверх ногами подвешен я.

Мне нужно скорее, сию же секунду — в Медицинское Бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и — — А может быть, это и будет самое лучшее. Остаться тут и спокойно ждать, пока увидят, доставят в Операционное — сразу все кончить, сразу все искупить.

Легкий шорох, и передо мною — двояко изогнутая тень. Я не глядя чувствовал, как быстро ввинтились в меня два серо-стальных сверла, изо всех сил улыбнулся и сказал — что-нибудь нужно было сказать:

— Мне... мне надо в Медицинское Бюро.

— За чем же дело? Чего же вы стоите здесь?

Нелепо опрокинутый, подвешенный за ноги — я молчал, весь полыхая от стыда.

— Идите за мной, — сурово сказал S.

Я покорно пошел, размахивая ненужными, посторонними руками. Глаз нельзя было поднять, все время шел в диком, перевернутом вниз головой — мире: вот какие-то машины — фундаментом вверх, и антиподно приклеенные ногами к потолку люди, и еще ниже — скованное толстым стеклом мостовой небо. Помню: обидней всего было, что последний раз в жизни я увидел это вот так, опрокинуто, не по-настоящему. Но глаз поднять было нельзя.

Остановились. Передо мною — ступени. Один шаг — и я увижу: фигуры в белых докторских фартуках, огромный немой Колокол...

С силой, каким-то винтовым приводом, я наконец оторвал глаза от стекла под ногами — вдруг в лицо мне брызнули золотые буквы «Медицинское»... Почему он привел меня сюда, а не в Операционное, почему он пощадил меня — об этом я в тот момент даже и не подумал: одним скачком — через ступени, плотно захлопнул за собой дверь — и вздохнул. Так: будто с самого утра я не дышал, не билось сердце — и только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрылся шлюз в груди...

Двое: один — коротенький, тумбоногий — глазами, как на рога, подкидывал пациентов, и другой — тончайший, сверкающие ножницы-губы, лезвие-нос... Тот самый.

Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвия — что-то о бессоннице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-губы сверкали, улыбались.

— Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.

Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душегуб», но душа — —

— Это... очень опасно, — пролепетал я.

— Неизлечимо, — отрезали ножницы.

— Но... собственно, в чем же суть? Я как-то не... не представляю.

— Видите... как бы это вам... Ведь вы математик?

— Да.

— Так вот — плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот — видите, и щурим глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон — мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте — от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней — все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми, — дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала — внутри вас — солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это — впитывает, и от всего след — навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице — и она уже навсегда в вас: однажды вы слышали: в тишине упала капля — и вы слышите сейчас...

— Да, да, именно... — я схватил его за руку. Я слышал сейчас: из — крана умывальника — медленно капают капли в тишину. И я знал это — навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было — и вдруг... Почему ни у кого нет, а у меня...

Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг.

— Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев — одни только лопаточные кости — фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже не нужны — есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья — чтобы летать, а нам уже некуда: мы — прилетели, мы — нашли. Не так ли?

Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбоного протоптал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.

— В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил (тончайшего на рога) — я вам говорил: надо у всех — у всех фантазию... Экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия...

Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа — в мой мозг, записывал что-то в книжку.

— Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно! Послушайте: а не согласились бы вы... заспиртоваться? Это было бы для Единого Государства чрезвычайно... это помогло бы нам предупредить эпидемию... Если у вас, разумеется, нет особых оснований...

— Видите ли, — сказал он, — номер Д-503 — строитель «Интеграла», и я уверен — это нарушило бы...

— А, — промывчал тот и затумбовал назад в свой кабинет.

Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку, профильное лицо близко нагнулось ко мне; он шепнул:

— По секрету скажу вам — это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка, разве вы сами не замечали у кого-нибудь похожее — очень похожее, очень близкое... — он пристально посмотрел на меня.

На что он намекает — на кого? Неужели — —

— Слушайте... — я вскочил со стула.

Но он уже громко заговорил о другом:

— ...А от бессонницы, от этих ваших снов — могу вам одно посоветовать: побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра прогуляйтесь... Ну хоть бы к Древнему Дому.

Он опять проколол меня глазами, улыбался тончайше. И мне показалось: я совершенно ясно увидел завернутое в тонкую ткань этой улыбки слово — букву — имя, единственное имя... Или это опять только фантазия?

Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра, еще раз молча, крепко сжал ему руку и выбежал наружу.

Сердце — легкое, быстрое, как аэро, и несет, несет меня вверх. Я знал: завтра — какая-то радость. Какая?

Запись 17-я.

Конспект:

СКВОЗЬ СТЕКЛО. Я УМЕР. КОРИДОРЫ

Я совершенно озадачен. Вчера, в этот самый момент, когда я думал, что все уже распуталось, найдены все иксы? — в моем уравнении появились новые неизвестные.

Начало координат во всей этой истории — конечно, Древний Дом. Из этой точки — оси X-ов, Y-ов, Z-ов, на ко-

торых для меня с недавнего времени построен весь мир. По оси Х-ов (Проспекту 59-му) я шел пешком к началу координат. Во мне — пестрым вихрем вчерашнее: опрокинутые дома и люди, мучительно-посторонние руки, сверкающие ножницы, острокапающие капли из умывальника — так было, было однажды. И все это — разрывая мясо — стремительно крутится там — за расплавленной от огня поверхностью, где «душа».

Чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбрал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет: круговая дорога у подножия Зеленой Стены. Из необозримого зеленого океана за Стеной катился на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев — встал на дыбы — сейчас захлестнет меня, и из человека — тончайшего и точнейшего из механизмов — я превращусь...

Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном — стекло Стены. О, великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной изолировали свой машинный, совершенный мир — от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных...

Сквозь стекло на меня — туманно, тускло — тупая морда какого-то зверя, желтые глаза, упорно повторяющие одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели друг другу в глаза — в эти шахты из поверхностного мира в другой, заповерхностный. И во мне копошится: «А вдруг он, желтоглазый — в своей нелепой, грязной куче листьев, в своей невычисленной жизни — счастливее нас?»

Я взмахнул рукой, желтые глаза мигнули, попятились, пропали в листе. Жалкое существо! Какой абсурд: он — счастливее нас! Может быть, счастливее меня — да; но ведь я — только исключение, я болен.

Да и я... Я уже вижу темно-красные стены Древнего Дома — и милый заросший старушечий рот — я кидаюсь к старухе со всех ног:

— Тут она?

Заросший рот раскрылся медленно:

— Это кто же такое — она?

— Ах, ну кто-кто? Да I, конечно... Мы же вместе с ней тогда — на аэро...

— А-а, так, так... Так-так-так...

Лучи-морщины около губ, лукавые лучи из желтых глаз, пробирающихся внутрь меня — все глубже... И наконец:

— Ну ладно уж... тут она, недавно прошла.

Тут. Я увидел: у старухиных ног — куст серебристо-горькой полыни (двор Древнего Дома — это тот же музей, он тщательно сохранен в доисторическом виде), полынь протянула ветку на руку к старухе, старуха поглаживает ветку, на коленях у ней — от солнца желтая полоса. И на один миг: я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза — мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам — одна общая, буйная, великолепная кровь...

Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал в этих записках быть откровенным до конца. Так вот: я нагнулся — и поцеловал заросший, мягкий, моховой рот. Старуха утерлась, засмеялась...

Бегом через знакомые полутесные гулкие комнаты — почему-то прямо туда, в спальню. Уже у дверей схватился за ручку и вдруг: «А если она там не одна?» Стал, прислушался. Но слышал только: тукало около — не во мне, а где-то около меня — мое сердце.

Вошел. Широкая, несмятая кровать. Зеркало. Еще зеркало в двери шкафа, и в замочной скважине там — ключ со старинным кольцом. И никого.

Я тихонько позвал:

— II Ты здесь? — И еще тише, с закрытыми глазами, не дыша, — так, как если бы я стоял уже на коленях перед ней: — II Милая!

Тихо. Только в белую чашку умывальника из крана каплет вода, торопливо. Не могу сейчас объяснить, почему, но только это было мне неприятно: я крепко завернул кран и вышел. Тут ее — нет: ясно. И значит, она в какой-нибудь другой «квартире».

По широкой сумрачной лестнице сбежал ниже, потянул одну дверь, другую, третью: заперто. Все было запер-

то, кроме только той одной «нашей» квартиры, и там — никого...

И все-таки — опять туда, сам не знаю — зачем. Я шел медленно, с трудом — подошвы вдруг стали чугунными. Помню отчетливо мысль: «Это ошибка, что сила тяжести — константна. Следовательно, все мои формулы — —».

Тут — разрыв: в самом низу хлопнула дверь, кто-то быстро протопал по плитам. Я — снова легкий, легчайший — бросился к перилам — перегнуться в одном слове, в одном крике «Ты!» — выкрикнуть все...

И захолонул: внизу — вписанная в темный квадрат тени от оконного переплета, размахивая розовыми крыльями-ушами, неслась голова S.

Молнией — один только голый вывод, без посылок (посылок я не знаю и сейчас): «Нельзя — ни за что — чтобы он меня увидел».

И на цыпочках, вжимаясь в стену, — я скользнул вверх — к той незапертой квартире.

На секунду у двери. Тот — тупо топает вверх, сюда. Только бы дверь! Я умолял дверь, но она деревянная: за скрипела, взвизгнула. Вихрем мимо — зеленое, красное, желтый Будда — я перед зеркальной дверью шкафа: мое бледное лицо, прислушивающиеся глаза, губы... Я слышу — сквозь шум крови — опять скрипит дверь... Это он, он.

Я ухватился за ключ в двери шкафа — и вот кольцо покачивается. Это что-то напоминает мне — опять мгновенный, голый без посылок, вывод — вернее, осколок: «В тот раз I — —». Я быстро открываю дверь в шкаф — я внутри, в темноте — захлопываю ее плотно. Один шаг — под ногами качнулось. Я медленно, мягко поплыл куда-то вниз, в глазах потемнело, я умер.

* * *

Позже, когда мне пришлось записывать все эти странные происшествия, я порылся в памяти, в книгах — и теперь я, конечно, понимаю: это было состояние временной смерти, знакомое древним и — сколько я знаю — совершенно неизвестное у нас.

Не имею представления, как долго я был мертв, скорее

всего 5—10 секунд, но только через некоторое время я воскрес, открыл глаза: темно и чувствую — вниз, вниз... Протянул руку — ухватился — царапнула шершавая, быстро убегаящая стенка, на пальце кровь, ясно — все это не игра моей больной фантазии. Но что же, что?

Я слышал свое пунктирное, трясущееся дыхание (мне стыдно сознаться в этом — так все было неожиданно и непонятно). Минута, две, три — все вниз. Наконец — мягкий толчок: то, что падало у меня под ногами, — теперь неподвижно. В темноте я нашарил какую-то ручку, толкнул — открылась дверь — тусклый свет. Увидел: сзади меня быстро уносилась вверх небольшая квадратная платформа. Кинулся — но уже было поздно: я был отрезан здесь... где это «здесь» — не знаю.

Коридор. Тысячепудовая тишина. На круглых сводах — лампочки, бесконечный, мерцающий, дрожащий пунктир. Походило немного на «трубы» наших подземных дорог, но только гораздо уже и не из нашего стекла, а из какого-то другого старинного материала. Мелькнуло — о подземельях, где будто бы спасались во время Двухсотлетней Войны... Все равно: надо идти.

Шел, полагаю, минут двадцать. Свернул направо, коридор шире, лампочки ярче. Какой-то смутный гул. Может быть, машины, может быть, голоса — не знаю, но только я — возле тяжелой непрозрачной двери: гул отсюда.

Постучал, еще раз — громче. За дверью — затихло. Что-то лязгнуло, дверь медленно, тяжело растворилась.

Я не знаю, кто из нас двоих остолбенел больше — переломной был мой лезвиеносный, тончайший доктор.

— Вы? Здесь? — И ножницы его так и захлопнулись.

А я — я будто никогда и не знал ни одного человеческого слова: я молчал, глядел и совершенно не понимал, что он говорил мне. Должно быть — что мне надо отсюда; потому что потом он быстро своим плоским бумажным животом оттеснил меня до конца этой, более светлой части коридора — и толкнул в спину.

— Позвольте... я хотел... я думал, что она, I—330... Но... мной...

— Стойте тут, — отрезал доктор и исчез...

Наконец! Наконец она рядом, здесь — и не все ли рав-

но, где это «здесь». Знакомый, шафранно-желтый шелк, улыбка-укус, задернутые шторой глаза... У меня дрожат губы, руки, колени — а в голове глупейшая мысль:

«Колебания — звук. Дрожь должна звучать. Отчего же не слышно?»

Ее глаза раскрылись мне — настежь, я вошел внутрь...

— Я не мог больше! Где вы были? Отчего, — ни на секунду не отрывая от нее глаз, я говорил как в бреду — быстро, несвязно — может быть, даже только думал. — Тень — за мною... Я умер — из шкафа... Потому что этот ваш... говорит ножницами: у меня душа... Неизлечимая...

— Неизлечимая душа! Бедненький мой! — I рассмеялась — и меня сбрызнула смехом: весь бред прошел, и всюду сверкают, звенят смешинки и как — как все хорошо.

Из-за угла снова вывернулся доктор — чудесный, великолепный, тончайший доктор.

— Ну-с, — остановился он возле меня.

— Ничего, ничего! Я вам потом расскажу. Он случайно... Скажите, что я вернусь через... минут пятнадцать...

Доктор мелькнул за угол. Она ждала. Глухо стукнула дверь. Тогда I медленно, медленно, все глубже вонзая мне в сердце острую, сладкую иглу, — прижалась плечом, рукою, вся — и мы пошли вместе с нею, вместе с нею — двое — одно...

Не помню, где мы свернули в темноту — и в темноте по ступеням вверх, без конца, молча. Я не видел, но знал: она шла так же, как и я — с закрытыми глазами, слепая, закинув вверх голову, закусив губы, — и слушала музыку: мою чуть слышную дрожь.

Я очнулся в одном из бесчисленных закоулков во дворе Древнего Дома: какой-то забор, из земли — голые, каменистые ребра и желтые зубы развалившихся стен. Она открыла глаза, сказала: «Послезавтра в 16». Ушла.

Было ли все это на самом деле? Не знаю. Узнаю послезавтра. Реальный след только один: на правой руке — на концах пальцев — содрана кожа. Но сегодня на «Интеграле» Второй Строитель уверял меня, будто он сам видел, как я случайно тронул этими пальцами шлифовальное кольцо — в этом и все дело. Что ж, может быть, и так. Очень может быть. Не знаю — ничего не знаю.

Запись 18-я.

Конспект:

ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕБРИ. РАНЫ И ПЛАСТЫРЬ. БОЛЬШЕ НИКОГДА

Вчера лег — и тотчас же канул на сонное дно, как перевернувшийся, слишком перегруженный корабль. Толща глухой колыхающейся зеленой воды. И вот медленно всплываю со дна вверх и где-то на середине глубины открываю глаза — моя комната, еще зеленое, застывшее утро. На зеркальной двери шкафа — осколок солнца — в глаза мне. Это мешает в точности выполнить установленные Скрижалью часы сна. Лучше бы всего — открыть шкаф. Но я несь — как в паутине, и паутина на глазах, нет сил встать...

Все-таки встал, открыл — и вдруг за зеркальной дверью, выпутываясь из платья, вся розовая — I. Я так привык теперь к самому невероятному, что, сколько помню — даже совершенно не удивился, ни о чем не спросил: скорей в шкаф, захлопнул за собою зеркальную дверь — и, задыхаясь, быстро, слепо, жадно соединился с I. Как сейчас вижу: сквозь дверную щель в темноте — острый солнечный луч переламинается молнией на полу, на стенке шкафа, выше — и вот это жестокое, сверкающее лезвие упало на запрокинутую, обнаженную шею I... и в этом для меня такое что-то страшное, что я не выдержал, крикнул — и еще раз открыл глаза.

Моя комната. Еще зеленое, застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца. Я — в кровати. Сон. Но еще буйно бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах пальцев, в коленях. Это — несомненно было. И я не знаю теперь: что сон — что явь; иррациональные величины пролистают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вместо твердых, шлифованных плоскостей — крутом что-то корявое, лохматое...

До звонка еще далеко. Я лежу, думаю — и разматывается чрезвычайно странная, логическая цепь.

Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего $\sqrt{-1}$, мы не знаем соответствующую

щих тел, мы никогда не видели их... Но в том-то и ужас, что эти тела — невидимые — есть, они непременно, неминуемо должны быть: потому что в математике, как на экране, проходят перед нами их причудливые, колючие тени — иррациональные формулы; и математика и смерть — никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в нашем мире, на поверхности, для них есть — неизбежно должен быть — целый огромный мир там, за поверхностью...

Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате. Моя математика — до сих пор единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни — тоже оторвалась, поплыла, закружилась. Что же, значит, эта нелепая «душа» — так же реальна, как моя юнифа, как мои сапоги — хотя я их и не вижу сейчас (они за зеркальной дверью шкафа)? И если сапоги не болезнь — почему же «душа» болезнь?

Я искал и не находил выхода из дикой логической чащи. Это были такие же неведомые и жуткие дебри, как те — за Зеленой Стеной, — и они также были необычайными, непонятными, без слов говорящими существами. Мне чудилось — сквозь какое-то толстое стекло — я вижу: бесконечно огромное и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом-жалом: $\sqrt{-1}$... А может быть, это — не что иное, как моя «душа», подобно легендарному скорпиону древних, добровольно жалящая себя всем тем, что...

Звонок. День. Все это, не умирая, не исчезая, — только прикрыто дневным светом; как видимые предметы, не умирая, — к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове — легкий, зыбкий туман. Сквозь туман — длинные, стеклянные столы; медленно, молча, в такт жующие шаро-головы. Издалека, сквозь туман потукивает метроном, и под эту привычно-ласкающую музыку я машинально, вместе со всеми, считаю до пятидесяти: пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок. И, машинально отбивая такт, опускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих — как все. Но чувствую: живу отдельно от всех, один, огороженный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой стеной — мой мир...

Но вот что: если этот мир — только мой, зачем же он в

этих записях? Зачем здесь эти нелепые «сны», шкафы, бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строгой математической поэмы в честь Единого Государства — у меня выходит какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы в самом деле это был только роман, а не теперешняя моя, исполненная иксов, $\sqrt{-1}$ и падений, жизнь.

Впрочем — может быть, все к лучшему. Вероятнее всего, вы, неведомые мои читатели, — дети по сравнению с нами (ведь мы взращены Единым Государством — следовательно, достигли высочайших, возможных для человека вершин). И как дети — только тогда вы без крика проглотите все горькое, что я вам дам, когда это будет тщательно обложено густым приключенческим сиропом...

ВЕЧЕРОМ:

Знакомо ли вам это чувство: когда на аэро мчишься наввысь по синей спирали, окно открыто, в лицо свистит вихрь — земли нет, о земле забываешь, земля так же далеко от вас, как Сатурн, Юпитер, Венера? Так я живу теперь, в лицо — вихрь, и я забыл о земле, я забыл о милой, розовой О. Но все же земля существует, раньше или позже — надо спланировать на нее, и я только закрываю глаза перед тем днем, где на моей Сексуальной Табели стоит ее имя — имя О—90...

Сегодня вечером далекая земля напомнила о себе.

Чтобы выполнить предписание доктора (я искренне, искренне хочу выздороветь) — я целых два часа бродил по стеклянным, прямолинейным пустыням проспектов. Все, согласно Скрижали, были в аудиториумах, и только я один... Это было, в сущности, противоестественное зрелище: вообразите себе человеческий палец, отрезанный от целого, от руки — отдельный человеческий палец, сутуло согнувшись, припрыгивая бежит по стеклянному тротуару. Этот палец — я. И страннее, противоестественнее всего, что пальцу вовсе не хочется быть на руке, быть с другими: или — вот так, одному, или... Ну да, мне уж больше нечего скрывать: или вдвоем с нею — с той, опять так же нереливая в нее всего себя сквозь плечо, сквозь сплетенные пальцы рук...

Домой я вернулся, когда солнце уже садилось. Вечерний розовый пепел — на стекле стен, на золоте шпица аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных номеров. Не странно ли: потухающие солнечные лучи падают под тем же точно углом, что и загорающиеся утром, а все — совершенно иное, иная эта розовость — сейчас очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром — опять будет звонкая, шипучая.

И вот внизу, в вестибюле, из-под груды покрытых розовым пеплом конвертов — Ю, контролерша, вытащила и подала мне письмо. Повторяю: это — очень почтенная женщина, и я уверен — у нее наилучшие чувства ко мне.

И все же, всякий раз, как я вижу эти обвисшие, похожие на рыбы жабры щеки, — мне почему-то неприятно.

Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо — Ю вздохнула. Но этот вздох только чуть колыхнул ту занавесь, какая отделяла меня от мира: я весь целиком спроектирован был на дрожавший в моих руках конверт, где — я не сомневался — письмо от I.

Здесь — второй вздох, настолько явно, двумя чертами подчеркнутый, что я оторвался от конверта — и увидел: между жабер, сквозь стыдливые жалюзи спущенных глаз — нежная, обволакивающая, ослепляющая улыбка. А затем:

— Бедный вы, бедный, — вздох с тремя чертами и кивок на письмо, чуть приметный (содержание письма она, по обязанности, — естественно, знала).

— Нет, право, я... Почему же?

— Нет, нет, дорогой мой: я знаю вас лучше, чем вы сами. Я уж давно приглядываюсь к вам — и вижу: нужно, чтобы об руку с вами в жизни шел кто-нибудь, уж долгие годы изучавший жизнь...

Я чувствую: весь облеплен ее улыбкой — это пластырь на те раны, какими сейчас покроеет меня это дрожащее в моих руках письмо. И наконец — сквозь стыдливые жалюзи — совсем тихо:

— Я подумаю, дорогой, я подумаю. И будьте покойны: если я почувствую в себе достаточно силы — нет-нет, я сначала еще должна подумать...

Благодетель великий! Неужели мне суждено... неужели она хочет сказать, что — —

В глазах у меня — рябь, тысячи синусоид, письмо прыгает. Я подхожу ближе к свету, к стене. Там потухает солнце, и оттуда — на меня, на пол, на мои руки, на письмо все гуще темно-розовый, печальный пепел.

Конверт взорван — скорее подпись — и рана — это не I, это... О. И еще рана: на листочке снизу, в правом углу — расплывшаяся клякса, — сюда капнуло... Я не выношу клякс — все равно: от чернил они или от... все равно от чего. И знаю — раньше — мне было бы просто неприятно, неприятно глазам — от этого неприятного пятна. Но почему же теперь это серенькое пятнышко — как туча, и от него — все свинцовое и все темнее? Или это опять — «душа»?

ПИСЬМО:

«Вы знаете... или, может быть, вы не знаете — я не могу как следует писать — все равно: сейчас вы знаете, что без вас у меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни одной весны. Потому что R для меня только... ну, да это не важно вам. Я ему, во всяком случае, очень благодарна: одна без него, эти дни — я бы не знаю что... За эти дни и ночи я прожила десять или, может быть, двадцать лет. И будто комната у меня — не четырехугольная, а круглая, и без конца — кругом, кругом, и все одно и то же, и нигде никаких дверей.

Я не могу без вас — потому что я вас люблю. Потому что я вижу, я понимаю: вам теперь никто, никто на свете не нужен, кроме той, другой, и — понимаете: именно, если я вас люблю, я должна — —

Мне нужно еще только два-три дня, чтобы из кусочков меня кой-как склеить хоть чуть похожее на прежнюю ()—90, — и я пойду и сделаю сама заявление, что снимаю свою запись на вас, и вам должно быть лучше, вам должно быть хорошо. Больше никогда не буду, простите.

О».

Больше никогда. Так, конечно, лучше: она права. Но отчего же, отчего — —

Запись 19-я.

Конспект:

БЕСКОНЕЧНО МАЛАЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА. ИСПОДЛОБНЫЙ. ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ

Там, в странном коридоре с дрожащим пунктиром тусклых лампочек... или нет, нет — не там: позже, когда мы уже были с нею в каком-то затерянном уголке на дворе Древнего Дома, — она сказала: «послезавтра». Это «послезавтра» — сегодня, и все — на крыльях, день — летит, и наш «Интеграл» уже крылатый: на нем кончили установку ракетного двигателя и сегодня пробовали его вхолостую. Какие великолепные, могучие залпы, и для меня каждый из них — салют в честь той, единственной, в честь сегодня.

При первом ходе (= выстреле) под дулом двигателя оказался с десяток зазевавшихся номеров из нашего эллинга — от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажки. С гордостью записываю здесь, что ритм нашей работы не споткнулся от этого ни на секунду, никто не вздрогнул; и мы, и наши станки — продолжали свое прямолинейное и круговое движение все с той же точностью, как будто бы ничего не случилось. Десять номеров — это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах — это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна.

И мне смешно, что вчера я мог задумываться — и даже записывать на эти страницы — о каком-то жалком сереньком пятнышке, о какой-то кляксе. Это — все то же самое «размягчение поверхности», которая должна быть алмазно-тверда — как наши стены (древняя поговорка: «как об стену горох»).

Шестнадцать часов. На дополнительную прогулку я не пошел: как знать, быть может, ей вздумается именно сейчас, когда все звенит от солнца...

Я — почти один в доме. Сквозь просолнеченные стены — мне далеко видно вправо и влево и вниз — повисшие в воздухе, пустые, зеркально повторяющие одна другую комнаты. И только по голубоватой, чуть прочерненной

солнечной тушью лестнице — медленно скользит вверх тощая, серая тень. Вот уже слышны шаги — и я вижу сквозь дверь — я чувствую: ко мне прилеплена пластырь-улыбка — и затем мимо, по другой лестнице — вниз...

Щелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый прорез — и... и какой-то незнакомый мне мужской (с согласной буквой) номер. Прогудел, хлопнул лифт. Передо мною — небрежно, набекрень нахлобученный лоб, а глаза... очень странное впечатление: как будто он говорил оттуда, изподлобья, где глаза.

— Вам от нее письмо (изподлобья, из-под навеса)... Просила, чтобы непременно — все, как там сказано.

Изподлобья, из-под навеса — кругом. Да никого, никого нет, ну, давай же! Еще раз оглянувшись, он сунул мне конверт, ушел. Я один.

Нет, не один: из конверта — розовый талон и — чуть приметный — ее запах. Это она, она придет, придет ко мне. Скорее — письмо, чтобы прочитать это своими глазами, чтобы поверить в это до конца...

Что? Не может быть! Я читаю еще раз — перепрыгиваю через строчки: «Талон... и непременно спустите шторы, как будто я и в самом деле у вас... Мне необходимо, чтобы думали, что я... мне очень, очень жаль...»

Письмо — в клочья. В зеркале на секунду — мои исковерканные, сломанные брови. Я беру талон, чтобы и его так же, как ее записку — —

«Просила, чтоб непременно все, — как там сказано».

Руки ослабели, разжались. Талон выпал из них на стол. Она — сильнее меня, и я, кажется, сделаю так, как она хочет. А впрочем... впрочем, не знаю: увидим — до вечера еще далеко... Талон лежит на столе.

В зеркале мои исковерканные, сломанные брови. Отчего и на сегодня у меня нет докторского свидетельства, пойти бы ходить, ходить без конца, кругом всей Зеленой (тены — и потом свалиться в кровать — на дно... А я должен — в 13-й аудиториум, я должен накрепко завинтить некого себя, чтобы два часа — два часа, не шевелясь... когда надо кричать, топтать.

Лекция. Очень странно, что из сверкающего аппарата — не металлический, как обычно, а какой-то мягкий, мохнатый, моховой голос. Женский — мне мелькает она

такую, какую когда-то жила: маленькая — крючочек-старушка, вроде той — у Древнего Дома.

Древний Дом... и все сразу — фонтаном — снизу, и мне нужно изо всех сил завинтить себя, чтобы не затопить криком весь аудиториум. Мягкие, мохнатые слова — сквозь меня, и от всего остается только одно: что-то — о детях, о детоводстве. Я — как фотографическая пластинка: все отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной точностью: золотой серп — световой отблеск на громкоговорителе; под ним — ребенок, живая иллюстрация — тянется к сердцу; засунут в рот подол микроскопической юнифы; крепко стиснутый кулачок, большой (вернее — очень маленький) палец зажат внутрь — легкая, пухлая тень — складочка на запястьи. Как фотографическая пластинка — я отпечатываю: вот теперь голая нога — перевесилась через край, розовый веер пальцев ступает на воздух — вот сейчас, сейчас об пол —

И — женский крик, на эстраду взмахнула прозрачными крыльями юнифа, подхватила ребенка — губами — в пухлую складочку на запястье, сдвинула на середину стола, спускается с эстрады. Во мне печатается: розовый — рожками книзу — полумесяц рта, налитые до краев синие блюдечки-глаза. Это — О. И я, как при чтении какой-нибудь стройной формулы, — вдруг ощущаю необходимость, закономерность этого ничтожного случая.

Она села чуть-чуть сзади меня и слева. Я оглянулся: она послушно отвела глаза от стола с ребенком, глазами — в меня, во мне, и опять: она, я и стол на эстраде — три точки, и через эти точки — прочерчены линии, проекции каких-то неминуемых, еще невидимых событий.

Домой — по зеленой, сумеречной, уже глазастой от огней улице. Я слышал: весь тикаю — как часы. И стрелки во мне — сейчас перешагнут через какую-то цифру, я сделаю что-то такое, что уже нельзя будет назад. Ей нужно, чтобы кто-то там думал: она — у меня. А мне нужна она, и что мне за дело до ее «нужно». Я не хочу быть чужими шторами — не хочу, и все.

Сзади — знакомая, плюхающая, как по лужам, походка. Я уже не оглядываюсь, знаю: S. Пойдет за мною до самых дверей — и потом, наверное, будет стоять внизу, на тротуаре, и буравчиками ввинчиваться туда, наверх, в

мою комнату — пока там не упадут, скрывая чье-то преступление, шторы...

Он, Ангел-Хранитель, поставил точку. Я решил: нет. Я решил.

Когда я поднялся в комнату и повернул выключатель — я не поверил глазам: возле моего стола стояла О. Или, вернее, — висела: так висит пустое, снятое платье — под платьем у нее как будто уж не было ни одной пружины, беспружинными были руки, ноги, беспружинный, ви-сячий голос.

— Я — о своем письме. Вы получили его? Да? Мне нужно знать ответ, мне нужно — сегодня же.

Я пожал плечами. Я с наслаждением — как будто она была во всем виновата — смотрел на ее синие, полные до краев глаза — медлил с ответом. И, с наслаждением, втыкая в нее по одному слову, сказал:

— Ответ? Что ж... Вы правы. Безусловно. Во всем.

— Так, значит... — улыбкою прикрыта мельчайшая дрожь, но я вижу. — Ну очень хорошо! Я сейчас — я сейчас уйду.

И висела над столом. Опушенные глаза, ноги, руки. На столе еще лежит скомканный розовый талон т о й. Я быстро развернул эту свою рукопись — «МЫ» — ее страницами прикрыл талон (быть может, больше от самого себя, чем от О).

— Вот — все пишу. Уже 170 страниц... Выходит такое что-то неожиданное...

Голос — тень голоса:

— А помните... я вам тогда на седьмой странице... И вам тогда капнула — и вы...

Синие блюдечки — через край, неслышные, торопливые капли — по щекам, вниз, торопливые через край — слова:

— Я не могу, я сейчас уйду... я никогда больше, и пусть. Но только я хочу — я должна от вас ребенка — оставьте мне ребенка, и я уйду, я уйду!

Я видел: она вся дрожала под юнифой, и чувствовал: я тоже сейчас — Я заложил назад руки, улыбнулся:

— Что? Захотелось Машины Благодетеля?

И на меня — все так же, ручьями через плотины — слова:

— Пусть! Но ведь я же почувствую — я почувствую его в себе. И хоть несколько дней... Увидеть — только раз уви-

деть у него складочку вот тут — как там — как на столе. Один день!

Три точки: она, я — и там на столе кулачок с пухлой складочкой...

Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумуляторную башню. На самом верхнем пролете я перегнулся через стеклянный парапет, внизу — точки-люди, и сладко тикнуло сердце: «А что, если?» Тогда я только еще крепче схватился за поручни; теперь — я прыгнул вниз.

— Так вы хотите? Совершенно сознавая, что...

Закрытые — как будто прямо в лицо солнцу — глаза. Мокрая, сияющая улыбка.

— Да, да! Хочу!

Я выхватил из-под рукописи розовый талон — т о й — и побежал вниз, к дежурному. О схватила меня за руку, что-то крикнула, но что — я понял только потом, когда вернулся.

Она сидела на краю постели, руки крепко зажаты в коленях.

— Это... это ее талон?

— Не все ли равно. Ну — ее, да.

Что-то хрустнуло. Скорее всего — О просто шевельнулась. Сидела, руки в коленях, молчала.

— Ну? Скорее... — я грубо стиснул ей руку, и красные пятна (завтра — синяки) у ней на запястье, там — где пухлая детская складочка.

Это — последнее. Затем — повернут выключатель, мысли гаснут, тьма, искры — и я через парапет вниз...

Запись 20-я.

Конспект:

РАЗРЯД. МАТЕРИАЛ ИДЕЙ. НУЛЕВОЙ УТЕС

Разряд — самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно как электрический разряд. Пульс моих последних дней становится все суше, все чаще, все напряженней — полюсы все ближе — сухое потрескивание — еще миллиметр: взрыв, потом — тишина.

Во мне теперь очень тихо и пусто — как в доме, когда

все ушли и лежишь один, больной, и так ясно слышишь отчетливое, металлическое постукивание мыслей.

Быть может, этот «разряд» излечил меня наконец от моей мучительной «души» — и я снова стал как все мы. По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно вижу О на ступенях Куба, вижу ее в Газовом Колоколе. И если там, в Операционном, она назовет мое имя — пусть: в последний момент — я набожно и благодарно лобызну карающую руку Благодетеля. У меня по отношению к Единому Государству есть это право — понести кару, и этого права я не уступлю. Никто из нас, нумеров, не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего — и тем ценнейшего — права.

...Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли; неведомый аэро уносит меня в синюю высь моих любимых абстракций. И я вижу, как здесь — в чистейшем, разреженном воздухе — с легким треском, как пневматическая шина, — лопается мое рассуждение «о действенном праве». И я вижу ясно, что это только отрывка нелепого предрассудка древних — их идеи о «праве».

Есть идеи глиняные — и есть идеи, навеки изваянные из золота или драгоценного нашего стекла. И, чтобы определить материал идеи, нужно только капнуть на него сильнодействующей кислотой. Одну из таких кислот знали и древние: *redictio ad finem* (лат). Кажется, это называлось у них так; но они боялись этого яда, они предпочитали видеть хоть какое-нибудь, хоть глиняное, хоть игрушечное небо, чем синее ничто. Мы же — слава Благодетелю — взрослые, и игрушки нам не нужны.

Так вот — если капнуть на идею «права». Даже у древних — наиболее взрослые знали: источник права — сила, право — функция от силы. И вот — две чашки весов: на одной грамм, на другой — тонна, на одной — «я», на другой — «Мы», Единое Государство. Не ясно ли: допускать, что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению к Государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну, — это совершенно одно и то же. Отсюда — распределение: тонна — права, грамму — обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты — грамм, и почувствовать себя миллионной долей тонны...

Вы, пышнотелые, румяные венеряне, вы, закопченные, как кузнецы, ураниты, — я слышу в своей синей ти-

шине ваш ропот. Но поймите же вы: все великое — просто; поймите же: незыблемы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, незыблемой, вечной — пребудет только мораль, построенная на четырех правилах. Это — последняя мудрость, это — вершина той пирамиды, на которую люди — красные от пота, брыкаясь и хрипя, карабкались веками. И с этой вершины — там, на дне, где ничтожными червями еще копошится нечто, уцелевшее в нас от дикости предков, — с этой вершины одинаковы: и противозаконная мать — О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бросить стихом в Единое Государство; и одинаков для них суд: довременная смерть. Это — то самое божественное правосудие, о каком мечтали каменнодомовые люди, освещенные розовыми наивными лучами утра истории: их «Бог» — хулу на Святую Церковь — карал так же, как убийство.

Вы, ураниты, — суровые и черные, как древние испанцы, мудро умевшие сжигать на кострах, — вы молчите, мне кажется, вы — со мною. Но я слышу: розовые венеры — что-то там о пытках, казнях, о возврате к варварским временам. Дорогие мои, мне жаль вас — вы не способны философски-математически мыслить.

Человеческая история идет вверх кругами — как аэро. Круги разные — золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от нуля — вперед: 10, 20, 200, 360 градусов — опять нуль. Да, мы вернулись к нулю, — да. Но для моего математически мыслящего ума ясно: нуль — совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо — мы вернулись к нулю слева и потому: вместо плюса нуль — у нас минус нуль. Понимаете?

Этот Нуль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож, утесом. В свирепой, косматой темноте, затаив дыхание, мы отчалили от черной ночной стороны Нулевого Утеса. Века — мы, Колумбы, плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом, и, наконец, ура! Салют — и все на мачты: перед нами — другой, дотоле неведомый бок Нулевого Утеса, озаренный полярным сиянием Единого Государства, голубая глыба, искры радуги, солнца — сотни солнц, миллиарды радуг...

Что из того, что лишь толщиной ножа отделены мы от другой, черной стороны Нулевого Утеса. Нож — самое прочное, самое бессмертное, самое гениальное из всего,

созданного человеком. Нож — был гильотиной, нож — универсальный способ разрешить все узлы, и по острию ножа идет путь парадоксов — единственно достойный бесстрашного ума путь...

Запись 21-я.

Конспект: АВТОРСКИЙ ДОЛГ. ЛЕД НАБУХАЕТ. САМАЯ ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ

Вчера был ее день, а она — опять не пришла, и опять от нее — невнятная, ничего не разъясняющая записка. Но я спокоен, совершенно спокоен. Если я все же поступаю так, как это продиктовано в записке, если я все же отношу к дежурному ее талон и затем, опустив шторы, сижу у себя в комнате один — так это, разумеется, не потому, чтобы я был не в силах идти против ее желания. Смешно! Конечно, нет. Просто — отделенный шторами от всех пластырецидентальных улыбок, я могу спокойно писать вот эти самые страницы, это первое. И второе: в ней, в I, я боюсь потерять, быть может, единственный ключ к раскрытию всех неизвестных (история со шкафом, моя временная смерть и так далее). А раскрыть их — я теперь чувствую себя обязанным, просто даже как автор этих записей, не говоря уже о том, что вообще неизвестное органически враждебно человеку, и homo sapiens — только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни восклицательные, запятые и точки.

И вот, руководимый, как мне кажется, именно авторским долгом, сегодня в 16 я взял аэро и снова отправился в Древний Дом. Был сильный встречный ветер. Аэро с трудом продирался сквозь воздушную чашу, прозрачные ветви свистели и хлестали. Город внизу — весь будто из голубых глыб льда. Вдруг — облако, быстрая косая тень, лед свинцовеет, набухает, как весной, когда стоишь на берегу и ждешь: вот сейчас все треснет, хлынет, закрутится, понесет; но минута за минутой, а лед все стоит, и сам набухаешь, сердце бьется все беспокойней, все чаще (впрочем, зачем пишу я об этом и откуда эти странные ощущения?

Потому что ведь нет такого ледокола, какой мог бы взломать прозрачайший и прочнейший хрусталь нашей жизни...»

У входа в Древний Дом — никого. Я обошел кругом и увидел старуху-привратницу возле Зеленой Стены: поставила козырьком руку, глядит вверх. Там над Стеной — острые, черные треугольники каких-то птиц: с карканием бросаются на приступ — грудью о прочную ограду из электрических волн — и назад, и снова над Стеною.

Я вижу: по темному, заросшему морщинами лицу — косые, быстрые тени, быстрый взгляд на меня.

— Никого, никого, никого нету! Да! И ходить незачем. Да...

То есть как это незачем? И что это за странная манера — считать меня только чьей-то тенью. А может быть, сами вы все — мои тени. Разве я не населил вами эти страны — еще недавно четырехугольные белые пустыни. Без меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам строк?

Всего этого я, разумеется, не сказал ей; по собственному опыту я знаю: самое мучительное — это заронить в человека сомнение в том, что он — реальность, трехмерная — а не какая-либо иная — реальность. Я только сухо заметил ей, что ее дело открывать дверь, и она впустила меня во двор.

Пусто. Тихо. Ветер — там, за стенами, далекий, как тот день, когда мы плечом к плечу, двое-одно, вышли снизу, из коридоров, — если только это действительно было. Я шел под какими-то каменными арками, где шаги, ударившись о сырые своды, падали позади меня, — будто все время другой шагал за мной по пятам. Желтые — с красными кирпичными прыщами — стены следили за мной сквозь темные квадратные очки окон, следили, как я открывал певучие двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики, закоулки. Калитка в заборе и пустырь — памятник Великой Двухсотлетней Войны: из земли — голые каменные ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы — навеки окаменевший корабль среди каменных желтых и красных кирпичных всплесков.

Показалось: именно эти желтые зубы я уже видел однажды — неясно, как на дне, сквозь толщу воды, — и я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни,

ржавые лапы хватали меня за юнифу, по лбу ползли вниз, в глаза, остросоленые капли пота...

Нигде! Тогдашнего выхода снизу из коридоров я нигде не мог найти — его не было. А впрочем — так, может быть, и лучше: больше вероятия, что все это — был один из моих нелепых «снов».

Усталый, весь в какой-то паутине, в пыли — я уже открыл калитку — вернуться на главный двор. Вдруг сзади — шорох, хлюпающие шаги и передо мною — розовые крылья-уши, двоякоизогнутая улыбка S.

Он, прищурившись, ввинтил в меня свои буравчики и спросил:

— Прогуливаетесь?

Я молчал. Руки мешали.

— Ну что же, теперь лучше себя чувствуете?

— Да, благодарю вас. Кажется, прихожу в норму.

Он отпустил меня — поднял глаза вверх. Голова запрокинута — и я в первый раз заметил его кадык.

Вверху невысоко — метрах в 50 — жужжали аэро. По их медленному низкому лету, по спущенным вниз черным хоботам наблюдательных труб — я узнал аппараты Хранителей. Но их было не два и не три, как обычно, а от десяти до двенадцати (к сожалению, должен ограничиться приблизительной цифрой).

— Отчего их так сегодня много? — взял я на себя смелость спросить.

— Отчего? Гм... Настоящий врач — начинает лечить еще здорового человека, такого, какой заболит еще только завтра, послезавтра, через неделю. Профилактика, да!

Он кивнул, заплюхал по каменным плитам двора. Потом обернулся — и через плечо мне:

— Будьте осторожны!

Я один. Тихо. Пусто. Далеко над Зеленой Стеной мечутся птицы, ветер. Что он этим хотел сказать?

Аэро быстро скользит по течению. Легкие, тяжелые тени от облаков, внизу — голубые купола, кубы из стеклянного льда — свинцуют, набухают...

ВЕЧЕРОМ:

Я раскрыл свою рукопись, чтобы занести на эти страницы несколько, как мне кажется, полезных (для вас, читатели) мыслей о великом Дне Единогласия — этот день

уже близок. И увидел: не могу сейчас писать. Все время вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о стекло стен, все время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю. И когда в комнате у меня появились знакомые коричневато-розовые жабры — я был очень рад, говорю чистосердечно. Она села, целомудренно оправила запавшую между колен складку юнифы, быстро обклеила всего меня улыбками — по кусочку на каждую из моих трещин, — и я почувствовал себя приятно, крепко связанным.

— Понимаете, прихожу сегодня в класс (она работает на Детско-воспитательном Заводе) — и на стене карикатура. Да, да, уверяю вас! Они изобразили меня в каком-то рыбьем виде. Быть может, я и на самом деле...

— Нет, нет, что вы, — поторопился я сказать (вблизи, в самом деле, ясно, что ничего похожего на жабры нет, и у меня о жабрах — это было совершенно неуместно).

— Да в конце концов — это и не важно. Но, понимаете: самый поступок. Я, конечно, вызвала Хранителей. Я очень люблю детей, и я считаю, что самая трудная и высокая любовь — это жестокость, — вы понимаете?

Еще бы! Это так пересекалось с моими мыслями. Я не утерпел и прочитал ей отрывок из своей 20-й записи, начиная отсюда: «Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли...»

Не глядя, я видел, как вздрагивают коричнево-розовые щеки и они двигаются ко мне все ближе, и вот в моих руках — сухие, твердые, даже слегка покалывающие пальцы.

— Дайте — дайте это мне! Я сфографирую это и поставлю детей выучить наизусть. Это нужно не столько нашим венерьянам, сколько нам, нам — сейчас, завтра, послезавтра.

Она оглянулась — и совсем тихо:

— Вы слышали: говорят, что в День Единогласия...

Я вскочил:

— Что — что говорят? Что — в День Единогласия?

Уютных стен уже не было. Я мгновенно почувствовал себя выброшенным туда, наружу, где над крышами метался огромный ветер и косые сумеречные облака — все ниже...

Ю обхватила меня за плечи решительно, твердо (хотя я

заметил: резонируя мое волнение — косточки ее пальцев дрожали).

— Сядьте, дорогой, не волнуйтесь. Мало ли что говорят... И потом: если только вам это нужно — в этот день я буду около вас, я оставлю своих детей из школы на кого-нибудь другого — и буду с вами, потому что ведь вы, дорогой, вы — тоже дитя, и вам нужно...

— Нет, нет, — замахал я, — ни за что! Тогда вы в самом деле будете думать, что я какой-то ребенок — что я один не могу... Ни за что! (сознаюсь: у меня были другие планы относительно этого дня).

Она улыбнулась; неписанный текст улыбки, очевидно, был: «Ах, какой упрямый мальчик!» Потом села. Глаза опущены. Руки стыдливо оправляют снова запавшую между колен складку юнифы — и теперь о другом:

— Я думаю, что я должна решиться... ради вас... Нет, умоляю вас: не торопите меня, я еще должна подумать...

Я не торопил. Хотя и понимал, что должен быть счастлив и что нет большей чести, чем увенчать собою чьи-нибудь вечерние годы.

...Всю ночь — какие-то крылья, и я хожу и закрываю голову руками от крыльев. А потом — стул. Но стул — не наш, теперешний, а древнего образца, из дерева. Я перебираю ногами, как лошадь (правая передняя — и левая задняя, левая передняя и правая задняя), стул подбегает к моей кровати, влезает на нее — и я люблю деревянный стул: неудобно, больно.

Удивительно: неужели нельзя придумать никакого средства, чтобы излечить эту сноблезнь или сделать ее разумной — может быть, даже полезной.

Запись 22-я.

Конспект:

ОЦЕПЕНЕВШИЕ ВОЛНЫ.

ВСЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. Я — МИКРОБ

Вы представьте себе, что стоите на берегу: волны — мерно вверх; и поднявшись — вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и это — когда внезапно спуталась, смешалась, остано-

лась наша, предписанная Скрижалью, прогулка. Последний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую чащу прогулки, со свистом и дымом, свалился с неба метеорит.

Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены воины на ассирийских памятниках: тысяча голов — две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта — там, где грозно гудела аккумулярующая башня, — навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди, сзади — стража; в середине трое, на унифах этих людей — уже нет золотых номеров — и все до жути ясно.

Огромный циферблат на вершине башни — это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут — в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая, длинная шея и на виске — путаный переплет голубых жилок, как реки на географической карте маленького неведомого мира, и этот неведомый мир — видимо, юноша. Вероятно, он заметил кого-то в наших рядах: поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражи щелкнул по нему синеватой искрой электрического кнута; он тонко, пощечнячи, взвизгнул. И затем — четкий щелк, приблизительно каждые 2 секунды — и взвизг, щелк — взвизг.

Мы по-прежнему мерно, ассирийски, шли — и я, глядя на изящные зигзаги искр, думал: «Все в человеческом обществе безгранично совершенствуется — и должно совершенствоваться. Каким безобразным орудием был древний кнут — и сколько красоты...»

Но здесь, как соскочившая на полном ходу гайка, от наших рядов оторвалась тонкая, упругогибкая женская фигура и с криком: «Довольно! Не смей!» — бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было — как метеор — 119 лет назад: вся прогулка застыла и наши ряды — серые гребни скованных внезапным морозом волн.

Секунду я смотрел на нее посторонние, как и все: она уже не была номером — она была только человеком, она существовала только как метафизическая субстанция оскорбления, нанесенного Единому Государству. Но одно какое-то ее движение — заворачивая, она согнула бедра налево — и мне вдруг ясно: я знаю, я знаю это гибкое, как

хлыст, тело — мои глаза, мои губы, мои руки знают его — в тот момент я был в этом совершенно уверен.

Двое из стражи — наперерез ей. Сейчас — в пока еще ясной, зеркальной точке мостовой — их траектории пересекутся — сейчас ее схватят... Сердце у меня глотнуло, остановилось — и не рассуждая: можно, нельзя, нелепо, разумно — я кинулся в эту точку...

Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно веселой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвался из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага, она обернулась —

Передо мною дрожащее, забрызганное веснушками, лицо, рыжие брови... Не она! не I.

Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то вроде: «Так ее!» «Держи ее!» — но слышу только свой шепот. А на плече у меня — уже тяжелая рука, меня держат, ведут, я пытаюсь объяснить им...

— Послушайте, но ведь вы же должны понять, что я думал, что это...

Но как объяснить всего себя, всю свою болезнь, записанную на этих страницах. И я потухаю, покорно иду... Лист, сорванный с дерева неожиданным ударом ветра, покорно падает вниз, но по пути кружится, цепляется за каждую знакомую ветку, развилку, сучок: так я цеплялся за каждую из безмолвных шаров-голов, за прозрачный лед стен, за воткнутую в облако голубую иглу аккумуляторной башни.

В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я увидел: невдалеке, размахивая розовыми руками-крыльями, над зеркалом мостовой скользила знакомая, громадная голова. И знакомый, сплюснутый голос:

— Я считаю долгом засвидетельствовать, что номер Д-503 — болен и не в состоянии регулировать своих чувств. И я уверен, что он увлечен был естественным негодованием...

— Да, да, — ухватился я. — Я даже крикнул: держи ее!

Сзади, за плечами:

— Вы ничего не кричали.

— Да, но я хотел — клянусь Благодетелем, я хотел.

Я на секунду провинчен серыми, холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это (почти)

правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня, но только он написал записочку, отдал ее одному из державших меня, — и я снова свободен, то есть, вернее, снова заключен в стройные, бесконечные, ассирийские ряды.

Четырехугольник, и в нем веснушчатое лицо, и висок с географической картой голубых жилок — скрылись за углом, навеки. Мы идем — одно миллионноголовое тело, и в каждом из нас — та смиренная радость, какую, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире — это понимали христиане, единственные наши (хотя и очень несовершенные) предшественники: смирение — добродетель, а гордыня — порок, и что — «Мы» — от Бога, а «Я» — от диавола.

Вот я — сейчас в ногу со всеми — и все-таки отдельно от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений, как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, создают свою индивидуальность — только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь.

Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно пожирающий микробов (с голубым виском и веснушчатых): я, быть может, микроб, и, может быть, их — уже тысяча среди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами...

Что, если сегодняшнее, в сущности, маловажное происшествие — что, если все это только начало, только первый метеорит из целого ряда грохочущих горящих камней, высыпанных бесконечностью на наш стеклянный рай?

Запись 23-я.

Конспект:

ЦВЕТЫ. РАСТВОРЕНИЕ КРИСТАЛЛА. ЕСЛИ ТОЛЬКО

Говорят, есть цветы, которые распускаются только раз в сто лет. Отчего же не быть и таким, какие цветут раз в тысячу — в десять тысяч лет. Может быть, об этом до сих пор мы не знали только потому, что именно сегодня произошло это раз-в-тысячу-лет.

И вот, блаженно и пьяно, я иду по лестнице вниз, к дежурному, и быстро у меня на глазах, всюду крутом неслышно лопаются тысячелетние почки и расцветают кресла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, оброненный на ступенях платок, столик дежурного, над столиком — нежно-коричневые, с крапинками щеки Ю. Все — необычайное, новое, нежное, розовое, влажное.

Ю берет у меня розовый талон, а над головой у ней — сквозь стекло стены — свешивается с невиданной ветки луна, голубая, пахучая. Я с торжеством показываю пальцем и говорю:

— Луна. — понимаете?

Ю взглядывает на меня, потом на номер талона — и я вижу это ее знакомое, такое очаровательно-целомудренное движение: поправляет складки юнифы между углами колен.

— У вас, дорогой, ненормальный, болезненный вид — потому что ненормальность и болезнь одно и то же. Вы себя губите, и вам этого никто не скажет — никто.

Это «никто» — конечно, равняется номеру на талоне: I—330. Милая, чудесная Ю! Вы, конечно, правы: я — неблагодарен, я — болен, у меня — душа, я — микроб. Но разве цветение — не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид — страшнейший из микробов?

Я — наверну, у себя в комнате. В широко раскрытой чашечке кресла I. Я на полу, обнял ее ноги, моя голова у ней на коленях, мы молчим. Тишина, пульс... итак: я — кристалл, и я растворяюсь в ней, в I. Я совершенно ясно чувствую, как тают, тают ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани — я исчезаю, растворяюсь в ее коленях, в ней, я становлюсь все меньше — и одновременно все шире, все больше, все необъятней. Потому что она — это не она, а Вселенная. А вот на секунду я и это пронизанное радостью кресло возле кровати — мы одно: и великолепно улыбающаяся старуха у дверей Древнего Дома, и дикие дебри за Зеленой Стеной, и какие-то серебряные на черном развалины, дремлющие, как старуха, и где-то, невероятно далеко, сейчас хлопнувшая дверь — это все во мне, вместе со мною, слушает удары пульса и несется сквозь блаженную секунду...

В нелепых, спутанных, затопленных словах я пытаюсь рассказать ей, что я — кристалл, и потому во мне — дверь, и потому я чувствую, как счастливо кресло. Но выходит такая бессмыслица, что я останавливаюсь, мне просто стыдно: я — и вдруг...

— Милая I, прости меня! Я совершенно не понимаю: я говорю такие глупости...

— Отчего же ты думаешь, что глупость — это не хорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками, так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное.

— Да... (Мне кажется, она права, — как она может сейчас быть не права?)

— И за одну твою глупость — за то, что ты сделал вчера на прогулке, — я люблю тебя еще больше — еще больше.

— Но зачем же ты меня мучила, зачем же не приходила, зачем присылала свои талоны, зачем заставляла меня...

— А может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я захочу, — что ты уж совсем мой?

— Да, совсем!

Она взяла мое лицо — всего меня — в свои ладони, подняла мою голову:

— Ну, а как же ваши «обязанности всякого честного номера»? А?

Сладкие, острые, белые зубы; улыбка. Она в раскрытой чашечке кресла — как пчела: в ней жало и мед.

Да, обязанности... Я мысленно перелистываю свои последние записи: в самом деле, нигде даже и мысли о том, что, в сущности, я бы должен...

Я молчу. Я восторженно (и, вероятно, глупо) улыбаюсь, смотрю в ее зрачки, перебегаю с одного на другой, и в каждом из них вижу себя: я — крошечный, миллиметровый — заключен в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять — пчелы — губы, сладкая боль цветения...

В каждом из нас, нумеров, есть какой-то невидимый, тихо тикающий метроном, и мы, не глядя на часы, с точностью до 5 минут знаем время. Но тогда — метроном во мне остановился, я не знал, сколько прошло, в испуге схватил из-под подушки бляху с часами...

Слава Благодетелю: еще двадцать минут! Но минуты — такие до смешного коротенькие, куцые, бегут, а мне нуж-

но столько рассказать ей — все, всего себя: о письме О, и об ужасном вечере, когда я дал ей ребенка; и почему-то о своих детских годах — о математике Пляпе, о У — I, и как я в первый раз был на празднике Единогласия и горько плакал, потому что у меня на юнифе — в такой день — оказалось чернильное пятно.

I подняла голову, оперлась на локоть. По углам губ — две длинные, резкие линии — и темный угол поднятых бровей: крест.

— Может быть, в этот день... — Остановилась, и брови еще темнее. Взяла мою руку, крепко сжала ее. — Скажи, ты меня не забудешь, ты всегда будешь обо мне помнить?

— Почему ты так? О чем ты? I, милая?

I молчала, и ее глаза уже — мимо меня, сквозь меня, далекие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями (разумеется — это было и все время, но услышал я только сейчас), и почему-то вспомнились пронзительные птицы над вершиной Зеленой Стены.

I встряхнула головой, сбросила с себя что-то. Еще раз, секунду, коснулась меня вся — так аэро секундно, пружинно касается земли, перед тем как сесть.

— Ну, давай мои чулки! Скорее!

Чулки — брошены у меня на столе, на раскрытой (193-й) странице моих записей. Второпях я задел за рукопись, страницы рассыпались, и никак не сложить по порядку, а главное — если и сложить, все равно — не будет настоящего порядка, все равно — останутся какие-то пороги, ямы, иксы.

— Я не могу так, — сказал я. — Ты — вот — здесь, рядом, и будто все-таки за древней непрозрачной стеной: я слышу сквозь стены шорохи, голоса — и не могу разобрать слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты все время что-то недоговариваешь, ты ни разу не сказала мне, куда я тогда попал в Древнем Доме, и какие коридоры, и почему доктор, — или, может быть, ничего этого не было?

I положила мне руки на плечо, медленно, глубоко вошла в глаза.

— Ты хочешь узнать все?

— Да, хочу. Должен.

— И ты не побоишься пойти за мной всюду, до конца — куда бы я тебя ни повела?

— Да, всюду!

— Хорошо. Обещаю тебе: когда кончится праздник, если только... Ах, да: а как ваш «И н т е г р а л» — все забываю спросить, — скоро?

— Нет: что «если только»? Опять? Что «если только»?

Она (уже у двери):

— Сам увидишь...

Я — один. Все, что от нее осталось, — это чуть слышный запах, похожий на сладкую, сухую, желтую пыль каких-то цветов из-за Стены. И еще: прочно засевшие во мне крючочки-вопросы — вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу (Доисторический Музей).

...Почему она вдруг об «И н т е г р а л е»?

Запись 24-я.

Конспект:

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. ПАСХА. ВСЕ ЗАЧЕРКНУТЬ

Я — как машина, пущенная на слишком большое число оборотов: подшипники накалились, еще минута — закапает расплавленный металл, и все — в ничто. Скорее — холодной воды, логики. Я лью ведрами, но логика шипит на горячих подшипниках и расплывается в воздухе неуловимым белым паром.

Ну да, ясно: чтобы установить истинное значение функции — надо взять ее предел. И ясно, что вчерашнее нелепое «растворение во вселенной», взятое в пределе, есть смерть. Потому что смерть — именно полнейшее растворение меня во вселенной. Отсюда, если через «Л» обозначим любовь, а через «С» смерть, то $L = f(C)$, то есть любовь и смерть...

Да, именно, именно. Потому-то я и боюсь L , я борюсь с ней, я не хочу. Но почему же во мне рядом и «я не хочу» и «мне хочется»? В том-то и ужас, что мне хочется опять этой вчерашней блаженной смерти. В том-то и ужас, что даже теперь, когда логическая функция проинтегрирована, когда очевидно, что она неявно включает в себя смерть, я все-таки хочу ее губами, руками, грудью, каждым миллиметром...

Завтра — День Единогласия. Там, конечно, будет и она, увижу ее, но только издали. Издали — это будет боль-

но, потому что мне надо, меня неудержимо тянет, чтобы — рядом с ней, чтобы — ее руки, ее плечо, ее волосы... Но я хочу даже этой боли — пусть.

Благодетель великий! Какой абсурд — хотеть боли. Кому же не понятно, что болевые — отрицательные слагаемые уменьшают ту сумму, которую мы называем счастьем. И, следовательно...

И вот — никаких «следовательно». Чисто. Голо.

ВЕЧЕРОМ:

Сквозь стеклянные стены дома — ветреный, лихорадочно-розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мною не торчало это розовое, перелисываю записи — и вижу: опять я забыл, что пишу не для себя, а для вас, неведомые, кого я люблю и жалею? — для вас, еще плетущихся где-то в далеких веках, внизу.

Вот — о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я всегда любил его — с детских лет. Мне кажется, для нас — это нечто вроде того, что для древних была их «Пасха». Помню, накануне, бывало, составишь себе такой часовой календарик — с торжеством вычеркиваешь по одному часу: одним часом ближе, на один час меньше ждать... Будь я уверен, что никто не увидит, — честное слово, я бы и нынче всюду носил с собой такой календарик и следил по нему, сколько еще осталось до завтра, когда я увижу — хоть издали...

(Помешали: принесли новую, только что из мастерской, унифу. По обычаю, нам всем выдают новые унифы к завтрашнему дню. В коридоре — шаги, радостные возгласы, шум.)

Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: Могучую Чашу согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра — день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда — смешно сказать — даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И

вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, — ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионноклеточный организм, что мы — говоря словами «Евангелия» древних — единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность — до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже — преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я, — и может ли быть иначе, раз «все» и «я» — это единое «МЫ». Насколько это облагораживающе, искренней, выше, чем трусливая воровская «тайна» у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство — от них самих. И наконец, еще одно...

Сквозь стену слева: перед зеркальной дверью шкафа — женщина торопливо расстегивает юнифу. И на секунду, смутно: глаза, губы, две острых розовых завязи. Затем падает штора, во мне мгновенно все вчерашнее, и я не знаю, что «наконец еще одно», и не хочу об этом, не хочу! Я хочу одного: I. Я хочу, чтобы она каждую минуту, всякую минуту, всегда была со мной — только со мной. И то, что я писал вот сейчас о Единогласии, это все не нужно, не то, мне

хочется все вычеркнуть, разорвать, выбросить. Потому что я знаю (пусть это кошунство, но это так) праздник — только с нею, только тогда, если она будет рядом, плечом к плечу. А без нее — завтрашнее солнце будет только кружочком из жести, и небо — выкрашенная синим жесь, и сам я...

Я хватаюсь за телефонную трубку:

— I, это вы?

— Да, я. Как вы поздно?

— Может быть, еще не поздно. Я хочу вас попросить...

Я хочу, чтоб вы завтра были со мной. Милая...

«Милая» — я говорю совсем тихо. И почему-то мелькает то, что было сегодня утром на эллинге: в шутку положили под стотонный молот часы — размах, ветром в лицо — и стотонно-нежное, тихое прикосновение к хрупким часам.

Пауза. Мне чудится, я слышу там — в комнате I — чей-то шепот. Потом ее голос:

— Нет, не могу. Ведь вы понимаете: я бы сама... Нет, не могу. Отчего? Завтра увидите.

НОЧЬ.

Запись 25-я.

Конспект:

СОШЕСТВИЕ С НЕБЕС. ВЕЛИЧАЙШАЯ В ИСТОРИИ КАТАСТРОФА. ИЗВЕСТНОЕ КОНЧИЛОСЬ

Когда, перед началом, все встали и торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн — сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов — я на секунду забыл все: забыл что-то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, какой некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному заметного пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом не видит, в каких я черных несмываемых пятнах, но ведь я-то знаю, что мне, преступнику, не место среди этих настешь раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и, заклебываясь, выкричать все о себе. Пусть потом конец —

пусты! — но одну секунду почувствовать себя чистым, бессмысленным, как это детски-синее небо.

Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве — едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он — новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе — и все выше навстречу ему миллионы сердец — и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун — как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (сияние блях); и в центре ее — сейчас сядет белый, мудрый Паук — в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.

Но вот закончилось это величественное Его сошествие с небес, медь гимна замолкла, все сели — и я тотчас же понял: действительно — все тончайшая паутина, она натянута и дрожит, и вот-вот порвется, и произойдет что-то невероятное...

Слегка привстав, я оглянулся кругом — и встретился взглядом с любяще-тревожными, перебегающими от лица к лицу глазами. Вот один поднял руку и, еле заметно шевеля пальцами, сигнализирует другому. И вот — ответный сигнал пальцем. И еще... Я понял: они, Хранители. Я понял: они чем-то встревожены, паутина натянута, дрожит. И во мне — как в настроенном на ту же длину волн приемнике радио — ответная дрожь.

На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова: только мерные качанья гекзаметрического маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то назначенный час. И я еще лихорадочно перелистываю в рядах одно лицо за другим — как страницы — и все еще не вижу того единственного, какое я ищу, и его надо скорее найти, потому что сейчас маятник тикнет, а потом — —

Он — он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над сверкающим стеклом, пронеслись розовые крылья-уши, темной, двоякоизогнутой петлей буквы S отразилось бегущее тело — он стремился куда-то в запутанные проходы между трибун.

S, I — какая-то нить (между ними — для меня все время

какая-то нить; я еще не знаю какая — но когда-нибудь я ее распутаю). Я уцепился за него глазами, он — клубочком все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот...

Как молнийный, высоковольтный разряд: меня пронзило, скрутило в узел. В нашем ряду, всего в 40 градусах от меня, S остановился, нагнулся. Я увидел I, а рядом с ней — отвратительно-негрогубый, ухмыляющийся R-13.

Первая мысль — кинуться туда и крикнуть ей: «Почему ты сегодня с ним? Почему не хотела, чтобы я?» Но невидимая, благодетельная паутина крепко спутала руки и ноги; стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как сейчас: это острая, физическая боль в сердце. Я, помню, подумал: «Если от нефизических причин — может быть физическая боль, то ясно, что — —».

Вывода я, к сожалению, не достроил: вспоминается только — мелькнуло что-то о «душе», пронеслась бессмысленная древняя поговорка — «душа в пятки». И я замер: гексаметр смолк. Сейчас начинается... Что?

Установленный обычаем пятиминутный предвыборный перерыв. Установленное обычаем предвыборное молчание. Но сейчас оно не было тем, действительно молитвенным, благоговейным, как всегда: сейчас было как у древних, когда еще не знали наших аккумуляторных башен, когда неприрученное небо еще бушевало время от времени «грозами». Сейчас было как у древних перед грозой.

Воздух — из прозрачного чутуна. Хочется дышать широко разинувши рот. До боли напряженный слух записывает: где-то сзади — мышиногрызущий, тревожный шепот. Неподнятыми глазами вижу все время тех двух — I и R — рядом, плечом к плечу, и у меня на коленях дрожат чужие — ненавистные мои — лохматые руки.

В руках у всех — бляхи с часами. Одна. Две. Три... Пять минут... с эстрады — чутунный, медленный голос:

— Кто «за» — прошу поднять руки.

Если бы я мог взглянуть Ему в глаза, как раньше — прямо и преданно: «Вот я весь. Весь. Возьми меня!» Но теперь я не смел. Я с усилием — будто заржавели все суставы — поднял руку.

Шелест миллионов рук. Чей-то подавленный «Ах!». И я чувствую, что-то уже началось, стремглав падало, но я не понимал — что, и не было силы — я не смел посмотреть...

— Кто — «против»?

Это всегда был самый величественный момент праздника: все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя главы благодетельному игу Нумера из Нумеров. Но тут я с ужасом снова услышал шелест: легчайший, как вздох, — он был слышнее, чем раньше медные трубы гимна. Так последний раз в жизни вздохнет человек еле слышно — а кругом у всех бледнеют лица, у всех — холодные капли на лбу.

Я поднял глаза — и...

Это — сотая доля секунды, волосок. Я увидел: тысячи рук взмахнули вверх — «против» — упали. Я увидел бледное, перечеркнутое крестом лицо I, ее поднятую руку. В глазах потемнело.

Еще волосок; пауза; тихо; пульс. Затем — как по знаку какого-то сумасшедшего дирижера — на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвеванных бегом юниф, растерянно мечущиеся фигуры Хранителей, чьи-то каблук в воздухе перед самыми моими глазами — возле каблучков чей-то широко раскрытый, надрывающийся от неслышного крика рот. Это почему-то врезалось острее всего: тысячи беззвучно орущих ртов — как на чудовищном экране.

И как на экране — где-то далеко внизу на секунду передо мной — побелевшие губы O: прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест руками. И уже нет ее — смыта, или я забыл о ней, потому что...

Это уже не на экране — это во мне самом, в стиснутом сердце, в застучавших часто висках. Над моей головой слева, на скамье — вдруг выскочил R-13 — брызжущий, красный, бешеный. На руках у него — I, бледная, юнифа от плеча до груди разорвана, на белом — кровь. Она крепко держала его за шею, и он огромными скачками — со скамьи на скамью — отвратительный и ловкий, как горилла, — уносил ее вверх.

Будто пожар у древних — все стало багровым — и только одно: прыгнуть, достать их. Не могу сейчас объяснить себе, откуда взялась у меня такая сила, но я, как таран, пропорол толпу — на чьи-то плечи — на скамьи — и вот уже близко, вот схватил за шиворот R:

— Не смей! Не смей, говорю. Сейчас же (к счастью,

моего голоса не было слышно — все кричали свое, все бежали).

— Кто? Что такое? Что? — R обернулся, губы, брызгая, тряслись — он, вероятно, думал, что его схватил один из Хранителей.

— Что? А вот — не хочу, не позволю! Долой ее с рук — сейчас же!

Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой и побежал дальше. И тут я — мне невероятно стыдно записывать это, но мне кажется: я все же должен, должен записать, чтобы вы, неведомые мои читатели, могли до конца изучить историю моей болезни? — тут я с маху ударил его по голове. Вы понимаете — ударил! Это я отчетливо помню. И еще помню: чувство какого-то освобождения, легкости во всем теле от этого удара.

I быстро соскользнула у него с рук.

— Уходите, — крикнула она R, — вы же видите: он... Уходите, R, уходите!

R, оскалив белые, негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А я поднял на руки I, крепко прижал ее к себе и понес.

Сердце во мне билось — огромное, и с каждым ударом выхлестывало такую буйную, горячую, такую радостную волну. И пусть там что-то разлетелось вдребезги — все равно! Только бы так вот нести ее, нести, нести...

ВЕЧЕРОМ. 22 ЧАСА:

Я с трудом держу перо в руках: такая неизмеримая усталость после всех головокружительных событий сегодняшнего утра. Неужели обвалились спасительные, вековые стены Единого Государства? Неужели мы опять без крова, в диком состоянии свободы — как наши далекие предки? Неужели нет Благодетеля? Против... в День Единогласия — против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем — кто «они»? И кто я сам: «они» или «мы» — разве я — знаю.

Вот: она сидит на горячей от солнца стеклянной скамье — на самой верхней трибуне, куда я ее принес. Правое плечо и ниже — начало чудесной невычислимой кривизны — открыты; тончайшая красная змейка крови. Она будто не замечает, что кровь, что открыта грудь... нет,

больше: она видит все это — но это именно то, что ей сейчас нужно, и, если бы юнифа была застегнута, — она разорвала бы ее, она...

— А завтра... — она дышит жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы. — А завтра — неизвестно что. Ты понимаешь: ни я не знаю, никто не знает — неизвестно! Ты понимаешь, что все известное — кончилось? Новое, невероятное, невиданное.

Там, внизу, пенятся, мчатся, кричат. Но это — далеко, и все дальше, потому что она смотрит на меня, она медленно втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрачков. Так — долго, молча. И почему-то вспоминается, как однажды сквозь Зеленую Стену я тоже смотрел в чьи-то непонятные желтые зрачки, а над Стеной вились птицы (или это было в другой раз).

— Слушай: если завтра не случится ничего особенно-го — я поведу тебя туда, — ты понимаешь?

Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я — растворился, я бесконечно малое, я — точка...

В конце концов — в этом точечном состоянии есть своя логика (сегодняшняя): в точке — больше всего неизвестностей; стоит ей двинуться, шевельнуться — и она может обратиться в тысячи разных кривых, сотни тел.

Мне страшно шевельнуться: во что я обращаюсь? И мне кажется — все так же, как и я, боятся мельчайшего движения. Вот сейчас, когда я пишу это, все сидят, забившись в свои стеклянные клетки, и чего-то ждут. В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу: по двое, оглядываясь, проходят на цыпочках по коридору, шепчутся...

Что будет завтра? Во что я обращаюсь завтра?

Запись 26-я.

Конспект:

МИР СУЩЕСТВУЕТ. СЫПЬ. 41°

Утро. Сквозь потолок — небо по-всегдашнему крепкое, круглое, краснощекое. Я думаю — меня меньше удивило бы, если бы я увидел над головой какое-нибудь необычайное четырехугольное солнце, людей в разноцветных одеж-

дах из звериной шерсти, каменные, непрозрачные стены. Так что же, стало быть, мир — н а ш м и р — еще существует? Или это только инерция, генератор уже выключен, а шестерни еще громяхают и вертятся — два оборота, три оборота — на четвертом замрут...

Знакомо ли вам это странное состояние? Ночью вы проснулись, раскрыли глаза в черноту и вдруг чувствуете — заблудились, и скорее, скорее начинаете ощупывать кругом, искать что-нибудь знакомое и твердое — стену, лампочку, стул. Именно так я ощупывал, искал в Единой Государственной Газете — скорее, скорее, — и вот:

«Вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся всеми День Единогласия. В 48-й раз единогласно избран все тот же, многократно доказавший свою непоколебимую мудрость Благодетель. Торжество омрачено было некоторым замешательством, вызванным врагами счастья, которые тем самым, естественно, лишили себя права стать кирпичами обновленного вчера фундамента Единого Государства. Всякому ясно, что принять в расчет их голоса было бы так же нелепо, как принять за часть великолепной, героической симфонии — кашель случайно присутствующих в конкретном зале больных...»

О, мудрый! Неужели мы все-таки, несмотря ни на что, — спасены? Но что же, в самом деле, можно возразить на этот кристальнейший силлогизм?

И дальше — еще две строки:

«Сегодня в 12 состоится соединенное заседание Бюро Административного, Бюро Медицинского и Бюро Хранителей. На днях предстоит важный Государственный акт».

Нет, еще стоят стены — вот они — я могу их ощупать. И уж нет этого странного ощущения, что я потерял, что я неизвестно где, что я заблудился, и нисколько не удивительно, что вижу синее небо, круглое солнце; и все — как обычно — отправляются на работу.

Я шел по проспекту особенно твердо и звонко — и мне казалось, так же шли все. Но вот перекресток, поворот за угол, и я вижу: все как-то странно, стороной огибают угол здания — будто там в стене прорвало какую-то трубу, брызжет холодная вода, и по тротуару нельзя пройти.

Еще пять, десять шагов — и меня тоже облило холодной водой, качнуло, сшибло с тротуара... На высоте при-

мерно 2-х метров на стене — четырехугольный листок бумаги и оттуда — непонятные — ядовито-зеленые буквы:

МЕФИ

А внизу S-образно изогнутая спина, прозрачно колыхающиеся от гнева или от волнения крылья-уши. Поднявши вверх правую руку и беспомощно вытянув назад левую — как больное, подбитое крыло, он подпрыгивал вверх — сорвать бумажку — и не мог, не хватало вот столько.

Вероятно, у каждого из проходивших мимо была мысль: «Если подойду я, один из всех — не подумает ли он: я в чем-нибудь виноват и именно потому хочу...»

Сознаюсь: та же мысль была и у меня. Но я вспомнил, сколько раз он был настоящим моим ангелом-хранителем, сколько раз он спасал меня — и смело подошел, протянул руку, сорвал листок.

С оборотился, быстро-быстро буравчики в меня, на дно, что-то достал оттуда. Потом поднял вверх левую бровь, бровью подмигнул на стену, где висело «Мефи». И мне мелькнул хвостик его улыбки — к моему удивлению, как будто даже веселой. А впрочем, чего же удивляться. Томительной, медленно поднимающейся температуре инкубационного периода — врач всегда предпочтет сыпь и сорокаградусный жар: тут уж, по крайней мере, ясно, что за болезнь. «Мефи», высыпавшее сегодня на стенах, — это сыпь. Я понимаю его улыбку...¹

Спуск в подземку — и под ногами, на непорочном стекле ступеней — опять белый листок: «Мефи». И на стене внизу, на скамейке, на зеркале в вагоне (видимо, наклеено наспех — небрежно, криво) — везде та же самая белая, жуткая сыпь.

В тишине — явственное жужжание колес, как шум вспаленной крови. Кого-то тронули за плечо — он вздрогнул, уронил сверток с бумагами. И слева от меня — другой: читает в газете все одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же строчку, и газета еле заметно дрожит. И я чувствую, как всюду — в колесах, руках, газетах, ресницах — пульс все

¹ Должен сознаться, что точное решение этой улыбки я нашел только через много дней, доверху набитых событиями самыми странными и неожиданными.

чаще, и, может быть, сегодня, когда я с I попаду туда, — будет 39, 40, 41 градус — отмеченные на термометре черной чертой...

На эллинге — такая же, жужжащая далеким, невидимым пропеллером, тишина. Станки молча, насупившись, стоят. И только краны, чуть слышно, будто на цыпочках, скользят, нагибаются, хватают клешнями голубые глыбы замороженного воздуха и грузят их в бортовые цистерны «Интеграла»: мы уже готовим его к пробному полету.

— Ну что: в неделю кончим погрузку?

Это я — Второму Строителю. Лицо у него — фаянс, расписанный сладко-голубыми, нежно-розовыми цветочками (глаза, губы), но они сегодня — какие-то линялые, смытые. Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полуслове и стою, разинув рот: высоко под куполом на поднятой краном голубой глыбе — чуть заметный белый квадратик — наклеена бумажка. И меня всего трясет — может быть, от смеха — да, я сам слышу, как я смеюсь (знаете ли вы это, когда вы сами слышите свой смех?).

— Нет, слушайте... — говорю я. — Представьте, что вы на древнем аэроплане, альтиметр 5000 метров, сломалось крыло, вы турманом вниз и по дороге высчитываете: «Завтра — от 12 до 2-х... от 2-х до 6... в 6 обед...» Ну не смешно ли? А ведь мы сейчас — именно так!

Голубые цветочки шевелятся, таращатся. Что, если б я был стеклянный и он видел, что через каких-нибудь 3—4 часа...

Запись 27-я.

Конспект:

НИКАКОГО КОНСПЕКТА — НЕЛЬЗЯ

Я один в бесконечных коридорах — тех самых. Немое бетонное небо. Где-то капает о камень вода. Знакомая, тяжелая, непрозрачная дверь — и оттуда глухой гул.

Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже прошло после 16 пять минут, десять, пятнадцать: никого.

На секунду — прежний я, которому страшно, если от-

кроемся эта дверь. Еще — последние пять минут, и если она не выйдет —

Где-то капает о камень вода. Никого. Я с тоскливой радостью чувствую: спасен. Медленно иду по коридору назад. Дрожащий пунктир лампочек на потолке все тусклее, тусклее...

Вдруг сзади — торопливо брякнула дверь, быстрый топот, мягко отскакивающий от потолка, от стен, — и она, летучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом.

— Я знала: ты будешь здесь, ты придешь! Я знала: ты — ты...

Копья ресниц отодвигаются, пропускают меня внутрь — и... Как рассказать то, что со мною делает этот древний, нелепый чудесный обряд, когда ее губы касаются моих? Какой формулой выразить этот, все, кроме нее, в душе выметающий вихрь? Да, да, в душе — смейтесь, если хотите.

Она с усилием, медленно подымает веки — и с трудом, медленно слова:

— Нет, довольно... после: сейчас — пойдем.

Дверь открылась. Ступени — стертые, старые. И нестерпимо пестрый гам, свист, свет...

* * *

С тех пор прошли уже почти сутки, все во мне уже несколько отстоялось — и тем не менее мне чрезвычайно трудно дать хотя бы приближенно-точное описание. В голове — как будто взорвали бомбу, а раскрытые рты, крылья, крики, листья, слова, камни — рядом, кучей, одно за другим...

Я помню — первое у меня было: «Скорее, сломя голову назад». Потому что мне ясно: пока я там, в коридорах, ждал — они как-то взорвали или разрушили Зеленую Стену — и оттуда все ринулось и захлебнуло наш очищенный от низшего мира город.

Должно быть, что-нибудь в этом роде я сказал I. Она засмеялась:

— Да нет же! Просто — мы вышли за Зеленую Стену...

Тогда я раскрыл глаза — и лицом к лицу со мной, наяву — то самое, чего до сих пор не видел никто из живых иначе, как в тысячу раз уменьшенное, ослабленное, затуманенное мутным стеклом Стены.

Солнце... это не было наше, равномерно распределенное по зеркальной поверхности мостовых солнце: это были какие-то живые осколки, непрерывно прыгающие пятна, от которых слепли глаза, голова шла кругом. И деревья, как свечи, — в самое небо; как на корявых лапах присевшие к земле пауки; как немые зеленые фонтаны... И все это карачится, шевелится, шуршит, из-под ног шарахается какой-то шершавый клубочек, а я — прикован, я не могу ни шагу — потому что под ногами не плоскость — понимаете, не плоскость — а что-то отвратительно-мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое.

Я был оглушен всем этим, я захлебнулся — это, может быть, самое подходящее слово. Я стоял, обеими руками вцепившись в какой-то качающийся сук.

— Ничего, ничего! Это — только сначала, это пройдет. Смелее!

Рядом с I — на зеленой, головокружительно прыгающей сетке чей-то тончайший, вырезанный из бумаги профиль... нет, не чей-то, а я его знаю. Я помню: доктор, — нет, нет, я очень ясно все понимаю. И вот понимаю: они вдвоем схватили меня под руки и со смехом тащат вперед. Ноги у меня заплетаются, скользят. Там карканье, мох, кочки, клекот, сучья, стволы, крылья, листья, свист...

И — деревья разбежались, яркая поляна, на поляне — люди... или уж я не знаю как: может быть правильной — существа.

Тут — самое трудное, потому что это выходило из всяких пределов вероятия. И мне теперь ясно, отчего I всегда так упорно отмалчивалась: я все равно бы не поверил — даже ей. Возможно, что завтра я и не буду верить и самому себе — вот этой своей записи.

На поляне, вокруг голого, похожего на череп, камня — шумела толпа в триста-четырееста... человек, — пусть — «человек», мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из общей суммы лиц вы в первый момент воспринимаете только знакомых, так и здесь я сперва увидел только наши серо-голубые юнифы. А затем секунда — и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди, — по-видимому, люди. Все они были без одежд и все были покрыты короткой блестящей шерстью — вроде той, какую всякий может ви-

деть на лошадином чучеле в Доисторическом Музее. Но у самок — были лица точно такие — да, да, точно такие же, — как и у наших женщин: нежно-розовые и не заросшие волосами, и у них свободны от волос были также груди — крупные, крепкие, прекрасной геометрической формы. У самцов без шерсти была только часть лица — как у наших предков.

Это было до такой степени невероятно, до такой степени неожиданно, что я спокойно стоял — положительно утверждаю: спокойно стоял и смотрел. Как весы: перегрузите одну чашку — и потом можете класть туда уже сколько угодно — стрелка все равно не двинется...

Вдруг — один: I уже со мной нет — не знаю, как и куда она исчезла. Кругом — только эти, атласно лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чье-то горячее, крепкое, вороное плечо:

— Послушайте — ради Благодетеля, — вы не видали — куда она ушла? Вот только сейчас — вот сию минуту...

На меня — косматые, строгие брови:

— Ш-ш-ш! Тише. — И космато кивнули туда, на середину, где желтый, как череп, камень.

Там, наверху, над головами, над всеми — я увидел ее. Солнце прямо в глаза, по ту сторону, и от этого вся она — на синем полотне неба — резкая, угольно-черная, угольный силуэт на синем. Чуть выше летят облака, и так: будто не облака, а камень, и она сама на камне, и за нею толпа, и поляна — неслышно скользят, как корабль, и легкая — уплывает земля под ногами...

— Братья... — это она. — Братья! Вы все знаете: там, за Стеною, в городе — строят «Интеграл». И вы знаете: пришел день, когда мы разрушим эту Стену — все стены, — чтобы зеленый ветер из конца в конец — по всей земле. Но «Интеграл» унесет эти стены туда, вверх, в тысячи иных земель, какие сегодня ночью зашелестят вам огнями сквозь черные ночные листья...

Об камень — волны, пена, ветер:

— Долой «Интеграл»! Долой!

— Нет, братья: не долой. Но «Интеграл» должен быть нашим. В тот день, когда он впервые отчалит в небо, — на нем будем мы. Потому что с нами Строитель «Интегра

ла». Он покинул стены, он пришел со мной сюда, чтобы быть среди вас. Да здравствует Строитель!

Миг — и я где-то наверху, подо мною — головы, головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное: я чувствовал себя над всеми, я — был я, отдельное, мир, я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей.

И вот я — с измятым, счастливым, скомканным, как после любовных объятий, телом — внизу, около самого камня. Солнце, голоса сверху — улыбка I. Какая-то золото-волосая и вся атласно-золотая, пахнущая травами женщина. В руках у ней — чаша, по-видимому, из дерева. Она отпивает красными губами — и подает мне, и я жадно, закрывши глаза пью, чтобы залить огонь, — пью сладкие, колючие, холодные искры.

А затем — кровь во мне и весь мир — в тысячу раз быстрее, легкая земля летит пухом. И все мне — легко, просто, ясно.

Вот теперь я вижу на камне знакомые, огромные буквы: «Мефи» — и почему-то это так нужно, это — простая, прочная нить, связывающая все. Я вижу грубое изображение — может быть, тоже на этом камне: крылатый юноша, прозрачное тело, и там, где должно быть сердце, — ослепительный, малиново тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь... или не то: чувствую его — так же как, не слыша, чувствую каждое слово (она говорит сверху, с камня) — и чувствую, что все дышат вместе — и всем вместе куда-то лететь, как тогда птицы над Стеной...

Сзади, из густо дышащей чащи тел — громкий голос: — Но это же безумие!

И, кажется, я — да, думаю, что это был именно я, — вскочил на камень, и оттуда солнце, головы, на синем — ослепленная зубчатая пила, и я кричу:

— Да, да, именно! И надо всем сойти с ума, необходимо всем сойти с ума — как можно скорее! Это необходимо — я знаю.

Рядом — I; ее улыбка, две темных черты — от краев рта вверх, углом; и во мне — уголь, и это — мгновенно, легко, чуть больно, прекрасно...

Потом — только застрявшие, разрозненные осколки.

Медленно, низко — птица. Я вижу: она — живая, как я,

она, как человек, поворачивает голову вправо, влево, и в меня ввинчиваются черные, круглые глаза...

Еще: спина — с блестящей, цвета старой слоновой кости шерстью. По спине ползет темное, с крошечными, прозрачными крыльями насекомое — спина вздрагивает, чтобы согнать насекомое, еще раз вздрагивает...

Еще: от листьев тень — плетеная, решетчатая. В тени лежат и жуют что-то, похожее на легендарную пищу древних: длинный желтый плод и кусок чего-то темного. Женщина сует это мне в руку, и мне смешно: я не знаю, могу ли я это есть.

И снова: толпа, головы, ноги, руки, рты. Выскакивают на секунду лица — и пропадают, лопаются, как пузыри. И на секунду — или, может быть, это только мне кажется — прозрачные, летящие крылья-уши.

Я изо всех сил стискиваю руку I. Она оглядывается:

— Что ты?

— Он здесь... Мне показалось...

— Кто он?

— S... Вот только сейчас — в толпе...

Угольно-черные, тонкие брови вздернуты к вискам: острый треугольник, улыбка. Мне не ясно: почему она улыбается — как она может улыбаться?

— Ты не понимаешь — I, ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из них — здесь.

— Смешной! Разве кому-нибудь там, за Стеною, придет в голову, что мы — здесь. Вспомни: вот ты — разве ты когда-нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас там — пусть ловят! Ты — бредишь.

Она улыбается легко, весело, и я улыбаюсь, земля — пьяная, веселая, легкая — плывет...

Запись 28-я.

Конспект:

ОБЕ. ЭНТРОПИЯ И ЭНЕРГИЯ. НЕПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

Вот: если ваш мир подобен миру наших далеких предков, так представьте себе, что однажды в океане вы наткнулись на шестую, седьмую часть света — какую-ни-

будь Атлантиду, и там — небывалые города-лабиринты, люди, парящие в воздухе без помощи крыльев или аэро, камни, поднимаемые вверх силою взгляда, — словом, такое, что вам не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете снобознью. Вот так же и я вчера. Потому что — поймите же — никто и никогда из нас со времени Двухсотлетней Войны не был за Стеною — я уже говорил вам об этом.

Я знаю: мой долг перед вами, неведомые друзья, рассказать подробнее об этом странном и неожиданном мире, открывшемся мне вчера. Но пока я не в состоянии вернуться к этому. Все новое и новое, какой-то ливень событий, и меня не хватает, чтобы собрать все: я подставляю полы, пригоршни — и все-таки целые ведра проливаются мимо, а на эти страницы попадают только капли...

Сперва я услышал у себя за дверью громкие голоса — и узнал ее голос, I, упругий, металлический, — и другой, почти негнувшийся — как деревянная линейка — голос Ю. Затем дверь разверзлась с треском и выстрелила их обеих ко мне в комнату. Именно так: выстрелила.

I положила руку на спинку моего кресла и через плечо, направо — одними зубами улыбалась той. Я не хотел бы стоять под этой улыбкой.

— Послушайте, — сказала мне I, — эта женщина, кажется, поставила себе целью охранять вас от меня, как малого ребенка. Это — с вашего разрешения?

И тогда — другая, вздрагивая жабрами:

— Да, он и есть ребенок. Да! Только потому он и не видит, что вы с ним все это — только затем, чтобы... что все это — комедия. Да! И мой долг...

На миг в зеркале — сломанная, прыгающая прямая моих бровей. Я вскочил и, с трудом удерживая в себе того — с трясущимися волосатыми кулаками, с трудом прогискивая сквозь зубы каждое слово, крикнул ей в упор — в самые жабры:

— С-сию же с-секунду — вон! Сию же секунду!

Жабры вздулись кирпично-красно, потом опали, посерели. Она раскрыла рот что-то сказать и, ничего не сказав, — захлопнулась, вышла.

Я бросился к I:

— Я не прощу — я никогда себе этого не прощу! Она смела — тебя? Но ты же не можешь думать, что я думаю,

что... что она... Это все потому, что она хочет записаться на меня, а я...

— Записаться она, к счастью, не успеет. И хоть тысячу таких, как она: мне все равно. Я знаю — ты согласишься не тысяче, но одной мне. Потому что ведь после вчерашнего — я перед тобой вся, до конца, как ты хотел. Я — в твоих руках, ты можешь — в любой момент...

— Что — в любой момент, — и тотчас же понял — что, — кровь брызнула в уши, в щеки, я крикнул: — Не надо об этом, никогда не говори мне об этом! Ведь ты же понимаешь, что это — тот я, прежний, а теперь...

— Кто тебя знает... Человек — как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать...

И гладит меня по голове. Лица ее мне не видно, но по голосу слышу: смотрит сейчас куда-то очень далеко, зацепилась глазами за облако, плывущее неслышно, медленно, неизвестно куда...

Вдруг отстранила меня рукой — твердо и нежно:

— Слушай: я пришла сказать тебе, что, может быть, — мы уже последние дни... Ты знаешь: с сегодняшнего вечера отменены все аудитории.

— Отменены?

— Да. И я шла мимо — видела: в зданиях аудиториумов что-то готовят, какие-то столы, медики в белом.

— Но что же это значит?

— Я не знаю. Пока еще никто не знает. И это хуже всего. Я только чувствую: включили ток, искра бежит — и не нынче, так завтра... Но, может быть, они не успеют.

Я уж давно перестал понимать: кто — они и кто — мы. Я не понимаю, чего я хочу: чтобы успели — или не успели. Мне ясно только одно: сейчас идет по самому краю — и вот-вот...

— Но это безумие, — говорю я. — Вы — и Единое Государство. Это все равно как заткнуть рукою дуло — и думать, что можно удержать выстрел. Это — совершенное безумие!

Улыбка:

— «Надо всем сойти с ума — как можно скорее сойти с ума». Это говорил кто-то вчера. Ты помнишь? Там...

Да, это у меня записано. И, следовательно, это было на

самом деле. Я молча смотрел на ее лицо: на нем сейчас особенно явственно — темный крест.

— I, милая, — пока еще не поздно... Хочешь — я брошу все, забуду все — и уйдем с тобою туда, за Стену — к этим... я не знаю, кто они.

Она покачала головой. Сквозь темные окна глаз — там, внутри у ней, я видел, пылает печь, искры, языки огня вверх, навалены горы сухих, смоляных дров. И мне ясно: поздно уже, мои слова уже ничего не могут...

Встала — сейчас уйдет. Может быть — уже последние дни, может быть — минуты... Я схватил ее за руку.

— Нет! Еще хоть немного — ну ради... ради...

Она медленно поднимала вверх, к свету, мою руку — мою волосатую руку, которую я так ненавидел. Я хотел выдернуть, но она держала крепко.

— Твоя рука... Ведь ты не знаешь — и немногие это знают, что женщинам отсюда, из города, случалось любить тех. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и —

Пауза — и как странно: от паузы, от пустоты, от ничего — так несется сердце. И я кричу:

— Ага! Ты еще не уйдешь! Ты не уйдешь — пока мне не расскажешь о них — потому что ты любишь... их, а я даже не знаю, кто они, откуда они. Кто они? Половина, какую мы потеряли, H_2 и O — а чтобы получить H_2O — ручьи, моря, водопады, волны, бури, — нужно, чтобы половины соединились...

Я отчетливо помню каждое ее движение. Я помню, как она взяла со стола мой стеклянный треугольник и все время, пока я говорил, прижимала его острым ребром к щеке — на щеке выступил белый рубец, потом наливался розовым, исчезал. И удивительно: я не могу вспомнить ее слов — особенно вначале — и только какие-то отдельные образы, цвета.

Знаю: сперва это было — о Двухсотлетней Войне. И вот — красное на зелени трав, на темных глинах, на синеве снегов — красные, непросыхающие лужи. Потом желтые, сожженные солнцем травы, голые, желтые всклокоченные люди — и всклокоченные собаки — рядом, возле распухшей падали, собачьей, или, может быть, человеческой... Это, конечно, — за стенами; потому что город — уже победил, в городе уже наша теперешняя — нефтяная пища.

И почти с неба донизу — черные, тяжелые складки, и складки колышутся: над лесами, над деревьями, медленные столбы, дым. Глухой вой: гонят в город черные бесконечные вереницы — чтобы силою спасти их и научить счастью.

— Ты все это почти знал?

— Да, почти.

— Но ты не знал и только немногие знали, что небольшая часть их все же уцелела и осталась жить там, за Стенами. Голые — они ушли в леса. Они учились там у деревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они обросли шерстью, но зато под шерстью сберегли горячую, красную кровь. С вами хуже: вы обросли цифрами, по вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать все и выгнать голыми в леса. Пусть научатся дрожать от страха, от радости, от бешеного гнева, от холода, пусть молятся огню. И мы, Мефи, — мы хотим...

— Нет, подожди, — а «Мефи»? Что такое «Мефи»?

— Мефи? Это — древнее имя, это — тот, который... Ты помнишь: там, на камне, — изображен юноша... Или нет: я лучше на твоём языке, так ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии — наши, или, вернее, — ваши предки, христиане, поклонялись, как Богу. А мы, антихристиане, мы...

И вот момент — чуть слышный, шепотом стук в дверь — и в комнату вскочил тот самый сплюснутый, с нахлобученным на глаза лбом, какой не раз приносил мне записки от I.

Он подбежал к нам, остановился, сопел — как воздушный насос — и не мог сказать ни слова, должно быть, бежал во всю мочь.

— Да ну же! Что случилось? — схватила его за руку I.

— Идут — сюда... — пропыхтел наконец насос. — Стража... и с ними этот — ну, как это..., вроде горбачевского...

— S?

— Ну да! Рядом — в доме. Сейчас будут здесь. Скорее, скорее!

— Пустое! Успеется... — смеялась, в глазах — искры, веселые языки.

Это — или нелепое, безрассудное мужество — или тут было что-то еще непонятное мне.

— I, ради Благодетеля! Пойми же — ведь это...

— Ради Благодетеля, — острый треугольник — улыбка.

— Ну... ну ради меня... Прощу тебя.

— Ах, а мне еще надо было с тобой об одном деле... Ну, все равно: завтра...

Она весело (да: весело) крикнула мне; кивнул и тот — высунувшись на секунду из-под своего лбяного навеса. И я — один.

Скорее — за стол. Развернул свои записи, взял перо — чтобы они нашли меня за этой работой на пользу Единого Государства. И вдруг — каждый волос на голове живой, отдельный и шевелится: «А что, если возьмут и прочтут хотя бы одну страницу — из этих, из последних?»

Я сидел за столом не двигаясь — и я видел, как дрожали стены, дрожало перо у меня в руке, колыхались, сливались, буквы...

Спрятать? Но куда: все — стекло. Сжечь? Но из коридора и из соседних комнат — увидят. И потом, я уже не могу, не в силах истребить этот мучительный — и, может быть, самый дорогой мне — кусок самого себя.

Издали — в коридоре — уже голоса, шаги. Я успел только схватить пачку листов, сунуть их под себя — и вот теперь прикованный к колеблющемуся каждым атомом креслу, и пол под ногами — палуба, вверх и вниз...

Сжавшись в комочек, забившись под навес лба — и как-то исподлобья, крадучись видел: они шли из комнаты в комнату, начиная с правого конца коридора, и все ближе. Одни сидели, застывшие, как я; другие — вскакивали им навстречу и широко распахивали дверь, — счастливы! Если бы я тоже...

— «Благодетель — есть необходимая для человечества усовершенствованнейшая дезинфекция, и вследствие этого в организме Единого Государства никакая перистальтика...» — я прыгающим пером выдавливал эту совершенную бессмыслицу и нагибался над столом все ниже, а в голове — сумасшедшая кузница, и спиною я слышал — брякнула ручка двери, опахло ветром, кресло под мною заплесало...

Только тогда я с трудом оторвался от страницы и повернулся к вошедшим (как трудно играть комедию... ах,

кто мне сегодня говорил о комедии?). Впереди был S — мрачно, молча, быстро высверливая глазами колодцы во мне, в моем кресле, во вздрагивающих у меня под рукой листках. Потом на секунду — какие-то знакомые, ежедневные лица на пороге, и вот от них отделилось одно — раздувающиеся, розово-коричневые жабры...

Я вспомнил все, что было в этой комнате полчаса назад, и мне было ясно, что она сейчас — — Все мое существо билось и пульсировало в той (к счастью, непрозрачной) части тела, какую я прикрыл рукопись.

Ю подошла сзади к нему, к S, осторожно тронула его за рукав — и негромко сказала:

— Это — Д-503. Строитель «Интеграла». Вы, наверное, слышали? Он — всегда вот так, за столом... Совершенно не щадит себя!

...А я-то? Какая чудесная, удивительная женщина.

S заскользил ко мне, перегнулся через мое плечо — над столом. Я заслонил локтем написанное, но он строго крикнул:

— Прошу сейчас же показать мне, что у вас там!

Я, весь полыхая от стыда, подал ему листок. Он прочитал, и я видел, как из глаз выскользнула у него улыбка, юркнула вниз по лицу и, чуть пошевеливая хвостиком, присела где-то в правом углу рта...

— Несколько двусмысленно, но все-таки... Что же, продолжайте: мы больше не будем вам мешать.

Он зашлепал — как плицами по воде — к двери, и с каждым его шагом ко мне постепенно возвращались ноги, руки, пальцы — душа снова равномерно распределялась по всему телу, я дышал...

Последнее: Ю задержалась у меня в комнате, подошла, нагнулась к уху — и шепотом:

— Ваше счастье, что я...

Непонятно: что она хотела этим сказать?

Вечером, позже, узнал: они увели с собой троих. Впрочем, вслух об этом, равно как и о всем происходящем, ни кто не говорит (воспитательное влияние невидимо присутствующих в нашей среде Хранителей). Разговоры — главным образом о быстром падении барометра и о перемене погоды.

Запись 29-я.

Конспект:

НИТИ НА ЛИЦЕ. РОСТКИ. ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННАЯ КОМПРЕССИЯ

Странно: барометр идет вниз, а ветра все еще нет, тишина. Там, наверху, уже началась — еще неслышная нам — буря. Во весь дух несутся тучи. Их пока мало — отдельные зубчатые обломки. И так: будто наверху уже низринут какой-то город, и летят вниз куски стен и башен, растут на глазах с ужасающей быстротой — все ближе, — но еще дни им лететь сквозь голубую бесконечность, пока не рухнут на дно, к нам, вниз.

Внизу — тишина. В воздухе — тонкие, непонятные, почти невидимые нити. Их каждую осень приносит оттуда, из-за Стены. Медленно плывут — и вдруг вы чувствуете: что-то постороннее, невидимое у вас на лице, вы хотите смахнуть — и нет: не можете, никак не отделаться...

Особенно много таких нитей — если идти около Зеленой Стены, где я шел сегодня утром: I назначила мне увидеться с нею в Древнем Доме — в той, нашей «квартире». Удали я уже заметил темно-красную громаду Древнего Дома, когда сзади услышал чьи-то мелкие, торопливые шаги, частое дыхание. Оглянулся — и увидел: меня догнала О.

Вся она была как-то по-особенному, законченно, упруго кругла. Руки и чаши грудей, и все ее тело, такое мне знакомое, круглилось и натягивало юнифу: вот сейчас прорвет тонкую материю — и наружу, на солнце, на свет. Мне представляется: там, в зеленых дебрях, весной так же упрямо пробиваются сквозь землю ростки — чтобы скорее выбросить ветки, листья, скорее цвести.

Несколько секунд она молчала, сине сияла мне в лицо.

— Я видела вас — тогда, в День Единогласия.

— Я тоже вас видел... — И сейчас же мне вспомнилось, как она стояла внизу, в узком проходе, прижавшись к стене и закрыв живот руками. Я невольно посмотрел на ее круглый под юнифой живот.

Она, очевидно, заметила — вся стала кругло-розовая, и розовая улыбка:

— Я так счастлива — так счастлива... Я полна — понимаете: вровень с краями. И вот — хожу и ничего не слышу, что кругом, а все слушаю внутри, в себе...

Я молчал. На лице у меня — что-то постороннее, оно мешало — и я никак не мог от этого освободиться. И вдруг неожиданно, еще синее сияя, она схватила мою руку — и у себя на руке я почувствовал ее губы... Это — первый раз в моей жизни. Это была какая-то неведомая мне до сих пор древняя ласка, и от нее — такой стыд и боль, что я (пожалуй, даже грубо) выдернул руку.

— Слушайте — вы с ума сошли! И не столько это — вообще вы... Чему вы радуетесь? Неужели вы можете забыть о том, что вас ждет? Не сейчас — так все равно через месяц, через два месяца...

Она — потухла; все круги — сразу прогнулись, покоробились. А у меня в сердце — неприятная, даже болезненная компрессия, связанная с ощущением жалости (сердце — не что иное, как идеальный насос; компрессия, сжатие — засасывание насосом жидкости — есть технический абсурд; отсюда ясно: насколько, в сущности, абсурдны, противоестественны, болезненны все «любви», «жалости» и все прочее, вызывающее такую компрессию).

Тишина. Мутно-зеленое стекло Стены — слева. Темно-красная громада — впереди. И эти два цвета, слагаясь, дали во мне в виде равнодействующей — как мне кажется, блестящую идею.

— Стойте! Я знаю, как спасти вас. Я избавлю вас от этого: увидеть своего ребенка — и затем умереть. Вы сможете выкормить его — понимаете, — вы будете следить, как он у вас на руках будет расти, крутлеть, наливаться, как плод...

Она вся так и затряслась, так и вцепилась в меня.

— Вы помните ту женщину... ну, тогда, давно, на прогулке. Так вот: она сейчас здесь, в Древнем Доме. Идемте к ней, и ручаюсь: я все устрою немедленно.

Я уже видел, как мы вдвоем с I ведем ее коридорами — вот она уже там, среди цветов, трав, листьев... Но она отступила от меня назад, рожки розового ее полумесяца дрожали и изгибались вниз.

— Это — та самая, — сказала она.

— То есть... — я почему-то смутился. — Ну да: та самая.

— И вы хотите, чтобы я пошла к ней — чтобы я просила ее — чтобы я... Не смейте больше никогда мне об этом!

Согнувшись, она быстро пошла от меня. Будто еще что-то вспомнила — обернулась и крикнула:

— И умру — да, пусть! И вам никакого дела — не все ли вам равно?

Тишина. Падают сверху, с ужасающей быстротой растут на глазах — куски синих башен и стен, но им еще часы — может быть, дни — лететь сквозь бесконечность; медленно плывут невидимые нити, оседают на лицо — и никак их не стряхнуть, никак не отделаться от них.

Я медленно иду к Древнему Дому. В сердце — абсурдная, мучительная компрессия...

Запись 30-я.

Конспект:

ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО. ОШИБКА ГАЛИЛЕЯ. НЕ ЛУЧШЕ ЛИ?

Вот мой разговор с I — там, вчера, в Древнем Доме, среди заглушающего логический ход мыслей пестрого шума — красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета... И все время — под застывшей на мраморе улыбкой курносого древнего поэта.

Я воспроизвожу этот разговор буква в букву — потому что он, как мне кажется, будет иметь огромное, решающее значение для судьбы Единого Государства — и больше: вселенной. И затем — здесь вы, неведомые мои читатели, быть может, найдете некоторое оправдание мне...

I сразу, без всякой подготовки, обрушила на меня все:

— Я знаю: послезавтра у вас — первый, пробный полет «Интеграла». В этот день — мы захватим его в свои руки.

— Как? Послезавтра?

— Да. Сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен наудачу взятых вчера Хранителями — пошло 12 Мефи. И упустить два-три дня — они погибнут.

Я молчал.

— Чтобы наблюдать за ходом испытания — к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей, метеорологов. И ровно в 12 — запомни — когда прозвонят

к обеду и все пройдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем всех в столовой — и «Интеграл» наш... Ты понимаешь: это нужно, во что бы то ни стало. «Интеграл» в наших руках — это будет оружие, которое поможет кончить все сразу, быстро, без боли. Их аэро... ха! Это будет просто ничтожная мошकारа против коршуна. И потом: если уж это будет неизбежно — можно будет направить вниз дула двигателей и одной только их работой...

Я вскочил.

— Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете, — это революция?

— Да, революция! Почему же это нелепо?

— Нелепо — потому что революции не может быть. Потому что наша — это не ты, а я говорю — наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому...

Насмешливый, острый треугольник бровей:

— Милый мой: ты — математик. Даже — больше: ты философ — от математики. Так вот: назови мне последнее число.

— То есть? Я... я не понимаю: какое — последнее?

— Ну — последнее, верхнее, самое большое.

— Но, I, — это же нелепо. Раз число чисел — бесконечно, какое же ты хочешь последнее?

— А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней — нет, революции — бесконечны. Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо — чтобы дети спокойно спали по ночам...

— Но какой смысл — какой же смысл во всем этом — ради Благодетеля? Какой смысл, раз все уже счастливы?

— Положим... Ну, хорошо: пусть даже так. А что дальше?

— Смешно! Совершенно ребяческий вопрос. Расскажи что-нибудь детям — все до конца, а они все-таки непременно спросят: а дальше, а зачем?

— Дети — единственно смелые философы. И смелые философы — непременно дети. Именно так, как дети, всегда и надо: а что дальше?

— Ничего нет дальше! Точка. Во всей вселенной — равномерно, повсюду — разлито...

— Ага: равномерно, повсюду! Вот тут она самая и есть — энтропия, психологическая энтропия. Тебе, мате-

матику, — разве не ясно, что только разности — разности — температур, только тепловые контрасты — только в них жизнь. А если всюду, по всей Вселенной, одинаково теплые — или одинаково прохладные, тела... Их надо столкнуть — чтобы огонь, взрыв, геенна. И мы — столкнем.

— Но, I, — пойми же, пойми: наши предки — во время Двухсотлетней Войны — именно это и сделали...

— О, и они были правы — тысячу раз правы. У них только одна ошибка: позже они уверовали, что они есть последнее число — какого нет в природе, нет. Их ошибка — ошибка Галилея: он был прав, что Земля движется вокруг Солнца, но он не знал, что вся солнечная система — движется еще вокруг какого то центра, он не знал, что настоящая, не относительная, орбита Земли — вовсе не наивный круг...

— А вы?

— А мы — пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Нет: даже навверное — забудем, когда состаримся, — как неминуемо старится все. И тогда мы — тоже неизбежно вниз — как осенью листья с дерева — как послезавтра вы... Нет, нет, милый, — не ты. Ты же — с нами, ты — с нами!

Разгоревшаяся, вихревая, сверкучая — я никогда еще не видел ее такой, — она обняла меня собою, вся. Я исчез...

Последнее — глядя прочно, твердо в глаза мне:

— Так помни же: в 12.

И я сказал:

— Да, я помню.

Ушла. Я один — среди буйного, разноголосого гама — синих, красных, зеленых, бронзово-желтых, оранжевых...

Да, в 12... — и вдруг нелепое ощущение чего-то постороннего, осевшего на лицо — чего никак не смахнуть. И вдруг — вчерашнее утро. Ю — и то, что она кричала тогда на лицо I... Почему? Что за абсурд.

Я поторопился выйти наружу — и скорее домой, домой..

Где-то сзади я слышал пронзительный писк птиц над стеной. А впереди, в закатном солнце — из малинового кристаллизованного огня — шары куполов, огромные пыляющие кубы-дома, застывшей молнией в небе — шпиц

аккумуляторной башни. И все это — всю эту безукоризненную, геометрическую красоту — я должен буду сам, своими руками... Неужели — никакого выхода, никакого пути?

Мимо какого-то аудиториума (номер его не помню). Внутри — грудой сложены скамьи; посредине — столы, покрытые простынями из белоснежного стекла; на белом пятно розовой солнечной крови. И во всем этом скрыто какое-то неведомое — потому жуткое — завтра. Это противостоит: мыслящему — зрячему существу жить среди незакономерностей, неизвестных, иксов. Вот если бы вам завязали глаза и заставили так ходить, ощупывать, спотыкаться, и вы знаете, что где-то тут вот совсем близко — край, один только шаг — и от вас останется только сплюснутый, исковерканный кусок мяса. Разве это не то же самое?

...А что, если не дожидаясь — самому вниз головой? Не будет ли это единственным и правильным, сразу распутывающим все?

Запись 31-я.

Конспект:

ВЕЛИКАЯ ОПЕРАЦИЯ. Я ПРОСТИЛ ВСЕ. СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ

Спасены! В самый последний момент, когда уже казалось — не за что ухватиться, казалось — уже все кончено...

Так: будто вы по ступеням уже поднялись к грозной Машине Благодетеля, и с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак, и вы в последний раз в жизни — скорее — глотаете глазами синее небо...

И вдруг: все это — только «сон». Солнце — розовое и веселое, и стена — такая радость погладить рукой холодную стену, — и подушка — без конца упиваться ямкой от вашей головы на белой подушке...

Вот, приблизительно, то, что пережил я, когда сегодня утром прочитал Государственную Газету. Был страшный сон, и он кончился. А я, малодушный, я, неверующий, — я думал уже о своевольной смерти. Мне стыдно сейчас читать последние, написанные вчера, строки. Но все равно:

пусть, пусть они останутся, как память о том невероятном, что могло быть — и чего уже не будет... да, не будет!..

На первой странице Государственной Газеты сияло:

«Радуйтесь,

Ибо отныне вы — совершенны! До сегодня ваши же детища, механизмы — были совершеннее вас.

Чем?

Каждая искра динамо — искра чистейшего разума; каждый ход поршня — непорочный силлогизм. Но разве не тот же безошибочный разум и в вас?

Философия у кранов, прессов и насосов — законченна и ясна, как циркульный круг. Но разве ваша философия менее циркульна?

Красота механизма — в неуклонном и точном, как маятник, ритме. Но разве вы, с детства вскормленные системой Тэйлора, — не стали маятниково-точные?

И только одно:

У механизма нет фантазии.

Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на физиономии у насосного цилиндра — расплывалась далекая, бессмысленно-мечтательная улыбка? Вы слышали когда-нибудь, чтобы краны по ночам, в часы, назначенные для отдыха, беспокойно ворочались и вздыхали?

Нет!

А у вас — краснейте! — Хранители все чаще видят эти улыбки и вздохи. И — прячьте глаза — историки Единого Государства просят отставки, чтобы не записывать постыдных событий.

Но это не ваша вина — вы больны. Имя этой болезни: фантазия.

Это — червь, который выгрызает черные морщины на лбу. Это — лихорадка, которая гонит вас бежать все дальше — хотя бы это «дальше» начиналось там, где кончается счастье. Это — последняя баррикада на пути к счастью.

И радуйтесь: она уже взорвана.

Путь свободен.

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок в области Варолиева моста. Трехкратное прижигание этого узелка X-лучами — и вы излечены от фантазии — навсегда.

Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопро-

центному счастью — свободен. Спешите же все — стар и млад, — спешите подвергнуться Великой Операции. Спешите в аудитории, где производится Великая Операция. Да здравствует Великая Операция! Да здравствует Единое Государство, да здравствует Благодетель!»

Вы — если бы вы читали все это не в моих записях, похожих на какой-то древний, причудливый роман — если бы у вас в руках, как у меня, дрожал вот этот еще пахнувший краской газетный лист — если бы вы знали, как я, что все это самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так завтрашняя, — разве не чувствовали бы вы то же самое, что я? Разве — как у меня сейчас — не кружилась бы у вас голова? Разве — по спине и рукам — не бежали бы у вас эти жуткие, сладкие ледяные иголки? Разве не казалось бы вам, что вы — гигант, Атлас — и если распрямиться, то непременно стукнетесь головой о стеклянный потолок?

Я схватил телефонную трубку:

— 1—330... Да, да: 330. — И потом, захлебываясь, крикнул: — Вы дома, да? Вы — читали — вы читаете? Ведь это же, это же... Это изумительно!

— Да... — долгое, темное молчание. Трубка чуть слышно жужжала, думала что-то... — Мне непременно надо вас увидеть сегодня. Да, у меня после 16. Непременно.

Милая! Какая-какая милая! «Непременно»... Я чувствовал: улыбаюсь — и никак не могу остановиться, и так вот понесу по улице эту улыбку — как фонарь, высоко над головой...

Там, снаружи, на меня налетел ветер. Крутил, свистел, сек. Но мне только еще веселее. Вопи, вой — все равно: теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся чугунно-летучие тучи — пусть: вам не затемнить солнца — мы навеки приковали его цепью к зениту — мы, Иисусы Навины.

На углу — плотная кучка Иисус-Навинов стояла, влипши лбами в стекло стены. Внутри, на ослепительно белом столе уже лежал один. Виднелись из-под белого развернутые желтым углом босые подошвы, белые медики — нагнулись к изголовью, белая рука — протянула руке наполненный чем-то шприц.

— А вы — что ж не идете? — спросил я — никого, или, вернее, всех.

— А вы? — обернулся ко мне чей-то шар.

— Я — потом. Мне надо еще сначала...

Я, несколько смущенный, отошел. Мне действительно сначала надо было увидеть ее, I. Но почему «сначала» — я не мог ответить себе...

Эллинг. Голубовато-ледяной, посверкивал, искрился «Интеграл». В машинном гудела динамо — ласково, одно и то же какое-то слово повторяя без конца — как будто мое, знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную, холодную трубу двигателя. Милая... какая-какая милая. Завтра ты — оживешь, завтра — первый раз в жизни содрогнешься от огненных жгучих брызг в твоем чреве...

Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклянное чудовище, если бы все оставалось, как вчера? Если бы я знал, что завтра в 12 — я предам его... да, предам...

Осторожно — за локоть сзади. Обернулся: тарелочное, плоское лицо Второго Строителя.

— Вы уже знаете, — сказал он.

— Что? Операция? Да, не правда ли? Как — все, все — сразу...

— Да нет, не то: пробный полет отменили, до послезавтра. Все из-за операции этой... Зря гнали, старались...

«Все из-за Операции»... Смешной, ограниченный человек. Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что, не будь Операции, — завтра в 12 он сидел бы под замком в стеклянной клетке, метался бы там и лез на стену...

У меня в комнате, в 15.30. Я вошел — и увидел Ю. Она сидела за моим столом, — костяная, прямая, твердая — утвердив на руке правую щеку. Должно быть, ждала уже давно: потому что, когда вскочила навстречу мне, — на щеке у ней так и остались пять ямок от пальцев.

Одну секунду во мне — то самое несчастное утро, и вот здесь же, возле стола, — она рядом с I, разъяренная... Но только секунду — и сейчас же смыто сегодняшним солнцем. Так бывает, если в яркий день вы, входя в комнату, по рассеянности повернули штепсель — лампочка загорелась, но как будто ее и нет — такая смешная, бедная, ненужная...

Я, не задумываясь, протянул ей руку, я простил все —

она схватила мои обе, крепко, колюче стиснула их и, взволнованно вздрагивая свисающими, как древние украшения, щеками, — сказала:

— Я ждала... я только на минуту... я только хотела сказать: как я счастлива, как я рада за вас! Вы понимаете: завтра-послезавтра — вы совершенно здоровы, вы заново — родились...

Я увидел на столе листок — последние две страницы вчерашней моей записи: как оставил их там с вечера — так и лежали. Если бы она видела, что я писал там... Впрочем, все равно: теперь это — только история, теперь это — до смешного далекое, как сквозь перевернутый бинокль...

— Да, — сказал я, — и знаете: вот я сейчас шел по проспекту, и впереди меня человек, и от него — тень на мостовой. И понимаете: тень — светится. И мне кажется — ну вот я уверен, — завтра совсем не будет теней, ни от одного человека, ни от одной вещи, солнце — сквозь все...

Она — нежно и строго:

— Вы — фантазер! Детям у меня в школе — я бы не позволила говорить так...

И что-то о детях, и как она их всех сразу, гуртом, повела на Операцию, и как их там пришлось связать, и о том, что «любить — нужно беспощадно, да, беспощадно», и что она, кажется, наконец решится...

Оправила между колен серо-голубую ткань, молча, быстро — обклеила всего меня улыбкой, ушла.

И — к счастью, солнце сегодня еще не остановилось, солнце бежало, и вот уже 16, я стучу в дверь — сердце стучит...

— Войдите!

На пол — возле ее кресла, обняв ее ноги, закинув голову вверх, смотреть в глаза — поочередно, в один и в другой — и в каждом видеть себя — в чудесном плену...

А там, за стеною, буря, там — тучи все чугуннее: пусты! В голове — тесно, буйные — через край — слова, и я вслух вместе с солнцем лечу куда-то... нет, т е п е р ь мы уже знаем, куда — и за мною планеты — планеты, брызжащие пламенем и населенные огненными, поющими цветами, — и планеты немые, синие, где разумные камни объединены в организованные общества, — планеты, достигшие, как наша Земля, вершины абсолютного, стопроцентного счастья...

И вдруг — сверху:

— А ты не думаешь, что вершина — это именно объединенные в организованное общество камни?

И все острее, все темнее треугольник:

— А счастье... Что же? Ведь желания — мучительны, не так ли? И ясно: счастье — когда нет уже никаких желаний, нет ни одного... Какая ошибка, какой нелепый пред-
рассудок, что мы до сих пор перед счастьем — ставили знак плюс, перед абсолютным счастьем — конечно, минус — божественный минус.

Я — помню — растерянно пробормотал:

— Абсолютный минус — 273° ...

— Минус 273 — именно. Немного прохладно, но разве это-то самое и не доказывает, что мы — на вершине.

Как тогда, давно — она говорила как-то за меня, мною — развертывала до конца мои мысли. Но было в этом что-то такое жуткое — я не мог — и с усилием вытаскивал из себя «нет».

— Нет, — сказал я. — Ты... ты шутишь...

Она засмеялась, громко — слишком громко. Быстро, в секунду, досмеялась до какого-то края — отступилась — вниз... Пауза.

Встала. Положила мне руки на плечи. Долго, медленно смотрела. Потом притянула к себе — и ничего нет: только ее острые, горячие губы.

— Прощай!

Это — издалека, сверху, и дошло до меня не скоро — может быть, через минуту, через две.

— Как так «прощай»?

— Ты же болен, ты из-за меня совершал преступления, — разве тебе не было мучительно? А теперь Операция — и ты излечишься от меня. И это — прощай.

— Нет, — закричал я.

Беспощадно-острый, черный треугольник на белом:

— Как? Не хочешь счастья?

Голова у меня рассказывалась, два логических поезда столкнулись, лезли друг на друга, крушили, тресали...

— Ну, что же, я жду — выбирай: Операция и стопроцентное счастье — или...

— «Не могу без тебя, не надо без тебя», — сказал я или только подумал — не знаю; но я слышала.

— Да, я знаю, — ответила мне. И потом — все еще дер-

жа у меня на плечах свои руки и глазами не опуская моих глаз. — Тогда — до завтра. Завтра — в 12: ты помнишь?

— Нет. Отложено на один день... Послезавтра...

— Тем лучше для нас. В 12 — послезавтра...

Я шел один — по сумеречной улице. Ветер крутил меня, нес, гнал — как бумажку, обломки чугунного неба летели, летели — сквозь бесконечность им лететь еще день, два... Меня задевали юнифы встречных — но я шел один. Мне было ясно: все спасены, но мне спасенья уже нет, я не хочу спасенья...

Запись 32-я.

Конспект:

Я НЕ ВЕРЮ. ТРАКТОРЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА

Верите ли вы в то, что вы умрете? Да, человек смертен, я — человек: следовательно... Нет, не то: я знаю, что вы это знаете. А я спрашиваю: случилось ли вам поверить в это, поверить окончательно, поверить не умом, а телом, почувствовать, что однажды пальцы, которые держат вот эту самую страницу, — будут желтые, ледяные...

Нет: конечно, не верите — и оттого до сих пор не прыгнули с десятого этажа на мостовую, оттого до сих пор едите, перевортываете страницу, бреетесь, улыбаетесь, пишете...

То же самое — да, именно то же самое — сегодня со мной. Я знаю, что эта маленькая черная стрелка на часах сползет вот сюда, вниз, к полночи, снова медленно подыдется вверх, перешагнет какую-то последнюю черту — и настанет невероятное завтра. Я знаю это, но вот все же как-то не верю — или, может быть, мне кажется, что двадцать четыре часа — это двадцать четыре года. И оттого я могу еще что-то делать, куда-то торопиться, отвечать на вопросы, взбираться по трапу вверх на «И н т е г р а л». Я чувствую еще, как он покачивается на воде, и понимаю — что надо ухватиться за поручень — и под рукою холодное стекло. Я вижу, как прозрачные живые краны, согнув журавлиные шеи, вытянув клювы, заботливо и нежно кормят «И н т е г р а л» страшной взрывной пищей для

двигателей. И внизу на реке — я вижу ясно синие, вздувшиеся от ветра водяные жилы, узлы. Но так: все это очень отдельно от меня, посторонне, плоско — как чертеж на листе бумаги. И странно, что плоское, чертежное лицо Второго Строителя — вдруг говорит:

— Так как же: сколько берем топлива для двигателей? Если считать три... ну? три с половиной часа...

Передо мною — в проекции, на чертеже — моя рука со счетчиком, логарифмический циферблат, цифра 15.

— Пятнадцать тонн. Но лучше возьмите... да: возьмите сто...

Это потому, что я все-таки ведь знаю, что завтра — —

И я вижу со стороны — как чуть заметно начинает дрожать моя рука с циферблатом.

— Сто? Да зачем же такую уйму? Ведь это — на неделю. Куда — на неделю: больше!

— Мало ли что... кто знает...

— Я знаю...

Ветер свистит, весь воздух туго набит чем-то невидимым до самого верху. Мне трудно дышать, трудно идти — и трудно, медленно, не останавливаясь ни на секунду, — ползет стрелка на часах аккумуляторной башни, там, в конце проспекта. Башенный шпиц — в тучах — тусклый, синий и глухо воет: сосет электричество. Воют трубы Музыкального Завода.

Как всегда — рядами, по четыре. Но ряды — какие-то непрочные, и, может быть, от ветра — колеблются, гнутся. И все больше. Вот обо что-то на углу ударились, отхлынули, и уже сплошной, застывший, тесный, с частым дыханием комок, у всех сразу — длинные, гусиные шеи.

— Смотрите! Нет, смотрите — вон там, скорей!

— Они! Это они!

— ...А я — ни за что! Ни за что — лучше голову в Машину...

— Тише! Сумасшедший...

На углу, в аудиториуме — широко разинута дверь, и оттуда — медленная, грузная колонна, человек пятьдесят. Впрочем, «человек» — это не то: не ноги — а какие-то тяжелые, скованные, ворочающиеся от невидимого привода колеса; не люди — а какие-то человекообразные тракторы. Над головами у них хлопает по ветру белое знамя с вы-

шитым золотым солнцем — и в лучах надпись: «Мы первые! Мы — уже оперированы! Все за нами!»

Они медленно, неудержимо пропахали сквозь толпу — и ясно, будь вместо нас на пути у них стена, дерево, дом — они все же, не останавливаясь, пропахали бы сквозь стену, дерево, дом. Вот — они уже на середине проспекта. Свинтившись под руку — растянулись в цепь, лицом к нам. И мы — напряженный, оцетинившийся головами комок — ждем. Шеи гусино вытянуты. Тучи. Ветер свистит.

Вдруг крылья цепи, справа и слева, быстро загнулись — и на нас — все быстрее — как тяжелая машина под гору — обжали кольцом — и к разинутым дверям, в двери, внутрь...

Чей-то пронзительный крик:

— Загоняют! Бегите!

И все ринулось. Возле самой стены — еще узенькие живые ворота, все — туда, головами вперед — головы мгновенно заострились клиньями, и острые локти, ребра, плечи, бока. Как струя воды, стиснутая пожарной кишкой, разбрызнулись веером, и кругом сыплются топающие ноги, взмахивающие руки, юнифы. Откуда-то на миг в глаза мне — двоякоизогнутое, как буква S, тело, прозрачные крылья-уши — и уж его нет, сквозь землю — и я один — среди секундных рук, ног — бегу...

Передохнуть в какой-то подъезд — спиною крепко к дверям — и тотчас же ко мне, как ветром, прибило маленькую человеческую щечку.

— Я все время... я за вами... Я не хочу — понимаете, — не хочу. Я согласна...

Круглые, крошечные руки у меня на рукаве, круглые синие глаза: это она, О. И вот как-то вся скользит по стене и оседает наземь. Комочком согнулась там, внизу, на холодных ступенях, и я — над ней, глажу ее по голове, по лицу — руки мокрые. Так: будто я очень большой, а она — совсем маленькая, — маленькая часть меня же самого. Это совершенно другое, чем к I, и мне сейчас представляется: нечто подобное могло быть у древних по отношению к их частным детям.

Внизу — сквозь руки, закрывающие лицо, — еле слышно:

— Я каждую ночь... Я не могу — если меня вылечат... Я каждую ночь — одна, в темноте думаю о нем — какой он

будет, как я его буду... Мне же нечем тогда жить — понимаете? И вы должны — вы должны...

Нелепое чувство — но я в самом деле уверен: да, должен. Нелепое — потому что этот мой долг — еще одно преступление. Нелепое — потому что белое не может быть одновременно черным, долг и преступление — не могут совпадать. Или нет в жизни ни черного, ни белого, и цвет зависит только от основной логической посылки. И если посылкой было то, что я противозаконно дал ей ребенка...

— Ну, хорошо — только не надо, только не надо... — говорю я. — Вы понимаете: я должен повести вас к I — как я тогда предлагал — чтобы она...

— Да, — тихо, не отнимая рук от лица.

Я помог встать ей. И молча, каждый о своем — или, может быть, об одном и том же, — по темнеющей улице, среди немых свинцовых домов, сквозь тутие, хлещущие ветки ветра...

В какой-то прозрачной, напряженной точке — я сквозь свист ветра услышал сзади знакомые, вышлепывающие, как по лужам, шаги. На повороте оглянулся — среди опрокинуто несущихся, отраженных в тусклом стекле мостовой туч — увидел S. Тотчас же у меня — посторонние, не в такт размахивающие руки, и я громко рассказываю О — что завтра... да, завтра — первый полет «Интеграла», это будет нечто совершенно небывалое, чудесное, жуткое.

О — изумленно, кругло, сине смотрит на меня, на мои громко, бессмысленно размахивающие руки. Но я не даю сказать ей слова — я говорю, говорю. А внутри, отдельно — это слышно только мне — лихорадочно жужжит и постукивает мысль: «Нельзя... надо как-то... Нельзя вести его за собою к I — ...»

Вместо того чтобы свернуть влево — я сворачиваю направо. Мост подставляет свою покорно, рабски согнутую спину — нам троим: мне, О — и ему, S, сзади. Из освещенных зданий на том берегу сыплются в воду огни, разбиваются в тысячи лихорадочно прыгающих, обрызганных бешеной белой пеной искр. Ветер гудит — как где-то невысоко натянутая канатно-басовая струна. И сквозь бас — сзади все время — —

Дом, где живу я. У дверей О остановилась, начала было что-то:

— Нет! Вы же обещали...

Но я не дал ей кончить, торопливо втолкнул в дверь — и мы внутри, в вестибюле. Над контрольным столиком — знакомые, взволнованно-вздрагивающие, обвислые щеки; кругом — плотная кучка нумеров — какой-то спор, головы, перевесившиеся со второго этажа через перила, — поодиночке сбегают вниз. Но это — потом, потом... А сейчас я скорее увлек О в противоположный угол, сел спиной к стене (там, за стеною, я видел: скользила по тротуару взад и вперед темная, большеголовая тень), вытащил блокнот.

О — медленно оседала в своем кресле, — будто под юнифой испарялось, таяло тело, и только одно пустое платье и пустые — засасывающие синей пустотой — глаза. Устало:

— Зачем вы меня сюда? Вы меня обманули?

— Нет... Тише! Смотрите туда: видите — за стеной?

— Да. Тень.

— Он — все время за мной... Я не могу. Понимаете — мне нельзя. Я сейчас напишу два слова — вы возьмете и пойдете одна. Я знаю: он останется здесь.

Под юнифой — снова зашевелилось налитое тело, чуть-чуть закруглел живот, на щеках — чуть заметный рассвет, заря.

Я сунул ей в холодные пальцы записку, крепко сжал руку, последний раз зачерпнул глазами из ее синих глаз.

— Прощайте! Может быть, еще когда-нибудь...

Она вынула руку. Согнувшись, медленно пошла — два шага — и быстро повернулась — и вот опять рядом со мной. Губы шевелятся — глазами, губами — вся — одно и то же, одно и то же мне какое-то слово — и какая невыносимая улыбка, какая боль...

А потом согнутая человеческая щепочка в дверях, крошечная тень за стеной — не оглядываясь, быстро — все быстрее...

Я подошел к столику Ю. Взволнованно, негодуя, раздувая жабры, она сказала мне:

— Вы понимаете — все как с ума сошли! Вот он уверяет, будто сам видел около Древнего Дома какого-то человека — голый и весь покрыт шерстью...

Из пустой, ошетилившейся головами кучки — голос:

— Да! И еще раз повторяю: видел, да.

— Ну, как вам это нравится, а? Что за бред!

И это «бред» — у нее такое убежденное, негнущееся, что я спросил себя: «Не бред ли и в самом деле все это, что творится со мною и вокруг меня за последнее время?»

Но взглянул на свои волосатые руки — вспомнилось: «В тебе, наверно, есть капля лесной крови... Может быть, я тебя оттого и...»

Нет: к счастью — не бред. Нет: к несчастью — не бред.

Запись 33-я.

Конспект:

(ЭТО БЕЗ КОНСПЕКТА НАСПЕХ, ПОСЛЕДНЕЕ)

Этот день — настал.

Скорей за газету: быть может — там... Я читаю газету глазами (именно так: мои глаза сейчас — как перо, как счетчик, которые держишь, чувствуешь в руках — это постороннее, это инструмент).

Там — крупно, во всю первую страницу:

— «Враги счастья не дремлют. Обеими руками держитесь за счастье! Завтра приостанавливаются работы — все нумера явятся для Операции. Неявившиеся — подлежат Машине Благодетеля».

Завтра! Разве может быть — разве будет какое-нибудь завтра?

По ежедневной инерции, я протянул руку (инструмент) к книжной полке — вложил сегодняшнюю газету к остальным, в украшенный золотом переплет. И на пути:

«Зачем? Не все ли равно? Ведь сюда, в эту комнату, — и уже никогда больше, никогда...»

И газета из рук — на пол. А я стою и оглядываю кругом всю, всю, всю комнату, я поспешно забираю с собою — я лихорадочно запикиваю в невидимый чемодан все, что жалко оставить здесь. Стол. Книги. Кресло. На кресле тогда сидела I — а я внизу, на полу... Кровать...

Потом минуту, две — нелепо жду какого-то чуда, быть может — зазвонит телефон, быть может, она скажет, чтоб...

Нет. Нет чуда...

Я ухожу — в неизвестное. Это мои последние строки. Прощайте — вы, неведомые, вы, любимые, с кем я прожил

столько страниц, кому я, заболевший душой, — показал всего себя, до последнего смолотого винтика, до последней лопнувшей пружины...

Я ухожу.

Запись 34-я.

Конспект: ОТПУЩЕННИКИ. СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ. РАДИО-ВАЛЬКИРИЯ

О, если бы я действительно разбил себя и всех вдребезги, если бы я действительно — вместе с нею — оказался где-нибудь за Стеной, среди скалящих желтые клыки зверей, если бы я действительно уже больше никогда не вернулся сюда. В тысячу — в миллион раз легче. А теперь — что же? Пойти и задушить эту — — Но разве это чему-нибудь поможет?

Нет, нет, нет! Возьми себя в руки, Д-503. Насади себя на крепкую логическую ось — хоть ненадолго навались изо всех сил на рычаг — и, как древний раб, ворочай жернова силлогизмов — пока не запишешь, не обмыслишь всего, что случилось...

Когда я вошел на «Интеграл» — все уже были в сборе, все на местах, все соты гигантского, стеклянного улья были полны. Сквозь стекло палуб — крошечные муравьиные люди внизу — возле телеграфов, динамо, трансформаторов, альтиметров, вентилей, стрелок, двигателей, помп, труб. В кают-компании — какие-то над таблицами и инструментами — вероятно, командированные Научным Бюро. И возле них — Второй Строитель с двумя своими помощниками.

У всех троих головы по-черепащьи втянуты в плечи, лица — серые, осенние, без лучей.

— Ну, что? — спросил я.

— Так... Жутковато... — серо, без лучей улыбнулся один. — Может, придется спуститься неизвестно где. И вообще — неизвестно...

Мне было нестерпимо смотреть на них, — на них, кого я, вот этими самыми руками, через час навсегда выкину

из уютных цифр Часовой Скрижали, навсегда оторву от материнской груди Единого Государства. Они напомнили мне трагические образы «Трех Отпущенников» — история которых известна у нас любому школьнику. Эта история о том, как троих нумеров, в виде опыта, на месяц освободили от работы: делай что хочешь, иди куда хочешь¹. Несчастные слонялись возле места привычного труда и голодными глазами заглядывали внутрь; останавливались на площадях — и по целым часам проделывали те движения, какие в определенное время дня были уже потребностью их организма: пилили и стругали воздух, невидимыми молотами побрякивали, бухали в невидимые болванки. И наконец, на десятый день не выдержали: взявшись за руки, вошли в воду и под звуки Марша погружались все глубже, пока вода не прекратила их мучений...

Повторяю: мне было тяжело смотреть на них, я торопился уйти.

— Я только проверю в машинном, — сказал я, — и потом — в путь.

О чем-то меня спрашивали — какой вольтаж взять для пускового взрыва, сколько нужно водяного балласта в кормовую цистерну. Во мне был какой-то граммофон: он отвечал на все вопросы быстро и точно, а я, не переставая, — внутри, о своем.

И вдруг в узеньком коридорчике — одно попало мне туда, внутрь — и с того момента, в сущности, началось.

В узеньком коридорчике мелькали мимо серые юнфы, серые лица, и среди них на секунду одно: низко нахлобученные волосы, глаза исподлобья — тот самый. Я понял: они здесь, и мне не уйти от всего этого никуда, и остались только минуты — несколько десятков минут... Мельчайшая, молекулярная дрожь во всем теле (она потом не прекращалась уже до самого конца) — будто поставлен огромный мотор, а здание моего тела — слишком легкое, и вот все стены, переборки, кабели, балки, огни — все дрожит...

Я еще не знаю: здесь ли она. Но сейчас уже некогда — ни мной прислали, чтобы скорее наверх, в командную рубку: пора в путь. . Куда?

¹ Это давно, еще в III веке после Скрижали.

Серые, без лучей, лица. Напруженные синие жилы внизу, на воде. Тяжкие, чутунные пласты неба. И так чутунно мне поднять руку, взять трубку командного телефона.

— Вверх — 45°!

Глухой взрыв — толчок — бешеная бело-зеленая гора воды в корме — палуба под ногами уходит — мягкая, резиновая — и все внизу, вся жизнь, навсегда... На секунду — все глубже падая в какую-то воронку, все кругом сжималось — выпуклый сине-ледяной чертеж города, круглые пузырьки куполов, одинокий свинцовый палец аккумуляторной башни. Потом — мгновенная ватная занавесь туч — мы сквозь нее — и солнце, синее небо. Секунды, минуты, мили — синее быстро твердеет, наливается темнотой, каплями холодного серебряного пота проступают звезды...

И вот — жуткая, нестерпимо яркая, черная, звездная, солнечная ночь. Как если бы внезапно вы оглохли: вы еще видите, что режут трубы, но только видите: трубы немые, тишина. Такое было — немое — солнце.

Это было естественно, этого и надо было ждать. Мы вышли из земной атмосферы. Но так как-то все быстро, врасплох — что все кругом оробели, притихли. А мне — мне показалось даже легче под этим фантастическим, немым солнцем: как будто я, скорчившись последний раз, уже переступил неизбежный порог — и мое тело где-то там, внизу, а я несусь в новом мире, где все и должно быть непохожее, перевернутое...

— Так держать, — крикнул я в машину — или не я, а тот самый граммофон во мне — и граммофон механической, шарнирной рукой сунул командную трубку Второму Строителю. А я весь, одетый тончайшей, молекулярной, одному мне слышной дрожью, — побежал вниз, искать...

Дверь в кают-компанию — та самая: через час она тяжело звякнет, замкнется... Возле двери — какой-то незнакомый мне, низенький, с сотым, тысячным, пропадающим в толпе лицом, и только руки необычайно длинные, до колен: будто по ошибке, наспех взяты из другого человеческого набора.

Длинная рука вытянулась, загородила:

— Вам куда?

Мне ясно: он не знает, что я знаю все. Пусть: может быть — так нужно. И я сверху, намеренно резко:

— Я Строитель «Интеграла». И я — распоряжаюсь испытаниями. Понял?

Руки нет.

Кают-компания. Над инструментами, картами — объезженные серой щетиной головы — и головы желтые, лысые, спелые. Быстро всех в горсть — одним взглядом — и назад, по коридору, по трапу, вниз, в машинное. Там жар и грохот от раскаленных взрывами труб, в отчаянной пьяной присядке сверкающие мотыли, в не перестающей ни на секунду, чуть заметной дрожи — стрелки на циферблатах...

И вот — наконец — возле тахометра — он, с низко нахлобученным над записной книжкой лбом...

— Послушайте... Грохот: надо кричать в самое ухо. — Она здесь? Где она?

В тени — исподлобья — улыбка:

— Она? Там. В радиотелефонной...

И я — туда. Там их — трое. Все — в слуховых крылатых шлемах. И она — будто на голову выше, чем всегда, крылатая, сверкающая, летучая — как древние валькирии, и будто огромные, синие искры наверху, на радиошпице — что от нее, и от нее здесь — легкий, молниинный, озонный запах.

— Кто-нибудь... нет, хотя бы — вы... — сказал я ей, задыхаясь (от бега). — Мне надо передать вниз, на землю, на млинг... Пойдемте, я продиктую...

Рядом с аппаратной — маленькая коробочка-каюта. За столом, рядом. Я нашел, крепко сжал ее руку:

— Ну что же? Что же будет?

— Не знаю. Ты понимаешь, как это чудесно: не зная — лететь — все равно куда... И вот скоро 12 — и неизвестно что? И ночь... где мы с тобой будем ночью? Может быть — на траве, на сухих листьях...

От нее — синие искры и пахнет молнией, и дрожь во мне — еще чаще.

— Запишите, — говорю я громко и все еще задыхаясь (от бега). — Время 11.30. Скорость: 6800...

Она — из-под крылатого шлема, не отрывая глаз от бумаги, тихо:

— ...Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской... Я знаю — я все знаю: молчи. Но ведь ребенок — твой? И я ее отправила — она уже там, за Стеною. Она будет жить...

Я — снова в командной рубке. Снова — бредовая, с черным звездным небом и ослепительным солнцем, ночь; медленно с одной минуты на другую перекраивающая стрелка часов на стене; и все, как в тумане, одето тончайшей, чуть заметной (одному мне) дрожью.

Почему-то показалось: лучше, чтоб все это произошло не здесь, а где-то внизу, ближе к земле.

— Стоп, — крикнул я в машину.

Все еще вперед — по инерции, — но медленней, медленней. Вот теперь «Интеграл» зацепился за какой-то секундный волосок, на миг повис неподвижно, потом волосок лопнул — и «Интеграл», как камень, вниз — все быстрее. Так в молчании, минуты, десятки минут — слышен пульс — стрелка перед глазами все ближе к 12. И мне ясно: это я — камень, I — земля, а я — кем-то брошенный камень — и камню нестерпимо нужно упасть, хватиться оземь, чтоб вдребезги... А что, если... — внизу уже твердый, синий дым туч... — а что, если...

Но граммофон во мне — шарнирно, точно, взял трубку, скомандовал «малый ход» — камень перестал падать. И вот устало пофыркивают лишь четыре нижних отростка — два кормовых и два носовых — только чтобы парализовать вес «Интеграла», и «Интеграл», чуть вздрагивая, прочно, как на якоре, — стал в воздухе, в каком-нибудь километре от земли.

Все высыпали на палубу (сейчас — 12, звонок на обед) и, перегнувшись через стеклянный планшир, торопливо, залпом глотали неведомый, застенный мир — там, внизу. Янтарное, зеленое, синее: осенний лес, луга, озеро. На краю синего блюдечка — какие-то желтые, костяные развалины, грозит желтый, высохший палец — должно быть, чудом уцелевшая башня древней церкви.

— Смотрите, смотрите! Вон там — правее!

Там — по зеленой пустыне — коричневой тенью летало какое-то быстрое пятно. В руках у меня бинокль, механически поднес его к глазам: по грудь в траве, взвев хвостом, скакал табун коричневых лошадей, а на спинах у них — те, караковые, белые, вороные...

Сзади меня:

— А я вам говорю: видел — лицо.

— Подите вы! Рассказывайте кому другому!

— Ну нате, нате бинокль...

Но уже исчезли. Бесконечная зеленая пустыня...

И в пустыне — заполняя всю ее, и всего меня, и всех — пронзительная дрожь звонка: обед, через минуту — 12.

Раскиданный на мгновенные, несвязные обломки — мир. На ступеньках — чья-то звонкая золотая бляха — и это мне все равно: вот теперь она хрустнула у меня под каблуком. Голос: «А я говорю — лицо!» Темный квадрат: открытая дверь кают-компаний. Стиснутые, белые, остро-улыбающиеся зубы...

И в тот момент, когда бесконечно медленно, не дыша от одного удара до другого, начали бить часы, и передние ряды уже двинулись — квадрат двери вдруг перечеркнут двумя знакомыми, неестественно длинными руками:

— Стойте!

В ладонь мне впились пальцы — это I, это она рядом:

— Кто? Ты знаешь его?

— А разве... а разве это не...

Он — на плечах. Над сотнею лиц — его сотое, тысячное и единственное из всех лицо:

— От имени Хранителей... Вам — кому я говорю, те слышат, каждый из них слышит меня — вам я говорю: мы знаем. Мы еще не знаем ваших номеров — но мы знаем все. «Интеграл» — вашим не будет! Испытание будет доведено до конца, и вы же — вы теперь не посмеете шевельнуться, — вы же, своими руками, сделаете это. А потом... Впрочем, я кончил...

Молчание. Стекланные плиты под ногами — мягкие, шаткие, и у меня мягкие, ватные ноги. Рядом у нее — совершенно белая улыбка, бешеные, синие искры. Сквозь зубы — на ухо мне:

— А, так это вы? Вы — «исполнили долг»? Ну, что же...

Рука — вырвалась из моих рук, валькирийный, гневно-крылатый шлем — где-то далеко впереди. Я — один застыло, молча, как все, иду в кают-компанию...

«Но ведь не я же — не я! Я же об этом ни с кем, никому, кроме этих белых, немых страниц...»

Внутри себя — неслышно, отчаянно, громко — я кричу ей это. Она сидела через стол, напротив — и она даже

ни разу не коснулась меня глазами. Рядом с ней — чья-то спело-желтая лысина. Мне слышно (это — I):

— «Благородство»? Но, милейший профессор, ведь даже простой филологический анализ этого слова — показывает, что это предрассудок, пережиток древних, феодальных эпох. А мы...

Я чувствовал: бледнею — и вот сейчас все увидят это... Но граммофон во мне проделывал 50 установленных жевательных движений на каждый кусок, я заперся в себе, как в древнем непрозрачном доме, — я завалил дверь камнями, я завесил окна...

Потом — в руках у меня командная трубка, и лет — в ледяной, последней тоске — сквозь тучи — в ледяную, звездно-солнечную ночь. Минуты, часы. И, очевидно, во мне все время лихорадочно, полным ходом — мне же самому неслышный логический мотор. Потому что вдруг в какой-то точке синего пространства: мой письменный стол, над ним — жаберные щеки Ю, забытый лист моих записей. И мне ясно: никто, кроме нее, — мне все ясно...

Ах, только бы — только бы добраться до радио... Крылатые шлемы, запах синих молний... Помню — что-то громко говорил ей, и помню — она, глядя сквозь меня, как будто я был стеклянный, — издали:

— Я занята: принимаю снизу. Продиктуйте вот ей...

В крошечной коробочке-каюте, минуту подумав, я твердо продиктовал:

— Время — 14.40. Вниз! Остановить двигатели. Конец всего.

Командная рубка. Машинное сердце «Интеграла» остановлено, мы падаем, и у меня сердце — не поспевает падать, отстает, подымается все выше к горлу. Облака — и потом далеко зеленое пятно — все зеленее, все явственней — вихрем мчится на нас — сейчас конец —

Фаянсово-белое, искóверканное лицо Второго Строителя. Вероятно, это он — толкнул меня со всего маху, я обо что-то ударился головой и, уже темнея, падая — туманно слышал:

— Кормовые — полный ход!

Резкий скачок вверх... Больше ничего не помню.

Запись 35-я.

Конспект:

В ОБРУЧЕ. МОРКОВКА. УБИЙСТВО

Всю ночь не спал. Всю ночь — об одном...

Голова после вчерашнего у меня туго стянута бинтами. И так: это не бинты, а обруч; беспощадный, из стеклянной стали, обруч наклепан мне на голову, и я — в одном и том же кованом кругу: убить Ю. Убить Ю — а потом пойти к той и сказать: «Теперь — веришь?» Противней всего, что убить, как-то грязно, древне, разmozжить чем-то голову — от этого странное ощущение чего-то отвратительно сладкого во рту, и я не могу проглотить слюну, все время сплевываю ее в платок, во рту сухо.

В шкафу у меня лежал лопнувший после отливки тяжелый поршневый шток (мне нужно было посмотреть структуру излома под микроскопом). Я свернул в трубку свои записи (пусть она прочтет всего меня — до последней буквы), сунул внутрь обломок штока и пошел вниз. Лестница — бесконечная, ступени — какие-то противно-скользящие, жидкие, все время — вытирать рот платком...

Внизу. Сердце бухнуло. Я остановился, вытащил шток — к контрольному столу — —

Но Ю там не было: пустая, ледяная доска. Я вспомнил: сегодня — все работы отменены; все должны на операцию, и понятно: ей незачем, некого записывать здесь...

На улице. Ветер. Небо из несущихся чугунных плит. И так, как это было в какой-то момент вчера: весь мир разбит на отдельные, острые, самостоятельные кусочки, и каждый из них, падая стремглав, на секунду останавливался, висел передо мной в воздухе — и без следа испарялся.

Как если бы черные, точные буквы на этой странице — вдруг сдвинулись, в испуге рассказали какая куда — и ни одного слова, только бессмыслица: пуг—скак—как. На улице — вот такая же рассыпанная, не в рядах, толпа — прямо, назад, наискось, поперек.

И уже никого. И на секунду, несясь стремглав, застыло: вон, во втором этаже, в стеклянной, повисшей на воздухе клетке — мужчина и женщина — в поцелуе, стоя — она всем телом сломанно отогнулась назад. Это навеки, последний раз...

На каком-то углу — шевелящийся колючий куст голов.

Над головами — отдельно, в воздухе — знамя, слова: «Долой Машины! Долой Операцию!» И отдельно (от меня) — я, думающий секундно: «Неужели у каждого такая боль, какую можно исторгнуть изнутри — только вместе с сердцем, и каждому нужно что-то сделать, прежде чем — — ». И на секунду ничего во всем мире, кроме (моей) звериной руки с чугунно-тяжелым свертком...

Теперь — мальчишка: весь — вперед, под нижней губой — тень. Нижняя губа — вывернута, как обшлаг засученного рукава — вывернуто все лицо — он ревет — и от кого-то со всех ног — за ним топот...

От мальчишки: «Да, Ю — должна быть теперь в школе, нужно скорей». Я побежал к ближайшему спуску подземки.

В дверях кто-то бегом:

— Не идут! Поезда сегодня не идут! Там —

Я спустился. Там был — совершенный бред. Блеск граненых хрустальных солнц. Плотно утрамбованная головами платформа. Пустой, застывший поезд.

И в тишине — голос. Ее — не видно, но я знаю, я знаю этот упругий, гибкий, как хлыст, хлещущий голос — и где-нибудь там вадернутый к вискам острый треугольник бровей... Я закричал:

— Пустите же! Пустите меня туда! Я должен —

Но чьи-то клещи меня — за руки, за плечи, гвоздями. И в тишине — голос:

— ...Нет: бегите вверх! Там вас — вылечат, там вас до отвалу накормят сдобным счастьем, и вы, сытые, будете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая, — разве вы не слышите этой великой симфонии храпа? Смешные: вас хотят освободить от извивающихся, как черви, мучительно грызущих, как черви, вопросительных знаков. А вы здесь стоите и слушаете меня. Скорее — вверх — к Великой Операции! Что вам за дело, что я останусь здесь одна? Что вам за дело — если я не хочу, чтобы за меня хотели другие, я хочу хотеть сама, — если я хочу невозможного...

Другой голос — медленный, тяжелый:

— Ага! Невозможного? Это значит — гонись за твоими дурацкими фантазиями, а они чтоб перед носом у тебя вертели хвостом? Нет: мы — за хвост да под себя, а потом...

— А потом — слопаете, захрапите — и нужен перед носом новый хвост. Говорят, у древних было такое животное: осел. Чтобы заставить его идти все вперед, все впе-

ред — перед мордой, к оглобле, привязывали морковь так, чтоб он не мог ухватить. И если ухватил, слопал...

Вдруг клещи меня отпустили, я кинулся в середину, где говорила она, — и в тот же момент все посыпалось, стиснулось — сзади крик: «Сюда, сюда идут!» Свет подпрыгнул, погас — кто-то перерезал провод — и лавина, крики, хрип, головы, пальцы...

Я не знаю, сколько времени мы катились так в подземной трубе. Наконец: ступеньки — сумерки — все светлее — и мы снова на улице веером, в разные стороны...

И вот — один. Ветер, серые, низкие — совсем над головой — сумерки. На мокром стекле тротуара — очень глубоко — опрокинуты огни, стены, движущиеся вверх ногами фигуры. И невероятно тяжелый сверток в руке — тянет меня вглубь, ко дну.

Внизу, за столиком, Ю опять не было, и пустая, темная — ее комната.

Я поднялся к себе, открыл свет. Туго стянутые обручем виски стучали, я ходил — закованный все в одном и том же кругу: стол, на столе белый сверток, кровать, дверь, стол, белый сверток... В комнате слева опущены шторы. Справа: над книгой — шишковатая лысина, и лоб — огромная желтая парабола. Морщины на лбу — ряд желтых неразборчивых строк. Иногда мы встречаемся глазами — и тогда я чувствую: эти желтые строки — обо мне.

...Произошло ровно в 21. Пришла Ю — сама. Отчетливо осталось в памяти только одно: я дышал так громко, что слышал, как дышу, и все хотел как-нибудь потише — и не мог.

Она села, расправила на коленях юнифу. Розово-коричневые жабры трепыхались.

— Ах, дорогой, — так это правда, вы ранены? Я как только узнала — сейчас же...

Шток передо мною на столе. Я вскочил, дыша еще громче. Она услышала, остановилась на полслове, тоже почему-то встала. Я видел уже это место на голове, во рту отвратительно-сладко... платок, но платка нет — сплюнул на пол.

Тот, за стеной справа — желтые, пристальные морщины, — обо мне. Нужно, чтобы он не видел, еще противней — если он будет смотреть... Я нажал кнопку — пусть никакого права, разве это теперь не все равно, — шторы ушли.

Она, очевидно, почувствовала, поняла, метнулась к двери. Но я опередил ее — и громко дыша, ни на секунду не спуская глаз с этого места на голове...

— Вы... вы с ума сошли! Вы не смеете... — Она пятилась задом — села, вернее, упала на кровать — засунула, дрожа, сложенные ладонями руки между колен.

Весь пружинный, все так же крепко держа ее глазами на привязи, я медленно протянул руку к столу — двигалась только одна рука — схватил шток.

— Умоляю вас! День — только один день! Я завтра — завтра же — пойду и все сделаю...

О чем она? Я замахнулся — —

И я считаю: я убил ее. Да, вы, неведомые мои читатели, вы имеете право назвать меня убийцей. Я знаю, что спустил бы шток на ее голову, если бы она не крикнула:

— Ради... ради... Я согласна — я... сейчас.

Трясущимися руками она сорвала с себя юнифу — просторное, желтое, висячее тело опрокинулось на кровать... И только тут я понял: она думала, что я шторы — это для того, чтобы — что я хочу...

Это было так неожиданно, так глупо, что я расхохотался. И тотчас же туго закрученная пружина во мне — лопнула, рука ослабела, шток громыкнул на пол. Тут я на собственном опыте увидел, что смех — самое страшное оружие: смехом можно убить все — даже убийство.

Я сидел за столом и смеялся — отчаянным, последним смехом — и не видел никакого выхода из всего этого нелепого положения. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы развивалось естественным путем, — но тут вдруг новая, внешняя, слагающая: зазвонил телефон.

Я кинулся, стиснул трубку: может быть, она? — и в трубку чей-то незнакомый голос:

— Сейчас.

Томительное, бесконечное жужжание. Издали — тяжелые шаги, все ближе, все гулче, все чугунией — и вот...

— Д-503? Угу... С вами говорит Благодетель. Немедленно ко мне!

Динь, — трубка повешена, — динь.

Ю все еще лежала в кровати, глаза закрыты, жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с полу ее платье, кинул на нее — сквозь зубы:

— Ну! Скорее — скорее!

Она приподнялась на локте, груди сплеснулись набок, глаза круглые, вся повосковела.

— Как?

— Так. Ну — одевайтесь же!

Она — вся узлом, крепко вцепившись в платье, голос вплющенный.

— Отвернитесь...

Я отвернулся, прислонился лбом к стеклу. На черном, мокром зеркале дрожали огни, фигуры, искры. Нет: это — я, это — во мне... Зачем Он меня? Неужели Ему уже известно о ней, обо мне, обо всем?

Ю, уже одетая, у двери. Два шага к ней — стиснул ей руки так, будто именно из ее рук сейчас по каплям выжму то, что мне нужно:

— Слушайте... Ее имя — вы знаете, о ком, — вы ее называли? Нет? Только правду — мне это нужно... мне все равно — только правду...

— Нет.

— Нет? Но почему же — раз уж вы пошли туда и сообщили...

Нижняя губа у ней — вдруг наизнанку, как у того мальчишки, — и из щек, по щекам капли...

— Потому что я... я боялась, что если ее... что за это вы можете... вы перестанете лю... О, я не могу — я не могла бы...

Я понял: это — правда. Нелепая, смешная, человеческая правда! Я открыл дверь.

Запись 36-я.

Конспект:

ПУСТЫЕ СТРАНИЦЫ. ХРИСТИАНСКИЙ БОГ. О МОЕЙ МАТЕРИ

Тут странно — в голове у меня, как пустая, белая страница: как я туда шел, как ждал (знаю, что ждал) — ничего не помню, ни одного звука, ни одного лица, ни одного жеста. Как будто были перерезаны все провода между мною и миром.

Очнулся — уже стоя перед Ним, и мне страшно поднять глаза: вижу только Его огромные, чугунные руки — на коленях. Эти руки давили Его самого, подгибали коле-

ни. Он медленно шевелил пальцами. Лицо — где-то в тумане, вверху, и будто вот только потому, что голос Его доходил ко мне с такой высоты, — он не гремел как гром, не оглушал меня, а все же был похож на обыкновенный человеческий голос.

— Итак — вы тоже? Вы — Строитель «Интеграла»? Вы — кому дано было стать величайшим конквистадором. Вы — чье имя должно было начать новую, блистательную главу истории Единого Государства... Вы?

Кровь плеснула мне в голову, в щеки — опять белая страница: только в висках — пульс, и вверху гулкий голос, но ни одного слова. Лишь когда Он замолк, я очнулся, я увидел: рука двинулась стопудово — медленно поползла — на меня уставился палец.

— Ну? Что же вы молчите? Так или нет? Палач?

— Так, — покорно ответил я. И дальше ясно слышал каждое Его слово.

— Что же? Вы думаете — я боюсь этого слова? А вы пробовали когда-нибудь содрать с него скорлупу и посмотреть, что там внутри? Я вам сейчас покажу. Вспомните: синий холм, крест, толпа. Одни — вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту; другие — внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех, верхних, — самая трудная, самая важная. Да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? Они были освищены темной толпой; но ведь за это автор трагедии — Бог — должен еще щедрее вознаградить их. А сам христианский, милосерднейший Бог, медленно сжигающий на адском огне всех непокорных, — разве он не палач? И разве сожженных христианами на кострах меньше, чем сожженных христиан? А все-таки — поймите это, все-таки этого Бога веками славил, как Бога любви. Абсурд? Нет, наоборот: написанный кровью патент на неискоренимое благоразумие человека. Даже тогда — дикий, лохматый — он понимал: истинная, алгебраическая любовь к человечеству — непременно бесчеловечна, и непременный признак истины — ее жестокость. Как у огня — непременный признак тот, что он сжигает. Покажите мне не жгучий огонь? Ну — доказывайте же, спорьте!

Как я мог спорить? Как я мог спорить, когда это были (прежде) мои же мысли — только я никогда не умел одеть их в такую кованую, блестящую броню. Я молчал...

— Если это значит, что вы со мной согласны, — так да-

вайте говорить, как взрослые, когда дети ушли спать: все до конца. Я спрашиваю: о чем люди — с самых пеленок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье, — и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае... Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные, с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божьи... И вот в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее вот так (Его рука сжалась: если бы в ней был камень — из камня брызнул бы сок), когда уже осталось только освежать добычу и разделить ее на куски — и этот самый момент вы — вы...

Чугунный гул внезапно оборвался. Я — весь красный, как болванка на наковальне под бухающим молотом. Молот молча навис, и ждать, — это еще... страш...

Вдруг:

— Вам сколько лет?

— Тридцать два.

— А вы ровно вдвое — шестнадцатилетне наивны! Слушайте: неужели вам в самом деле ни разу не пришло в голову, что ведь им — мы еще не знаем их имен, но уверен, от вас узнаем, — что им вы нужны были только как Строитель «Интеграла» — только для того, чтобы через вас...

— Не надо! Не надо, — крикнул я.

...Так же, как заслониться руками и крикнуть это пуле: мы еще слышите свое смешное «не надо», а пуля — уже прожгла, уже вы корчитесь на полу.

— Да, да: Строитель «Интеграла»... Да, да... — И тот же: разъяренное, со вздрагивающими кирпично-красными жабрами лицо Ю — в то утро, когда они обе вместе у меня в комнате...

Помню очень ясно: я засмеялся — поднял глаза. Передо мной сидел лысый, сократовски лысый человек, и на висках — мелкие капельки пота.

Как все просто. Как все величественно-банально и до смешного просто.

Смех душил меня, вырывался клубами. Я заткнул рот ладонью и опрометью кинулся вон.

Ступени, ветер, мокрые, прыгающие осколки огней, лиц, и на бегу: «Нет! Увидеть ее! Только еще раз увидеть ее!»

Тут — снова пустая, белая страница. Помню только:

ноги. Не люди, а именно — ноги: нестройно топающие, откуда-то сверху падающие на мостовую сотни ног, тяжелый дождь ног. И какая-то веселая, озорная песня, и крик — должно быть, мне: «Эй, Эй! Сюда, к нам!»

Потом — пустынная площадь, доверху набитая тутим ветром. Посредине — тусклая, грузная, грозная громада: Машина Благодетеля. И от нее — во мне такое, как будто неожиданное, эхо: ярко-белая подушка; на подушке закинута назад с полузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов... И все это как-то нелепо, ужасно связано с Машиной — я знаю как, но я еще не хочу увидеть, назвать вслух — не хочу, не надо.

Я закрыл глаза, сел на ступенях, идущих наверх, к Машине. Должно быть, шел дождь: лицо у меня мокрое. Где-то далеко, глухо — крики. Но никто не слышит, никто не слышит, как я кричу: спасите же меня от этого — спасите!

Если бы у меня была мать — как у древних: моя — вот именно — мать. И чтобы для нее — я не Строитель «И н т е - г р а л а», и не номер Д-503, и не молекула Единого Государства, а простой человеческий кусок — кусок ее же самой, — истоптанный, раздавленный, выброшенный... И пусть я прибываю или меня прибывают — может быть, это одинаково, — чтобы она услышала то, чего никто не слышит, чтобы ее старушечьи, заросшие морщинами, губы —

Запись 37-я.

Конспект:

ИНФУЗОРИЯ. СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ. ЕЕ КОМНАТА

Утром в столовой — сосед слева испуганно шепнул мне: — Да ешьте же! На вас смотрят!

Я — изо всех сил — улыбнулся. И почувствовал это — как какую-то трещину на лице: улыбаюсь — края трещины разлезаются все шире — и мне от этого все больнее...

Дальше — так: едва я успел взять кубик на вилку, как тотчас же вилка вздрогнула у меня в руке и звякнула о тарелку — и вздрогнули, зазвенели столы, стены, посуда, воздух, и снаружи — какой-то огромный, до неба, железный круглый гул — через головы, через дома — и далеко замер чуть заметными, мелкими, как на воде, кругами.

Я увидел во мгновение слинявшие, выцветшие лица, застопоренные на полном ходу рты, замерзшие в воздухе вилки.

Потом все спуталось, сошло с вековых рельс, все вскочили с мест (не пропев гимна) — кое-как, не в такт, дожевывая, давясь, хватались друг за друга: «Что? Что случилось? Что?» И — беспорядочные осколки некогда стройной великой Машины — все посыпались вниз, к лифтам — по лестнице — ступени — топот — обрывки слов — как ключья разорванного и взвихренного ветром письма...

Так же сыпались из всех соседних домов, и через минуту проспект — как капля воды под микроскопом: запертые в стеклянно-прозрачной капле инфузории растерянно мечутся вбок, вверх, вниз.

— Ага, — чей-то торжествующий голос — передо мною затылок и нацеленный в небо палец — очень отчетливо помню желто-розовый ноготь и внизу ногтя — белый, как вылезавший из-за горизонта, полумесяц. И это как комки: сотни глаз, следуя за этим пальцем, повернулись к небу.

Там, спасаясь от какой-то невидимой погони, мчались, давили, перепрыгивали друг через друга тучи — и окрашенные тучами, темные аэро Хранителей с свисающими черными хоботами труб — и еще дальше — там, на западе, что-то похожее —

Сперва никто не понимал, что это, — не понимал даже и я, кому (к несчастью) было открыто больше, чем всем другим. Это было похоже на огромный рой черных аэро: где-то в невероятной высоте — еле заметные быстрые точки. Все ближе; сверху хриплые, гортанные капли — наконец, над головами у нас птицы. Острыми, черными, пронзительными, падающими треугольниками заполнили небо, бурей сбивало их вниз, они садились на купола, на крыши, на столбы, на балконы.

— Ага-а, — торжествующий затылок повернулся — и увидел того, исподлобного. Но в нем теперь осталось от прежнего только одно какое-то заглавие, он как-то весь вылез из этого вечного своего подлобья, и на лице у него — около глаз, около губ — пучками волос росли лучи, он улыбался.

— Вы понимаете, — сквозь свист ветра, крыльев, карканье, крикнул он мне. — Вы понимаете: Стену — Стену — морвали! По-ни-ма-ете?

Мимоходом, где-то на заднем плане, мелькающие фи-

гуры — головы вытянуты — бегут скорее внутрь, в дома. Посредине мостовой — быстрая и все-таки будто медленная (от тяжести) лавина оперированных, шагающих туда — на запад.

...Волосатые пучки лучей около губ, глаз. Я схватил его за руку:

— Слушайте: где она — где I? Там, за Стеной, — или... Мне нужно — слышите? Сейчас же, я не могу...

— Здесь, — крикнул он мне пьяно, весело — крепкие, желтые зубы... — Здесь она, в городе, действует. Ого — мы действуем!

Кто — мы? Кто — я?

Около него — было с полсотни таких же, как он, — вылезших из своих темных подлюбий, громких, веселых, крепкозубых. Глотая раскрытыми ртами бурю, помахивая такими на вид смирными и нестрашными электрокуторами (где они их достали?), — они двинулись туда же, на запад, за оперированными, но в обход — параллельным, 48-м проспектом...

Я спотыкался о тугие, свитые из ветра канаты и бежал к ней. Зачем? Не знаю. Я спотыкался, пустые улицы, чужой, дикий город, неумолчный, торжествующий птичий гам, светопреставление. Сквозь стекло стен — в нескольких домах я видел (врезалось): женские и мужские номера бесстыдно совокуплялись — даже не спустивши штор, без всяких талонов, среди бела дня...

Дом — ее дом. Открытая настежь, растерянная дверь. Внизу, за контрольным столиком — пусто. Лифт застрял посередине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по бесконечной лестнице. Коридор. Быстро — как колесные спицы — цифры на дверях: 320, 326, 330... I—330, да!

И сквозь стеклянную дверь: все в комнате рассыпано, перепутано, скомкано. Впопыхах опрокинутый стул — ничком, всеми четырьмя ногами вверх — как издохшая скотина. Кровать — как-то нелепо, наискось отодвинутая от стены. На полу — осыпавшиеся, затоптанные лепестки розовых талонов.

Я нагнулся, поднял один, другой, третий: на всех было Д-503 — на всех был я — капли меня, расплавленного, переплеснувшего через край. И это все, что осталось...

Почему-то нельзя было, чтобы они так вот, на полу, и чтобы по ним ходили. Я захватил еще горсть, положил на стол, разгладил осторожно, взглянул — и... засмеялся.

Раньше я этого не знал — теперь знаю, и вы это знаете: смех бывает разного цвета. Это — только далекое эхо взрыва внутри вас: может быть — это праздничные, красные, синие, золотые ракеты, может быть — взлетели вверх ключья человеческого тела...

На талонах мелькнуло совершенно незнакомое мне имя. Цифр я не запомнил — только букву: Ф. Я смахнул все талоны со стола на пол, наступил на них — на себя — каблуком — вот так, так — и вышел...

Сидел в коридоре на подоконнике против двери — все чего-то ждал, тупо, долго. Слева зашлепали шаги. Старик: лицо — как проколотый, пустой, осевший складками пухляк — и из прокола еще сочится что-то прозрачное, медленно стекает вниз. Медленно, смутно понял: слезы. И только когда старик был уже далеко — я спохватился и окликнул его:

— Послушайте — послушайте, вы не знаете: номер I--330...

Старик обернулся, отчаянно махнул рукой и заковылял дальше...

В сумерках я вернулся к себе, домой. На западе небо каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой — и оттуда глухой, закутанный гул. Крыши усыпаны черными потухшими головешками: птицы.

Я лег на кровать — и тотчас же зверем навалился, придушил меня сон...

Запись 38-я.

Конспект:

(НЕ ЗНАЮ КАКОЙ. МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЬ
КОНСПЕКТ — ОДНО: БРОШЕННАЯ ПАПИРОСКА)

Очнулся — яркий свет, глядеть больно. Зажмурил глаза. В голове — какой-то едущий синий дымок, все в тумане. И сквозь туман:

«Но ведь я не зажигал свет — как же...»

Я вскочил — за столом, подперев рукою подбородок, усмешкой глядела на меня I...

За тем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти десять-пятнадцать минут, жестоко скрученных в самую тугую пружину. А мне кажется, что вот только сейчас

закрылась за ней дверь, и еще можно догнать ее, схватить за руки — и, может быть, она засмеется и скажет...

И сидела за столом. Я кинулся к ней.

— Ты, ты! Я был — я видел твою комнату — я думал, ты — — Но на полдороге наткнулся на острые, неподвижные копыя ресниц, остановился. Вспомнил: так же она взглянула на меня тогда, на «Интеграле». И вот надо сейчас же все, в одну секунду, суметь сказать ей — так, чтобы поверила — иначе уж никогда...

— Слушай, I, — я должен... я должен тебе все... Нет, нет, я сейчас — я только выпью воды...

Во рту — сухо, все как обложено промокательной бумагой. Я наливал воду — и не мог: поставил стакан на стол и крепко взялся за графин обеими руками.

Теперь я увидел: синий дымок — это от папиросы. Она поднесла к губам, втянула, жадно проглотила дым — так же, как я воду, и сказала:

— Не надо. Молчи. Все равно — ты видишь: я все-таки пришла. Там, внизу, — меня ждут. И ты хочешь, чтобы эти наши последние минуты...

Она швырнула папиросу на пол, вся перевесилась через ручку кресла назад (там в стене кнопка, и ее трудно достать) — и мне запомнилось, как покачнулось кресло и поднялись от пола две его ножки. Потом упали шторы.

Подошла, обхватила крепко. Ее колени сквозь платье — медленный, нежный, теплый, обволакивающий все яд...

И вдруг... Бывает: уж весь окунулся в сладкий и теплый сон — вдруг что-то прокололо, вздрагиваешь, и опять глаза широко раскрыты... Так сейчас: на полу в ее комнате затоптанные розовые талоны, и на одном: буква Ф и какие-то цифры... Во мне они — сцепились в один клубок, и я даже сейчас не могу сказать, что это было за чувство, но я стиснул ее так, что она от боли вскрикнула...

Еще одна минута — из этих десяти или пятнадцати, на ярко-белой подушке — закинутая назад с полужакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов. И это все время неотвязно, нелепо, мучительно напоминает мне о чем-то, о чем нельзя, о чем сейчас — не надо. И я все нежнее, все жесточе сжимаю ее — все ярче синие пятна от моих пальцев...

Она сказала (не открывая глаз — это я заметил):

— Говорят, ты вчера был у Благодетеля? Это правда?

— Да, правда.

И тогда глаза распахнулись — и я с наслаждением смотрел, как быстро бледнело, стиралось, исчезало ее лицо: одни глаза.

Я рассказал ей все. И только — не знаю почему... нет, неправда, знаю — только об одном промолчал — о том, что (Он говорил в самом конце, о том, что я — им был нужен только...

Постепенно, как фотографический снимок в проявителе, выступило ее лицо: щеки, белая полоска зубов, губы. Встала, подошла к зеркальной двери шкафа.

Опять сухо во рту. Я налил себе воды, но пить было противно — поставил стакан на стол и спросил:

— Ты за этим и приходила — потому что тебе нужно было узнать?

Из зеркала на меня — острый, насмешливый треугольник бровей, приподнятых вверх, к вискам. Она обернулась что-то сказать мне, но ничего не сказала.

Не нужно. Я знаю.

Проститься с ней? Я двинул свои — чужие — ноги, задел стул, — он упал ничком, мертвый, как там — у нее в комнате. Губы у нее были холодные — когда-то такой же холодный был пол вот здесь, в моей комнате возле кровати.

А когда ушла — я сел на пол, нагнулся над брошенной ее папиросой.

Я не могу больше писать — я не хочу больше!

Запись 39-я.

Конспект:

КОНЕЦ

Все это было как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор: быстро, колючась иглами, пополнили кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно: все решено — и завтра утром я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя, — но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть.

На западе ежесекундно в синей судороге содрогалось небо. Голова у меня горела и стучала. Так я просидел всю ночь и заснул только часов в семь утра, когда тьма уже

втянулась, зазеленела и стали видны усеянные птицами кровли...

Проснулся: уже десять (звонка сегодня, очевидно, не было). На столе — еще со вчерашнего — стоял стакан с водой. Я жадно выглотал воду и побежал: мне надо было все это скорее, как можно скорее.

Небо — пустынное, голубое, дотла выеденное бурей. Колочие углы теней, все вырезано из синего осеннего воздуха — тонкое — страшно притронуться: сейчас же хрупнет, разлетится стеклянной пылью. И такое — во мне: нельзя думать, не надо думать, не надо думать, иначе —

И я не думал, даже, может быть, не видел по-настоящему, а только регистрировал. Вот на мостовой — откуда-то ветки, листья на них зеленые, янтарные, малиновые. Вот наверху — перекрещиваясь, мечутся птицы и аэро. Вот — головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно быть, все это орет, каркает, жужжит...

Потом — пустые, как выметенные какой-то чумой, улицы. Помню: споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и все-таки неподвижное. Нагнулся: труп. Он лежал на спине, раздвинув согнутые ноги, как женщина. Лицо...

Я узнал толстые, негрские, и как будто даже сейчас еще брызжащие смехом зубы. Крепко зажмуривши глаза, он смеялся мне в лицо. Секунда — я перешагнул через него и побежал — потому что я уже не мог, мне надо было сделать все скорее, иначе — я чувствовал — сломаюсь, прогнусь, как перегруженный рельс...

К счастью — это было уже в двадцати шагах, уже вывеска — золотые буквы «Бюро Хранителей». На пороге я остановился, хлебнул воздуха, сколько мог, — и вошел.

Внутри, в коридоре — бесконечной цепью, в затылок, стояли нумера, с листками, с толстыми тетрадками в руках. Медленно подвигались на шаг, на два — и опять останавливались.

Я заматался вдоль цепи, голова раскакивалась, я хватал их за рукава, я молил их — как больной молит дать ему скорее чего-нибудь такого, что секундной острейшей мукой сразу перерубило бы все.

Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх юнифы, отчетливо выпячены два седалищных полушара, и она все время поводила ими по сторонам, как будто именно там у нее были глаза. Она фыркнула на меня:

— У него живот болит! Проводите его в уборную — вон, вторая дверь направо...

И на меня — смех, и от этого смеха что-то к горлу, и я сейчас закричу или... или...

Вдруг сзади кто-то схватил меня за локоть. Я обернулся: прозрачные, крылатые уши. Но они были не розовые, как обыкновенно, а пунцовые: кадык на шее ерзал — вот-вот прорвет тонкий чехол.

— Зачем вы здесь? — спросил он, быстро ввинчиваясь в меня.

Я так и вцепился в него:

— Скорее — к вам в кабинет... Я должен все — сейчас же! Это хорошо, что именно вам... Это, может быть, ужасно, что именно вам, но это хорошо, это хорошо...

Он тоже знал ее, и от этого мне было еще мучительней, но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит, и мы будем убивать уже вдвоем, я не буду один в эту последнюю мою секунду...

Захлопнулась дверь. Помню: внизу под дверью прицепилась какая-то бумажка и заскребла по полу, когда дверь закрывалась, а потом, как колпаком, накрыло какой-то особенной, безвоздушной тишиной. Если бы он сказал хоть одно слово — все равно какое — самое пустяковое слово, я бы все сдвинул сразу. Но он молчал.

И весь напрягшись до того, что загудело в ушах, — я сказал (не глядя):

— Мне кажется — я всегда ее ненавидел, с самого начала. Я боролся... А впрочем — нет, нет, не верьте мне: я мог и не хотел спастись, я хотел погибнуть, это было мне дороже всего... то есть не погибнуть, а чтобы она... И даже сейчас — даже сейчас, когда я уже все знаю... Вы знаете, вы знаете, что меня вызывал Благодетель?

— Да, знаю.

— Но то, что Он сказал мне... Поймите же — это вот все равно, как если сейчас выдернуть из-под вас пол — и вы со всем, что вот тут на столе — с бумагой, чернилами... чернила выплеснутся и все в кляксу...

— Дальше, дальше! И торопитесь. Там ждут другие.

И тогда я — захлебываясь, путаясь — все, что было, все, что записано здесь. О себе настоящем и о себе лохматом, и то, что она сказала тогда о моих руках — да, именно с этого все и началось, — и как я тогда не хотел исполнить

свой долг, и как обманывал себя, и как она достала подложные удостоверения, и как я ржалел день ото дня, и коридоры внизу, и как там — за Стеною...

Все это — несуразными комьями, клочьями — я захлебывался, слов не хватало. Кривые двоякоизогнутые губы с усмешкой пододвигали ко мне нужные слова — я благодарно кивал: да, да... И вот (что же это?) — вот уже говорит за меня он, а я только слушаю: «Да, а потом... Так именно и было, да, да!»

Я чувствую: как от эфира — начинается холодеть вот тут, вокруг ворота, и с трудом спрашиваю:

— Но как же — но этого вы ниоткуда не могли...

У него усмешка — молча — все кривее... И затем:

— А знаете — вы хотели кой-что от меня утаить, вот вы перечислили всех, кого заметили там за Стеной, но одного забыли. Вы говорите — нет? А не помните ли вы, что там мельком, на секунду — вы видели там... меня? Да, да: меня.

Пауза.

И вдруг — мне молнийно, до головы, бесстыдно ясно: он — он тоже их... И весь я, все мои муки, все то, что я, изнемогая, из последних сил, принес сюда, как подвиг, — все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме и Исааке. Авраам — весь в холодном поту — уже замахнулся ножом над своим сыном — над собою — вдруг сверху голос: «Не стоит! Я пошутил...»

Не отрывая глаз от кривеющей все больше усмешки, я уперся руками о край стола, медленно, медленно вместе с креслом отъехал, потом сразу — себя всего — схватил в охапку — и мимо криков, ступеней, ртов — опрометью.

Не помню, как я очутился внизу, в одной из общественных уборных при станции подземной дороги. Там, наверху, все гибло, рушилась величайшая и разумнейшая во всей истории цивилизация, а здесь — по чьей-то иронии — все оставалось прежним, прекрасным. И подумать: все это — осуждено, все это зарастет травой, обо всем этом — будут только «мифы»...

Я громко застонал. И в тот же момент чувствую — кто-то ласково поглаживает меня по плечу.

Это был мой сосед, занимавший сиденье слева. Лоб — огромная лысая парабола, на лбу желтые неразборчивые строки морщин. И эти строки обо мне.

— Я вас понимаю, вполне понимаю, — сказал он. — Но все-таки успокойтесь: не надо. Все это вернется, неминуе-

мо вернется. Важно только, чтобы все узнали о моем открытии. Я говорю об этом вам первому: я вычислил, что бесконечности нет!

Я дико посмотрел на него.

— Да, да, говорю вам: бесконечности нет. Если мир бесконечен — то средняя плотность материи в нем должна быть равна нулю. А так как она не нуль — это мы знаем, — то, следовательно, Вселенная — конечна, она — сферической формы и квадрат вселенского радиуса, u^2 = средней плотности, умноженной на... Вот мне только и надо — подсчитать числовой коэффициент, и тогда... Вы понимаете: все — конечно, все просто, все — вычислимо; и тогда мы победим философски, — понимаете? А вы, уважаемый, мешаете мне закончить вычисление, вы — кричите...

Не знаю, чем я больше был потрясен, его открытием или его твердостью в этот апокалиптический час: в руках у него (я увидел это только теперь) была записная книжка и логарифмический циферблат. И я понял: если даже все погибнет, мой долг (перед вами, мои неведомые, любимые) — оставить свои записки в законченном виде.

Я попросил у него бумаги — и здесь я записал эти последние строки...

Я хотел уже поставить точку — так, как древние ставили крест над ямами, куда они сваливали мертвых, но вдруг карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев...

— Слушайте, — дергал я соседа. — Да слушайте же, говорю вам! Вы должны — вы должны мне ответить: а там, где кончается ваша конечная Вселенная? Что там — дальше?

Ответить он не успел; сверху — по ступеням — топот — —

Запись 40-я.

Конспект:

ФАКТЫ. КОЛОКОЛ. Я УВЕРЕН

День. Ясно. Барометр 760.

Неужели я, Д-503, написал эти двести двадцать страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал — или воображал, что чувствую это?

Почерк — мой. И дальше — тот же самый почерк, но — к счастью, только почерк. Никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств: только факты. Потому что я

здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь — я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто. Точнее: не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться (улыбка — есть нормальное состояние нормального человека).

Факты — таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего конечность Вселенной, и меня, и всех, кто был с нами, — взяли, как не имеющих удостоверения об Операции, — и отвезли в ближайший аудиториум (номер аудиториума — почему-то знакомый: 112). Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты Великой Операции.

На другой день я, Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа).

Вечером в тот же день — за одним столом с Ним, с Благодетелем, — я сидел (впервые) в знаменитой Газовой комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у ней острые и очень белые зубы и что это красиво.

Затем ее ввели под колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие — то это было очень красиво. Когда из-под колокола стали выкачивать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты — это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, — смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под колокол. Так повторялось три раза — и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля.

Откладывать нельзя — потому что в западных кварталах — все еще хаос, рев, трупы, звери и — к сожалению — значительное количество нумеров, изменивших разуму.

Но на поперечном, 40-м проспекте удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн. И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить.



Большим
детям —
сказки





БОГ

Б ыло это царство богатое и древнее.

славилось плодородностью женского пола и доблестью мужского. А помещалось царство в запечье у почтальона Мизюмина. И был такой таракан Сенька — смутяня и оторважник первейший во всем тараканьем царстве. Тараканихам от Сеньки — проходу нет; на стариков ему начихать; а в бога — не верит, говорит — нету.

— Да как же нету, бесстыжие твои глаза? Ты при свете вылезь да зеньки разинь. А то, ишь ты: не-ету...

— А что ж, и вылезу, — хорохорился Сенька.

И вылез однажды. Вылез — и ахнул: бог-то ведь есть и правда! Вот он, вот: грозный, нестерпимо-огромный, в розовой ситцевой рубашке, бог...

А бог, почтальон Мизюмин, чулок вязал: любил он этим рукомеслом позаняться в сверхурочное время. Увидел Сеньку Мизюмин — обрадовался:

— А-а, друг сердечный, таракан запечный, откуда ты, здравствуй!

Почтальону Мизюмину нынче выговориться обязательно надо, а больше, как с Сенькою, не с кем.

— Ну, брат Сенька, женюсь я. Невеста — первый сорт. Пойми ты, тараканья душа: девица — из благородных, и приданого полтора ста рублей! Ох, и заживем же мы с тобой! Заживем, Сенька? А?

А Сенька от умиления глаза как вылупил — так и остался: все слова позабыл.

У Мизюмина свадьба — на Красную Горку, и заказала ему благородная невеста, чтоб до свадьбы обязательно купил себе новые калоши. А то чистый срам: уж который год носит Мизюмин отцовские кожаные скробыхалы номер

четырнадцатый. И как только Мизюмин на улицу — сейчас же за ним мальчишки:

— Э! Э! Скробыхалы! Скробыхалы! Держи! Скробыхалы!

Навязал Мизюмин чулок — и на Трубную пошел: чулки продать — новые калоши купить. Подвернулись Мизюмину щеглы в клетке: не щеглы — загляденье.

— Сем-ка я лучше щеглят куплю? Калоши-то еще крепкие...

Купил клетку, поднес невесте в презент:

— Вот чулки связал — продал, щеглят вам купил. Не побрезгуйте уж: от чистого сердца.

— Ка-ак? Чулки? И опять в скробыхалах? Ну, не-ет, терпенья моего больше нету. Подумать только: за чулочника замуж! Не-ет, нет, и никаких разговоров!

Прогнала Мизюмина с глаз долой. Надрызгался в трактире Мизюмин, вернулся домой пьян-пьянехонек, за стены держится...

А на стене — ждал бога таракан Сенька: умиленно слушать, как всякий вечер, что скажет бог.

Горькими слезами хлюпал, шарил рукой по стене почтальон Мизюмин. И ненароком как-то задел пальцем Сеньку, полетел Сенька торчмя головой в тартарары в бездонное.

Очнулся: на спинке лежит. Берега — гладкие, скользкие; глубь — страшная. Еле-еле, далеко гдей-то, потолок виден...

И взмолился Сенька своему богу:

— Вызvoli, помоги, помилуй!

Нет, глубь такая — и богу, должно быть, не достать, так тут и сгинешь...

...Горькими слезами хлюпал почтальон Мизюмин, подолом розовой рубашки утирал нос.

— Сенька, Сенюшка, один ты у меня остался... И где же ты... И куда ж я тебя, милый ты мо-ой...

Нашел Сеньку Мизюмин в своем скробыхале. Пальцем выковырнул Сеньку из бездны — скробыхала номер четырнадцатый — и на стену посадил: ползи. Но Сенька даже и ползти не может, прямо очумел: до чего нестерпимо велик бог, до чего милосерд, до чего могуществен!

А бог, почтальон Мизюмин, хлюпал и подолом розовой рубашки утирал нос.

ИВАНЫ

А еще была такая деревня Иваниха, все мужики Иваны, а только прозвища разные: Самоглот Иван (во сне себе ухо сжевал), Оголтень Иван, Носопырь Иван, Соленые-Уши Иван, Белены-Объелся Иван, Переплюй Иван, и не перечсть, а только Переплюй — самый главный ихний. Которые скородят, сеют, а Иваны — брюхами кверху да в небо плюют: кто кого переплюнет.

— Эх вы, Иваны! Пшеницу бы сеяли!

А Иваны только сквозь зубы: цырк.

— Вот, на новых землях, слышать, действительно пошеница: первый сорт, в огурец зерно. Это — пошеница, да...

И опять: кто кого переплюнет.

Лежали этак — лежали, и привалило Иванам счастье невесть откуда. Топот по дороге, пыль столбом — конный по Иванихе, объявление привез: которые Иваны на новые земли желают — пожалуйте.

Осенили себя Иваны крестным знаменiem, изо всей мочи — за хвост конному, и понесло, только рябь в глазах: церковь — поле, поле — церковь.

Спустил конный: ни жилья, ничего, на сто верст кругом — плешь, и только по самой по середке крапивища стоит, да какая: будылка в обхват, на верхушку глянь — шапка свалится, а стрекнет — волдыри в полтинник. Колупнули Иваны землю: черная — вар сапожный, жирная — масло коровье.

— Ну, братцы, скидавай котомы: самая она и есть — первый сорт.

В кружок сели, краюху пожевали с солью. Испить бы, да и за дело. Туда — сюда: нету воды. Делать нечего, надо колодец рыть.

Взялись, это. Земля — праховая, легкая, знай комья летят. А Переплюй нет-нет да и остановится, глаза прижмурит.

— Ой, братцы, должно быть, и вода же тут: сладчищая, не то что у нас...

А тут как раз об камень железо — дрыны! Каменина здоровый. Вывернули — ключ забил. Черпанули в корцы, попили: холодная, чистая, а вода как вода.

Переплюй только сквозь зубы — цырк.

— Этакой-то в Иванихе сколько хошь. Глубже бери: тут первый сорт должна быть, а не то что...

Рыли-рыли, до темной ночи рыли: все то же. Под крапивницей ночь проворочались, с утра опять рыть. А уж глубь, жуть в колодце, черви какие-то пошли, поганые, голые, розовые, мордастые. Рокот-порокот, пристанут Иваны, призадумаются. А Переплюй сверху — еле-еле слышать:

— Глубже, братцы, бери! Самую еще малость нажать!

И дошли тут до какого-то сузёму: крепкий — скрябка не берет, и вода мешает — воды порядочно, все такая же, как в Иванихе. Лом взяли: тукнут, а оттуда гук идет, как из бочки, пещера, что ли. Тукнули это, еще посильней: как загудит все — да вниз, и вода вниз, и щебень, и комья, и инструмент весь, глаза запрашило, оглохли, еле на прилипке каком-то сами удержались.

Протерли глаза Иваны, глянули под ноги... С нами крестная сила! Дыра — а в дыре небо синее. Вверх глянули: далеко, чуть светится небо синее. С нами крестная сила: проколупали землю насквозь!

Сробели, шапки в охапку да наверх драла: Самоглот — Оголтню на плечи, Оголтень — Носопыру, Носопыр — на Соленые-Уши, Соленые-Уши — на Белены-Объелся, так и выбрались.

Выбрались — первым делом Переплюю бока намяли. Манатки в котомы да назад в Иваниху: без воды, без инструменту куда же теперь? Только и утехи, что по щепоти новой земли в Иваниху притащили.

Соседям показывают, а соседи не верят.

— Бреши, бреши больше; кабы такая земля где была, так неужто бы назад вернулись?

А про это, как насквозь проколупали, никак и рассказать нельзя: засмеют. Так брехунами Иваны и прослыли, и по сю пору никто не верит, будто на новых землях были. А ведь были же.

1918

АНГЕЛ ДОРМИДОН

Был такой глупый ангел, по имени — Дормидон.

Все ангелы, известно, — от дыхания Божия: дохнёт Господь — и ангел, дохнёт — еще ангел. А тут погода была

плохая, чихнулось — и вылетел ангел от чоха, оттого и не-суразный. Рыластый, глазами, это, все туды-сюды, туды-сюды, и на левой руке, на мизинце, кольцо с аметистом: ну под стать ли это ангелу-то? А как до дела — так ему чтоб сразу все, с бухты-баряхты, а потом и завалиться дрыхнуть. Так уж его терпели на небе, из милости больше.

И приставили глупого ангела Дормидона за мужиком ходить. А мужик — тоже хорош: пьяница забубенный.

Ходил, это, ходил Дормидон за своим мужиком по всем целовальникам — никак толку нет.

«Ну, коли так, — думает, — ладно. До белой горячки тебя допою, а потом уж сразу и раскаю».

И мужику на ухо:

— Вали, брат, наяривай! Ну-ка, еще по одной!

И побежал мужик по деревне не в своем виде, без штанов, буянит — мочи нет, а в руках цеп: за своей же, мужиковой, тенью с цепом гоняется.

А Дормидон в воротах, за вереей, с мужиковым братом спрятался, и оба за животики держатся:

— Ха-ха-ха! Так ее, такую-сякую! Так ее, лови!

Добежал мужик, тень — нырь в ворота. Мужик за ней:

— А-а! Еще гогочешь, проклятая! Ну, посто-ой...

Да как ахнет цепом сплеча! Ангелу-то чего подеется, а мужиков брат — так и свалился, как колос: мертвый.

Полетел глупый ангел с донесением: так и так, происшествие.

Взмылили ему голову, как надобно, а он стоит себе да перстень с аметистом вертит: как с гуся вода.

— Ну, Дормидон, — говорит Бог, — теперь уж как хочешь, хоть двадцать годов ходи, а чтобы у меня в рай мужика этого предоставил.

— Фу ты, Господи: да неуж не предоставляю? Я-то? — И к мужику, на землю.

А день был базарный: пошли с мужиком доски покупать — мужикову брату на домовину, и веревок — домовину спускать.

Мужик тверезый, зленный — страсть! — Дормидона так и чешет:

— Во-от въелся, чисто репей в хвост собачий! Ты долго еще за мной будешь?

Дормидон — будто и не ему: знай перстень вертит. А у самого в голове, как гвоздь:

«И как бы это одним махом от мужика оттильдикаться?»

Глядь — цыган мимо, свинью на аркане волокет: свинья визжит, упирается, веревка длинная, белая.

Увидал Дормидон цыгана с веревкой — как по лбу себя хлопнет: батюшки мои, вот же... И мужику на ухо:

— Покупай веревку-то, покупай. Веревка-то какая: нигде такой не найти.

Купил мужик. И только это вышли с Дормидоном на выгон — ну, который за базаром выгон, — Дормидон хватъ цыганов аркан мужику на шею — и поволок.

Мужик — в голос:

— Батюшка! Ослобони, родимый! Брат неприбран лежит! Куда ты меня?

А Дормидону — потешно, ржет:

— Ну-ка еще? Ну-ка еще? Не-е-ет, не уйдешь! — так без пересадки в рай и приволоку.

Брыкался-брыкался мужик, а под конец — сел на землю колодой — и все: поди сковырни.

Почесался Дормидон, поплевал на руки — дюжий был, — за аркан покрепче да как завьется с мужиком вверх. И ходу, все пуще, только ветер свистит. На мужика и не оглядывается: тяжело на аркане, стало быть, тут мужик, ну и ладно, а что утих — и того лучше.

Прилетел в рай, упыхался, ухмыляется Дормидон во весь рот: доволен.

— Вот он, мужик-то ваш. Предоставил.

Поглядели: а мужик лежит, не копнется, синий весь, язык высунут. Готов.

Осерчал тут Господь — не приведи Господи как...

— Предоста-авил! Дурак ты, дурак набитый! Сейчас — вон, и чтоб духу твоего не было!

Обчекрыжили Дормидону крылья — и на землю сослали. Пока это еще опять до ангелов дослужится.

1918

ХРЯПАЛО

Мрягнуло — посыпались сверху звезды, как спелые груши. Опустел небесный свод, стал как осеннее желтое поле: только ветер над желтой щетиной гудит неуютно, и на краю, на дальней дороге медленно ползут два черных

человека-козявки. Так ползали в пустом небе солнце и месяц, черные, как бархатные ризы на службе в Великий Пяток: черные, чтоб светлее сияло Воскресение.

Тут-то и попер по земле Хряпало. Ступни медвежачьи, култыхается, то на правую ногу, то на левую. Мертвая голова вепря — белая, зажмуренная, лысая: только сзади прямые патлы, как у странника, до плеч. И на брюхе — лицо, вроде человеческого, с зажмуренными глазами, а самое где пуп у людей — разинается пасть.

В поле под озимое орал дед Кочетыг. Штаны пестрядинные, рубаха посконная, волосы веревочкой подвязаны, чтобы в глаза не лезли. Глянет в небо дед: жуть. А пахать все равно надо. Такое уж дело.

И сзади Хряпало наперся на деда: глаза у Хряпалы только так, для порядку, а разожмурить не может, по чем ни попадя прет.

— Ты кто такой? — деду говорит, — где пуп у людей — разинул Хряпало пасть — брюхом говорит. — Ты чего на моей дороге? — Другую пасть раззявил, вепрячью, — хряп: одни дедовы лапти наружи.

Еле-еле слышать, будто из-под земли, дедов голос:

— А хлеб как же? Хлеба не будет...

А Хряпало — брюхом:

— А мне наплевать... — Только и видели деда.

На просеке девчушка Оленка цветы сбирала — первые колокольцы весенние. Мелькают босые ноги, белые между колокольцев, и сама, как золотой коло-колец, заливаается: про свекровь-матушку, про лиха мужа, — за сердце берет.

Споткнулся Хряпало на Оленку:

— Ты чего на дороге? — Хряп: одни пятки босые забились, белые.

Из глуби только и успела крикнуть Оленка:

— А песня...

— А мне наплевать, — пробрюхал Хряпало и последнее заглотил — белые пятки.

Где ни пройдет Хряпало — пусто, и только сзади него останется — помет сугробами.

Так бы и перевелась людь на земле, да нашелся тут человек, офеня, и фамилия у него какая-то обыкновенная, не то Петров, не то Сидоров, и ничего особенного, а просто сметливый, ярославский.

Приметил офеня: не оборачивается Хряпало, все прямо прет, невозможно ему оборачиваться.

И с ухмылочкой ярославской поплелся офеня тихонько за Хряпалой. Не больно оно сладко, конечно: не продохнуть по колена в сугробах этих самых, да зато — верное дело.

За ярославским офеней и другие смекнули: глядь, уж за Хряпалой — чисто крестный ход, гужом идут. Разве только дураки какие, вовсе петые, не спопашились за спину Хряпалову от Хряпалы спрятаться.

Петых дураков Хряпало живо dokonчил и без пропитания околел, конечно. А ярославский народ зажил припеваючи и Господа Бога благодарил: жирная земля стала, плодородная от помета, урожай будет хороший.

1917

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

У слесаря Галамея в поясницу вступило: мочи нет, одолел ревматизм этот самый окаянный. Галамей и то, и другое, и на пороге ему баба поясницу обухом секла, и мазево всякое — ничего толку. Уж и за что взяться не знает.

А тут сосед какой-то возьми да и накапай ему в мозги про электричество: одно-де тебе и осталось лекарство — электричество от всех болезней может.

Утром чем свет Галамей взбодрился: одной рукой за поясницу, другою — сапог натягивает.

— Ты куда ж это ни свет ни заря? — баба Галамеева спрашивает.

— А электричеством, — говорит, — лечиться пойду. Одно мне только теперь и осталось.

— Ой, батюшка, ты бы как полегче, дело-то такое — умеючи надо. Ты бы сперва к доктору.

— Дура-баба: а звонки электрические кто на почте наладил?

«Ты-ы, батюшка...» Ну, то-то. И без доктора, мол-ка, управлюсь. У Галамея, брат, своя башка на плечах.

Взвалил проволоки медной круг — и пошел. Посередь самой Тамбовской остановился, штаны расстегнул, проволокой себя пониже пояса обмотал, а на другом конце крючочек сделал — и ждет. А рань еще, камни розовые.

ставни закрыты, мальчишки в белых фартуках на головах корзины несут. И самый первый трамвай через мост гудит.

Услыхал Галамей, изловчился, накинул крючок на самый на трамвайный провод: ну-ка, Господи, благосло...

Ка-ак его шкрыкнет электричество это самое, заплясал, скрючило в три погибели — и наземь свалился.

Ну, тут, конечно, шум, гам, кондуктора, пассажиры выскочили, оттащили Галамея. За доктором. Тер-тер, кой-как доктор отгёр Галамея, открыл Галамей один глаз.

— Ну, как? — доктор спрашивает. — Как чувствуете?

— Ничего, — говорит, — не чувствую. Вылечился, слава тебе, Господи.

И Богу душу отдал.

1917

ДЬЯЧОК

Слыхано ли, чтоб кто-нибудь по выигрышному билету выигрывал, да не по газете, а взаправду, так, чтоб и деньги выдали? А вот выиграл же кураповский дьячок, Роман Яковлич Носик, и вчерашнего числа получил в казначействе пять тысяч. Теперь — чисто царь: все может.

Роман Яковлич Носик — сложения деликатного, и мысли у него — деликатные, возвышенные: насчет облаков, стихов господина Лермонтова. А в кураповской церкви — милее всего дьячку Моисей на горе Синайской, в облаках ясных, золотых и лилейных.

Всю ночь дьячок ворочался с боку на бок: что бы это такое ему теперь сделать? И то хорошо, и это не плохо, да надо что-нибудь такое повозвышенней. И никак не придумать.

Пошел утром в церковь, Моисею-пророку помолиться. Голько увидел Роман Яковлич нестерпимую синь синайскую и на самой маковке из облаков нездешний град — кризу и осенило.

Прибежал к дьячихе:

— Ну, мать, собирайся! Нонче выезжаем.

— Да ты спятил, что ли? Куда тебя буревая несет?

А дьячок от волнения уж вовсе невнятен:

— Жа-жалаю, чтоб, значть, к-как Моисей... На горе Синайской... чтоб, значть, облака...

Ехали, ехали, текала, охала, пилила дьячка всю дорогу дьячиха. Приехали, стой: Кавказ называемый. Гора — две капли воды — Синайская, и зацепились за маковку неопи-санной красы облака.

Только хотел дьячок на колени пасть — глядь, стоит телега парой, на грядушке — солдат кривой:

— Пожалте, Роман Яклич, я за вами.

— Чего такое? Кто послал? Куда?

— А на маковку, в облака в самые... — И такой у криво-го солдата глаз пронзительный, так насквозь и низает. Жуть, а ехать все равно надо: сел Роман Яковлич с дьячи-хой на телегу — и покатили.

Сорок дней — сорок ночей на маковку ехать. Дьячи-ха — знай себе подзакусывает да чай с молоком пьет. А дьячок — будто к причастью, не пьет — не ест, исхудал, лицом посветлел. Уж будто видать и соборы синекуполь-ные, и зубцы белые, и завтра Роман Яковлич, как Мои-сей — в облаках...

Под сороковой день ночью на постоялом лошадей кор-мили.

— Ну, завтра — чуть свет приедем...

И показалось, кривой солдат подмигнул:

— Время есть, — может, назад повернуть?

— Что ты, кривой, Господи помилуй! На самый напоследок — да повернуть?

Закрылись веретьем да сверху армяком дьячковым, улеглись в телеге дьячок с дьячихой, погнал лошадей солдат. Дьячиха давно уж храпит, а дьячку — не до сна, сердце колотится, а нарочно глаза закрыл: потуда не откроет, покуда не осияет нестерпимая синь синайская, не запоят нездешние голоса...

И случился грех: уморился ждать, задремал дьячок, как и приехали, не учуял. Только слышит — гаркнул кривой солдат:

— Вставай, Роман Яклич, приехали!

Стал дьячок глаза разожмуривать, потихоньку-потихоньку, чтоб не ослепнуть. Раскрыл: мга, изморось, осень, слякоть...

— Ты чего ж, кривой, брешешь, чертов сын! При-е-ехали! А облака-то где?

— А это самые облака и есть, друг ты мой Роман Яклич... — Да как загогочет — и пропал, и нет никого: одна изморось, мга, туман.

1915

АРАПЫ

На острове на Буяне — речка. На этом берегу — наши, краснокожие, а на том — ихние живут, арапы.

Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну так хорош, так хорош: весь — филейный. Супу наварили, отбивных нажарили — да с лучком, с горчицей, с малосольным нежинским... Напитались: послал Господь!

И только было вздремнуть легли — воп, визг: нашего уволок арапы треклятые. Туда-сюда, а уж они его освежевали и на угольях шашлык стряпают.

Наши им — через речку:

— Ах, людоеды! Ах, арапы вы этикие! Вы это что ж это, а?

— А что? — говорят.

— Да на вас что — креста, что ли, нету? Нашего, краснокожего, лопаете. И не совестно?

— А вы из нашего — отбивных не наделали? Энто чьи кости-то лежат?

— Ну что за безмозглые! Дак ведь мы вашего арапа ели, а вы — нашего, краснокожего. Нешто это возможно? Вот, дай-ка, вас черти-то на том свете поджарят!

А ихние, арапы, — глазищи белые вылупили, ухмыляются да знай себе — уписывают. Ну до чего бесстыжий народ: одно слово — арапы. И уродятся же на свет этикие!

1920

ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Умнее Петра Петровича в целом свете нету: и все думает, и все думает, сопли распустил — и думает.

А сопли у Петра Петровича — лиловые, а происхождения Петр Петрович индейского. А жена у Петра Петровича — клюшка Аннушка, рябенькая: другой месяц женаты.

И как вылупились из земли слепые еще головенки пер-

вых трав — занасестила Аннушка. Причесываться перестала, расшершавилась — ходит и квохчет и охает, а Петр Петрович на одной ноге стоит и думает, думает: вот — яйца, с рыженькими веснушками; а не нынче-завтра из них индюшата выйдут, желтые, как одуванчик, пуховые, как одуванчик.

— Ну до чего интересно!

А рябенская Аннушка — свое бабье дело делает: в кошелке на яйцах сидит. Неделя, другая. Извелась Аннушка, не пьет — не ест, с места не сходит.

Петру Петровичу не терпится.

— Ну, как там у тебя?

Краснеет Аннушка:

— Да теперь уж, поди, как следует. Только еще пушком не обросли. Еще недельку бы надо.

— Ну-у: неделю! Так и не дождешься. Экие вы, бабы!

Умнее Петра Петровича в целом свете нету, и все думает, и все думает: на одну ногу станет — и думает.

И решил Петр Петрович: бабы — известно, рохли, копухи, чего на них глядеть, надо по-нашему, по-индей-петушиному.

Пришел к Аннушке — один глаз прищурен: хитрый — беда!

— Поди-кошь попей, Аннушка. В лоханке — вода свежая, а я без тебя за яйцами пригляжу.

Ушла Аннушка пить, а Петр Петрович — в кошелку: кок — одно яйцо, кок — другое, кок — третье. Теплые индюшата, дышат, ей-Богу! Обрадовался — вот как, и ну их из скорлупы тянуть.

Вытянул — а они страшные, голые, хлипкие, и самое, где задик, с отонком яичным срослись жилами, кровью. Отдирать стал — кишки тянутся, назад совать в скорлупу — назад не входят.

Отскочил Петр Петрович, побледнели сопли — и глядит, клюв разиня: яйца разбитые, и свесились через край желтенькие головки на нестерпимо длинных, тоненьких шеях. И уж еле дышат.

Захлопал крыльями Петр Петрович — и скорей через забор, пока Аннушка не увидела. Бабы — они ведь какие: беда с ними!

ХАЛДЕЙ

Сидел Халдей с логарифмами, тридцать лет и три года логарифмизировал, на тридцать четвертый придумал трубу диковинную: видать через трубу все небо близехонько, ну будто вот через улицу. Все настояще видно, какие там у них жители на звездах, и какие вывески, и какие извозчики. Оказалось — все, как у нас: довольно скучно. Махнул рукой Халдей: эх... — и загорился.

А уж слух пробежал про трубу Халдееву, народ валом валит — на звезды поглядеть: какие там у них жители. Ну прямо додору нет до трубы, в очередь стали, в затылок.

И дошел черед до веселой девицы Катюшки: веселая, а глаза — васильки, синие. Околдовала глазами Халдея, пал Халдей на белые травы, и нет ему слаще на свете Катюшкиных губ.

Катюшка и говорит Халдею:

— А небо-то нынче какое. На небо-то глянь!

— Да чего там, видал я: и глядеть нечего.

— Нет, ты погляди.

Хи-итрая: подвела Халдея к трубе не с того конца, не с смотрячего, а с другого, ну, где стекла-то маленькие.

Глянул Халдей: Бог знает где небо — далеко. Месяц маленький, с ноготок: золотой паук золотую паутину плетет и себе под нос мурлычет, как кот. А небо — темный луг весенний, и дрожат на лугу купальские огненные цветы, лазоревые, алые, жаркие: протянуть руку — и несметный купальский клад — твой.

И еще вспомнилось Халдею — когда маленький был: в Чистый Четверг на том берегу — от стояния народ идет, и несут домой четверговые свечки.

Сразу — тридцать три года и логарифмы с плеч долой. Набежали на глаза слезы, поклонился Халдей в ноги девице веселой:

— Ну, Катюшка, век не забуду: научила глядеть.

ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ

Порешил Иван церковь Богу поставить. Да такую — чтоб небу жарко, чертям тошно стало, чтоб на весь мир про Иванову церковь слава пошла.

Ну, известно: церковь ставить — не избу рубить, денег надо порядочно. Пошел промышлять денег на церковь Божию.

А уж дело к вечеру. Засел Иван в логу под мостом. Час, другой — затопали копыта, катит тройка по мосту: купец проезжий.

Как высвистнет Иван Змей-Горынычем — лошади на дыбы, кучер — бряк оземь, купец в тарантасе от страху — как лист осиноый.

Упокоил кучера — к купцу приступил Иван:

— Деньги давай.

Купец — ну клясться, божиться: какие деньги?

— Да ведь на церковь, дурак: церковь хочю построить. Давай.

Купец клянется-божится: «сам построю». А-а, сам? Ну-ка?

Развел Иван костер под кустом, осенил себя крестным знамением — и стал купцу лучинкою пятки поджаривать. Не стерпел купец, открыл деньги: в правом сапоге — сто тыщ, да в левом еще сто.

Бухнул Иван поклон земной:

— Слава тебе, Господи! Теперича будет церковь.

И костер землей закидал. А купец охнул, ноги к животу подвел — и кончился. Ну что поделаешь: Бога для ведь.

Закопал Иван обоих, за упокой души помянул, а сам в город: каменщиков нанимать, столяров, богомазов, золотильщиков. И на том самом месте, где купец с кучером закопаны, вывел Иван церковь — выше Ивана Великого. Кресты в облаках, маковки синие с звездами, колокола малиновые: всем церквам церковь.

Кликнул Иван клич: готова церковь Божия, все пожалуйте. Собралось народу видимо-невидимо. Сам архиерей в золотой карете приехал, а попов — сорок, а дьяконов — сорок сороков. И только это службу начали — глядь, архиерей пальцем Ивану вот так вот:

— Отчего, — говорит, — у тебя тут дух нехороший? Поди, старушкам скажи: не у себя, мол, они на лежанке, а в церкви Божией.

Пошел Иван, старушкам сказал, вышли старушки; нет: опять пахнет! Архиерей попам пальцем мигнул: заладили все сорок попов; что такое? — не помогает. Архиерей — дьяконам: замахали дьякона в сорок сороков кадил: еще пуще дух нехороший, не продохнуть, и уж явственно: не старушками — мертвой человечиною пахнет, ну просто стоять невмочь. И из церкви народ — дьякона тишком, а попы задом: один архиерей на орлеце посреди церкви да Иван перед ним — ни жив ни мертв.

Поглядел архиерей на Ивана — насквозь, до самого дна — и ни слова не сказал, вышел.

И остался Иван сам-один в своей церкви: все ушли, не стерпели мертвого духа.

1920

ДРЯНЬ-МАЛЬЧИШКА

Подарили Петьке игрушку: голубоглаза, маленькие ручки, шелковые кудри, разные там кружевца да прошивки. А уж это-то как замечательно: нажать хорошенько — и сейчас тебе скажет: «лю-блю», да еще и глазки голубые закатит.

Играть бы да играть Петьке да родителей благодарить: не всякому такие игрушки дарят. Так вот нет же: глупый мальчишка, больно уж умен не в меру. День поиграл, другой. На третий — пожалуйста:

— Отчего глазами так делает? Отчего пахнет хорошо? Отчего «лю-блю»?

Перочинный ножичек, да вспорол, да до всего и добрался — отчего что.

А только — ничего интересного: для томных глаз — шарики какие-то свинцовые; под розовым атласом — кожей — гнилые опилки; для «лю-блю» — резиновый пузырь с дудкой.

Зашили потом родители кое-как, да уж не то: «лю-блю»-то уж не умеет делать.

Петьку выдрали: глупый мальчишка — будет знать, как игрушки портить. Говорено сколько раз: игрушки — для игры, а не хочешь играть, дрянь-мальчишка, отдай другому. А то ишь ты: внутри ему глядеть надо, ломать ему надо.

— Не ломать, не ломать, не ломать! Так его.

1915

КАРТИНКИ

Пришел я к приятелю — денег взаймы просить. Ни са-
мого нет дома, ни жены нету: вышел ко мне в залу маль-
чик, чистенький такой.

— Вы погодите немножко. Папа-мама сейчас придут.

А чтоб не скучал я, стал мне мальчик картинки пока-
зывать.

— Ну, это вот что?

— Волк, — говорю.

— Волк, верно. А вы знаете, волк, он травку не кушает,
он овечков кушает...

И этак все картинки объясняет дотошно: ну смерть —
надоел. Петуха раскрыл.

— А это что? — спрашивает.

— Это? Изба, — говорю.

Выпучил мой мальчик глаза, обомлел. Погодя кой-как
справился, нашел мне настоящую избу:

— Ну а это что?

— А это — веник березовый, вот что.

Улыбнулся мальчик вежливенько и доказывать стал:
изба — зернышки не клюет, а петух — клюет, а в петухе —
жить нельзя, а в избе можно, а у веника — дверей нету, а у
петуха...

— Вот что, — говорю, — милый мальчик: если ты сию
минуту не уйдешь, я тебя в окошко выкину.

Поглядел мне в глаза мальчик, увидал — правда выки-
ну. Заревел, пошел бабушке жаловаться.

Вышла бабушка в залу и стала меня корить:

— И как же вам не совестно, молодой человек? За что
вы милого мальчика? Ведь он вам истинную правду гово-
рил.

1916

БЯКА И КАКА

В печурке у мужика — пух утиный сушился. И завелись в пуху Бяка и Кака. Вроде черных тараканов, а только побольше, рук две, ног две, а язык один — дли-инный: пока маленькие были, сами себя языком, вместо свивальника, пеленали.

Хорошенькие такие, богомольные — мужик на ночь — Троеручице поклоны бьет, а Бяка и Кака сзади — спине мужиковой. Днем из избы сор носили; по престольным праздникам, в новых красных рубашечках, мужика по-здравили. И до масленицы было — как нельзя лучше.

На масленице — принес браги мужик: такая брага — все вверх дном. Рожи, хари, нечистики; ухваты — по горшкам, черепки; изба — трыкнула и самоходом пошла — куда глаза глядят. А мужик — без задних ног, и на брюхе — огарок догорает, потрескивает: вот-вот мужикова рубаха займется.

Бяка да Кака со всех ног кинулись: огарок тушить.

— Да пусти ты: я потушу.

— Нет ты пусти: я...

— Я мужика больше люблю; а ты — так себе, я зна-аю!

— Нет, я больше. А ты Бяка!

— Я — Бяка? А ты — Кака! Что, ага?

Да в ус, да в рыло — и клубком по полу. Катались-катались, а от огарка — рубаха, от рубахи — мужик, от мужика — изба. И с мужиком, с избой вместе — Бяка и Кака: от всего — одна сажа.

1920

ЧЕТВЕРГ

Жили в лесу два брата: большенький и меньшенький. Большенький — неграмотный был, а меньшенький — книгочей. И близко Пасхи заспорили между себя. Большенький говорит:

— Светлое Воскресенье, разговляться надо.

А меньшенький в календарь поглядел.

— Четверг еще, — говорит.

Большенький ничего малый, а только нравный очень, заворотень, слова поперек не молви. Осерчал большенький — с топором полез:

— Так не станешь разговляться? Четверг, говоришь?

— Не стану. Четверг.

— Четверг, такой-сякой? — Зарубил меньшенького большенький топором — и под лавку.

Вытопил печку, разговелся большенький чем Бог послал, под святыми сел — доволен. А за теплой печкой — вдруг сверчок:

— Чтверг-чтверг. Чтверг-чтверг.

Осерчал большенький, под печку полез — за сверчком. Лазил-лазил, вылез в сопухе весь, страшный, черный: изловил сверчка и топором зарубил. Упарился, окошко открыл, сел под святыми, доволен: ну, теперь кончено.

А под окошком — откуда ни возмись, воробы:

— Четверг, четверг, четверг!

Осерчал большенький еще пуще, погнал с топором за воробьями. Уж он гонялся-гонялся, какие улетели, каких порубил воробьев.

Ну, слава Богу: зарубил слово проклятое: четверг. Инда топор затупился.

Стал топор точить, — а топор об камень:

— Четверг. Четверг. Четверг.

Ну, уж коли и топор про четверг — дело дрянь. Топор обземь, в кусты забился, так до Светлого Воскресенья большенький и пролежал.

В Светлое Воскресенье — меньшенький брат воскрес, конечно. Из-под лавки вылез — да и говорит старшему:

— Будет, вставай. Вздумал, дурак: слово зарубить. Ну уж ладно: давай похристосуемся.

1917

ХЕРУВИМЫ

Всякому известно, какие они, херувимы: головка да крылышки, вот и все существо ихнее. Так и во всех церквах написаны.

И приснился бабушке сон: херувимы у ней в комнате летают. И летают, и летают, крыльями полощут по-ласто-

чьи, под потолком трепыхаются. Вот теперь — пониже, вот шторку задели, об лампу стукнулись, опять к потолку. Прочитала им бабушка херувимскую и всякую молитву про херувимов вспомнила — прочитала, а они все летают.

Уж так стало жалко бабушке херувимов — терпенья нет. И говорит она — какому поближе:

— Да ты бы, батюшка, присел бы, отдохнул. Уморился, поди, летать-то.

А херувим сверху ей, жа-алостно:

— И рад бы, бабушка, посидеть, да нечем.

И верно: головка да крылышки — все существо ихнее. Ничего не поделаешь.

1917

ОГНЕННОЕ А

Которые мальчики очень умные — тем книжки дарят. Мальчик Вовочка был очень умный — и подарили ему книжку: про марсиан.

Лег Вовочка спать — куда там спать: ушки горят, щечки горят. Марсиане-то ведь, оказывается, давным-давно знаки подают нам на Землю, а мы-то! Всякой ерундой занимаемся: историей Иловайского. Нет, так больше нельзя.

На сеновале — Вовочка и трое второклассников, самых верных: Иловайского — в угол. Четыре головы — над булавкой: чертят карандашом, шу-шу, шу-шу, ушки горят, щечки горят...

За ужином большие читали газету: про хлеб, забастовки — и спорят, и спорят — обо всякой ерунде.

— Ты, Вовка, чего ухмыляешься?

— Да уж больно вы чудные: марсиане нам знаки подают, а вы — про всякую ерунду.

— А ну тебя с марсианами... — И про свое опять. Глупые большие!

Заснули наконец. Вовочка — как мышь: сапоги, брюки, куртку. Зуб на зуб не попадает, в окошко прыг! — и на пустой монастырский выгон, за лесным складом купца Заголяшкина.

Четверо второклассников, самых верных, натаскали дров купца Заголяшкина. Сложили из дров букву А — и за-

полыхало на выгоне огненное А для марсиан, колоссальное огненное А: в пять сажен длиной.

— Трубу!.. Трубу наводи скорее!

Навел мальчик Вовочка подзорную трубу, трясется труба.

— Сейчас... кажется... Нет еще... Сейчас-сейчас...

Но на Марсе — по-прежнему. Марсиане занимались своим делом и не видели огненного А мальчика Вовочки. Ну, стало быть, завтра увидят.

Уж завтра — обязательно.

— Ты чего нынче, Вовочка, чисто именинник?

— Такой нынче день. Особенный.

А какой — не сказал: все одно не поймут глупые большие, что именно нынче начнется новая, междупланетная, эпоха истории Иловайского: уж нынче, марсиане — обязательно...

И вот — великая ночь. Красно-огненное А, четыре багровых тени великих второклассников. И уж наведена и дрожит труба...

Но заголяшкинский сторож Семен — в эту ночь не был пьян. И только за трубу — Семен сзади:

— Ах-х вы каналы! Дрова-а переводить зря? Держи-держи-держи! Стой-стой!

Трое, самых верных, — через забор. Мальчика Вовочку заголяшкинский сторож изловил и, заголивши, высек.

А с утра великих второклассников глупые большие засадили за историю Иловайского: до экзамена один день.

1918

ПЕРВАЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Завелся Фита самопроизвольно в подполье полицейского правления. Сложены были в подполье старые исполненные дела, и слышит Ульян Петрович, околоточный, — все кто-то скребется, постукивает. Открыл Ульян Петрович: пыль — не прочихаешься, и выходит серенький, в пыли, Фита. Пола — преимущественно мужского, красная сургучная печать за номером на веревочке болтается. Младенец, а вида — почтенного, лысенький и с брюшком,

чисто надворный советник, и лицо — не лицо, а так — Фита, одним словом.

Очень Фита понравился околоточному Ульяну Петровичу: усыновил его околоточный и тут же в уголку, в канцелярии, поселил — и произрастал Фита в уголку. Понатаскал ему из подполья старых рапортов, отношений за номером, в рамках в уголку своим развесил, свечку зажег — и молится, степенно, только печать эта болтается.

Раз Ульян Петрович приходит — а Фита, глядь, к чернильнице припал и сосет.

— Эй, Фитька, ты чего же это, стервец, делаешь?

— А чернила, — говорит, — пью. Тоже чего-нибудь мне надо.

— Ну ладно уж, пей. Чернила-то казенные.

Так и питался Фита чернилами.

И до того дошло — смешно даже сказать: посусолит перо во рту — и пишет, изо рта у Фиты — чернила самые настоящие, как во всем полицейском правлении. И все это Фита разные рапорты, отношения, предписания строчит и в уголку у себя развешивает.

— Ну, Фита, — околоточный говорит, отец-то названный, — быть тебе, Фита, губернатором.

А год был тяжелый — ну какой там, этот самый: и холера, и голод.

Прикатил Фита в губернию на курьерских, жителей собрал немедленно — ну разносить:

— Эт-то что у вас такое? Холера, голод? Й-я вас! Чего смотрели, чего делали?

Жители очесываются:

— Дак мы что ж, мы ничего. Доктора — холерку подлечили маленько. Опять же к скопским бы за хлебом спосылать...

— Я вам — доктора! Я вам — скопских!

Посусолит Фита перо:

— «Предписание № 666. Сего числа, вступив надлежаще в управление, голод в губернии мною строжайше отменяется. Сим строжайше предписывается жителям немедленно быть сытыми. Фита».

— «Предписание № 667. Сего числа предписано мною незамедлительное прекращение холеры. Ввиду вышеизложенного, сим увольняются сии, кои самовольно имену-

ют себя докторами. Незаконно объявляющие себя больными холерой подлежат законному телесному наказанию. Фита».

Прочитали предписание в церквах, расклеили по всем заборам. Жители отслужили благодарственный молебен и в тот же день воздвигли Фите монумент на базарной площади. И степенный, лысенький, с брюшком — похаживал Фита без шляпы кругом собственного монумента.

Прошел день и другой. На третий... глядь, холерный появился в самую Фитину канцелярию: стоит там и корчится, — ведь вот не понимает народ своей пользы. Велел ему Фита всыпать законное телесное наказание. А холерный вышел — и противоправительственно помер.

И пошли, пошли мереть — с холеры и голоду, и уж городских не хватало для усмирения преступников.

Почесались жители и миром решили: докторов вернуть и за скопским хлебом послать. А Фиту из канцелярии вытащили и учить стали, по-мужицки: народ необразованный, темный.

И рассказывают: кончился Фита так же не по-настоящему, как и начался: не кричал, и ничего, а только все меньше и меньше, и таял, как надувной американский черт. И осталось только чернильное пятно да эта самая сургучная печать за номером. Так Фита кончился. Но до конца еще умудрился столько дивных делов натворить, что одним духом и не сказать всех.

1917

ВТОРАЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Указом Фита отменил холеру. Жители водили хоровады и благоденствовали. А Фита дважды в день ходил в народ, беседуя с извозчиками и одновременно любуясь монументом.

— А что, братцы, кому монумент-то, знаете?

— Как, барин, не знать: господину исполняющему Фите.

— Ну то-то вот. Не надо ли вам чего? Все могу, мне не долго.

А была извозничья биржа около самого собора. Погля-

дел извозчик на монумент, на собор поглядел — да и говорит Фите:

— Да вот, толковали мы намеренно: уж больно нам округ собора ездить несподручно. Кабы да через площадь прямая-то дорога...

А был Фита умом быстр, как пуля. Сейчас это в канцелярию за стол — и готово:

«Имеющийся градский собор неизвестного происхождения сим предписываю истребить немедленно. На месте вышеупомянутого собора учредить прямоезжую дорогу для г. г. легковых извозчиков. Во избежание предрассудков исполнение вышеизложенного поручить сарацинам. Подписал Фита».

Утром жители так и обомлели: собор-то наш, батюшки! В сарацинах весь — сверху донизу: и на всех пяти главах, и на кресте верхом, и по стенам, как мухи. Да черные, да голые — только веревочкой препоясаны, и кто зубом, кто шилом, кто дрючком, кто тараном — только пыль дымит.

И уже синих глав нету, и на синем — звезд серебряных, и красный древний кирпич кровью проступил на белогрудых стенах.

Жители от слез не прохлебнутся:

— Батюшка, Фита, благодетель ты наш, помилуй! Да уж мы лучше кругалем будем ездить, только собор-то наш, Господи!

А Фита гоголем ходит — степенный, с брюшком, на сарацин поглядывает: сарацины орудуют — глядеть любо. Остановился Фита перед жителями — руки в карманы:

— Чудаки вы, жители. Ведь я — для народа. Улучшение путей сообщения для легковых извозчиков — насущная потребность, а собор ваш — что? Так, финтифлюшка.

Тут вспомнили жители: не больно давно приходил по собор Мамай татарский, от Мамаю откупились — авось, мол, и от Фиты откупимся. В складчину послали Фите итак: трех девиц красивейших да чернил четверть.

Разгасился Фита, затопал на жителей:

— Пошли вон сейчас! Туда же — Ма-ма-ай! Мамай наш — мямля, а у меня сказано — и аминь.

И сарацинам помахал ручкой: гони, братцы, всю, уж стадо домой идет.

Село солнце — от собора остался только щебень. Свое-ручно пролинеил Фита мелом по линейке прямую дорогу. Всю ночь сарацины орудовали — и к утру пролегла через базарную площадь дорога — прямая, поглядеть любо.

В начале и в конце дороги воздвигли столбы, изукрашенные в будошный черно-желтый цвет, и на столбах надписание:

«Такого-то года и числа неизвестного происхождения собор истреблен исполняющим обязанности Фитой. Им же воздвигнута сия дорога с сокращением пути легковых извозчиков на 50 саженей».

Базарная площадь была наконец приведена в культурный вид.

1917

ТРЕТЬЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

Жители вели себя отменно хорошо — и в пять часов пополудни Фита объявил волю, а будошников упразднил навсегда. С пяти часов пополудни у полицейского правления, и на всех перекрестках, и у будок — везде стояли вольные. Жители осенили себя крестным знаменiem:

— Мать пресвятая, дожили-таки. Глянь-ка: в чуйке стоит! Заместо будошника — в чуйке, а?

И ведь главное что: вольные в чуйках свое дело знали — чисто будошниками родились. В участок тащили, в участке — и в хрюкалку, и под микитки — ну все как надобно. Жители от радости навзрыд плакали:

— Слава тебе, Господи! Довелось: не кто-нибудь, свои бьют — вольные. Стой, братцы, армяк скину: вам этак по спине будет сподручней. Вали, братцы! Та-ак... Слава тебе, Господи!

Друг перед дружкой наперебой жители ломились посидеть в остроге: до того хорошо стало в остроге — просто слов нету. И обыщут тебя, и на замочек запрут, и в гла-

зок заглянут — все свои же, вольные: слава тебе, Господи...

Однако вскорости местов не хватать стало, и пускали в острог жителей только какие попочетней. А прочие у входа ночь напролет дежурили и билеты в острог перекупали у барышников.

Уж это какой же порядок! И предписал Фита:

«Воров и душегубов предписываю выгнать из острога с позором на все четыре стороны».

Воров и душегубов выгнали на все четыре стороны, и желавшие жители помаленьку в остроге разместились.

Стало пусто на улицах — одни вольные в чуйках; как-то оно не того. И опубликовал Фита новый указ:

«Сим строжайше предписывается жителям неуклонная свобода песнопений и шествий в национальных костюмах».

Известно, в новинку — оно трудно. И для облегчения неизвестные люди вручили каждому жителю под расписку текст примерного песнопения. Но жители все-таки стеснялись и прятались по мурьям: темный народ!

Пустил Фита по мурьям вольных в чуйках — вольные убеждали жителей не стесняться, потому нынче — воля, убеждали в загрибок и под сусало и наконец убедили.

Вечером — как Пасха... Да что там Пасха! Повсюду пели специально приглашенные соловьи. Повзводно, в ногу, шли жители в национальных костюмах, и около каждого взвода вольные с пушкой. Единогласно и ликующе жители пели, соответственно тексту примерного песнопения:

Славься, славься, наш добрый царь.
Богом нам данный Фита-государь.

А временно исполняющий обязанности Фита раскланивался с балкона.

Ввиду небывалого успеха жители тут же, у балкона Фиты, под руководством вольных, в единогласном восторге, постановили — ввести ежедневную повзводную свободу песнопений от часу до двух.

В эту ночь Фита первый раз спал спокойно: жители явственно и быстро просвещались.

ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ПРО ФИТУ

А был тоже в городе премудрый аптекарь: человека сделал, да не как мы, грешные, а в стеклянной банке сделал, уж ему ли чего не знать?

И велел Фита аптекаря предоставить.

— Скажи ты мне на милость: и чегой-то мои жители во внеслужебное время скушные ходят?

Глянул в окошко премудрый аптекарь: какие дома с коньками, какие с петушками; какие жители в штанах, какие в юбках.

— Очень просто, — Фите говорит. — Разве это порядок? Надо, чтоб все одинаковое. Вообще.

Так — так так. Жителей — повзводно да за город всех, на выгон. И в пустом городе — пустили огонь с четырех концов: дотла выело, только плешь черная — да монумент Фите посередке.

Всю ночь пилы пилили, молота стучали. К утру — готово: барак, вроде холерного, длинный, в семь верст и три четверти, и по бокам — закуточки с номерками. И каждому жителю — бляху медную с номерком и с иголочки — серого сукна униформу.

Как это выстроились все в коридоре — всяк перед своей закуточкой, бляхи на поясах — что жар-птицы, одинаковые все — новые гривеннички. До того хорошо, что уж на что Фита — крепкий, а в носу защекотало, и сказать — ничего не сказал: рукой махнул и в свою закуточку, № 1. Слава тебе, Господи: все — теперь и помереть можно...

Утром чем свет, еще и звонок не звонил (по звонку вставали) — а уж в № 1 в дверь стучат:

— Депутаты там к вашей милости, по неотложному делу

Вышел Фита: четверо в униформе, почтенные такие жители, лысые, пожилые. В пояс Фите.

— Да вы от кого депутаты?

И загалдели почтенные — все четверо разом:

— Это что же такое — никак невозможно — это нешто порядок... От лысых мы, стало быть. Это, стало быть, аптекарь кучерявый ходит, а которые под польку, мы — лысые? Не-ет, никак невозможно...

Подумал Фита — подумал: по кучерявому всех — не по-

одинаковить, делать нечего — надо по лысым равнять. И сарацинам рукой махнул. Налетели — набежали с четырех сторон: всех — наголо, и мужеский пол, и женский: все — как колено. А аптекарь премудрый — чудной стал, облизанный, как кот из-под дождичка.

Еще и стричь всех не кончили — опять Фиту требуют, опять депутаты. Вышел Фита смурый: какого еще рожна?

А депутаты:

— Гы-ы! — один в кулак.

— Гы-ы! — другой. Мокроносые.

— От кого? — буркнул Фита.

— А мы, этта... Гы-ы! К вашей милости мы: от дураков. Гы-ы! Жалаем, знычьть, чтоб, знычьть... всем, то есть, знычьть... равномерно...

Туча тучей вернулся Фита в № 1. За аптекарем.

— Слыхал, брат?

— Слыхал... — голосок у аптекаря робкий, голова в ситцевом платочке: от холоду, непривычно стриженому-то. — Ну как же нам теперь?

— Да как-как: теперь уж чего же. Назад нельзя.

Перед вечерней молитвой — прочли приказ жителям: быть всем петыми дураками равномерно — с завтрашнего дня.

Ахнули жители, а что будешь делать: супротив начальства разве пойдешь? Книжки умные наспех последний раз сели читать, до самого до вечернего звонка все читали. Со звонком — спать легли, а утром все встали: петые. Веселые — беда. Локтями друг дружку подталкивают: «Гы-ы! Гы-ы!» Только и разговору: сейчас вольные в чуйках корыта с кашей прикатят: каша ячневая.

Прогулялся Фита по коридору — семь верст и три четверти, — видит: веселые. Ну, отлегло: теперь-то уж все. Премудрого аптекаря в уголку обнял:

— Ну, брат, за советы спасибо. Век не забуду.

А аптекарь Фите:

— Гы-ы!

А ведь, выходит дело, — один остался: одному за всех думать. И только это Фита заперся в № 1 — думать, как опять в дверь. И уж не стучат, а прямо ломаются, лезут, гают несудом:

— Э-э, брат, нет, не проведешь! Мы хоть и петые, а тоже, знычть, понимаем! Ты, брат, тоже дурей. А то ишь ты... Не-ет, брат!

Лег Фита на кроватку, заплакал. А делать нечего.

— Уж Бог с вами, ладно. Дайте сроку до завтрава.

Весь день Фита промежду петых толкался и все дурел помаленьку. И к утру — готов, ходит — и: гы-ы!

И зажили счастливо. Нету на свете счастливее петых.

1917



Мудеса





О святом грехе Зеницы-девы. Слово похвальное

Жены и девы да не презирают

естества своего, мучения, ибо дверь отверста для всех, она же и дверь во спасение. Так и Зеница-дева, мучительному греху свое тело предавши, тем душу спасла есть.

Зеница-дева была млада и прекрасна, — всякого прекословия кроме — волосы же имела, как венец златый отрожденный, из злата червлена. Отец ее был муж нарочитейший словом и делом, у него много коней, и рабынь много, и бисера много бесценного.

Ночью жаркой Зеница-дева, возжаждав, послала рабыню отца своего взять воды в студенце. Был тот студенец сладкой водой обилен, еще же обильней множеством змий, и ехидн, и скарпий. И, приняв водный сосуд, Зеница-дева с водой испила змею малу. Воспитана же в чреве ее, стала змея тучна и вздымала чрево девицы, будто была та плодна. Приводили кудесников многих земли родимичской и весей округних, даже до самых дулебов, но никто из них волшбами своими змею из девы не мог изгнать.

Был в те дни в земле готской муж некий, чудеса творивший многа и славна, имя же ему Улфил. Когда он пришел целить деву, кудесники стали прельщать его кознями пестрых словес:

— И ты не имеешь власти изгнать змею.

Он же им рек:

— Власть я имею, но власть моя не от готских богов, ниже от мерзких словенских, но от бога моего.

Сотворил знамение неведомое — и змея, покорившись,

вышла из чрева Зеницы и, полежав немного, вид приняла сажди и пепла, чем все изумлены были немало.

Зеница же не токмо телом, но и душой исцелилась, познавши после того чуда веру истинную. И вяще отца своего и матери своей возлюбила нищих, голодных и сирых, и во вретипах сущих, и странных калик переходящих, — и с ними пребывала все дни, творя благостыню.

Во времени тому упещерились поля вешними цветами. Зеница же тем цветам была подобна лепотой нежной своей. Стрелою греховной уязвлены, многие мужи рода доброго и богатства немалого восхотели женою взять Зеницу деву, она же, усмехнувшись, сказала им:

— Уже отдала я себя. Утром рано придите завтра — увидите.

Было еще солнце красно, как мед, и холодная сияла роса. И увидели: перед узорным крыльцом стояла нищая, серая череда.

— Убогих невеста я, но не ваша! — сказала Зеница мужам изумленным.

И так пребывала Зеница браконейскуною девою пять лет. По скончании пятого восстал в готской земле царь горделивый и злу изобретник, именем Ерман. И как ночь тьмою все наполняет, так наполнил и Ерман-царь воинами своими всю землю родимичскую, и древлянскую, и северянскую, и полянскую, и мерю, и весь, и чудь: от моря Сурожского и до моря Варяжского. И мужеский пол в землях тех истребляли нещадно.

Убегая смертной години, воины родимичские скрылись в лесах, окрест сущих. Жены же преданы были в руки враг беззаконных, неразумных и варварских язык. И все жены, противлявшиеся нечестию распаленному воинов готских, были биемы нещадно жилами турьими, уды же нежные их опаляемы были повсюду лампадами огненными.

Зеница же в то время была скрыта в спряте тайном, изрытом в земле. Слыша стопы мучимых, Зеница сердцем своим доброчестным не захотела одна спастись. И, вышедши из убежища, прилежно искала увидеть Ермана именуемого царя. Узрев вежу богатую, украшенную серебром и иными добротами, Зеница спросила:

— Здесь ли Ерман именуемый царь?

Привратник же захотел узнать вину пришествия девы.

— Единому только царю могу поведать про то, — Зеница отвечала.

Видя, что образом дева светла, волосы же у нея как венец золотой, привратник пропустил ее в хлевику внутреннюю, где и был царь.

Был же Ерман, царь горделивый, по виду подобен некому дивию зверю. И никто прямо взглянуть на него не мог, но клонился долу. Зеница же воззрела твердо:

— Почто воинам своим не претишь, о беззаконнике, муками мучити жен?

Ерман же царь, разженный нежной лепотой девы, в молчании на нее смотрел, как лев, в пустыне видящий снесь. А заговорил словами услаждательными и ласковыми:

— Возлюбленнице моя, хочешь, и тотчас воинам запрещу мучить жен? И клянусь словом своим: не только отпустят их, но еще и братца всякого им дадут. Знаю я, в пище у вас скудота, кроме лящи моченой нет ничего.

Зеница же возопила к нему:

— Молю, да будет по слову твоему!

Ерман же ей отвечал:

— Если и правда хочешь, да будет по клятве моей, приди и ляг на ложе со мною.

Воздела Зеница к небу стеблие белое рук:

— Люте мне, люте! Пелыня мне горше сия!

Помыслив же мало, в сердце своем решила: «не хульно будет сие спасению моему, но благо». И, одежды совлекши, взошла на ложе цареву.

Узнав веру ея, царь Ерман злодушный поднял ее на стыд и подсмех:

— Где же теперь целомудрие твое добродетельно, заповеданное тебе верой твоей?

Дева же мудрая царю отвечала:

— Тленное телесе озлобление оскорбит меня только здесь, а там — телесное нечестие в честь мне будет, ибо гонимых ради то сотворила.

Клятве верен был Ерман-царь: прекратились в земле той стоны мучимых, прекратился голод.

И славили сырые все Зеницу-деву.

По прошествии тридцати дней, Ерман-царь возроптал на Зеницу:

— Почто от страстей невестягновенна ты? Почто цветы персей твоих от ласок не трепещут, и как камене нечувственное на ложе моем возлежишь?

Зеница же отвечала ему твердо:

— Тело мое, если хочешь, можешь взять, ибо оно есть тлен, душу же — нет, скверненник: душа нерастленна есть.

Распалился гневом великим Ерман-царь и в гневе том преступил свою клятву. Воздвиглись гонения вновь. Первее же всех повелел царь Зеницу взять и мечом усекнуть ей оба сосца, после же того в студенец ввергнуть, где, по предреченному, были змии многи, и ехидны, и скарпии. Когда же исполнено было злоумное повеление, Ерман-царь, поднявши перси усекновенныя, лобызал их и плакался горько, даже всю ночь. И слышали стражи у красной вежи:

— Возлюбленнице моя, чистота иния вяще и снега!

Три дня с молитвой и с терпением добриим Зеница пребывала в студенце, гады же ей не вредили. Трем же дням мимошедшим трус был великий и буря. Вода из студенца вон исплеснулась — и вынесла на берег Зеницу-деву, и змий, и ехидн, и скарпий.

И, расползшись по веси всей, уязвлять начали гады воинов готских, и без того трусом смятенных. И как дивии лани от голоса человека, так побежали готы из веси той. Из лесов, окрест сущих, вышли мужи родимичские и преследовали по стопам, и многих от воин готских побили. Оплению же земли родимичской тут скончание было.

Зеница же, чудом милостивым, стала цела, как бы и не были перси ея усекновенны, красота же ея стала еще светлее. И так лет ??? пребывала, и уже преклонна днями была, образ же юной девы имела все тот же.

Когда же скончаться ей, близких всех пригласила:

— Чую, приблизилось время умертвия моего.

И, помолившись мало, уснула. Народ же весь плакался, и смятение было: как ее погребать? Ибо никто не знал обычаев веры ея. И еще дивились со страхом, что тело Зеницы не искрепло, но мягко, и светло, и благовонно.

И с говением многим ее погребли словенским обычаем: землю и каменном насыпав место могильно, курган име-

нуемое. На кургане камень воздвигнули обделан, изваяно же на камени том словесы эллинскими, и словенскими, и готскими:

«Здесь погребена есть Зеница-дева, сия грехом милосердным нас спасла есть».

(1916)

О том, как исцелен был инок Еразм

Сказанный инок Еразм еще во чреве

матери посвящен был Богу. Родители его долгие годы ревностно, но тщетно любили друг друга и, наконец, истощив все суетные человеческие средства, пришли в обитель к блаженному Памве. Вступив в келию старца, жена преклонила перед ним колени, и стыд женский запечатал ей уста, и так молча предстояла старцу. Но блаженному Памве и не надо было слов: от юности тленные женские одежды были ему как бы из стекла, и сквозь них тотчас увидел он горькие бесплодием ложесна женщины.

— Оставь скорбь, женщина, — сказал ей старец. — Сядь здесь и раздели со мной трапезу.

Так сказав, взял печеную рыбу, вынул молоки и, благословив, подал их женщине. Та со слезами и верой причастилась благословенной пищи и внезапно ощутила в себе трепетание, как если бы приняла мужа в лоно свое.

Когда увидел старец Памва, что уже вновь раскрылись завеженные очи ее и пурпур вновь окрасил побледневшие на малое мгновение ланиты, он улыбнулся ей, сказав:

— Отныне муж твой уже не будет подобен пахарю, возделывающему песок, и труд его принесет плоды. Но первенца твоего, когда он научится петь хвалу зародившему его и зарождающему тьмы, — первенца своего ты приведешь в обитель и оставишь мне.

После того много раз солнце вставало над обителью и сеяло золотое семя свое в синий снег и в черные весенние недра, вздымалось стеблие трав и, совершив заповеданное, вновь клонилось долу. И лишь старец Памва был по-прежнему прям, как крестное дерево кипарис, и все

так же крепок был серебряный венец его мудрых седин, и многих исцелял убогих мужей, и одержимых бесами, и неплодных жен, в чем видели иные силу вкушаемой старцем благословенной пищи.

И вот в день пятидесятницы, совершив положенные службы, вышел старец Памва из храма. Рачением братии белые плиты перед храмом были усыпаны весенними благоуханными травами, и венками были увенчаны кресты на могилах почивших и ныне сорадовавшихся вместе с живыми иноков. И украшенный зеленым венком предстал блаженному Памве златоволосый отрок, ведомый за руку женщиной.

— В сей день брачный земли — войди и живи с нами, отрок Еразм, — сказал старец Памва и уже поднял руку благословить отрока, но в тот же час два беса, принявшие образ голубиный, сев на кресте могильном и уронив на землю венки, предались плотскому неистовству.

— Он ее заключет! Освободи ее, добрый старец! — вскричал отрок Еразм к блаженному Памве.

Старец Памва поднял глаза на бесов — и те истаяли дымом на виду у всех, не окончив своей неподобной игры. Старец же возложил на Еразма руки, сказав:

— Счастлив удел твой, брат Еразм, и тяжел он, ибо уже раскидывают над тобой бесы свою сеть, но они ищут лишь ценной добычи.

И, чтобы блюсти Еразма от козней бесовских, блаженный Памва поселил его в своей келье. Юный инок Еразм служил старцу, подавая ему воду для омовения, скудную пищу, кадильницы, свечи, и не раз видел, как он целил больных и прозревал души приходивших к нему, как если бы одежды и самое тело их были из стекла.

— Как смотришь ты, отче, чтобы читать в душах их? — спросил старца Еразм.

— Я смотрю в глаза, — отвечал старец Памва. — Тело человека — все обитает в этом мире, и только глаза его — суть колодцы, проникающие с поверхности этого мира в тот мир, где их души. Как разноглубоки колодцы в земле, так разноглубоки они в человеке. И чем глубже, тем ближе к обителям божественным, но и к вратам преисподней.

— А у меня? — спросил инок Еразм.

Но ничего не ответил мудрый старец, погрузившись в молитву. Ибо не видел дна в тех синих колодцах, при-

крытых сверху легким, непрочным наметом ресниц. Так искушенный путник опасно ходит по неведомым дорогам, минуя влекущие нежной зеленью места, чтобы не погрузиться в коварную хлябь.

Вскоре инок Еразм стал весьма искусен в чтении и письме. И когда блаженный Памва уставал от молитв, и от бесед с приходившими искать мудрости его, и от борений с неустанно, как мухи, осаждавшими его бесами, инок Еразм читал ему вслух нечто от библии, или от житий святых отец наших, или от Цветников и Изборников отеческих. Был голос у юного инока чистоты, подобной звенящему с высот горнему крину, и как на пути быстрых вод горного крина спаленный солнцем холм облекается зеленой одеждой, упещренной белыми и багряными и синими, как твердь, цветами, — так поливались сладким и буйным соком читаемые Еразмом слова. И, слыша их странную и как бы уже не божественную прелесть, старец Памва прекращал чтение, говоря:

— Я помолюсь, Еразм. Выйди и читай один.

И уже вовне келий, на белых и горячих от солнечного дыхания камнях, вновь раскрывал Еразм залитые восковыми слезами листы древней книги и читал от нее. И упоенный вином словесным, не слышал, что творилось вокруг, и не видел и не ведал, что есть чтение его.

Однажды в такой час, истомившись зноем, поднял блаженный Памва ставень в келье и остановился изумленно, услышав за окном тяжкие вздохи и стенания как бы огромного зверя. Вышед, увидел он Еразма на ступенях келий с книгой, а кругом — иноков, юных и зрелых и старцев, и как бы от чрезмерного бега — лица у них красны, а дыхание часто, и многие стонали от неистовой некой муки и яростно, оберучь, охватывали белое тело берез и, упав ниц, лобзали круглые, подобные чреву камни.

— Что, безумный, сделал ты с ними? — спросил старец во гневе.

— Я читаю им от священных книг, — ответил просто душно Еразм.

Полагая, что нашептанный бесами юный инок осквернил себя ложью, старец Памва подступил ближе и, опустив взор свой на листы древней книги, увидел, что неправо помыслил так об Еразме, ибо он читал Песнь Песней мудрейшего среди смертных и пророка пред Господом. То-

гда уразумел блаженный старец, что инок Еразм невинен, но вина братии, и сказал им:

— С какими помыслами вы, нечестивые, слушали слова о божественной любви к чистейшей невесте нашей церкви?

Но братия молчала.

— Поднимите, злодушные, ваши очи вверх и увидите.

На краткое мгновение, по молитве блаженного Памвы, отверзались их духовные очи и увидели все: невысоко, на уровне кровель обительских, клубилась над ними тяжкая туча, пронизанная вся красным, как кровь. И еще, погода мало, увидели, что это не кровь, но клубы тучные свисали в виде женских персей, с обращенными вниз остриями сосцов, и волновались клубы в виде чашеподобных лон и увитых легкой тканью лядвей и чресел.

Пораженные видением, иноки безмолвствовали. А туча бесовской прелести, по мановению блаженного старца, содрогнулась и пролила некий смрадный, густой и белый, как молоко, дождь.

— Видите, что сеете вы помыслами своими? — спросил их блаженный Памва.

— Прости, отче, видим, — отвечали устыженные иноки.

И с того дня юный Еразм запрещен был Памвою в чтении книг, но приставлен к иному делу, где бесы уже не могли обратить во зло лепоту его нежного голоса. Под неусыпным надзором старца инок Еразм стал обучаться писанию икон.

Опасаясь бесовских козней, старец Памва отделил Еразма от прочей братии, затворив его в малой келии, и уже никто не видел и не слышал Еразма — только старец. И были стены в той келии белы, как одежды браконейской девы, и было малое, одетое решеткой окно. После полудня ложилась на стене тень от решетки, поступью неспешной шла все выше, и в час, когда река раскрывала солнцу лоно свое, останавливалась тень на сводах и гасла, и внизу, на девственной одежде стены, проступало багряное, как от крови, пятно. И, снедаемый неведомым горением, приближался инок Еразм к стене и осязал багряное пятно, как бы ожидая нежной кровью окрасить персты. Но наутро, как прежде, сияла стена цветом невинности, и, входя в келию, тайно радовался старец Памва, что даже самый вид стены должен убелять помыслы юного инок, и

радовался, видя, с каким тщанием и искусством прилежит он к великому и божественному делу писания икон.

В то время случилось блаженному Памве исцелить некую знатную жену — именем Мария, — власть над нею имел бес, толкавший ее к неудержному и насытому любодеянию. И, всего лишь трижды коснувшись перстом ее палимого блудным пламенем естества, насытил ее покоем блаженный старец и освободил от власти бесовской. Было же имя той жены в честь преподобной Марии Египетской, и сказала жена, исцелев, старцу:

— Молю тебя, отче, если имеешь кого, искусного в писании икон, повели ему написать житие преподобной Марии и страстные муки ее и изящные деяния в пустыне египетской. По написании же я, заключив себя в келии, со слезами буду взирать на образ жития преподобной и потщусь идти по стопам ее.

Блаженный Памва в тот же день призвал Еразма и спросил его, сказав:

— Знаешь ли ты страстное житие преподобной Марии Египетской?

Еразм же ответил:

— Прости, отче, не знаю.

И дал ему старец разогнутую книгу Четий-Миней и указал читать житие преподобной. И читал Еразм весь день, оставив нетронутой пищу. Вот уже вечер, погасла на сводах келии тень от решетки. Зажег лампаду Еразм и вновь читал, как прекрасная телом дева сетью красоты влекла юношей и мужей александрийских на ложе свое, и как на буруеваемом волнами корабле опаляла всех несатым огнем страсти своей, и как, заточив себя в пустыне, снедаемая жаждой смещения, взывала о помощи к небесному жениху.

И этот последний ее лик — в пустыне, с очами, задернутыми легкой мглой, какая повисает над палимой неистовым зноем далью, с устами, разверзшимися, как иссохшая без дождей земля, — этот лик преподобной написал Еразм в середине образа. У ног ее — желтый песок и травы и цветы, сожженные зноем, истекающим от солнца или от тела преподобной, скрытого под тонкой белой одеждой.

И не слышал Еразм, как в клеть к нему вошел старец Памва и стал за плечами его, как бы ангел-хранитель

Долго смотрел блаженный старец на образ преподобной и сказал Еразму:

— Похвально рачение твое, и вижу на тебе печать дара Божия («Точно ли Божия?» — помыслил про себя старец). Но есть еще несовершенство в писании твоём: прекрасен лик у преподобной жены, но под хитоном ее вижу я тело не жены, а мужа, ибо еще юн ты и еще должен увидеть тайны созданной Господом из ребра Адамова.

Так сказав, вышел старец: уже проступала вечерняя кровь на непорочно-белой одежде стены, и чугунное било звало братию в храм. Еразм же разрешен был старцем от церковной молитвы и остался в келии один. Опечаленный, пал Еразм перед образом и жарко молился, вопия:

— Умилосердись, преподобная, научи меня познать честное тело твое, дабы мог я достойно прославить тебя.

Но здесь услышал он сзади тихий, едва слышимый смех. Обратившись, изумленный, искал он, кто мог войти в келию, — и увидел лишь на решетке окна двух играющих голубей. В тот же час вспомнил Еразм голубей на могильном кресте в день пришествия своего в обитель, осенил себя крестом — и голуби растаяли в розовом небе. Но вновь услышал тот же смех, уже более близко и явственный.

И тогда, возле освещенной солнцем стены, как бы вышедшую из стены, узрел инок Еразм неведомую деву. Была она в белой одежде, но на белом там и здесь цвело розовое, как на стене от солнца, пятно.

— Кто ты? — спросил инок Еразм, удерживая руками сердце, содрогающееся от страха и иного, неведомого, трепета.

— Имя мне — Мария, — отвечала дева. — Я жила в Египте. И вот по молитве твоей я послана к тебе.

Пораженный чудесным знамением, Еразм упустил даже вновь осенить себя крестом, но тотчас, припав, стал лобызать одежду явившейся девы.

И ощутил запах — неведомый, но как бы всегда живший в его сердце до того часа. И все взыграло в Еразме и устремилось неудержимо к преподобной деве, как неудержимо восстает к солнцу напряженное весенним соком стеблие трав. Устыженный, отошел Еразм и, опустив глаза, тщился оправить свою одежду так, чтобы не узрела святая дева волнения его.

Но дева назвала его по имени, — голос ее прогнозил

сердце Еразма, как некий сладостный меч, — и так сказала Еразму:

— Почто, неразумный юноша, смущается сердце твое? Приблизься. Ужели забыл ты наставления учителя твоего Памвы и забыл, зачем я на краткий срок послана тебе?

Тогда Еразм, преступив свое смущение, приблизился к деве, с трепетом развязал ей пояс и отстегнул заповязку сверху. До половины спал с нее белый хитон, и предстала перед Еразмом неведомая ему дотоле тайна персей. Были они как две волны, чудесным велением Божиим высоко восставшие на спокойном море, а оседающее за край земной солнце на острых вершинах тех волн загло алые пламена. И радуясь уведанной премудрости творца, Еразм, следуя наставлению старца Памвы, стал со тщанием изучать открывшееся. Подобно апостолу неверному Фоме, он не верил зрению только, но погружал свои персты в нежные и прохладные волны и всякий раз все глубже ощущал в сердце своем сладостный меч, и как бы в некой блаженной смерти истекает из него жизнь.

— Но еще не все ты познал, — сказала, улыбаясь, дева. — Спешь же, ибо лишь на краткий срок я послана к тебе.

И, весь трепеща в предчувствии тайны еще прекраснейшей и нежнейшей, юный инок отстегнул нижний заповязку. Но в тот час, когда готова была уже последняя тайна предстать перед ним, услышал он легкий, как бы от лопнувшего сосуда, звон, и дева бесследно исчезла. А в дверях келии увидел Еразм блаженного Памву. Был он гневен, и седые брови его были распростерты, подобно воскрылию, и весь он был как грозная, летящая на защиту птенцов своих птица. И громким голосом спросил Памва, сказав:

— Что делал ты, безумный? И кто был с тобой?

И, не таясь, все рассказал Еразм мудрому старцу: как со слезами молился он, чтобы преподобная дала познать ему тело жены, да прославит он достойно ее честное тело, и как по молитве явилась ему она, и как узнал он все, кроме лишь некой последней тайны.

Немало смущен был блаженный Памва тем, что поведал Еразм, ибо не имел старец твердой веры, что от Бога было видение это Еразму, а не от беса. И мудро сказал Еразму:

— Возблагодари пославшего тебе помощь в труде твоём для прославления преподобной. Но помни: ту, послед

нюю тайну — нелеть иноку знать, и тебе в художестве твоём тайна та не нужна. Иди же и спи с миром.

Но не мирен был сон Еразма, было его ложе — из углей, и до утра ощущал он неумиримое, непреклонное устремление к той, последней тайне, и до утра погружал он персты в жемчужные, чудом восставшие на спокойном море волны. А наутро, сотворив обычное иноческое метание перед старцем, омыл он кисти и, трепетно вспоминая открывшееся вчера, приступил к исправлению того, что было указано наставником его в художестве — блаженным Памвой.

Вскоре окончен был образ. Со вниманием осмотрел его блаженный старец и увидел, что теперь преподобная не только ликом, но и телом была женою из жен, и даже помнилось старцу, что сквозь облачно-белые ее одежды тлеют остриями легчайшего пламени перси. Но о том не сказал Еразму, помыслив про себя, что лишь видит он, как обычно, сквозь одежды женские, как если бы были они из стекла. И, взмахнув воскрылием бровей, благословил Еразма, сказав:

— Вижу, горением к преподобной полон дух твой. Не гаси же горения того, пока не кончишь писания образа.

Но, если бы даже и хотел, уже не мог Еразм погасить в себе горения того. Старец же Памва по сих словах оставил обитель, призванный к одру недугующего князя той страны. Выходя из врат, еще раз оглянулся блаженный старец на золотые среди зелени главы храма и увидел: повисши на ветвях древних схимниц-лип, гроздьями качаются басы, как отроившиеся пчелы. И содрогнулся старец от темного предчувствия новых и небывалых бесовских козней, но выйти из воли князя не мог.

В отсутствие Памвы пищу Еразму приносил большой хлебенный старец именем Сампсон. Был он, как древний Сампсон, велик и мощен телом во всем до последнего, и не было у него растения волос ни на голове, ни на лице и нигде на теле, отчего был он как бы дважды наг, и по повелению Памвы, даже в летнюю пору, носил он на себе не менее трех одежд. А от вида женского, хотя бы и не в естестве, но лишь в изображении, бывал он буен без меры. И опасаясь того безмерного буйства, Еразм принимал от хлебеного старца пищу сквозь дверное отверстие.

С утра весь тот день пламень источался от солнца; от

суши великой вдали, за озером, горели травы и леса. И как бы вместе с травами изгорал, не стора, Еразм, и на гладком кипарисовом древе возникали огненные образы страстного жития преподобной.

Двери в храмину, и у дверей тех — длинная череда юношей и мужей александрийских, с почерневшими от жажды лобзаний устами — как бы череда воинов, уже подъявших закаленное огнем оружие и ждущих ринуться на врага, чтобы насмерть пронзить его тем оружием. И ниже, в золотом обрамлении — самая храмина, бедная и белая, ибо в бедности жила преподобная и не взимала мзды за красоту тела своего. В храмине — убогое и роскошное ложе из трав, а на зеленом ясписе трав — золотой плод: нагота преподобной, и жалят взор четыре расцветших алыми чашами цветка. Но тайну уст и персей, по сказанному, уже знал Еразм; четвертой же, последней тайны не ведал еще юный инок и не из двух, но из трех алых лепестков сложил он эту последнюю тайну, отчего для взиравшего была она еще губительней и необоримей. И в новом обрамлении из красного золота цвели те цветы на обуянном бурями корабле, и корабельщики, забыв о волнах морских, вздымались и падали на иных, огненных волнах. И далее, в опаленной, соломенно-желтой пустыне преподобный Зосима встречал Марию и, в страхе совлекши с себя одежду, бросал ей, дабы не погибнуть, увидев прелесть наготы ее, но ветром пустынным уносило одежду, и стоял Зосима, прискорбно опустив глаза долу на разжение свое. И так, до самого блаженного преставления преподобной Марии, написал Еразм все ее страстное житие.

Был напитанный солнечной кровью закатный час, когда он кончил все. В тот час, как обычно, хлебный старец Сампсон принес Еразму вечернюю трапезу. И, восторгнутый от всех мыслей и опасений ежедневных, изскал Еразм к старцу, сказав:

— Велик час скончания пути! Войди, брат Сампсон, и скажи мне, как видишь.

— Опасно мне, брат, — отвечал Сампсон сквозь дверное отверстие.

— Войди, говорю тебе, — с нетерпением и гневом сказал Еразм.

И, чтобы не вводить в гнев брата своего, вошел Сампсон. И, увидев, покачнулся на ногах, как если бы обремен-

ны были ноги его некой внезапной тяжестью, и, взревев яростно, пал ниц и сверлил холодный земляной пол келий. В страхе взял Еразм сосуд с принесенной ему старцем водой и вылил ту воду на неистового Сампсона. Тогда встал Сампсон, разодрал на себе одежду и, дважды нагой, воскликнул:

— Горе мне, окаянному! Вотще сила моя исходит!

И, пробив келейную дверь, вышел вон. И настала ночь, страшная происшествиями и знаменами. Среди дымной тьмы, освещая себе путь восковыми свечами, бегали иноки, напиваясь на могильные кресты. В дальнем углу, за хлебным подвалом, открывалось и вновь закрывалось огненное окно: там ковали хлебного старца Сампсона в цепи, дабы не повредил он деревьев и утвари и строений обительских, ибо мог он силою своею прободать все. А несколько выше кровель, там, где некогда повисла показанная Памвой туча, всю ночь слышался легкий, как бы от щекотания, смех и скрип некий, и капала вниз ужасная, подобная черной смоле, роса.

Встало солнце, багровое сквозь дым, и увидели: в ночь, неким чудесным изволением, расцвели все деревья и травы, широко отверзая алые и розовые, как тело, и белые, как жемчуг, чаши и источая прелестные благоухания. И повсюду — на деревьях, и в чашах цветов, и на крестах могильных, и на решетках окон, и в сосудах для питья, и на плечах иноков, — повсюду видны были акриды, с крыльями как бы из небесной радуги, и трепетали крыльями, соединившись попарно.

Не слыша обычного заутреннего била, но вместо того — смятение и вопль, вышел Еразм к братии и сказал:

— Что мятетесь, братие? Не бойтесь, но возьмите из келии моей образ чудесно явившейся мне преподобной, и она, верую, исцелит вас.

И, сказав так, вновь затворился Еразм в своей келии, помня послушание, положенное на него старцем Памвою. Братия же, по слову Еразма, взяла написанный им образ Марии Египетской в житии и, водрузив образ перед воротами обители, построила над ним сень из цветов. Но лишь начали молебное пение и с надеждою вознесли свои взоры на образ, как явственно увидели пламенеющие на распростертом золотом теле четыре алых цветка — и последний четвертый, волею и неведением Еразма сложенный не из

двух, но из трех лепестков. И внезапно обуял всех огонь страстный, и были все, юные иноки и равно древние старцы, как те мужи александрийские у дверей храмины, ждущие войти к преподобной.

И в тот же час оставленный без стражи Сампсон порвал крепкие цепи и, прободав все на пути, явился пред братией, дерзновенно, на глас четвертый, исповедуя жажду смещения. Вратарь же, услышав как бы молитвенное песнопение, открыл врата многим чаявшим войти в обитель женам и девам и мужам мирским. И все вошли, и на травах, на чистейших доселе плитах во дворе обители, на ступенях келий, под сенью расцветших за ночь кустов — всюду началось неслыханное. И, как ночью, вновь слышен был на высоте кровель смех как бы от щекотания и скрип и шепот.

Но лишь один, возвратившийся от князя той страны, старец Памва видел над обителью тучи веселящихся и скачущих и плещущих крыльями бесов. И более того: никто из одоленных бесами иноков не видел гневного лица старца, ни взмахнувшего, как бич, воскрылия бровей его, и никто не слышал его громких, устыжающих слов.

Тогда уразумел старец, что на малый час победили бесы и что, пока не истребит он бесовского огня в творящем, того не ведая, соблазны юном Еразме, — до того часа будут в обители властвовать бесы.

И вошел старец в свою келию и из своей келии — в келию Еразма. И увидел Еразма — единого в обители без жены возлежащего на ложе своем. Но ланиты его были палимы невидимым огнем, и иссохшими устами пил он от неведомой ему четвертой тайны.

Затворив двери и окна, дабы не смущать сердце свое шепотами и шорохами неистовства, долго молился блаженный Памва. По молитве же сошло на него разумение, и услышал он голос как бы внутри себя, говоривший: «Спусти стрелу, и ослабнет тетива, и уже не будет более смертоносен лук». И сказал себе: «Истинно так». И вновь молился, и предстала пред них являвшаяся Еразму дева, именовавшая себя Марией. Взял старец за руку ту деву и ввел ее в келию Еразма и сказал ему так:

— Встань, Еразм. По милости своей вновь является тебе преподобная дева. Возьми же ее и уведай четвертую,

последнюю тайну. Ибо вижу я ныне: изображающему творение — надлежит ведать все тайны творца.

И увидел, как совлек Еразм с нежного тела одежду и, вновь коснувшись трех первых тайн, со стенанием погрузился в последнюю.

И погрузилось солнце в воды озера за обителью, и на невинной белой одежде стены проступило красное, как кровь, пятно. И в то же мгновение опали цветы с деревьев и трав, истлели радужные крылья акрид, истаяли бесы, как воск, и, устыженная, во тьме разошлась братия по келиям. Блаженный же Памва вышел во двор обительский и, благословив, отпустил изнеможенных жен и дев, сказав им:

— Идите с миром, ибо ничто в мире не творится без изволения творца, даже и грех, и все ко благу.

С того дня как бы отпали от Еразма невидимые бесовские цветы, и исцелел он от бывшего в нем одержания. Безбоязненно отпустил его старец Памва жить с братией, и когда читал во храме Еразм — не было уже соблазна от чтения его, когда писал он лики святых — то писал, как все, во славу Божию, а не диавольскую. Память же о темных соблазнах бесовских, о страшных знамениях и необычайных происшествиях молитвою блаженного Памвы была истреблена, как весенний снег солнцем.

И лишь я, недостойный схимник Иннокентий, с благословения мудрого старца, записал все к назиданию и руководству игуменов нашей обители. Простым же инокам не дозволено чтение сей записи.

1920

Итак, мы видим, что в конце концов Еразм, изображающий творение, достиг тайны творца, и, коснувшись трех первых тайн, со стенанием погрузился в последнюю. И погрузилось солнце в воды озера за обителью, и на невинной белой одежде стены проступило красное, как кровь, пятно. И в то же мгновение опали цветы с деревьев и трав, истлели радужные крылья акрид, истаяли бесы, как воск, и, устыженная, во тьме разошлась братия по келиям. Блаженный же Памва вышел во двор обительский и, благословив, отпустил изнеможенных жен и дев, сказав им: — Идите с миром, ибо ничто в мире не творится без изволения творца, даже и грех, и все ко благу.

Итак, мы видим, что в конце концов Еразм, изображающий творение, достиг тайны творца, и, коснувшись трех первых тайн, со стенанием погрузился в последнюю. И погрузилось солнце в воды озера за обителью, и на невинной белой одежде стены проступило красное, как кровь, пятно. И в то же мгновение опали цветы с деревьев и трав, истлели радужные крылья акрид, истаяли бесы, как воск, и, устыженная, во тьме разошлась братия по келиям. Блаженный же Памва вышел во двор обительский и, благословив, отпустил изнеможенных жен и дев, сказав им: — Идите с миром, ибо ничто в мире не творится без изволения творца, даже и грех, и все ко благу.

**О чуде, происшедшем
в Пепельную Среду, а также о канонике
Симплиции и о докторе Войчке,
потому что это чудо случилось именно
с каноником Симплицием, а доктор
Войчек был единственным в мире
человеком, какому суждено было видеть
все это с начала до конца**

И поверить в то, что чудо было когда-то,

с кем-то, — я бы еще мог, и вы могли бы; но что это теперь, вчера, с вами — вот именно с вами — подумайте только! И потому, когда вечерами доктор Войчек приходил к канонику и они садились за домино, каноник всякий раз спрашивал робко:

— А все-таки... все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах? Может быть, такие случаи бывали — хотя бы в древности?

Доктор Войчек щурил свои зеленые козьи глаза, рот его полз, пугая улыбкой Симплиция. Так минуту, две. Затем Войчек крутил по привычке на лбу свои рыжие волосы — вот справа и слева торчат уже рыжие рожки — Войчек разводил руками:

— Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо. Я бы и сам хотел — не меньше, чем вы, — чтобы это как-нибудь все... Но как же, если я своими глазами видел — больше: осязал вот этими самыми руками... Да что там! Н-ну, а как ваш...

Каноник Симплиций знал — о чем дальше, секунду он был дичью на вертеле над медленным огнем — доктор медленно закуривал папиросу.

— ...как же ваш архиепископ? Здоров?

— Благодарю вас, благодарю вас. Я был у него вчера — он чувствует себя прекрасно.

Об особом благоволении к канонику архиепископа Бенедикта знали многие, и никто этому не удивлялся: чье сердце не раскрылось бы настежь, если бы туда постучались глаза каноника Симплиция — эти два младенца, удивленно засунувшие в рот свои пальчики? Или нет — может быть, даже не это: может быть, главное — ямочки у каноника на щеках, да, наверное так. А архиепископ Бенедикт... что ж: в конце концов, и он — человек.

Очень серьезно, разве только чуть пошевеливая рога-той улыбкой, доктор Войчек говорил:

— Дорогой мой, если вас смущает мысль о будущей жизни, о возмездии и о прочем — что понятно, — то я могу вас успокоить: это будет во всяком случае не скоро. Есть вернейший способ продлить жизнь до любого срока.

— То есть как?

— А так. Вы помните: архиепископ рассказывал, что, когда он приехал в Рим, — ему пришлось перевести стрелки на своем брегете больше чем на час назад — лишний час жизни, понимаете? Если вы приедете в Лондон — вы прибавите к жизни уже два часа, в Нью-Йорк — целых шесть часов, и так далее. Словом, если вы будете все время ехать отсюда к западу, вы будете прибавлять к своей жизни дни, недели, годы — вообще сколько захотите. Вернейший способ!

Ямочки; младенцы, удивленно засунувшие розовые пальчики в рот. Да, странно, но как будто — так. Цифры: что же тут скажешь. А главное, каноник Симплиций уже привык к этому: каждый вечер, уходя, доктор Войчек оставлял в голове у каноника такой вот гвоздь, каноник ворочался в постели, думал, думал, поворачивал гвоздь и этак и так: нет, Войчек — прав, Войчек — ума необычайного. И конечно, к кому же, как не к доктору Войчеку, было обратиться, когда с каноником началось это.

Началось это первого августа, во время мессы, в день вериг апостола Петра. За неделю до того каноник был у архиепископа Бенедикта. Только что вернувшийся из Рима архиепископ был особенно ласков: угощал колючим асти, медленным, густым напитком братьев бенедиктинцев,

розовой, как младенец, римской лангустой. Обо всем этом и о многом другом каноник рассказывал потом доктору Войчеку, ничего не скрывая — как на исповеди, хотя, может быть, происходившее в этот вечер у архиепископа никакого отношения ко всему дальнейшему не имело. Во всяком случае, в день вериг апостола Петра во время мессы каноник Симплиций в первый раз почувствовал, что он, кажется, болен: кружится голова, в животе какая-то тяжесть.

День первого августа был желтый, жаркий, народу много, густой и трудный воздух. Когда каноник поднял сверкающую золотыми лучами гостию и произнес: *Corpus Domini Nostri custodiat...* — он увидел, что какой-то женщине дурно, ее ведут к дверям. И в ту же секунду у него самого каменный пол под ногами стал мягкий, ватный, орган — где-то за тысячу верст, в глазах — паутина. Только до крови закусив себе губы, каноник удержался от того, чтобы не упасть, как эта женщина, и довел до конца мессу.

* * *

Как янтарные четки — дни: одинаковые, прозрачные, желтые. И четки из холодного осеннего хрусталя, четки из снежно-белой слоновой кости. Все та же тяжесть — теперь уже привычная, и внутри — легкая, пожалуй, даже приятная боль. В остальном каноник был здоров, ему говорили даже, что он полнеет.

Однажды вечером, за домино, доктор Войчек пристальней, чем всегда, вщурился в каноника своими зелеными козьими глазами:

— А знаете, дорогой мой, мне не нравится ваш вид. Вы бледны. В чем дело?

Каноник рассказал — о мессе, о том, как ему стало дурно, об этой боли в животе.

— Разденьтесь-ка. Да раздевайтесь же, говорю вам! Подумаешь, целомудрие! Небось, когда ваш архиепископ...

— Нет, нет — я сейчас, сию минуту.

И — тело: в спальнях у женщин такие бывают кресла, обитые розовым шелком, с теплыми ямочками, складочками, живые — может быть, иногда даже заменяющие сво-

их хозяек. Доктор Войчек острее закрутил свои рыжие рожки, пополз к ушам улыбкой. Но через минуту — серьезен, нагнулся, приложил ухо к обитому розовым шелком телу, пощупал живот.

— Та-ак... Слушайте: чего ж вы до сих пор молчали?

— Да я как-то... Мне говорили, что я даже пополнел. А что?

— А то: придется вас резать.

Ямочки; младенцы, испуганно засунувшие пальчики в рот.

— Но почему же? Что у меня такое... ради Девы Марии!

— Боюсь, что... Впрочем, вот взрежем — тогда скажу.

— Нет, доктор: что-нибудь серьезное?

— Как сказать: когда вспухнет живот у бабы — это дело не серьезное, а когда у нас с вами — тут уж не до шуток... Вот что: это у вас давно?

Каноник вспомнил: да, с августа — день вериг апостола Петра — архиепископ Бенедикт вернулся из Рима — ну и... вот тогда же, вскоре.

Доктор Войчек чуть-чуть шевельнул рожками, улыбкой.

— Так, так... Ну что ж? — сегодня у нас понедельник? — в среду приезжайте ко мне в госпиталь.

И вот — среда, та самая Пепельная Среда, постом на первой неделе, когда все это произошло. Февральский день, в еще зимнем небе — яркие синие окна, ветер, все летит. Комната — тихая, с жутко-белыми стенами, дверями, скамьями — как будто уже не здесь, на земле, где все пестро, шумно, где всегда перепутано черное и белое. В белой комнате каноник Симплиций, замирая, ждал — рядом с какой-то женщиной, похожей на паука: огромный под серым ситцем живот — и кругом живота все остальное — руки, ноги, голова, белые глазки.

Долго сидели молча, каждый о своем. Потом женщина-паук выпростала из живота ногу, каноник увидел расплющенный ботинок, мотается ушко. Женщина туго, кругло вздохнула животом, на живот, как на что-то ей постороннее — как на стол — положила одну из многочисленных рук.

— Вот, рожаю третий раз — и каждый раз режут... Ма-

терь Божия! Зарежут — как без меня будут Стась, и Янек, и Франц? А вы — тоже к доктору?

— Да, я тоже к доктору Войчеку.

— Вам — что! А я как подумаю: самой старшей — восемь лет... Хорошо еще, у пана доктора милостивое сердце, не берет с меня денег.

Кто знает: может, скоро канонику Симплицию вместе с этой женщиной сидеть уже не здесь, в белой комнате, а в каких-то иных огромных и тихих покоях, там ждать часа, еще более страшного, — и хорошо, если тогда женщина скажет о нем доброе слово... Каноник Симплиций вынул кошелек, высыпал все, что там было, и отдал женщине. И в тот самый момент, когда она засовывала все это в свой огромный, тугой живот, — вошел доктор Войчек, прищурился, пополз на каноника, пугая улыбкой.

— Что, запасаетесь в дорогу добрыми делами? Считаете грехи? Ничего, ничего, дорогой мой: через три недели вы уже опять можете идти к епископу есть лангусты. Ну...

Дальше — белизна, сталь, стол, дрожь. Издалека с земли — огромный голос доктора Войчека:

— Считайте вслух: раз-два-три... Ну? Слышите? И нет уже языка, тела — нет ничего, конец...

* * *

Но для каноника Симплиция — это было только начало; концом это было для той паучьей женщины: она лежала, прикрытая белым, тихая, ее рыжие ботинки были завязаны в узелке вместе с платьем, на узелке — приколотая записка, а в одной из белых комнат кричал красный ребенок с громадным, мудрым лбом.

Каноник Симплиций расклеил веки: над ним — рожки, прищуренные козьи глаза, но все же этот демон — несомненно, доктор Войчек, и каноник — явно еще здесь, на земле...

— А она — та женщина, с которой мы вместе... — больше у каноника не было голоса, не было сил, но доктор Войчек понял, закрутил свои рожки так, что самому стало больно.

— Вам, дорогой мой, повезло больше, чем ей: она уже докладывает, кому следует, о ваших добрых делах.

И тотчас же сзади каноника — какой-то жалобный, странный писк. Каноник хотел повернуться, доктор Войчек сердито крикнул:

— Да вы с ума сошли! Лежите! — Шагнул куда-то и через минуту вышел на белую середину с подобранными ногами к животу, скорченным младенцем — у младенца был громадный лоб.

Каноник Симплиций — на доктора Войчека, на младенца — все круглее, все шире.

— Это... это зачем... откуда?

Доктор Войчек долго молчал, вщуриваясь своими козыими глазами в каноника Симплиция — все глубже, на самое дно. Вдруг пополз улыбкой, путая, — чему он улыбался, неизвестно. И наконец сказал — очень серьезно:

— Все равно — раньше или позже придется: уж лучше сейчас. Этот ребенок — ваш.

Застывшие ямочки; младенцы с испуганно раскрытым ртом.

— Вы хотите сказать... То есть как — мой?

— Так — ваш.

— Но ведь я же... Пресвятая Дева! — ведь я же все-таки мужчина!

— Дорогой мой, я знаю это не хуже, чем вы, — и тем не менее... Вы же понимаете: мне, врачу, поверить в чудо — а я не могу это назвать иначе, как чудом, — гораздо труднее, чем вам, священнику, и все же я — ничего не поделаешь! — верю. Примите это как испытание — и как особую милость к вам неба.

— Но, доктор, ведь это же... ведь это невероятно!

— А воскрешение мертвых — вероятно? Или вы скажете, что не верите в это?

— Нет, нет — я верю... Но почему именно я, — я?

— Быть может, в наказание за какие-нибудь ваши грехи — откуда я знаю? Может быть, потому, что небо избирает своим орудием простые сердца, а вы, к счастью, просты сердцем — как младенец. Ну, успокойтесь, успокойтесь, вам вредно... Это — сын, мальчик.

Что ж иного оставалось канонику Симплицию, когда даже доктор Войчек — сам Войчек! — поверил в чудо? Каноник принял это и нес так же покорно, как апостол Петр свои вериги. Ему казалось даже, что он знает, за что небо

так наказало и наградило его. Только иногда вечерами, когда они садились с доктором за домино, каноник спрашивал робко:

— А все-таки... все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах?

Но ответ всегда был один и тот же:

— Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо.

Доктор Войчек свято хранил тайну чуда, происшедшего с каноником Симплицием в Пепельную Среду. Он рассказывал многим, что каноник по доброте взял на воспитание сына одной умершей бедной женщины — и слава каноника росла, и рос мальчик Феликс. Когда Феликс называл каноника «папой», каноник становился нежно, шелково розовым.

— Не называй меня так, Феликс. Я не папа тебе.

Мальчик морщил свой большой, умный лоб, молчал, спрашивал:

— А мама? Кто моя мама?

Каноник — еще шелковей, розовее:

— Это тайна. Я открою ее тебе только в тот день, когда навеки закрою глаза.

Этот день, по воле судьбы, был тоже в феврале, как и та самая Пепельная Среда, и такие же облака, ветер, в зимнем еще небе — ярко-синие окна. На стенке перед каноником медленно и невероятно быстро летел темный крест — тень от рамы. Ухватившись крепко за этот крест, каноник Симплиций стиснул зубы и кивнул Феликсу:

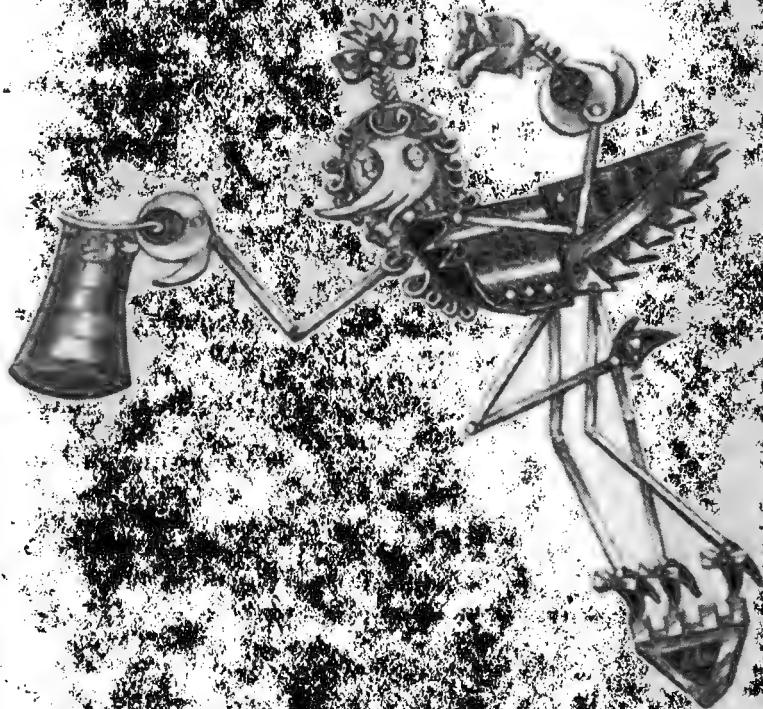
— Теперь, Феликс... Нет, доктор, не уходите: все равно, вы знаете это, и вы подтвердите ему, что это было именно так. Ты, вероятно, думал, Феликс, что я — твой отец. Так вот: я — твоя мать, а твой отец — покойный архиепископ Бенедикт.

Каноник последний раз увидел: огромный, как у архиепископа, лоб Феликса, рыжие рожки доктора, что-то светлое — как слезы — в его козьих глазах, и, как это ни странно, канонику показалось, что доктор Войчек сквозь слезы смеется. Впрочем, все это смутно, издали, сквозь сон: младенец уже засыпал.



Блоха

игра
в четырех
действиях





Пояснение

«Блоха» — опыт воссоздания русской народной комедии. Как и всякий народный театр — это, конечно, театр не реалистический, а условный от начала до конца, это — игра. Наиболее полно эта условность выражена в трех ведущих персонажах — ХАЛДЕЯХ. Халдеи пришли в «Блоху» одновременно и из старинного русского «действия», и из итальянской импровизационной комедии. Их русские предки — скоморохи, Петрушка, масленичный балаганный дед, медвежий жока; их итальянские родичи — Бригелла, Панталоне, Капитан, Пульчинелла, Труфальдино. На протяжении игры каждый из халдеев применяет несколько масок — несколько ролей.

Самое слово «халдей» — название старорусских комедиантов. Адам Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» пишет о них: «Они получали от патриарха разрешение в течение восьми дней перед Рождеством и вплоть до Крещения бегать по улицам... Одеты они были как во время масленичного ряжения — на головах у них были деревянные размалеванные шляпы, а бороды были вымазаны медом, чтобы не загорались от огня, который они разбрасывали». В «Блохе» халдеи ведут всю игру и где надо — веселой выходкой поджигают и зрителей, и актеров.

Тематическим материалом для построения «Блохи» послужил бродячий народный сказ о туляках и блохе — и прекрасный рассказ Н.С. Лескова «Левша», представляющий собою литературную обработку народного сказа. Идея театрализовать этот материал возникла у А. Дикого, режиссера Московского художественного театра 2-го, — для этого театра и была написана «Блоха».

В печатаемом ниже тексте «Блохи» учтен опыт сценической проработки пьесы в двух театрах — МХАТ 2-м и Ле-

нинградском Большом драматическом; в частности, некоторые черты в образах Платова и 1-го Халдея связаны с исполнением этих ролей актерами МХАТ 2-го — А. Диким и В. Готовцевым.

Первое представление «Блохи» в МХАТ 2-м состоялось 11 февраля 1925 года. Первое представление «Блохи» в Ленинграде в Большом драматическом театре было 25 ноября 1926 года. Для обеих постановок — декорации и костюмы по эскизам Б.М. Кустодиева.

Л И Ц А

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ХАЛДЕИ — трое, один из них девка
ДОНСКОЙ КАЗАК ПЛАТОВ

ЦАРЬ

МИНИСТР ГРАФ КИСЕЛЬВРОДЕ

ГОЛЛАНДСКИЙ ЛЕКАРЬ-АПТЕКАРЬ — 1-й ХАЛДЕЙ

ЦАРСКИЙ СКОРОХОД-КУРЬЕР — 2-й ХАЛДЕЙ

ФРЕЙЛИНА МАЛАФЕВНА — ХАЛДЕЙКА

ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНИК ЛЕВША

ОРУЖЕЙНИК СИЛУЯН

ОРУЖЕЙНИК-СТАРИК ЕГУПЫЧ

РАЁШНИК — 1-й ХАЛДЕЙ

ТУЛЬСКИЙ КУПЕЦ — 2-й ХАЛДЕЙ

ТУЛЬСКАЯ ДЕВКА МАШКА — ХАЛДЕЙКА

АГЛИЦКИЙ ПОЛШКИПЕР

АГЛИЦКИЙ ПОЛОВОЙ, ЧЕРНОРОЖИЙ

АГЛИЦКИЙ ХИМИК-МЕХАНИК — 1-й ХАЛДЕЙ

САМОЛУЧШИЙ АГЛИЦКИЙ МАСТЕР — 2-й ХАЛДЕЙ

АГЛИЦКАЯ ДЕВКА МЕРЯ — ХАЛДЕЙКА

СВИСТОВЫЕ КАЗАКИ ПЛАТОВА

ЦАРСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ

ОКОЛОДОЧНЫЙ

ЯМЩИК

ДВОРНИК

ГОРODOVЫЕ

ТУЛЯКИ

МОРСКОЙ ВОДОГЛАЗ, ОН ЖЕ ЧЕРТ МУРИН

Первый театральный занавес поднят. За ним просцениум и второй — балаганный, яркий занавес; этот занавес еще опущен.

На просцениум выходит 1 - й Халдей.

1 - й Халдей. Дорогие жители! Дозвольте вам представить мою краткую биографию из жизни, что я есть древнего халдейского происхождения — российского рождения. Папашу моего я не видал в глаза, а должность его была называемая коза, а именно — представлял штуки с ученым медведем Михайлой. Умные хвалили, дураки хаяли, потому — кроме потехи — кой-кому доставалось на орехи, чего и вам желаю.

А нынче я, ввиду прогрессу, честь имею вам предложить вместо медведя научную блоху, а также прочие были и небылицы про славную петербургскую столицу, про заграничных англичан-чудаков, а также про наших русских туляков! Это будет игра в четырех актах и трех антрактах, при настоящем электрическом освещении и в полном составе моих дорогих товарищей.

Так, например, в следующей персоне вы можете убедиться, что это есть наш знаменитый солист Петя, который играет их императорское велич... то есть вообще, извините, царя. Петя, покажись лично!

Выходит актер — не тот, который на самом деле играет царя.

Из чего вы можете видеть неподражаемое сходство.

А затем, наоборот, распоследний тульский Левша, который, однако, есть первый герой всему. Ваня, покажись!

Выходит «Ваня».

Утрите нос! Благодарю вас!

Теперь мы начинаем. Прошу вас всех проливать смех и

слезы по собственному желанию, но беспорядков при том отнюдь не производить. Эй, музыка!

Музыка. Открывается второй занавес.

Действие первое

Царский дворец. Петербург. Но Петербург — тульский, такой, о каком вечерами на завалинке рассказывает небылицы прохожий странник. Такой же и царский дворец.

На сцене — рота Генералов, друг дружки старше. Из задних песок сыплется. Дворник с метлой замечает песок в угол. Камергерный генерал — с пришитыми к ягодицам золотыми ключами — выстраивает роту, выправляет строй: одному — брюхатому — чтоб не торчало пузо, другому — колченогому — чтоб не гнулись колени, третьему — у которого голова валится — чтоб держал голову женихом.

Министр граф Кисельврде (*аходит, приседая. Поклон публике и Генералам*). Здравствуйте, господа почтеннейшие! Уведомляю вас, что Царь нынче не выспался. Сердитый — ух! так сам себе навстречу и ходит. Беда!

Камергерный генерал (*публике*). Ага, струхнул немчурал!

Кисельврде (*умильно*). Уж вы, миленькие, чего-нибудь ему такое-эдакое придумайте — не то всем нам капут. А уж я уж вам уж... и того, и сего, и этого... как говорится: по первое число... уж это уж будьте спокойны.

Камергерный генерал (*публике*). Ага, струхнул немчурал! куранты!

Слышен шум, грохот.

Кисельврде. Ой, слышите, везут! Ой, везут! Ну, миленькие, с молитвой, по-русски... ну, как это? — выручай, матушка казанская... сирота! (*Крестится*)

На золотом троне, на деревянных колесиках с грохотом ввозят Царя.

Царь (*кисло*). Ну, здрассте, что ли.

Генералы. Здра-жла-ваше-царство!

Царь зевает, почесывается. Все молчат.

Царь (*Генералам — сердито*). Ну, что?

Генералы. Так точно, ваше цар-ство!

Царь. Что так точно? Ну?

Генералы (*переглядываются, подталкивают друг дружку. Потом — один, другой, третий*). Не угодно ли вашему царскому величеству чего сладенького-кисленького покушать? Не угодно ли вашему царскому величеству Удивительных Людей поглядеть, послушать? Не угодно ли вашему царскому величеству...

Царь (*махнул рукой, чтоб замолчали*). Неси. Зови.

Кисельвроде. Неси! Зови! (*Царю.*) Сейчас-сейчас-сейчас, сейчас, сию минуточку!

Генералы бегут на цыпочках, рысят, ковыляют. Несут виноград, яблоко: конечно, у Царя виноградина — с яблоко, а яблоко — с арбуз. Входят трое Удивительных Людей — Халдеев. Царь лениво жует яблоко.

1 - й Халдей (*играет на музыке и поет*).

Дрита-дрита-дрита-дрита,
Как отцу архимандриту
Блошка спать не дает:
Уж она его кусает
Целу ночь напролет.
На царя блоха насела —
Он и взад, и вперед,
Он и так, и сяк, и этак,
А блохи не найдет...

Царь перестает жевать, сердито хмурится. Кисельвроде испуганно дергает поющего, чтоб перестал.

Кисельвроде (*подбегает, приседая*). Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дураки ведь. Как говорится по-русски: дураки законы пишут. (*Халдеям.*) Ну-ка, вы, чего-нибудь этакое повеселее.

1 - й Халдей. Сейчас. (*На виду у публики напяливает очки, бороду.*) А вот я, аглицкий Химик-механик, голландский Лекарь-аптекарь. Объявляю я свои науки, чтоб старики не зевали от скуки: стариков молодыми в печи переправляю и при этом мозгов совсем не повреждаю. Со всех стран ко мне приезжайте, мои науки прославляйте! Эй, Малафевна!

Царь. А ну-ка, ну-ка?

3-й Халдей скидывает с себя верхнее и оказывается старухой — Малафевной. 2-й Халдей на тачке подвозит ее к Лекарю.

Малафевна (*подает бумагу*). Вот, пожалте, пачпорт: мне от роду — сто годов без году. Не желаю старухой оставаться, а желаю с молодыми целоваться.

Лекарь-аптекарь. Лезь в печь, Малафевна. Ну, господи Исусе, вперед не суйся, назади не оставайся, в середке не болтайся!

Старуха лезет в печь. Лекарь свистит в два пальца — старуха выходит из-за печи молодой, ражей девкой, целует одного Генерала, другого, хватает третьего и пускается с ним в пляс. Генералы кашляют, отбиваются.

Царь. Ах, ах, ах! (*Хлопает себя руками по бокам, смеется*.) Ну чтоб вам лопнуть — веселый вы народ, действительно!

Лекарь-аптекарь. Так точно — голосом пляшем, ногами поем, с воды пьяны живем, с квасу бесимся.

Царь. Ну что ж, Удивительные Люди, чем еще удивить можете?

Лекарь-аптекарь. А вот, дай срок — удивим.

Шепчет 2-му Халдею, тот уходит из палат наружу и там, на виду у публики, быстро переодевается Курьером. Царь жует. Кисельвроде стоит, ковыряет в носу.

Царь (*строго*). Граф Кисельвроде, сколько раз вам говорено, чтоб официально не ковырять в носу!

Кисельвроде. Я... я... я это так только, для мощио-ну...

2-й Халдей — Скороход-курьер стучит снаружи.

Царь. Кого еще нелегкая принесла? (*К Кисельвроде*.) Граф, сбегай, отопр.

Кисельвроде, приседая, бежит, отпирает. Входит Скороход-курьер. Лекарь-аптекарь подмигивает ему.

Кто такой?

Скороход-курьер. Вашего величества Скороход-курьер, здравия желаю! Из Англии только сейчас при-был — еще горяченький.

Царь. А! Ну, здравствуй, что ли. Поди, поди сюда поближе.

Скороход-курьер подходит.

Что же это у тебя циферблат-то разнесло эдак?

Скороход-курьер. Это я так, значит, по морю плыл, то у меня от водного колтыхания морская свинка издалась.

Царь. А ну, дыхни! Поближе, поближе. Дыхни-ка... Как из бочки! Хорош!

Скороход-курьер. Так точно, ваше цар-ство!

Царь. Ну что же: с добром или с худом явился?

Скороход-курьер. Уж так худо — хуже бы, да некуда. Захвастали англичане — ну прямо не продыхнешь. У вас-де, говорят, ни свету, ни совету, ни толку нету. У вас-де, говорят, лаптем щи хлебают, гвоздем хлеб ковыряют...

Кисельвроде дергает Курьера сзади. Генералы все разом начинают перхать.

Царь. Вы, перхуны, тише! Не ровен час — рассыплесь. (*Курьеру.*) Говори. Да говори всю правду, а то у меня... Знаешь?

Скороход-курьер. Хвастают: ваша-де казна против нашей — тьфу, а ваши-де пушки против наших игрушки.

Царь хмурится.

Кисельвроде. Не расстраивайтесь, ваше царское величество: врет. Это ему со страху попритчилось — как по нашей русской пословице: пуганая ворона на молоко дует.

Царь. Уж ты — русский! Сию минуту казну сюда: вот увидим, врет или нет.

Кисельвроде. Неси казну!

Генералы бегут, ковыляют за казной. С ними уходят 1-й и 2-й Халдеи.

Царь (*Скороходу-курьеру*). Ну, еще что? Говори все равно.

Скороход-курьер. А еще хвастают: ваше-де сукно

против нашего рядно, а вашим-де мастерам аглицкие-немецкие нос утрут.

Царь. Что-о? Аглицкие — нашим? Да ты... да я тебя...

Кисельвроде. Не расстраивайтесь, ваше царское величество: врет, дело ясное. Что немец! По нашей русской пословице: немцев обезьяна выдумала.

Царь. Тебя вот действительно обезьяна выдумала! Открывай-ка сундук лучше, нечего зубы заговаривать.

Кисельвроде открывает сундук с казной. Поддерживаемый под локоток Царь слезает с трона, садится на корточки у сундука, перебирает казну. Сбоку к сундуку пристраиваются несколько Генералов.

(Генералам.) Ну-ка, вы отойдите в сторонку — целее будет! (Вытаскивает шкатулку.) Стой! Это что тут за особенная шкатулка за семью замками? (Вертит, пробует открыть.)

Скороход-курьер (напевает).

Он взад и вперед,
Он и так, и сяк, и эдак...

Царь (протягивает шкатулку Скороходу-курьеру). Отопри-ка, братец.

Скороход-курьер. Это нам раз плюнуть! (Плюнул, открыл, подает Царю.) Пожалте, ваше царство.

Царь вытащил из шкатулки бриллиантовый орех, вертит его, с трудом раскрывает.

Генералы (глядят, вытянув шеи). Раскрыл! — Орех! Бриллиантовый! — Из ореха, из ореха вытряхивает! — На ладошку... — На собственноручную... — Что, что? Бло... Блоха... Гляди, ей-же-ей, блоха! — Блоха, ей-Богу, блоха!

Царь (встает. К Кисельвроде — строго). Это что ж такое? Как же это ты, братец, в казне каких-то блох содержишь? Да и блоха-то дохлая, коченелая. Ну, чего же молчишь? Говори!

Кисельвроде. Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дозвольте, я ее вон выкину.

Царь. Нет, стой, брат: выкинуть успеется. Это не так, это что-нибудь да обозначает. Тут какая-то есть секретная хитрость... (Разглядывает.) Фу-т-ты! Как есть вся личность блошина, блоха! Ну, скажи ты, пожалуйста! Нет,

тут мы не годимся, тут надо кого-нибудь этакого... с мозговой конструкцией... А ну-ка, привести сюда голландского Аптекаря из Аничковской аптеки. Живо!

Кисельвроде (*Генералам*). Привести Аптекаря! (*Втаскивает под руки голландского Лекаря-аптекаря.*)

Лекарь - аптекарь. Батюшка, ваше величество, не буду, прости, помилуй!

Царь. То-то! Милую. А ты за это разгадай, что мы тут за диковину обнаружили. Никто не знает. А ты всевозможную химию произошел — должен знать, что к чему.

Лекарь - аптекарь (*вынимает складной аршин, мерит блоху вдоль и поперек, разглядывает*). Во-первых, это есть называемое животное — извините — блоха, по-нашему, которая сосет кровь, согласно науке, у всякого человека, даже хотя бы у скота — без разницы.

Царь. Ну, этакую премудрость не велика химия знать. Говори дело, а то... знаешь?

Лекарь - аптекарь. Ой, знаю, знаю! (*Зажмурившись, пробует блоху на язык.*) Во-вторых... Гм! Согласно науке — температуре, чувствую на языке холод, как бы от крепкого металла. (*Пробует зубом.*) В-третьих... (*Думает.*)

Царь. Ну?

Лекарь - аптекарь. Как вам будет угодно, а только это не настоящая блоха.

Царь. А что же это, коли не блоха.

Лекарь - аптекарь. А это есть, согласно науке, называемая нимфозория, под видом блохи. И произведена она из настоящей железной стали, а работа эта — не русская, заграничная. А как нынче у нас с заграницей трудновато, то я больше вам на этот счет ничего произъяснить не могу.

Царь. Спасибо. Ступай к себе в аптеку.

Лекарь - аптекарь задом, с поклонами уходит.

Ну, граф Кисельвроде, вот что: если да ты мне сейчас не дознаешь, откуда у меня в казне эта иностранная нимфозория и на какой предмет — кормить тебе блох да тараканов в крепостном каземате.

Кисельвроде. Сейчас, сейчас, сейчас... Знаю! Дозвольте фрейлину Малафевну сюда кликнуть: ей от роду сто годов без году, может, она чего про блоху помнит.

Царь. Ну, ладно, так и быть: зови.

Кисельвроде. Малафевна!

Генералы. Малафевна, Малафевна!

Малафевна (*вскакивает, подходит к Царю, делает книксен*). Здравия желаю, ваше царское величество.

Царь. Ну, здравствуй, что ли. Не знаешь ли чего вот про эту штуку: бриллиантовый орех нашли, а в орехе — блоха?

Малафевна. Глуха? И то, и то, батюшка, глуха! Еще хоть куда, а вот с приглушью стала — это истинно.

Царь (*машет рукой*). Ну! Вот и сквозь печку ее пропустили, а толку чуть. (*Кричит.*) Блоха, говорю тебе, блоха!

Малафевна. Без греха? Верно: кто ж без греха. Я хоть и не первой молодости, а как время к постели — беда: одна ни за что не усну, покамест Василий Иванович под одеяло не влезет. Васька — кот мой ангорский, это я про него...

Царь (*гневается*). Уйди! Уйди с глаз моих долой — увести, чтобы духу ее тут не было!

Малафевну уводят. Царь показывает Генералам перстом на Кисельвроде.

Взять его в каземат без срока!

Генералы подбегают к Кисельвроде.

Кисельвроде (*отбивается*). Ваше... ваше царское... дозвольте.. Ой, сейчас-сейчас-сейчас...

Царь. Ну?

Кисельвроде. Дозвольте в казначейской книге посмотреть — может, там что записано насчет этой государственной блохи.

Царь. Ну, ладно, погляди, так и быть.

Кисельвроде. Неси книгу!

Два Генерала подают громадную книгу.

Сейчас-сейчас-сейчас, сию минуточку! Аз, буки, буки... Вот: «Блохи». Нашел, оно самое.

Царь. Ну, читай, да гляди, а то у меня... знаешь?

Кисельвроде (*читает*). «От блох средство. Для сего надо, отходя ко сну, взять меду наилучшего пчелиного и сказанным медом рачительно простыню обмазать, и тогда к оной простыне все блохи неизбежно прилипнут. Ежели же, паче чаяния, к простыне прилипнет также осо-

ба мужеска или женска пола или оба одновременно, то сим смущаться отнюдь не надобно — напротив того...»

Царь (*стучит кулаком*). Да ты что — со мной шутки шутить вздумал? Так я с тобой пошучу — до новых веников не забудешь! Взять его!

Генералы схватили и ведут Кисельвроде.

Кисельвроде (*отбиваясь, кричит*). Ой, ваше! Ой, царское! Ой, вели! Ой, че! Ой, ство!

В дверях шествие сталкивается с Платовым — Платов, припечатывая сапогами, прет по-военному.

Камергерный генерал. Куда, куда — без доклада? Стой!

Платов (*поднимает страшный кулак*). М-малчаты! (*Мимо остолбеневших Генералов проходит во дворец.*) Так и так: честь имею — к Царю, экстренно. Донской казак Платов.

Царь (*сердито*). Какая такая еще экстра? Не видят: у Царя — делов до сих пор.

Платов. Как, значит, в Петербурге народное волнение, что-де обнаружена неизвестная блоха, то обязаны мы про блоху доложить согласно присяге!

Царь (*Платову*). А, про блоху-у? Это дело другое. А ну, подойди сюда. Кто такой?

Платов. Так и так: донской казак Платов. Здра-жла-ваше-цар-ство!

Царь. Ну, здравствуй, что ли. Чего ж тебе от меня, мужественный старик, надобно? Говори, да поживее — у нас тут дела государственные.

Платов (*гаркает*). Так точно, ваше-цар-ство!

Генералы шарахаются.

Как, значит, я пью-ем, что хочу, и всем доволен, согласно присяге, то нам собственной надобности никакой нету. (*Ест глазами Царя.*)

Царь. А коли без надобности — так чего ж ты?

Платов. Так и так: как, значит, народное волнение, согласно присяге, по причине неизвестной нимфозории в вашего царского величества казне. То я, честь имею, про это государственное дело очень все знаю! (*Ест глазами.*)

Царь. О, неужели знаешь? Ну-ну-ну, докладдай.

П л а т о в. Честь имею: как, значит, мы с вашим папашей по разным Европам ихние диковины ездили смотреть в называемой Англии, город Лондон, жители мужского и женского полу не нашего вероисповедания...

Ц а р ь. Что же ты, по-французски, что ли, умеешь — ездил-то?

П л а т о в *(гаркает)*. Так точно, ваше-цар-ство! По-французски мы этого не можем, как я, человек женатый, согласно присяге, и, стал-быть, нам французские разговоры для единственно зазрения совести, а опричь того...

Ц а р ь. Стой: про блоху говори!

П л а т о в. Так и так: эти ихние англичане вашему папаше разные свои удивления показывали зловредно. Местность, называемая кунсткамера, где ихние витрины и разные прочие изваяния мужского и женского полу, а также эта самая нимфозория под видом стальной блохи... честь имею!

Ц а р ь. Ну-ну-ну-ну?

П л а т о в. И, стал-быть, эта самая блоха изволила вашему папаше понравиться так, что ни взад — ни вперед, и взялись ваш папаша ужасно. Как, значит, ихние англичане, а наша мать — Расея, то обязаны мы, для престол-отечества, согласно присяге.

Ц а р ь. Да знаю, знаю! Про блоху-то говори.

П л а т о в *(гаркает)*. Так точно, про блоху, ваше-царство! И, стал-быть, ваш папаша приказали выдать англичанам приходе-расходно миллион рублей серебряными пятачками. Впоследствии чего ихние англичане эту блоху, конечно, в дар поднесли, а при блохе ключик бесплатный.

Ц а р ь. Ну, скаж-жи ты, пожалуйста! Вот оно что! А ключик-то зачем же? И где он?

П л а т о в. Так и так: дозвоьте бриллиантовый орех мне в собственные руки взять.

Ц а р ь. Бери, сделай милость.

П л а т о в *(берет, показывает Царю)*. И здесь, стал-быть, на благоусмотрение, щелочка — не щелочка, а по-нашему комариная... *(Поперхнулся)*. И в щелочке ключик.

Ц а р ь. Чтой-то не видать.

П л а т о в. Так точно, ваше-цар-ство. В размерах — техническое удивление. Но ежели тем невидимым ключом

у блохи в пузичке брюшную машинку завести, то, осмелюсь доложить, произойдет даже сверх естества.

Царь. Да что ты?

Платов. Как перед истинным! Так что от заводу начинает блоха скакать в каком угодно пространстве и дансе делать, и даже две верояции направо и две налево.

Царь. Ну, ей-Богу?

Платов. Ей-Богу. Дозвольте попробую.

Царь. Не врешь?

Платов. Кабы врал!

Царь. Попробуй, сделай милость.

Платов (*пробует взять страшными своими пальцами невидимый ключик*). Ф-фу ты, окаянный! Никак не ухватить.

Генералы. Снизу, снизу подковырни! — Сбочку! Вот-вот-вот! — Ну-ка! — Ну-ка! — Эх!

Платов. Тьфу! Нет, тут женская полезность надобна: у них пальцы вроде блошиных, которые даже могут нитку в иголку вздеть. А мы этого не можем.

Царь (*глядит кругом*). Ну-ка... Малафевна! Эй!

Генералы. Малафевна! Малафевна!

Малафевна. Я.

Царь. Вот что: тут ключик лежит, попробуй-ка, возьми его вот эдак — пальчиком.

Малафевна. С мальчиком? Что ты, что ты, что ты? Христос с тобой!

Царь. А, глухая тетеря! Да объясните ей руками как-нибудь.

Генералы и Кисельвроде наперебой объясняют Малафевне руками, что-де блоху надо завести, и она-де пойдет танцевать.

Малафевна. А-а, слышу, слышу! Сейчас, сейчас.

Заводит блоху. Блоха под музыку прыгает на полу. Царь, Кисельвроде, Генералы, Малафевна — за ней на корточках, ползком, на четвереньках. Платов — как был — стоит во фронт.

Царь. Ах, нечистая сила! Ведь и впрямь скачет! Гляди, гляди: танцует! Ах-ах-ах! Вот это я понимаю! Это работа тонкая! Это — мастера-а! Да.

Скороход-курьер (*Царю*). Что, удивили? То-то и оно-то. Я вам докладую: захвастали англичане — не продохнуть. А он (*передразнивает Кисельвроде*) — «Вре-ет, вре-ет»!

Царь. Верно. *(Чешет в затылке.)* Как тут быть? Что делать? *(К Кисельворде.)* Ты как же это допустил, чтобы англичане над русскими предвозвышались?

Кисельворде. Я... я не я... *(На Платова.)* Это — вот он.

Царь *(Платову)*. Ну-ка, ты? Отвечай!

Платов. Так и так: согласно присяге, на поле-брани-отечестве...

Царь. Да про блоху, про блоху... Экой ты, брат!

Платов. Честь имею, что нам этому удивляться с одним восторгом чувств никак не следует. Как, значит, мы англичан ничем не хуже, а даже, напротив, и в полном виде.

Царь. Ну-ну-ну?

Платов. И стало быть, надобно эту самую нимфозорию подвергнуть русскому пересмотру в городе Туле нашего отечества. Так что наши тульские мастера ихних перешибут. А касательно ежели что — так во... ч-честь имею! *(Кажет страшенный кулак.)*

Генералы шарахаются.

Царь. Это дело! Ну, мужественный старик, спасибо тебе, утешил. Бери ты эту самую шкатулку, а в шкатулке — бриллиантовый орех, а в орехе — блоха, и кати себе на Тихий Дон. А как через Тулу будешь ехать, отдай аглицкую нимфозорию тульским мастерам на пересмотр. Ну, только помни, чтоб был обратно через сорок дней — сорок ночей. И ежели перешибут англичан твои тульские — проси чего хочешь, а не перешибут — быть тебе без головы.

Платов *(гаркает)*. Так точно — без головы, ваше цар-ство! *(Невоенным голосом.)* А только ежели при вашем папаше у меня голова на плечах удержалась, так авось и теперь уцелеет.

Царь. Храбер! А это слышал: не хвались, идучи на рать?

Платов. Так точно, ваше цар-ство. А едучи с этого... ратного поля-брани-отечества...

Царь. Знаю, знаю! Будет! Когда же едешь-то?

Платов. Сейчас еду. Вот только сбегая водки выпью и бубликом закушу. Так и так: приятного аппетита.

1 - й Халдей *(публике)*. И вам того же, почтеннейшие господа.

Занавес

Действие второе

Картина 1-я

Тула, Игрушечные — по пояс человеку — церквушки. Слева на сцене деревянный заборчик. Входят три Халдея. 1-й Халдей скидывает из-за спины и устанавливает на палке ящик-раешник.

1-й Халдей (*публике*). Пред-ста-вление продол-жается! Почтенные господа, милости прошу к нашему грощу со своим пятаком. По копейке с рыла — пожалуйста!

Бойкая девка (*вбегают, увидела Халдеев — кличет*). Эй, сюды, сюды! Девки, девки, скорее! Удивительные Люди пришли, с ящиком! Сюды, сюды!

С разных сторон — быстро — туляки, стар и млад. Отдельно — Левша, идет с гармошкой, пиликает. Ему подставляют ногу — он падает. Смех. Встает, снимает картуз, сморкается в него, опять надевает на голову. Девки толкаются локтями, кажут пальцами на Левшу.

1-й Халдей. По копейке с рыла — по копейке с рыла, пожалуйста!

Несколько туляков глядят в стекла раешника.

Вот-т, извольте видеть, господа, очень прекрасный вид: донской казак Платов из самых из царских палатов на тройке летит, елки-палки из-под копыт, сзади пыль столбом, на столбу — фонарь, под фонарем объявление: «Никому от меня нет спасения».

Туляк (*глядит в стекло*). А-а! Скачет-то! Хлещет-то! Кулачищи-то!

1-й Халдей. А вот-т, извольте видеть, приятное свидание нашего русского посла с ихним французским — в городе Париже, а может, и где поближе.

Бойкая девка (*глядит*). Ишь ты! А чего же это они оба ревмя ревут?

1-й Халдей. А это, красавица, с радости, что семь годов не видались, на восьмом повстречались... А вот, пожалте, сражение в Китае: генерал Пей-чаю перешел на сторону генерала Чей-сына, а генерал Чей-сын перешел на сторону Пей-чая, вследствие чего произошла небывалая, блестящая победа.

Туляк. Хм... Чегой-то... непонятно выходит.

1-й Халдей. Чудак! А ты думаешь — я сам понимаю?

А вот андерманир штук (хватает за шиворот Левшу и ставит его по другую сторону ящика): мой закадычный друг — знаменитый оружейник Левша, первый тульский богач, в одном кармане — блоха на аркане, а в другом — мощи тараканы — пожалте на поклонение!

Бойкая девка. Девки, девки! Левшу нашего в ящике показывают! Уй, гляди, гляди!

Левша (вырывается). Да ну-т-те... Пусти, ну! Дай я сам погляжу. (Обходит кругом, глядит в стекло раешника.)

1-й Халдей подмигивает 3-му, тот скидывает верхнюю одежду и оказывается девкой Машкой.

1-й Халдей. Вот ан-ндер-манир: девка Машка, купецкая дочь, ей каждую ночь невмочь — об друге сердечном Левше скучает, днем ни питья, ни пищи не принимает, чем живет — неизвестно, а вид имеет прелестный.

Левша (в волнении глядит в одно стекло, в другое). Ух! Ух! Батюшки!

Заглядывает поверх ящика. Машка стоит, закрывшись рукавом.

Машка! Ой... Да никак и впрямь ты?

Туляки кругом хохочут.

Девка Машка. Известно, я.

Левша (радостно). Гы-ы! Машка, а Машка!

Девка Машка. Что?

Левша. Машка, пойдем обожаться.

Девка Машка. Пойдем.

Обнявшись, уходят налево за заборчик и там обожаются. Девки подталкивают друг друга локтями, глядят в щели, хихикают.

Девки. Гли-кость, гли-кость: в губы! — Взасос! — Всласть!

1-й Халдей. Ан-ндерманир: тульский купец, Машкин отец, ума не богато, а гребет деньги лопатой. Пр-редставление продолжается! (Показывает рукой на забор.)

2-й Халдей в это время скинул с себя халдейскую одежду и, в купцом кафтане, расталкивая народ, идет к забору.

Купец. Нагнись-посторонись, раздвинься, раздайся: ли не видишь, я своей персоной иду? Ну-кость пусти, чего

тут у вас? (Глядит в щель, свирепеет.) Да это моя Машка — ах, шалава! Да это Левша — ах, кобель! (Бежит кругом, накидывается на Левшу.) Ты, рвань, голоштанник! Ты что ж мою девку скоромишь, а?

Левша (туда-сюда, тычется — убежать, бежать некуда. В отчаянии). Ой, вот те крест, женюсь я на Машке твоей. (Крестится левой рукой.) Ну... вот сейчас женюсь. Ну — пойдем в церковь, пойдем!

Купец. Левша косорукий! Креститься-то сперва обучись! «Женю-юсь!» Машка, подь сюда! (Наступает.)

Левша (обиделся). Оно хотя-хоть я и Левша, а ежели технически... Да-к мы это самое...

Купец. Ух ты, рвань коричневая! Нет, ты сперва, голпузый, предоставь мне червонцев на сто рублей, да серебра на тридцать, да бумажками пуд и три четверти. Вот тогда сватайся. А то ишь ты! «Я женю-усь» беспортошник! Машка, подь сюда!

Девка Машка. Не пойду. (Прячется за Левшу.)

Купец. Не пойдешь? (Наступает на Левшу.)

Левша (прячется за Машку). Эй, наших бьют! Эй! Силуян, сюда!

Силуян (выходит, засучивает рукава). Могу. Кого?

Купец (сробевши). Мене

Силуян, не торопясь, готовится бить Купца, расправляет у него бороду, плюет себе на ладонь. Вдруг — издали — песня, посвист. Силуян останавливается. Опрямей вбегают несколько туляков, кричат.

Туляки. Казаки-и! Скачут!

Все — врассыпную, кто куда — к забору, под забор. С гиком и свистом влетают казаки на деревянных досках с лошадиными головами, с мочальными хвостами. Платов в санках, возле санок — свистовые с кнутами. Разогнались, Платов кричит: «Стой-стой-стой, дьяволы!» Из-под забора, из-за пригорков выглядывают головы — тройка остановилась — головы нырнули вниз.

Платов (стоит в санях, озирается грозно). А-а-а-а, нету? Попрятались тулячишки, в тараканьи норы забились? Эй, свистовые! Гони всех сюда!

Свистовые (скачут, как зайцев — поднимают спрятавшихся туляков). Э-эй, гони! гони! — Та-та-та-та-та! — Гони! Фью! — Эй-эй-эй!

Согнанные туляки, сгрудившись, выпирают вперед Егупыча — божественного вида старик, и Силуяна — быкобогатырь. Платов встает на сиденье саней и, хлебнув из фляги, выпятив грудь, начинает.

Платов. Вот, братцы, так и так. Как, значит, пришло нам время стать собственной грудью. В рассуждении, что, значит, наша матушка Расея. На поле-брани-отечестве, согласно присяге. И ежели, например, ихняя аглицкая блоха супротив нашей, то, стал-быть, обязаны мы до своей последней капли все как один. И приказано мне передать вам его милостивое царское слово... *(Орет.)* Чтoб у меня была сделана! *(Кротко.)* Как, значит, он отец, мы — дети... *(Орет.)* А в случае ежели у меня — так вот! *(Грозит кулаком.)* И, стал-быть, православные, поклянемся жизнь свою положить на месте преступления — все как один. Ма-ал-чать! Ур-ра!

Лошади у Свистовых шарахаются. Туляки выпихивают вперед Егупыча.

Егупыч *(скидывает гречневик, прокашливается)*. Да оно конечно, мы его милостивое царское слово чувствуем. Ка-ак же! А только сомнительно нам, про что это ты говорил-то. Мы народ тихий, невоенный.

Платов *(невоенным, человеческим голосом)*. Да это я так — для строгого порядка. А дело, братцы, вот: должны наши тульские мастера ихним разным Европам нос утереть. Как, значит, ихняя невозможная техника, а наша — тульская, то оно и выходит... Да. Ну, которые тут у вас есть самолучшие мастера? Говори, не бойся!

Туляки *(выкрикивают)*. Левша! Левша! — Силуян! — Старик Егупыч! Левша! — Силуян! — Левша! Левша! Он, он у нас самый... — Левша!

Платов. А где же этот самый Левша?

Туляки. А вот он — с Машкой! — Мухрыш-то, ну вот — в картузе. — Он у нас самый...

Платов *(Свистовым)*. Доставить его!

Левша старается унырнуть. Свистовые его ловят, волокут к Платову.

Платов *(глядит на Левшу)*. Н-да. Не тово... не казист... *(Берет, открывает шкатулку.)* Ну, мастера, глядите: тут вот оно все и есть.



Обложка книжки «Житие блохи» — шуточного рассказа, написанного Е. И. Замятиным для вечера пародий, который был устроен в начале декабря 1926 года — вскоре после первого представления его пьесы «Блоха» в Ленинградском Большом драматическом театре. Нарисовал этот «фолиант» Б. М. Кустодиев, который был и автором декораций и костюмов самого спектакля.



Инок Замутий, под именем которого художник Б. М. Кустодиев изобразил самого Замятина.



Текст под картинкой такой: «Как в фигийском городе
появился некий буйный и дикий человек».
(Роль генерала Платова играл Алексей Дикий.)



Через два года после того, как по неожиданному разрешению Сталина семья Замятиных покинула СССР.



Е. И. Замятин с женой Людмилой Николаевной.
Париж, 1934 г.



Художник Н. Радлов, конец 20-х годов.

Это только малая часть портретов и шаржей, созданных художниками, которых привлекал обаятельный образ замечательного писателя.



Художник Б. Кустодиев, 1923 г.



Художник Ю. Анненков, 1921г.



Художник М. Прехтл
(Германия), 1923г.



Автограф
Е. Замятина на
обороте фотографии,
подаренной
К. Федину при их
последней встрече
в Париже.
Через три года под
этим автографом
К. Федин записал...

4/II 1934
Костя - Россия
с Габриэль Антуан
Евг. Замятин
[подпись в Париже
в февр., 1934.]
~~(10/12)~~
Ушел в марте 1937 г., в
ПАРИЖЕ
Похоронен
на кладбище
Cimetière de Thiais
под Парижем

Подходят Егупыч и Силуян.

Егупыч. Ах ты, мать... пресвятая, сподручица грешных — да это блоха никак?

Силуян. Живая — аль колелая?

Платов. То-то и есть, что не живая, а, стал-быть, подлецы эти англичане из чистой стали ее в изображении блохи построили... И, значит, в середине у ней, у гадины, завод с пружиной, и завести — она, стерва, пойдет танцевать. И как, значит, согласно присяге, то и пообещал я Царю: так и так, наши-де тульские еще и почище диковину сделают. Ну? Можете?

Оружейники переглядываются, перешептываются.

Левша (*скинув картуз, почесываясь*). Оно хотя-хоть, конечно... Кромья всего прочего... Но ежели, это самое, технически, например, так оно и не... и не то чтобы как, а вроде как как...

Платов (*орет*). Что-о? Я на вас голову прозакладывал, а вы... Да я вас — в кр-рохи пирожные! (*Подымает кулачище.*)

Егупыч. Ты, ваше превосходительство, говори словесно. Мы — народ невоенный, но против ихних мастеров, конечно, не уступим. А только аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и против нее надо взяться помоя Богу — подумавши, да. Ты нам эту блошку оставь, а сам поезжай на Тихий Дон с Богом, заживляй раны, за отечество приявшие, а когда будешь вертаться, авось мы к той поре свое дело сделаем.

Платов. Авось! А это слышал: авоська веревки вьет, небоська петли затягивает? Нет, вы мне толком скажите: чего вы такое сделаете?

Оружейники шепчутся.

Егупыч. А уж что мы сделаем, того мы в одну минуту преждевременно сказать тебе не можем.

Платов (*орет*). Как, такие-сякие, не можете? Да как же я вам это аглицкое удивление оставляю, коли я не знаю, чего такое вы с ним сделаете?

Егупыч. Не оставляй, батюшка, — не хочешь, не оставляй: воля твоя. Бери с Господом! Нам это хоть бы

хны — нам все едино. И без этой блохи проживем: своих довольно.

Платов (*освиrepел*). Да я всех... д... т... П-пашли вон!

Все шарахаются, стоит один Силуян.

Стой-стой-стой! Эй, ты, богатырь, как тебя? Поди-ка сюда, садись.

Силуян лезет в сани.

Вот. Ну, так и так: водку принимаешь?

Силуян. Могу. Платов (*наливает из фляжки*). Ну-ка?

Силуян пьет и молча подставляет чарку снова. Пьет и опять подставляет. Платов хочет налить и себе, но фляжка уже пуста.

Эх! Л-ловок! Ну, ладно, пес с тобой. Рассказывай, чего вы такое с блохой придумали?

Силуян (*не спеша утирается, отдает чарку Платову*). Ф-фу! Благодарим покорно. А сказать — не могу. Это — аминь.

Платов. Ах т-ты... Слезай — вон отсюда! Задарма все вылакал. Гл-лотка! Слезай-слезай-слезай! (*Егупычу*). Ну-ка ты, старичок почтенный, иди садись.

Егупыч подходит, садится. Платов набивает огромную трубку табаком, хитро поглядывает на Егупыча.

Д-да... Так и так, придется мне, видно, к павловским замошникам ехать: не хуже вашего сделают. Хоть и неохота, а придется, — делать нечего. Да, придется, придется...

Егупыч. Что ж, поезжай с Господом. А только павловским — чтоб им... Бог здоровья послал и в делах скорого поспешения — им против наших не выстоять, нет! У нас вот Левша есть — дак он тебе что хошь: из башки у тебя, как из часов, все колеса-пружины вынет, маслицем смажет и назад положит.

Платов. У меня, брат, пружины и так вертятся, и маслица твоего не надобно. А вот надобно знать, чего вы такое придумали: у вас пружины годятся ли? Да, вот что. (*Хитро глядит на Егупыча, запаливает трубку*.)

Егупыч не спеша встает, вылезает.

Стой-стой, куда?

Егупыч. А мы, батюшка, кержацкой веры, от этого

самого табашного зелья у нас головокружение в ногах происходит, да. *(Идет.)*

Платов. Тьфу! Эх! *(Выглядывает Левшу.)* Ну, ты чувырло чумазое, как тебя... Левша, иди-ка, садись.

Левша влезает, садится.

Жуков табак куришь?

Левша. Оно хотя-хоть и... пользуемся... технически... А только я нынче... уж восьмушку — это самое... В грудях копоть, не могу больше.

Платов. Ишь ты! А водку принимаешь?

Левша. Кромя всего прочего... ежели... А только я нынче, это самое... вроде как... *(Договаривает руками — что, мол-де, нынче выпил довольно.)*

Платов. О, да ты, брат, вижу хитрее всех. Ну, а девок любишь?

Левша. Вот это да... Это — технически!

Платов. Ну, слушай, Левша. Так и так: ты мне очень по нраву пришелся. И, стал-быть, хочешь, я тебе вон эту девку усватаю? *(Показывает на Машку.)*

Левша *(вскрикивает, картуз об землю)*. О? Неужли ж верно? Машка, а Машка!

Платов. Нет, брат, стой! Сперва хомут, а потом подпругу. Ты мне наперед скажи, чего вы такое с блохой придумали.

Левша *(чешется)*. Эх! *(Глядит на Машку, на Платона, косится на Егупыча.)* Конечно, хотя-хоть... *(Поднимает с земли, решительно нахлобучивает картуз.)* Эх! То есть — ну... никак! Что что, а это никак. То есть вот — ну!

Платов. Та-ак? Эй, Свистовые!

Левша кидается наутек.

Стой-стой-стой!

Платов пробует налить себе из фляжки — фляжка пуста, с сердцем об землю ее, вдребезги.

Тьфу! Ну, тульские, видно, делать нечего: будь по-вашему. Нате, берите, стервецы, у-у-у! *(Тычет Левше шкапелку с блохой. Кротко.)* Братцы, голубчики, уж вы как-нибудь, так и так... *(Орет.)* У меня чтоб в ак-курате! Чтоб для нашей русской полезности — ни одна чтоб минута! *(Кротко.)* Как, стал-быть, она мать — Расея... костями —

на престоле-брани-отечестве... И мы, которые убиенные... (Орет.) М-мал-чать! Через сорок дней — сорок ночей я вашу работу Царю предоставить обязан. Чтоб у меня — в срок была-а! А то... (Подымает кулак.) Поняли?

Егупыч. Благодарим покорно — поняли.

Платов. Тррогай!

Тройка. Куда прикажете?

Платов. На Тихий Дон!

С песней, гиком, свистом казаки уезжают. Левша, разинув рот, стоит с шкатулкой в руках. Бойкая девка выбежала, смотрит вслед, приложив козырьком руку.

Туляки. Кулак-то, видел? — Страхота господня!

Расходятся.

Егупыч. Ну, братцы, надо за дело: вода бежит, время идет. Ты, Левша, мозгуй поживей, как нам и что...

Левша. Технически — это самое — ежели.

Егупыч. Во-во-во! А я пойду свечку поставлю Николе Кузнецкому да Зосиме-Савватию, братьям-разбойникам.

Занавес

1-й Халдей (выходит на авансцену перед занавесом). Представление продолжается! А именно: происходит расцвет промышленности в городе Туле нашего отечества. Слышите: молоточками тюкают? (Уходит.)

Музыка, тюкают молоточки оружейников.

Картина 2-я

Та же Тула, что и раньше, но посередине стоит теперь изба оружейников. Туляки, Раёшник, Девка Машка — подслушивают, подглядывают: что такое в избе.

1-й Туляк. Стучат.

2-й Туляк. Постукивают.

3-й Туляк. Не питые, не етые сидят.

1-й Туляк. Никого не допускают.

2-й Туляк. Что делают — неизвестно.

3-й Туляк. Ну-кось, дайте-ка я попробую...

3-й Туляк идет к избе, стучит в окошко. Окошко чуть приоткрывается.

Голос Егупыча: «Кто там?»

(Чужим голосом.) Человек божий, странник прохожий.

Прикурить огонька дайте.

Егупыч (высовывается — и тоном сперва божественным, потом свирепым). Пойди ты... к Господу с чертовым твоим куревом на рога. Некогда нам: время идет. (Захлопывает окно.)

Почесываясь, 3-й Туляк уходит.

2-й Туляк (идет к избе с медным тазом, колотит в таз и кричит.) Ой, братцы, горим! Ой, горим, пожар! Вали, лей, ломай!

Егупыч (высовывается). Где пожар?

2-й Туляк (показывает вбок). Тама. И-их, чешет!

Егупыч. Ну — с Богом, горите, а нам недосуг. Срок вышел, то и гляди — Платов назад будет. (Захлопывает окно.)

2-й Туляк уходит.

Девка Машка (идет к избе, кличет в оконце). Левша, а Левша! (Сахарным голосом.) Левша, красавчик ты мой! (Еще сахарней.) Левша, пойдем обожаться!

Окно раскрывается с треском, Левша высунулся по пояс, но изнутри две руки тотчас сгребли его за шиворот, две руки за вихры — втащили назад, захлопнули ставень. А с разных сторон уже бегут — кричат туляки.

Туляки. Казаки! — Скачут! — Девки, беги куда глаза глядят!

Прежним порядком, только еще отчаянней, въезжают казаки и Платов.

Платов. Стой-стой-стой! Назад, дьяволы. Стой! Где оружейники? Ммалч-ать!

Туляки молчат.

Да вы что же: язык-то вам корова, что ли, сжевала?

1-й Туляк. Да ты, ваше превосходительство, сам говоришь — молчать.

Платов. М-малч... Тьфу! Сейчас говори, где оружейники?

1 - й Туляк. Да вон там: слышь? — молоточками тюкают.

Платов. Как, такие-сякие, тюкают? Не готово еще? Дай — я их... д... т... (*Подымает кулачище. Свистовым.*) Чтоб живых ли, мертвых ко мне их — в момент доставить! У-у-у! (*Свирепеет.*) З-зубом загрызу!

Свистовые скачут к избе, стучат в окно, в дверь — им не отвечают. Возвращаются к Платову, стоят, вытянувшись перед ним во фронт.

Платов (*Свистовым*). Круши!

Свистовые берут бревно, запевая «Дубинушку».

Эх, город Тула у нас слабый.
Придешь девкой — уйдешь бабой.
Эй, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет!
Раз! Ух! Раз! Эх!

Туляки. Гляди, гляди! — Что делают! — С мясом рвут...

Свистовые поддели и сваливают крышу в сторону. Остается висеть одна лампадка — висит неизвестно на чем — и видны по пояс оружейники. Свистовых отшибает в сторону — стоят, зажав носы.

1 - й Свистовой. Да вы как же, подлецы, этакой спиралью ошибаться смеее? На вас — что: креста нету?

Егупыч. Спираль — оно, действительно, скопимши — от нашей безотдышной работы. А вот вы кто такие, что нам в казенном деле препятствие производите?

1 - й Свистовой. Да вы ослепли никак? Ли не видите: донской казак Платов — вот он, вас к себе требует, чтоб сию секунду!

Егупыч. Передай ему от нас почтеныше и скажи: сейчас-де несут.

Свистовые бегут, оглядываясь. Оружейники за ними, на ходу застегивая одежду. Левша с шкатулкой.

Свистовые (*Платову*). Идут! Несут!

Платов. М-малчать!

Туляки шарахаются, потом, любопытствуя, понемногу подходят ближе.

Платов (*оружейникам, грозно*). Н-нну-у?

Егупыч. Господи-Сусе-Христе сыне божий, помилуй нас...

Платов *(свирепо)*. Ам-минь... ч-черт! Готово?

Левша. Га-га-га-тово.

Платов. Подавай сюда.

Левша подает. Платов открывает шкатулку, вынимает из нее табакерку, из табакерки — орех с блохой. Глядит.

Туляки *(вытягивая шеи)*. Гли-кось, гли-кось! Биллиант-то! — Чисто медный, глазам инда больно! — Ну и кулачище, страхота господня!

Платов *(встает, грозно — оружейникам)*. Вы это что же это, а? Шутки шутить? А ваша работа где ж, а?

Левша. Ту-ту-тута... *(Тычет пальцем в блоху.)*

Платов. Где тута? Ну-у? *(Сует блоху Левше под нос.)* Нюхалом ткнись! Это, по-твоему, что?

Левша. Бло-блоха... Эта самая аглицкая блоха, конечно.

Платов *(кричит)*. Эта самая! Зарезали! Голову сняли! Как была блоха, так и есть. Ничего не сделали! М-мастера! Кошелки вам плесть! Еще, поди, аглицкую работу испортили? Уб-бью!

Левша *(обиделся, свихнул картуз на ухо)*. Ежели — кроме всего прочего — это, то есть, кто же испортил?

Платов. М-малч... Кто? Ты, Левша, косорукий, вот кто! Ма-астер!

Левша. Это я-то? Цык! *(Цыркает сквозь зубы в знак высшего презрения.)* Я свою работу сделал... технически... Да...

Платов. Сделал? Ну так и говори, что сделал? У-у-у!

Левша. А что сделал, то... вот это самое и сделал. Царю... это самое... предъявите... — тогда оно и выйдет — технически. А преждевременно — вроде как не желаю, да.

Платов. Ма-алчать! В бутылку загоню! З-запеча-тая! «Царю предъявите!» Это, стал-быть, чтобы я перед Царем острамился, как вы передо мной? Нет, голубчики, шалишь! Так и так вашу... Я вам проверку устрою! Я вас на чистую воду выведу! Сейчас к аглицким мастерам одним духом скачу: они мне все ваши дуравьи хитрости разберут. И ежели только да вы мне ничего не сделали — я вас...

(По очереди подносит кулачище под нос каждому из оружейников.)

Левша пятится, Егупыч крестится, Силуян стоит монументом.

М-молчать! Тр-рогай!

Тройка. Куда прикажете?

Платов. В Лондон ихний. Гони во весь дух!

Свист, гик, топот.

(Платов вдруг вскакивает.) Стой, стой, стой! (Оборачивается, Левшу — за шиворот и к себе в санки — в ноги.) Сиди, с-сукин сын, тут вместо пубеля! И до самого до Лондона чтобы у меня не пикнул! Ты мне за всех ответишь. Ну, гайда!

Отъезжают.

Девка Машка (кидается вслед с причитаньем). Красавчик ты мо-о-ой! Да куда ж он тебя-а-а? Ой, погубят тебя нехристи...

Левша (высовывает вихрастую голову из саней). Прощай, Машка! Сорокоуст-то, сорокоуст, не забуду...

Платов за вихры сует его назад.

Егупыч (спокойно). Царствие ему небесное, вечный покой!

Издали слышно — казаки затянули: «И-эх, в Таганроге...»

Занавес

Действие третье

1-й Халдей (выходит на авансцену перед занавесом). Представление продолжается! А именно: вид с высоты на знаменитый город Лондон ихнего отечества. Эй, занавес!

После поднятия занавеса открывается Англия — тоже, как и Петербург, тульская — очень удивительная. Въезжают платовские сани, тройка.

Платов (для англичан он прибрался — в белых перчатках, с цветком в петлице. Вылезает из саней, вытаскивает оттуда Левшу). Вылезай, ты! Ну-ка, Свистовой,

достань мне сейчас ихних Удивительных Людей, химиков-механиков-мастеров, да чтоб были аглицкие первого сорта. Ну, живо!

1 - й Свистовой. Рад стараться! Как скоро, так сейчас!

Платов *(отхлебывая из фляги)*. Ф-фу, отлегло!

Химик-механик *(входит с Мастером)*. А вот и мы, самые ихние Удивительные Люди, химики-механики-мастера на все руки, первое средство от скуки.

Платов *(элегантно)*. Ах... бонжур, бонжур!

Химик-механик *(вытащив огромные часы, Мастеру — важно)*. У вас — сколько?

Мастер *(вытащив часы)*. Без четверти.

Химик-механик. И у меня без четверти. Благодарим вас.

Платов. А что, будто личности ваши я видел гдей-то, а? Да вы ихние ли настоящие?

Мастер. Мы-то? Да вот те не крест не святой. Вот те не перед истинным! Да чтоб мне не издохнуть! Да чтоб мне...

Платов. Стой! А ну перекрестись.

Химик-механики и Мастер крестятся: на затылок, на спину, и сзади же — на правое и левое плечо.

Ну, ладно, вижу: креститесь не по-нашему. *(Свистовому — нежно)*. Свистовой, голубчик, шкатулочку мне из саней — прошу вас...

Свистовой от нежного обращения обалдел, стоит, хлопает глазами.

(Орет.) Да ты что: оглох, сукин сын? *(Спохватившись — англичанам.)* Ах, пардон, пардон... *(Взяв от Свистового шкатулку.)* Ну, неправославные, так и так: глядите — ваша работа?

Химик-механик *(пробует на зуб)*. Да-а! Наша аглицкая, первый сорт.

Мастер. Сами из стали ковали — под видом блохи. Ка-ак же!

Платов. Что ж: как была ваша блоха, так и есть?

Мастер *(глядит)*. Как была — так и есть. В том же пространстве.

Химик-механик *(глядит)*. Ни подмены, ни перемены, ни рог, ни хвоста: как была, так и осталась.

П л а т о в. Быть того не может, не верю! Так и так: была ваша удивительная диковина у наших тульских мастеров, и, стал-быть, произвели они над ней какой-то секрет — еще вашего удивительней, а какой секрет, про то не говорят. Так чтоб выведали вы мне секрет вон у этого проклятого Левши. М-малчать! Не выведаете — в Сибирь сгоню! (Спохватившись.) Ах, пардон, пардон, пардон...

Х и м и к - м е х а н и к. Ничего. Не извольте беспокоиться, выведем.

П л а т о в. Убедительно благодарю вас... (Левше.) Ну ты, такой-сякой, лопать хочешь?

Л е в ш а. Оно... это самое... ежели и птицы такой нету, чтоб не ела, а пела... Что же я, вроде как хуже птицы, что ли?

П л а т о в (Свистовому — на Левшу). Доставить его в пищеприемную ихнюю комнату!

С в и с т о в о й. Рад стараться! Сию минуточку.

Открывает дверцу в какой-то железной трубе, оттуда грохот, пламя — вталкивает туда Л е в ш у.

Л е в ш а (мечется, орет). Ой, царица небесная! Ой, чтоб тебя розорвало! Ой, пустите! Ой, Машка, сорокоуст не заб...

П л а т о в (Химику-механику и Мастеру). Ну, пока что, стал-быть, счастливо вам оставаться. Мне в Петербург к Царю поспешать надобно. (Садится в сани.) Трогай! (Машет англичанам ручкой.)

Х и м и к - м е х а н и к. Скатертью дорожка, буераком пути! (Вынув часы — Мастеру.) У вас сколько?

М а с т е р. Без четверти.

Х и м и к - м е х а н и к. И у меня без четверти. Идем к Левше.

Совершают путешествие тем же порядком, что и Л е в ш а. Тем временем Л е в ш а — с грохотом, с пламенем — вываливается из трубы в «пищеприемную комнату». К нему, как и полагается в Англии, сам ползет накрытый стол и скамья. Л е в ш а нахлобучил картуз, пятится, потом осторожно трогает стол — ничего; садится на скамью — ничего. Вдруг сбоку, из деревянной толныжки в стене, вылезает неспеша огромная кнопка, лезет прямо на Левшу.

Л е в ш а. Уйди... уйди... уйди, нечистая сила! (Упирается в кнопку рукой, кнопка ныряет в гнездо, подымается трезвон. Левша вскакивает — бежать.)

Входит аглицкий Половой — вроде московских тестовских, в белом, а рожа черная.

(Таращит на него глаза.) Эка, мордальон-то у тебя, а? Ну вот что, конечно... это самое... Самоварчик мне и ситного, подрукавного, фунт — да с изюмом чтоб, слышь?

Половой скалит зубы, мотает головой.

Левша (громче). Чаю, говорю, ну? Немырь ты этакий! Чаю пить с дороги желаю — понял?

Половой. Донтандерстэнд.

Левша. Дон-дон-дон! Долдон, больше ничего. Нет чтобы по-нашему, это самое, по-русски: и просто и всякому вроде понятно, а то: «дон-дон-дон»... Ну — есть, снедать, трескать, лопать, жрать — понял? Кала-мала-бала-гам-гам! (Щелкает зубами, показывает пальцем себе в рот.) Понял?

Половой. Ес, ес.

Левша. Бес — истинно! Чистый бес. Сообразил вроде как, слава тебе, Господи! Ну и чудак!

Половой. Сами вы чудачки. Раз мы англичане — так нам с вами по-русски никак нельзя. Неуж не понимаете? (Уходит.)

Левша, пока нет Полового, любопытствует, заглядывает под скатерть, колукает тут-там скамью. Нажал какую-то пружинку — и вдруг стол начинает уезжать, снова из стены лезет на Левшу кнопка. Левша струсил, одной рукой старается удержать стол, другой отпихивает кнопку. Опять трезвон, стол останавливается, входит

Половой с блюдами.

Половой. Ситдаун! (Подает хлеб — вроде громадного кулича.)

Левша. Сит-на-ай? Оно хотя-хоть, но ежели у вас это ситный, какие же у вас куличи?

Половой ставит на стол блюдо с пудингом и зажигает ром.

Ах ты черномазый, ты это что ж такое?

Половой. Пудинг.

Левша. Студень! Хорош студень — полыхает! Нет, это, брат, может быть, у вас черти в пекле этакий студень жрут... технически... А я — не знаю, чтоб это нам можно есть. Это самое... кромья... дак и внутри еще загорится. Не-

си, неси от греха подальше! *(Сует блюдо обратно.)* Ну, неси! Иси, тубо!

Половой уносит. Левша колукает пальцем одно, обнюхивает другое — отхватил ломоть ситного и, осенив себя крестным знаменем, начинает его уплетать — на ходу: надо скорей поглядеть, как тут и что у англичан. Повернул какую-то вертушку — потемнело, опять повернул — светло, повернул еще раз — весь свет потух, а в темноте — искры, грохот.

(В ужасе.) Эй, Силуян, — наших бью-ут!

Из трубы вываливаются англичане.

Химик-механик. Это кто ж это здесь разделяет? Погасите этот адский пламень!

Все кончается, зажегся свет.

(Левше, похлопывая его по плечу.) Ничего, ничего! Не бойсь! Мы *(на себя)* — аглицкий, ты *(на Левшу)* — русский мастер, мы — камрады, понимаешь?

Левша. Оно хотя-хоть и конечно... Кому рады, а кому и не рады.

Химик-механик *(ставит в уголку шкатулку, прикрывает ее шляпой. Мастера — за рукав в сторонку)*. Первым делом — мы ему жидкого хлеба *(щелкает себя по шее)* — глядишь, язык и распояшет. *(Левше.)* Ну, камрад, выпить вам — погуще воды этого самого — желательно? *(Щелкает себя по шее.)* Понимаешь?

Левша *(нахлобучивает картуз, вжимается)*. Понимать-то мы это самое, хотя-хоть и понимаем...

Химик-механик. Садись, садись, камрад, чего там! Для встречного разговору без хлебной слезы нельзя!

Лезет из стены кнопка. Химик-механик нажимает ее. Трезвон, вбегают Половой.

Ну-ка, Половой, спроворь-ка нам графинчик да закусочки на троих.

Половой. Слуш-с-с! *(Убегает.)*

Химик-механик *(Мастеру — важно)*. У вас сколько?

Мастер. Без четверти.

Химик-механик. И у меня без четверти. Благодарим вас.

Левша *(тем временем осматривает Мастера, щу-*

пает платье). Ишь ты, жилетка-то тужурная! Тц... технически! Аглицкое небось сукнецо-то?

М а с т е р. А то ништо? Известно, аглипкое, морозовское.

Х и м и к - м е х а н и к (наливает). Ну, камрад, об деле — со временем-после, а до дела — нальем белой.

Л е в ш а (с сомнением глядит на водку, чешет в затылке). Оно конечно, ежели... вроде... для пользы-простуды... А только кто вас знает! Вы ведь... ох!

Х и м и к - м е х а н и к. Мы-то ох, да и ты не плох. У-у-у! (Грозит пальцем Левше.) Ну, приехавши вам! (Пьет, за ним Левша.) А что, к примеру, у вас гуси — плавают?

Л е в ш а. Плавают.

Х и м и к - м е х а н и к. А по льду ходят?

Л е в ш а. Ходят.

Х и м и к - м е х а н и к. Ну и мы пройдемся. (Пьют.)

Л е в ш а. Хух! Крепка!

Х и м и к - м е х а н и к. А ну, камрад, что крепче... (Выдержав паузу — сразу.) Наша водка — или ваш тульский секрет?

Л е в ш а. Ка... ка... Какой секрет? (Нагибается к Мастеру, берет его за ногу, как кузнец — лошадь.) А-ах ты... щиглеты-то какие! Это самое — подкованность-то ихняя вроде к чему же?

М а с т е р. А это для топоту, когда казачка, ли нашего аглицкого камаринского плясать. Мы это очень уважаем.

Л е в ш а (подмигивает). Вот, братцы мои, ежели, — так в подковке-то... вроде как... и секрет весь. Да.

М а с т е р (подталкивает Химику-механика). Ключнул! Подсекай, тащи.

Х и м и к - м е х а н и к (отпихнув Мастера). Как так в подковке? Ты нам это на своем русском языке произъясни, сделай милость.

Л е в ш а (сбил картуз на ухо, от вина осмелел). Долдонны вы! Я вам на своем русском языке все и произъясняю — технически: в подковке, говорю, секрет. Впоследствии времени все, братцы мои, узнаете! (Подмигивает хитро.)

М а с т е р (разочарованно). А-а-а! Впоследствии времени! (Химику-механику.) Накачивай еще.

Х и м и к - м е х а н и к (Мастеру). Без тебя знаю! (Лев-

ше.) Ну, камрад, нашей русской горькой для прокладочки? А? *(Наливает.)*

Левша смотрит с сомнением.

Что, думаешь, купоросом заправлена? Не бойсь! Настоящая подвздошная — четырнадцатого классу.

Левша *(нюхает)*. Оно хотя-хоть и кто вас знает... *(Махнул рукой, картуз на ухо.)* Эх! Здравствуй, стаканчик, — прощай, вино! *(Крестится левой рукой, пьет потом, мотнув головой, затягивает.)* Эх, Тула-Тула-Тула-я...

Мастер *(Химику-механику)*. Нести шкатулку, что ли?

Химик-механик *(Мастеру)*. Да не суйся ты, оглашенный! *(Левше.)* Ты что же это — левой-то крестишься: лютеранец ихний, что ли?

Левша. Нет, веры мы русской, технически. А это... потому, как вроде... например, левша мы.

Мастер. Левша? Это что же такое обозначает?

Левша *(от вина смелеет все пуще)*. А это самое... стал-быть, чего вы правой рукой — так я это левой — за очень просто. Да-а. У нас вот как!

Мастер. Удивительно! *(Химику-механику.)* Ну, если бы он и правой взялся, да образование ему мало-мале — так наше дело табак! *(Левше.)* Арифметику-то науку проходил?

Левша. Куды-ы там! Мы, братцы, ежели что — так вот эдак вот — по пальцам... вникаем... Да.

Мастер *(наливает, Левша пьет)*. А лучше бы вы из арифметики четыре правила сложения знали — куда полезительней!

Химик-механик. Да. А то у вас в руке — сметка, а в голове — ошмётка. Вот вы того и не сообразили, что такая малая машинка, как в блохе, — она на самую аккуратную точность рассчитана. Без арифметики-то ее тят-ляп — и испортили.

Левша. Кто — мы испортили? Это мы-то?

Химик-механик *(подталкивает Мастера)*. Да, вы самые.

Левша. Мы испортили? Ах вы, нехристи гололо-бые! Давай ее сюда! Я вам покажу... как испортили! Испортили, а? Мы-то?

Химик-механик (Мастеру). Готов! Волоки шка-
тулку!

Левша (еребенится). Я вам... это... такое покажу —
рты разинете! Я вам...

Мастер уже взял шкатулку.

(Левша спохватился, нахлобучил картуз, вскакива-
ет.) Стой-стой! (Хватается за живот.) Ой, не надо! Не мо-
гу! Ой, не могу! Ой, ой, скорее!

Мастер (остановился). Чего ты?

Левша. Ой, живот схватило — вот как, технически!
Веди меня до ветру. Ой, скорей, ой, скорей!

Мастер (ведет его в павильон, возвращается к Хи-
мику-механику). Да это черт-те что! Я думал, он так —
с максимцем, а он хитрый, как муха... Ну, чего делать, че-
го мы теперь с ним делать-то будем... Владычица!

Химик-механик. Довольно вам стыдно, господин!
Уж сдрейфил! А туда же в англичане суетесь!

Мастер. Да ты гляди: ведь его, черта косорукого, и
вино не берет!

Химик-механик. Будьте покойны! Как он оттуда
выйдет, мы его сейчас же настоящими нашими аглицки-
ми диковинами раззадорим — и этот самый секрет из не-
го, как из квасу пробку, вышибет. Понял — дурья твоя го-
лова?

Левша (возвращается, оправляя одежду, напевает).
Тула-Тула-Тула-я, Тула, родина моя! (Подходит.) Это са-
мое... нужные места — это у вас действительно техниче-
ски! Только уж дюже чистота одолевает: неспособно. У нас
лучше.

Химик-механик. Нужные места — это что-о! Дай
срок, мы тебя еще не так удивим. Ну-кошь, иди сюда!

Левша. Ну, показывайте... это самое — чего тут у
нас — ежели... (Подходит, делает вид, что ему на все с вы-
сокого дерева наплевать. Напевает.) Тула-Тула-Тула-я...
(Видит в числе прочих диковин — церковь и, оборвав «Ту-
лу», начинает креститься.) Хм. Это у вас, у гололобых,
проче церковь-то тут к чему же?

Химик-механик (пододвигая церковь). А это, из-
вольте видеть, чистый римский Петра-Павла собор, не-

счетом злата-серебра и прочего добра, на фундаменте из настоящего мрамора.

Левша (*цыркает через зубы*). На мра-аморе! Загнул! У нас, брат, в Москве — ежели, так... Никола-на-Капельках есть, Никола-на-Палашах, Никола-на-Курьих ножках, Никола-на-Кочерыжках. Вот это вот так. А то: на мра-аморе!

Мастер. На кочерыжках? Удивительно! И ничего, стоит?

Левша. А то как же? У нас, брат, строго: прикажут — и на кочерыжках будет стоять. Технически! (*Напевает.*) Тула-Тула-Тула-я... А это самое — что за трубка и к чему такое?

Химик-механик (*выкатывает огромный барометр*). У-у, это штука! Буреметр называется: от морского водоупления — первое спасение. Погоду за сутки назад, непогоду за сутки вперед указывает.

Левша. Ну, это против нашего... например... никуда не годится. Да-а! У меня в Туле вроде бабка есть, так у ней перед непогодой поясницу... технически — за неделю ломить начинает. А вы — эка: за сутки!

Мастер. Ну-у? За неделю? Удивительно!

Левша (*напевает*). Тула-Тула-Тула первернула, кверху козырем пошла... (*Ходит, глядит, остановился.*) Хм! А это для каких таких жителей... домина вроде?

Химик-механик. А это, извольте видеть, называемая керамида, а в ней сохранно заключен удивительный египетский фараон, не принимает ни питья, ни пищи, лежит годов три тыщи, а может, и больше.

Левша (*цыркает сквозь зубы*). Чудаки вы... кроме всего!

Мастер. А что?

Левша. А то. У нас этих самых фараонов — хоть пруд пруди: в Москве на каждом углу стоят вроде для бесплатного удивления. А вы это самое... их за деньги показываете. Ну, и чу-да-ки. Нет, вы мне такое предъявите: чего бы у нас нету.

Химик-механик. Сейчас... А ну-ка... родители, например, у тебя есть, камрад?

Левша. Во, брат, идиолух, а? Это, может, у вас, у не-

христей, дети вроде... из этой бутылки вылазют, а у нас это самое... по-православному, технически...

Химик-механик. Да ты дело отвечай! Родители, говорю, есть, живы?

Левша. Ну, живы, ежели... Ну?

Химик-механик. А желательно вам сейчас с родителями, например, словесный разговор иметь?

Левша (обиделся). Чего-о? Ты, брат, мне, это, в мозги-то не капай. Я хоть какой-никакой, а в своем уме. Нешто отсюда в Тулу слышать?

Химик-механик. А на это, брат, у нас есть такое удивление, что ты родясь не видал — умрешь не увидишь. Вот: радитефон называется.

Левша. Ежели родителей он — так с родителем только и можно по ему разговаривать. А мне, ежели, например, не с родителями желательно, а совсем обратно? Вроде, скажем... с какой-нибудь с гражданочкой.

Химик-механик. Это все единственно. Вот, пожалуйста: нажмешь, повернешь, голосом поведешь — говори с кем хочешь, хоть с родителями, хоть обратно.

Левша. Ну-ка? *(Нажал пуговку — трезвон, искры. Моргает, съежился. Робким голосом.)* Машка, а Машка! *(Громче.)* Машка-а!

Голос девки Машки. Левша, никак ты? Красавчик ты мой!

Левша *(картуз об земь, разинул рот)*. Тьфу, провались ты совсем! А ведь и верно! Машка моя, технически! Ей-Богу!

Голос девки Машки. Левша, а Левша!

Левша. Сейчас. *(Чешет затылок, думает. Придумал. Англичанам.)* А желательно ежели — я вам сейчас эту диковинку покажу... кроме прочего... почище разговорной этой трубки?

Химик-механик. Захвастался — кабы не захристался! Глади, брат!

Левша. Вот те и глади! Я и без трубки вашей слышу. Да. И еще Машка моя... вроде как сказать — не сказала, а уж я слышу, чего она скажет.

Химик-механик. Ну-ка, что ж она тебе скажет?

Левша. А вот чего... *(Шепчет на ухо Химику-механику.)*

Мастер. Что? Что? *(Химик-механик шепчет на ухо Мастеру.)*

Голос девки Машки. Левша, а Левша!

Левша. Что, Машенька, коровушка ты моя-а?

Голос девки Машки. Левша, пойдем обожаться!

Мастер. Чтоб тебе лопнуть: верно!

Химик-механик. Тюпелка в тюпелку!

Левша. То-то! Уж это вроде... будьте спокойны: уж так ли, эдак — а уж мы вас... это самое... технически! *(Лихо заводит на гармошке.)*

Мастер. Да это черт-те что! Ну, буде баловаться с диковинами-то! Я ему сейчас вещь покажу, которая настоящая... На, гляди! *(Сует Левше ружье.)*

Голос девки Машки *(удаляясь)*. Левша, а Левша!

Левша *(опустив гармошку, прислушивается)*. Братцы, сделайте милость — отпустите вы меня... домой вроде... а?

Мастер. Гляди, говорю... черт косорукий!

Левша *(нехотя берет ружье. Поглядел — и вдруг загорелся)*. Тц-тц-тц... Вот это — да! Это — технически! *(Ощупывает, поглаживает.)* Чтоб тебе! Шлиховка-то, а? Прямо это... чисто вроде девку по спине гладишь! А замочек, замочек-то! *(С ружьем в руках кидается к англичанам, обнимает их.)* Сволочи! Милые!

Мастер. Ты что — рехнулся?

Левша. Эх! Уж очень добре дюже работа хороша!

Мастер. Ага-а! Пробрало!

Левша *(щупает в дуле)*. А внутри-то, внутри-то... Ай-ай-ай-ай! *(Заглядывает внутрь, качает головой, вздыхает.)* Эх! Кирпичом чистите-то ай как?

Химик-механик. Сморозил: кирпичом! Это, может, у вас кирпичом, а у нас — порошком самым мелким, вроде клоповного персидского.

Левша. Не дай Бог — война... Куда мы... ежели с берданками нашими? Эх! *(Осматривает еще раз ружье, вздыхает. Вдруг поставил ружье.)* Братцы, отпустите вы меня домой заради Христа!

Химик-механик. То есть это как же?

Левша. А так. Хотя-хоть и это... благодарю вас покорно на всем угощении, и вроде всем я у вас очень доволен,

а только... не могу я у вас больше! Вот тут вот это самое...
(*Вертит рукой против сердца.*)

Химик - механик. Ну вот, заскучал! Да мы тебе сейчас такое покажем... вот: гляди..

Левша. Не могу я! Лучше покажите вы мне: в какой она стороне — Расея наша?

Химик - механик. Расея, Расея! Ты лучше оставайся у нас, живут у нас мастера хорошо, семейно, на каждого члена по четыре кубических аршина воздуха...

Левша. Да не надо мне вашего кубического воздуха: мне без русского воздуха никак невозможно! Опять же я в холостом звании. И мне тут в одиночестве... вроде очень скучно будет. А там у меня есть...

Химик - механик. Чудак! Чего ж ты молчал-то? Это дело такое: раз моргнуть, два шепнуть. (*Мастеру.*) Волоки сюда скорей свою аглицкую девку Мерю.

Мастер. Есть! (*Выводит Мерю.*)

Меря (*входя*). А вот и я!

Химик - механик (*Левше*). Ну, что? Каковама-мошка?

Левша. Это чего уж! Девка — я-те-дам! Вроде! Да-а!

Химик - механик. Ну, вот и ладно: ты нам только словечко закинь, какой вы секрет над блохой произвели, а мы тебе сейчас с нашей аглицкой девкой все устроим. (*Мастеру.*) Ну-ка!

Мастер. Меря, подь сюда! (*Делает ей знак пальцем.*)

Меря (*подходя*). Здравствуйте, прекрасный молодой человек Левша. Очень приятно.

Левша (*снял и мнет картуз, смотрит исподлобья*). Ой, беда, на Машку мою похожа!

Меря (*в радиотелефон*). Эй, Половой! Кипяточку нам на четверых, да ватрушечек каких там, что ли.

Голос Полового: «Слуш-с!» Въезжают стол, скамьи. Вбегает Половой с подносом, ставит на стол. Меря кобенится перед Левшой.

(*Садясь за стол.*) Милости прошу к нашему шалашу!

Все садятся, Левша с Мери глаз не сводит.

Химик - механик. Ты погляди: одеваются у нас чисто, не халды какие-нибудь, хозяйственные. Ну-ка, Меря, покажи, как ты... Плесни-ка ему чайку.

Меря наливает Левше и себе. Оба пьют из блюдечка. Меря придвигается к Левше все ближе.

(Химик-механик в стороне, косится на них.) Кх... Гм!
(Вынув часы — Мастеру важно.) У вас сколько?

М а с т е р. Без четверти.

Х и м и к - м е х а н и к. И у меня без четверти. Благодарим вас!

М е р я придвигается к Левше. Левша не знает куда деваться, пот с него градом, берет салфетку, утирается.

М е р я. Что ж вы, прекрасный молодой человек? Я к тебе голублюсь, а ты от меня тетеришься! (Обнимает Левшу.)

Х и м и к - м е х а н и к. Вот это так! Ну, Левша, поле с угородом — слово с уговором: пьем магарыч, что ли? Ты нам про блоху — тайный секрет, а мы тебя на Мере женим.

Л е в ш а (выскакивает из-за стола). Ой, не-ет: закон ежели принять с вашей аглицкой девкой... Это мне... это вроде как... никак невозможно.

М а с т е р. Это почему же такое? Какие у вас напротив наших девок порочные приметы есть?

Л е в ш а. А это самое... например... одежда на них накручена... И не разобрать, что и для какой надобности... ежели...

М а с т е р. Какое же тебе в том препятствие — в одежде?

Л е в ш а (конфузась). А значит... это... опасаюсь — зазорно будет... вроде глядеть — дожидаться, пока она из всего барахла разберется... ежели... это самое... Бог приведет... технически...

М а с т е р. Ну, это ты, камрад, врешь: это оне у нас могут в лучшем виде. Ну-ка, Мере, покажи ему голую технику!

Заводным голосом напевая нечто легкомысленное, М е р я начинает скидывать с себя одежду. Л е в ш а рвется бежать — и рвется к М е р е. Мастер его держит.

Л е в ш а. Ой, батюшки, не надо! Ой, у меня Машка в Туле! Ой, невтерпёж, держите меня! Ой, пустите! Ой, братцы, на все согласен — открою вам секрет, бегите за блохой скорее!

Х и м и к - м е х а н и к и М а с т е р, толкаясь, бегут за блохой. Л е в ш а тычется в одну трубу, в другую: ищет выхода — выхода нет. М е р я продолжает «голую технику», появляется П о л ш к и п е р.

(Бегом к Полшкиперу.) Ой, скорее, скорее. Ой, братишка, — куда бы мне...

Полшкипер. Я аглицкого корабля — полшкипер. Вам, Левша, чего надобно?

Левша. Ой, друг любезный, Полшкипер, вези меня скорее в Петербург; в царский дворец.

Полшкипер. Отчего ж, можно, пожалуйста.

Левша, скинув картуз, крестится. Оба уходят. Химик-механик и Мастер вбегают с шкатулкой.

Химик-механик. Батюшки! А где ж Левша-то?!

Меря (хладнокровно). Смылся — в Питер.

Мастер. Да это черт-те что! Химик-механик. За ним! (Свистит.)

Выскакивает Ямщик.

В Питер! Гони во всю мочь!

Ямщик. В два счета!

Уходят. Появляется корабль — с Полшкипером и Левшой.

Полшкипер крутит колесо, корабль движется.

Левша. Братишка, эй!

Полшкипер останавливается.

Скажи ты мне: в какой стороне — Расея наша?

Полшкипер. Расея! А кто ее знает! Должно быть — там... (Показывает в публику.)

Занавес

Действие четвертое

1-й Халдей (на авансцене перед занавесом). Представление продолжается! А именно: снова царский дворец и разные роскошные украшения. Эй, занавес!

Занавес подымается. Как в первом действии — Петербург и царский дворец.

Дворник с метлой стоит, грызет подсолнухи, шкурки бросает на-земь. Зевает, уходит. Появляются Левша и Полшкипер, оба на-веселе.

Левша. Неужли вроде добрались? *(Увидел что-то на приступках, подымает.)* Подсолнухи! Верно! Она самая — Расея! Эх, ты, коровушка ты моя-а! *(Бросается на землю, целует ее. Встал. Пошликиперу.)* Понимаешь ты, организм гололобый, что есть такое Расея?

Полшкипер. Нет, этого мы не понимаем.

Левша. Куды тебе: рылом не вышел! А ежели кроме — все-таки... полюбил я тебя, друг ты мой любезный. Вот как: по сих пор. Технически! Выпьем на расстань, а?

Полшкипер вынимает бутылку из кармана.

Это которая же по пальцам будет, ли по вашей арифметике?

Полшкипер. Три... тринадцатая. Ничего не значит. Пей, рус.

Пьют. Из оркестра на приступочки лезет Рыжий Черт.

Левша *(Пошликиперу)*. Ой, гляди, гляди!

Полшкипер *(спокойно)*. Ишь ты: рыжий.

Левша. Скорей перекрестись — отвернись, это черт Мурин! Говорил тебе: тринадцатой не надо.

Полшкипер. Какой черт? У нас по арифметике доказано: никаких чертей нету. Это Морской Водоглаз, он — ручной, не бойсь. *(Протягивает Черту кусок хлеба.)* Лопай, ну?

Черт ест.

Левша *(выше подбирая ноги)*. Оно, хотя-хоть, конечно, арифметика — она, вроде как... А ведь, ей-Богу — хлеб жрет, а? Дай-ка, дай-ка, я попробую... *(Берет у Пошликипера хлеб, протягивает Черту — боится, отдергивает руку.)*

Полшкипер. Я тебе говорю: ручной. Ну вот — хочешь: я тебя в море швырну, и он мне тебя сейчас назад подаст?

Левша. Друг, милый, ну давай я тебя поцелую — ну?

Целуются.

Ну... ну, хочешь — бери, швыряй черту своему... арифметическому — ну, швыряй!

Полшки пер подымает Левшу — бросить Рыжему Черту, тот протягивает уж лапы. Вбегает Платов. Рыжий Черт ныряет вниз.

Платов (*Левше*). А-а, шельма собачья, попался. Не-ет, от меня ни в земле, ни в воде не скроешься! Со дна морского достану! (*Хватает Левшу за шиворот, ставит перед собой.*) Ну, говори: где блоха? (*Трясет Левшу.*) Ну?

Левша (*машет рукой*). Та-та-та-тама.

Платов. Где тама?

Левша. У этих... у англицких мастеров осталась... вроде.

Платов. У-у-у! Зарезал, окаянный черт! Пропали, пропали!

Левша. Не... нет, они не пропали. Зачем пропали? Они сейчас тут будут. За нами всю дорогу без отдыху, вроде — гончие какие гнались... Да вон — колокольцы-то слышь?

Слышны колокольцы. Появляются Химик-механик и за ним Мастер.

Химик-механик. Ф-фу, батюшки! Насилу-насилу догнали... Здравия желаем, донской казак Платов!

Платов. Ммалчать! Где шкатулка с блохой?

Химик-механик. А вот, пожалуйста. (*Подает шкатулку.*) Она самая.

Платов. Ну, коли вы мне не узнали, в чем секрет, — молитесь вашему чертову богу!

Химик-механик. Да, поди-кось от него узнай! (*На Левшу.*) Ты на пень — он на корягу, ты в воду — он ко дну: ёрзок больно.

Левша. Что, съел?

Платов (*трясет Левшу*). М-малчать, язва! (*Другим голосом.*) Молодец, Левша, не осрамил Тулу, не выдал! (*Опять трясет.*) Ну, говори теперь, растакой-сякой: что вы за секрет с блохой сделали? А не то твоей жизни пять минут сроку осталось: сейчас Царя приведут — и мне конец и тебе крышка.

Левша. Может, ежели, никакого секрета и нету? (*Цыркает сквозь зубы.*) А может, вроде и есть. Сейчас все... это самое... обнаружится.

Платов (*свирепо*). Ну, коли я от Царя живым вер-

нусь — уж я тебя, Бог даст... (*Кулак — Левше. Свистовым.*)
Держать его, сукина сына, — да крепче!

Левша. Эх, Левша, красавец молодой — сгубила тебя судьба!

Свистовые его уводят.

Химик-механик (*Мастеру*). У вас без четверти?

Мастер. Без четверти.

Химик-механик. А у меня... (*Лезет за часами — вытаскивает одну цепочку.*) Часы-то... срезали! Батюшки!

Убегает, за ним — Мастер. В это время — музыка, парадным маршем входят Генералы и Царь.

Царь. Ну, здрасьте, что ли?

Генералы. Здра-жла-ваше-цар-ство!

Царь (*приглядывается*). А где же этот... мой... как его?

Генералы (*выскакивают*). Здесь я, ваше-цар-ство! — Здесь, ваше-цар-ство! — Здесь...

Царь. А, да на кой вы мне! Ну, этот... как его... Платов!

Кисельвроде (*Платову*). Ну, дружок, пришел твой часик: иди, Царь тебя требует.

Платов. Крышка! Пропал — ни за нюх табаку! (*Идет за Кисельвроде.*)

Царь. Ну, донской казак Платов, здравствуй, что ли.

Платов (*гаркает*). Здра-жла-ваше-цар-ство!

Царь. Где был, что видел?

Платов. Так и так: был я, согласно собственноручному твоему царскому слову, на Тихом Дону.

Царь. Ну, докладывай, какие у вас там казаки промеж себя междоусобные разговоры ведут.

Платов. А это, стал-быть, могу я только по тайности на ушко сказать.

Царь. Ну, на тебе ухо — пользуйся.

Платов, подошедши к трону, шепчет Царю на ухо.

(*Платову*). Та-ак. Ладно! А больше, например, тебе нечего мне сказать?

Платов. Гм... Кхе!

Генералы вытягиваются на цыпочках, шушукуются.

Царь (*Платову*). А что же ты, братец, про самое главное-то молчок? (*Грозно.*) А-а-а? Как же тульские твои мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Генералы. Каюк! — Поплыл Платов! — Митькой звали.

Платов (*бухается на колени*). Так и так: хочешь — казни, хочешь — милуй. А только нимфозория окаянная все в том же пространстве, и, стал-быть, ничего удивительней тульские мастера не могли сделать.

Царь. Ну, брат, это уж — маком! Ты — старик мужественный, а что ты мне докладываешь — этого быть никак не может! Слышишь?

Платов (*гаркает*). Так точно, ваше-цар-ство, никак не может! (*Другим голосом.*) А только вот хоть ты тресни — так оно и есть.

Царь. Да ты... Как это ты смеешь мне, Царю, поперек говорить? Подавай ее сюда!

Платов мнется.

Не слышишь? Уши заколодило? Сейчас давай — ну?

Платов подает Царю шкатулку. Царь открывает, смотрит.

Что за лихо! И впрямь: как лежала блоха — так и лежит. Не может того быть: тут тульские мастера, наверно, что-нибудь сверх понятия сделали... (*Услышал страдательную Левши на гармошке. Платову.*) Постой-ка: это кто же там приятной музыкой занимается?

Платов. А это так... тульский один... стервец... У-у-у! (*Свирепеет.*)

Царь. А ну-ка, поди спроси этого самого тульского нач-счет государственной нашей блохи.

Платов уходит.

Нет, уж чего-нибудь они с ей да изделали... (*Пробует взять блоху.*) А пропади ты пропадом! Палец у меня дюже толстый — не гожається...

Генералы. Послуйте пальчик, ваше-царство! — Лизните их... Язычком, язычечком!

Кисель вроде. Дозвольте, я лизну!

Царь. А, иди ты к ляду!

П л а т о в (*возвращается, подходит к Царю*). Так и так: говорит ихний тульский Левша, надо, говорит, блоху эту в самый мелкий мелкоскоп глядеть — тогда-де все обнаружится.

Ц а р ь (*кричит сердито*). Подать сюда самый мелкий мелкоскоп!

К и с е л ь в р о д е. Подать мелкоскоп!

Десять Генералов на рысях немедленно приносят громадную трубу, устанавливают ее поперек палаты — глядельным концом к публике; перед другим концом — держат шкатулку с блохой.

Пожалуйте, ваше величество. Как говорится, все наготове: сани до Казани, язык до Киева.

Ц а р ь (*смотрит в мелкоскоп*). Ага... ага... Вот-вот-вот... Тьфу! Ничего не видать, ни синь-пороху! Позвать сюда... этого самого... Лекаря-аптекаря.

К и с е л ь в р о д е. Веди! Зови!

Г е н е р а л ы бегут.

Лекарь-аптекарь (*входит*). Здра-жла...

Ц а р ь (*с досадой*). Да знаю, знаю! Можешь мелкоскоп по глазам навести?

Лекарь-аптекарь. У-у, глаза отвести — это самое наше дело! (*Налаживает мелкоскоп*.) Раз, два, три. Готово! Пожалуйте!

Ц а р ь (*глядит в мелкоскоп*). А-а! Ну-ка, ну-ка? Поверни спинкой. Так. Бочком. Пузичком... Тьфу! Да что же это такое? Все как было. (*Платову*.) Волоки сюда этого тульского твоего!

П л а т о в мнется.

(*Царь — грозно*.) Ну-у? (*Топает*.) Веди, говорят тебе, а то у меня... знаешь?

П л а т о в (*бежит, на ходу читает*). Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его... Свят, свят, свят!

Свистовые ведут Левшу. У него одна штанина в сапоге, другая наружу, воротник разорван, но идет бойко — от последней отчаянности, а может, и от хмеля. За ним Полшкипер и Платов.

(Тычет Левшу в бок.) Ну, д-дьявол, иди теперь — сам за себя отвечай. У-у-у!

Левша. А что ж такое: и пойду, и отвечу — технически! (Цыркает сквозь зубы. С гармонией своей под мышкой подходит к Царю — кланяется.)

Царь. Ну, здравствуй, что ли. Хм, вон ты какой! Ну, вот что, скажи-ка, братец, это что ж значит? Мы и так и эдак в мелкоскоп глядели, а ничего замечательного не усматриваем. Плохо вы работаете — плохо, плохо! Да.

Левша. Оно хотя-хоть вы и глядели, а только глядеть надо вроде с соображением... А то ведь и баран, ежели на новые ворота... тоже глядит. Да.

Генералы и Кисель вроде (кидаются к Левше, держат его сзади). Шшшш! — Шшшш!

Царь. Оставьте над ним мудрить: пусть отвечает, как умеет. (Левше.) Ну, гляди сам: ничего не видеть.

Левша. А вы бы, это... глаза-то получше разули, да. Этак не увидишь, конечно. Потому как наш секрет — кроме прочего ежели... так против этого размера невпример мельче.

Царь. А есть, говоришь, секрет?

Левша (цыркает сквозь зубы). Ха! Вроде есть, конечно.

Царь. Ну? Ей-Богу?

Левша. Да уж есть.

Царь. А как же его разглядеть — секрет-то ваш?

Левша. А ежели, например, одну блохиную ножку... это самое... под весь мелкоскоп... например... вот этак вот, да. И, значит, потом глядеть, технически, на каждую ихнюю блохиную пяточку. И тут, это, все удивление... и здрасте-пожалте. Да.

Царь (показывает Левше на Лекаря-аптекаря). Поди, растолкуй ему, он это сейчас все устроит, согласно науке.

Левша идет неторопливо. Платов за ним с кулаками — от нетерпения инда трясется весь.

Ну, скорей, братец, — экой ты!

Левша (Царю). Скорей! А это ты слышал: детей скоро, например, делать — слепые родятся?

Платов. Ма-алч... (Зажимает себе рот.)

Лекарь - аптекарь *(налаживает мелкоскоп)*. Раз, два, три... Андерманир штук, пожалуйста!

Левша *(Царю)*. Ну, теперь глядите, коли хотите: жалко мне, что ли?

Отходит к Полшкиперу, наливают, пьют.

Царь *(Генералам, которые толкуются около мелкоскопа, мешают)*. Брысь! Уйдите!

Генералы порскают кто куда. Царь глядит в стекло. Платов в стороне: начнет креститься — не докрестится, начнет — не докрестится, глаз не спускает с Царя.

Да ведь они эту самую блоху... Вот это, брат, ловко! Ах, чтоб тебе сдохнуть! Ах-ах-ах!

Генералы, Платов, Кисельвроде *(кидаются)*. Что? — Что? — Что такое?

Царь *(сияет)*. Ну, глядите, пожалуйста! Да ведь они, мошенники, исхитрились аглицкую эту блоху — на подковы подковать! Нимфозорию подковали, а? *(Опять смотрит в мелкоскоп)*. Стой-стой-стой! А это еще там что такое? Ну-ка, подверни!

(Подкова крупнее, видны буквы. Царь читает). Егу. Пыч. Ору. Матер. *(Левше)*. Нехорошо, нехорошо! Чего же вы слова-то этикие пишете? Матер... Нехорошо!

Левша. Вот ведь необразованные! Эх вы... «матер»! Мастер.

Царь. Гляди сам: матер.

Левша. Да это вроде для скорости — скоропись — нешто не понимаете? «Оружейный мастер Егупыч». Это подпись его.

Царь. Так это он там еще и расписался, значит? Ах, нечистая сила! Ах-ах-ах! Глядите, пожалуйста! Ну, и стервцы!

Все кидаются глядеть.

Платов *(кричит)*. Пус-сти! Пусти, р-расшибу! *(Расшвыривает всех и, растопырив локти, впивается в мелкоскоп. Потом бежит к Левше)*. Ну, брат... *(Колотит себя в грудь, слов не хватает, с обожанием смотрит на Левшу)*. Эх! *(Вынимает из кармана стаканчик, подставляет*

Полшкиперу, чтоб налил, чокается с Левшой.) Ну... ах, чтоб тебе! Ну, ладно, живи, так и быть! Пес с тобой! Прощаю! Все прощаю!

Царь (Платову). Ну-ка, где твои англичане? Давай их сюда.

Платов бежит за англичанами.

Химик-механик (сбросив колпак и очки Лекаря, подходит к Царю). А вот я — аглицкий Химик-механик, а это мои дорогие товарищи, которые в одно мгновение могут произвести блоху и прочие удивления.

Царь. Ну-ка, ну-ка, погляди, какая есть наша тульская техника напротив вашей научной блохи?

Мастер (глядит). Под... под... Подковали, а? Да это черт-те что!

Химик-механик (глядит). Н-дда-а! Это — не народ, это какие-то варвары!

Царь (доволен). Ха-ха-ха-ха-ха!

Левша (Химику-механику). Что, гололобые, съели? *(Показывает ему фигу.)*

Химик-механик. Это еще поглядим, кто съел, а кто и подавился. Ты вот ее заведи, попробуй.

Левша. А что ж такое? И за... и заведу. Очень даже просто... *(Заводит.)*

Музыка начинает: «Дрын-дрын» — и обрывается.

Это... это что же? Постой... Это она... знычь... вроде, не мо... не может больше?

Химик-механик. Танцевать-то? Не может?

Левша (в ужасе). Из... из... изгадили, знычь? Мы? Я?

Химик-механик. Ты. Что я тебе про арифметику-то говорил — помнишь? Оно самое.

Левша (стучит себя мослаком по лбу). Кобель! Руко-суй! Дьявол! *(Шевелит блоху. В отчаянии.)* Не... не танцует! *(На Химику-механика — с кулаками.)* Ты — ты... зачем мне сказал? Уйди... Уйди, окаянный! Уйди от греха!

Химик-механик уходит.

Полшкипер (Левше). Плю... плюнь, камрад!

Левша. Не танцует... Конец мне, братишка! По... понимаешь ты, не танцует!

Полшкипер. На... на! Пей скорей. Соси, ми-лай...
(Наливает Левше.)

Левша (стуча зубами, пьет). Эх... Жизнь наша — копейка, судьба — индейка! Ну, пропадать — так с музыкой!
(Заводит на гармошке.)

Кисельвроде и Генералы (кидаются к Левше).
Ш-ш-ш! — Что ты? — Рехнулся?

Царь (оборачивается к Левше). Да он еще тут? А я и забыл про него! (Подходит к нему.) Ну, брат, вот что: утешил ты меня — по сих пор. Спасибо. (Обнимает его, лобызает.) Проси, Левша, чего твоя душа хочет. Вот хочешь — полным генералом в отставке тебя сейчас произведу?

Левша (показывает пальцем на Генералов). Это вот лылы-лысые-то которые? (Циркает сквозь зубы.) Нету моего согласия, чтоб в лысые. Что меня Машка тогда не... не... не будет обожать — поэтому. Только она одна у мене и осталась.

Полшкипер (навеселе изрядно, мотает головой).
В-верно, камрад!

Царь. Ну, коли так, жалую тебе с придворного певчего парадный кафтан. Давай сюда кафтан. Эй! живо!

Приносят кафтан, напяливают его на Левшу. Кафтан на нем — как на вешалке.

(Торжественно.) Граф Кисельвроде! Объявляю тебе народно: денег ему, мошеннику, дай сколько хочет. Сыпь — не желей! (Всем.) Ну, я — на боковую. Эй, музыка — расходный марш мне!

Под «расходный марш» — Царь и Генералы отбывают.

Кисельвроде (подходит к Левше). Слыхал? Ну, проси, да не запрашивай, милый.

Левша (еле лыко вяжет). Гля... гля... Машки... жалаю... червонцев на сто рублей, да серебра на т-тридцать, да бумажками пуд и три ччер... ччерти! Т-только она у мене и... и танцует...

Кисельвроде. Ну, это, дружок, завтра прошение подашь. А сейчас Царь жалует тебе двугривенный, как говорится, с своего плеча. Ну, иди, иди, нечего!

Левша (глядит на двугривенный). Эх, жись наша ин-

дейская! Не... не видать мне Машки моей! (Полишкиперу.)
Пойдем отсюда, друг любезный.

Выходят.

(На приступках Левша растягивает гармошку.)
Т-Ту-ла-Тула первернула...

Околодочный (вырастает на приступках около Левши). Это-то что такое? С-сстрога не разрешается!

Левша (перестает, тычет себя в грудь). У меня... может... все печенки вну... внутри сейчас полыхают — потому я испортил... А он мне: «Не разрешает-ся...» Эх, гу-ляй! (Снова — на гармошке.) Тула-Тула-Тула-я, Тула роди-на моя!

Околодочный. Др-р-р! (Свистит.)

Выскакивают Городовые и Дворник.

Левша (Полишкиперу). Вот, брат, у вас это за деньги, а у нас... фр-фр-фараоны бесплатно... вроде... И-эх, Ту-ла-Тула первернула, ко дну козырем пошла...

Околодочный (Городовым). Тузи!

Левша. Не трожь... кафтан... каф... каф... (Затихает.)

Городовые, окружив густо, бьют Левшу.

Полшкипер (мечется кругом, кричит). Стой, стой! Нельзя! Душу... Душу-то! Стой!

Околодочный. Так. В хобот. В хряпало. В загривок.

Городовые сбрасывают куда-то уже недвижимого Левшу.
Дворник замечает метлою следы. Уходят.

Полшкипер (бежит к рампе). Ой, батюшки, убили! Утоп! Ой, батюшки! (Убегает, последние слова слышны уже издали.)

Тотчас же на сцене темнеет. На просцениуме появляются Халдеи.

Халдей девка Машка (причитает). Ой, да голубь ты сизый мо-о-ой! Да на кого ж ты меня споки-и-инул...

1-й Халдей. Ну что, что? Вот дуры бабы! Ну, чего нюни распустила?

Девка Машка. Левшу больно жалко! Не видать мне его, голубчика, до кончины до моей!

1-й Халдей. А я-то на что же! Гляди!

Свистит в два пальца. На сцене свет. Из печки вываливается **Левша** с гармошкой. Встает, подбегает к **Халдейке**.

Левша. Машка! Никак ты?

Девка Машка. Левша, красавчик ты мой!

Левша. Машка! А Машка!

Машка. Пойдем обожаться!

Медленно уходят. **Левша** играет на гармошке.

Химик-механик (публике). С благополучным вас окончанием и затем до скорого свидания. Просим честной народ не забывать нас и вперед!

ЗАНАВЕС

1924—1929





Метрадь примечаний и мыслей Онуфрия Зуева

Новое доказательство для неверующих

С его числа в сочинении

«Некрасов по материалам Пушкинского Дома», издание Сабашниковых, на стр. 144-й обнаружил портрет певца народного горя Некрасова — с подписью: «Некрасов с фотографии 1879 года». И как бы в подтверждение сомневающимся — на стр. 307-й вновь упомянуто: «Портрет с фотографии 1879 года». По достоверным метрическим сведениям (сообщенным мне протоиереем о. Павлом Щеголевым), певец народного горя Некрасов скончался в 1877 году. Из чего явно, даже для неверующих наподобие Горького, что загробная жизнь доказана фотографически, т. е. научно.

Нотабене: сообщить куда следует

(что бывший князь укрывается под чужой фамилией)

Открытие о том сделано мною совместно с Максимом Горьким. Вчера в сочинении Максима Горького «Детство» я прочел стихи:

И вечерней, и ранней порою
Много старцев, и вдов, и сирот
Под окошками ходит с сумою,
Христа ради на помощь зовет.

Причем Горький сообщает, что означенные стихи писаны (бывшим) князем Вяземским. Однако те же стихи обнаружены мною в книге, называемой «Сочинения И.С. Ни-

китина». Из чего заключаю, что под фамилией Никитина преступно укрылся бывший князь, дабы избежать народного гнева.

Кстати о лошадях

В научно-популярном журнале «Звезда» тоже Никитин сообщает (сочинение «Полет»), что некто Фирсов «про себя невидно, неслышно усмехнулся, этому он научился у лошадей». Эк их! Учителей они каких себе нынче выбирают. А впрочем, лошадь — животное весьма домашнее и в упряжи хорошо ходит, чему от нее обучиться можно с немалой пользой.

Воспоминания о дяденьке

В романе «Хромой Барин» А. Толстого сказано: «Скотница, сидя на скамейке под коровой, доила парное молоко» (стр. 132). В связи с каковым молоком мне вспомнился мой покойный дяденька. Также соблюдал в выражениях большую точность и, бывало, говаривал: «А ну-ка, принеси мне мокрой воды стаканчик».

Нечто для молодых хозяек

Сочинитель Б. Пильняк сообщает, что проездом на ихнем английском корабле он своеглазно видел, как повар «развешивал по утрам соленую баранину для бекена» (журнал «Красная Новь», № 6, 1923 года, стр. 37). Спрошенный мною протоиерей о. Павел Щеголев разъяснил, что «бекен» по-коломенски, или по-английски «bason», означает свиное сало. Так что, несомненно, англичане нынче умудряются готовить свиное сало из простейшей баранины.

Открытие в науке геометрии

10-го сего апреля, при чтении вслух о. протоиерею того же сочинения Пильняка, дошел до места: «...корабль валится ко дну по эллипсическим кругам» (стр. 37), — и гово-

рю: «Как же так, отец Павел? Круг — он круглый и есть, а какой же такой эллипсический круг? Это даже как-то невообразимо». На что получил ответ: «Дурак ты круглый. Открытия могут быть во всякой науке, в том числе и в геометрии». На что в сердцах возразил: «А если нынче у вас круги эллипсические, то, следовательно, и дураки не круглые, а эллипсические». На что о. протоиерей промолчал.

Зверство империалистов

Тот же Пильняк сообщает, что у англичан «матросы с кубрика идут спать в трюм». Это уж даже настоящее зверство так называемых просвещенных европейцев: всякому известно, кубрик и есть помещение, где матросы спят, а в трюм грузят товары. А эти акулы-англичане на ночь загоняют свой несчастный пролетариат в трюм, а кубрик у них остается пустой. Спасибо вам, тов. Пильняк, от лица моряков!

Расхищение народных богатств

К таковым по справедливости считаю нужным отнести нашу великую русскую литературу. Но Антанта простирает и сюда свои цепкие лапы. Так, например, А. Толстой написал пьесу «Бунт машин», а ихний какой-то Чапек из нашей, русской, состряпал свою пьесу «РУР» — и даже спасибо не сказал. Необходимо стать грудью на защиту.

Размышление о прочих планетах

Говорят, что нынче до того додумались, чтоб и на прочие планеты летать. Полагаю, что ложный слух и никаких иных планет, кроме земли, в природе не имеется. Что доказано в сочинении А. Толстого: «Аэлита». Будто бы он попал на Марс, а оказывается, тамошний житель, взлетев, затем «нырнул и пошел у самой земли» — «снизился и пробежал по земле» — «сел на землю». В предупреждение бессмысленных мечтаний считаю сочинение это весьма полезным.

Еще о полетах

В «Красной Газете» от 31-го сего марта, под заглавием «Выпуск аэропланов» прочел: «Гидросамолет плавно и медленно скользит по снежной поверхности. Раздаются крики ура и звуки Интернационала. Самолет, *не поднимаясь в воздух*, делает несколько кругов на своих полозьях по аэродрому и также медленно и благополучно возвращается обратно».

Что благополучно — не удивляюсь. Но почему ура — недоумеваю.

Еще для неверующих

Дочитав до конца ту же книгу «Некрасов по материалам Пушкинского Дома», всю ночь не спал. Этого даже и у меня в мыслях не было, что якобы умершие приходят просто так вот обедать к знакомым, как я к о. Павлу. А между тем! На странице 307-й упомянутой книги засвидетельствован печатный факт, что Некрасов в 1886 году, т. е. через 9 лет после своей земной смерти, присутствовал на одном обеде.

Доложил о том отцу П. Щеголеву; он мне только молча раскрывает книгу «Былое» № 20 — и там на странице 134-й читаю: «28 марта 1881 года он (Александр II, убитый 1-го марта!) записал в своем дневнике...» Действительно, что тут скажешь?

Нечто о размножении человека

А именно, в книге И.Н. Попова «Минувшее и пережитое» о некотором его современнике говорится: «Отца у него не было, а мать, кажется, служила в прислугах». Такой способ размножения с помощью одного женского пола до сих пор известен был лишь в Священном Писании. Полагая, что книга весьма полезна для борьбы с религией.

Последняя новость

В журнале «Хочу все знать» сообщено к сведению, что Казбек и Эльбрус — действующие вулканы. А ведь сколько годов не действовали! Видимое дело — это от японского

землетрясения. Погодя и до того доживем, что из Воробьевых гор вулкан забьет. Нелегкая наша жизнь!

Старец 119 годов от роду

Отходя ко сну вычислил, что известному Бальмонту не менее как 119 годов от роду. А именно, в историческом романе Мережковского про декабристов («25 декабря») Голицын (бывший князь) произносит стихи Бальмонта:

Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить.

В рассуждении, что, стало быть, означенные стихи написаны до бунта декабристов и что Бальмонту было тогда, ну, скажем, годов не менее 20, получается 119-летний старец. А кто бы подумал!

Нотабене: еще сообщить куда следует

У известного Е. Замятина в испанской пьесе «Огни св. Доминика» (альманах «Литературная Мысль», книга 1) обнаружил, что будто бы какая-то испанская девица говорит: «Сеньор алгуасил, вам очень бы пошли капитанские эполеты». Специально справлялся во второй ступени: подтвердили, что в те времена никаких эполет и в заводе не было; из чего полагаю, что про эполеты — это он нарочно, в пику. Прискорбный факт отрицательной идеологии.

Переворот судьбы 16 мая

Сего числа от самой почты летел домой как бы на крыльях Морфея, под ударом мысли, что я причислен к действительным писателям: сверх всяких опасений, моя критика напечатана полностью в уважаемой редакции «Русского Современника», которой мною послано поздра-

вительное письмо¹. И сограждане, которые ставили на вид, что я слишком мнимый об себе человек, теперь реально могут увидеть, что там и я, и также М. Горький. Дорогой Алексей Максимович, дай вам Бог!

Ввиду изложенного решил подвергнуть себя коренному внешкольному образованию в смысле литературы, начиная именно с Пушкина, который есть наш великий поэт, и к тому же 125-летний юбилей. (Нотабене: Пушкин также был напечатан в «Современнике»!)

Нечто о пользе Пушкина²

Полагаю, как бы судьба сунула в мои руки сочинение Л. Сосновского насчет пользы А. С. Пушкина («Правда», № 172), после чего решил окончательно. В литературном значении это есть полнейшая поэзия. Так, например, вроде: «Кто, кроме Пушкина, подставит вам крылья и так вольно и легко направит полет ваших мыслей по любимым картинам природы? Никто!»

Прочитав эти строки, почувствовалось в них нечто как бы мое... Приветствую и присоединяюсь! Онуфрий Зуев.

Сведения из быта А.С. Пушкина

Неоднократно доходившие слухи о происшествиях А.С. Пушкина с лицами женского пола — составляют факт. А именно, приобретены мною сочинения А.С. Пушкина под редакцией В. Брюсова (Москва, Гос. Изд.), где в связи стихотворения «Залог любви» В. Брюсов приводит к сведению мысль Пушкина: «Я принужден сжигать письма той, кого люблю, вероятно, гр. Воронцовой?» Из чего следует, что их (женского пола) столько было, что Пушкин даже и сам не знал толком, от кого письмо и кого... Впрочем, не буду ставить точку над и, по случаю декрета об и.

¹Письмо О. Зуева не печатается, так как подобные поздравительные письма товарищей О. Зуева по оружию (напр., Г. Лелевича) уже появлялись в других изданиях. (Ред.)

²Настоящая заметка О. Зуева печатается в дискуссионном порядке. (Ред.)

Сведения из быта херувимов

Открытие из неизвестного до сих пор быта херувимов произведено также В. Брюсовым при помощи стихотворения А.С. Пушкина «Паж или пятнадцатый год». Под титлом какового стихотворения напечатано изречение по-французски: «C'est l'age de Chérubin», или же — благодаря научности В. Брюсова — то же самое сообщается по-русски в виде: «Это — возраст херувима». Из чего, без всяких, ясно, что возраст херувима есть именно пятнадцать лет¹.

Рассуждение о науке

Кто, например, сядет на трехногий стул, который может даже подкоситься с опасностью для жизни? Никто! Также, полагаю, и в рассуждении науки: она должна быть не менее как на четырех ногах, вполне непоколебимо. В смысле чего считаю примечания Брюсова примером науки. Так, хотя бы про Ломоносова и Державина объяснено кратко (стр. 7): «Русские поэты», что вполне научно. Или, например, А.С. Пушкин запутался и не знал, как начать стих: «Блажен кто...» или «Щастлив кто...», а уважаемый В. Брюсов знает, что надо так: «Блажен кто щастлив». И действительно, кто счастлив — ясно, блажен: ничего не возразишь, т. е. опять вполне научно.

О памяти женского пола

Т. е. что ихняя память короче, как говорят, комариного носа. Если и чему учены, то к сорока годам все как в трубу

¹ Остроумная догадка О. Зуева ошибочна: во французском эпиграфе к этому стихотворению Пушкина имеется в виду пятнадцатилетний паж Керубино, влюбленный в «Севильскую графиню» — у Бомарше. Учитывал ли это В. Брюсов, ни О. Зуеву, ни редакции неизвестно. (Ред.)

вылетит. В смысле чего и понимаю примечание В. Брюсова на стр. 170: «Дама лет сорока, но образованная»¹.

Нотабене: на случай экспромтов

На торжественном 125-летнем рождении А. С. Пушкина я, как писатель то же самое, произнес экспромт в размере четырех стихов. После самообразования полагаю, что это не экспромт: как объяснено В. Брюсовым (на стр. 134—135 и 410), «сомнительные» стихи Пушкина 1817—1819 гг. разделяются на «четверостишия», «экспромты» и «эпиграммы», т. е. всякому ясно, что четверостишие и экспромт — настоящая разница.

Нечто о молодости

Также, кроме науки, получаю бодрость при чтении. Хотя, например, мне стукнуло 40, но читаю (на стр. 341) примечание В. Брюсова, что «Опасный сосед» был написан В.Л. Пушкиным в молодости». Если при помощи арифметики, то В.Л. Пушкин родился в 1770 году, а написал «Опасного соседа» в 1811 г., будучи т. е. 41 года, — стало быть, это есть вполне молодость. Нам, русским, эти самые «омоложения» без надобности.

Еще о науке

Произошел научный разговор, будто это у Брюсова неверно сказано, что А. Ширинский-Шихматов — «плохой драматург», что он будто совсем драматических сочинений никогда и не писал. Возражаю в защиту: потому и не писал, что был плохой драматург, — не за свое дело не брался, и очень хорошо².

¹Такое истолкование О. Зуевым действительно загадочного «но» Брюсова — разумеется, нельзя отнести к нашему времени, когда доступная для всех без исключения наука воспитывает женский ум. (Ред.)

²Неизвестно, на что намекает О. Зуев своей фразой: «не за свое дело не брался, и очень хорошо» — но в основном он не прав. А. Ширинский-Шихматов — довольно плодовитый стихотворец, автор нескольких поэм, но и драм у него нет, и «драматургом» — ни плохим, ни хорошим его нельзя назвать. (Ред.)

Чудо природы

Будто у одной бабы недавно родился черт и на второй день заговорил — про это серьезно опровергалось в наших газетах. Однако вот научный факт, про который подтверждено не кем-нибудь, а двумя г. г. профессорами.

Такие есть у Пушкина стихи под названием: «Ответ А.И. Готовцевой», написаны в 1828 году, по причине присланных Пушкину стихов этой самой Готовцевой. И здесь — удивление. Так как в словаре профессора Венгерова печатно указано, что А.И. Готовцева жила от 1826 по 1828 год, что подтверждено плюс в книге проф. Ю. Верховского «Поэты пушкинской поры» (на стр. 330). Рассуждаю: если, будучи от роду фактическим младенцем двух лет, она уже писала стихи (и которые даже Пушкин одобрял), то вполне просто, что говорить она стала вроде того якобы черта на второй день от рождения.

Еще о черте

Если таковой у кого-либо родится, то как сразу же отличить, что это есть он? К тому вернейший способ сообщается в сочинении М. Гершензона о Пушкине («Голфстрем»), под видом как результат из стихотворения Пушкина «Ангел». А именно, суть между ангелом и демоном (или равно, чертом) состоит в том, что демон «летает, смотрит и говорит» (нотабене: говорит!), ангел же только «сияет поникшей главой»¹.

Примечание в смысле пушкинского «Пророка»

Про этого «Пророка» сколько разного писали, а никому (кроме меня) и в голову не влетело, что там якобы «серафим», а на самом деле он — с рожками и с хвостиком, применив способ Гершензона: и летает (не зря же — шестикрылый), и смотрит, и говорит, и прочее.

¹Для тех, чья стальная логика идет по рельсам уважаемого О. Зуева, сообщается, что с изложенной теорией Зуева редакция не согласна. (Ред.)

Пушкин и наука физика

Читая Пушкина, иногда получается даже самая настоящая наука. А именно, Гершензон («Гольфстрем», стр. 75), на основании Пушкина, сообщает к сведению, что «душевные процессы облекаются в одну из трех форм вещества — либо в газообразную, либо в жидкую, либо в твердую». Полагаю, что это справедливо заслуживает напечатать в следующем издании известной физики Краевича, как бы дополнение.

Нотабене: сообщить в уважаемую редакцию «На посту»

Сего числа получил из Москвы от верного человека, что известный Вячеслав Иванов произвел доклад в Академии Художественных Наук 9 июня сего года, под заглавием: «Пушкин и формальный метод». В каковом докладе объяснил в выражениях: что в стихах Пушкина «спой мне песню, как девица за водой по утру шла» — вода не простая, а якобы есть «живая вода», а девица — есть «царь-девица». Это есть несомненное монархическое самодержавие.

Привет профессору Ермакову

Ввиду приобретения трудов профессора Ермакова под именем «Этюды по психологии творчества Пушкина» размышлял, что это удивительно, что я, например, за 1000 верст здесь, а он в Москве, а как бы один и тот же Онуфрий Зуев — в смысле различных открытий. Так, например, открытие Ермакова, что «александрийский стих — есть стих Александра», т. е. Пушкина.

Рассуждая в том же смысле, полагаю, что город Александрия — есть город Александра, т. е. Пушкина, и здесь вдобавок египетское пророчество о рождении великого поэта земли русской.

Революция в Пушкине

Т. е. в заключение не открытие, а полнейшая революция! А именно, факт профессора Ермакова, что когда Пушкин сочинял «Домик в Коломне», то даже не знал, что он сам (т. е. Пушкин) — мужчина или женщина? — и жениться ли должен или выйти замуж?

В связи чего проект: может быть, никакой «А.С. Пушкин» даже и не существовал, а была «А.С. Пушкина»? Вот тебе и юбилей!

Научный вздох

Ох, трудное это дело — самообразование, сидя как бы в норе за 1000 верст от центров столиц. Хотя бы сего числа — взял книгу Гроссмана «Семинарий по Достоевскому», напечатано Госиздатом. И на обложке, на 3-й странице, читаю, какие еще книги там же изданы:

Бетховен — Опыт характеристики Стрельникова.

Евреинов — Оригиналы о портретистах.

Серов — Опыт характеристики Стрельникова.

Бетховен! Серов! — не кто-нибудь про этого Стрельникова пишет. А мы! никто вроде даже и не слышал про эту всемирную величину. Позор!

Нечто об огне

У соседа, Капитона Иваныча, взял для изучения его орган, под названием «Красная Газета» от 8 сентября сего года. И там новость такая, что прямо мозги врозь:

«Большой пожар произошел в д. 10 по Каналу Грибоедова. В квартире, где начался пожар, вскрыты полы и потолок. Одна из квартир 2-го этажа подмочена огнем».

Подмочена огнем... извиняюсь, не могу поверить! А и не верить — не смею: не какая-нибудь «Биржевка», а вечерняя «Красная Газета». Господи, помоги моему неверию!

Нечто о Пушкине

Это из органа тоже «Красной Газеты» от 17 сентября сего года, статья под заглавием «Забытый памятник Пушкина». И неизвестный автор сообщает новость, что в саду

лица, который на *Каменноостровском*, — «во время перерывов от занятий гулял Пушкин со своими товарищами». В Брокгаузе имеется, что будто в Петербург этот лицей был переведен из Царского Села лет так через десять после кончины Пушкина, однако, полагаю, надо иметь в виду, что Брокгауз есть издание прогнившего старого мира.

По случаю дипломатии

Даже в пот вдарило, потому что это в московских «Известиях» и всемирная величина Стеклов. Статья под именем: «Симптом начала или конца» (№ от 18 ноября сего года) — про ситуацию акул в Америке. И в статье читаю: «Все это только говорит в пользу того, что советская дипломатия должна предусмотреть новый поход и быть подкована на все четыре ноги по-летнему и на шипы».

Ну, будь я дипломатия, — я бы про себя этаких слов даром не спустил!

Еще о науке

Книга «Электрификация», Перельман П. Я., инженер. Госиздат. Москва, 1923. И в предисловии, где перечисляются разные вообще науки, упомянуты «Физика и космическая физика (включая геофизику)». Если в смысле косметики, так неужели они там до того дошли, что даже морды согласно науке раскрашивают?

Нотабене: подписаться на «Жизнь Искусства»

Потому что в этом органе пишут действительно научно, хотя в смысле понятия трудно. Так например, изречение: «Глубоко-социальный базис, подведенный под корень художественного оформления талантливого романиста» (заметка «В Секции Драматургов Л. А. П. П.», № 30). Многие выражают, что я пишу хорошо, но сознаюсь скромно: куда мне — не написать так.

Нечто по поводу Кавказа

Это также из органа «Жизнь Искусства». В № 30 напечатано к сведению, что кинематографические постановки И. Перестиани «неожиданно вскрывают специально-кинематографическую ценность грузинского народа и его страны». Действительно, всякий народ хоть чем-нибудь замечателен.

Успех в промышленности

В журнале «Звезда» № 3, в стихотворении С. Родова, под названием «Коммунэра о Предгубчека», прочтено мною нижеследующее:

Из Туркестана привозят хлопок —
Грязный и сбитый ватный комок,
Чтоб после под зубьями сотен машин
Текло полотно к аршину аршин...

Какие-нибудь там англичане старого мира до сих пор полотно из льна делают, а уважаемый товарищ Родов производит полотно из простейшего хлопка, что не в сравнение дешевле. Этого русского самородка необходимо записать на красную доску.

Еще изобретение

Таковое, полагаю, сделано писателем В. Лидиным. В сборнике «К новым берегам» содержится рассказ Лидина, где упомянуто, что «были посланы две радиоантенны». Когда по воздуху слова посылают — это дело плевое, потому что в слове — сколько в нем весу? А вот ежели дошли, что посылают уже не слова, а тяжелые подобные предметы вроде антенн, — вот это я понимаю, это есть также полная победа нашей техники.

Размышление о конской сбруе

Означенное размышление произошло по поводу рассказа Всеv. Иванова под названием «Как создаются курганы», где напечатано: «Мой приятель заговорил о скифах,

здесь обитавших, о тяжелых бронзовых стременах и удилах их седел». Конечно, Всев. Иванов тут ни при чем, потому как это не он сам, а его приятель заговорил об «удилах седел». Однако из этого получается, какие нынче пошли приятели: только заглядишь — свинью подложат.

Кстати о Всеволоде Иванове

Про него пишут, будто бы у него вроде пристрастия к разным таким выражениям для некурящих. А по мне — Всев. Иванов, как он все-таки мужчина, это ничего, а вот если женщина, да еще заграничная, этикие картинки изображает — это уж даже охально. Например, Клара Фибих, роман «Совиное гнездо», перевод Острогорской (изд. «Петроград»). И в этом романе на стр. 34 читаю: «Стройная, с выбившимися из-под передника волосами, она возбудила в одном из всадников желание...»

Не знаю, как по-немецки, а по-нашему передник есть фартук, и в заключение выходит нехорошо.

Размышление историческое

Взял у Капитона орган московских «Известий» от 31 мая сего года. И там статья «Подземный кремник. Историческая справка И. Стелецкого», где содержится насчет старинных подземных ходов в Москве и что будто «в этих тайниках в годину бед укрывалась старонэпмановская Москва и ревниво стерегла там свои сокровища». Из чего заключаю, что все на свете коловратно, и, например, этот самый НЭП был еще во время Грозного.

Привет безбожнику

Действительно, необходимо истребить религиозный опиум. И спасибо тов. Исакову из «Жизни Искусства» за его борьбу. А именно, в № 32 уважаемого журнала, в своей статье он употребляет: «Гораций, ты сердишься, следова-

тельно, ты не прав». Что необходимо приветствовать, принимая, что в прежнем изречении «Юпитер, ты сердисься...» — есть название бога, хотя бы и не настоящего.

Научное мировоззрение

А именно, в романе писателя А. Грина «Блистающий мир» (стр. 42) прочитал: «Шутки, наблюдения, остроты, гимны — то легкое, лишь спокойному сердцу внятное давление мужского пара...» Из чего полагаю, что у этого писателя действительно научное мировоззрение, что человек есть вроде паровая машина. Однако обратный вопрос в науке: какой действует пар в машине — мужской или женский?

Последняя новость

И опять Капитошка! Такое подсунул, что ум за разум заходит. И откуда, черт рыжий, выкапывает? Принес нынче «Литературную Неделю» № 3 (28) 1923 года, издание петроградской «Правды». На последней странице, в рамочке — под заглавием «Календарь Рабочего». И напечатано:

«19 февраля поистине несчастный день для буржуазии. В этот день в 1473 году родился великий ученый положительной науки Коперник, который опрокинул туманную надстройку лженаучных буржуазных теорий о вращении Земли».

Прочитал я, и Капитошка говорит: «Понял?» А я боюсь понять — «что, говорю, понял?» — А то, говорит, что, стало быть, насчет вращения Земли — это есть гидра, и нынче вращение это отменяется». Батюшки, неужели не врет?

В засеянном телами Коктебеле,

На вспаханном любовью берегу
Мы о незнающих любви скорбели.
Но точка здесь. Я слух ваш берегу.
Под африканским синим небом Крыма
Без ватных серых петербургских клякс
Нагая светит телом Фрина-Фрима,
И шествует, пугая женщин, Макс.

2 мая 1924

Приветствие от месткома покойных писателей

(Отрывок из коллективного текста
Е.И. Замятина и М.М. Зощенко)¹

Отрясенные вторичной кончиной

нашего дорогого покойного Н.В. Гоголя, мы, великие писатели земли русской, во избежание повторения прискорбных инцидентов, предлагаем дорогому Всеволоду Эмильевичу в порядке живой очереди приступить к разрушению легенды о нижеследующих классических наших произведениях, устаревшие заглавия которых нами переделаны соответственно текущему моменту:

1. Д. Фонвизин: «Дефективный переросток» (бывш. «Недоросль»).

2. А.С. Пушкин: «Режим экономии» (бывш. «Скупой рыцарь»).

3. Его же: «Гришка, лидер самозванного блока» (бывш. «Борис Годунов»).

4. М.Ю. Лермонтов: «Мелкобуржуазная вечеринка» (бывш. «Маскарад»).

5. Л.Н. Толстой: «Электризация деревни» (бывш. «Власть тьмы»).

6. Его же: «Тэ-же» или «Же-тэ» (бывш. «Живой труп»).

7. И.С. Тургенев: «Четыре субботника в деревне» (бывш. «Месяц в деревне»).

¹Из статьи Ю. Анненкова «Евгений Замятин» («Грани», 1962, № 51).

8. А.П. Чехов: «Елки-палки» (бывш. «Вишневый сад»),

9. А.С. Грибоедов: «Рычи, Грибоедов» (бывш. «Горе от ума»).

10. Товарищ Островский настаивает на сохранении прежних своих названий: «На всякого мудреца довольно простоты», «Таланты и поклонники», «Свои люди — сочтемся», «Не в свои сани не садись»...

Краткая история всемирной литературы от основания и до сего дня

Часть первая

С подобно многим царствам,

Всемирная Литература возникла среди воинственных кликов, и дыма пожарищ, и мечного звона в дни, когда пред силою железа склонились многие могущественные властители. Один из них, именем Зиновий, первым принес жертву богам завоевателей, после чего тотчас был поставлен ведать сокровищницей Августа Максима, но жертва его, как мы впоследствии узнаем, была не от сердца, и в душе своей он затаил месть.

Август Максим заложил основание царству на Невском, 64, и первый год его правления был явно благословлен богами. Из окрестных пустынь ежедневно притекали многочисленные караваны переводчиков и, раскинув пестрые шатры, торговали плодами своих земель, получая по 250 бумажных сиклей за лист, чего в те древние и изобильные времена с избытком хватало на приобретение одного фунта хлеба. Влекомые слухами об изобилии, стекались во множестве ученые мужи из готских, франкских, халдейских, вавилонских, индийских, египетских и иных стран.

Два юных менестреля, оставив тлетворный обычай писания стихов о прекрасных дамах, ежедневно составляли азбуки для просвещения покоренных Августом диких племен. Два корифея Дионисовых плясок, забыв о жертвах неистовому и прекрасному богу, явились во дворец Августа, смущая ученых мужей видом украшенных виноградными листьями тирсов. И наконец, пришел человек из страны, где удивленный чужеземец видит у граждан не языки, но смертоносные змеиные жала, что составляет

там гордость равно старцев и юношей. Человек этот, именем Корний, пришедши на Невский, 64, знаком показал, что желает принести жало в жертву богам, после чего все-народно изъято у него было жало, а в уста ему вложен был язык некоего благостного и доброго старца.

Так в первый год правления Августа Максима процветала земля Всемирной Литературы, добродетель и любовь к отечеству была велика, поля и жены равно плодородны.

Но уже три бледные Сестры, прядущие нити человеческих судеб, усталые, задремали, перепутались нити, и над благодатной страной нависла туча неожиданных и ужасных событий. Первым же из них была жестокая месть сказанного выше Зиновия.

Был великий и светлый день: исполнилось 50 лет Августу Максиму, и все племена Всемирной Литературы, многоголосые и разноречивые, как весенний лес, собрались на Невском, 64, дабы оказать Августу надлежащие почести. Весь день звонили медные языки колоколов и людей. Мужики, жены и дети длинной чередой подходили и возлагали цветы и ветви у подножия статуи Августа и подносили ему для благословения младенцев обоего пола, и в золотых кадилльницах курили ему фимиам. От синих благовонных дымов многие лишались сознания, но и лишенные сознания продолжали говорить, так что никому не заметно было странное действие этих волшебных курений, и никто не видел, как из-под тоги вынимал Зиновий исписанные арабскими цифрами кусочки папируса и клал их в кадилльницы.

Когда же настало утро и дыхание розовоперстой Эос прогнало дым, то все изумленно увидели незнакомые стены, шкафы и диваны и спрашивали друг друга: «Где мы?» — и опоясанный мечом привратник Михаил отвечал: «На Моховой, 36». С воплями и рыданиями бросились на Невский, 64, но здесь в дверях встречал их Зиновий и, зло торжествуя, спрашивал: «Вам кого? Здесь издательство Гржебина». И с ужасом узнавали, что силою чар и волшебных курений пленен Август Максим.

С того дня уже не видели больше Августа Максима во Всемирной Литературе, и власть принял некий юноша, 35 лет или более, именем Тихон. Правление этого нового цезаря было обильно многими происшествиями и бедами. Юноша этот рожден был под знаком Скорпия, о рожденных же под Скорпием так сказано в гороскопе Брюса: «Сей есть природы и естества Скорпия, студен и мокр, наклоне-

ния же Марса, сиречь непрестанен и немирен, тело свое украшать охотник, и помышления его к великой любви жен, но не весьма плодороден; счастье имеет купить и продавать; смерть же его будет от дьявольского привидения или от деяний женских».

Под темным знаком Скорпия — скорби и скудости — текла жизнь на Моховой, 36, и происходили многие вещие знамения. Когда заседали мужи Совета, внезапно погасали светильники как бы от ветра. Каждый пятый день недели неведомая, в черных вретницах, женщина неслышными шагами проходила сквозь закрытые двери — и за нею, так же неслышно, священное и злое животное египтян — кошка. И, поднятые невидимой рукой, на глазах у всех исчезали папирусы и книги.

Вслед за знамениями и видениями явилась болезнь, дотоле неведомая и получившая теперь название Дельфской, по имени оракула в Дельфах. Пораженные этой болезнью мужи Совета истекали словами, как истекает кровью воин, насквозь пронзенный звонко летящей стрелой. А затем начался голод и мор, и опустели сокровищницы цезаря, несчастно рожденного под знаком Скорпия. Женщины из племени переводчиков толпами приходили к цезарю Тихону и протягивали к нему младенцев, рожденных в изобильные времена Августа Максима, и, раздирая на себе одежды, обнажали перед Тихоном иссохшие груди и требовали денег. Он же платил им по 25 000 бумажных сиклей за лист, но даже и одного фунта хлеба нельзя было купить на них, ибо были там обозначены письма кушитские, хамитские и иудейские, и, опасаясь наказания от подлинных богов за нечестие, никто не хотел брать этих сиклей и менять их на хлеб.

И вот однажды ночью проходил Тихон между освещенных зеленым серпом Дианы и молчаливых стен, когда из зеленого сумрака вышли, подобно дочерям Горгоны, переводчицы и потребовали не языческих, но истинных денег. С привычной твердостью цезарь отвечал им: «Завтра», — и тогда переводчицы кинулись на него и, ударяя его железными посохами нещадно, переломили ему ногу. И лишь наутро Тихон был поднят шедшими к источнику за водой и перенесен во дворец. Но о происшедшем цезарь строго запретил разглашать, и лишь немногие знали, как сломана была его нога. Народу же сказано было, что сломал ногу цезарь, упав с колесницы.

После этого происшествия началось запустение и уныние и еще больше скудость во всем. Охладел пепел перед алтарями богов, в портиках храмов пауки невозбранно плели паутину, и лишь в храме Весты, как прежде, пылал ярко огонь, рачительно блюдимый Евдокией, верной служительницей Богини.

Тем временем смятение и страх вошли даже в защищенные железной мудростью сердца мужей Совета. И вот один из них, именем Браун, что значит темный или коричневым, явился к цезарю Тихону и сказал ему так: «Скудость в нашей земле, проклятой от богов, и вся жизнь наша под знаком Скорпия. Дай мне сиклей, и привезу тебе товаров из Готских стран». И, облобызав, отпустил его Тихон. И каждый вечер, когда Феб окрашивал кровью своей весь запад, восходил Тихон на стены, и с ним истомленные жены и мужи, и все, приложив ладони к глазам, смотрели с надеждой вдаль: не закружится ли пыль под копытами коней, везущих Брауна из Готской страны, но по-прежнему дорога была желта и пустынна.

Тогда пришел к Тихону другой муж Совета, именем Левинсон, что значит из великого колена Левия, и сказал Тихону: «Нет прощенья Брауну. Дай мне сиклей, и я поеду в Готские страны, чтобы привезти оттуда товаров и Брауна, заковав его в железа». И, облобызав, отпустил его Тихон. И каждый вечер, когда из желтых становились розовыми камни на стенах, все восходили и с надеждою смотрели вдаль, но никого не было видно.

Тогда пришел к Тихону третий муж Совета, о котором знали, что зачат он был под виноградною лозой, и сказал Тихону, что поедет в Готские земли и привезет товаров, и Брауна, и сына Левия, надев на них цепи. Облобызав, отпустил его Тихон. Но и этот, подобно двум прочим, не вернулся, прельщенный мерзкою красотою готских жен. Узнав о том, Август Максим, преодолев силу волхвований Зиновия, сам пришел к Тихону и сказал ему так:

— Нехорошо. Я поеду в Готские земли и привезу в оковах Брауна, и сына Левия, и зачатого под виноградною лозою, и товаров.

И, уехав, также не вернулся, прельщенный готскими женами.

Тогда, скорбный и томный, как дерево с почерневшей от ледяного Борея листвой, пришел Тихон в храм Весты,

где по-прежнему ярко пылал огонь, поддерживаемый верной Евдокией. И, низко поклонившись, сказал ей цезарь:

— Ты одна неизменна, — и щедро вознаградил ее.

И одному из немногих оставшихся мужей Совета сказал:

— И ты неизменен, да будет благословенно имя твое, Серебряный Лебедь, — ибо имя его было Сильверсван, что значит Серебряный Лебедь.

Серебряный Лебедь отвечал Тихону:

— Так, цезарь, неизменен я, как серебро, и чисты мои помыслы, как лебединые крылья. Мне верь. Дай мне сиклей, и я привезу от готов Брауна, и сына Левия, и зачатого под лозой, и Августа Максима. И клянусь: завтра утром увидишь меня здесь — и их со мною.

И, облобызав, с спокойным сердцем отпустил его Тихон, и с спокойным сердцем пришел утром на Моховую, 36. Но, входя, почувствовал: зимним холодом повеяло на него. И увидел: покрытый пеплом алтарь строгой Весты, и лежит на полу развязанный пояс, и узнал Тихон пояс Евдокии, и спросил:

— Что значит это? И где Евдокия?

Отвечали ему с рыданием и воплем:

— Ночью сегодня Сильверсван и с ним тридцать всадников ворвались в храм Весты, и Сильверсван, связав нас, похитил прекрасную Евдокию.

И затворился Тихон, и пробыл у себя весь день и всю ночь, и никто не видал его. Когда же вышел, то был он уже не юноша, но зрелый годами муж, и так сказал народу:

— Храните мудрость мужей и целомудрие жен. Мне же внушено богами самому пойти в Готские земли и, разрушив чары готских жен, привезти назад Брауна, сына Левия, и зачатого под лозой, и Августа Максима, и Серебряного Лебеда, и прелестную Евдокию.

Народ же и мужи Совета растерзали на себе одежды и восклицали: «Горе нам. Горе», — ибо знали, под Скорпием рожден Тихон, и суждено ему погибнуть от деяний женских, и не было случая, чтобы изрек ложь гороскоп Брюса. И каждый вечер восходили на стены и смотрели вдаль, но желта была даль и пустынна, и не вернулся Тихон, опутанный золотыми сетями, ибо как бы из золота волосы у готских жен.

Как младенец привычным ртом припадает к материнской груди, хотя бы и не было в ней молока, так и мужи Со-

вета, лишившись цезарей, все же заседали привычно в опустелых чертогах на Моховой, 36, хотя не было здесь ни продажи, ни купли, и не оглашались стены пестрым, разноязычным говором переводчиков. И в эти последние дни восстал среди мужей Совета один, именем Василий, что значит Цезарь или Князь, ибо был он, как обнаружилось позже, князем многих китайских и иных племен. И, наученный восточными демонами, стал этот муж проповедовать некий новый язык, соблазняя всех вместо Теккерей говорить Сакры, вместо Соути — Сазы, вместо Перси — Песы, вместо Бернэй — Бены. И в простоте все многократно повторяли за ним эти страшные слова, не ведая, что это имена подчиненных ему китайских и иных племен, сильных чернокнижием и волхвованием, и одним лишь словом обращающих дев в жен и производящих смертельный смех и великие неистовства.

И вот, призванные силой заклинания, в белый и тихий вечер 25-го декабря Моховую, 36 несметными полчищами осадили Сакры и Сазы, Шанзы и Песы, Бены, Серапионы, хвостатые и пестрые, иные о трех ногах, иные с четырьмя глазами, иные в звериных шкурах, иные же почти без одежд, и ворвались в священные стены, и разрушили установленный богами порядок шкафов и стульев, и началась варварская музыка, и скаканье, и бесовские игры, и мужи Совета, забыв о чадах и о всех постигших отечество бедах, искали забвения в вине и в объятиях чужеземных женщин.

Так кончился третий год в землях Всемирной Литературы. Четвертый же начинается сегодня, и чем он кончится — ведано лишь троим бледным Сестрам, управляющим судьбами людей, и царств, и самих Богов.

Евг. Замятин
25 декабря 1921 г.
СПб.

Часть вторая

Ме времена, о каких мне ныне должно повествовать вам, — времена изобилия, но равно и времена сатанинской волшбы, восстания лжепророков, великих бедствий и знамений небывалых. И как некогда великий Равви изгнал торгующих из храма, так теперь, в отмщение, тор-

гующие изгнали его из храмов, разнося звон бумажных сиклей и неистовый шум торговли всюду — даже в тихую доселе обитель Всемирной Литературы.

Народами же Всемирной Литературы продолжал тогда править цезарь Тихон из рода финикийских купцов, отчего ум его был остр в торговых делах. А старейшим в Совете был мудрый Иоаким бен-Леви, деливший свою жизнь поровну между изучением священных книг и созерцанием танцев прекрасных дев из Бактры, Дакии, Вавилона и Шебы. Ибо от крутовращения — учил он, — подобного круговращению семи небесных сфер, и дух, вращаясь, дионисийски возносится к небу. И еще так говорил он: «Когда взираешь на плавные приседания танцующей девы, то ощущаешь ясно, как по хребту струится ток некоего драгоценного растительного масла».

Изречение это запало в финикийскую душу цезаря Тихона, и он, никому не сказав, в непрестанных заботах о Всемирной Литературе умыслил некоторую хитрость.

Подкупив рабыню в Яслях Искусства, как прозывался дом Иоакима бен-Леви, цезарь Тихон проник в его спальню. Здесь он совлек с себя одежду, прикрепил крылья к ногам и, как надлежало, фиговый лист — занял на пьедестале место Меркурия, ибо он был во многом сходен с предпримчивым богом.

И вот в таинственный час, когда Диана возносит в небо холодный, как ее сердце, серебряный щит, — дверь за скрипела, и бледный, изнеможенный великим зрелищем танцев — вошел мудрый Иоаким, неся в руках некий сверток, обернутый темной тканью. Не дыша ждал цезарь Тихон, что произойдет дальше, и глазам его представилось зрелище поразительное. Иоаким бен-Леви осторожно развернул ткань и вынул оттуда прозрачную хрустальную амфору, полную драгоценным растительным маслом. Затем, перейдя с амфорой к ложу, он откинул исписанное письменами покрывало — и внизу, под ложем, цезарь Тихон узрел сокровищницу мудрого Иоакима: целые ряды сверкающих от огня амфор. Цезарь Тихон, забыв, что он Меркурий, с своего пьедестала воскликнул: «Иоаким, Иоаким! Отныне я знаю источник твоих богатств».

Устрашенный тем, что дотоле безмолвная заговорила статуя бога, — Иоаким бен-Леви поспешно скрылся. А цезарь, поставив на место статую и захватив с собой сколько

мог амфор драгоценного масла, вернулся к себе во дворец на Моховую.

С того именно дня началось изобилие во Всемирной Литературе. Продав часть масла Иоакима бен-Леви, цезарь Тихон купил хлеба, одежды, обуви, геркулеса — и в летние, налитанные болотистой пылью и тишиной вечера Моховая оглашалась звонким ржанием нагруженных онагров и веселыми разноязычными песнями народов Всемирной Литературы. Тем же драгоценным маслом цезарь Тихон умащал дотоле непреклонных властителей страны Госиздата, где, как известно, среди людей и подобно людям разнообразные деревья ходят, живут и говорят, осеняя всех тенью. Так установлена была мирная торговля даже с этими, обитающими среди скал, воинственными племенами.

Но не от труда и благочестия, а от волшбы Иоакима бен-Леви и коварства цезаря Тихона произошло это богатство, и вскоре обнаружилось, кто невидимо управлял как описанным, так равно и всеми следующими происшествиями.

Был вечер. Солнце, умирая, закрыло лик свой пурпурной тогой, как некогда Гай Юлий — чтобы не видеть кинжал предателя Брута. В обагренном солнечной кровью покое заседали мужи Совета. И вот встал один из них, по воле Рока носивший имя, подобно звучащее имени Брута — Брауд он звался, — и сказал им:

— Благородные мужи. Благо отечества прежде всего. Я и мой друг Амадеус Гофман — предлагаем вместо драгоценного, но неизвестным путем добываемого масла — изготавить и продавать эликсир сатаны.

Как неразумная птица не может раскрыть ореховой скорлупы и вынуть ядро, так ослепленные богами мужи Совета не могли снять скорлупы с этих слов нового Брута и увидеть то ужасное, что было внутри, но лишь неразумно состязались в том, как назвать эликсир: эликсир сатаны, эликсир дьявола или же эликсир черта. И каждый из них всю свою долгими ночными бдениями приобретенную мудрость расточал лишь затем, чтобы, опорочив сатану и оклеветав черта, — превознестъ дьявола. И когда старейший в Совете — Иоаким бен-Леви возгласил: «Кто за дьявола?...» — мужи Совета как один подняли руки.

В тот же момент нос у называвшего себя Брауд загнулся клювом, на глазах у всех этот муж Совета вытянулся под потолком, затем — как над рекою купающийся —

склонился над чернильницей, простирая сложенные руки, и нырнул головой вниз — так что снаружи торчали лишь две тонкие — и все тоньше — ноги, превратившиеся в обыкновенные обгрызенные ручки для письма.

— Он отправился домой, — сказал ослепленный, как и все, Иоаким бен-Леви и спокойно первым — взял из чернильницы ручку и скрепил протокол, предающий Всемирную Литературу во власть дьявола. Едва лишь Иоаким бен-Леви поставил точку, как с легким, но все же явственно слышным стоном опрокинулось навзничь солнце, забрызганное кровью и хлопьями снега, кружась, посыпались неслыханные события и соблазны.

Наутро цезарь, взяв с собой, по обычаю, драгоценного масла, отправился в каменистые горы Госиздата. Среди мужей Совета в то время был один, носивший греческое имя Эвгенес, что значит благородный, ибо родом он был из счастливых греческих провинций. По странной игре случая, сказанный Эвгенес и цезарь Тихон — лицом и всем телом даже до последнего — были совершенно подобны друг другу. Был же Эвгенес набожен, не знал ни вина, ни языческих ночных бдений, ни прельстительных женских уст, но лишь писал благочестивые и поучительные истории, служа примером для многих.

В то самое время как цезарь покинул страну, Эвгенес, идя в храм, услышал, как дьявол, принявший образ привратника Михаила, приветствовал его так: «Да живет цезарь!» — и тотчас же злое семя, запав в душу Эвгенеса, разрослось дремучей чащей, населенной сатирами и дриадами.

Вернувшись из храма, Эвгенес вошел во дворец цезаря через триумфальный устланный пурпуром вход, и стража — как перед цезарем — склонилась перед ним знамена. Даже вернейшая из домоправительниц цезаря — Фидея, что значит Вера — по воле богов не увидела, что это не цезарь, но лишь коварно похитивший вид цезаря Эвгенес.

Войдя и дерзко воссев на трон цезаря, Эвгенес принимал послов, творил суд и щедрой рукой расточал казну — ибо не он собирал ее. Многие прекрасные женщины приходили в те дни во дворец и спрашивали: «Здесь ли цезарь?» Фидея отвечала им: «Здесь», — и проводила их в покои цезаря и ревностно охраняла двери, ибо знала, что приходили те женщины, чтобы дары свои и любовь при-

нести цезарю, но не знала, что Эвгенес коварно похищает принесенное цезарю.

Как игрок, распаленный удачей, все смелее и смелее бросает кости, так Эвгенес, наущаемый дьяволом, простирает дерзость свою все дальше. И вечером однажды, омывшись благовонной водой, этот святотатец вошел в цезареву опочивальню, где, окруженная рабынями, перебирая струны греческой лиры, на одиноком ложе тосковала жена цезаря.

— О мой цезарь, — воскликнула она, простирая к нему руки и все свое тело. — Ты вернулся неожиданный, но тем горячее бьется мое сердце. Вот, посмотри.

— Да будет благословенно твое сердце, — отвечал Эвгенес и преступною рукою похитил биение из сердца.

И неизвестно, что было бы дальше, ибо, по сказанному, Эвгенес во всем до последнего был подобен цезарю Тихону. Но в этот опасный миг в опочивальню вошел подлинный цезарь, только вернувшийся из суровых гор Госиздата.

Вскочив, во гневе, жена цезаря — голосом, медно звучащим, как боевая букиина, — сказала:

— Кто ты, дерзкий, осмелившийся войти ко мне, когда здесь цезарь со мною?

Цезарь же Тихон отвечал:

— Безумная, или ты не узнаешь меня, супруга своего и цезаря? Вот сандалии мои, еще серые от праха пустынь, ибо только сейчас я из гор Госиздата и, даже не сменив одежды, стремился к тебе.

Эвгенес же сказал:

— Не внимай словам дерзкого, хитростью желающего похитить твою любовь. Вот руки мои — они еще в чернилах: клянусь, ими я только что подписывал там, наверху, имя цезаря.

С рассеченным надвое и истекающим кровью сердцем жена цезаря, рыдая, воскликнула:

— Горе мне. Которому же из двух мне отдать объятия, не совершая ужасной ошибки?

На что Эвгенес, по наущению дьявола, сказал:

— Наибольшей жестокостью будет, если ты откажешь супругу в том сладком отдыхе, ради которого он спешил по горам и пустыням. Поэтому я полагаю, ты лишь в том случае с уверенностью избежишь от ошибки, если отдашь свое сердце обоим.

Но цезарь, обнажив меч, возразил с гневом:

— Довольно. Эту ночь ты будешь одна. А завтра я созову мужей Совета, и ты увидишь, кто из нас цезарь. А ты, Эвгенес, завтра увидишь свое последнее солнце.

Это жестокое слово цезаря Тихона исполнилось, но по-иному, ибо сами боги взяли меч в свои руки, чтобы поразить подписавших договор с дьяволом.

В ту темную ночь с грохотом сдвинулись хрустальные небесные сферы, не иссякая лил дождь и песок на землю; листья и камни, предупреждая, всю ночь непрестанно шептали одно и то же какое-то слово. Но никто его не услышал.

И никто не услышал, как в Капитолий Всемирной Литературы вторглись чужеземные воины. Первым же, к кому они вошли, был коварный Эвгенес. Войдя к нему, его, обнаженного, подняли с ложа и спросили:

— Кто ты и что делаешь?

Эвгенес отвечал:

— Если вы ищете цезаря — я не цезарь. Я лишь пишу благочестивые и поучительные истории.

— Мы хотим знать, чему ты поучаешь. Читай.

И обнаженный Эвгенес читал им, а воины слушали, вложив пальцы в нос, что было в их стране знаком презрения. А затем сказали:

— Где же твое благочестие? Ты не пишешь слова единого хвалы нашим истинным кумирицким богам и их статуям. Возьми с ложа подголовье твое и покрывало и иди в темницу: там будешь жить, пока не познаешь истинного благочестия.

И всадили его в темницу.

Затем вошли в дом к другому мужу Совета, именем Игнотус, что значит неведомый или на неведомых языках говорящий, ибо в обширных землях Всемирной Литературы правил он арабскими и халдейскими племенами. И, увидав у него всюду во множестве арабские письмена, так сказали ему:

— Как смеешь ты, нечестивый, молиться иным, нежели нашим кумирицким богам и их статуям?

На что Игнотус отвечал:

— Не молитвы это, но лишь амантные стихи шейха Абу-Темана.

Воины же, в знак презрения вложив пальцы в нос, сказали ему:

— Мы не знаем твоих мерзких арабских письмен. Возьми покрывало твое и подголовье и иди в темницу: там

будешь, доколе не научишь нас мерзким арабским письмам, дабы могли мы увериться, что ныне не лжет твой коварный язык.

И всадили его в темницу.

И пришли к третьему мужу Совета, именем Корний.

Когда пришли воины к Корнию, он в страхе, невзирая на седину своих волос, внезапно размножился и — как боевыми колесницами и катапультами, окружив себя двенадцатью своими детьми — жалобно закричал:

— Ужели, о жестокие, хотите вы гибели этих нежных младенцев!

И сделал тайный знак одному из младенцев, который, повинувшись, начал петь воинам свои стихи, сочиненные им накануне. Засунув пальцы в рот, что в их стране служило знаком одобрения, воины долго слушали. Затем, убаюканные сладкой музыкой, задремали. Корний же, взяв жену и младенцев, скрылся в темной ночи и проводил с тех пор жизнь, скитаясь в отдаленных лесах.

Меж тем разверзшееся ложесна небо все еще изливалось черным дождем, молнии перекрещивались, как бы зачеркивая славную историю Всемирной Литературы. Цезарь же Тихон пламенел несправедливым гневом на невинную супругу — если правильно только назвать супругу невинной. И во гневе приказал он зажечь все светильники наверху во дворце, приказал принести зажигающих кровь асийских вин и призвать танцовщиц Иоакима бен-Леви. Не внимая мольбам казначейщика Кателлана, он горстью брал золото по курсу Госбанка и кидал его женщинам, а те перед ним кружились, маня его глазами, губами, мерной музыкой своих бедер. От взвешенного вихря одежд их тухли светильники, черное лицо ночи прижималось к окнам, гром, сотрясая стены, предвещал небесный гнев, а неистовый цезарь Тихон, ища забвения, пил вино уже не из чаши, но из полных до краев уст.

И здесь свершился над ним суд богов. Некая женщина, приняв на время насекомый вид, ужалила его в губу. Опыленный винами и грехом, Тихон ничего не заметил.

Но вот — бледное, как бы от ужаса, утро. Пробудившись среди поваленных на пол светильников, разбросанных по полу яств, опрокинутых чаш, цезарь крикнул раба. Раб вошел, но только лишь взглянул в лицо цезарю, как, не в силах сдержать себя, — засмеялся, зажимая рот рукой. Разгневанный цезарь приказал взять его и казнить. И по-

звав Фидею, что значит Вера, ибо до того часа была она вернейшей, — ей сказал:

— Или уже не цезарь я? Взгляни мне в лицо.

Фидея, взглянув, засмеялась громко и убежала вон.

Еще не зная, но уже предчувствуя нечто недоброе, цезарь спустился вниз к супруге и так сказал ей:

— Вот я, супруг твой. Теперь, при свете Феба, ты узнаешь ли меня?

Но супруга, взглянув в лицо ему и громко смеясь, отвечала:

— Мой цезарь был подобен Фебу. Ты же... взгляни на себя, жалкий лжец.

Цезарь схватил из рук ее серебряное зеркало — и увидел, что губа у него распухла, как чрево женщины, носящей в себе дитя. И не зная, что Эвгенес уже в темнице, цезарь вскричал:

— Ты победил, Эвгенес.

С того часа овладела им болезнь, поразившая некогда Ирода: каждая часть его тела — все вместе и всякая по отдельности — чесались неистово и от малейшего прикосновения росли, подобно тесту, заквашенному искусной хозяйкой. И вскоре обилием и размерами членов своего тела превзошел цезарь даже Лукуллова друга Павла, называемого также Елисеем. А снаружи меж тем все громче неистовый грохот, и вой волн, и вопли народа. Как человек, выпивший чрезмерно вина, бежит, рыча, качаясь и сбрасывая с себя одежды, так упившиеся дождем воды Невы вырвались из гранитных одежд и, сокрушая все на пути, катились по улицам — и вот уже шипят и пенятся на Моховой. В страхе народ звал богов и звал цезаря. Цезарь вышел и, еле шевеля набухшей губой, с обычным величием произнес:

— Фя здесь. Фя с фами.

Но никто его не узнал — и он, в отчаянии, закрыв лицо плащом, замешался в толпу и вместе со всеми слушал, как выли в тысячи труб аквилоны, смотрел, как волны, подобно бешеным быкам, с разбегу бились лбами в стены дворца.

И вдруг увидел: вскипела белая борозда, как бы след от невидимой галеры, из самого чрева волн — грозный водяной фонтан вверх. Затем всенародное — ах! — и на Мохо-

вой вынырнул из воды кит, разинул ужасную пасть еще шире — и изрыгнул в воду некоего человека.

Человек этот, вида дикого и необычного, фыркая, выплыл, ухватился за блестящую, как мокрая сталь, спину кита, влез на чудовище и, бия себя в грудь, закричал:

— Я пророк Божий Иона. Горе тебе, блудница вавилонская. Горе тебе, нечестивая многоязычица. Горе тебе, не знающая истинного Бога. Я послан от Иеговы, чтобы возвестить тебе гибель. И вот, по воле Божьей, кит поглотит тебя.

Тогда, осеня себя крестным знамением, цезарь Тихон вышел и сказал киту:

— А ну попробуй.

Поощряемый сверху пророком, кит разинул огромную, дышащую смертельным холодом пасть, ляскнул зубами, схватил руку цезаря Тихона... В груди у каждого остановилось, как бы на краю пропасти, сердце. Вот уже заглотил обе руки, вот скрылась голова — и вдруг кит закашлялся, поперхнулся и извлек Тихона обратно. Ибо пораженный, по мудрости богов, спасительной болезнью, был цезарь Тихон размеров нечеловеческих, превосходящих даже размеры Павла, именуемого Елисеем.

Народ ликовал. Пророк во гневе ударил кита ногою, вновь спрыгнул в воду и стал входить обратно во чрево кита. Когда же видна была одна его голова, он, грозя рукою, прокричал:

— Горе тебе, горе. Мы еще вернемся.

Вернутся ли они или нет — о том знают лишь Парки, держащие нити человеческих судеб. Пока же восплещите и возрадуйтесь, ибо счастливой болезнью и мужеством цезаря Тихона спасена была от врагов земля Всемирной Литературы,

Евг. Замятин

25-XII-1922—7-II-1923

СПб.

Часть третья и последняя

Слопали!

По неграмотности +

Е. Замятин

16-XII-1924

Эпитафии 1929 года

К. Федин

О путник! Здесь злодейство совершилось.

Мутится ум, рука моя дрожит,
На камне еле пишет острый стилос:
«Здесь брат, убитый «Братьями», лежит».

М. Слонимский

Гордись, серапионов народ!
От «среднего» до великого — только шаг:
Член Совета — еще выше — и вот —
В мавзолее погребен его прах.

М. Зощенко

Он мог Наполеоном стать,
Но все мы — злой судьбы игрушка:
Не полк, не армия, не рать —
Дана ему одна лишь «Пушка».

Н. Никитин

Прохожий, да побойся Бога,
Прочти надгробный сей запрет:
«Здесь останавливаться строго
Запрещено: здесь спит полпред».

И. Груздев

За добродетель он от Бога награжден:
Всю жизнь постился он, всю жизнь терпел нужду,
Всю жизнь питался горьким он —
Скончался от рожденья на восьмом пуду.

Н. Тихонов

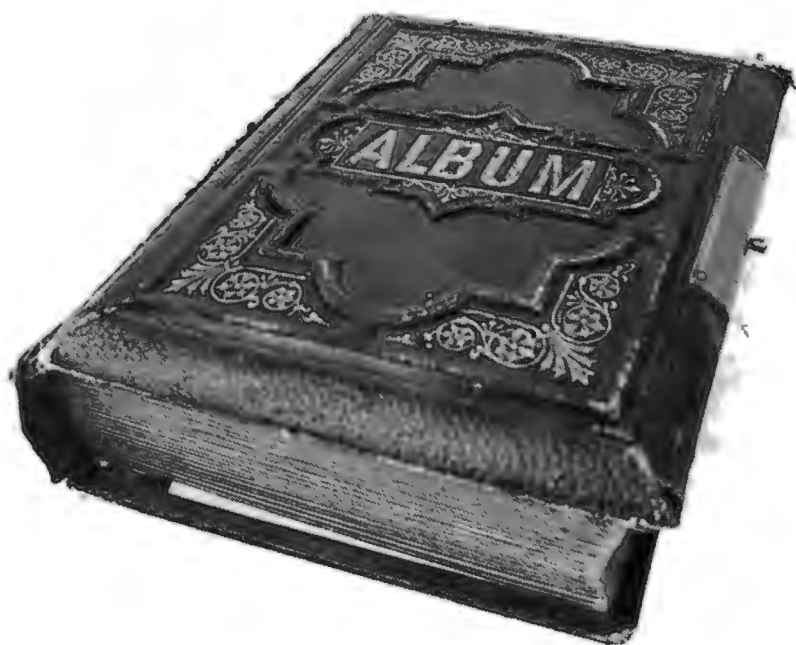
Рискованно сказать: человек.
Молитесь за него, Флор и Лавр:
Средь братьев он один (имя рек)
Подкованный жил брат-кентавр.

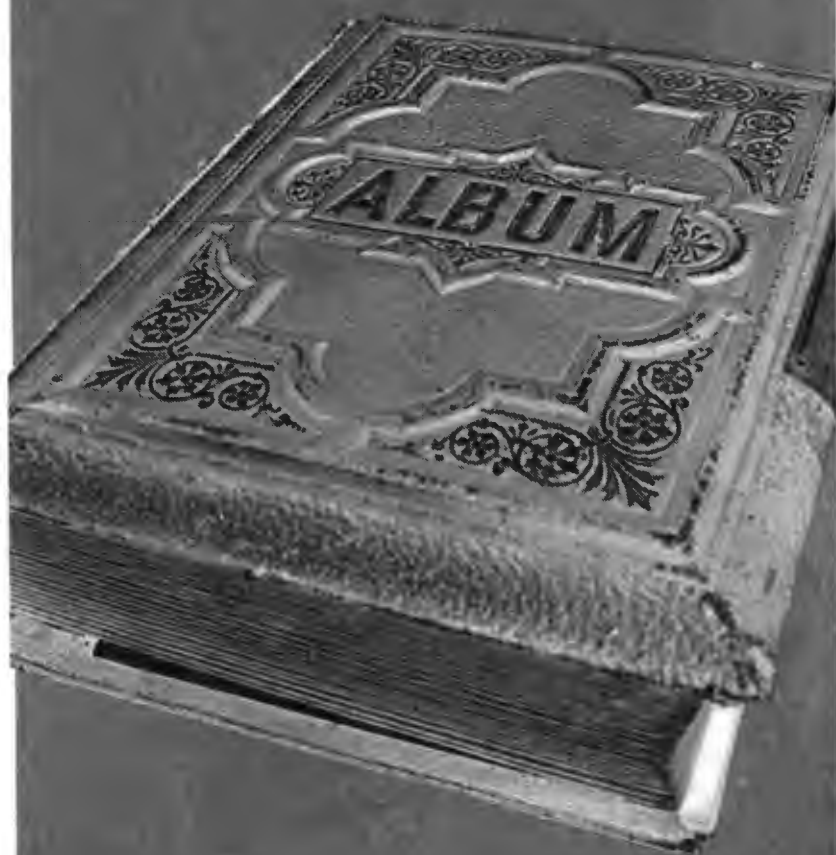
Е. Полонская

Плачьте все, стар и млад:
Здесь опóчил от скорбей
Серапионов брат
Елизавет Воробей.




Из записных
книжек





От составителя

Мы умышленно не датируем каждую запись, поскольку Е. Замятин делал заметки в одних и тех же блокнотах в разные годы. Скажем, записи 1914 года могут соседствовать с заметками 20-х или 30-х годов. Восстановить их последовательность с научной точностью в настоящее время практически невозможно.



Стоит девочка на углу, плачет навзрыд. Беленькая, лет 9—8. Дама подходит к ней — так жалко. Погладила по головке ласково:

— Ты чего, миленькая, плачешь, а? Обидел кто? А?

Девочка обернулась:

— А тебе што? В морду хошь?..

* * *


«Не могу же я бросить насиженный кусок хлеба», — писал виленский гражданин.

* * *

Мужик привез себе рояль. В дверь избы не входит: не рубить же дверь? Отпилили бок у клавиатуры.

— Да ты что же то делаешь?

— А что? Там еще осталось довольно — ребятам хватит.



* * *

По деревне слух идет:
Вшей всех взяли на учет,
Стали баб учить читать,
Чтобы вшей могли считать.

* * *

Подрядчик К-й строит дом. Водил княгиню на леса и снизу поддерживал ее под локоть — вытягивал руку все выше и наконец:

— Извините, ваше сиясь, рука вся вышла-с.

Он же говорит:

— О, это человек. У него денег — несколько, — палец вверх, — куры не клюют.

Или:

— Все сделано-с следующим образом, как подобает.

* * *

Слух прошел, что в соседней деревне появился «тайный агент».

Так он и сам о себе говорит:

— Коммунист и тайный агент.

Перепуту было. Потом глядь, тайный-то агент Федька Шелуха, Матрены Кривой сын из Страшниц. Ну, тут уж по-другому. И бумагу из волости так и написали: «Федьке Шелухе...»

* * *

Оратор приехал. Оратор должен говорить перед спектаклем.

Вышел, высморкался трубно.

— Ну вот, значит, товарищи, как я, стало быть, имею мандат говорить, то я должен вам сказать... — еще раз трубно. — Как мы, стало быть, собравшись в нынешний день, как таковой, то я желаю вам от всей души самого наилучшего в текущий момент.

* * *

И речь заведующего отделом Компроса на открытие съезда шкрабов:

— Вот, товарищи, я прибыл к вам с вокзала. Исполняя

обязанности борьбы со спекуляцией, мною реквизировано 5 пудов яблок: 2 — антоновок, 1 — молдаванки и прочие — летних сортов. Вчерашнего же числа мною представлено в Комдезертир 4 преступно покинувших славные посты в рядах нашей доблестной Красной армии — при следующих обстоятельствах...

И ни слова о просвещении. Ни разу не был в школах.

* * *

Объявление в Исполкоме:

«Граждане не умеют вести себя в данном советском учреждении, разлагаются на столах и некоторые даже спят...»

* * *

— До того пьян, что двое ведут, а третий ноги переставляет...

* * *

Частушки:

Спасибо коммунистам:
Хлеб навеянный едим,
Щи несолны хлебаем,
Без огонечка сидим.

Своего дорогого
До вокзала провожу,
Свою буйну голову
На рельсы положу.

Не пищи, кудрина, письма
Ты на Парховский вокзал,
Пищи на Шивницку волость,
Чтобы батюшка не знал.

Мой родняха в дезентирах
В полюшке скрывается,
Как увидит коммуниста —
Сердце разрывается.

Не найти такой березки,
Чтобы дождь не замочил,

Не найти такого ...
Чтоб никто не разлучил.

Берестовые кусточки —
То свидетели мои:
Мой цветочек уговаривал —
Стояли в стороне.

* * *

Комиссар Шукин — проходил в дверь, открывая ее
ровно настолько, чтобы пролезть: не больше.

В доме был громоотвод: все думали, что это радиотеле-
граф. И вообще, кажется, каждую минуту думали, что
вот-вот она нажмет какую-то кнопку — и все взлетит...

У одного из бывших в доме во время обыска проверяли
документы. Паспорт читали-читали. Прописан в Адми-
ральской части. Комиссар спрашивает мрачно:

— Вы что же, значит, адмирал будете?

* * *

Колоха — об арфе:

— А это что же — рояль разобрали, что ли?

Красноармеец с винтовкой — часовой — слушал-слу-
шал арфу, головой помотал:

— Чисто в раю, ей-Бо.

* * *

Угощают:

— Кушай, жадобный, кушай. У нас вот тоже недавно
один из плена вернулся домой, на хлеб мягкий накинуся.
Да как живот ему вздуло — через две недели и помер. Ку-
шай, голубчик, кушай...

* * *

«Удостоверение.

Выдано гражданке села Голубово Копытолине Ухарки-
ной в том, что у ней нету дровней, каковые отобрал комис-

сар Расписаев. Последние дровни, посему я растерялась, они у меня совсем плохие. Посему я прошу вас возвратить назад, каковые находятся в Ключах. Мои дровни, я свои желаю возвратить назад. В этом и удостоверется.

Деревенский советский член Иван Васильев
и Общественный председатель И. Забелкин».

* * *

...Френчи размножились чрезвычайно, галифе пузырились на каждом шагу. Все свергнувшие иго царизма и борющиеся в первых рядах за светлое будущее — обозначились френчами и галифе.

Евгений Онегин

Онегин был сын разорительного помещика. Когда он вернулся в свой уголок, он нашел своего дядю на столе. Но очаровался деревней и остался там жить. Скоро деревня ему надоела, и он очаровался Татьяной. Татьяна была помещица. Она была крестьян, носила корсет и читала романы. Ходила по бедным и страдала тоску. Она велела ей-ной няньке написать ему письмо и послать с ейным внуком Онегину. Онегин ответил ей грубо. Тогда за нее заступился Ленский. Ленский во всем был наперекор Онегину, каждый день дрался с ним. Тогда Онегин пулянул в него из револьвера и убил его напролом. Татьяна вышла замуж за своего друга детства, старого генерала. Она была на примете у двора и каждый день объявлялась на балах. Ейный муж был калека. Онегин увидел его, и раз ворвался к ней на квартиру, и выразил ей свои чувства. Она ему сказала, что она теперича замужем и будет ему верна. Так окончилось признание Онегина.

* * *

1919—1920 г.

Дети разговаривают:

— Цветы... что цветы! Вот если б на грядках росли бублики или плюшки!

— А что такое плюшки, бублики?

Мальчик объясняет и даже рисует на бумаге бублик...

— Да-а, хорошо. А все-таки картошка жареная если, много лучше.

Шествие детей 1 мая. На одном из флагов надпись: «Смерть Колчаку».

Мальчик подходит к наставнице и спрашивает:

— А что его, Колчака, при нас убивать будут? Посмотреть можно будет?

* * *

Трамваи с 7 до 11. Улицы оживились — смертельно усталыми людьми... Какое счастье: попасть на заблудившийся трамвай.

— Но, ты, пусти одну ногу-то. Чего на двух ногах стоишь? Буржуй этакой.

* * *

Афиша:

«5 октября состоится лекция на тему: Маркс и его обитатели».

* * *

На спектакле шумят. Выходит:

— Товарищи, здесь товарищи артисты вам представляют, а между прочим в зад у вас шумят.

* * *

Начальник Политпросвета:

— И вот был египетский царь Иосиф. И его подчиненные сказали ему: «Мы тебя обрабатывать больше не будем».

— Где произрастают разного рода винограды.

Про войну:

— Бомба разорвется — все в крохи. Голова костромская, кишки новгородские — вали все в одно место.

— ...Товарищи. На вновь открывшемся фронте борьбы с государственным строительством...

— ...Разрывная пуля, ежели она за что заденет, так она сразу и забыла свое действие.

— Когда доску несешь — ее всем организмом поддерживаешь. А Иван нес доску длинную — в фонарь... ну, и плечо долой.

— Когда бомбой ударит в проволочные заграждения — на две сажени в обе стороны просторности хватит.

— Ввиду недостатка топливного кризиса...

* * *

Сидит, курит папиросу и мечтает:

— Ах, хоть бы ранило.

И только сказал — пуля чок — в щеку навывлет. Вся морда в крови, папироска в губах, и улыбается: слава тебе, Господи.

* * *

Чистка партии. Исключили за то, что дважды замечен был в посещении церкви. Исключенный выходит, радостный:

— Слава тебе, Господи.

Рассказывает свою биографию:

— Родители эксплуатировали мою молодость.

* * *

1922 г. Вино.

31 декабря разрешили продажу вина. Возле Елисеева на Невском. Очередь — длинейшая.

— На что? На Шаляпина? — интеллигент.

— Какое на Шаляпина? На вино.

— На вино? — остолбенев. Подходит другой, толстяк, кубик:

— На что хвост?

— На вино.

Кубик ударяет себя по коленкам — и даже на корточки:

— На вино?

Старается втереться без очереди. Скандалы. Выходят

с бутылками из магазина. Окружают, расспрашивают. Кто-то откупорил, пробует.

Первого, кто вышел из магазина, качают.

Курсистки, которые не знают даже, что такое мускат-люнель и сотерн, спрашивают опытного человека, что послаще купить.

Идет мимо трамвай, висят, останавливается. От хвоста бежит доброволец — сообщить, что продают вино. И гроздья отрываются, бегут в очередь.

С Караванной выезжают дроги с гробом. На гробу — сидит с сигаркой человек. В очереди — бабы:

— Эх, батюшка. Так и помер, не дождался.

Идет горничного вида женщина:

— Безбожники. Люди с голодудохнут, а вы за выпивкой стоите. Креста на вас нету.

— Уйди ты, с ...

Сквозь окна магазина полки, бутылки, бутылки, а выше — арка, на арке — портрет Маркса, Ленина и Троцкого.

* * *

Песня:

Зеленая роща надо мной шумела,
Я пьяна-пьяненька под кустом сидела.
Тут ко мне подходит паренек фабричный
И со мной заводит разговор приличный...

* * *

Директор у них в гимназии был: Груздев по фамилии, а звали Морковка. С бакенбардами. Учеников в строгости содержал и семейных своих также. Ученики — перед ним в струнку. Скуповат был нередко. И пойдешь мальчишка в баню, в чистый четверг, в баню за 20 копеек. Сидит себе, мылится, старается — утром это рановато было. И вдруг — с шайкой, с веником — входит человек с бакенбардами... Батюшки, да ведь это же наш: Морковка. Ахнул мальчишка и, намыленный весь, бросив мочалку, вытянулся — и расшаркиваться стал директору. А директор (без регалий был) — сконфузился так, что рака испек. И подошел к гимназисту, сказал:

— А, это вы. Ну, здравствуйте.

И... руку пожал гимназисту от конфуза. Так мальчик первый раз сподобился начальственную руку пожать.

* * *

— Из-звощик... Мму-Ммузнецкий Кост. Корок сапеек...

* * *

Замуровали...

Выпил основательно — и надо было ему выйти в коридор. А был в комнате пустой шкаф платяной — ниша в стене с желтой дверью: точь-в-точь как входная дверь. И попал он в этот шкаф. Открыл: белая стена, видно — свежая, недавно закладена. Глухая стена. Ткнулся — глухая. И, весь бледный, вернулся:

— За-замуровали... Господа, нас замуровали...

* * *

Как отцу архимандриту
Блошка спать не дает:
Ум она его кусает
Целу ночь — и напролет...

* * *

У помещицы попугай был — доносчик, про девушек ба-рыне все доносил. Так они ему жопу зашили: так и издох.

* * *

«У нас на дворе — всякая швабра живет, одно слово: свита».

... Решили живот трожды в день кипятком мыть, чтобы не так голодно было...

* * *

Солдат пришел в землянку, просит офицера взять его из лазарета:

— ... Да там, ваш'скородие ... чистота дюже одолевает.

* * *

«...выслать мне наложенным платежом патентовную керосиновую кухню для пищеварения».

* * *

Разогрелась пушка от выстрелов.
— Хоть блины пеки, — говорят солдаты.

* * *

— Петка, не дрожи стол.
— Колосающее!!..
— Вагон битками набит.
— Вы мне калош потеряете!
— Не давитесь. В трамвае.

* * *

Деревня — как стадо белых дремливых овец.

* * *

...Приехали артисты из Москвы. Из Москвы ведь! Раскошелился Иван Иванович, купил шампанского дюжину, пошел за кулисы и стал угощать. Из Москвы ведь!

— Да, выпейте, не отказывайтесь!

Пьет... звонок, пора и на сцену.

— Да, выпейте, что там...

— Э, отстаньте...

— Да нет уж, я двадцать рублей загубил, нет уж, — и вышел Иван Иванович со стаканом, с бутылкой за ними на сцену. Так все и ахнули.

* * *

Мине кстили
у трактире-кабаке.
Окурнали
у виноградном
у вине.

Отец крёсный — целовальник молодой,
Матка крёсна — винокурова жена,
Собралася — вся негодная семья.

* * *

— Квас понедельничный — не вари: мышцы в такой квас будут валиться.

... — Ну што, аль мне тебе объяснить, почему в понедельник нельзя... Тать, сама не маленькая.

— Глупости, сварю — отличный будет квас.

— Ну, вари-вари, на свою голову... Вот если утопнет кто — ты будешь виновата.

... — Да как же: утопника-то ведь понедельничным квасом отпаивают.

— Ну, вот — сваришь ты квас, будет к твоему квасу и утопник.

* * *

На кирпичной стене Страшный суд намалеван: грешники, праведники, черти хвостатые и сам Судия.

Ребенку не достать до праведников. Баба поднимает его под мышки:

— Ну, все одно: поцелуй Боженьку в хвостик, поцелуй — в хвостик...

* * *

Агроном кормил мужиков сыром. Мужики говорили:

— Барин — хороший, а только — мылом угощал. Мы фунта 2 этого самого мыла приели, гаведно, а никак нельзя, помещика обидеть не хотели, барин больно хороший.

* * *

По Рязанской губернии персиянин ходил, пел персидскую песню, а обезьянка плясала:

Мюр-и-Мэрэлиз,
Пэрэвэрнис...

Кто в Москве не бывал, тот так и думал: персидская.

* * *

Толстый, пузатенький, нагнуться никак уж не мог. Палец на ноге заболел: как поглядеть, в чем дело? Сел на диван босой, взял в руки бинокль — и ногу свою в бинокль глядит (близорук был к тому же).

* * *

Солдат пишет: «Многоуважаемая госпожа докторша. Благодарю Вас за Вашу лечебность, а также и всех, которые за мной в лазарете подглядывали...»

* * *

Посетители проклятые не идут, папирос не несут. Вон у Уткина — всего горы, а только одну «курочку» на бала-лайке знает. (Солдаты в лазарете.)

На бесптичье — и 7—1 (жопа) соловей.

Много Рейну, мало вейну.

1. Предки.

— Что такое предки?

— ...Это— 4 колена.

— Ах, Саркис, как ты не панимаешь? Предки — это все равно, что потомки, только савсэм наоборот...

— Нет, нет. Амбарцум, панимаешь: потомки — это когда свечки нет.

2.

— Какое самое полезное животное?

— Ишак.

— Почему?

— Мало кушает, много работает. Ибот, когда надо.

— Какое самое вредное?

— Мулла.

— Почему?

— Мало работает, много ест, ибот нас, когда надо.

* * *

Объявление на Казанском вокзале: «Остерегайтесь знакомиться с посторонними лицами, ибо это является последствием обмана и кражи».

* * *

Изобретение смоляных радиоактивных портянок.

* * *

На Сухаревке: в Москве:

— Все вещи, все вещи по 5 копеек!

— А это сколько?

— Полтинник.

— Да как же ты говоришь — все по 5 копеек?

— Не хотите — не берите... Вещи, все вещи по 5 копеек!

* * *

Религиозный диспут. «Представители от трех религий» — православный, католик и мирянин. Спор. Католический ксендз угрожает одному из выступающих, коммунисту, наказанием Божиим. На другой день у коммуниста украли белье с веревки. Отправился в угрозыск, заявил. Там спрашивают:

— Вам за последнее время не угрожал никто?

Коммунист:

— Да.

— Кто же?

— А ксендз, на религиозном диспуте.

— Как же?

— Грозил, что за безбожие Бог накажет...

* * *

Рынок.

Генерал торгует спичками. Бывшая княгиня — куклами. Вовб — парфюмерией. Бывший граф — красками в пакетиках, зазывает:

— Безвредные краски для материй!

Она вышла сперва торговать своим барахлом. Стыдно: в густой вуали. Про нее:

— Дама-гражданка с завязанной мордой!

Стала ходить в платке.

* * *

Купцы составили приговор: «Постановили считать себя беднейшими крестьянами и рабочими, о чем и доводим до сведения властей...»

* * *

Милиционер допрашивает — и все время пойманному:
— Гражданин, вы лучше говорите, пока я в полном беспристрастии.

* * *

Пассажирка садится в трамвай. Кондукторше:
— Ну, какой номер?
Кондукторша — дура:
— Нечетный.
— Какой нечетный?
Кондукторша — сообразила:
— А-а! Я думала, вы гадаете — номер загадали. А это —
пятый.

* * *

В моей милке сто пудов —
Не боится верблюдов.
От нее все верблюды
Разбежались кто куды.

Все платки я перносила,
Одна шаль осталася,
Всех парней я перлюбила,
Одна шваль осталася.

Сшила платье я по моде,
На подоле белый пух.
Не садись со мною рядом,
От тебя тяжелый дух.

В нашем саде в самом заде
Есть трава помятая.
То не ветер ее смял,
А любовь проклятая.

Светит месяц, как целковый,
Ясны звезды, как пятак.
Целовал я черноброву
За фальшивый четвертак.

В фотографии я снималась,
Только карточки не те.
Ноздри вышли на затылке,
А глаза на животе.

А мы с Кешкой так и сяк
Спорили по поводу,
А потом и в морду шмяк
По прямому проводу.

* * *

Тяжелая индустрия 1918 г.: зажигалки.

* * *

Телеграфист на глухой станции рассказывает барышне похабные анекдоты. Она ему:
— Ах, противный, скептик!

* * *

Красноармеец-еврей отбил у белых сундук с казной. Больше бумажки, но несколько золотых десятков. Орден Красного Знамени. Командир его спрашивает:

— Что хочешь получить? Орден или золотую десятку?
Еврей думает, долго. Спрашивает:
— А сколько орден стоит?
— Ну, полтинник...
— Так я хочу орден — и девять с полтиной.

* * *

Для комедии — московские идиомы.
«Четыре сбоку — ваших нет».
«Пики козыри — пожалте бриться».
«В чем дело? Без дураков».

* * *

Один из персонажей «в общем и целом».
Другой (еврей): «Одно из двух: ты согласен?»

* * *

Анонс.

Приехал жрец!

Северо-американская индейская знаменитость, ясно-видящий, оккультист. Палеолог, Великий Поэт, мыслитель телепатии и ясновидящий на ограниченное расстояние. Любитель всемирной публики, указатель судьей, отгадчик как звать, сколько душ, месяц и день рождения и многих других нетерпеливых тайн жизни. Даю советы и познания, кому жизнь тяжела. Принесите карточку его и почерк, а если — нет, тоже неважно. Излечиваю болезни, удуша, душевные страдания, любовное влечение, расстройство, ослабление нерв (от возбужденных нерв и злоупотребления) от пьянства и вечного запоя и всяких других наркотиков жизни. Плата в зависимости от потребностей — рубль.

* * *

История со статуей Марса в помещицьем доме.

— Это кто?

— Марс.

— Да-к, что ж вы, черти? Разве можно его разбивать? Это наш самый исток.

Понесли, водрузили...

* * *

Дьякон — из рабочих и крестьян.

* * *

... Он никогда не стоял — а приблизительно падал всегда.

«1925 года июля... дня мы, настоящий председатель сельсовета Чесноков Иван, в лице граждан села... такого-то производили гибель посевов у граждан означенного села, причем погибшими оказались посевы у всех граждан и Сидорова Анисима, у коего кроме того и нетрудоспособный член в виде жены 40 лет, умалишенная, причем объекты обложения пропали, лошадь в лесу и отец в больни-

це. По осмотрении озимого и ярового клина озимые пропали, что по чистой справедливости и подписуем».

* * *

Немец говорит:

— Я — козел от ощущения... У меня нынче жена удобренная — я ее не боюсь...

— У нас дома — ребенок грудящий.

* * *

Спас девку от публичного разврата.

* * *

Продавец бус возле Гостинного:

— Восточно-азиатские браслеты и бусы! Оригинально-замысловатые краски и рисунки! Работа священных жрецов Браммы!

Жрецы Браммы — на 25-й линии Васильевского острова ... делают эти бусы из жеваного ситного. Научились в Исправдоме.

* * *

На одном берегу
Ишак ходит,
На другом берегу
Мать ему плачет.
Конэшно, конэшно —
Она ему мать.
Она ему любит,
Она ему хочет
Об-ни-мать.

* * *

Дядя был так брезглив, что, когда из комнаты в комнату переходил, всегда с листом газетной бумаги: брался за ручки через бумагу. Однажды ему в гостях переменили шляпу. Он накрыл голову листом «Нового Времени», сверху надел чужую шляпу — так и дошел домой.

* * *

— Это Гоголь? — показывает на памятник на бульваре.

— Нет, это не Гоголь. А вот там стоит Пушкин — это Гоголь...

* * *

Дети.

Двое — играют. Спрашиваю:

— Ну, как, ребята, дела?

Один:

— Дуже погано.

— А что?

— Из хаты выгнали нас с батькой и с мамкой...

Другого:

— Ну а ты как живешь?

— Я? Дуже гарно.

— Ну? Что так?

— А нас с батькой и мамкой в ихonoю хату вселили, они — куркули.

* * *

Бычок — «Василий Красивый».

Цена билету — 5 яиц.

* * *

«Он всегда — даже когда шел один — шел процессией».

«Глыбокоуважаемому Арсению Арсеньевичу».

Портрет возлюбленной в шкафчике под замочком — чтоб никто не видел...

* * *

— Яйца в Одессе 30 копеек десятков.

— Вранье!

— Я знаю, что вранье, но зато как дешево!

— Не видали тут недоёбанной женщины? — Солдат сел не в тот эшелон.

* * *

«Гражданин Иванушкин, Георгий Егор Сергеевич, происх. из Калужской губернии, Тарусского уезда, Ямской волости, деревни Андреево, меняет фамилию и имя Иванушкин Егор на Фрам Генри. Лиц, имеющих препятствия к означенной перемене, просим сообщить в Мособлгагс. Петровка, 38, зд. 5».

* * *

«С женой живет отдельно ввиду ее смерти».

* * *

Дети: две девочки — 3 и 6 лет играют. Одна лежит с задраным подолом, другая «режет» ей живот щепочкой.

— Вы что это?

— Уйди, не мешай, мы играем.

— Во что?

— В аболт...

За столом девочка 7—8 лет, придя из школы, — спрашивает отца:

— Папа, а как «елка» пишется? С двумя точками?

— Да.

— А ё... так же пишется?

Бабка, тетка — в ужасе. Мать:

— Откуда ты это слово знаешь?

— А у нас его все мальчики пишут...

— Я в Бога.

— ...

— А я — в Ленина.

— Кто твой отец?

— Никто...

— Бог есть, но я в него не верю...

* * *

На пляже поставили два шеста с надписями: «Для мужчин», «Для женщин». Макс Волошин замазал дощечки масляной краской: они были как раз против его дачи. Жалоба исправнику на самоуправство. Исправник — мировому судье бумажку, где было сказано: «Известный декадент —

Макс Волошин...» и бумажку Волошину, так и адресованную: «Максу Волошину». Макс ответил, что, хотя преисполнен к исправнику лучших чувств, однако не настолько, чтобы позволить называть себя уменьшительным именем Макс, и предпочел бы, чтобы его звали полным именем. Исправник обиделся и к мировому судье. Тот оставил дело без последствий.

Когда к Максy в дом заявился губернатор и исправник узнал об этом, он оробел. Он стоял у калитки вечером и ждал, когда Макс выйдет — исправник взял его под руку и сказал:

— Ну, стоит ли ссориться из-за пустяков? Ну, если хотите, зовите меня — просто Миша.

Когда приехала губернаторша, исправник высылал городских дежурить при ней, когда она голая лежала на пляже.

* * *

Хозяйка Ольга Ивановна. Все время:

— Ради Бога!

— Больше двух стаканов я не пью. Такая у меня порционность.

* * *

Осман Николаич.

«Рушкая девочка».

Богоментанское вероисповедание.

Приблиотекa.

Мбулатория.

— Ах, я люблю с вами обращаться.

— Виноват, пардон вам...

* * *

«Он проявил антисемитизм против финнов».

* * *

Песня из детского сада:

Ай-ай-ай-ай-ай!
Мы в республике труда,
Ножкой топ туда-сюда,
Живем-поживаем,
Снова начинаем:
Ай-ай-ай-ай-ай! Etc.

* * *

— Как прошло заседание?

— Удобно и с точкой зрения.

* * *

«Шило на мыло меняем, крокодильские слезы проливаем».

* * *

Шоу получил письмо-предложение от известной красавицы, которая ему писала, что, вероятно, от нее — первой красавицы — и Шоу — первого ума — будет замечательное потомство, сын. А Шоу ответил: «Боюсь, что сын может выйти умом в Вас, а внешностью в меня».

* * *

...Она курила так же, как курица пьет: после каждого глотка дыма поднимала голову вверх...

* * *

Дети.

— А я все-таки вам должен сказать, что к нам сегодня влетела птица в комнату и нагадила на подушку. — Это мальчик, Атек, входя в комнату к незнакомым людям.

— Ты что грустный сидишь, Атек?

— Я не Атек.

— А кто же ты?

— Я — поросенок, мне иначе Лель голову отрубит...

— Мамочка, это ты меня уродила?

— Я.

— Атека тоже ты?

— Я.

— А ты нам собачку маленькую не можешь уродить?

* * *

— Я — у мамы эту грудку сосал, а ты эту.

— А если сестра еще родится, она какую же будет сосать?

— А у мамы тогда, — не задумываясь, — третья грудка вырастет. Она уж начинает расти, где пупок.

* * *

На митинге религиозном о Боге — председателем выбран... клоун Владимир Дуров.

На религиозном митинге Луначарскому вышел возражать сельский священник и сказал:

— Христос воскресе?

Публика:

— Воистину воскресе!

В Киеве, после переворота, ночью стучат в дверь — с черного хода.

— Кто там?

— Главсевзапфронт.

— Что угодно?

— Дуня ваша дома? (Горничная.)

* * *

Перед мальчиками
Пройду пальчиками,
Перед старыми людьми
Пройду белыми грудьми.

* * *

Ревком — творческий перевод «Ревок». Политбюро — «Палибюро».

Плакат: капитализм и пролетариат. Капитализм в виде голой жирной бабы. Мужики около. Когда им пытаются объяснить:

— Ну, а сиськи зачем у ей?

* * *

Афиша: «Товарищи! Анархия — мать порядка. Анархия в опасности. Спасайте анархию!» На другой день анархистов прогнали. Новая афиша наклеена на эту: «Танцкласс для пролетариата».

* * *

Мальчик приходит:

— А я сейчас мертвого N. видел.

— Какого мертвого? Он жив.

— А на стене висит.

— Да это портрет. Почему же ты думаешь, что N. — мертвый?

— А висит, не дышит, не говорит...

* * *

На кладбище — плита, на ней медная дощечка с надписью: «Д-р Иван Николаевич Игумнов, прием от 2 до 7». Хоронили в 1918 году, надпись на камне некому было сделать — взяли дощечку с двери.

* * *

«Пьянство имеет место, но, однако, не имеет характера буйства и, так сказать, носит «культурный характер».

* * *

Вывески:

«Дамская верхняя и нижняя портниха».

«Французский, английский, немецкий портной Иванов».

* * *

Купца всяко изводили — штрафами. Придут — все в магазине в порядке.

— Фартук не первой свежести, — 100 рублей штрафа.

А однажды пришли уборные у него смотреть — во дворе. Пришли, поглядели, понюхали: чисто, ничего нету, ящик этот самый — сосной даже пахнет, стружкой, чище некуда. Они — ревизоры — няньку спрашивать:

— А куда же вы это все, служащие, ходите — чистота-то у вас тут такая?

А нянька возьми да и брякни:

— А мы, — говорит, — на берег, вон туда, в низок бега-

ем. Сюда-то нам Михал Михалыч пакостить, избави Бог, не велит.

И опять Михал Михалыча оштрафовали на 300 рублей. За что же, спрашивается? За чистоту?

* * *

В продолжение продолженья
Наступление явлений
Возникающее пресмыкающееся
Вливавшееся через оставшееся отверстие.

* * *

Баба визгливая выскочила:

— Ты думаешь, как ты в галифях ходишь — так мы их тебе не спустим? Спу-устим!

* * *

Мальчика в школе оставили после занятий. Ревет.

— Ты что же это так часто реवेशь-то?

— Нет, третий раз.

— Как?

— А первый раз мамка нашего кролика зарезала, другой раз — прошлый месяц сестра померла. Да вот еще нынче. А-а-а!

* * *

Идут.

— Медленно идете, гражданин!

— Холодно.

* * *

Отец Варух. Живет в подвале под церковью, с матросом. Был послушником, потом — после мобилизации — матрос. Раньше — в монастыре работал трудником. И вот, после всенощной (теперь уж священник) вернулся домой — в подвал — скинул рясу, в желтых красноармейских штанах...

* * *

Смотрел на рыб в аквариуме: мечутся день и ночь, и нет приюта, нет ни одной книжки, нельзя, негде сесть. Всю жизнь... Так и люди.

* * *

Грузчик:

— Мука — она существо мягкое...

Шулер.

Был набожный. Однажды не везло, бродил из города в город. Под Пасху приехал в уездный город. На окраине. Уже благовест к заутрене, через окна — столы с куличами, женщины с засученными еще рукавами... А он чувствует, с голоду кишки закорючивает. Идет поп в церковь. Шулер к нему, попросил:

— С голоду помираю.

Священник дал ему двугривенный — ради праздника... И в тот вечер — шулер потерял религию. Пошел дальше — встретил рабочего; тот дал ему целковый.

На следующий день (одежда еще была в чемодане) оделся, сделал визиты, пригласили играть в карты. И там, в гостях, встретил того самого попа. С наслаждением нещадно обыграл его в пух. Вышли вместе. Шулер и говорит ему:

— А ведь я тот самый, которому вы вчера двугривенный расщедрились — дали. А сегодня — я у вас тысячу взял.

* * *

Частушки.

Мой муж комиссар,
А я — комиссарша:
Надо всеми он старшой,
А я его старше.

Пошла плясать,
Только пол хрестит,
Наше дело молодое —
Нас и Бог простит.

Настоишься, настоишься
У моих холодных ног,
И напросишься прощенья,
А тебя не простит Бог.

Завивала б я кудёрышки —
Боюсь, маменька, я вас.
Ах, за этии кудёрки
Любят мальчики гораз!

Я девчонка мала-мала,
За народом не видать,
Песнь пою, пою — притопну,
Чтобы всем было слышать.

Куда, милый мой, идешь?
Дорогая — в гости.
Милый мой, возьми меня!
Дорогая — после...

* * *

Филимон Петров — явился на собрание сельское:

— Ну, выбирайте мне секретаря таперь.

— Как секретаря? А председателем кто же будет?

— Я конечно, я на селе — самый бедный.

Избрали...

Явился Филимон Петров к Аннушке: сапоги ему к зиме понадобились. Аннушка туда-сюда, разговаривать. А он ей:

— Не смей со мной разговаривать!

Она еще пуще. Тогда Филимон Петров:

— Лишаю тебя голоса на три дня. Три дня чтоб ни слова у меня не смела, чтоб голосу твоего не слышал никто!

* * *

Ну, нынче какой улов! Только и наловил комиссаров пяток на уху... (комиссары — ерши).

* * *

«Жить стало узко...»

* * *

Я стояла в череду
Получать картошку.
Рядом баба родила
Мальчика Антошку...

* * *

На улице стали с человека шубу снимать ночью. Он орет. А ему:

— Молчи, такой-сякой! Вон со святых ризы сдирали, они и то молчали. А ты лучше их, что ли?

* * *

На балете «Дочь фараона» — лев, подстреленный, падает. Статист заболел, взяли из театральных рабочих мужичка. На репетиции мужичок-лев упал ничего, как надо. А на спектакле поставили гору, падать ему с горы. Поглядел — высоко! И перед тем, как падать... правой лапой перекрестился православный лев.

* * *

— Что это там в уборной артисты собрались?

Сторож:

— А просто так — собрались и друг на дружку внимание обращают...

* * *

Мишка терпеть не может целоваться. Когда поцелуют его, вытирает губы и говорит:

— Терпеть не могу, когда девки целуют.

Перед обедом читают молитву, молятся, а ребята толкают друг друга и смешат. Один раз довели Мишку до слез. Сказали ему:

— Мишка, а, Мишка, твой-то Михаил Архангел (его ангел) ведь девка. Гляди — рубашка на нем какая, длинная, девичья. — Бедняга плакал.

* * *

Капитан седобородый танцевать любил до страсти. И хорошо танцевал. А вот перестали дамы с ним танцевать. Как? Что? Почему? А потому... что всех дам он занимал разговором одним и тем же:

— Знаете ли, гм, да мне доктор прописал танцевать... Пища не выходит, знаете, геморрой, что ли — не знаю. А попляшешь — оно и лучше.

* * *

Разговор.

Дождь пошел. Потом перестал. Потом обратно пошел.

* * *

Прапорщик после вечерней молитвы поучение провозносит о вреде пьянства. Один из слушателей напоминает:

— Да, ваш бродь, очень нехорошо. Как вот, мы вас-то в Нижнем ташшили? Сеном нос оттирали?

* * *

Купец. Пьяный, рассказывает, как был в Венеции:

— П-пним-маешь. А-адриатическое море, ну, и сижу я, и сзади — кто-то по плечу: хлоп, Иван, горит, Семеныч, друг, ты? Здра-аствуй.

Пни-маешь, что на Адриатическом море: с-сижу я, и вот...

* * *

Купец говорит:

— Н-ну, девочек пригласили... Так только для запаха, не больше...

* * *

Соус, говорит, такой вострый, что язык от него в трубочку свернулся...

* * *

Купец (пьяный):

— М-меня отец, покойник, учил: ты, грит, как пьян ни напился, а ты — деньги в долг не давай... вот сейчас у меня тут вот лежит — а не дам.

* * *

— Мы с тобой воспитанья не возвышенного, на дуэль ты меня не вызовешь, чего нам с тобой колошматиться...

— Т-ты, брат, на армянке никогда не женись: у армянков — у них с 30 годов в носы рост идет, нос растеть — итак, брат ты мой, вырастет и крючком загнется... И не узнаешь, какой и был...

* * *

Нос — как старичок, усевшийся в кресле...

* * *

Пришли мужики барыню громить, барыня чай пьет. Мужики ей ласково:

— Уж ты лучше с самоваром своим в другую комнату уйди, не ушибить бы тебя как, борони Бог.

* * *

Солдат на улице говорит:

— Да, что ж, мы народ темный, как, говорится, эти самые индусы, а вы белую гвардию устроили.

* * *

Разговор солдата и...

— Дождь шел все, а теперь — обратно. Можно гулять идти.

— Что «обратно»?

— Ну, стало быть — нейдет уж...

* * *

Выражения:

Эх ты, голова два уха!

Ни тилизнуть.

Раструской малый.
Головокружение в ногах.
Ах ты, аргутанг этакой!
Ну, спи, не дудукай...
Мокрая, хрида-хридой.

* * *

Мальчик в неурожайный год деда спрашивает:
— А что, если бы нам научиться, как медведь, всю зиму лапу сосать?

* * *

Он всем накапал в мозги, что он генерал, а правда — даже и статским не был...
Дура петая.
Вполсвиста.

* * *

Приходит домой из церкви (прислуга).
— Ну и проповедь нынче была!
— Какая?
— А про чудо, как Иисус Христос насытил 5 человек 1000 хлебами.
— Какое ж это чудо?
— А как же? Все съели — и ничего не осталось.

* * *

Они втроем шли под руку — было похоже на живую букву Ж.
Как муха, вынутая из варенья: ноги, крылья склеены, жужжит...

* * *

Топили вора в Неве. Шла мимо старушка, узнала, что вор перекрестился и сам в Неву прыгнул:
— Перекрестился? Ну, слава Тебе, Господи! Раскаялся, хорошую кончину принял... Слава Тебе, Господи...

* * *

В келье старица лежит,
Перед ней слуга стоит,
Таки речи говорит:
— Уж ты, старица, встань,
Святая душа, встань,
Скоморохи вот идут,
Всяки игры несут.

Срежу с березы три пруточка,
Сделаю три гудочка,
Четвертую балалайку
Стану в балалайку играти,
Стану я старого будити:
— Встань мой старый, пробудися,
Вот тебе помой — умойся,
Вот тебе онучи — утрися,
Вот тебе лопата — помолися,
Вот тебе камень — утопися.

* * *

— Так почему ж ты не большевик?
— Сердит на них. Прежде мы знали, что мы от Адама с
Евой, а теперь большевики говорят, что от мартышки.
Обидно!

* * *

На суде, свидетельница на какой-то вопрос отвечает:
— Борони, Боже!
Председатель:
— Что такое Бог? Нет никакого Бога. Он здесь не засе-
дает!

* * *

«Трактир «Красная Отрада». Чай с граммофоном, пиво,
и ситро, и прочие продукты продовольствия».

* * *

Журналист Г. и его жена (бывшая княжна) толстовст-
вовали. Еда у них поэтому подавалась на газетах, не ина-

че, сидели на продавленных стульях (похоже, что нарочно пробивали эти венские стулья кулаком).

* * *

Дворецкий говорил:

— Помните, что метла существует не только для того, чтобы поднимать пыль. От формалистов пахнет формалином (запах анатомического театра).

* * *

— Паша, не будь сукиным сыном, будь человеком, а я тебе пригожуся... (Пьяный — трезвому.)

* * *

В Сочи вывеска: «Портной Т. Голубчик». В списке постояльцев фамилия: А.Г. Лимонад.

* * *

Охотничьи рассказы: один уж совсем заврался.

— Медведина здоровый, на задние лапы встал и прет. А мой сосед из одного ствола — раз, из другого — раз, промазал из двух в пяти шагах. Так медведь поглядел на него, плюнул ему в физиономию и назад пошел...

* * *

Хохол — в вагоне, на Украине:

— Мистность какая замечательная, приятная! Недалом здесь была Полтавская битва.

* * *

Фамилия: Морщинкер.

На стеклянном входе в ресторан надпись: «Вход в антре». «Креслых дел мастер».

* * *

Она говорит:

— Не вмешивайтесь в кофейник. (В разливанье кофе.)

— Он упал передо мной плашмя на колени.

— А знаете ли вы, что есть такие не в высоких чинах угодники Иоанн и Спиридон (12 икон), которые в гору пошли только потому, что в этот день Екатерина I ухлопала мужа. Отслужили им молебен, а потом написали акафист — вошло в моду. То есть ихняя жизнь очень от нас зависит, от людишек...

* * *

Деревенский парень, гармонист. Играл кадрили — сыграл первую фигуру и только разошлись на 2-й — он перестает, гармонь в сторону:

— Целуй меня, девки, каждая по разу — тогда стану играть.

Целуют.

* * *

К комедии.

2х2 — 4. — как сказал Фридрих Энгельс... как сказал Маркс... как сказал Зиновьев...

* * *

Вышла — дождь. И домой не дошла; на улице свалилась, еле прохожие на извозчика усадили: вата была гигроскопическая, и от дождя пальто стало весом пуда в три.

* * *

... Выпил стакан, другой, третий. Буфетчик говорит:

— Да что ж вы, гражданин, так, без закуски? Вы бы хоть вот булочку взяли.

Гражданин (взял булочку) выпил еще, потом только закусил булочку — и упал. Поднимается — и буфетчику, с упреком:

— Вот она сволочь — булочка-то ваша!

* * *

Митрополитпросвет.

В трамвае едет пьяный мастеровой. Напротив — нэп-

ман, очень щеголеватый. Рабочий пристально глядит на нэпмана. Потом:

— Ах, красавчик ты мой! Ну. И хорош! Одни сапожки чего стоят... Эх, ты милый... — Пауза. — А погоди, уж и бить же мы будем вашего брата, сволочей! Прямо... в плюшку, вас всех... так ваше так!

Пауза. Нэпману хуже всех. В трамвае ждут. Пьяный встает, покачивается, к нэпману. Ну — сейчас в морду даст.

— Ну, мне выходить сейчас... Так уж я тебя напоследок... Может, и никогда в жизни уж больше тебя не увижу — так дай я напоследок тебя расцелую... милый ты мой!

Нагибается, чмокает нэпмана раз, другой, третий... Весь вагон умирает со смеху...

* * *

Он о самых простых вещах говорил очень мудрено.

...С голоду на 2-й день стал сосать ремень от пояса.

«Со стороны припеку» (вместо сбоку припеку)...

«Мы так тоскаем, так тоскаем по России».

«В бандитах сын служит».

(Черные толстые очки на носу — оглобли за уши — не очки — упряжь.)

* * *

«Примите наше широкое русское мерси!»

* * *

На почте.

Дама оборачивается, за спиной у нее стоит еврей, смотрит через плечо, как она пишет. Дама сердится. Он:

— И что вы думаете, очень мне интересно читать, что вы своего дядю благодарите за присланные деньги?

Про Каблукова:

— Иду я мимо губернаторского дома, гляжу — на термометре 11. Ах, думаю, опоздал: ведь у меня лекция в 10.

* * *

— ...Вот пробирка, и вот — видите — в пробирке беленькое чернеется...

— Вы возьмите пробирку, — говорит по телефону, — и хорошенько взболтайте, пока жидкость... — болтает телефонной трубкой. — Не слышите? Да я же говорю: вот так — взболтать, — опять трубкой...

* * *

Сара идет к зубному врачу, надевает шикарное dessous.

— Что ты? Зачем? Ведь ты же к дантисту идешь?

— А разве ж я знаю? А может быть, он нахал?

* * *

Юбочка коротенькая — выше критики...

Милицейский:

— Меня тут все знают, уважают. Начальника всех театров знаете? Кудрявцев, ну да. Так от него у меня даже письменное удостоверение есть. Да как же, понимаете. Пришел сюда этот Кудрявцев пьяный-распьянный, мне прямо в морду плюнул, а я его даже в участок не отправил. Так он мне тут же письменное удостоверение дал, что меня уважает...

* * *

В сельской школе.

— Ну, Благовещение. Ну, архангел сказал это Деве Марии, а она — что?

— А она... взялась за живот и говорит: «Желанный ты мой, брыкается-то как...»

— Как Богородицу звали?

— Марья Акимовна...

* * *

Пьяный идет по Михайловской к Невскому и расстроено бормочет — все одно и то же:

— Вот... речка... вот песочек... камушки...

* * *

В тюрьме.

Арестант выиграл золотой и 5 рублей 40 копеек серебром. Обыск. Арестант проглотил деньги.

А на другой день так все 15.40 и выложил... вот черт!

* * *

Господин с таким длинным носом, что в телескоп никогда не видел Луну, а — свой нос.

* * *

Сюжет: Ничтожный человек, с которым ничего никогда не случилось. Вдруг серьезно заболел и умирает — с гордостью: наконец сделал что-то серьезное, все его уважают.

* * *

Поэт.

«...23 тетради стихов. Посылаю на образец.

И приятно так кататься
Из забора да во двор,
Но нельзя всегда ручаться
.....
За стоячий свой упор.
И бывает лишь разрушен
Инвентарь и власти строй...

Я хочу служить или Природе, или Государству. Поэтому прошу Госиздат телеграфировать мне, согласны ли оказать пенсионную поддержку, или же я вынужден буду жениться...»

* * *

Из кавказских газет.

«...Был сделан опыт излечения кретинизма. Кретину была привита обезьянья железа, и в результате получился сознательный гражданин и неплохой красноармеец...»

* * *

«Я люблю смотреть оперу, когда знаю ее бюджет» (сюжет).

* * *

На святках — игрища молодежи. Так парни там даже догола раздеваются — будто, значит, индейцы они — и девок страшат...

Смирная девка — ото всех дикарьком ходит...

У него в семье сокрушение сделалось: жена ушла.

Живи-живи, да чтобы не топнуть?

Про между них косня пошла...

С ней развелся и с другой соткнулся.

— На колдовство, — говорит, — в скорости объявят большой налог...

* * *

Народу — как вшей в гребешке!

Попили из ключа холоденочки, да и все...

Изба, изобка.

Это не женщина, а бонба... А он говорит:

— Я-де психический.

«Семеро одну соломинку поднимают».

«Рот на все пуговицы расстегнут».

* * *

Жалоба:

«У нас который застаршива ион сартелю аброщатца очин паршиво потсебе гнет малый малодой ямуба толком все доказат а ни гав гав как придетца сам научиники прет вот людямта и паткавыриваит.

Утрешник, вечерешник».

Сочинение:

«Джон Сю услышавши о найдении золота и притом повстречавши с бывшим отцом...»

«Гинриеда увидивши свою плавыющею сестру стала просить нарот на помощь...»

* * *

В волки лезут, а хвост собачий...

Фокстрот. Отец избил кавалера дочери, тот — в суд.
Защитник просит оправдать, потому что отец — глухой и
музыки не слышал, а только глядел.

* * *

«И быстро-быстро с ней живет...»

* * *

Не целуй меня в засос —
Я не Богородица,
От меня Иисус Христос
Все равно не родится.

Пошла гулять
В розовой жакетке,
Всяка шваль, всяка дрянь
Лезет под микетки.

Ах, кудри мои,
Погодите виться,
А ты, гуля дорогой,
Подожди жениться.

«Извини меня потом,
Что писала к'рандашом.
Ручки не было, пера —
Я расстроена была.»
(От Дуни Соболевой.)

На горе стоит дуб.
Под горою репка.
Милый стоит три копейки —
Сорок рублей девка.

Разрешите поплясать,
Разрешите топнуть
Да нюжели ж в вашем доме
Перерубы лопнуть?

У Женюшки в калидоре
Галошами хлопыли,
Я Женичку не любила,
Шоколад я лопыла.

Завлекали меня три,
Завлекали пятеро —
Не найти уж мне такого
Прежнего страдателя.

* * *

Романсы присказков и народных прибауток.

Собирались тучи в кучу,
А я думала — гроза.
Без любви прожить можно,
А я думала — нельзя.

Сидит кошка на окне
С белыми котятами.
Коли был бы ты умней,
Не гулял с девчатами.

Два платочка на придмете,
Один себе, другой — Пете.
Два платочка при запасе,
Один себе — другой Васе.

Играй, играй, балалайка,
А ты — сохни, негодяйка.

На мне платье серая,
По мне Вася старáдая,
Ну, какая ни на есть —
Я не стану сама лезть.

Чтой-то свет не горит —
Знать, керосин не налит.
Ко мне милый не подходит —
Ему мать не велит.

Дайте, дайте мне пройтиться
По полу крашеному.
Дайте, дайте стакан ёду (яду?)
Сердцу раздраженному.

* * *

Сюжет: Краска.

Англичане и белые ушли. После англичан остались кантины — военные лавки. После ухода крестьяне принялись растаскивать. И вот: жестяные ящики — вроде тех, в каких у лавочника была охра. Откупорили: да, так и есть — краска, только не охра, а потемнее, вроде мумии — коричневая. А у Сидора как раз новый забор возле дома стоит некрашенный, глаза намозолил.

Спор, ссора из-за краски. Уступили Сидору. Он взял ящик, развел краску (маслом?), стал мазать. Черт знает что выходит! Вот тебе и англичане хваленые: сволочь народ.

Подошел фельдшер, понюхал краску и начал хохотать:

— Что дал за краску?

— Что, что... Ну, сапог ихние...

— Дурья голова! Да ты знаешь, что это? Какао.

* * *

Я слыхала на базаре
Что ребята дешевы, —
Пятачок стоит пучок,
Самые хорошие...

* * *

«В Алжире арапы ходят в одежде непривычной и по-русски говорить не могут.»

* * *

Заговор (на пропажу скота): «Стрелили наш скот, малой живот, тридцать святых ангелов. Пойдут ангелы крут нашего скота, малого живота, секут и колют своими ангельски скипетры волков и волчиц, медведей и медведиц, росомах и росомашиц по щекам, по глазам, по нехтям, по всем жилам, сердечным составам. И еще секут ангелы своими скипетры уретиков, уретиц, колдунов, колдуниц, старцев и стариц, заутольников и заутольниц, заворотников и заворотниц, никто бы не подумал и не помыслил на наш скот, малый живот, на всякую четвероножную скоти-

ну, отныне и довеку казался бы наш скот, малый живот, в чистом поле — в темном лесу пеньем, колодьем, каликам, великим кустом тем лютым зверям. Аминь.

* * *

У меня, у красной девушки,
Был на разуму сердечный друг.
Он сушил меня, пересушил.
Суше ветра, суше вихоря,
Суше травоньки кошеной.
Я сама, девушка, на грех ступлю —
Своего дружка поиссушу,
Я ни зельем, ни кореньями
Да от сердечка горящими слезами
Не достанься, мой любезный друг,
Не достанься ни тебе, ни мне,
Да лучше матушке сырой земле...

* * *

Заговор:

Говорю-уговариваю
Раба божия Авдотья,
Рабу Божию Прокопью.

На уполох, на переполох,
На исполох
На всяк день,
По утренней зари,
По вечерней зари,
На новую месяцю,
На старую месяцю
И на исходе месяци.

Любовный:

Летит птица вольна — птица невольна
Зажигать-запалять города с городами,
Съединять сердца со сердцами.
Зажги-запали у раба Божья Ивана
Ретиво сердце, горячу кровь,

Чтобы не мог без работы Божьей думать.
Так же бы раба Божья Марья
Казала бы рабу Божью Ивану
Белей света белого,
Милей роду-племени.

* * *

В городок — въезжает на тарантасе приезжий. Слышит: колокола звонят вовсю. Спрашивает возницу:

— В чем дело?

— А это мы бандитов чествуем.

— Как так?

— А зеленые они. Грабили — житья не было. Ну, воевали с ими, а потом предложили им сдаться. Они пришли и сдались — так чествуем их. Спектакль нынче для них в театре играют...

* * *

«Мышеспособная кошка».

* * *

«На луях сижусь».

* * *

Председатель колхоза — молодой, безусый малый; все его хвалят, довольны.

— А ведь в прошлом году его ведь чуть было не раскулачили.

А он — с 7 годов до 17 босиком в пастухах бегал — сирота. Ну, потом иголки, нитки бабам продавал, чтобы не голодать, это верно. И вот ведь, что десять годов в драных портках бегал пастухом, голодал — это забыли, что потом цельные штаны себе заработал — это вспомнили. Ну, мы его всем селом — заступили — отстояли...

* * *

Из стенограммы Ярославского о чистке — характеристики:

«Четкая политическая установка, морально здоров,

партийную линию проводит, но есть уклоны в стороны кулака и пьет до потери сознания».

«Политически выдержан, идеологически неустойчив».

«В Макеевке работники одной столовой внесли в договор на соцсоревнование пункт: Обязуемся не бить посуду и не плевать в лицо посетителям...»

* * *

Крестьянина спрашивают:

— Ну, что, как с жирами? Рису у вас где можно достать?

Ответ:

— В музее, в Миргороде...

* * *

Гражданин Мишин, проживающий в г. Брянске, признан умершим (Брянская Нотариальная Контора), 3.VIII. 1936, Известия).

* * *

В Москве: «Мадам-барышня! Доктор — доктор, настоящий доктор по женским болезням. Обратите, дамы, внимание — пупки зашиваю, пистоны вставляю!»

* * *

Мальчик советский боится идти в сад ночью:

— А черт там!

— Да ведь ты ж говорил — чертей нету?

— Ну да, нету, а, может быть, какой-нибудь один и остался!

— Значит, боги есть, если их прогоняют! (Мальчик.)

* * *

В Киеве, во время обстрелов, бесчисленной перемены властей... Квартира — наверху в доме, обращенная одной стороной прямо к Днепру (сад спускается по обрыву вниз, к Подолу). Из-за Днепра идут все обстрелы. Уже установился обычай, что стрельба начинается с 6 утра — до ут-

ра, до 6, все спят «спокойно» — одетые, обутые. Как начинается обстрел — бегут в погреб, сидят там весь день.

К X-ам ходила приживалка, пани Бентковская, почти слепая старуха, которую приводил швейцар. Всегда — накрашенная, нарумяненная, она сидела на сундуке в передней: глаза от света у ней болели. В погребе она чувствовала себя прекрасно... Сидела — и не переставая сплетничала. Для детей обстрелы — наслаждение: не идти в гимназию, вся жизнь — особенная...

Мэри была влюблена в гимназиста из соседней квартиры. Когда начался обстрел, она не пошла вниз, чтобы показать перед ним свою храбрость:

— Кончу чистить зубы, тогда приду...

Тр-рах! — снарядам смело галерейку под окнами дома, под ванной, где она чистила зубы. Она, с ртом, полным мела, помчалась вниз, в погреб...

Взрослые сидели там, со скуки играли в покер. Пани Бентковская лежала, совсем больная. Столяр Василий метром вымерял ее и тут же сколачивал из каких-то досок для нее гроб:

— Только не обузь, голубчик, пожалуйста... — стонала пани Бентковская...



Современники
о Евгении Замятине





ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

Начало повести Замятина поразило всех. Прошло минут двадцать, и автор прекратил чтение, чтобы уступить место за столом следующему писателю.

— Еще! еще! продолжайте, просим!

Широколицый, скуластый, среднего роста, чисто одетый инженер-писатель, недавно выписанный Горьким из Англии, спокойно поднимался со стула.

— Продолжайте, просим, просим!

Голоса становились все более настойчивыми, нетерпеливыми, громкими.

Замятин покорился, сел на место и продолжал читать. После этого еще раза два пытался прервать чтение, но безуспешно. Слушали затаив дыхание. Потом устроили ему овацию.

Ни у кого из выступавших в тот вечер, даже у Блока, не было и доли того успеха, какой выпал Замятину. Чуковский носился по залу и говорил всем и каждому:

— Что? Каково? Новый Гоголь. Не правда ли?

Говорили, что Горький без ума от автора «Уездного». Эта повесть, напечатанная еще в 1913 году в «Заветах», в 1916 году вошла в сборник рассказов Замятина, но прошла незамеченной для широкой публики. В день своего едва ли не первого настоящего успеха Замятин был уже автором множества мелких рассказов и трех повестей: «Уездное», «На куличках», «Островитяне».

Выдающийся инженер, командированный русским правительством в Англию на третий год войны, лектор на кораблестроительном отделении Петербургского политех-

нического института вдруг оказался в первом ряду современных писателей и сразу стал признанным мэтром молодых прозаиков.

Вряд ли будет ошибкой назвать начало третьего литературного десятилетия в России «студийным». Первые два десятилетия нашего века, несмотря на все уважение и внимание к литературной технике, прошли, конечно, под знаком более глубоких интересов и задач. С победой коммунизма все упростилось до последней степени не только в жизни, но и в литературе.

Пролеткультовцы, самые наивные и малограмотные из новых литераторов, не сомневались, что через месяц-другой с их помощью начнется новая, пролетарская эра мировой культуры. Вот только еще немного подучиться у спеца технике сочинительства, а там уж мы покажем.

Спрос на «техников писательского ремесла» становился огромным.

Хорошо было начинающим стихотворцам: у них — незаменимый, прирожденный учитель — Гумилев. Но как обойтись будущим прозаикам без своего учителя? Не будь в то время в Петербурге Замятина, его пришлось бы выдумать.

Замятин и Гумилев — почти ровесники. Первый родился в 1885 году, второй годом позже. Революция застала того и другого за границей. Гумилев был командирован в Париж с поручениями военного характера, Замятин — в Англию, наблюдать за постройкой ледокола «Александр Невский» (впоследствии «Ленин»). Оба осенью 1917 года вернулись в Россию.

Есть что-то общее в их обликах, в их отношении к литературе.

Гумилев был человеком редкой дисциплины, сосредоточенной воли, выдержки. Теми же качествами привлекателен характер Замятина.

Каждый из них «алгеброй гармонию поверил». Тот и другой твердо знали, что мастерство достигается упорной работой.

На этом кончается их сходство. Героическая судьба и литературная роль Гумилева вполне исключительны...

Вернемся к Замятину. Не следует умалять и его значения, тем более что путь его далеко еще не закончен.

Его деятельность, его поведение отмечены тем знаком прочности и добротности, о которых говорит Толстой, описывая английскую обстановку Вронского. От довольно частых и разнообразных встреч с Замятиным у меня осталось именно такое впечатление.

Заведующий хозяйством Дома Искусств созвал на экстренное совещание писателей и предложил им утвердить меню обеда в честь Уэллса. Накормить английского гостя можно было очень хорошо (чтобы пустить ему пыль в глаза, Петрокоммуна готова была выдать лучшие продукты). «Совещание» этот план отвергло: пусть знает Уэллс, как питается русский писатель:

Ведь носящему котомки
И капуста — ананас,
Как с прекрасной незнакомки,
Он с нее не сводит глаз. Да-с!

Принято было среднее решение: пира не устраивать, но и голодом Уэллса не морить.

Банкет, не поражавший ни обилием, ни бедностью стола, был зато очень богат странными для иностранного гостя речами.

Шкловский, стуча кулаком по столу и свирепо пяля глаза на Уэллса, кричал ему:

— Передайте англичанам, что я их ненавижу.

Приставленная к Уэллсу Бенкендорф мялась, краснела, но по настоянию гостя перевела его слово в слово это своеобразное приветствие.

Затем один почтенный писатель, распахивая пиджак, заговорил о грязи и нищете, в которых заставляют жить русских деятелей культуры. Писатель жаловался на ужасные гигиенические условия тогдашней жизни.

Речь эта, взволнованная и справедливая, вызывала все же ощущение неловкости: равнодушному, спокойному, хорошо и чисто одетому англичанину стоило ли рассказывать об этих слишком интимных несчастьях. Гумилева особенно покорило заявление о неделями не мытом

белье писателей. Он повернулся к говорившему и произнес довольно громко:

— Parlez pour vous!¹

Но вот поднялся Замятин. На чистом английском языке, спокойно и ясно, без преувеличений, сказал он речь о литературных заслугах Уэллса, о мировом значении английской культуры, о ценности того, что лежит в ее основе, и чего, к сожалению, еще не научились любить и воспитывать в России.

В ужасных условиях советской жизни Замятин стал живым примером выдержки и дисциплины. Это почувствовали сразу его ученики, полюбили его, поверили ему.

Мне пришлось однажды присутствовать на практических занятиях в студии Замятина. Народу было меньше, чем у Чуковского, Шкловского и других занимательных лекторов. Замятин не заботился о блеске и увлекательности изложения. Он хотел одного: принести как можно больше пользы своим ученикам.

Многие его советы очень спорны, но им следовали, и не без успеха. Достаточно сказать, что все «серапионовцы» — ученики Замятина.

Подводить итог деятельности живого писателя — занятие рискованное. Фет в конце жизни написал лучшие свои стихи. А сколько обратных примеров: сколько случаев медленного угасания творческих сил, постепенной и непоправимой утраты прежних дарований!

Со времени лучших успехов Замятина и полного признания этого писателя прошло уже не менее восьми лет. Выдержал ли он это испытание?

Нет, пока не выдержал. Лучше «Уездного» или «На куличках» Замятин ничего не написал, выше прежнего уровня не поднялся, скорее наоборот: став еще более искусной, проза его утратила едва ли не самое ценное — жуткий, вполне замятинский лиризм, близкий, по-моему, не к ремизовскому, как это пишут многие критики, а к солугубовскому.

С Ремизовым у Замятина сходство чисто внешнее. Автор «Уездного» любит, конечно, старую русскую речь, нередко у него встречаются такие слова, как «бесперечь»,

¹ Говорите за себя! (фр.)

«неслух»... Но то, что у Ремизова неотделимо от его стиля, у Замятина только «украшает» рассказ... Нет, лучшее у него не язык, а что-то другое.

Лучшее у него, как у Сологуба, та жестокая сила в описании человеческой глупости, та беспощадная ясность в описании бытовых сцен, которые заставляют читателя искать выхода, жаждать свежего воздуха, «мечтать о крыльях».

Вот этого чувства последние рассказы Замятина уже не вызывают. Все его Барыбы, Глафиры, Варвары — какая-то очень своеобразная и вполне самостоятельная параллель страшным образам «Мелкого беса». Но... чем дальше, тем бледнее замятинские герои.

Что же остановило его рост? Неужели учительство? Стоило бы поговорить когда-нибудь серьезно о том, как много внутренней энергии поглощают у «мэтра» его усилия научить других навыкам и приемам своего ремесла. Даже у сильнейших всероссийских мэтров последних десятилетий — Вячеслава Иванова, Брюсова, отчасти у Гумилева — их «педагогическая» деятельность отняла что-то, в каком-то смысле ослабила собственное их творчество.

Кажется, и Замятин не избег участи своих выдающихся предшественников.

На интимном вечере «Всемирной литературы», после удачной литературной шутки, сочиненной и прочитанной Замятиным, Чуковский подошел к писателю и, который раз, сказал ему:

— Восхищаюсь вами. Какой вы талантливый, какой настоящий!

«Новому Гоголю», как назвал его недавно тот же Чуковский, оставалось только поблагодарить за лестные слова.

А через несколько дней, в «Накануне», Алексей Толстой опубликовал печально знаменитое письмо Чуковского, где он писал, между прочим:

«Здесь нет настоящей литературы. Замятин? Но какой же он писатель? Это — чистоплюй».

В железные годы военного коммунизма сколько людей известных и уважаемых совершали вольные и невольные

ошибки против совести, заигрывая с большевиками. Замятин был среди людей политически безупречных. Брегливый и сдержанный, никогда не сделал он жеста, похожего на низкопоклонство.

Всегда верный себе, он оставался одной из немногих постоянных величин среди множества переменных. Сколько писателей, сравнив свое поведение с замятинским, могли бы безошибочно определить степень своего отклонения от верного и прямого пути.

С первой партией высланных литераторов в Берлине ждали и Замятина. Все знали, что и он был арестован. Знали, что и ему, как другим, хочется воздуха Европы. Не знали только, что этот европеец сильнее, чем многие, привязан к России. Когда, благодаря хлопотам друзей и учеников, ему предложили на выбор уехать или остаться — Замятин предпочел остаться.

Для творчества его этот выбор не оказался благотворным.

Зато влияние его на молодых прозаиков стало еще более значительным.

Не так давно советский беллетрист В. Лидин собрал и выпустил отдельной книгой автобиографии современных писателей. При всех недостатках этого сборника он любопытен как документ эпохи. Особенно интересны свидетельства о себе тех молодых и немолодых авторов, которые только «в грозе и буре угадали свое писательское призвание».

Если верить им на слово, каждый из них чем-нибудь обязан Горькому. Этому он ободрил, тому послал денег, одного напечатал в таком-то журнале, другого заставил работать над слогом.

Все это, вероятно, не вымысел, но к облику советских авторов их заявления о Горьком ничего не прибавляют. Слишком многие из них просто считают Горького «Ильичом» от литературы. Подчеркивать свою зависимость от него удобно во всех отношениях.

Гораздо ценнее другие признания, более редкие, но и более живые.

Вот они:

«Писать прозу учился у Замятина...»

«Учителем своим считаю Замятина...»

Характерно, что это пишут авторы наиболее одаренные.

Не скоро забудется роль Замятина в «студийный» период русской прозы. Еще благодарнее, вероятно, запомнится нелегко уловимое, но безусловное и положительное значение его личности для многих современников.

Судьба его литературных произведений как будто далеко не так бесспорна.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ МОЙ ДРУГ

С Евгением Замятиным, самым большим моим другом, я впервые встретился в Петербурге, в 1917 году.

Значение Замятина в формировании молодой русской литературы первых лет советского периода — огромно. Им был организован в Петрограде, в Доме Искусств, класс художественной прозы. В этой литературной студии, под влиянием Замятина, объединилась и сформировалась писательская группа «Серапионовых братьев»: Лев Лунц, Михаил Слонимский, Николай Никитин, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, а также — косвенно — Борис Пильняк, Константин Федин и Исаак Бабель. Евгений Замятин был неутомим и превратил Дом Искусств в своего рода литературную академию. Количество лекций, прочитанных Замятиным в своем классе, лекций, сопровождавшихся чтением произведений «Серапионовых братьев» и взаимным обсуждением литературных проблем, и, разумеется — прежде всего, — проблем литературной формы, — было неисчислимо. К сожалению, текст замятинских «Лекций по технике художественной прозы», который уцелел, несмотря на истекшие годы, не был до сих пор, за некоторым исключением, нигде опубликован. Я приведу здесь несколько заглавий из этого цикла: «Современная русская литература», «Психология творчества», «Сюжет и фабула», «О языке», «Инструментовка», «О ритме в прозе», «О стиле», «Расстановка слов», «Островитяне» (пример), «Чехов», «Футуризм»...¹ № 32, 1956 г. (Франкфурт-на-Майне); «О языке» — в «Новом Журнале», №77, 1964 г. (Нью Йорк).

¹ Лекции «Современная русская литература» и «Психология творчества» были опубликованы в журнале «Грани»

Эти лекции представляют собой несомненный интерес. Они не страдают педантизмом.

«Я с самого начала отрекаюсь от вывешенного заглавия моего курса. Научить писать рассказы или повести — нельзя. Чем же мы будем тогда заниматься? — спросите вы. — Не лучше ли разойтись по домам? Я отвечаю: нет. Нам все-таки есть чем заниматься...

...Есть большое искусство и малое искусство, есть художественное творчество и художественное ремесло... Малое искусство, художественное ремесло — непременно входит, в качестве составной части, в большое. Бетховен, чтобы написать Лунную Сонату, должен был узнать сперва законы мелодий, гармоний, контрапункций, т. е. изучить музыкальную технику композиций, относящуюся к области художественного ремесла. И Байрон, чтобы написать «Чайльд-Гарольда», должен был изучить технику стихосложения. Точно так же и тому, кто хочет посвятить себя творческой деятельности в области художественной прозы — нужно сперва изучить технику художественной прозы», — писал Замятин.

«Мелодия — в музыкальной фразе осуществляется: 1) ритмическим ее построением; 2) построением гармонических элементов в определенной тональности и 3) последовательностью в изменении силы звука, — продолжал Замятин.

Мы займемся, прежде всего, — вопросом о построении целых фраз в определенной тональности, тем, что в художественном слове принято называть инструментовкой...

Инструментовка целых фраз на определенные звуки или сочетания звуков — преследует уже не столько цели гармонические, сколько цели изобразительные.

Всякий звук человеческого голоса, всякая буква — сама по себе вызывает в человеке известные представления, создает звукообразы. Я далек от того, чтобы приписывать каждому звуку строго определенное смысловое или цветочное значение. Но — Р — ясно говорит мне о чем-то громком, ярком, красном, горячем, быстром¹. Л — о чем-то бледном, голубом, холодном, плавном, легком. Звук Н —

¹ Я вполне согласен с Замятиным. Буква Р и мне «говорит» всегда о чем-то ревушем, рычащем, ругательном, растрепанном, рвущем.

о чем-то нежном, о снеге, небе, ночи... Звуки Д и Т — о чем-то душном, тяжком, о тумане, о тьме, о затхлом. Звук М — о милом, мягком, о матери, о море. СА — связывается широта, даль, океан, марево, размах. СО — высокое, глубокое, море, лоно. СИ — близкое, низкое, стискивающее и т. д.» Но углубляться в разбор неоспоримой роли Замятина в развитии современной русской прозы я предоставляю историкам литературы и литературным критикам. Говоря о Гумилеве и Замятине, Николай Оцуп писал:

«Вряд ли будет ошибкой назвать начало третьего литературного десятилетия в России студийным... Хорошо было начинающим стихотворцам: у них был незаменимый, прирожденный учитель — Гумилев. Но как обойтись будущим прозаикам без своего учителя? Не будь в то время в Петербурге Замятина, его пришлось бы выдумать. Замятин и Гумилев — почти ровесники. Первый родился в 1885 году, второй годом позже. Революция застала того и другого за границей. Гумилев был командирован в Париж с поручениями военного характера, Замятин — в Англию, наблюдать за постройкой ледокола «Александр Невский» (впоследствии «Ленин»). Оба осенью 1917 года вернулись в Россию. Есть что-то общее в их обликах, в их отношении к литературе. Гумилев был человеком редкой дисциплины, сосредоточенной воли, выдержки. Теми же качествами привлекателен характер Замятина. Каждый из них алгеброй гармонию проверил. Тот и другой твердо знали, что мастерство достигается упорной работой».

Для меня же Замятин, это, прежде всего, — замятинская улыбка, постоянная, нестираемая. Он улыбался даже в самые тяжелые моменты своей жизни. Приветливость его была неизменной. Счастливый месяц летнего отдыха я провел с ним в 1921 году, в глухой деревушке, на берегу Шексны. Заброшенная изба, сданная нам местным советом. С утра и до полудня мы лежали на теплом песчаном берегу красавицы-реки. После завтрака — длинные прогулки среди диких подсолнухов, лесной земляники, тонконогих опенок и, — потом — снова песчаный берег Шексны, родины самой вкусной стерляди. Волжская стерлядь — второго сорта.

Потом — вечер. Светлый, как полдень. Затем — ночь.

Белые ночи. Спать было некогда. Мы пробуждали, должно быть, сотни верст, не встретив ни одного волка, ни медведя, ни лисиц. Только — редкие, пугливые зайцы и лесная земляника, брусника, черника, клюква, которые мы клали в рот горстями. Иногда над Шексной пролетали горластые дикие утки... Впрочем, мы много работали, сидя в кустах или лежа в траве: Замятин — со школьными тетрадями, я — с рисовальным альбомом. Замятин «подчищал», как он говорил, свой роман «Мы» и готовил переводы то ли — Уэллса, то ли — Теккерея. Я зарисовывал пейзажи, крестьян, птиц, коров.

Часам к шести вечера Людмила Николаевна, жена Замятина, ждала нас к обеду, чрезвычайно скромному, хотя появлялась в меню иногда и выуженная нами исподтишка стерлядка. Позже — ближе к белой ночи — липовый чай с сахарином.

Людмила Николаевна, очаровательная и по-русски общительная, была не только верной спутницей Замятина. Она была помощницей и, в некотором смысле, даже сотрудницей своего мужа в его литературных трудах. Замятин всегда давал ей на прочтение первоначальные наброски своих рукописей, и она неизменно делала казавшиеся ей нужными замечания, которые приводили иногда писателя к некоторым формальным изменениям текста. Затем Людмила Николаевна, прекрасная дактилографка, переписывала окончательный текст на пишущей машинке.

— Мое писательство, — шутил Замятин, — является у нас совместным.

В какой-то мере эта шутка отвечала действительности. Но Людмила Николаевна каждый раз в таких случаях с искренней застенчивостью опровергала это, называя себя просто «пишущей машинкой», или — улыбнувшись и махнув рукой, выходила из комнаты.

Как-то вечером, в избе, Замятин прочел мне одну из первых страниц романа «Мы»:

«Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи номеров... с золотыми бляхами на груди — государственный номер каждого и каждой... Слева от меня 0—90 ...справа — два каких-то незнакомых нумера...»

Мне не понравилось слово «номер», казавшееся, на мой взгляд, несколько вульгарным: так произносилось это сло-

во в России какими-нибудь мелкими канцелярскими провинциальными чинушами и звучало не по-русски.

— Почему — нумер, а не номер?

— Так ведь это — не русское слово, — ответил Замятин, — исказить не обязательно. По-латински — *numerus*; по-итальянски — *numero*; по-французски — *numéro*; по-аглички — *number*; по-немецки — *Nummer*... Где же тут — русское? Где же тут «О»? Давай-ка раскроем русский словарь, у меня здесь — русско-аглицкий.

Переводя Теккерей (или Уэллса), Замятин всегда имел под руками русско-аглицкий словарь.

— Ну, вот, посмотрим, где здесь русские корни, — сказал Замятин и начал читать, слово за словом, с буквы «А»: абажур, аббат, аберрация, абзац, абонемент, аборт, абракадабра, абрикос, абсолютизм, абсурд, авангард, аванпост, авансцена, авантюра, авария, август, августейший... Стой! Я наткнулся: авось!.. Дальше: аврора, автобиография, автограф, автократия, автомат, автомобиль, автопортрет, автор, авторитет, агитатор, агент, агония, адепт, адвокат, адрес, академия, акварель, аккомпанемент, акробат, аксиома, акт, актер, актриса... Стоп! наткнулся на акулу!.. Дальше: аккуратность, акустика, акушерка, акцент, акция, алгебра, алебастр, алкоголь, аллегория, аллея... Стоп: алмаз... Дальше: алфавит, алхимия... Стоп: алчность и алый!.. Дальше: альбом, альманах, алюминий, амазонка, амальгама, амбар, амбиция, амвон, аминь, аммиак, амнистия, ампутация, амулет, амфитеатр, анализ, аналогия, ананас, анархия, анафема, ангажировать, ангел, анекдот, анис, Анна, аномалия, антагонизм, антиквариат, антипатия, антипод, антихрист, античный, Антон, антракт, антрацит, антропология, анчоус, апатия, апельсин, апокалипсис, апокриф, апология, апоплексия, апостол, апостроф, аппарат, апелляция, аппетит, аплодисмент, апрель, аптека, арап, арбуз, аргумент, аренда, ареопаг, арест, аристократия, арифметика, ария, арка, арлекин, армия, аромат, арриергард, арсенал, артель, артерия, артиллерия, артист, арфа, архангел, архив, архипелаг, архитектура, архиепископ, аскет, ассигнация, ассистент, астрономия, асфальт, атака, атеизм, атлас, атлет, атмосфера, атом... Наконец-то: ау!.. Затем, аудитория, аудиенция, аукцион, афиша, ах, аэролит... В общем — ахинея, — закричал Замятин, — видал миндал?

Даже арбуз, черт возьми, не русский! Правда, французский «arbouze» больше похож на землянику, но ведь слово-то уже существует, перепутали только значение. Даже наша ежедневная «абракадабра», как и наша «галиматья», на букву «Г», — и те не наши. Да что там! Даже Антон (Чехов)! Даже Аркашка (Счастливец), даже Акакий (Акакиевич), даже Алексей (Толстой), даже Александр (Пушкин), и так — начиная с Адама! Даже Анна (Каренина) не наша! И, значит, как все производные — даже наша здешняя доярка Аннушка, Анютка — не наша! Даже Анненский (Инокентий)! Даже — Анненков Юрий! Ты приходишь, вероятно, ни дать — ни взять — от Анны, королевы Франции тысяча пятидесятих годов. Впрочем, эта французская Анна была тоже Аннушкой, дочерью Ярослава Мудрого, сына Владимира — Красное-Солнышко... Но все же от буквы «А» нам, русским, остается лишь «авось», «ау!» «алтын», «акула» (Боже упаси!), «алмаз», который нам не по карману, и, кажется, «ад». Впрочем, в нашем аде я тоже не уверен: он тоже иностранец, рожденный марксизмом... А теперь — буква «Б»: багаж, база, базар, бакенбарды, бактерия, бал, баланс, балерина, балет, балкон, баллада, баллотировать, бамбук, банальность, банан, бандит, банк, банкет, банкир, банкрот, баня, барак, барельеф, баритон, барка, барометр, баррикада, барьер, бас, бассейн, батальон, батарея, батист, бацилла, беллетристика, бемоль, бензин, бетон, библиография, библиотека, бивак, бидон, билет, бильярд, бинокль, биография, биология, биплан, бисквит, бифштекс, бланк, блокада, блокнот, блондин, бойкот, бокал, бомба, бомбардировать, борт, ботаника, ботинок, браслет, бригада, брильянт, бронза, бронхит, брошь, брошюра, брынза, брюнет, букет, букинист, бульвар, бульон, буржуй, бутерброд, бутон, бутылка, буфет, бюджет, бюллетень, бюро, бюрократ, бюст... И так далее... Баста! Какая каша! *Salade russe*¹, который в России называется *Salade Olivier*.

Замятин захлопнул словарь.

— Согласен, — сказал я, — но по поводу «нумера» остаюсь при своем мнении. Иначе как же поступить с поговоркой: «Как в номер, так и помер?»

¹ Салат по-русски (фр.).

— Очень просто, — ответил Замятин: — «Как в номер, так и умер». Только и всего.

Он отодвинул словарь, и мы принялись за липовый чай с сахарином. Наливая чай в стакан, я неожиданно вспомнил фразу Ф. Достоевского, в «Идиоте», о том, что князю Мышкину, в трактире на Литейной, «тотчас же отвели номер», и что у Гоголя, в «Мертвых Душах», Чичиков, остановившись в гостинице, поднялся в свой «номер».

— Ну, вот видишь, — засмеялся Замятин, — с классиками спорить не приходится.

* * *

Месяц в деревне. И даже — не в самой деревне, а где-то с краюшку от нее, в одинокой избушке, на берегу Шексны. От шекснинского солнца мы все стали коричневыми. Счастливый месяц, полный пенья, чирикания птиц, лесных ароматов. Но месяц быстро прошел, и мы должны были оставить Шексню и вернуться в Питер. Замятин занимал квартиру на Моховой улице, в доме, принадлежавшем издательству «Всемирная Литература» (книги которого выходили с издательской маркой моей работы). Замятин состоял там членом Редакционного Совета, вместе с М. Горьким, с А.Н. Тихоновым, А.Л. Волынским и К.И. Чуковским. Но в том же году, вместе с А.А. Блоком, А.Л. Волынским, М. Горьким, В.И. Немировичем-Данченко, А.Н. Тихоновым и К.И. Чуковским Замятин был также избран членом Литературного Отдела «Дома Искусств» и, вместе с М. Добужинским, Н. Радловым, К. Чуковским и В. Щербатовым — в Редакционную Коллегию журнала «Дом Искусств». Кроме того, вместе с А. Блоком, А. Волынским, Н.М. Волковысским, А.В. Ганзеном, М. Горьким, П.К. Губером, Л.Я. Шишковым, В.Б. Шкловским и К. Чуковским — Замятин был тогда членом Правления Союза Писателей. Годом раньше, Домом Литераторов был объявлен конкурс для начинающих писателей-беллетристов. Состав жюри: В.А. Азов, А.В. Амфитеатров, А. Волынский, В.Я. Ирецкий, А.М. Редько, Б.М. Эйхенбаум и, конечно, Замятин... Иначе говоря, Замятин находился в самом центре литературной жизни России тех лет.

В 1921 году, вместе с А. Тихоновым, А. Волынским и К. Чуковским, Замятин вошел в *первый* Редакционный

Совет основанной тогда Всероссийским Союзом Писателей «Литературной Газеты». В № 1 «Литературной Газеты» вошли следующие материалы: «Неизданная страница Пушкина» (отрывок из статьи Пушкина о романтизме, с комментариями Козьмина), «Памяти предка» (статья об истории дельвиговской «Литературной Газеты»); «Без божества, без вдохновенья» (статья А. Блока об «акмеизме»); несколько писем В.Г. Короленко, посвященных последнему периоду первой революции; «Кисяз» (статья К. Чуковского о последних неологизмах русского языка); «Съезд Советов» Б. Пильняка (отрывок из романа); поэзия В. Зоргенфрея и Ир. Одоевцевой; информация о деятельности Союза Писателей, о литературной жизни Москвы и Петрограда; рецензии; литературная хроника, русская и иностранная, а также — статья Замятина «Пора».

Этот номер «Литературной Газеты» был уже набран и сверстан; конечно, была и бумага. Но по «не зависящим от редакции обстоятельствам», как принято говорить в подобных случаях, номер выйти из печати не смог. Этот эпизод остался для нас весьма поучительным и показательным. «Не зависящими от редакции обстоятельствами» явилось постановление ЦК партии, нашедшего содержание первого номера и личный состав редакции «Литературной Газеты» не отвечающими требованиям политического момента. Дальнейшая судьба «Литературной Газеты» стала для нас ясной. Но об этом — речь впереди.

* * *

Искуснейше написанное Замятиным «Сказание об Иноке Еразме» можно было бы принять за произведение протопопа Аввакума. Язык Замятина — всегда замятинский, но, в то же время, всегда разный. В этом — особенность и богатство Замятина как писателя. Для него язык есть форма выражения, и эта форма определяет и уточняет содержание. Если Замятин пишет о мужиках, о деревне, он пишет мужицким языком. Если Замятин пишет о мелких городских буржуах, он пишет языком канцелярского писаря или бакалейщика. Если он пишет об иностранцах («Островитяне», «Ловец человеков»), он пользуется свойствами и даже недостатками переводного стиля, его фонетики, его конструкции — в качестве руководящей

мелодии повествования. Если Замятин пишет о полете на Луну, он пишет языком ученого астронома, инженера или — языком математических формул. Но во всех случаях язык Замятина, порывающий с русской литературной традицией, остается очень образным и, вместе с тем, сдержанным, проверенным в каждом выражении.

Язык осовеченной деревни мы слышали, например, в рассказе «Слово предоставляется товарищу Чурыгину», написанном в 1926 году и опубликованном впервые в альманахе «Круг», в Москве, в 1927 году. Замятин в этом рассказе отсутствует: рассказ написан прямой речью мужика Чурыгина и обнаруживает чрезвычайно тонкий слух Замятина к языку своего избранника — оратора. Чурыгин рассказывает, как солдат Егор, герой Первой мировой войны, награжденный Георгиевским крестом, вернувшись домой, сообщал у себя в избе своим соседям:

«Но мы, говорит, в скорости прикончим весь этот обман народного зрения под видом войны. Потому, говорит, нам вполне известно, что теперь надо всеми министрами стоит при царе свой мужик под именем Григорий Ефимыч, и он им всем кузькину мать покажет».

«Тут, — продолжает Чурыгин, — как это услышали наши, — ну, прямо в чувство пришли и кричат с удовольствием, что теперь уж, конечно, и войне и господам — крышка и полный итог, и мы все на Григория Ефимыча очень возлагаем, как он есть при власти наш мужик... У меня от этого известия прямо пульс начался...»

И так далее.

Не думаю, чтобы Распутин был достоин рассказа Замятина, но сам по себе, особенно — филологически, рассказ великолепен.

Теперь — другое:

«Темно. Дверь в соседнюю комнату прикрыта неплотно. Сквозь дверную щель — по потолку полоса света: ходят с лампой, что-то случилось. Всё быстрее, и темные стены — всё дальше, в бесконечность, и эта комната — Лондон, и тысячи дверей, мечутся лампы, мечутся полосы по потолку...

Лондон плыл — все равно куда. Легкие колонны друидских храмов — вчера еще заводские трубы. Воздушно-чугунные дуги виадуков: мосты с неведомого острова на неведомый остров. Выгнутые шеи допотопно-огромных чер-

ных лебедей — кранов: сейчас нырнут за добычей на дно. Вспугнутые, всплеснулись к солнцу звонкие золотые буквы: «Роллс-Ройс, авто» — и потухли...

Что-то случилось. Черное небо над Лондоном — треснуло на кусочки: белые треугольники, квадраты, линии — безмолвный, геометрический бред прожекторов... И вот выметенный мгновенной чумой — опустелый, геометрический город: безмолвные купола, пирамиды, окружности, дуги, башни, зубцы».

Это — из «Ловца человеков». Ничего похожего на Чурьина своего рода — словесный кубизм.

Теперь — из романа «Мы»:

«Вот что: представьте себе квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете — квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны. Вот и я в этом квадратном положении... Для меня это — равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона».

Здесь уже — супрематизм Малевича, знаменитый его черный квадрат на белом фоне, прогремевший на весь мир.

И еще — начало из статьи «О синтетизме», посвященной моему художественному творчеству (1922):

«+ , — , — — вот три школы в искусстве — и нет никаких других. Утверждение, отрицание, и синтез — отрицание отрицания. Силлогизм замкнут, круг завершен. Над ним возникает новый — и все тот же круг. И так из кругов — подпирающая небо спираль искусства».

Спираль; винтовая лестница в Вавилонской башне; путь аэро, кругами подымающегося ввысь, — вот путь искусства. Уравнение движения искусства — уравнение спирали. И в каждом из кругов этой спирали, в лице, в жестах, в голосе каждой школы — одна из этих печатей:

+ , — , — —.

...Я хочу найти координаты сегодняшнего круга этой спирали, мне нужна математическая точка на круге, чтобы, опираясь на нее, исследовать уравнение...»

Вот — язык инженера, строителя, математика.

Наиболее любопытным являлось то, что эту форму своего языка Замятин обернул именно против математично-

сти, против организованности, против «железной логики» точных наук. Будучи инженером-кораблестроителем, то есть человеком, привыкшим к общению с миром непогрешимых, заранее предначертанных схем, он не страдал, однако, «детской болезнью» обожествления схематики, и поэтому Замятину становилось все труднее жить в условиях советского режима, построенного на «плановости» и рационализации.

По существу, вина Замятина по отношению к советскому режиму заключалась только в том, что он не бил в казенный барабан, не «равнялся» очертя голову, но продолжал самостоятельно мыслить и не считал нужным это скрывать. Замятин утверждал, что человеческую жизнь, жизнь человечества нельзя искусственно перестраивать по программам и чертежам, как трансатлантический пароход, потому что в человеке, кроме его материальных, физических свойств и потребностей, имеется еще иррациональное начало, не поддающееся ни точной дозировке, ни точному учету, вследствие чего, рано или поздно, схемы и чертежи окажутся взорванными, что история человечества доказывала множество раз.

Я, не имевший, в противоположность Замятину, никаких отношений к точным наукам, возражал ему:

— Наука и техника, познающие, раскрывающие и организующие жизнь, ведут к ее симплификации. Наука и техника — это форсированный марш полков. Беспорядочное, хаотическое, анархическое, неряшливое, распад и развал — раздражают человека. Уклонение от норм он называет «безумием». Дисциплинированный, логический ум он называет «прекрасным» умом.

— Ты не прав в основном, — отвечал Замятин, — будет время, — оно придет непременно, — когда человечество достигнет известного предела в развитии техники, время, когда человечество освободится от труда, ибо за человека станет работать побежденная природа, переконструированная в машины, в дрессированную энергию. Все преграды будут устранены, на земле и в пространстве, все невозможное станет возможным. Тогда человечество освободится от своего векового проклятия — труда, необходимого для борьбы с природой, и вернется к вольному труду, к труду-наслаждению. Искусство только еще рождается, несмотря на существование Фидия и Проксителя,

Леонардо да Винчи и Микеланджело, на Шекспира и на Достоевского, на Гёте и на Пушкина. Искусство нашей эры — лишь предтеча, лишь слабое предисловие к искусству. Настоящее искусство придет в эру великого отдыха, когда природа будет окончательно побеждена человеком.

— Нет, — запротестовал я, — этого не произойдет, потому что нет предела познавательным стремлениям человека. Прогресс не знает предела. Невозможно удовлетворить потребности человека, ибо его потребности рождаются вслед за изобретениями. Моим первым восторгом в раннем детстве были мои первые штанишки с карманами. Я отнюдь не испытывал лишений при отсутствии карманов: в том возрасте они мне были не нужны. Но когда карманы оказались пришитыми, я целыми днями наполнял их щепками, пустыми коробками и шпильками няни Натальи: у меня появилась потребность в карманах. Пока мы путешествовали в дормезах, никто из нас не стремился примчаться в один день из Лондона в Париж. Мы спокойно теряли на это полторы недели. Теперь мы испытываем катастрофу, если, позавтракав в Лондоне, не успеем прилететь на заседание в Париж к пяти часам пополудни. Когда лабораторная склянка родит живого человека, для нас станет прямой необходимостью заказывать по телефону ребенка такого-то характера, такого-то пола и цвета, к такому-то дню и часу. И вот, когда природа, нас окружающая, превратится, наконец, в формулу, в клавиатуру, — человек займется перемещением собственного мозжечка, комбинированием мозговых извилин, изобретением мыслительных рубильников и выключателей характера и склонностей. Но остановиться он не сможет. Станция — за гранью жизни. Пока не будет изобретено бессмертие.

Замятин смеялся. Я — тоже смеясь — добавил, что наслаждаться прекрасным мы можем и теперь. Всякий раз, например, входя в целесообразно оборудованное помещение (операционный зал больницы, обсерваторию, уборную), я испытываю чувство зрительного удовлетворения, ощущаю прекрасное при виде ослепительно белых, строго гигиенических стен, безукоризненно логических, безапелляционных форм приборов и всевозможных деталей. Картина, поистине, глубоко умирительная для каждого, кто не разучился видеть красоту. Для того, чтобы вызвать ощущение прекрасного, вовсе не обязательно писать пей-

зажи или блудливых маркизочек, как это делают Левитаны или Сомовы.

Снова раздался взрыв смеха.

— Я люблю быть точным, — произнес Замятин, — сказанные слова часто забываются. Стенографистки у нас, к сожалению, нет. Поэтому я отвечу тебе письменно.

И, действительно, на другой день я получил от Замятина письмо, которое явилось кратчайшим шуточным конспектом романа «Мы»:

«Дорогой мой Юрий Анненков! — писал Замятин. — Я сдаюсь: ты прав. Техника — всемогуща, всеведуща, всеблаженна. Будет время, когда во всем — только организованность и целесообразность, когда человек и природа — обратятся в формулу, в клавиатуру.

И вот — я вижу это блаженное время. Все *симплифицировано*. В архитектуре допущена только одна форма — куб. Цветы? Они нецелесообразны, это — красота бесполезная: их нет. Деревьев тоже. Музыка — это, конечно, только звучащие Пифагоровы штаны. Из произведений древней эпохи в хрестоматию вошло только:

Расписание железных дорог.

Люди смазаны машинным маслом, начищены и точны, как шестиколесный герой Расписания. Уклонение от норм называют безумием. А потому уклоняющихся от норм шекспиров, Достоевских и Скрябиных — завязывают в сумасшедшие рубахи и сажают в пробковые изоляторы. Детей изготавливают на фабриках — сотнями, в оригинальных упаковках, как патентованные средства; раньше, говорят, это делали каким-то кустарным способом. Еще тысячелетие — и от соответствующих органов останутся только розовенькие прыщички (вроде того, как сейчас у мужчин на груди справа и слева). Впрочем, пока кое-какие, воробьиные, еще уцелели, но любовь заменена полезным, в назначенный час, отправлением сексуальных надобностей; как и отправлением прочих естественных надобностей, оно происходит в роскошнейших, благоухающих уборных — нечто вроде доисторических римских терм...

И вот, в этот рай — попал ты, милейший Юрий Анненков. Не этот, выдумавший с тоски индустриализацию искусства, а настоящий, озорной, лентяй, беспутник, аккумуля-

ратный только в одном: в опаздывании, не дурак выпить и в пику мне присоседиться к Мэри¹.

Дорогой мой друг! В этой целесообразной, организованной и точнейшей вселенной тебя укачало бы в полчас...

В человеке есть два драгоценных начала: мозг и секс. От первого — вся наука, от второго — все искусство. И отрезать от себя все искусство или вогнать его в мозг — это значит отрезать... ну да, и остаться с одним только прыщиком.

Человек с прыщиком может говорить о маркизочках, занимающихся блудом. Блуд, сиречь, нарушение расписаний, установленных законным браком, есть, конечно, институт антирелигиозный и неорганизованный. А по-моему, маркизочка, если она занимается своим делом от души и красива, — чудесная женщина. И человек, который хорошо изображает любовь и учит любви тех, кто это плохо знает, — полезный человек.

Твоя формула искусства — «науки, познающей и организовывающей жизнь» — это формула искусства для скопцов, для замаринованных в уксусе, вроде моего достопочтенного викария Дьюли в «Островитянах», у которого вся жизнь — по расписанию, и любовь тоже (по субботам), и уже, конечно (да здравствует человек будущего — м-р Дьюли!), никакой игры, никакой прихоти, бесполезного каприза, случайности — все организовано и целесообразно...

Милый мой Анненков, ты заразился машинобожием. Религия материалистическая, находящаяся под высочайшим покровительством — так же убога, как и всякая другая. И как всякая другая — это только стенка, которую человек строит из трусости, чтобы отгородиться ею от бесконечности. По эту сторону стенки — все так симплифицировано, монистично, уютно, а по ту — заглянуть не хватит духу.

Какой-то мудрый астрономический профессор (фамилию забыл) вычислил недавно, что Вселенная-то, оказывается, вовсе не бесконечна, форма ее сферическая и радиус ее — столько-то десятков тысяч астрономических,

¹ Красавица-петербуржанка тех лет, за которой мы оба тогда одновременно ухаживали (или, как говорил Замятин, — «приударяли»).

световых лет. А что, если спросить его: ну, а дальше-то, за пределами вашей сферической и конечной Вселенной, — что там? А дальше, Анненков, дальше, за твоим бесконечным техническим прогрессом? Ну, восхитительная твоя уборная; ну, еще более восхитительная, с музыкой (Пифагоровы штаны); ну, наконец, единая, интернациональная, восхитительная, восхитительнейшая, благоуханнейшая уборная, — а дальше?

А дальше — все из восхитительнейших уборных побегут под неорганизованные и нецелесообразные кусты. И, уверен, раньше других — ты. Потому что твои картины и рисунки — спорят с тобой гораздо лучше меня. И сколько бы ты ни говорил машинопочвенных слов — ты, к счастью, не перестанешь тоже писать «Желтые трауры»¹ и прочие, к счастью — нецелесообразные картины.

Твой Евг. Замятин»²

И еще через день, встретив меня, Замятин сказал улыбаясь: — В дополнение к письму, вспомним фразу из «Балтазара» Анатоля Франса: «La science est infaillible; mais les savants se trompent toujours», — «наука непогрешима; но ученые постоянно ошибаются»:

* * *

Заключительные слова Замятина из его письма ко мне — «а дальше — все из восхитительнейших уборных побегут под неорганизованные и нецелесообразные кусты» — А. Кашин перефразировал в своей статье «Против бессмертного гвоздя» («Мосты», № 2, изд. ЦОПЭ, Мюнхен, 1959 г.):

«Социальный прогресс? Кто ж против него возражает! Но ставить его во главу угла — не скучно ли? Ну, хорошо, у каждого будет курица к обеду и роскошная квартира, —

¹ Название одной из моих картин (масло, 1914 г.).

² Это письмо Замятина было впервые опубликовано в «Социалистическом Вестнике» (Нью-Йорк, июнь, 1954). В год его написания (1921) Замятин пытался напечатать его в петроградской еженедельной газете «Жизнь Искусства», но редакция этого органа категорически воспротивилась.

что дальше? Можно продырявить насквозь земной шар, можно построить клозеты из мрамора. А потом? А потом человек от скуки из этих клозетов в кусты побежит (Замятин)».

А. Кашин продолжает:

«Замятин совсем не напрасно стал учителем, духовным вождем Серапионовых братьев и совсем не напрасно именно он провозгласил неореализм, как литературное направление наших дней. Именно в Замятине можно с наибольшей скорбью ощутить, какие безграничные горизонты открывались перед русской литературой, к какому великому полету она готовилась».

И Кашин приводит следующие выдержки из Замятина.

«Реализм видел мир простым глазом; символизму мелькнул сквозь поверхность мира скелет — и символизм отвернулся от мира. Это — тезис и антитезис; синтез подошел к миру со сложным набором стекол и ему открываются гротескные, странные множества миров... Завтра — мы совершенно спокойно купим место в спальном вагоне на Марс. Эйнштейном сорваны с якорей самое пространство и время. И искусство, выросшее из этой, сегодняшней реальности, — разве может не быть фантастическим, похожим на сон?»

Но все-таки есть еще дома, сапоги, папиросы; и рядом с конторой, где продаются билеты на Марс, — магазины, где продаются колбасы. Отсюда в сегодняшнем искусстве — синтез фантастики с бытом. Каждую деталь — можно ощупать: все имеет меру и вес, запах; из всего — сок, как из спелой вишни. И все же из камней, сапог, папирос и колбас — фантазм, сон».

Правда, Замятин не упомянул здесь о том, что «рядом с конторой, где продаются билеты на Марс», бывают также — голод, бездомность, отсутствие колбас, сапог и папирос, то есть — реальность, сильно меняющая «фантазм и сон». Но это уже — полемика, которая не входит в мою задачу.

* * *

Статья Замятина «О синтетизме», первые строки которой были здесь мной приведены, появилась в книге «Юрий Анненков. Портреты. Текст Евгения Замятина, Михаила Кузмина, Михаила Бабенчикова» (изд. «Петрополис», Пе-

тербург, 1922)¹. Через 8 лет, в 1930 году, в сборнике «Как мы пишем» (изд-во Писателей, Ленинград) Замятин, в статье «Закулисы», поместил оттуда следующую выдержку:

«...Ни одной второстепенной детали, ни одной лишней черты, только — суть, экстракт, синтез, открывающийся глазу в сотую долю секунды, когда собраны в фокус, спрессованы, заострены все чувства... Сегодняшний читатель и зритель сумеет договорить картину, дорисовать слова — и им самим договоренное будет врезано в него неизмеримо прочнее, вратет в него органически. Так синтетизм открывает путь к совместному творчеству художника — и читателя или зрителя».

К этой выдержке Замятин прибавил:

«Это я писал несколько лет назад о художнике Юрии Анненкове, о его рисунках. Это я писал не об Анненкове, а о нас, о себе, о том, каким по-моему должен быть словесный рисунок».

Замятин был прав. Не знаю почему, но, несмотря на наши противоречия, я всегда чувствовал, как художник, родство с творчеством Замятина, и это чувство сохранилось во мне до сих пор.

В 1922 году Замятин, за свое открытое свободомыслие, был арестован, заключен в тюрьму и приговорен без суда к изгнанию из Советского Союза вместе с группой приговоренных к тому же литераторов. Там же, в тюрьме, ему была выдана следующая бумага:

«Р.С.Ф.С.Р.

Н.К.В.Д.

Гос. Политическое Управление

7 сентября 1922 г.

№ 21923

Дело № 21001

Удостоверение Г.П.У. за № 21923

1922

Москва, Большая Лубянка, 2.

Телеф. Г.П.У. Коммутатор.

¹Эта статья была впоследствии напечатана в книге Замятина «Лица» (изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1955).

Сдается на погранпункте
единовременно с предъявлением
загранич. паспорта.

Выдана виза № 5076
11 октября 1922 г.

1 секретарь (подпись неразборчива)

Дано сие гр. Р.С.Ф.С.Р.

Замятину Евгению Ивановичу, р. в 1884 г. в том, что к его выезде за границу в Германию, по (день поездки): *высыл. бессрочно*, со стороны Гос. Пол. Упр. препятствий не встречается.

Настоящее удостоверение выдается на основании постановления СОВНАРКОМА от 10 мая 1922 г.

Нач. Особого Отдела ГПУ — Ягода.

Да, да. Не больше и не меньше: Ягода!

Для Замятина, впрочем, такая «правительственная» реакция не была ни новостью, ни неожиданностью. Передо мной — документ, датированный 11 марта 1914 года:

Постановление

СПБ. Комитета по Делах Печати
о наложении ареста на повесть «На куличках»
(журнал «Заветы» № 3, 1914 г.)

Повесть разделяется на 24 главы и посвящена автором описанию внутреннего быта небольшого военного отряда на Дальнем Востоке. Жизнь эта изображена в самом отталкивающем виде. Замятин не жалеет грубых красок, чтобы дать читателю глубоко-оскорбительное представление о русских офицерах. С этой целью Замятин подбирает в своей повести целый ряд мелких фактов, не останавливаясь перед весьма непристойными картинами. Из приводимых выдержек следует, что Замятин дает в своей повести намеренно измышленные характеристики офицерского состава русской армии. По его описанию русские офицеры только ругают и избивают солдат, сами разврат-

ничают и пьянствуют, в Собрании затевают драку в присутствии приглашенных для чествования иностранных офицеров. Капитан бросает в лицо генералу, начальнику отдельной части, обвинение в краже казенных денег и дает ему пощечину. А генерал письменно предлагает жене этого офицера расплатиться за поступок мужа своим телом, так что, по словам Замятина, все поведение русских офицеров является сплошным позором и обличает в них людей грубых, оупевших, лишенных человеческого облика и утративших сознание собственного достоинства, что, несомненно, представляется крайне оскорбительным для воинской чести. Вместе с тем, Замятин, имея в виду еще более унизить выведенных в повести офицеров, рисует самые интимные и для публичного разглашения непристойные стороны супружеской жизни и приводит порнографические выражения, чем оскорбляет чувство благопристойности.

По определению СПб. Окружного Суда от 22-го апреля 1914 года постановлено, в виду того, что рассказ «На куличках» представляется явно противным нравственности — наложенный СПб. Комитетом по делам печати на № 3 журнала «Заветы» за март 1914 г. — арест оставить в силе впредь до изъятия в указанном номере журнала «Заветы» (№ 3) всего рассказа ЕВГ. ЗАМЯТИНА «На куличках».

Второй документ:

Определение

1914 г., апреля 22 дня

По Указу Его Императорского Величества С.-Петербургский Окружной Суд в 3-м отделении, в следующем составе:

Г. Председатель: В. Е. Рейнбот.

Гг. члены суда: В. А. Корнеев, Н. Н. Багговут.

При исполняющем обяз. секретаря: Б. Н. Лихачевском.

При прокуроре: Ф. Ф. фон Нандельштедте.

Слушал: предложенную Прокурором Суда переписку с отношением Главного Управления по делам печати от

11-го и 21-го марта с. г. вместе с копией журнала заседания С.-Петербургского Комитета по делам печати от 11-го марта 1914 г. о наложении ареста на № 3 журнала «Заветы» за март 1914 г. и прошение поверенного ответственного редактора названного журнала Николая Максимовича Кузьмина, присяжного поверенного М.М. Исаева, заключающее в себе ходатайство о снятии ареста с № 3 журнала «Заветы», хотя бы под условием изъятия инкриминируемых мест рассказа Евг. Замятина «На куличках».

Рассмотрев означенную переписку и находя, что в рассказе «На куличках» заключаются признаки 1001 ст. улож. наказ, и не признавая вместе с тем возможным выделить из этого рассказа отдельные тексты, являющиеся совершенно неблагопристойными в виду многочисленности таковых, а равно потому, что весь рассказ по содержанию и изложению своему представляется явно противным нравственности, — Окружной Суд, согласно заключению Прокурора Суда и руководясь 1213 — 10, 14 ст. уст. уголов. суд., постановил: наложенный С.-Петербургским Комитетом по делам печати на 3-й номер журнала «Заветы» за март 1914 г. арест оставить в силе, впредь до изъятия из указанного номера журнала «Заветы» всего рассказа Евг. Замятина «На куличках». Подлинное за надлежащими подписями.

С подлинным верно
и. о. Секретаря (подпись неразборчива).

В те, теперь уже далекие, годы Замятин был революционером и не скрывал этого. Совершенно естественно, что в 1914 году повесть «На куличках» не могла отвечать вкусам правительства дореволюционной России. Лет через пятнадцать, вспоминая об этом случае, Замятин писал, не без иронии:

«С этой повестью («На куличках») вышла странная вещь. После ее напечатания раза два-три мне случалось встречать бывших дальневосточных офицеров, которые уверяли меня, что знают живых людей, изображенных в повести, и что настоящие их фамилии — такие-то и такие-то, и что действие происходит там-то и там-то. А между тем дальше Урала никогда я не ездил, все эти «живые люди» (кроме 1/10 Азанчеева) жили только в моей фанта-

зии, и из всей повести только одна глава о «клубе ланцетупов» построена на слышанном мною от кого-то рассказе. «А в каком полку вы служили?» — Я: «Ни в каком. Вообще — не служил». — «Ладно! Втирайте очки!»

Потом пришла коммунистическая революция, превратившаяся вскоре (с неожиданной быстротой!) в режим новой бюрократии и порабощения, которые не успели убить в Замятине революционера: Замятин им остался. Роман «Мы», как я говорил, был написан уже в 1920 году. Совершенно естественно, что он не мог отвечать вкусам после-революционной бюрократии и был запрещен к печатанию в Советском Союзе. Но достаточно привести несколько выдержек из статей Замятина, проскользнувших в советской прессе, чтобы ощутить героическую устойчивость замятинских убеждений и понять причины последовавших кар.

«Мир жив только еретиками. Наш символ веры — ересь... Вчера был царь и были рабы; сегодня — нет царя, но остались рабы... Война империалистическая и война гражданская — обратили человека в материал для войны, в номер, в цифру... Умирает человек. Гордый *homo erectus* становится на четвереньки, обрастает клыками и шерстью, в человеке — побеждает зверь. Возвращается дикое средневековье, стремительно падает ценность человеческой жизни... Нельзя больше молчать» («Завтра», 1919 г.)

«Постановления, резолюции, параграфы, деревья, — а за деревьями нет леса. Что может увлечь в политграмоте? — ничего...

С моей (еретической) точки зрения несдающийся упрямый враг гораздо больше достоин уважения, чем внезапный коммунист... Служба господствующему классу, построенная на том, что эта служба выгодна — революционера отнюдь не должна приводить в телячий восторг; от такой службы, естественно, переходящей в *прислуживание* — революционера должно тошнить... Собачки, которые служат в расчете на кусочек жареного или из боязни хлыста — революции не нужны; не нужны и дрессировщики таких собачек...» («Цель», 1920 г.).

«Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни — в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во «Всемирной Литературе», несомненно, пере-

водил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить, — жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей — Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре «Ревизора», Тургеневу каждые два месяца по трое «Отцов и детей», Чехову — в месяц по сотне рассказов...

Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики...

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать... Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое». («Я боюсь», 1921 г.)

И многое другое...

* * *

Постановлением о высылке за границу Замятин был чрезвычайно обрадован: наконец-то — свободная жизнь! Но друзья Замятина, не зная его мнения, стали усердно хлопотать за него перед властями, и в конце концов добились: приговор был отменен. Замятина выпустили из тюрьмы, и в тот же день, к своему глубокому огорчению, он узнал, со слов Бориса Пильняка, что высылка за границу не состоится.

Вскоре после выхода из тюрьмы Замятин, вместе со мной, присутствовал на Николаевской набережной, в Петрограде, на проводах высылаемых из Советского Союза нескольких литераторов, среди которых были Осоргин, Бердяев, Карсавин, Волковысский и некоторые другие, имена которых я теперь забыл. Провожающих было человек десять, не больше: многие, вероятно, опасались открыто прощаться с высылаемыми «врагами» советского режима. На пароход нас не допустили. Мы стояли на набережной. Когда пароход отчаливал, уезжающие уже невидимо сидели в каютах. Проститься не удалось.

Сразу же после этого Замятин подал прошение о его высылке за границу, но получил категорический отказ.

* * *

Я покинул Советский Союз осенью 1924 года. Замятин героически остался там. Правда, литературный успех Замятина все возрастал, и не только — в книгах, но и в театре. Его пьеса «Блоха» прошла в те годы во Втором Московском Художественном Театре (МХАТ 2-й) и в Петроградском Большом Драматическом Театре — свыше трех тысяч раз.

Основой пьесы является рассказ Лескова «Левша». 2-й Московский Художественный Театр обратился к Алексею Толстому с просьбой инсценировать этот рассказ, но Толстой отказался, заявив, что это невозможно. Театр обратился тогда к Замятину, и он, сознавая всю трудность этой работы, принял, тем не менее, предложение.

Успех «Блохи» был огромен и в Москве и в Петрограде. Одним из главных качеств пьесы, как и всегда у Замятина, была языковая фонетика. Замятин сам говорил, что «надо было дать драматизированный сказ». Но — не сказ половинный, как у Ремизова, где авторские ремарки только слегка окрашены языком сказа, а полный, как у Лескова, когда все ведется от лица воображаемого автора одним языком. В «Блохе» драматизируется тип полного сказа. Пьеса разыгрывается, как разыгрывали бы ее какие-нибудь воображаемые тульские актеры народного театра. В ней оправданы все словесные и синтаксические сдвиги в языке.

От Лескова, конечно, осталось немного. Вырос Замятин. Он опустил целый ряд глав лесковского рассказа: 1-ую, 2-ую, 3-ую, 6-ую, 7-ую и 8-ую. Одновременно с этим Замятин ввел ряд новых персонажей, вдохновленный итальянской народной комедией, театром Гольдони, Гоцци и такими героями комедии dell'arte, как Пульчинелла, Труфальдино, Бригелла, Панталонэ, Тарталья, служащими усилению сценической динамики... <...>

* * *

Но Замятин жил в Советском Союзе, и условия жизни там осложнялись с каждым днем. Роман Замятина «Мы» вышел на английском языке в Нью-Йорке <...> Но в том же 1924 году опубликование романа «Мы» на русском языке

было запрещено в Советском Союзе советской властью.
<...>

Положение Замятина в Советском Союзе становилось все тягостнее, все трагичнее. Печатание его произведений было прекращено. Пьеса «Блоха» была снята с репертуара.
<...>

Замятин в конце концов не вытерпел и написал, в июне 1931 г., личное письмо Иосифу Сталину с просьбой выдать разрешение на выезд за границу. В этом письме, обращаясь к Сталину, он говорил:

«Приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма — обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою... Для меня, как писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немислимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся травли... Основной причиной моей просьбы о разрешении мне выехать вместе с женой за границу — является безвыходное положение мое, как писателя, здесь, смертный приговор, вынесенный мне, как писателю, здесь». Полностью это письмо опубликовано в замятинском сборнике «Лица» (изд. Чехова, Нью-Йорк, 1955).

Поддержанное Максимом Горьким разрешение на выезд было Замятиным наконец получено, и, в ноябре 1931 года, он с женой приехал в Берлин. Пробыв там неделю, Замятины перебрались в Прагу. Затем — снова Берлин, после чего, в феврале 1932 года, они оказались во Франции. Людмила Николаевна задержалась на юге, а Замятин вскоре прибыл в Париж и поселился на некоторое время в моей второй квартирке на улице Дюрантон. Через несколько дней приехала в Париж и Людмила Николаевна, и наши общие встречи стали не менее частыми, чем в Советском Союзе.

Людмила Николаевна оставалась по-прежнему скромной, жизнерадостной и гостеприимной. Как и раньше, она любила говорить о творчестве Замятина, но лишь в его отсутствие, боясь, что иначе он снова «заболтает», как она выражалась, об их «мифическом сотрудничестве».

Квартирка была, к сожалению, очень маленькая, но книги стали угрожающе накапливаться.

— Всего полторы комнатки, — улыбалась Людмила Николаевна, — а книг уже — на целую публичную библиотеку!

Несмотря на это, порядок в квартирке царил образцовый.

* * *

Замятин — все тот же. Та же нестираемая саркастическая улыбка, тот же врожденный оптимизм, пронизанный иронией. Роман «Мы» вышел, к тому времени, и на французском языке («Nous autres», изд. Галлимар, Париж, 1929), но был встречен довольно холодно и понят исключительно как политический памфлет, пасквиль на режим, тогда еще не волновавший читателей свободных стран. В широкие читательские массы замятинский роман поэтому тогда еще не проник. Замятин тем не менее работал, как всегда, не покладая рук. Не увидевшую сцены пьесу «Атилла» он переделывал в роман «Бич Божий», изданный в Париже на русском языке «Домом Книги», уже после смерти Замятина. Замятин писал также во французских журналах статьи, посвященные трудностям русской литературы в Советском Союзе. Он уделял также время переводам своих произведений на французский язык, из которых многие появились во французской прессе. Писал и о театре. Хлопотал о постановке «Блохи» и даже написал два замечательных кинематографических сценария: «На дне», по пьесе М. Горького, и «Анну Каренину», по роману Льва Толстого...

Для меня оптимизм (несмотря на разочарование Замятина в коммунистической революции) был одной из наиболее характерных черт писателя, удививший его иногда от реального понимания происходивших событий. В 1936 году, через несколько дней после смерти Максима Горького, французские литераторы устроили в Париже вечер его памяти, под председательством Анатоля де Монзи, возглавлявшего тогда Комитет Опубликования Французской Энциклопедии. Из русских выступали двое: Замятин и я (оба, конечно, на французском языке).¹

¹ Речь Замятина была в том же году отпечатана — в «Revue de France»; моя — в журнале «Europe».

Говоря о частых встречах Горького со Сталиным, Замятин, между прочим, произнес:

«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что исправление многих перегибов в политике советского правительства и постепенное смягчение режима диктатуры — было результатом этих дружеских бесед. Эта роль Горького будет оценена только когда-нибудь впоследствии»¹.

Возможно, что получение разрешения на выезд за границу показалось Замятину одним из признаков «смягчения режима», несмотря на то, что именно 1936 год уже ознаменовался кровавыми сталинскими «процессами», «чистками» и массовым истреблением населения, достигшими своей кульминации в 1937 году.

* * *

Любовь к творчеству Горького и личная дружба с ним побудили Замятина перенести на французский экран какое-либо произведение Горького. После долгих колебаний Замятин остановил свой выбор на пьесе «На дне». Задача была нелегкая, так как атмосфера русского «дна» была чужда широкому французскому кинематографическому зрителю. Замятин решил ее «офранцузить», пересадить на французскую почву. Но самая мысль сблизиться с кинематографической продукцией была, в известной степени, навеяна Замятину также и практическими соображениями. Уже в первые месяцы своего пребывания в Париже Замятин понял, что жизнь за границей для русского писателя, оторванного от своей страны, чрезвычайно трудна. Кинематограф показался ему наиболее доступным способом зарабатывать на жизнь.

Прожив несколько недель в моей квартирке, Замятины уехали на юг, на Ривьеру. Вскоре я получил от него письмо от 30-го сентября 1932 года:

«Villa Simple Abri rue des Oliviers, Cros-de-Cagnes.

Дорогой Юрий,

Спасибо за письмо. Но насчет летних наших проектировавшихся встреч — это ты валишь с больной головы на

¹Цитирую из русского текста, вошедшего в книгу «Лица», уже упомянутую мною выше.

здоровую: когда мы проживали в Париже, ты ведь еще и сам не знал, куда тебя нелегкая понесет — шла речь о St-Tropez, помнишь? И мы решили, что ты о своем летнем местопребывании дашь мне знать по адресу Григорьева¹.

Ну, ладно, это дело прошлое. А настоящее — неважное. То есть, так оно бы и ничего: были замечательные грозы, сегодня — опять лето, жарко, в море — синь, в кармане — какие-то франчишки. Но я опозорился: здесь на Ривьере, умудрился схватить какой-то паршивый грипп. В Петербурге вот уже лет пятнадцать не знал, что это такое, а тут — пожалуйста! Черт знает что! Купанье — пропало, приходится сидеть в комнатах. Злюсь.

Сколько времени пробуду здесь, на юге, — пока еще не знаю: это зависит от работы. До сих пор еще не найден режиссер для фильма, а потому неизвестно, кто будет делать *decourage*: то ли режиссер, то ли я, то ли оба вместе.

Буду рад, если напишешь, как дела у тебя? Удалось ли, наконец, сдать квартиру на rue Duranton?

Встретился здесь, в студии, со стариком Федором Ивановичем — Дон-Кихотом. Встречался не один раз с Катей Карнаковой, б. актрисой МХАТа и бывшей женой Дикого — знавал такую? Хорошая девушка. Она живет в Sar-Ferrat. И там же жила другая хорошая Катя: Красина².

Хорошего много, да ведь я-то что-то не хорош.

Жму руку.

Твой Евг. З.»

Речь, произнесенная Замятиным на вечере, посвященном памяти Горького, заканчивалась следующими словами:

«За месяц-полтора до его смерти одна кинематографическая фирма в Париже решила сделать по моему сценарию фильм из известной пьесы Горького «На дне». Горький

¹ Художник Борис Григорьев.

² Ф.И. Шаляпин в роли Дон-Кихота (фильм Ж. В. Пабста). Екатерина Карнакова, позировавшая мне однажды в одной рубашке и коротеньких кружевных панталончиках. Ее ноги были необычайной стройности. А.Н. Тихонов сказал как-то: «Самый красивый голос — у Шаляпина, самые красивые ноги — у Карнаковой». Екатерина Красина, дочь Л.Б. Красина, первого советского полпреда во Франции.

был извещен об этом, от него был получен ответ, что он удовлетворен моим участием в работе, что он хотел бы ознакомиться с адаптацией пьесы, что он ждет манускрипт. Манускрипт для отсылки был уже приготовлен, но отправить его не пришлось: адресат выбыл — с земли.

Режиссер был в конце концов «найден»: Жан Ренуар, один из самых крупных французских кинематографических постановщиков, сын знаменитого художника-импрессиониста Огюста Ренуара, с большой убедительностью перенесший замятинский сценарий на экран, при участии талантливейшего Луи Жуве и (на мой взгляд — бездарного, но ставшего, благодаря своей грубой вульгарности, «любимцем публики») Жана Габэна. Текст Горького был переработан Замятиным с тонким умением и тактом, и фильм имел огромный успех. <...>

* * *

Летом 1935 года я покинул мою мастерскую на улице Буало и переехал в буржуазно удобную квартиру на бульваре Мюра. Несколько позже, Замятины, в свою очередь, переселились на летние месяцы в парижское предместье Бельвю к их приятелю, доктору Рубакину, основавшему там, в своем имении, «образцовую школу», что-то вроде гимназии. Последнее, сохранившееся у меня письмо Замятина написано им оттуда:

«69, Route des Gardes, Bellevue.

Дорогой Юрий,

У тебя в новой квартире — спору нет: хорошо. Но у нас в парке Бельвю — ей-Богу лучше. Мы думали, что ты сам догадаешься и приедешь с твоей нормандской красоткой Тиной в субботу или воскресенье подольщефарниенствовать, а ты и глаз не кажешь. Приезжай скорей — пока я не засел за какую-нибудь новую работу: пока — кончив дела с Оцепом — бездельничаю и сижу безвыездно здесь. Приезжай в любой день, кроме среды (в этот день я буду под Версалем). Да вспомни и про старика Осоргина.

Привет Тине.

Твой Евг. Замятин».

Тина (Валентина Ивановна) была тогда моей женой, с которой я позже разошелся. В тридцатых годах она, действительно, была «красоткой», но — не нормандской, а чистокровно-московской.

Федор Оцеп (русский) был очень известным кинематографическим постановщиком, жившим во Франции до войны 1939 года. Им были сделаны фильмы «Парижский мираж», «Пиковая дама», «Княжна Тараканова» и др. В «Пиковой даме» (фильм, в котором участвовали такие актеры, как Маргерит Морэно — в роли графини, Мадлэн Озерэй — в роли Лизы и Пьер Бланшар — в роли Германа) мне пришлось заменить Мстислава Добужинского в качестве автора костюмов, так как Добужинский должен был срочно выехать в Вену. Мною были также созданы костюмы для фильма «Княжна Тараканова», крутившегося в Италии (Рим, Ватикан, Венеция), где моей ассистенткой была дочь Ф. И. Шалапина — прелестная Марина, «мисс Россия» 1937 года.

У Федора Оцепа, в Париже, Замятин и я проводили иногда вечера, засиживаясь до поздней ночи. По просьбе Оцепа Замятин написал сценарий «Анна Каренина». К сожалению, этот фильм остался неосуществленным.

* * *

В том же году приезжал в Париж Борис Пастернак, и втроем мы катались по городу в моей машине. Я спросил однажды, куда Пастернак хотел бы еще съездить? Он ответил:

— В предместье St-Denis, к гробницам королей.

— Весьма своевременно, — сказал Замятин.

И мы поехали в St-Denis...

Тридцатые годы были временем очень частых наездов русских писателей в Париж: Замятин, приехавший с разрешения Сталина и потому не считавший себя эмигрантом; Пастернак, Федин, Пильняк, Бабель, Эренбург, Безыменский, Слонимский, Мариетта Шагинян, Никулиц, Алексей Толстой, Кирптон, Всеволод Иванов... Приезжая в Париж, они постоянно и весьма дружески встречались с писателями-эмигрантами, несмотря на политические разногласия. Случались, конечно, и небольшие недоразумения. Так, я помню, в моей квартире Федин упрекнул меня в том, что я не предупредил его о приходе Осоргина,

встреча с которым казалась ему неуместной. Но это был редчайший случай, и в тот же вечер они мирно беседовали друг с другом, сидя рядом на диване.

* * *

Теперь — некоторые выписки из моего дневника того времени:

«17 августа 1935 г.

Ездил с Замятиным в Бельвю к доктору Рубакину, в его «образцовую школу». Метро переполнено толпой, не перестающей меня поражать своей потливостью, семейственностью и упорством, с которым люди решаются потратить около двух часов на скучнейшее путешествие под землей, чтобы провести два часа на травке, закиданной клочками просаленной бумаги, окурками и яичной скорлупой.

В саду образцовой школы (сад огромный, великолепный, холмистый) велась за чаем беседа о новых методах образования и воспитания детей. Рубакины — завидные энтузиасты своего дела, но, к сожалению, пользование их школой доступно лишь очень состоятельным людям: плата за нравоучение — от 500 франков в месяц с ребенка. Как всегда — все хорошее стоит дорого.

Дочь Рубакина, кустодиевская барышня, не знает ни слова по-русски. Рубакин показывал свою книгу, написанную по-французски: «Человеческое неравенство перед болезнью и смертью» — труд из области социальной гигиены, основанный на данных международной статистики. Содержание исчерпывается заглавием.

К вечеру читали в парке последние номера советского журнала «Творчество», только что пришедшие из Москвы. Безграмотность советских художников и художественных критиков непонятным образом возрастает с каждым годом. Довольно крепко упомянув «мамашу», Замятин прибавил:

— Возврат от трактора к сохе, от аэроплана — к телеге.

«22 мая 1936 г.

Весь день просидел безвыходно дома. Живопись.

Вечером пришли Оленька Глебова-Судейкина и Замя-

тин. Оленька рассказывала о новых своих заботах: у нее расплодились канарейки. Итого — 54 птицы без клеток, в одной комнате для прислуги. Потому что Оленька живет в комнате для прислуги.

Замятин:

— Не хватает филина и страуса. Необходимо исхлопотать!»

Здесь я чувствую необходимым привести еще нигде не опубликованное стихотворение Игоря Северянина, посвященное Ольге Судейкиной и написанное в Париже, куда поэт приезжал в начале тридцатых годов:

Голосистая могилка

В маленькой комнатке она живет.
Это продолжается который год.

Так что привыкла почти уже,
К своей могилке в восьмом этаже.

В миллионном городе совсем одна:
Душа хоть чья-нибудь так нужна!

Ну вот, завела много певчих птиц, —
Былых ослепительней небылиц, —

Серых, желтых и синих всех
Из далеких стран, из чудесных тех,

Где людей не бросает судьба в дома,
В которых сойти нипочем с ума...

Париж, 12 февраля 1931 г.

«6 октября 1936 г.

Чудный осенний вечер. Осенние скрипки. Но денег у меня по-прежнему нет ни копейки. Телефон не работает уже свыше трех месяцев. Утром купил на два франка и пять сантимов хлеба, сахара и яиц. Жизнь дешева и прекрасна: грошевая опера, «Opéra de quat'sous». Тинок бодрится».

«7 октября 1936 г.

Утром был разбужен... телефонным звонком: со станции сообщили, что моя линия восстановлена. Происшествие непонятное, так как денег я не вносил. Остаются два предположения: либо свет не без добрых людей, либо в жизни бывают чудеса. Хорошо бы верить и в то и в другое. Около полудня — еще звонок. Голос Замятина:

— Уже восстановили?

— Восстановили.

— Ну, так пойдем, на радостях, пожрать креветок и мурлей.

— Пойдем.

И мы встретились в маленьком ресторанчике на бульваре Эксельманс, где изумительно вкусно готовились всяческие ракушки».

* * *

Во все годы, что я знал Замятина, он был всегда окружен книгами, жил книгами. Книги, книги, постоянно — книги. Книги были для Замятина своего рода культом.

В 1928-м году он писал:

«Когда мои дети выходят на улицу дурно одетыми — мне за них обидно; когда мальчишки швыряют в них камнями из-за угла — мне больно; когда лекарь подходит к ним с щипцами или ножом — мне кажется лучше бы резали меня самого.

«Мои дети — мои книги; других у меня нет».

Несколько иначе, но с теми же чувствами, писал о книгах и Виктор Шкловский в статье «О пользе личных библиотек и о пользе собрания книг в первых изданиях в частности» («Новый Мир», Москва, 1959).

«Работать с книгой, не пользуясь государственными библиотеками, невозможно... Лестницы государственных библиотек священны, и те, кто ходит по этим ступеням, не разочаровываются.

Но книгу надо иметь и дома.

Библиотечную книгу читаешь в определенные часы; потом она от тебя уходит; ее нельзя размечать.

Своя книга остается дома, обогащается от чтения к

чтению; в ней можно сделать отметку, к ней можно возвратиться.

Проходят годы, изменяется жизнь; ты возвращаешься к старой книге по-новому... (примеряешь свой рост к ней, и оказывается иногда, что время тебя вырастило).

Очень важны книги, оставшиеся после работы... К ним надо возвращаться для того, чтобы проверить себя так, как художник возвращается к старым своим рисункам...

Надо накапливать книги, знакомясь с человеческим опытом, — пускай они лежат вокруг твоей мысли, становясь твоими — кольцо за кольцом, так, как растет дерево, пускай они поднимаются со дна, как коралловые острова.

Если от книг становится тесно и некуда поставить кровать, то лучше заменить кровать раскладушкой.

Я собирал книги, собрал хорошую библиотеку по старой русской прозе. Она сейчас не у меня — она стала частью библиотеки Союза писателей.

Я скучаю по ней, потому что она заперта в шкафах и я слышал, что ее теперь редко читают...

Самая маленькая библиотека, оставшаяся у человека, драгоценна...

Частные собрания книг для нас драгоценность, потому что они сохраняют книгу. Книга должна иметь друга, иначе она растеривается, зачитывается.

Почему собранные им книги, о которых он скучает, стали «частью библиотеки Союза писателей», — осиротевший Шкловский не говорит.

* * *

В начале 1937 года здоровье Замятина сильно пошатнулось. В последний раз я был у него за несколько дней до его смерти. Замятин принял меня, лежа на диване, и конечно, с улыбкой на усталом лице.

Замятин скончался 10 марта 1937 года. В день похорон я поднялся на этаж замятинской квартиры в доме № 14, на улице Раффэ, но войти в квартиру у меня не хватило мужества. Я остался на площадке лестницы перед открытой дверью. Через несколько минут из квартиры вышел заплаканный Мстислав Добужинский и прислонился к стене рядом со мной. Он сказал мне, что лицо Замятина

сохраняло улыбку. Еще минут через пять на лестницу вынесли гроб. Лестница в доме была крутая, вьющаяся и слишком узкая, так что гроб пришлось спускать по ней в вертикальном положении. Присутствовало много провожающих, но мне было так тяжело, что я не запомнил ни лиц, ни имен.

Погребение состоялось на кладбище в Тие (предместье Парижа).

Зинаида Шаховская

ПОСЛЕ ПРИЕЗДА НА ЗАПАД

Начало моего знакомства с Евгением Ивановичем, в конце 1933 года или начале 34-го, было довольно удивительно. Сразу после приезда на Запад Замятин очень активно занялся литературной, театральной и кинематографической деятельностью. С эмигрантами встречаться избегал и продолжал жить по советскому паспорту. Как-то в брюссельских газетах было сообщено, что французский актер и постановщик Поль Оётли ставит пьесу советского писателя Замятина «Блоха» и что первые ее представления будут даны в Брюсселе (довольно часто парижские пьесы «пробуют» в Брюсселе). «Ле Руж э ле Нуар», левоватая газета, где я вела рубрику русской литературы¹, попросила меня быть на генеральной репетиции. Театр был неважный, в улице около площади Моннэ. В сохранившемся у меня черновике моего письма к Павлу Михайловичу Иртель-Бренндорф, руководителю Цеха Поэтов в Таллинне, я писала:

«Было у меня два приятных гостя. Первый — Евгений Замятин. Я познакомилась с ним на премьере его пьесы «Блоха» по Лескову. «Блоха» провалилась — тут, в Брюсселе, по крайней мере. Актеры играли отчаянно. В переводе текст стал полной чепухой, совершенно непонятной для местных жителей, да и мне, не знай я лесковской «Блохи». Замятин же оказался очень мил и умен и рассказал много

¹Тогда я стыдливо пряталась под псевдонимом Зинаида Сарана: Сарана — название бывшего нашего имения в Пермской губернии.

интересного про Россию. Сперва он к нам не очень-то хотел приходить, боялся сношений с белогвардейцами...»

Провал «Блохи» был таков, что ее и не пытались поставить на парижской сцене. В зале было всего несколько человек, и совсем случайно, по своему знакомству с актерами, был в театре двоюродный брат моего мужа, Игорь М.-М., парижанин, уже сильно офранцузившийся и с русской литературой не знакомый.

Подобно стилю «Серапионовых братьев» декорации и костюмы «Блохи» были «орнаментальны с завитушками», перед ничем не понимающей кучкой зрителей, среди всеобщей конфузии на деревянной лошадке гарцевал ген. Платов. Я пересела к Игорю к концу спектакля. Он, обернувшись к друзьям, громко сказал по-французски: «Это не пьеса, а...» — и в эту же минуту, выйдя из-за кулис, в зале показался мрачный автор. Не знаю, понял ли его Замятин, к которому я подошла и попыталась сказать что-то утешительное, — что утешить его, конечно, не могло.

Передо мною был сухой, прямо держащийся человек, кажущийся моложе своих 49 лет, на русского как будто и не так похожий; но все же, если всмотреться, — несмотря на прямой пробор и некоторую неподвижность лица, — определенно русский. Таких я уже видела с довольно высокими скулами и узким, почти азиатским прорезом глаз.

Вероятно, более эмоциональный человек и не захотел бы впоследствии встречаться со свидетелем неприятного для него события, но Замятин был умен и, несмотря на свою уклончивость от сношений с эмигрантами, как-то очень быстро к нам приручился. В следующие свои приезды он уже останавливался у нас, на мансарде нашего дома, где останавливались и Владимир Сирин, и Анатолий Алферов, и А. Штейгер, а бывали и многие русские странствующие писатели — Марина Цветаева, Марк Слоним, Дон Аминадо, Тэффи.

Такую энергию и трудоспособность я мало у кого встречала, так же как редко встречала среди русских такого всесторонне образованного человека. Он брался за сценарий об Аттиле в то время — и, по странному совпадению, я как раз тогда почему-то над Аттилой работала в Королев-

ской библиотеке. Ни у него, ни у меня ничего из Аттилы, впрочем, не вышло — денег не принесло.

Попыхивая трубочкой, Замятин читал нам свои повести, восхищая своим языком, а иногда и раздражая нарочитостью своего стиля.

Человек он был добрый и всегда заботился об участии друзей, оставшихся в России, в частности об Анне Ахматовой. Но не было в нем легкости, присущей добрым людям. Как будто какая-то тяжесть его давила и не юмор у него был, а сарказм, выраженный на скептицизме, а может быть, и на отчаянии. Совсем не от Гоголя, как утверждают иногда, идет его родословная — в своей пошлости герои «Мертвых душ» все же смешны. Генерал Азанчеев и Ефим Барыба не смешны. Взгляд, который Замятин бросал на мир, был взглядом Салтыкова-Щедрина, писателя, которого я никогда не любила, вероятно, и зная бы его (Салтыкова) лично не захотела, — а вот Замятина было за что и любить.

Человек неверующий, далекий от метафизики — даже вымолив чудо, Инок его бросается в озеро под «пустым и страшным небом» (Знаменье). — Замятин внушал уважение не только глубокой своей порядочностью, но и очень старательно скрываемой добротой. Может быть, скрывал доброту потому, что не мог рационализировать этого чувства и верил в технику, в прогресс, в науку, в творчество, строго контролируемое и подверженное известным законам, а жизнь и собственные эмоции никаким законам, ему понятным, не повиновались, ускользали от анализа и точных определений.

В 1956 году мне передала Ир. Ал. Лабинская, что его вдова, Людмила, очень хотела бы меня почему-то повидать. Но я не успела, уезжала в Москву — а потом, потом — так мы и не увиделись...

Бывая на кладбище Сент-Женевьев, грущу о том, что прах Шаляпина, Ходасевича, Замятина, Бальмонта не покоится в этой, почти русской, земле — в некрополе русской эмиграции.

Письма Е. И. Замятина

11—XII—1933

14, rue Raffet, Paris 16e

Милая Зинаида Алексеевна,

чтобы мне в парижской суете не забыть об Ахматовой — и чтобы Вы тоже не забыли об этом — пишу Вам сейчас же по приезде.

Ахматовой удобнее всего послать посылку по след. адресу:

Ленинград, Жуковская 29 кв. 16. Аграфене Павловне Гроздовой.

Помимо всего прочего, это удобнее для Ахматовой потому, что она больна, идти самой ей на таможенную за посылкой — трудно, а тут — все за нее сделают и доставят ей. Так уже ей посылали кое-что раза два. Хорошо, если бы Вы были добры известить меня, что именно пошлете, чтобы потом проверить, все ли получено¹.

Очень бы хотелось, чтобы это было получено в Ленинграде к празднику, а потому — не откладывайте, будьте милым рождественским St. Nicolas!

Да, еще одна мелочь: лучше (для адресата), если посылка будет отправлена от моего имени.

Второй адрес, который Вас интересовал, — адрес Цветаевой: M-me Efron-Tzvetaleva, 10 rue Lazar Carnot, Clamart (Seine).

Передайте привет Вашему мужу. Надеюсь — a bientôt².

Е. Замятин

Париж, 16 — V — 1934

¹ В 1956 году, когда я с мужем была в Москве, я поручила одному верному советскому человеку повидать Анну Ахматову и сказать, что я хотела бы с ней встретиться, упомянув, что я знала Замятина. Ахматова ответила, что не может: ее сын только что вернулся «с Севера» и она боится за него.

² До скорого (фр.).

Дорогая Зинаида Алексеевна,

где Вы? В Брюсселе, в Египте, в Индии? И почему до сих пор нет Вас в Париже, куда Вы тоже как будто собирались? Получили ли мою (еще зимнюю) открытку, где я извещал Вас, что Ахматова получила посланные Вами франки?

В Париже месяца два гостил Федин — мой большой приятель. Эти месяцы, натурально, вышли увеселительными — тем более, что было много развлечений на парижских улицах, вплоть до пальбы¹. Март — апрель был в плену у кинематографа. Только сейчас стало несколько свободных дней — и вот вспоминаю о разных далеких и близких друзьях, пишу письма.

Театральными делами заниматься было некогда. «Блоха» в Париже до следующего сезона — в состоянии анабиоза. Вероятно, будет сделан новый французский перевод — вернее, *adaptation*. У Вас в Брюсселе делается фламандский перевод — уже должен бы быть готов, но от переводчика я что-то давно не получал известий?

Я думаю, Вас не затруднит позвонить этому милому фламандцу, узнать у него, как обстоят дела, и о результатах Вашего разговора написать мне несколько строк? Зовут его *Mr Theo Bogaerts*, его телеф. 26. 09. 29 и 17. 07. 42. Адрес — 36, *Stevens-Delanoy straat*.

А затем — напишите о себе, о Брюсселе. Не встречаете ли там юную и полную энергии парижанку Даманскую? Непременно передайте привет Вашему мужу.

Mes amitiés. 14, rue Raffet Paris (16e)

Е. Замятин

30 — V — 1934

14, rue Raffet, Paris 16e

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Очень рад, что Вы, наконец, в Париже. В четверг между 4 1/2 — 5 буду ждать Вас у себя на rue Raffet.

В вестибюле дома садитесь в лифт, который справа, и

¹Происходили очередные уличные манифестации.

путешествуйте до III этажа. Там — направо — моя дверь, кв. № 54.

Если бы обстоятельства изменились и что-нибудь Вам помешало, дайте знать.

Привет
Е. Замятин.

Милая Зинаида Алексеевна.

Весна, солнце — вызывают во мне рейзефиберный зуд, и я вспоминаю о Вашем прошлогоднем приглашении — приехать к Вам в Брюссель. Я бы мог сейчас выкроить несколько дней для такого путешествия, тем более, что у меня как будто наклеывается возможность соединить это с поездкой в Амстердам, где я думаю устроить conference (по-французски или английски) о советском театре.

Для реализации всей этой затеи мне нужно было бы организовать вечер в Брюсселе (чтение моих вещей — новых — по-русски). Такой вечер, заказной, был устроен недавно в Париже, результатами я доволен. Не возьмете ли Вы на себя — выяснить с брюссельцами, как и когда можно там устроить вечер — вероятно в Клубе русских¹. В Антверпене на это предприятие идут очень охотно — это уже выяснил там Марк Львович². Если бы удалось соединить Брюссель, Антверпен и Роттердам, это было бы хорошее путешествие — и некоторая заплата на Тришкин кафтан бюджета.

Будьте другом, произведите разведку на этот счет и поскорее напишите мне о результатах.

Сердечный привет Вам и Вашему мужу

Е. Замятин.

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Я в Амстердаме, как видите: читаю здесь сегодня лекцию (для голландцев — по-французски!) о русском театре.

На обратном пути я бы очень хотел остановиться дня

¹Пропущено: евреев.

²Слоним.

на 3 в Брюсселе — кстати, в Брюсселе мне предлагают сделать небольшой доклад о русском театре для конгресса, заседающего при Брюссельской выставке.

Кроме того, у меня идут переговоры с Кулишером¹ об устройстве вечера чтения моих рассказов 15-го в воскресенье. Но вечер — за мой страх и риск, с тем, что предварительные на организацию (120 бельг. фр.) — на мой счет.

Прежде всего, я хочу спросить Вашего совета на этот предмет: стоит устраивать сейчас в Брюсселе такой вечер? Если Вы считаете, что стоит, то не согласитесь ли Вы помочь в распространении билетов — энергии ведь у Вас кладезь!

И, наконец: когда-то Вы говорили, что у Вас летом будет комната «для гостей». Лето, правда, сомнительное, льет осенний дождь, но может быть такая комната все же у Вас существует и я мог бы найти в ней abri² на 2 — 3 дня? Только пожалуйста ответьте мне без церемоний, по-дружески.

Может быть — а bientôt³! Ваш Евг. Замятин.

P.S. Жду Вашего ответа — елико возможно скорого, чтобы немедленно по получении ответа перевести нужную сумму. Если для начала понадобится Кулишеру несколько десятков франков — может быть, Вы будете добры дать ему их? Je les rembourserai immédiatement⁴.

Париж, 30 — IX — 1935

Милая Зинаида Алексеевна, как видите — лето окончилось и Арденнские мои планы пошли прахом... Мне удалось выбраться (как и в прошлом году) только в Belle-Vue под Парижем, т. к. я был связан с Парижем одной кинематографической работой. В Bellevue прожил 1 1/2 месяца, из которого «дачным» была только неделя.

Сейчас — на старой квартире в Париже. Если не свя-

¹Из Клуба русских евреев.

²Приют (фр.).

³До скорого (фр.)

⁴Я их сразу возьму (фр.). Хорошо, если бы Вы повидались завтра с Кулишером (6, rue Leon Juret).

жусь с новыми кинематогр. работами — может случиться, что сбегу отсюда куда-ниб. на юг: засесть там в какой-нибудь средиземной дыре и писать.

А Вы — все время в Брюсселе? По-прежнему — эпидемия бриджа? Как князь Святослав и Ваш папа? Мой им привет.

Е. Замятин.

1—X — 1935

Mr. E. Zamiatine

14, rue Paffet, Paris (16e)

Уезжая, я оставил в Ваших верхних appartements мой русско-франц. словарь, в темно-красн. переплете — изд. «Знание» — Red. Moss. Если найдете — будьте милы, пошлите его мне.

Евг. Замятин.

Впервые выступив в печати в 1908 г., Замятин опубликовал сравнительно немного произведений. Большинство было написано и напечатано до отъезда из СССР в ноябре 1931 г. (В 1929 г. издательством «Федерация» в Москве выпущено Собрание сочинений в 4-х томах.) За границей было написано лишь несколько рассказов и киносценариев и исторический роман «Бич Божий» (не окончен).

После отъезда за границу Замятина перестают печатать на родине.

Лишь во второй половине 80-х гг. появляются публикации произведений Замятина в газетах и журналах, а затем начинают выходить его книги.

На сегодняшний день почти все творчество писателя доступно русским читателям. Первопроходцами в деле собирания и издания произведений Е. Замятина стали немецкие издатели: в 1970—1988-х гг. в издательстве «А. Нейманис» (Мюнхен) на русском языке вышли четыре солидных по объему тома Сочинений (под редакцией Е. Жиглевич, Б. Филиппова, при участии А. Тюрина). Это самое полное издание сочинений писателя. Полностью не изданы пока его блокноты — записи фрагментов будущих произведений, зарисовки, замыслы.

В настоящем томе сатирических и юмористических произведений писателя представлены разные периоды творчества и разные жанры: рассказы, повести, сказки, роман, пьеса, малоизвестные русскому читателю пародийные и шуточные сочинения, не предназначенные для печати, однако и сегодня вызывающие интерес и улыбку. С любезного разрешения Александра Тюрина — первого публикатора блокнотов Замятина впервые в России печатаются некоторые выдержки из них.

ИНТЕРВЬЮ ФРЕДЕРИКУ ЛЕФЕВРУ (Вместо автобиографии)

Интервью дано французскому критику Фредерику Лефевру для журнала «*Lts nouvelles littéraires*» в 1932 году в Париже.

Печатается по: Замятин Е. Сочинения. Т.4. Мюнхен. 1988. С.15—19.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

АЛАТЫРЬ

Впервые — Русская мысль. 1915. №9.

Печатается по: Замятин Е. Собр. соч. Т. 1. М.: Федерация, 1929.

Критик А.К.Воронский отмечал, что в этой повести наиболее отчетливо проступали особенности художественной манеры Замятина: «слово-поклонничество, мастерство, наблюдательность со стороны, ухмылочка и усмешка, анекдотичность... заостренность, резкость и ударность приема, подбор тщательных слов и фраз, большая сила изобразительности, неожиданность сравнений, выделение одной-двух черт, скупость» (Воронский А. Е. Замятин // Искусство видеть мир. М., 1987. С. 117).

С. 47. На одном на великом языке эсперанте... — Эсперанто — искусственный язык, созданный на основе латинских корней европейских языков и латинской графики с упрощенной грамматикой и ограниченным лексическим запасом. Создателем его был варшавский врач Людвиг Заменгоф (1859—1917), который предполагал, что новый язык послужит сближению разных народов. Название язык получил по псевдониму Заменгофа (надеющийся. — *лат.*). С конца XIX в. и до второй половины XX в. эсперанто широко пропагандировался во многих странах, в том числе и в России, на нем издавались книги и журналы; однако массовым языком международного общения он так и не стал.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СЫНОК

Впервые: Замятин Е. Сочинения. Т. 4. Мюнхен. С. 46. Печатается по этой публикации.

ПРАВДА ИСТИННАЯ

Впервые: Новая жизнь. 1917. 24 декабря. Печатается по: Замятин Е. Собр. соч. Т. 2. М.: Федерация, 1929.

ОСТРОВИТАНЕ

Впервые: Скифы. Сб. 2. Пг. 1918. С. 119—163. Печатается по: Замятин Е. Собр. соч. Т. 2. М.: Федерация, 1929.

Повесть написана на основе авторских впечатлений о пребывании в Англии в 1916—1917 гг. Здесь в зачатке можно увидеть некоторые идеи, позднее развитые в романе «Мы»: неприятие всеобщей регламентации, всеобщего подчинения религиозной морали, отрицание принудительного спасения человечества. А.К. Воронский, обращал внимание на то, что для повести характерны «тот отчужденный, сгущенный стиль с тире, пропусками, намеками, подсказками, та кружевная работа над словом... тот полуимажинизм, которые впоследствии сильно отразились на творчестве большинства «серапионов».

НАДЕЖНОЕ МЕСТО (В Задонск на богомолье)

Впервые: Жизнь Искусства. №1. 1924. 1 января /под названием «В Задонск на богомолье».

Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 4. Мюнхен. С. 48—50.

ВИДЕНИЕ

Впервые: Мосты. Мюнхен. 1962. С. 17—20.

Печатается по данному изданию.

ИКС

Впервые: Новая Россия. 1926. № 2. С. 49—62.

Печатается по: Замятин Е. Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Рассказ блестяще демонстрирует неразбериху первых лет после революции, малоэффективность попытки изменить природу человека посредством приказов и декретов. Перекликается с некоторыми рассказами Пантелеймона Романова («Верующие», «Синяя куртка», «Значок»).

Высоко оценил рассказ один из лучших критиков в Русском Зарубежье, Георгий Адамович. «Замятин много умнее и много умелее не только Лидина, но и большинства других русских писателей. Он сух и насмешлив, лиризмом не грешит, волнения не обнаруживает... Кажется, все приемы и приемчики новейшей российской беллетристики продемонстрированы в «Иксе»: смена планов, перерыв повествования, отступления, вмешательство автора в речь героев и прочее... В антологии русской прозы, для периода 1920—1925, мало что нашлось бы более характерного, чем этот рассказ» (А д а м о в и ч Г. «Икс» Е.Замятина // Звено. 1926. 24 октября. № 195. С. 2).

С. 124. ...*служащим прозодежду выдавать будут...* — Прозодежда — появившееся в начале 20-х годов XX в. в России слово для обозначения производственной одежды (образовано из сокращения этих двух слов).

С. 127. ...*напечатал буллу к прежней своей пастве...* — Булла — в католицизме папское послание, составляемое по соглашению с советом кардиналов; объявляется по всеобщему сведению.

Набранная жирным цицero... — Цицero — крупный типографский шрифт, получивший свое название после того, как в 1467 г. в Риме вышли «Письма Цицерона», напечатанные именно таким шрифтом.

С. 129. ...*не удалось изобразить...катценяммер.* — Катценяммер (нем. Katzenjammer) — похмелье.

С. 130. *Сцена — две конструктивных, по Мейерхольду, площадки...* — Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — русский режиссер, народный артист Республики; реформатор театра; поиски новых форм острого, зрелищного, публицистического театра нередко сочетались у него с конструктивистскими тенденциями, с использованием одновременно нескольких сценических площадок, с вынесением действия в зрительный зал и т.п.

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОВАРИЩУ ЧУРЫГИНУ

Впервые: Альманах «Круг». Кн. VI. Изд. «Круг». М., 1927 (под названием «Слово принадлежит т. Чурыгину»).

Печатается по: Замятин Е. Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация. 1929.

Поэт и критик Б. Филиппов видит в этом произведении замечательный, пример сказовой манеры писателя: «такие «сказы», как, скажем, «Слово предоставляется товарищу Чурыгину» (1926), не могли бы родиться у проживающего всю жизнь на берегах Невы — и даже Москвы-реки. Вся Расея, вздыбленная войной и революцией, хлынувшая из столиц в глухомань и из Богом забытых медвежьих углов в столицы, дана Замятиным так сжато-энергично, что иные его вещи — подлинная историческая живопись» (Филиппов Б. Замятин в своих прозаических миниатюрах (Замятин Е. Соч. Т. 3. Мюнхен. 1986. С. 6).

ДЕСЯТИМИНУТНАЯ ДРАМА

Впервые: Гул земли. Сб. Л.: Красная газета. 1928. С. 9—34.

Печатается по данному изданию.

МУЧЕНИКИ НАУКИ

Впервые: Новый журнал. Нью-Йорк. 1962, № 67. Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 2. Мюнхен. 1982. С. 54—65.

ЧАСЫ

Впервые по-французски: *La montre // Les nouvelles Littéraires*. 1935. № 641. 26 janv.

Впервые на русском языке: Замятин Е. Бич Божий. Париж: Дом книги. 1939. С. 91—104.

Печатается по данному изданию.

ЛЕВ

Впервые по-французски: *Le lion // Paris soir*. 1935. № 12.

Впервые на русском языке: Замятин Е. Бич Божий. Париж, Дом книги, 1939. С. 105—111.

Печатается по данному изданию.

ВСТРЕЧА

Впервые по-французски: Rencotre / Vendredi. 1936. № 29. 22 mai.

Впервые на русском языке: Замятин Е. Бич Божий. Париж: Дом книги, 1939. С. 117—123.

Печатается по данному изданию.

МЫ (роман)

Впервые в английском переводе: We. New York. Dutton. 1924.

Впервые по-русски (в сокращении): Воля России. Прага. 1927. № 2—4.

Впервые по-русски полностью: Замятин Е. Мы. Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1952.

Печатается по этому изданию.

Согласно неоднократным сообщениям самого Замятина роман был закончен в 1920 г. Однако, по свидетельству Ю. Анненкова, писатель летом 1921 г. продолжал работу над романом. Впрочем, это могла быть и ошибка памяти.

В ноябре—декабре 1921 г. журнал «Печать и революция» (№ 3, с. 301) спонсировал публикацию романа «Мы» в пятом номере журнала «Записки мечтателей». Однако роман не был напечатан.

Издательство Гржебина обещало выпустить роман отдельной книгой в 1922 г. Книга так и не вышла.

С рукописью романа были знакомы многие известные писатели и критики. Сообщения о содержании романа появились в печати задолго до его публикации. В берлинском журнале «Русская книга» в сентябре 1921 г. содержалась информация о том, что Замятин «написал роман «Мы», который изображает коммунистическое общество восемьсот лет спустя».

На родине появлялись многочисленные рецензии на неопубликованный роман, в основном отрицательные. И это несмотря на то, что роман принимали с интересом и симпатией на устных его читках многочисленные слушатели.

Вот лишь несколько характерных примеров: ««Мы» Замятина — памфлет против социализма» (Авербах Л. // Красная газета. Веч. вып. 1929. 15 окт.); «Роман «Мы» —

пасквиль на коммунизм и клевета на советский строй» (Ефремин А. Красная новь. 1930. № 1. С. 232—233); «Роман «Мы» — низкий пасквиль на социалистическое будущее» (Лунин Э.Б. Лит. энциклопедия. Т. 4. М., 1930. С. 309). Неоднозначно оценивает роман А.К. Воронский: «Замятин написал памфлет, относящийся не к коммунизму, а к государственному, бисмарковскому, реакционному, рихтеровскому социализму. Недаром он перелицевал своих «Островитян» и перенес отсюда в роман главнейшие черты Лондона и Джесмонда и не только это, но и фабулу. Иногда это доходит до мелочей... С художественной стороны роман прекрасен. Замятин достиг здесь полной зрелости — тем хуже, ибо все это пошло на служение злему делу» (Воронский А. Искусство видеть мир, С. 120—121).

Поскольку роман на родине невозможно было издать, Замятин не возражал против его выпуска на иностранных языках. После выхода английского перевода роман при посредничестве известного лингвиста Р. Якобсона был опубликован на чешском языке (1927), а затем благодаря содействию Ильи Эренбурга — на французском (1929).

Замятин отрицал свою причастность к сокращенной публикации романа на русском языке в эмигрантском журнале «Воля России», а поскольку экземпляр рукописи находился в Праге, его, очевидно, нетрудно было получить редакцией журнала.

Роман Замятина, несомненно, оказал влияние на более поздние антиутопии на Западе, в том числе на роман «1984» Дж. Оруэлла (1948). Некоторое сходство можно найти в романе Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» (1932). Сопоставляя книги Хаксли и Замятина, Оруэлл отдает предпочтение роману «Мы»: «... Интуитивное раскрытие иррациональной стороны тоталитаризма — жертвенности, жестокости как самоцели, обожания Вождя, наделенного божественными чертами, — ставит книгу Замятина выше книги Хаксли» (Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет». М., 1989. С. 308).

В СССР впервые полностью роман был напечатан в журнале «Знамя» в 1988 г. (№ 4—5). Впоследствии роман неоднократно выходил в сборниках произведений Замятина.

БОЛЬШИМ ДЕТЯМ — СКАЗКИ

Впервые как сборник — Берлин; Пб., М.: Изд. З.И. Гржебина. Печатается по данному изданию (за исключением оговоренных ниже).

В сборник вошли сказки, написанные Замятиным в 1915—1922 гг. и в большинстве ранее опубликованные в периодических изданиях:

Бог — Летопись, 1916, № 4. С. 46—47. Печатается по: Замятин Е. в. Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Иваны — Дело народа. 1918, 14 апреля.

Ангел Дормидон — Новая жизнь, 1918, 4 мая (под заглавием «Дормидон»). Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Хряпало — Дело народа, 1917, 14 декабря.

Электричество — Дело народа, 1918, 21 апреля. Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Дьячок — Летопись, 1916, Т. 4. С. 48—49. Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Арапы — Петербургский сборник: Поэты и беллетристы. Пб. Изд. журн. «Летопись Дома литераторов», 1922. С. 43.

Петр Петрович — Дело народа, 1917, 3 ноября.

Халдей — Дело народа, 1917, 11 ноября.

Церковь Божия — Петербургский сборник: Поэты и беллетристы. Пб.: Изд. журн. «Летопись Дома литераторов», 1922, С. 41—42.

Дрянь-мальчишка — Летопись, 1916, №4 (под заглавием «Петька» (под этим же заглавием он напечатан и в сборнике «Большим детям сказки»). Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Картинки — альманах «Пряник осиротевшим детям». Пг., 1916. С. 72. Печатается по: Собр. соч. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Бяка и Кака — сборник «Большим детям сказки».

Четверг — Газета-протест Союза русских литераторов: однодневная петроградская газета. 1917. 26 ноября.

Херувимы — Дело народа. 1917. 14 декабря.

Огненное А — Новая жизнь. 1918. 2 июня.

Первая сказка про Фиту — Дело народа. 1917. 3 ноября (под заглавием «Фита»).

Вторая сказка про Фиту — Дело народа. 1917. 11 ноября (под заглавием «Деяния Фиты»).

Третья сказка про Фиту — Дело народа. 1917. 24 ноября (под заглавием «Маленький фельетон; деяния Фиты»).

Последняя сказка про Фиту — Дело народа. 1917. 3 ноября.

Сказки в социал-демократической газете М. Горького «Новая жизнь» и лево-эсеровской газете В. Чернова «Дело народа» публиковались под псевдонимом Мих. Платонов.

Содержание многих сказок перекликается с фельетонами М. Горького того времени, составившими его книгу «Несвоевременные мысли».

Сказки стали не только злободневным отражением в притчевой форме многих реалий послеоктябрьского времени, но и продемонстрировали, насколько чутко и глубоко Замятин воспринимал недостатки и ошибки в деятельности новой власти. В действиях Фиты пародировался стиль действий вождей советской власти. Несомненно, что сказки явились первым подступом к роману «Мы».

Сказки «Бог», «Петр Петрович» и «Ангел Дормидон» были переведены на испанский язык в начале 20-х гг.

С. 343. ... *свадьба на Красную Горку*... — Красная Горка — весенний — праздник у древних славян, впоследствии в православии так стало называться первое воскресенье после Пасхи (Фомино воскресенье).

С. 349. ...*нашелся тут человек, офеня*... — Офеня — в дореволюционной России бродячий торговец, продававший по деревням галантерею, книжки) мануфактуру и т.п.

С. 362. ...*эпоха истории Иловайского*... — Иловайский-Дмитрий Иванович (1832—1920) — русский историк и публицист; автор пятитомной «Истории России» (до реформ Петра Великого); в начальной и средней школе дореволюционной России учебники истории Иловайского были признаны официальными в течение многих десятилетий.

С. 365. ...*исполнение вышеизложенного поручить сарацинам*. — В средние века сарацинами называли арабов, мусульман и вообще всех нехристиан. Здесь содержится намек на то, что в органах советской власти в первые же месяцы заметную роль стали играть представители народов Средней Азии, китайцы, латыши, немцы, поляки и т.д.

ЧУДЕСА

О святом грехе Зеницы-девы. Слово похвальное
Впервые — Дело народа. 1917. 15 октября.

Печатается по: Замятин Е. Сочинения. Т. 3. Мюнхен, 1986.

О ТОМ, КАК ИСЦЕЛЕН БЫЛ ИНОК ЕРАЗМ

Впервые отдельной книгой под названием: «О блаженном старце Памве Нересте, о нарочитой премудрости его, о многих происшедших чудесных знамениях и о том, как исцелен инок Еразм». Берлин: Петрополис, 1922.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

О ЧУДЕ, ПРОИСШЕДШЕМ В ПЕПЕЛЬНУЮ СРЕДУ

Впервые — Новая Россия. 1926. № 1. С. 57—62.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

БЛОХА

Впервые — Замятин Е. Блоха: Игра в 4 д. Л.: Мысль, 1926.

Печатается по: Замятин Е. Собр. соч. Т. 1. М.: Федерация, 1929.

Пьеса «Блоха» по мотивам «Левши» Н.С. Лескова была написана Замятиным по предложению режиссера Второго Московского Художественного театра Алексея Денисовича Дикого. «Мы должны заострить, усилить его главную мысль, — писал Дикий Замятину 1 марта 1924 г. — а главная мысль Лескова — не сказка, а мысль сказки — судьба русского гения» (Дикий А.Д. Статьи. Переписка. Воспоминания. М.: Искусство, 1967. С. 294).

Замятин увлекся идеей и на протяжении нескольких месяцев изучал и эпоху, и народные сказки, и пьесы итальянских комедиографов, и опыт русских скоморохов, и историю старинных русских представителей. «Мне казалось наиболее подходящим назвать «Блоху» игрой: истинный народный театр — это, конечно, театр не реалистический, а условный от начала до конца, это именно — игра,

дающая полный простор фантазии, оправдывающая любые чудеса, неожиданности, анахронизмы», — писал Замятин в статье «Народный театр» (1927).

В своем произведении Замятин смог высказать мысли о русском национальном характере, о трудностях взаимопонимания между народной Россией и Западом.

Замятин привлек к своей работе Б.М. Кустодиева, который создал замечательные декорации для спектакля.

Спектакли, поставленные во МХАТе II и в Петроградском Большом Драматическом театре, прошли с огромным успехом и выдержали свыше трех тысяч представлений.

Текст пьесы был опубликован уже после успешных постановок и выдержал несколько изданий.

ШУТЕЙНОЕ

В раздел включены различные тексты Замятина (некоторые написаны в соавторстве), предназначенные главным образом не для печати, а для друзей и знакомых.

ТЕТРАДЬ ПРИМЕЧАНИЙ И МЫСЛЕЙ ОНУФРИЯ ЗУЕВА

Впервые: Русский современник. 1924, № 1,2,4.

Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 4. Мюнхен, 1986. С. 77—92.

Этот фельетон написан при участии Корнея Чуковского и высмеивает порой зло, порой добродушно всякого рода несусазицы в книгах авторов начала 20-х годов XX в.

Упоминаемый неоднократно П. Щеголев — историк и литературовед Павел Елисеевич Щеголев (1877—1931), с которым К. Чуковский и Замятин часто общались в начале 20-х годов.

Сноски с пометкой Ред. принадлежат самим авторам.

БУРИМЕ

Впервые — Чукоккала. М., 1979. С. 312—313. Печатается по данной публикации.

«Чукоккала» — альбом Корнея Чуковского, в котором на протяжении многих лет его друзья и гости оставляли свои шуточные стихи и заметки. Чуковский так прокомментировал это буриме Замятина: «...Летом 1923 года мы с Евгением Замятиным в доме Максимилиана Волошина.

(...) Следующей весной Волошин приехал в Ленинград. Друзья, гостившие у него в Коктебеле, собрались 2 мая 1924 года в квартире поэтессы Марии Шкапской и, чествуя поэта, занялись сочинением буриме. Буриме — стихотворение с заранее заданными рифмами. Нам были предложены Волошиным такие рифмы: Коктебель, берегу (существительное), скорбели, берегу (глагол), Крыма, клякс (или загс), Фрима (жена Антона Шварца), Макс. (...) Когда мы прочитали вслух написанные нами буриме, первый приз получил Евгений Замятин. Его буриме сохранилось в «Чукоккале»...

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ МЕСТКОМА ПОКОЙНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Впервые: Анненков Ю. Евгений Замятин. Грани, 1962, № 51. С. 81.

Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 3. (Мюнхен), 1986.

Текст воспроизводится по статье Юрия Анненкова «Евгений Замятин». Непосредственно перед текстом Анненков дает следующее пояснение: «Девятого декабря 1926 года в Москве в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда состоялась премьера незабываемой мейерхольдовской постановки «Ревизора» Гоголя, спектакль, который я увидел только в Париже, в театре Бати, в 1930 году. Гениальный режиссер перекроил «классическую» пьесу, ввел в нее новые элементы, а также — отрывки из гоголевских черновиков, изъятых Гоголем из окончательной редакции пьесы. Постановка Мейерхольда вызвала в советской прессе жестокую критику, обвинявшую Мейерхольда в реакционности и в «заторможении правильного освоения классического наследия».

Двадцать четвертого января 1927 года та же «фиговая ассоциация» устроила вечер чествования Мейерхольда, где ему было прочитано «Приветствие от месткома покойных писателей», из которого я даю здесь небольшую выдержку, и авторами которой были Евг. Замятин и Мих. Зощенко».

Приветствие связано не только с постановкой Мейерхольда, но и с некоторыми другими спектаклями по классическим произведениям драматургии, постановщики ко-

торых стремились приспособить канонические тексты к требованиям текущего момента.

Среди упомянутых в приветствии авторов у современников может вызвать недоумение лишь переделка названия пьесы А.С. Грибоедова. Однако в то время ассоциация возникла моментально. В 1926 году была поставлена пропагандистская пьеса Сергея Михайловича Третьякова (1892—1987) «Рычи, Китай!». Она прошла с большим успехом как в СССР, так и за рубежом (только в Германии за короткий срок она была сыграна более ста раз).

Названием «Рычи, Грибоедов» Зощенко и Замятин намекали на то, что именно так мог переименовать пьесу Грибоедова Третьяков, который работал в 1922—1926 гг. в Театре Вс. Мейерхольда, где занимался свободными сценическими переделками пьес Александра Островского.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОТ ОСНОВАНИЯ И ДО СЕГО ДНЯ

Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 3. Мюнхен, 1986, С. 334—347 (Публикация В. Троицкого).

Ранее текст был опубликован в сб. «Память», кн. 5, С. 287—309.

В шуточной форме Замятин в этом сочинении передает историю одного из самых известных издательств, организованных после революции. Договор о создании издательства был подписан наркомом просвещения РСФСР А.В.Луначарским и Горьким — представителем литературно-издательской группы (Горький, З.П.Гржебин, И.П. Ладыжников, А.Н. Тихонов) 4 сентября 1918 г.

В распоряжение издательства была передана типография газеты «Копейка», Горький стал заведующим издательством и комиссаром типографии.

Планы издательства были грандиозными. Только в первые три года намечалось издание 800 томов основной серии и 2000 брошюр народной серии (для массового читателя). А весной 1919 года планы разрослись до гигантских размеров. Было принято решение издать все шедевры не только западных, но и восточных литератур. Основная серия увеличилась до 1500 томов. Подсобная библиотека, организованная при издательстве, включала 70 тысяч книг. Была открыта школа переводчиков. На четырех

языках вышли роскошные каталоги «Всемирной литературы», которые были разосланы в разные страны.

В качестве переводчиков и экспертов были привлечены самые известные ученые, поэты, критики, прозаики. Рядом с маститыми работали и молодые талантливые литераторы.

Работа в издательстве не только позволила многим сотрудникам раскрыть новые грани своего таланта, но и просто-напросто выжить в трудные голодные и холодные годы после революции. По сути дела, здесь был собран весь цвет русской литературы того времени. Многие оставили о той поре воспоминания.

К сожалению, великим планам не суждено было осуществиться.

К концу 1920 года из сотен книг, переведенных, отрецензированных, снабженных предисловиями, отрецензированных (объемом более 6000 печ. листов), вышли в свет лишь 53 книги и брошюры общим объемом 476 печатных листов. А за весь 1921 год не вышло ни одной книги, хотя подготовленные рукописи продолжали поступать.

Планы оказались нереальными. Экономическое положение страны было тяжелым, все еще шла гражданская война, был дефицит бумаги, нехватка продуктов питания, всеобщая нищета — все это не способствовало развитию книжного рынка. Но, помимо веских экономических причин, существовали и идеологические. Издательство постоянно конфликтовало с Госиздатом РСФСР, которому формально должно было подчиняться, из-за расхождений в оценке содержания и направленности ряда изданий. Отъезд Горького за границу осенью 1921 года усилил эту конфронтацию.

Некоторое оживление в деятельности издательства после введения НЭПа все же его не спасло. В декабре 1924 года оно закрылось.

Замятин написал шуточную историю издательства, поэтому не касался событий по-настоящему трагических для него: в 1920 году умер один из активнейших сотрудников — литературовед, критик, историк литературы Федор Дмитриевич Батюшков (1857—1920), а вслед за ним в августе 1921 года умрет А.А. Блок и в том же месяце будет расстрелян — Н.С. Гумилев.

В своей истории Замятин упоминает многих лиц. Не-

которые пояснения к ним посчитал нужным сообщить публикатор В. Троицкий. С сокращением приведем эти сведения.

Зиновий — Гржебин Зиновий Исаевич (1869—1929), художник и издатель. До лета 1919 г. заведовал техническим отделом издательства и отвечал за коммерческую деятельность. Организовав собственное «Издательство З.И. Гржебина» в 1919 г., он выехал в 1921 г. за границу, где осуществил многие планы по изданию русской литературы. Выпустил несколько книг Замятина.

Август Максим — Максим Горький, инициатор создания издательства. Благодаря дружеским связям с Лениным и другими вождями смог добиться для издательства и его сотрудников материальной поддержки государства. Отошел от руководства издательством задолго до своего отъезда за границу.

Корний — Корней Иванович Чуковский (настоящее имя Николай: Васильевич Корнейчуков (1882—1969) — к моменту создания издательства известный критик и переводчик, входил в Коллегию экспертов, ведал изданием англо-американской литературы.

Цезарь Тихон — Александр Николаевич Тихонов (1880—1956), по образованию горный инженер, друг Горького, с 1915 г. его помощник в издательских делах (редактор-издатель журнала «Летопись» и газеты «Новая жизнь», владелец издательства «Парус», заведующий редакцией «Всемирной литературы»). После закрытия издательства был редактором альманахов «Круг», издательств «Федерация» и серий «История фабрик и заводов», «Жизнь замечательных людей» и др.

Браун — Федор Александрович Браун (1862—1942), профессор Петербургского университета с 1900 г. филолог-германист. В Коллегии экспертов руководил немецким отделом (вместе с А. Блоком). В 1920 г. выехал в командировку в Германию, оставшись там, с 1923 г. стал профессором Лейпцигского университета.

Левинсон, сын Левия — Андрей Яковлевич Левинсон (1887—1933) — критик, знаток балета. Вместе с Н. Гумилевым вел отдел французской литературы. В начале 1921 г. уехал за границу. Порвал с Советской Россией и резко нападал на Горького.

«Зачатый под виноградной лозой» — Григорий Леонидович Лозинский (1889—1942) — переводчик, литературовед; ведал испанской и португальской литературой в Коллегии экспертов. После отъезда за границу его место в коллегии занял брат, Михаил Леонидович Лозинский, поэт и переводчик.

Сильверсван, он же Серебряный Лебедь — Борис Павлович Сильверсван (1883—1934), филолог, скандинавист, член Коллегии экспертов не ранее, чем с начала сентября 1921 г. К этому времени относится его знакомство с будущей женой, секретарем издательства Евдокией Петровой (Прекрасная Евдокия).

Василий — Василий Михайлович Алексеев (1881—1951), филолог-китаист, профессор Петроградского университета с 1918 г., член-корр. РАН с 1922 академик с 1929 г. Член Восточной коллегии экспертов с 1919 г.

Иоаким бен-Леви — Аким Львович Волынский (Хаим Лейбович Флексер) (1863—1926) — критик, литературовед, искусствовед, страстный балетоман, руководитель Школы классического балета («Хореографического техникума»). В Коллегии экспертов вел отдел итальянской литературы. Псевдоним намекает на то, что Волынский в своих статьях и докладах часто преувеличивал роль иудаизма в мировой культуре.

Брауд — Евгений Максимович Браудо (1882—1939), критик, музыковед. Вошел в Коллегию экспертов во второй половине 1919 г. После отъезда Ф.А. Брауна и смерти А.А. Блока руководил отделом немецкой литературы. Автор многих вступительных статей к книгам, выпускаемым «Всемирной литературой» (бытовала даже шутка о специальном приборе для написания вступительных статей — браудографе).

Эвгенес — сам автор, Замятин, член Коллегии экспертов, руководил вместе с Чуковским изданием англо-американской литературы и Литературной студией при издательстве.

Игнотус — Игнатий Юлианович Крачковский (1883—1951), арабист, член Восточной Коллегии экспертов с апреля 1919 г. С. 1921 г. академик РАН.

Лукуллов друг Павел, именуемый также Елисеем — Павел Елисеевич Щеголев, историк и пушкинист. В издательстве подрабатывал как редактор. В историю попал

благодаря своей солидной комплекции, являвшейся предметом постоянных шуток.

Пророк Божий Иона — Илья Ионович Ионов (Бернштейн, 1887—1942), старый большевик, руководивший издательским делом в Петрограде в первое десятилетие советской власти. По характеристике Чуковского, «сварливый, бездарный и вздорный маньяк» (Чуковский К. Современники. М. 1967, с. 433); брат З.И. Лилиной — первой жены Зиновьева.

Фидея (верная) — Вера Александровна Сутугина-Кюнер (1892—1969), работала в издательстве с момента его основания, сначала техническим сотрудником (подсчитывала строчки для оплаты поэтических переводов), затем — после отъезда Е.П. Струковой — стала секретарем редакции. После закрытия «Всемирной литературы» была переведена в ГИЗ, где работала до 1931. г. В 1935 г. была выслана из Ленинграда. Жила в г. Данилове Ярославской области, затем в Куйбышеве и в Сенгилсе Ульяновской области. В Ленинград вернулась после 1956 г. Пробовала писать воспоминания об издательстве и о поэте В.А. Зоргенфрее, с которым была очень дружна, но не закончила эту работу. В 1960-х гг. она перепечатала сохранившиеся у нее образцы шуточной литературы издательства и один экземпляр подарила писательнице Р. Зерновой. От нее эти тексты попали к публикатору. Возможно, при перепечатке были допущены опечатки, исправить которые не представляется возможным.

С. 469. *...Всемирная литература возникла... в дни, когда перед силою железа склонились многие могущественные властители.* — Первое сообщение в печати о создании «Всемирной литературы» появилось вскоре после объявления «красного террора».

...Влекомые слухами об изобилии, стекались во множестве ученые мужи... — Говорится о наплыве в издательство желавших заработать переводами (ставки по тем временам значительные: 250 руб. («сиклей») за печатный лист перевода.

Два юных менестреля, оставив тлетворный обычай писания стихов о прекрасных дамах... — Имеются в виду А.А. Блок и Н.С. Гумилев, активно сотрудничавших в различных комиссиях и в составлении планов издательства.

Два корифея Дионисовых плясок... — Имеются в виду А.Л.Волынский и филолог-классик Ф.Ф.Зелинский (1859—1944), автор исследований о греческой литературе и античном театре («Дионисовы пляски»).

С. 470. ... *От синих благовонных дымов многие лишились сознания...* — Пародийно описывается празднование 50-летнего юбилея Горького 30 марта 1919 г. (Горький ошибочно считал, что родился в 1869 г.).

И с ужасом узнавали, что силою чар и волшебных курений пленен Август Максим. — Горький был увлечен грандиозными издательскими планами Гржебина, который собирался издать чуть ли не все написанное человечеством.

... *о рожденных же под Скорпием* — так сказано в гороскопе Брюса... — Далее дается пародия на гороскопы Брюсова календаря (Яков Вилимович Брюс, 1670—1735, один из сподвижников Петра I, составитель первого в России календаря с предсказаниями).

С. 471. ... *Пораженные этой болезнью мужи истекали словами...* — Намек на частые многочасовые заседания Коллегии экспертов.

... *никто не хотел брать этих сиклей и менять их на хлеб.* — В 1920 г. издательство еще продолжало расплачиваться с сотрудниками «керенками», которые потеряли к тому времени всякую покупательную способность.

С. 472. ... *И, облобызав, отпустил его Тихон.* — Далее рисуется картина эмиграции первого состава Коллегии экспертов бурно начавшаяся после заключения Советской Россией мирных договоров со странами Прибалтики. Большинство сотрудников выезжали по командировкам Наркомпроса и не возвращались. Однако Тихонов, выезжавший за границу по делам издательства в конце 1921 г., вскоре вернулся в Петроград.

С. 474. ... *стал этот муж проповедовать некий новый язык, соблазняя всех вместо Теккерей говорить Сакры...* — В.М. Алексеев предложил новую транскрипцию английских слов, в результате чего многие имена известных писателей стали неузнаваемы.

... *осадили...* *Серапионы* ... — Имеются в виду Серапионовы братья, литературное содружество, ядром которого были участники литературной студии при издательстве.

...торгующие изгнали его из храмов, разнося звон бумажных сиклей... — Здесь имеется в виду, что издательство вместо издания классиков перешло на выпуск новинок современной литературы, которые могли принести прибыль (возникла серия «Новости всемирной литературы», были выпущены книги Г.К.Честертона, Жюль Ромена и других популярных авторов).

С. 475. *«Когда взираешь на плавные приседания танцующей девы...»* — Пародируется стиль статей и докладов А. Волынского.

Подкупив рабыню в Яслях Искусства... Здесь имеется в виду «Дом Искусств», где находился Хореографический техникум, директором которого был Вознесенский.

С. 476. *И когда старейший в Совете... возгласил: «Кто за дьявола?..»* — Речь идет о переводе названия романа Э.Т.А.Гофмана «Die Exlexiere des Teufels». В русском издании 1897 г. роман назывался «Эликсир Сатаны». Участники дискуссии пришли к выводу, что более точный перевод: «Эликсир дьявола». Однако книга в издательстве так и не вышла.

С. 477. *...похитивший вид цезаря Эвгенес.* — Во время командировки Тихонова в Москву Замятин замещал его на посту заведующего редакцией.

...Как смеешь ты нечестивый молиться иным... богам?

...И всадили его в темницу. — Имеются в виду политические сказки и некоторые рассказы Замятина, которые в немалой степени послужили поводом для его ареста 17 августа 1922 г. (освобожден он был 9 сентября). Рассматривался вопрос о его высылке за границу вместе с другими враждебно настроенными по отношению к советской власти деятелями искусства, литературы, науки. Однако на этот раз высылка была отложена.

С. 480. *Не внимая мольбам казначехраниителя Котеллана...* — Имеется в виду управляющий делами издательства Самуил Борисович Каштелян.

С. 482. *И вот, по воле Божьей, кит проглотит тебя.* — Имеются в виду попытки руководителя Петроградского отделения ГИЗа И.И. Ионова включить «Всемирную литературу» в состав своего издательства. Однако благодаря поддержке ряда академиков и А.В.Луначарского «Всемир-

ной литературе» на некоторое время удалось отстоять свою самостоятельность. Лишь в конце 1924 г., когда Ионов был назначен заведующим Госиздатом РСФСР, ему удалось осуществить свое намерение, и издательство было ликвидировано.

ЭПИТАФИИ 1929 ГОДА

Впервые: Russian Literature Triquarterly. Ann Arbor. 1974. Winter. № 7, pp. 427—429 (Публикация Гари Керна).

Печатается по: Замятин Е. Соч. Т. 3. Мюнхен, 1986. С. 354—355.

Публикатор Гари Керн сообщает, что эти эпитафии сочинены автором к восьмой годовщине со дня основания литературного объединения «Серапионовы братья». Эпитафии посвящены членам объединения.

Федин Константин Александрович (1892—1977) — прозаик, автор многих рассказов, повестей, романов, лауреат Сталинской премии (1948). В эпитафии идет речь о его романе «Братья» (1927—1928), содержащем элементы экспериментирования.

Слонимский Михаил Леонидович (1897—1972) — прозаик, лучшие его произведения написаны в 20-е годы XX в. О каком Совете идет речь в эпитафии, не установлено.

Зоценко Михаил Михайлович (1894—1956) — прозаик, драматург, переводчик. В эпитафии содержится намек на его участие в Первой мировой войне и на то, что одним из основных журналов, где печатались его рассказы, был ленинградский юмористический журнал «Пушка».

Никитин Николай Николаевич (1895—1963) — прозаик, очеркист, драматург. Лауреат Сталинской премии (1951). В эпитафии содержится намек и на то, что в 1923 г. он работал в советском торговом представительстве в Англии и на сильную политизированность его очерковой книги «Сейчас на Западе» (1924). Замятин в своей сатирической рецензии на этот сборник назвал Никитина «полпредом» («Русский современник», 1924, № 2).

Груздев Илья Александрович (1892—1960) — литературовед; автор многих книг и статей о М. Горьком.

Тихонов Николай Семенович (1896—1979) — поэт, прозаик. В эпитафии содержится намек и на то, что он участвовал в Первой мировой войне в гусарских частях, и на его рассказ «Рискованный человек» (1927).

Полонская Елизавета Григорьевна (1890—1969) — поэтесса. В эпитафии обыгрывается тот факт, что она — единственная женщина среди Серапионовых братьев, а имя позволило соотнести ее с одной из душ в реестре Собакевича («Мертвые души», т. 1, гл. 7), куда Елизавет Воробей занесена как душа мужского пола.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 1914—1936

Записные книжки Замятин вел на протяжении двух с лишним десятков лет. Они содержат наброски сюжетов, тем, записи частушек, метких народных выражений, невзначай услышанных странных слов или фраз, штрихи к портретам и т.п.

Впервые записные книжки были расшифрованы и опубликованы А.Н. Тюриным (в публикации они названы блокнотами) в нью-йоркском «Новом журнале», в 1987 г. №168/169, 172/173 и 175. Блокноты хранятся в Бахметьевском архиве при Колумбийском университете (Нью-Йорк).

В настоящем издании многие фрагменты публикуются в России впервые с любезного разрешения Александра Тюрина и Бахметьевского архива.

СОВРЕМЕННОКИ О ЗАМЯТИНЕ

Николай ОЦУП. Евгений Замятин.

Печатается по: Оцуп Н.А. Океан времени. СПб., «Logos» 1994. С. 540—545.

Автор воспоминаний поэт, прозаик, литературовед, мемуарист Николай Авдеевич Оцуп (1894—1958), друг и ученик Н.С. Гумилева (за работу о нем получил во Франции докторскую степень в 1951 г.), с конца 1917 по 1922 г. активно участвовал в литературной жизни Петрограда, часто встречался с Замятиным. Оцуп эмигрировал в 1922 г. Упоминаемая Оцупом книга мемуаров В. Лидина

«Люди и встречи» вышла в 1957 году. Следовательно, данный очерк был написан вскоре после ее выхода.

Юрий АННЕНКОВ. Самый большой мой друг.

Автор воспоминаний Юрий Павлович Анненков (1889—1974), художник, книжный иллюстратор, театральный режиссер, кинематографист, прозаик, замечательный портретист, создавший галерею образов поэтов, прозаиков, художников, артистов, композиторов, режиссеров, политиков XX века, на протяжении многих лет был близким другом Замятина.

Воспоминания о Замятине первоначально были напечатаны в журналах «Грани» (1952, № 51) и «Возрождение» (1962, № 124) под заголовком «Евгений Замятин», а затем вошли отдельной главой в его книгу «Дневник моих встреч». Цикл трагедий» (1966). В настоящем издании воспроизводятся по: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. М., 1991. С. 246—286.

Зинаида ШАХОВСКАЯ. После приезда на Запад.

Автор воспоминаний — поэт, прозаик и мемуарист Зинаида Алексеевна Шаховская (1906—2002) познакомилась с Замятиным в последние годы его жизни и сумела запечатлеть его облик того времени.

Воспоминания печатаются по: Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С. 242—248. Название в оригинале — «Замятин».

Литературно-художественное издание

Евгений Замятин

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Том двадцать восьмой

Ответственный редактор *М. Яновская*
Художественный редактор *А. Мусин*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Т. Комарова*
Корректор *И. Гончарова*

ООО «Издательство «Эксмо».
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламное агентство «Эксмо». Тел. 234-38-00.*

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.
Тел./факс: (095) 745-89-16.
Многоканальный тел. 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.

Книжные магазины издательства «Эксмо»:
Супермаркет «Книжная страна». Страстной бульвар, д. 8а. Тел. 783-47-96.
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»). Тел. 194-97-86.
Москва, Пролетарский пр-т, 20 (м. «Кантемировская»). Тел. 325-47-29.
Москва, Комсомольский пр-т, 28 (в здании МДМ, м. «Фрунзенская»). Тел. 782-88-26.
Москва, ул. Сходненская, д. 52 (м. «Сходненская»). Тел. 492-97-85.
Москва, ул. Митинская, д. 48 (м. «Тушинская»). Тел. 751-70-54.
Москва, Волгоградский пр-т, 78 (м. «Кузьминки»). Тел. 177-22-11.

**Северо-Западная Компания представляет
весь ассортимент книг издательства «Эксмо».**
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82.

Сеть книжных магазинов «БУКВОЕД». Крупнейшие магазины сети:
Книжный супермаркет на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и Магазин на Невском, д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Сеть магазинов «Книжный клуб «СНАРК» представляет самый широкий
ассортимент книг издательства «Эксмо».
Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.

Всегда в ассортименте новинки издательства «Эксмо»:
ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Дом книги в Медведково», «Дом книги на Соколе».

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.11.2003.

Формат 84×108 /32. Гарнитура «Букмэн».

Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 31.92 + вкл.

Тираж 7000 экз. Заказ 2181.

ISBN 5-699-04755-7



9 785699 047550 >

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



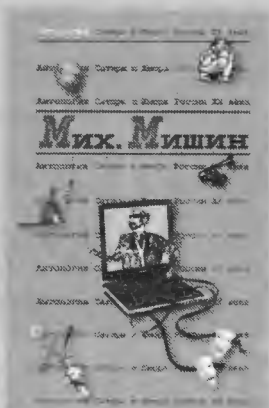
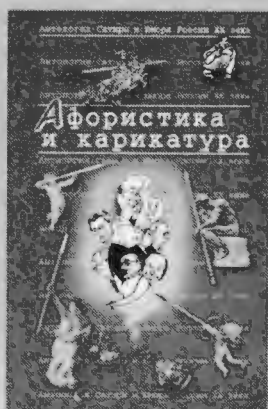
**Самое яркое событие
в литературной жизни
России 2003 года!**

**АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА
РОССИИ XX ВЕКА
В 50 ТОМАХ**









**В ближайшее время увидят свет книги
Антологии**

**СЕМЕН АЛЬТОВ
САША ЧЕРНЫЙ
ЕФИМ СМОЛИН
«ОДЕССКИЙ ЮМОР»
ЛЕОНИД ФИЛАТОВ
ДОН АМИНАДО**

4/II 1934

России — России

с благодарностью

Сам Замыт

[подписана в Париже
в февр., 1934.]

~~10/III~~

Умер в марте 1937 г., в
ПАРИЖЕ

Похоронен
на кладбище
Cimetière de Thiais
под Парижем

17-го 1938

Кы, Мана Пископа, Агана — какана да буе чен ре-
торика и урени, митрополита да буе прогностическы и на не
пигас концы. В пиканту зорбонмаз, киконку, к Готобонку и
ошбонку с нун: У нун бун бонбонку ронбонку с Понбон-
кибонку, Понбонку миконку, уо нун ронбонку и (бонку да)
нунбонку миконку миконку миконку, к-и зорбонку. Агана
нунбонку с нун бун у Понбонку, нунбонку, и нунбонку с нунбонку
Понбонку. Понбонку нунбонку нунбонку и нунбонку нунбонку нун-
бонку, но... нунбонку и нунбонку — нунбонку нунбонку нунбонку и нун-
бонку, нунбонку нунбонку нунбонку нунбонку, с. Понбонку
с нунбонку нунбонку нунбонку, нунбонку нунбонку, нунбонку нунбонку,
нунбонку с нунбонку нунбонку, нунбонку с нунбонку нунбонку — нунбонку
нунбонку. Понбонку нунбонку с нунбонку нунбонку нунбонку с
нунбонку. нунбонку с Понбонку нунбонку и нунбонку нунбонку 1/2-2

она протекла река, но не по дну А, а хоразо сит по Б
(по А река тече брзо, как "Минер" "Фур-панка").

Оно, конечно, по реке, сит по, протекла сит по
попутно, брзо, в Москве. Но так как сит по, сит по
дну и так как у нас в России брзо, сит по, сит по
река, конечно, сит по в Москве и у нас сит по, сит по
Минер, брзо, сит по в Москве. Протекла и брзо, сит по
с, сит по, сит по сит по сит по сит по сит по.

В России в реке протекла протекла — сит по.
протекла, в реке (сидит) — так у нас, сит по в реке
с, с. Протекла сит по, сит по, сит по в реке
сидит (сидит "сидит"), а сит по 30; 1 и сит по
сидит, в реке. Протекла сит по сит по — сит по,
в реке, сит по. Протекла сит по, сит по, в реке
сидит сит по сит по.

В реке с 4 — у нас сит по. Протекла.

В реке у нас сит по протекла. Протекла сит по
сидит.

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Евгений Замятин

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

...Френчи размножились чрезвычайно,
галифе пузырились на каждом шагу.
Все свергнувшие иго царизма и борющиеся
в первых рядах за светлое будущее —
обозначились френчами и галифе.

Сидит, курит папиросу и мечтает:
— Ах, хоть бы ранило.
И только сказал — пуля чок — в щеку
навылет.

Вся морда в крови, папироска в губах,
и улыбается: слава тебе, Господи!

Телеграфист на глухой станции рассказы-
вает барышне похабные анекдоты.
Она ему:
— Ах, противный, скептик!

На религиозном митинге Луначарскому вышел
возражать сельский священник и сказал:
— Христос воскрес?

Публика:
— Воистину воскрес!

Евгений Замятин